



*W. H. H. H.*



*W. H. H. H.*

## Annotation

В собрание сочинений известного советского детского писателя вошло всё лучшее, созданное писателем. В четвёртый том вошли: романы «Ход Белой Королевы», «Чаша гладиатора», рассказы «По морям, по волнам» и повесть «Будьте готовы, Ваше высочество!».

Рисунки художников И. Година, Л. Гольдберга.

<http://ruslit.traumlibrary.net>

---

- [Лев Абрамович Кассиль](#)
  - [Ход Белой Королевы\\*](#)
    - 
    - [Пролог](#)
    - [Хрустальный кубок](#)
      - 
      - [Глава I](#)
      - [Глава II](#)
      - [Глава III](#)
      - [Глава IV](#)
      - [Глава V](#)
      - [Глава VI](#)
      - [Глава VII](#)
      - [Глава VIII](#)
      - [Глава IX](#)
      - [Глава X](#)
      - [Глава XI](#)
      - [Глава XII](#)
      - [Глава XIII](#)
      - [Глава XIV](#)
      - [Глава XV](#)
      - [Глава XVI](#)
      - [Глава XVII](#)
      - [Глава XVIII](#)
  - [Эпилог](#)
- [Чаша гладиатора\\*](#)

- 
- [Часть I](#)
  - [Глава I](#)
  - [Глава II](#)
  - [Глава III](#)
  - [Глава IV](#)
  - [Глава V](#)
  - [Глава VI](#)
  - [Глава VII](#)
  - [Глава VIII](#)
  - [Глава IX](#)
  - [Глава X](#)
  - [Глава XI](#)
  - [Глава XII](#)
  - [Глава XIII](#)
  - [Глава XIV](#)
  - [Глава XV](#)
  - [Глава XVI](#)
  - [Глава XVII](#)
  - [Глава XVIII](#)
  - [Глава XIX](#)
  - [Глава XX](#)
- [Часть II](#)
  - [Глава I](#)
  - [Глава II](#)
  - [Глава III](#)
  - [Глава IV](#)
  - [Глава V](#)
  - [Глава VI](#)
  - [Глава VII](#)
  - [Глава VIII](#)
  - [Глава IX](#)
  - [Глава X](#)
  - [Глава XI](#)
  - [Глава XII](#)
  - [Глава XIII](#)
  - [Глава XIV](#)

- [Эпилог](#)
- [По морям, по волнам\\*](#)
  - [«Диско»\\*](#)
  - [Вдова корабля\\*](#)
  - [Губернаторский пассажир\\*](#)
  - [Матч в Валенсии\\*](#)
  - [Пекины бутсы\\*](#)
  - [Ученик чародея\\*](#)
  - [«Трансбалт»\\*](#)
- [Будьте готовы, Ваше высочество!\\*](#)
  - [Глава I](#)
  - [Глава II](#)
  - [Глава III](#)
  - [Глава IV](#)
  - [Глава V](#)
  - [Глава VI](#)
  - [Глава VII](#)
  - [Глава VIII](#)
  - [Глава IX](#)
  - [Глава X](#)
  - [Глава XI](#)
  - [Глава XII](#)
  - [Глава XIII](#)
  - [Глава XIV](#)
  - [Глава XV](#)
  - [Глава XVI](#)
  - [Глава XVII](#)
  - [Глава XVIII](#)
  - [Глава XIX](#)
  - [Глава XX](#)
- [Комментарии](#)
- [notes](#)
  - [1](#)
  - [2](#)
  - [3](#)

- [4](#)
  - [5](#)
  - [6](#)
  - [7](#)
  - [8](#)
  - [9](#)
  - [10](#)
  - [11](#)
  - [12](#)
  - [13](#)
-

**Лев Абрамович Кассиль**  
**Собрание сочинений в пяти томах**  
**Том 4. Ход белой королевы. Чаша**  
**гладиатора**

# Ход Белой Королевы\*

*Роман с прологом и эпилогом*



## Пролог

*Я сознаю, что этот эпизод можно было бы разукрасить, но предпочитаю изложить его так, как он излагался... на заявках... где сентиментальность умеряется сильно развитым чувством юмора.*

*Ф. Брет-Гарт*

Нет такого журналиста, который бы не мечтал хоть раз в жизни написать роман или повесть... Поэтому не было ничего из ряда вон выходящего в том, что Евгений Карычев принёс мне однажды довольно объёмистую рукопись и смущённо попросил прочесть её, а если подойдёт – продвинуть в печать.

Но я никак не предполагал тогда, что эта рукопись со временем лишит меня покоя и даже заставит пуститься в довольно далёкое зарубежное путешествие, чтобы разрешить некоторые загадки, таившиеся в ней, и, может быть, дочитать её конец, так как, на мой взгляд, автор обрывал своё повествование не там, где следовало бы. Мне и в голову не приходило, что эта аккуратно перепечатанная на машинке рукопись в скоросшивателе, лёгшая на мой стол среди других папок, доставит мне столько беспокойства, а затем и в фигуральном и в прямом смысле перенесёт меня в особый, когда-то бывший мне очень близким мир, где гуляет азартный ветер, который жжёт морозом щеки на лыжне, хлопает цветными флагами у финиша и раздувает священное пламя олимпийского факела.

И надо признаться, что рукопись Карычева пролежала у меня довольно долго. Честно говоря, я сперва даже забыл о ней среди всяких дел, а деликатный автор стеснялся напомнить о себе.

Недавно, перебирая залежавшиеся бумаги, я вдруг обнаружил папку с рукописью, устыдился, что так долго продержал её у себя, ничего не сообщив автору, и решил просмотреть повесть.

Автора её, Евгения Карычева, писавшего обычно под псевдонимом «Е. Кар.», я знал давно. Мы с ним когда-то вместе работали в большой московской газете. Он уже тогда был отличным



разъездным корреспондентом, неутомимым, вездесущим и «летучим» спецкором. Встречался я с ним и на фронте, откуда он слал в редакцию превосходные, всегда очень точные и как бы отдававшие специфическим запахом окопов корреспонденции, которые Карычев действительно ухитрялся строчить на самых передовых линиях. Мне он всегда был симпатичен – скромный, сдержанно-остроумный и порой казавшийся несколько чудаковатым из-за неодолимой своей стеснительности.

Сам Карычев считал себя внешне крайне неуклюжим и малопривлекательным, а привык он тянуться к людям сильным, ловким, уверенным в себе. Поэтому его влекло к спортсменам, к шумному, крепкому и грубоватому содружеству, возникающему среди людей, приверженных к спорту. А те, со своей стороны, считали Евгения Кара хорошим человеком, своим парнем, который, правда, не очень удачлив в жизни.

Зато все восхищались его живым, энергичным пером и профессиональным знанием любых видов спорта. Сам он не занимался всерьёз спортом главным образом из-за той же проклятой застенчивости. На коньках, на лыжах, в спортивном одеянии он казался себе невероятно смешным. А несколько болезненная мнительность, развившаяся с годами, подсказывала его слуху обидные шутки или насмешливые замечания, которые, как казалось Карычеву, всегда неслись вдогонку ему. «Никто даже не знает, – жаловался он, – что вытерпела моя спина, за которой чего только не говорили про меня!..»

Ему казалось, что среди физкультурников, искренне его уважающих и всегда прислушивающихся к его авторитетному мнению, сразу возникало насмешливо-несерьёзное к нему отношение, как только он пытался по-настоящему взяться за какое-нибудь из спортивных занятий. Тут, как он был уверен, разом обнаруживались его беспомощность и комическое неумение, особенно огорчительные тем, что проявлялись они рядом с пленительным мастерством сильных друзей.

Однако все это не мешало ему оставаться заядлым болельщиком, бескорыстным обожателем чемпионов, трубадуром их славы, глашатаем её. Он был незаменимым спортивным радиокомментатором соревнований, главным образом зимних. Куда тут только девалась его

застенчивость! Он становился красноречивым, громогласным, убедительным, пылким.

Мы с ним одинаково смотрели на спорт – как на одно из самых наглядных и великолепных проявлений человеческой воли, когда все телесные силы человека подчиняются всепоглощающему стремлению к самосовершенствованию и радостно утоляется здоровая, естественная жажда самоутверждения, удивительно сочетающаяся с самоотверженностью.

И оба мы видели такую же разницу между будничными занятиями физкультурой, с одной стороны, и спортом – с другой, какая есть, например, между общедоступной грамотой и поэзией.

Рукопись, которую принёс мне Карычев, как и следовало ожидать, также посвящалась его любимому спорту.

– Вот написал, понимаешь, повестушечку, – сказал смущённо Карычев, вручая мне свой труд. – Посмотри на досуге, если время будет. Тут у меня про наших лыжниц, точнее – про одну лыжницу. Возможно, что ты слышал об этой истории. Я давал информацию в газету. Ну, а потом решил изобразить... Сомневаюсь, конечно, чтобы получилось что-то путное... Но ты, в общем, полистай, погляди. Только уговор: выкладывай правду и руби разом. Чур, пилюли не золотить. Проглочу, будь покоен, любую.

Как я уже говорил, прошло много времени, прежде чем я взялся за рукопись Карычева: все как-то руки не доходили. Но когда я наконец прочёл её, она сразу меня серьёзно озадачила да и заинтриговала порядком... Я перечитал повесть ещё раз с самого начала, и всё-таки кое-какие вещи в ней остались для меня неясными и, если хотите, даже чуточку таинственными.

Кроме того, в самом изложении встречались несообразности, которых не допускают добрые литературные правила. Например, повествование велось сперва от лица автора, и он был как бы непременным свидетелем, очевидцем всех описываемых событий, а в дальнейшем речь то и дело шла об эпизодах, присутствовать при которых сам автор не мог, хотя он и не считал нужным оговаривать это.

К тому же автор, по журналистской привычке, перенёс из корреспондентского блокнота в повесть множество лишних технических деталей и цифр.

Я решил внести некоторые уточнения и кое-что подсократить в повести, если только автор согласится с моими замечаниями.

Однако оказалось, что встретиться с Карычевым не так-то легко. Он по-прежнему был всё время в разъездах. То я читал его корреспонденции с целинных земель Казахстана, то он оказывался с партией геодезистов на Ангаре, то вдруг голос его звучал по радио из Кирова, где проводились конькобежные состязания. Потом я узнавал, что он отбыл очередным самолётом на одну из дрейфующих полярных станций, а когда наконец я изловил его в Москве, он торопливо сообщил мне по телефону, что я захватил его «буквально на хвосте» и он должен спешить на аэродром, так как через час улетает в Италию на Белую Олимпиаду.

– Ну что, прочёл? – беспокойно спросил он. – Дряннь, наверно? Ну ладно, выкладывай быстрее. Надавай мне тумачков на дорогу. Знаешь, как мужик говорил, когда вывалился пьяный из саней, а лошадь ушла? «Хучь бы кто по шее дал, всё же легче пёхом идти было бы...»

– Я не собираюсь давать тебе тумачков, но разговор серьёзный, так, на ходу нельзя.

– А что? Очень плохо?

– Нет, я читал с интересом, и, признаться, ты меня кое-чем зацепил... Только много лишнего...

– А ты выкинь! Вымарывай к чертям все лишнее, распорядись, как считаешь нужным. Ты меня извини, спешу. Мне пора...

– погоди! – закричал я в трубку. – У тебя есть тут кое-какие загадочные неясности.

– Неясности? – пробормотал Карычев. – Значит, написал неясно. Я же ничего не придумывал, а в жизни всё было очень ясно... Ну, слушай, спасибо, что прочёл и позвонил. А мне нужно двигать: машина пришла. Нет, погоди! А почему бы и тебе не скатать туда? – неожиданно предложил мне Карычев, словно речь шла о прогулке в Сокольники. – Ты ведь тоже когда-то отдавал должное спорту и пописывал, в общем, дельно. Тряхни стариной, а? В Италии, брат, такое сейчас будет, какого никогда в жизни, быть может, не увидишь. Зимние Олимпийские игры! Шутка ли! Со всего мира туда съедутся. И наши будут впервые участвовать в зимней олимпиаде. Интересно?

– Ещё бы!

– Ну вот. А ты засиделся. Ты не верь этому старику Эммерсону. Это он ерунду порол, будто путешествия нужны только дуракам, у которых дома зудит пустота в незаполненной голове. Чепуха это. Надо ездить! Как можно больше ездить! Иначе теряешь ощущение кривизны пространства, забываешь, что земля шарообразна, и жизнь становится плоской... Правда, махни-ка на олимпиаду. Я, кстати, там надеюсь новую концовочку дописать к повести. Дело к тому идёт. Может быть, тогда и тебе всё ясно станет. Ну, будь здоров, поехали!

Конечно, не только этот телефонный разговор решил дело. Я и без поправок Карычева давно уже подумывал о том, что засиделся и слишком долго не выезжал на большие спортивные состязания, пропустить которые в прежнее время считал для себя невозможным. Рукопись Карычева с первых страниц напомнила мне о наших прежних общих увлечениях. А то, что Евгений мчался сам куда-то на север Италии, в Доломитовые Альпы, куда съезжались на Белую Олимпиаду самые прославленные спортсмены мира и устремлялись самые яростные болельщики всего света, уже окончательно вывело меня из равновесия. Мне нестерпимо захотелось самому побывать там и как бы дочитать повесть Карычева, в которой, повторяю, кое-какие моменты оставались для меня покрытыми тайной.

Через некоторое время я в качестве корреспондента одной из центральных газет и на правах туриста уезжал вместе с другими любителями спорта в Италию. На дне моего чемодана, упакованная в толстую папку, лежала рукопись Карычева. Я попробовал отредактировать её, убрав некоторые технические скучноватые детали. Во всём остальном я сохранил построение и манеру автора.

Вот о чём рассказывал в своей повести «Хрустальный Кубок» Евгений Карычев.

# Хрустальный кубок

*Повесть Евгения Карычева*



## Глава I

### С этим покончено!

– Нет здесь никакого заслуженного мастера спорта! – Он бросил трубку на рычажок и повернулся ко мне: – Ну, теперь убедился, что не шучу? С этим, брат, кончено.

– Слушай, старик, может быть, ты хоть мне объяснишь толком? Телефон зазвонил снова. Чудинов сорвал трубку с рычажка.

– Я ведь вам сказал ясно: нет здесь... Что? Да, Чудинов. Да, Степан Михайлович, он самый... Бывший! Бывший, я вам говорю, понятно? Что?.. Про это забудьте.

Трубка стукнула, закачавшись на рычажке. Чудинов встал с дивана и прошёлся по комнате. Я внимательно оглядел его с головы, где на коротко стриженных висках уже виднелись ранние седины, до сильных ног, легко и прочно ступавших по ковру. На левую он едва заметно припадал. Я знал характер своего старого друга. Мне давно были известны его некоторые причуды, я уже привык считаться с тем, что, когда на Чудинова накатывает, спорить с ним бесполезно. Но всё-таки сегодняшнее решение Степана слишком меня ошеломило. Я не в силах был согласиться.

– Ты что же это, Михалыч, всерьёз?

– Да. И надолго. Навсегда.

Он остановился перед стеклянным шкафчиком-горкой, на полках которой лежали укреплённые на широкой алой ленте десятки золотых медалей, жетонов, почётных значков и стояли всевозможные кубки, ларцы, вазы, шкатулки, чаши – многие регалии и трофеи, которыми был отмечен спортивный путь Степана Чудинова, славная белая стезя его, проложенная по снежным равнинам нашей страны и Западной Европы.

– Посуды много, – угрюмо и насмешливо сказал Чудинов, – а выпить сегодня не за что.

Он хмуро оглядел комнату. Возле большого рабочего стола стояли чертёжные доски с приклепанными к ним проектами. Свитки плотного ватмана загромождали угол за столом. На одной из стен висели застеклённые, изящно окантованные изображения зданий павильонов, эстрад, коттеджей, главным образом деревянных. Чудинов был отличным знатоком деревянной архитектуры. И недаром перед войной на Сельскохозяйственной выставке таким успехом пользовался построенный по его проекту павильон лесоводства и древонасаждений. Противоположную стену занимали стеллажи и полки с книгами. Полки были расположены причудливо, симметричными ступенями. На них стояли толстые фолианты истории архитектуры с выпуклыми золотыми корешками, блестели ряды томов нескольких энциклопедий. И вся стена со ступенчато расположенными полками, на которых плотно стояли, корешок к корешку, книги, неожиданно напоминала орган с рядами толстых и тонких сверкающих труб.

На столе, на специальной полочке, были аккуратно разложены зажигалки. Это было одной из забавных страстей моего приятеля – коллекционировать зажигалки, всевозможные приборы для добычи огня. Какие только зажигалки не попадались в его коллекции! Тут были и трофеи – немецкие пугачи-пистолеты, нажав на собачку которых можно было получить безобидный синий огонёк над дулом, и зажигательные палочки полинезийцев, и чиркалки времён гражданской войны, сделанные из патрона, и знаменитые фронтовые кресала с фитилём и кремнём для высекания искры, и миниатюрные факелы – сувениры одной из олимпиад – на цепочке из пяти

разноцветных колец, и последнее приобретение Чудинова – чудоручка, которая служила одновременно и компасом (он был вделан в верхнее донышко футляра) и таила под ним бензиновую зажигалку. Были тут и старинные трут и огниво, и затейливо выточенные апокалипсические василиски-зверюшки – нажми на хвост, и пламя исторгнется из пасти...

Но не на зажигалки, не на любимые книги и проекты свои смотрел сейчас Чудинов. Он уставился на стену, с которой глядел на нас с фотографии знаменитый лыжник, чемпион многих годов, непобедимый в прошлом Степан Чудинов – молодой, широкоплечий, узкобедный, размашистый и в то же время натуго собранный, в мгновенно схваченном движении, такой, каким я знавал Степана на протяжении долгих полутора десятка лет. И сколько раз доводилось мне писать о нём, сообщать по телефону в Москву, в редакцию о его победах на лыжне, передавать по зарубежному телеграфу его чертовски неудобную для начертания латинским шрифтом фамилию: Tschudinoff. Сколько раз, заслоня заиндевшей варежкой микрофон от ветра, объявлял я по радио его победителем гонки!

Спорт был для Чудинова постоянной потребностью, естественным выражением его жизненной энергии. Устав от работы за чертёжным столом, он выбирался за город, отмеривал на лыжах десяток-другой километров по холмам, перелескам Подмосковья и возвращался к работе неузнаваемо помолодевшим, взбодрённым, с весёлой благосклонностью смотрящим на мир. «Погоняешь немного, так и голова свежее, ощущения точнее и веры в себя больше», – говаривал он.

Но, человек страстный, не умеющий останавливаться на полумерах, действовать вполсилы, он привык во всякое дело входить с головой и в любой своей деятельности добирался до высот совершенства. И если уж решал тренироваться к большим состязаниям, то всё его существо надолго проникалось как бы одним назначением: выжать из каждой мышцы все запасы таящихся в ней скоростей, вложить каждый сантиметр движения в разгон. И работал он над собой с безудержным рвением. Так же и в области инженерной: если он был убеждён в своей правоте, то рвался к поставленной цели напролом. И некоторые жаловались, что он порой

грубоват, слишком резок. А эти качества, как известно, непростительны для тренера-воспитателя.

Характер у Степана был трудный, и я это хорошо знал. Неуступчивый, он предпочитал лучше сменить место работы, чем свои убеждения, хотя бы они касались и не очень значительных дел.

Он ездил строить новые города, жил там с плотниками в бараках-временках. Я встречал его в Комсомольске-на-Амуре, в Хибинах, где вырастали посёлки, застроенные отчасти по его типовым проектам.

И вот сейчас из-за какой-то заносчивой, чёрт знает что о себе возомнившей девчонки, у которой, кажется, язык был ещё более прытким, чем ноги, он совсем уходит с лыжни. Я не мог примириться с этим. Правда, непосредственно со спортивной лыжни Чудинов сошёл ещё несколько лет назад. Пулевое ранение в коленную чашечку левой ноги лишило его возможности после возвращения с фронта отстаивать звание чемпиона страны, до этого неизменно ему достававшееся. С первых дней войны он пошёл добровольцем на фронт и стал командиром отряда лыжников-разведчиков, совершавших смелые рейсы в тыл врага. Там, на Карельском перешейке, и прошла вражеская пуля его колено. Как ни мудрили хирурги, раненая нога теперь уже не выдерживала длительного напряжения, начинала нестерпимо болеть, да и движения её были порой несколько стеснены.

Продолжая работать в «Гипрогоре», в институте, где проектировались новые города и разрабатывались планы перестройки старых, Чудинов перешёл на тренерскую работу.

После ранения он было совсем бросил спорт – перестал даже смотреть состязания. Потом его клетчатая, хорошо всем нам знакомая куртка снова появилась сперва на трибунах стадиона, среди зрителей на Ленинских горах и в Подрезкове, где проводились лыжные состязания, а потом и возле самой лыжни. И в спортивных кругах с радостью сообщали, что Чудинов взялся за тренерскую работу.

Был он аскетически строг в обращении с женщинами, особенно с теми, кого тренировал. Он нравился девушкам, но делал вид, что не замечает этого. Некоторые его товарищи, тренеры, поженились на своих воспитанницах. Но Чудинову подобные браки казались нарушением каких-то очень важных и строгих норм, установленных им для себя. «Вышел на снег, сам – лёд», – говорил он. И вообще нежности между тренерами и спортсменками он считал



непростительной пошлостью. Мне же казалось порой, что Чудинов слишком строг к себе и людям и поэтому, пожалуй, одинок.

– Я уже не любимец славы, а вдовец её, – пошучивал он. – Теперь мне остаётся по-отечески растить новую молодую славу и выдавать её замуж, женив на ней других молодых счастливицев. Что же, я не ревную...

Он оставался холостяком, относясь к женщинам с хмурой насторожённой, заставлявшей считать его нелюбезным.

– Да, старик, – говаривал он, – что-то у меня в жизни не получилось, а я, как говорят моряки, приближаюсь к «ревушим сороковым». Что-то будет...

Он прошёл специальные тренерские курсы и весь свой огромный, многообразный опыт, весь свой волевой напор и неистребимое терпение, отличавшие его самого в прежних тренировках, отдавал теперь новичкам белой стези. Многие из его питомцев уже стали известными лыжниками. Никому не уступала первого места уже третий год подряд воспитанница Чудинова Алиса Бабурина. У меня было подозрение, что из-за неё-то всё и произошло... Вот она на фотографии в журнале, брошенном раскрытым на кресле. Высокая, изящная, со слегка надменно вздёрнутым подбородком. Одной рукой она принимает очередной приз, другой обхватила плечо своего тренера. А вокруг фоторепортёры, поклонники, овации.

– Что ты уставился? – Чудинов, расхаживая по комнате, резко остановился около меня, когда я склонился к журналу. – Полагаешь, вероятно, что всё дело в Алисе? Смешно!

– А разве нет?

– Слушай, старик, я тебя считал когда-то умнее. Неужели ты серьёзно думаешь, что причиной всему этот вчерашний разговор в комитете? Дело гораздо серьёзнее. Мне вообще пора уходить, понимаешь? Я дал всё, что мог, но этого, видно, уже недостаточно. Третий год подряд Алиса показывает одно и то же время, и неважное время, ни на йоту лучше. А впереди всесоюзная спартакиада, а за ней Олимпийская лыжня. На каком месте мы там будем, если не подготовимся? Я и сейчас уже ночами не сплю, когда думаю об этом. Нет, мне просто не повезло. Нет у меня вот этого самого тренерского счастья. Вероятно, бездарен – да, да, не маши, пожалуйста, руками! Не сумел я вот привить той же Алисе настоящую и постоянную

страсть к этому делу. Она талантливая гонщица, но, понимаешь, ненадёжная, любит лёгкую добычу. Привыкла брать готовенькое, хочет, чтобы горшки вот эти, – он мотнул головой в сторону шкафчика с кубками, – за неё боги обжигали. У неё нет нужной серьёзности в подготовке. Вот пустяк, например, а характерно: она заставляет своих поклонников ей лыжи мазать перед серьёзными гонками. Это же чёрт знает что такое! Настоящий художник должен уметь и любить грунтовать холст, как рыбак смолит шлюпку, солдат сам чистит своё ружьё. И она хотя до сих пор и выигрывала, но всегда рывком. У неё расчёт на случай, она берет только азартом, этого у неё, правда, хватает. Но гонка – не всегда игра. Она начинается не на старте, а по крайней мере за несколько недель до взмаха стартового флажка.

Он помолчал, потом угрюмо поглядел на меня:

– И, чёрт возьми, в конце концов, что я вам, нанялся всю жизнь быть тренером? К лешему! Хватит с меня! Я на что-нибудь ещё пожусь. Вон разработал новые проекты для городов-новостроек, и дёшево и сердито, а вы все хотите, чтобы я возился с этими зазнавшимися баловнями!

– Ну что ты все ворчишь?

– Не ворчу, а официально заявляю тебе – пожалуйста, так можешь и в газету сообщить: «Инженер Чудинов, в прошлом чемпион СССР по лыжам, оставил тренерскую работу, посвятив себя целиком строительству». Шабаш, старик, уезжаю. Имею уже два великолепных предложения на стройку – одно лучше другого. Есть предложение под Вологду, и за Урал зовут, в Зимогорск, там у них на руднике целый город вырос, тоже огромная стройка. И лесу сколько угодно, требуется специалист по деревянной архитектуре. Я уже списался. И там и здесь будут строить по моим типовым проектам, только не решил ещё, куда ехать: под Вологду или за Урал.

– Да ты строй себе на здоровье, но зачем спорт бросать? – пытался я урезонить его.

Чудинов решительно провёл ребром ладони по горлу:

– Сыт-сытехонек. Был когда-то, да весь вышел. Спортсмену, как и артисту со сцены, надо уходить вовремя. Я уже и так пересидел. Вот когда-то, верно, были и мы с тобой рысаками... Что говорить!

Он схватил меня своими твёрдыми, сильными пальцами за локоть я подвёл к стене, на которой висела большая застеклённая

фотография, немного уже поблекшая. Оба мы были изображены на снимке ещё совсем молодыми, в клетчатых спортивных курточках щегольского покроя, с большими выпуклыми пуговицами в форме футбольных мячей. На нас были лыжные картузики. Из раскрытого ворота толстых курток по-петушиному выпирали особым образом повязанные под самым подбородком шарфы.

– Помнишь, старик, в Швейцарии снимались? Хороши, брат, с тобой были – орлы! Ну, а здесь уже совсем другой коленкор. Это мы с тобой, друг мой Евгений, на Карельском. – Он наклонился к большой любительской фотографии, где мы с ним стояли оба в тулупчиках и валенках, по колено в сугробе, с автоматами на груди. – Да, это уже была моя последняя лыжня, Тут, как говорится, нам песни поют и честь воздают.

Он вздохнул и медленно, тяжело разогнулся. И мне показалось, что пришла подходящая минута.

– Слушай, Степан, ты хоть не вздыхал бы при мне. И так я все эти годы себя корю. Ведь из-за меня же... Да я ведь все отлично знаю... Ну давай хоть раз в жизни поговорим об этом по-человечески.

Чудинов разом насторожился:

– Это о чём ещё?

– Довольно дурака валять, знаешь прекрасно, о чём я говорю! Сколько лет прошло, довольно уже крутить-то.

– Фью! – засвистел Чудинов. – Лыко-мочало, опять завёл! Ведь мы, по-моему, договорились с тобой раз и навсегда. Уговор дороже денег.

– К чёрту уговор!

– А ты у меня поговори ещё, пока я не погнал тебя в три шеи! Так и вылетишь!

– Но, но, ещё посмотрим, кто вылетит!

– Да ты, старик, с кем это говоришь? Я тебе сейчас напомним! – И Чудинов с кровожадным видом двинулся на меня, засучивая рукава. – Думаешь, кончился чемпион? Бывший? Сошёл? Не гожусь? С такими-то хлюпиками... Ну, как тебя – вольноамериканским методом или приёмом самбо? Заказывай сам.

Не знаю, какой метод применил Чудинов, но через мгновение я уже был распротёрт на диване, а на ногах у меня, легонько подпрыгивая, держа меня за руки, сидел Степан.

– Ну, будешь ещё когда-нибудь поднимать тот разговор?

– Буду. Это глупо, честное слово! Всё равно, я же знаю, что это ты тогда меня спа...

В передней раздался звонок и сейчас же второй, нетерпеливый, настойчивый.

Чудинов разом соскочил, обеими руками подхватил меня под мышки, opravил и утвердил в вертикальном положении.

– Это Алиса. Пришла объясняться. Звонила днём, что придёт. Выкатывайся живо отсюда. Чудачка, думает, что все дело только в ней одной. Совсем зазналась, дурёха!

Он сунул мне в руки шапку, быстро помог одеться, натаскивая на меня пальто, стал открывать дверь.

– Хорошо, – сказал я негромко, – ладно, уйду, но мы с тобой ещё поговорим.

Лицо Чудинова стало непроницаемо жёстким. Очень тихо, но внятно он произнёс:

– Евгений, ведь мы, по-моему, условились не возвращаться к этому? Честно заявляю: если опять хоть заикнёшься – вот тебе бог, а вот порог!

Распахнулась входная дверь и впустила высокую, изящную брюнетку в кокетливой лыжной шапочке. Все – и эта неизвестно на чём державшаяся воздушная пуховая наплёпка на голове, и очень узкие, остро заглаженные в складки голубовато-серые брючки, и слишком короткая, вычурно-модная курточка, – все настойчиво заявляло, что вошедшая принадлежит к миру спорта, посвящена во все его тайны и вхожа в самые его высшие сферы. Она была хороша, Алиса Бабурина. Резковатая в движениях, худощавая, стройная. С деланным безразличием она окинула меня затаённо-внимательным взглядом и словно сперва не узнала.

Что толковать, она была хороша, но уж больно все в ней, как говорится, шибало в нос крикливой, показной стороной спорта.

Я не раз убеждался, что чем больше у человека внешних примет, подчёркнуто сообщающих о его занятиях, тем меньше он стоит в таковых на самом деле. Большею частью очень уж кудлатые художники в специально сшитых свободных блузах оказывались на поверку бездарными мазилами; молодчики, рядившиеся в костюмы особо спортивно-мужественного покроя, частенько проявляли себя

слабосильными слюнтяями с бабьими капризами. Знаменитого писателя не легко было узнать по его костюму, в то время как приходилось мне встречать едва начинающих литераторов, один вид которых уже за версту вещал: я поэт! Было нечто излишне подчёркивающее причастность к спорту во всём облике Алисы, хотя на лыжне с ней и в самом деле лучше было не тягаться.

Алиса с детства привыкла везде быть на виду и принимать дань восхищения. Бывало, ещё в третьем классе школы, когда 8 Марта, в Международный женский день, одноклассники и одноклассницы покупали в складчину какой-нибудь нехитрый подарок для своей классной руководительницы – флакончик одеколona, костяной нож для разрезания бумаг, записную книжку в кожаной обложке, – Алиса неожиданно для всех, после того как подарок класса был уже вручен учительнице, вдруг вынимала из парты свой особый сюрприз – вышитую салфеточку, крымский вид собственной работы, вставленный в золочёную рамочку. Она любила срисовывать видики с открыток, и дома все говорили, что она, верно, станет художницей. Но в третий класс поступил новичок, который рисовал гораздо лучше её, не с открыток, а прямо с натуры. Слава Алисы на короткое время померкла, однако вскоре она очень удачно протанцевала «молдаваночку» на вечере школьной самодеятельности, и все стали прочить ей артистическую будущность. Мать даже возила её к какому-то знаменитому балетмейстеру, и тот нашёл, что у девочки есть задатки. Однако часто демонстрировать эти задатки единолично Алисе не приходилось. В школе почему-то больше устраивались выступления всего танцевального и хорового кружков. Тогда она стала писать стихи, ибо это дело совсем уж не «хоровое» и в стенной газете можно было крупно ставить свою подпись «соло». Вообще Алису считали разносторонне одарённой девочкой. «Она выделяется», – говорили педагоги. И правда, она была весьма способной, но эти разнообразные способности возбуждали лишь недолгие увлечения, не порождая той всепоглощающей страсти, которая завладевает человеком безраздельно и свойственна лишь истинному таланту. Она достигала известных успехов в том или ином занятии, но быстро охладевала к нему, если оно не давало ей случая немедленно выделиться среди других.

Так было и в спорте. Быстро и удачно выдвинувшись, обойдя не очень серьёзных конкуренток, она стремительно завоевала высокое звание всесоюзной чемпионки и долгое время удерживалась на этом почётном месте. Иногда ей просто везло – она не встречала серьёзного соперничества. Кроме того, Чудинов, не только замечательный тренер, но и великолепный тактик лыжной гонки, был жестоко требователен в период тренировок и очень расчётлив и гибок в составлении графика гонки применительно к данным Алисы...

Но ей вскоре наскучили занятия с этим чересчур требовательным, неумолимо взыскательным тренером. Они разошлись во взглядах на цели спорта.

В первый год своих занятий с Чудиновым Алиса немножко увлеклась им самим и потому беспрекословно выполняла все подчас придиричьиые требования своего воспитателя. Потом она убедилась, что тренер её, как она заявила подругам, человек в личной жизни безнадёжный, его не расшевелишь. Она пересмотрела свои увлечения и симпатии, поостыла и к тренировкам, в состязаниях строила откровенный расчёт на случай, везение, игру удачных обстоятельств. «Она немножко авантюристка», – часто жаловался мне Чудинов, убеждаясь, что Алиса не улучшает показателей, не движется вперёд, и он, по-видимому, оказался плохим психологом, понадеявшись лишь на природную одарённость своей ученицы. А он слишком много говорил о ней прежде в комитете, даже перехвалял... И теперь толковали, что это он обманул надежды, которые всеми возлагались на него и Алису: не сумел найти верный подход к способной спортсменке.

– Здравствуйте, Кар! – воскликнула, узнав меня, Алиса и хохотнула.

У неё был противоестественно быстрый, с мелкими частыми всхлипами хохоток, словно прокручивали обратным ходом плёнку на магнитофоне.

– Здравствуйте, Кар! А я вас сразу не узнала – быть вам богатым. Скоро, может быть, премию цапнете? Не забывайте тогда старых друзей. Что, вы уже уходите? Жаль, лучше бы поговорить всем вместе.

– Он торопится, – перебил Алису Чудинов. – Кроме того, обо всём уже договорились. Входите, Алиса.

Мне очень хотелось поговорить с Алисой по душам. Что бы там ни было, её бестактное выступление в комитете глубоко задело Чудинова. Оно, вероятно, после всех разговоров в лыжной секции и послужило последним толчком, побудившим Степана принять всех ошеломившее решение.

Но сам тоже хорош! Вот характерец! Кто-кто, а я знал упрямство своего друга. Взять хотя бы ту памятную ночь на Карельском перешейке. Сколько лет прошло, а он все упрямится и слушать не желает о моей признательности. Но я-то ведь хорошо знал, как было дело. Тогда, на Карельском перешейке, я военным корреспондентом попал в лыжный отряд к Чудинову. Вышло так, что по пути с полевой почты я ночью отбилсь, потерял направление и попал в жестокий, внезапно разыгравшийся буран. Кроме того, я во тьме забрёл в район, где хаживали автоматчики противника. Совершенно обессиленный от долгих плутаний, я окончательно утратил ориентировку. Полузамёрзшего, меня уже заносило метелью, и Чудинов ночью пошёл в буран, разыскал меня и вынес на себе. По-видимому, ему пришлось отстреливаться, да и сам он был ранен в колено...

Очнулся я тогда уже в блиндаже. Некоторое время, не сразу придя в себя из забытья, я плохо соображал, что со мной происходит. Жаром полыхала печурка, вокруг в блиндаже никого не было. Я опять стал засыпать, но вскоре сквозь сон увидел, что вошёл, хромя, Чудинов, сел возле меня, положил на нары забинтованную ногу, а потом позвал кого-то из бойцов и стал шумно радоваться, рассказывая, что кто-то из лыжников разыскал меня, спас и доставил в блиндаж.

Я и тогда ещё пытался что-то возразить, силясь вспомнить, что со мной было, но Чудинов накинулся на меня: «Брось! Либо ты сам добрался без памяти, либо кто-то из бойцов тебя доставил в наше расположение». И с тех пор, сколько раз я ни пытался расспросить его о подробностях той ночи, он решительно и досадливо отмахивался: «Охота тебе, в самом деле, ломать над этим голову! Радуйся, что кто-то вытащил или помог самому доползти; ну и все. Аминь! Ты, старик, становишься суетным и многословным, а мы с тобой, помнится, никогда не были неженками из аристократического рода „сентименти“, честное слово».

Мне тогда пришлось вскоре покинуть отряд Чудинова и отбыть на другой фронт.

Перед самым моим отъездом Чудинова отправили в госпиталь. Как он ни протестовал, как ни упрямился, рана в колене оказалась настолько серьёзной (да он ещё и разбередил её в напряжённой ходьбе тогда ночью, таща меня на себе), что пришлось моему другу смириться.

Уже после войны я встретился с одним из лыжников, когда-то входивших в отряд Чудинова. Он узнал меня, но, когда я попробовал было расспросить его, известно ли ему, кто и каким образом вытащил меня тогда из леса и доставил в блиндаж, парень засмутился: «А вам командир так и не сказал? Ну, стало быть, по этой команде не было от него нам отбою дано, а приказ был твёрдый – молчать. Хотите догадывайтесь, хотите – нет. Я лично добавить ничего не могу».

## **Глава II**

### **Прощай, лыжня!**

*Долой слова недвижимые:*

*«стоять»,*

*«сидеть»,*

*«лежать»,*

*Идём на базы лыжные*

*летать,*

*кружить,*

*бежать!*

*Н. Асеев*

Вагон пригородной электрички, заполненный лыжниками, спешившими на гонки в Подрезково, был внутри несколько похож на гребную палубу галеры. Занявшие все сиденья спортсмены – парни в финских картузиках, девушки в вязаных шапочках – держали стойком связанные попарно лыжи. Казалось, что по обеим сторонам вагонного прохода расположились на скамьях десятки гребцов, которым только что скомандовали: «Суши весла!» И было ещё что-то от виолончелей в лёгком и плавном изгибе тонкого полированного красно-коричневого дерева лыж, наподобие грифов вздымавшихся над плечами физкультурников.



Весело катила электричка по заснеженным подмосковным просторам, взметая тени сосен вперемежку со врывающимися в вагонные стекла мелькающими полосами солнечных просветов. Радужные зайчики скользили по благородной и строгой снасти, способной сделать человека крылоногим. И в такт перестуку вагонных колёс покачивалась распеваемая вполголоса песня лыжников:

Через леса сосновые,  
Где дух вина хмельней,  
Лыжни проложим новые  
По свежей целине...

Я всегда любил эти поездки на состязания вместе с шумной ватагой лыжников, которые в такие часы целиком завладевали вагонами поезда. Казалось в эти дни, что электричка, теряя свою природную будничность, несётся вдаль, как разогнанная тысячами тонких весел крутобокая ладья. А сегодня предстояли гонки на десять километров, которыми завершались зимние состязания, ежегодно проводимые под Москвой для розыгрыша традиционного хрустального кубка. Этим почётным трофеем последние годы владело спортивное общество «Радуга». Тщетными были все старания его постоянного соперника «Маяка» вернуть себе этот принадлежавший ему некогда важнейший зимний приз. Друг мой Чудинов был тренер «Маяка». Он приложил немало усилий, чтобы питомцы его отвоевали обратно зимний кубок, но это ему не удалось. Были среди выучеников Чудинова чемпионы и чемпионки, завоёвывавшие первые места в весьма ответственных состязаниях на лыжне, но по общей сумме очков, когда при розыгрыше кубка дело решалось результатом, показанным всеми гонщиками, то есть по командному зачёту, «Маяк» оставался на втором месте. И даже непобедимая Алиса Бабурина неизменно приходившая с результатом на две-три секунды лучшим, чем у всех её соперниц, не настолько опережала их, чтобы победой своей поправить дело, вывести команду вперёд и обеспечить «Маяку» желанный приз.

В Подрезкове, излюбленном месте московских лыжников, дул ровный и душистый, натягивавший едва уловимый запах прогретой солнцем хвои морозный ветер. Он рождал струнный звон в проводах, звонко хлопал цветными стягами спортивных обществ, легонько жёг щеки. И все вокруг выглядело румяным, помолодевшим, полным игольчатого радужного блеска, который как бы роился в прозрачном воздухе над слепяще-белым снежным настом. Светло-голубым было небо над красноствольными соснами, густо-синими – тени на снегу, сочно-алыми – маленькие флажки, трепетавшие на верёвке; они, как на охотничьем окладе, охватывали всю строго размеченную трассу гонки. И мы были в центре этого морозного, солнечного, вольно дышащего мира.

Гонка уже началась, и последние номера ушли со старта, когда я выбрался на один из снежных холмов, расположенных неподалёку от финиша. И тут я увидел Чудинова. Он был в своей любимой швейцарской куртке, утратившей со временем тот заграничный шик, который когда-то в ней так нравился нам, повидавшей виды, ставшей обжитой, весьма домашней. Но именно по этой памятной куртке я и узнал его ещё издали, хотя, признаться, никак не ожидал видеть Чудинова тут после вчерашнего разговора. Он стоял на лыжах, слегка опираясь на палки, и с несколько скучающим видом поглядывал то на секундомер, лежавший у него на ладони, то в сторону пронесившихся к финишу лыжников. Я подъехал к нему. Он, услышав, быстро обернулся, чуть-чуть виновато, как мне показалось, усмехаясь.

– Что? Удивляешься или торжествуешь? Не выдержал, мол, потянуло.

Я пожал плечами:

– Ну, если ты так читаешь чужие мысли, не стоит утруждать себя словами. Я могу и помолчать.

– Не злись, старик, – сказал Чудинов, – и, пожалуйста, без скоропалительных выводов. – Он упрямо мотнул подбородком и, коротко стукнув одной лыжей о другую, оббил снег. – Да, явился. Обещал Алисе. Не хотел, чтобы она имела оправдание – бросил, мол, в ответственную минуту. Мало того, скажу больше: я с ней вчера весь график дистанции ещё раз прошёл. Ну, и что? Это, ничего не меняет... Конечно, постарается выложить все. Но в том и беда, что ей больше нечего выкладывать.

На холм вскарабкался, отдуваясь и проваливаясь в глубоком снегу, не в меру расторопный мужчина, облаченный в роскошный лыжный костюм моднейшего покроя, со множеством карманов на самых неожиданных местах. Он так сверкал на солнце бесчисленными застёжками-«молниями», что ему мог позавидовать сам Перун. Под мышками у него было по лыже. Это был начальник материальной базы спортивного общества «Маяк» Тюлькин. Отпыхиваясь и проклиная всё на свете, поднялся он к нам и, упарившись, снял с головы шапку-финку с кожаным верхом и пуговичкой. Он был белобрыс, под волосами цвета пеньки кожа на висках розовела, как у дога.

– Здравствуй, товарищ Чудинов! Категорически приветствую!

– Здравствуй, Тюлькин, – не глядя, отвечал Чудинов.

– Труженику пера, нашему специальному корреспонденту, привет крупным шрифтом! – бросил в мою сторону Тюлькин. – Ну как, прошла наша?

– Проследовала, – сдержанно отозвался тренер.

– Времечко? – осведомился Тюлькин.

– Прошлогоднее. – И Чудинов отвернулся, махнув рукой.

– А с нас хватит, – обрадовался Тюлькин. – Лишь бы первое местечко, и мы дома. Что тебе ещё нужно?

Я приложил к глазам бинокль, наладил окуляры и взглянул в ту сторону, где в отдалении виднелись фанерные знаки финиша. Туда, к лёгкой арке, украшенной хвойными ветвями и флагами, уходила, всех обогнав, лыжница под номером «И» на белом квадрате, который чётко выделялся на алом чемпионском свитере. Алиса Бабурина опять побеждала.

– Что мне нужно, спрашиваешь? – говорил в это время Чудинов у меня за спиной Тюлькину. – Кубок нужно было нашему «Маяку» вернуть – раз, чтобы время Алиса улучшила – два, а с такими результатами, – он ткнул пальцем в стекло секундомера, поднося его к самому носу Тюлькина, – с такими результатами нам только срамиться на международной лыжне, а кубку опять зимовать у «Радуги».

– Ну что ты хочешь от Бабуриной, честное слово! – бормотал Тюлькин. – Всё равно же время по лыжам в таблице рекордов не пишется. Пришла первой, и будьте добры. Я подхожу чисто

материально. Лично ей медалька обеспечена, а за ней и это, – он потёр пальцами, сложенными в щепоть, – и шайбочки посыплются.

Так Тюлькин называл деньги.

Чудинов только рукой махнул:

– Ну что с тобой толковать! Пусть приходит первая, для меня теперь это уже дело последнее. Три года одно и то же время на этой дистанции, и ни с места. Я, видно, уже не гожусь.

Тюлькин одним глазом заглянул в стекло секундомера, который продолжал держать перед ним Чудинов.

– Вполне свободно секундомер мог подвести, – начал он. – Ваше дело тренерское – деликатное, точная механика. Давай, товарищ Чудинов, я тебе подберу у себя на материальной базе новенький. Последняя модель, американская.

– А ну тебя к чёрту! Как-нибудь обойдусь без твоей материальной базы.

Тюлькин обиженно вздохнул и стал боком, то и дело проваливаясь выше колен своими шикарными бурками в снег, осторожно спускаться с холма. Лыжи с палками он по-прежнему держал под мышками.

– А ты что же, такой специалист по спорту, а сам на лыжи не станешь? – крикнул ему Чудинов.

– Эй, друг милый, – донеслось снизу, – мне время дорого. И казённый инвентарь надо беречь как-никак. Ну, был бы ещё парад какой, так я бы тоже – для учёта массовости. А так, вон с горки сойду, там уж по ровному и покачу.

Тем временем на снежной равнине, залитой зимним солнцем, показалась быстро движущаяся фигурка лыжницы. Через бинокль я разглядел, что она идёт под номером «15». Гонщица стремительно приближалась. Шаг у неё был размашистый, упругий. Чудинов, уже не глядя на лыжню, подпрыгнул, опираясь на палки, сделал полный разворот и уже приготовился съехать с холма.

– Все, – сказал он, – я своё выполнил. И знай, ты меня видел на лыжне последний раз.

– Делай как знаешь, только имей в виду – поступаешь глупо. Ты смотри, какая красота! Хоть в последний раз оглянись!

Чудинов нехотя поглядел в ту сторону, куда я ему показал. По лыжне ходко шла гонщица, которую я только что заметил перед тем.

Она была видна сейчас сбоку, но, обходя петлю трассы, разворачивалась лицом к нам. На белом фоне снега чётко рисовалась в свободном и широком движении её порывисто нёсшаяся крепкая фигура. Большеглазая, с лицом упрямой девочки-переростка, с лучистой эмблемой «Маяка» на рукаве, с мягкой волнистой прядкой, выбившейся из-под вязаной шапочки и заиндевевшей от мороза, с нежно-матовым румянцем на круто выведенных щеках, она словно бы и не шла, а, скорее, летела по-над белым настом. Вот она, словно не зная устали и головокружения, легко с поворота взяла крутой подъём и, энергично отталкиваясь палками, помчалась по крутогору в жемчужном снежном вихре, ею же рождённом. Я следил за нею через сильный двенадцатикратный бинокль, и, честное слово, мне показалось, что там, вдали, возникло в эту минуту живое олицетворение розовощёкой, устойчивой русской зимы.

Я узнал лыжницу. Она мне запомнилась ещё по прошлогодним состязаниям на Урале, куда я ездил от газеты. Да, я узнал её, снискавшую кличку «Хозяйки снежной горы», о которой уже ходила слава по Зауралью. Вот, значит, она теперь приехала в Москву, чтобы впервые помериться силами с нашими лучшими гонщиками. На секунду у меня снова всплыла последняя и робкая надежда.

– Видал? – спросил я Чудинова, протягивая ему бинокль. – Не на одной твоей Алисе свет клином сошёлся. Ты только погляди, как идёт!

Чудинов отвёл рукой протянутый ему бинокль, но сам не сводил глаз с лыжни.

– Что же, хорошо идёт, ходко... Ух ты, смотри, какой подъем берет! На седьмой километр пошла, а свеженькая, словно сейчас со старта. А в общем, мне до этого уже дела нет, – внезапно остывая, отрезал он.

Резко оттолкнувшись палками, Чудинов покатил вниз с холма. Я последовал за ним. Мы подъехали к группе зрителей, стоящих возле трассы. Тут был контрольный судья с секундомером. Увидев Чудинова, он поспешил к нему:

– Видал? Вот силушка! Подъем-то, подъем-то как взяла!

Один из болельщиков почтительно вмешался:

– Мне кажется, что данные есть, но техники маловато. Много времени на прямой потеряла. Куда ей до нашей Бабуриной!

Лыжница между тем с непостижимой быстротой вымахивала на крутой подъём вдали.

Я снова не выдержал:

– Нет, ты гляди, Степан, гляди, как идёт! Будто на разминку вышла, а ведь это уже последняя треть дистанции. Эх, такой бы ещё технику с хорошим тренером отработать! Я, конечно, не уговариваю, но на твоём месте, если б во мне оставалась хотя бы капля...

– Грубая, брат, работа, – остановил меня Чудинов, – зря стараешься, старик. – Он осторожно скосил глаза в сторону лыжни. – Да, идёт, конечно, неплохо, – ворчливо согласился он, – то есть просто здорово идёт! Задатки дай бог, но техника... – Он зевнул с подчёркнутым равнодушием. – От кого она, кстати, идёт? – И он потянулся к моему биноклю.

Пока я снимал с шеи ремень бинокля, передавал его Степану, а тот налаживал по глазам себе стекла, лыжница, уже унёсшаяся от нас на солидное расстояние, вышла на спуск. Мчась на большой скорости и, видно, пробуя спрямить немного кривую от флажка к флажку, она сделала рискованный разворот вокруг куста. Чтобы сохранить равновесие, гонщица слегка наклонилась в сторону и задела за куст. Я видел, как ветерок подхватил снег, облетевший с потревоженных сучьев.

– Так, – сказал Чудинов, отрываясь через секунду от окуляров бинокля, – номер пятнадцать. Ну-ка, погляди по списку... У тебя с собой? Сейчас узнаем, что за птица.

В списке под номером «15», как я уже видел раньше, значилось: «Наталья Скуратова, „Маяк“, Зимогорск». Но сейчас меня вдруг словно осенило. Я в один миг прикинул, что может получиться, если... И я уверенно сообщил:

– Это Авдошина... Зинаида Авдошина, город Вологда.

– Ага... Вологда, – негромко, про себя, заметил Чудинов.

– Сама судьба, – поспешил я, ведя свои сложные расчёты. – По моему, выбор теперь ясен. Ты же как раз решал, куда ехать: либо в Вологду, либо в Зимогорск. Перст судьбы указывает на Вологду.

– Да. Вологда, говоришь? – повторил задумчиво Чудинов. – Судьба, говоришь? Нет, старик. Вопрос решён, выбор сделан – твёрдо еду в Зимогорск, от греха подальше.

– Ну и шут с тобой, поезжай! От себя не уедешь! – крикнул я ему вдогонку.

Когда, спускаясь с холма, я в последний раз плюнул на трассу гонки, там произошла какая-то заминка. Я видел, как контрольный судья что-то кричал в рупор лыжнице, показывая ей, очевидно, что она срезала дистанцию и ушла за флажок. Кричали где-то зрители. И лыжница, застопорив на полном ходу, взметая целое облачко снега, растерянно оглядываясь, торопливо возвращалась обратно вверх по крутому снежному склону. По-видимому, она сбилась с трассы по неопытности или слишком увлѣкшись скоростью на повороте.

У финиша, где азартно толклись зрители, болельщики, лыжники и пробивались вперѣд фоторепортѣры, я услышал голос диктора, нѣсшийся из репродуктора на столбе:

«К финишу подходит под номером одиннадцатым заслуженный мастер спорта Алиса Бабурина. Спортивное общество „Маяк“. Сегодня Бабурина в третий раз выигрывает личное первенство. Правда, время, показанное Бабуриной, не выводит пока ещё „Маяк“ на первое место по командному зачѣту. Зимний кубок, по-видимому, опять остаѣтся у „Радуги“».

Пока ещё толпа не заслонила от меня черты финиша, я увидел, как Алиса, миновав заветную линию под аркой, разом как бы сникла и, совершенно обессиленная, с размотавшейся чѣлкой, прилипшей к мокрому лбу, почти падая, в полном изнеможении повисла на руках подбежавших к ней и успевших подхватить её под мышки лыжников. Да, что говорить, Алиса Бабурина умела, по выражению лыжников, выкладываться до конца, все ставя на карту и отдавая к финишу сполна весь запас сил.

Уверенно прокладывая себе дорогу в толпе, спешил Тюлькин.

– Ну, как на мази? – подмигивая, спросил он, нагнав Алису.

– Чудинов где? – спросила кратко, ещё тяжело дыша, Алиса.

– Виноват, меня вторично интересует, как на этом составе мази себя лыжи чувствовали. На правильный состав я попал?

– Мазь отличная. Спасибо, Тюлькин, только запах какой-то мерзкий.

Тюлькин оскорбился:

– Кому запах, а для чутко понимающих, может быть, аромат. И я вам одеколону в мази подливать не обязан.

– Ты скажи лучше, где Чудинов? – устало переспросила Алиса. Несмотря на видимое торжество, она была явно расстроена.

– С ним простись, забудь навеки. Так и заявил, – отрапортовал Тюлькин.

– Коля, я тебя серьезно спрашиваю. Он, должно быть, сам меня ищет.

– Номером ошиблись, – съязвил Тюлькин. – Он, возможно, теперь пятнадцатый ищет.

– Пятнадцатый? Кто это? – удивилась Бабурина. – Зачем?

– Утешать и перевоспитывать собирается. Собрался за ней, по слухам, в город Вологду. У контрольного судьи спроси. Потом, кажется, раздумал, перерешил, изменил направление. Следует в Зимогорск, на Урал.

– Ничего не понимаю! – Алиса растерянно поглядела на Тюлькина. – Можешь ответить толком?

– Где уж нам уж, мы по хозяйственной части, а тут – психология, – парировал Тюлькин, постукав себя по лбу. – Вот обратитесь к нашему специальному корреспонденту, а я двинулся. Привет крупным шрифтом!

– Что он болтает? – обратилась Алиса ко мне.

– Да глупости. Ерунда все. Одно только верно: что Чудинов уезжает в Зимогорск. Решил окончательно.

– Но он видал, как я сегодня шла?

– Видал, по секундомеру прикинул.

– Ну что, недоволен опять?

Тон у неё сейчас был виноватый, и мне её даже стало немного жаль.

– Дело ведь не только в вас, Бабурина. Ему вообще стало казаться, что он уже дал спорту всё, что мог. А тут вы ещё на собрании, скажу вам честно, не очень-то тактично выступили. Пытались свалить на него все. Жаловались, что резок очень. А ведь вы знаете сами прекрасно, кто виноват и почему вы засиделись на старых показателях.

– Он одержимый! – быстро и зло проговорила Алиса. – Он способен загнать человека на тренировках. Чего ему ещё надо? Я опять сегодня пришла первой, а ему все мало. Упёрся в свой проклятый секундомер!



– Да ведь секундомер-то показал, что вы не вышли из тридцати девяти, как обещали.

– Ну, уложилась почти в сорок. Тоже неплохо. Другие ещё хуже. Не могу я ради его тренерского честолюбия превратиться в машину какую-то, от всего отказаться. Просто надоело! Нет, правда, Кар, вы должны меня понять. Я так больше не могу. Из-за каждой рюмки случайной – драма; за покером лишний часок ночью посидишь – утром выговор, распеканция; папироску заметил – у-у! Мировой скандал... Он меня прямо истерзал этим режимом. Говорят, что я люблю лёгкую добычу. Ну неправда, сами видели – выкладываюсь вся, без остатка. Всё на карту! Когда финиш проскочу, так уж не могу на ногах держаться, «последняя из-не-моге», как сам Чудинов шутит. Когда я на лыжне иду к финишу, для меня нет ничего больше в жизни, ну, а уж в жизни-то, извините, у меня не только одна лыжня, могу себе позволить и другие радости. Понятно вам это?

– Но, по мнению Чудинова, накопить-то вам в себе того, что требуется выложить, надо гораздо больше. Вы идёте без запаса, только, на пределе, держась на технике и на самолюбии. А спорт, как я понимаю, – это прежде всего здоровье, сила. Вы же все растрачиваете впустую, не соблюдая режима, и не тренируетесь, в расчёте на счастье, на везение ваше.

– Ну ладно, – прервала меня Алиса. Она уже пришла в себя и, подняв свой остренький подбородочек, передёрнула плечами под накинутой изящной шубкой. – Хватит. Мне все это, как говорится, в грамзаписи слышать уже не так интересно. Извините, я всё это слышала из первоисточника и, если захочу, – услышу ещё десять раз.

– Нет, Алиса, в том-то и дело, что больше уже не услышите.

Неподалёку от грелки-раздевалки лыжной станции я нагнал двух девушек, которые медленно брели, вскинув на плечи связанные лыжи. На девушках были одинаковые лыжные костюмы с лучистыми эмблемами «Маяка» на рукавах. У обеих были понурые спины побеждённых. У одной был номер «7», а у другой, более рослой, – «15». Я узнал в рослой лыжнице Наталью Скуратову, а под номером «7» в стартовом списке значилась Мария Богданова, землячка Скуратовой, лыжница из того же зимогорского «Маяка». Девушки медленно шли прямо по снегу, не разбирая дороги и негромко

переговариваясь. Я слегка задержал шаг. Маленькая Маша Богданова причитала своей уральской скороговорочкой:

– Опозорились мы, Наталья, с тобой на всю Москву. Кое смех, кое плач... – Она всхлипнула.

Спутница недовольно повела высоким плечом, поправляя лежащие на нём лыжи.

– Брось, Маша! Москва-то, однако, слезам не вери-ит. – Голос у неё был глубокий, грудной, а говор тоже уральский, притокивающий, быстрый и с неожиданными вопросительными интонациями там, где привычнее было бы слышать утверждение: «Москва-то слезам не вери-ит?»

– Да, тебе хорошо, – сказала подруга. – Ты хоть с дистанции сбилась, какое-никакое оправдание есть, и пришла во второй десятке, а я... – Она только рукой махнула.

– А ты какая?

– Двадцать девятая.

– Ну ничего, Машуха, за тобой ещё тридцатая осталась.

– Ты уж всегда утетишь! Интересно знать, что бы ты тридцатой сказала?

– Я бы сказала: «Ну вот, хорошо, для ровного счёта и вы».

Обе невесело и коротко рассмеялись.

– Ох, оплошали мы с тобой, Наташа! – убивалась маленькая лыжница. – Как же теперь в Зимогорске покажемся? Засмеют.

– Ну и пусть, если кому смешно покажется. – Скуратова сердито тряхнула прядкой, вылезшей из-под шапочки. – А я предупреждаю, однако: больше меня ни на какие соревнования калачом не сманишь. Все. Я с этим покончила, понятно-о?

Ух, как накатисто, по-уральски прозвучало у неё это последнее «о»! Маленькая вскинула на неё испуганные глаза:

– Ты что, Наталья? А как же зимний праздник? Гонки-то на руднике! Ты же у нас в городе первое место держишь. Команду подвести хочешь, да?

– Хватит с меня! – И Скуратова перебросила лыжи на другое плечо. – Я с лыжни сошла навсегда. Решила, и конец. Кажется, знаешь мой характер?

Маленькая закивала совершенно сокрушённо:

– Знаю. Характер ваш, скуратовский, самый окаянный. Лешманы!

И они скрылись за дверью раздевалки.

### **Глава III**

#### **Зимогорцы – старые и малые**

Удивительно быстро разрастался Зимогорск! Ещё перед войной не было и города такого на карте. Только на детальных десятивёрстках помечен был старый зимогорский рудник, где промышляли старатели. Но оказалось, что зимогорская руда наделена ценнейшими качествами. И, когда в великом переселении промышленности на восток, сюда, за Уральский хребет, в первые годы войны перебирались большие южные заводы, очень кстати и в самую пору пришлась зимогорская руда. Правда, для того чтобы годна она была в дело и утолила нужды перекочевавших сюда предприятий, требовалось обогащать её – из горы поступала она не той кондиции, которая требовалась промышленности. И выросла возле рудника на склоне той же горы, только пониже, и в сроки, сперва даже ошеломившие местных несколько медлительных, к таким темпам не привычных жителей, большая обогатительная фабрика. Там руда отсортировывалась, подвергалась концентрации, в отсадку, а все лишнее, ненужное шло в отвал. А вокруг фабрики стал стремительно расти, раскидываясь по крутым взгорьям, пробиваясь сквозь лес, новый город.

Мне не раз приходилось бывать в Зимогорске. Сперва жизнь тут была нагой, как схема, которая давала лишь самые первичные очертания возникавшему городу. Улицы размечались в густом сосновом бору, который подступал к самому руднику. Часто они назывались уже улицами, но это были ещё просеки, так же как поляны в лесу несколько преждевременно именовались площадями. И зачинавшаяся в городе жизнь вся была наружу... Везде были видны каркасы будущих зданий, ещё не обросшие кирпичной кладкой, или деревянные остовы, пока ещё не зашитые тёсом; трубы водопровода шли по открытым траншеям, воду разбирали прямо на улицах у колонок. Тут же, на улицах, дымились временные очаги, сушилось стираное белье перед лёгкими бараками или землянками. Казалась вывернутой прямо на улицу и вся торговля – магазинов ещё не было, торговали с открытых лотков или в палатках. Даже лампочки,

которыми теперь освещался строившийся город, были лишены колпаков и горели прямо на столбах каким-то зябким, голым, неуютным светом. Дома отстояли далеко друг от друга. Между ними напирала густая зелень не желавшего отступать леса. Город только начинал вращаться в него.

Но когда я попал в Зимогорск всего лишь через год, жизнь здесь уже прочно обосновалась, все вокруг стремительно обстраивалось, крылось, огораживалось, вбиралось вовнутрь. Товары лежали уже не на лотках, а за витринами магазинов, вода вошла в дома, трубы скрылись под землёй, земля оделась дощатыми или кирпичными тротуарами. Лампочки на уличных столбах горели уже в колпаках, а белье сушилось на балконах или во дворах, которые сомкнули дома в один уличный порядок и превратили проходивший возле рудника большой тракт в обстроенную с обеих сторон городскую магистраль.

Но упрямая и своенравная природа Северного Урала не смирялась. С гор, гонимые сибирским ветром, сыпучие, как дюны, двигались зимами снежные сугробы. Они наваливались на окраины городка, вторгались в улицы, подступали к самому центру, где уже сияли по вечерам на площади Ленина огни кинотеатра «Руда» и достраивалась гостиница «Новый Урал». Так свирепы и снегообильны бывали порой метели, что заметали городок до крыш, и приходилось прокапывать иной раз дорогу возле городских учреждений, отбивать с лопатами в руках наступление снегов на город. И, может быть, потому, что такой снежной стояла тут всегда зима, город ещё в бытность небольшим рудничным посёлком славился во всей округе своими лыжниками, охотниками и скороходами. Из-за них и прослыл новый город Зимогорск во всей округе гнездом покорителей снегов, неутомимых гонщиков на дальние дистанции.

Чаще и чаще стали появляться на Уктусских горах за Свердловском в дни всеуральских зимних спортивных праздников коренастые и рослые зимогорцы, которым иной раз уступали лыжню именитые скороходы белой тропы. Однако ещё ни один алый свитер всесоюзного чемпиона не был привезён в Зимогорск его лыжниками. Чего-то не хватало для окончательного утверждения спортивной славы Зимогорска его выносливым гонщикам и гонщицам. Это не мешало уральцам считать Зимогорск городом больших надежд, а самим зимогорцам гордиться уже немалыми победами своих

лыжников на областных соревнованиях. И в дни народных праздников в колоннах зимогорских демонстрантов мимо дощатых трибун на площади Уральских партизан несли почётные спортивные трофеи, вымпелы, кубки, ларцы, завоёванные зимогорцами на снежной дорожке.

Знаменит тут был особо клуб «Маяк», созданный ещё при зимогорских рудниках. Добрые две трети местных призов хранились в этом клубе в стеклянном шкафу, под спортивным знаменем, на голубом фоне которого была изображена стройная алая башня, мечущая снопы золотых лучей в обе стороны. На заманчивый свет «Маяка» слетались лучшие лыжники из всей округи. Горы, окружающие Зимогорск, были необыкновенно удобны для проведения сложных лыжных кроссов и соревнований слаломистов, ветром проносящихся меж красных флажков по каверзно размеченной молниеобразной трассе. Тут же, на замёрзшем горном озере, встречались зимой конькобежцы и хоккеисты.

И давно уже мечтали зимогорцы, что спортивная слава их города разнесётся по всей стране, что москвичи и ленинградцы, вологодцы, горьковчане уступят не один алый свитер всесоюзного чемпиона зимогорским лыжникам. И кто знает, может быть, наступит когда-нибудь давно загаданный день, когда мощные производственные успехи зимогорцев, передовиков рудника и обогатительной фабрики, спортивные победы зимогорских лыжников и прочие заслуги местных жителей будут наконец всеми признаны и именно здесь, в Зимогорске, станут проводить большую зимнюю спартакиаду – розыгрыш традиционного хрустального «Кубка Зимы».

С ревнивой надеждой ждали и сейчас в Зимогорске результатов лыжных гонок под Москвой. В своих пылких ожиданиях зимогорские болельщики рассчитывали прежде всего на отличные результаты общей любимицы, местной чемпионки по лыжам Наташи Скуратовой. Рослая, на первый взгляд даже чуточку тяжеловатая, женственно застенчивая в жизни, воспитательница из лесного детского дома-интерната становилась неузнаваемой, едва выходила на дистанцию. Тут ей не было равной во всей округе, и она поистине превращалась в полновластную «Хозяйку снежной горы», как прозвали её с лёгкой руки одного из восхищённых и красноречивых болельщиков. Конечно, знали в Зимогорске, что есть в Москве «шибко ходкие» гонщицы.

Особенно много говорили о далёкой, но от этого не ставшей менее опасной москвичке Алисе Бабуриной. Имя её то и дело появлялось в центральной спортивной печати. Однако местные любители спорта были убеждены, что встретиться Скуратова с Бабуриной на лыжне – не ударит лицом в снег хозяйка белых уральских круч.

(Начиная с этого момента повествование Карычева ведётся двояким образом: то как непосредственное свидетельство очевидца, каким он сам являлся, то так, будто он восстанавливает в воображении все происходившее по сведениям, которые ему удалось раздобыть. Когда я указал автору на это, он упрямо твердил, что все описанное им построено на фактах, что он ничего не придумывал... А если он описывает то, чему не был свидетелем, то, значит, он обо всём этом узнал от участников событий, тщательно и кропотливо, день за днём установив те происшествия, о которых говорит. И в конце концов я решил, как уже сказано выше, оставить повествование таким, каким вёл его сам Карычев в своей рукописи. Ведь автора надо осуждать или оправдывать по законам, которые он сам для себя устанавливает в данном произведении. – Л. К.).

В день возвращения из Москвы команды зимогорских лыжников Никита Евграфович Скуратов, в прошлом рудничный старатель, заядлый таёжный охотник, бригадир горняков, багермейстер, а ныне воспитатель юных ремесленников при руднике, с нетерпением спешил домой. Обив на пороге крыльца снег с чёсанок, он вошёл в бревенчатый, крепко, на старый уральский лад, срубленный дом, подаренный ему за многие заслуги городом.

Жена, аккуратная, миниатюрная, сама такая же вся прибранная, как горница, на стенах которой висели почётные грамоты Никиты Евграфовича, сына Савелия – рудничного техника – и спортивные дипломы Наташи, расставляла тарелки на столе, застланном праздничной скатертью.

– Здорово, мать! – пробасил Никита Евграфович своим рокочущим низким голосом, не очень подходящим к его небольшой, коренастой фигуре; такая октава была бы под стать и великану. Он повесил полушубок и вошёл в горницу. За столом уже сидел сын Савелий. Он недавно вернулся с действительной службы в армии и ещё не спорол петли для погон с гимнастёрки.

Вазочка с вареньем, свежие шанежки, миска с мочёными яблоками посреди стола – всё говорило о том, что в доме ждут гостью. Но дочери не было.

– А Наташка где? Самолёт-то московский давно пришёл. Я видел, физкультурники с аэропорта ворочались с музыкой.

Савелий отложил в сторону газету, которую читал:

– Музыке-то играть нечего, отец. Оплошали там, говорят, наши, – Быть того не должно! Москва, конечно, город центральный, однако против наших на лыжах сроду не выстоит. Не свычны они.

– Да будет тебе, старый! – вмешалась мать. – Выстоят, не выстоят! Вот приедет Наташенька, тогда и узнаешь, как они там управились, в Москве. Как раз к свежим шанежкам поспеет.

Савелий, принимаясь снова за газету, иронически усмехнулся:

– Только она к твоим шанежкам и спешит. Нашла чем утешить. Там им, верно, банкеты в Москве задавали, «Метрополь», «Националы», соус метрдотель, как нам, когда на слёт ездили. А ты – шанежки!

Кто-то сбил снег у крыльца и постучался в дверь. Мать кинулась к порогу:

– Наташенька! Ну вот, хорошо, слава тебе господи!..

Но в дверях показался молодой парень в чёрной ушанке и форменной шинели, которая, видно, досталась ему после ремесленного училища и сейчас была уже порядком тесна.

– Добрый вечер, Никита Евграфович! И Антонине Капитоновне уважение моё! Здоров, Савелий!

– Заходите, заходите, – пригласила мать, подвигая гостью табурет, – С чем пожаловал? – поинтересовался Скуратов, оглядывая вошедшего.

– Я к Наташе вашей, дядя Никита, из редакции я.

– Погодь, паря, – остановил его Никита Евграфович. – Это каким же таким манером, однако, из редакции? Ты же на руднике у меня в ремесленном учился, на багермейстера пойти мне обещался.

Паренёк смущённо комкал шапку. Он весь зарделся – от шеи до подстриженных по-спортивному висков, над которыми смешно торчал в разные стороны боксёрский хохолок.

– Да я на руднике и работаю, Никита Евграфович. Только я в литературный кружок записался, стал собственным корреспондентом

в редакции, в «Зимогорском рабочем». Вот, пожалуйста, удостоверение.

Он встал с табуретки, пододвинутой к нему Савелием, порылся в кармане, вытащил небольшую картонную книжечку, а потом, ещё более смущаясь, вытянул из нагрудного внутреннего кармана вчетверо сложенную газету.

– А вот в газете заметка моя, можете посмотреть.

Скуратов взял газету, расправил её твёрдыми, негнушимися пальцами, отставил подальше от глаз, на всю длину руки, слегка избычился, читая:

– «Дорогу молодым!» Фельетон До-Ре-Ми. Так то, однако, написано «До-Ре-Ми». А тебе разве так фамилия?

– Да нет, – заспешил, уже окончательно свариваясь от смущения, паренёк. – Я Ремизкин, Донат Ремизкин, вот и получается: До-Ре-Ми.

– Псевдоним, – понимающе протянул, упирая на «о», Савелий. – Понятное дело. Это как в Москве. Кукрыниксы есть, тоже по началу фамилий пишутся. Так втроём сроду и работают. В «Крокодиле» пробирают кого надо с песочком по международной политике.

– Так трое! – усомнился Скуратов. – А ты управляешься один-то за троих? Ишь ты, До-Ре-Ми! Ну, садись, До-Ре-Ми. Чего утвердился-то стоя? Сядь, говорю! Мать, угости шанежками-то. Ну, стало быть, однако, ты что же про Наталью-то нашу писать собрался?

Ремизкин встрепнулся, вскочил было, но снова сел:

– Да, во-первых, беседу хотел взять, какие впечатления о Москве и какие будут насчёт гонки на рудниках её прогнозы.

– Так ведь не приехала, однако, Наташенька, – сказала мать.

Ремизкин недоверчиво уставился на неё:

– Как же, я её в аэропорте издали видел, только она – сразу в автобус и разговаривать не стала.

Все растерянно переглянулись.

– Выходит дело, вместо прогноза получается заноза... – протянул Скуратов.

С ещё большим нетерпением ждали в этот день Наташу Скуратову на другой окраине Зимогорска, примыкающей к густому сосновому бору. Два ярких шарообразных молочно-белых электрических фонаря освещали крыльцо хорошо срубленного



бревенчатого двухэтажного здания с вывеской «Зимогорская школа-интернат».

Нелегко было вернуться сюда после того, что произошло в Москве... Небось ждут не дождутся, когда приедет тётя Наташа, и уже заранее предвкушают, как будут, передавая из ладошки в ладошку, не дыша, рассматривать золотую медаль, как будут любоваться снимком хрустального кубка. Как же сказать, как объяснить им, особенно Сергунку Орлову, так убеждённому в её непобедимости, что не оправдала их надежд тётя Наташа, оплошала в Москве и возвращается ни с чем, раз навсегда закаявшись пытаться своё счастье на большой лыжне. А как нахваливали, как уговаривали никого не бояться! Где, мол, тонконогим москвичкам, модницам-накаблучницам угнаться за Хозяйкой снежной горы. Чуть было не поверила, дура! Вот тебе и московские фу-ты ну-ты, ножки гнуты, каблук рюмочкой! Ну, теперь все, раз и навсегда!

Наташа решительно поднялась на заснеженные деревянные ступеньки крыльца, поставила чемодан, огляделась, вздохнула, на секунду задумалась и энергично дёрнула рукоятку звонка.

Тотчас же из-за дверей послышался знакомый хрипловатый и низкий голосок:

– Кто там?

– Открой, Сергунок, это я, – шепнула Наташа, почти приложив губы к дверной щели.

И дверь тотчас же распахнулась. Накоротко стриженный, круплолобий, тугощекий крепыш вылетел из неё и бросился на шею Наташе. Он был тяжелехонек. Наташа невольно пригнулась, когда мальчуган повис на ней. А за Сергунком вывалились прямо на мороз, купаясь в облаках пара, ребяташки – мальчата и девчурки, одетые в синие матроски. «Ишь ты, даже в праздничное вырядились ради меня!» – успела заметить Наташа.

Обнимая по очереди ребят и одного за другим вталкивая обратно в дверь, откуда валил паром тёплый воздух, Наташа сердито приговаривала:

– Что вы! Что вы на мороз выскочили?! Живо, живо марш в дом! Простудиться захотели? Сергунок, кому говорю?!

А вокруг неё всё прыгало, скакало, повизгивало, все лезло обниматься, тыкалось в щёки, губы, подбородок, совалось под руки,

искало немедленного прикосновения.

– Тётя Наташа приехала! Тёточка Наташечка вернулась!..

А Сергунок, уцепившись за рукав Наташи и протискиваясь с нею вместе боком в дверь, чтобы как-нибудь не отпустить её от себя, заглядывал в лицо и все спрашивал:

– Тётя Наташа, а тетя Наташа, ты кубок привезла? Он у тебя где?.. В чемодане? А где медаль? Покажи...

И вместе с другими мальчишками он тащил чемодан из рук Наташи, спотыкаясь, путаясь у неё в ногах и всем мешая.

– Тётя Наташа, а тетя Наташа! А я тоже всё время тренировался и новый поворот выучил прямо на ходу, вот так – смотри!

Отпустив Наташу, продолжая одной рукой держаться за чемодан, он попытался сделать прыжок с поворотом в воздухе и шлёпнулся на пол под общий хохот ребят. Встал, легонько сопя, деловито отряхнулся, успел ткнуть локтем под бок кого-то из насмешников, пробурчал басом:

– Чего, однако, гогочете-то? Разок на разок не сходится.

– А ты и в прошлый раз на дворе носом тюкнулся, ещё прямо в сугроб даже, – ехидно заметила одна из девочек.

– Ну, а в следующий раз выйдет, обожди!

– Тётя Наташа, – спросила девочка, которая только что поддразнивала Сергунка, – тётя Наташа, вы в Москве всех перегнали?

Сразу стало совсем тихо. Наташа видела, с какой верой и азартным предвкушением смотрят на неё ребячьи глаза.

Она отвечала негромко, но спокойно:

– Нет, Катенька, всех перегнала Алиса Бабурина, чемпионка Советского Союза.

Ребята деликатно промолчали. Физиономии у них были расстроенные. Они напряжённо вглядывались в лицо воспитательницы.

– И вас она перегнала? – очевидно ещё не веря, пыталась уточнить Катя.

– Да, и меня.

– На чуть-чуть? На вот столечко? – ещё надеясь на что-то, спросила Катя.

– Да нет, порядочно.

Все опять немножко помолчали. Сергунок с тремя другими мальчиками всё ещё держал на весу Наташин чемодан. Теперь они осторожно и неслышно поставили его на пол. Внезапно Сергунок мотнул стриженной головой:

– Ну и что же, разок на разок не сходится. А в другой раз, однако, вы всех перегоните. Да, тётя Наташа?

– Нет, ребятки, – медленно, очень медленно, чтобы самой вслушаться в каждое слово, сказала Наташа, – я больше никогда на гонки не пойду. С вами вот ходить на лыжах буду, а на гонки – нет.

А с лестницы спускалась дородная прямая Таисия Валерьяновна, заведующая интернатом.

– А я слышу, дверь хлопнула, шум такой, а потом вдруг тихо так. Что такое, думаю. А это ты, Наташенька. Здравствуй! Соскучились по тебе. Верно, ребята? Ну, что молчите? Не рады, что ли? Только и слышно было: когда да когда тётя Наташа приедет? А приехала – радости не вижу. – Она не спеша подошла к Наташе, расцеловала её в обе щеки. – Ну, как там, в столицах, отличилась, рассказывай.

Наташа молчала.

– Да что вы все словно чудные какие-то? – Таисия Валерьяновна внимательно заглянула в лицо Наташе, а потом ребятам.

Но все молчали.

## **Глава IV**

### **Инженер Чудинов прибыл в ваше распоряжение**

Так почти одновременно оставили спорт, как говорится – сошли с лыжни, подававшая такие большие надежды и слывшая у себя в городе непобедимой Наташа Скуратова и некогда знаменитый лыжник, бывший чемпион страны, а затем известный тренер Степан Чудинов. Тщетно было отговаривать его, по крайней мере сейчас. Он поступил так, как решил. Я лишь постарался ещё больше утвердить его в сделанном им выборе. Конечно, Зимогорск, а не Вологда. Именно Зимогорск – глухое, почти таёжное место, где на лыжах, как я уверил моего друга, ходят только охотники, а о настоящем спорте вообще ещё ничего пока не слышно.

Я понимал, что обманываю друга, который, зная, как много мне приходилось таскаться по стране благодаря моей профессии

разъездного корреспондента, полностью доверился моим географическим познаниям. Но, признаться, совесть не очень терзала меня. Я поступал так в интересах отечественного спорта и самого Чудинова, ибо считал решение его сойти с лыжни временной блажью. Меня несколько обнадёживало то хорошо всем нам знакомое выражение сдержанного восторга и нетерпения, которое промелькнуло на деланно-бесстрастном лице Степана, когда он на гонках в Москве глянул в бинокль в сторону уходившей Скуратовой. Ведь должны же они были встретиться там, в Зимогорске, и, по моим расчётам, довольно скоро... Ну, а дальше видно будет. А там за семь бед – один ответ...

Я принял от моего друга на временное хранение его коллекцию зажигалок и всяких других огнедобывающих игрушек и проводил его в Зимогорск, обещая в скором времени навестить туда во время одной из ближайших корреспондентских своих поездок, чтобы поглядеть, как идёт там строительство... Пожелал Чудинову удачи на новой, вернее – на старой, стезе, куда тот теперь полностью вернулся как инженер-строитель и архитектор.

– Я всегда знал, что ты мне настоящий друг! – сказал на прощание растроганный Степан.

– Можешь быть уверен, – отвечал я.

Но боюсь, что некоторые сомнения в точности моих сообщений зашевелились в душе моего друга тотчас же по его прибытии в Зимогорск.

Узнав, что гостиница «Новый Урал» находится неподалёку от вокзала, Чудинов пошёл туда пешком. Настроение у него было отличное. Раненая нога в последние дни совсем не ныла, чемодан казался лёгким, и Чудинов, полный ощущения заново начинающейся для него жизни, насвистывая, просторно шагал по дощатым, очищенным от снега тротуарам Зимогорска. День был погожий, яркое зимнее солнце заливало холодным и слепящим светом заснеженный городок. Из-за домов, ладно срубленных из мощных стволов, глядели высокие ели, за которыми круто вздымались горы. Казалось, что тайга и горы обступают городок со всех сторон. За зубчатой стеной бора полого уходил склон большой горы, изрезанной ущельями и оврагами, над которыми нависали карнизы снеговых наносов. Между стволами

ближних елей и высоких мачтовых сосен видны были фабричные трубы. И над городом пели гудки. Далёким шмелём жужжал один, звонко трубил другой, откуда-то из-за леса доносился тоненький гудок третьего – видимо, кончалась смена.

Чудинов шёл, с весёлым любопытством читая названия улиц, выведенные на аккуратных дощечках. Всё говорило о том, что городок совсем молод и очень гордится тем, что уже может называться городом. Но выдавали его недавнее прошлое, когда он был лишь всего-навсего лесным посёлком при руднике, те же самые таблички на углах и перекрёстках улиц. Многие из них ещё не успели переименоваться в улицы и продолжали называться по-прежнему, по-лесному: Большая просека, Дровяная поляна, Сибирский тракт, Глиняная горка... Наблюдательный глаз Чудинова в расположении и названии улиц читал историю городка и уже угадывал, в каком направлении пошёл он строиться. Вот здесь, очевидно, город начинался у рудничной горы, и называлось тут ещё многое по старинке. Вот улица Большая Кутузка, а есть, должно быть, ещё и Малая. Осторожный переулок, Шоссе колодников. Тут, видно, проходил когда-то этап и звенели кандалы... Казённая улица, Шалыгановка. Здесь, должно быть, немало было пропито последних грошей... Болотная, Погорелая, Оползённый переулок, Приказчикова дача. Ну и, конечно, были тут улицы Барачная, Больничная, Кладбищенская. А вот здесь, видно, город стал пробиваться сквозь тайгу и горы. Лесной взвоз, Пустая улица – верно, была когда-то раскорчёвана и не сразу застроилась. А вот пошла уже и культура; Водопроводная, Школьная, Электрическая, Библиотечный переулок и, конечно, широкая площадь Ленина. Туда выходили старая, недавно ещё переставшая быть просекой, а теперь уже улица Емельяна Пугачева и проезд Джордано Бруно. То были неповторимые следы первых памятных лет Октября. А вот это уже совсем недавнее строительство: Кирпичный проезд, Эвакоградская, видно, селились тут эвакуированные вместе с заводами. И тут же шли улицы Киевлянская и Москвичева, и вели они к большому скверу Победы, от которого начинался вид на Новорудничный проспект.

Так открывалась перед Чудиновым молодая и своеобразная история городка.

Навстречу пронеслась по обочине улицы группа ремесленников в чёрных шинелях. Они катили на лыжах парами. Их сопровождал,

тоже на широких охотничьих лыжах, пожилой воспитатель в светлых чёсанках и меховом треухе. Обгоняя приезжего, скользил вдоль дощатого настила солидный служащий. У него были короткие лыжи, а на груди он повесил при помощи особой ляжки портфель, чтобы не мешал работать палками на ходу.

Румяная молодуха, должно быть домовитая хозяйка, легко пересекла на лыжах путь Чудинову. За спиной её погогатывал гусь, голова которого торчала из-под клапана вещевого мешка.

Чудинов уже с некоторой насторожённости отметил про себя это обилие лыжников на улицах городка, который по его собственному выбору должен был стать отныне местом новой деятельности и убежищем от прежних увлечений. Налетевший порыв ветра сорвал с крутой крыши дома маленький вихрь снега, твёрдые снежинки и ледяшки застучали в афишу, наклеенную на огромном щите. Все более мрачней и уже охваченный недобрыми подозрениями, Чудинов прочёл:

«Скоро традиционная ежегодная гонка лыжных городских команд на дистанции: Зимогорск – Рудник – Аэропорт.

Участвуют команды: „Маяк“, „Радуга“, „Руда“ (Обогатительная фабрика)».

И тут, как впоследствии признался мне сам Чудинов, он уже окончательно засомневался в тех сведениях, которые я ему сообщил относительно Зимогорска. Поставив чемодан на снег, он ещё раз взглянул на афишу и стал скрести затылок под пыжиковой шапкой, сдвинув её на перед до самых бровей, что обычно не предвещало ничего хорошего.

«Да-а-а... Приехал, – подумал он и выругался. – Кажется, тут кое-что слышали о спорте. Эх, было б мне Вологду выбрать!»

И, решительно подхватив чемодан, он двинулся дальше. В конце концов, он совсем не обязан раскрываться перед местными спортсменами, с которыми не собирался заводить знакомства, что сам в прошлом имел кое-какое отношение к лыжам! Да никто его и не тянет за язык. А думать, что кто-нибудь из местных слышал его имя, не приходится: слишком много времени прошло с той поры, когда фамилия Чудинова гремела над всесоюзной и европейской лыжнёй. А как тренер... Впрочем, кто же помнит фамилии тренеров!

Он подошёл к большому двухэтажному зданию, часть которого была ещё в лесах. На лесах, окружавших вход, висело временное полотнище с надписью: «Гостиница „Новый Урал“». Огромная вертящаяся дверь, вероятно сенсационная новинка для этих мест и гордость строителей, приняла в свои стеклянные секторы приезжего и, мягко пахтая воздух, внесла Чудинова в холл.

Гостиница, по-видимому, уже обживалась, хотя ещё не была полностью достроена. В просторном холле-вестибюле носились запахи стройки, аромат хвои, терпкий душок свежей краски и линкруста, но уже натягивало из ресторана жилым кухонным духом, и лестница, ведущая на второй этаж, была застелена ковром, а возле стойки портье стояло чучело вздыбленного медведя, над которым простирала лапчатые листья пальма в кадке. Навстречу Чудинову из глубины холла выплыла женщина исполинского роста и могучего сложения. Она была на полголовы выше Чудинова.

– Вам, гражданин, кого?

Чудинов ответил, что прибыл в Зимогорск на работу из Москвы и, как ему сказали, должен временно, до предоставления квартиры, остановиться в гостинице. Он предъявил своё удостоверение и, с удовольствием прислушиваясь к собственным словам, повторил, что он инженер-строитель. Ему уже хотелось как можно скорее покончить со всеми формальностями, связанными с переездом, и взяться за дело, которому он теперь посвятит уже без всяких помех все своё время.

– Сейчас, обождите чуток, – сказала женщина, – я только немного тут приберусь. Уж эти мне тяжелоатлеты! Съехались на первенство района, а нет чтобы за собой снаряды убрать. Понакидают везде!

С устрашающим проворством она принялась хватать огромные литые гири и тяжеловесные штанги, толстые стальные блины, лежащие на полу. Их только сейчас разглядел Чудинов, войдя со света в полумрак холла. С изумлением следил он за богатырскими движениями этой поляницы, которая без натуги швыряла или откатывала снаряды в угол. Потом она вернулась к конторке.

– Теперь порядок! – произнесла она, слегка отдуваясь. – Ну, милости просим. Я тут комендантом работаю. Олимпиада Гавриловна меня зовут, но большей частью тётя Липа. Будем знакомы. – Она протянула свою могучую длань, которую с известной осторожностью пожал Чудинов. – Вы давайте ваш багажик, документики, пожалуйста,

оставьте, а я вам сейчас комнатку открою. Только извините, на двоих будет. Гостиница ещё не вполне вся открытая, пока у нас на манер общежития, временно, конечно. Ну, а куда что будете один жить, только в случае переполнения вторую койку заселим. Вы присаживайтесь. Можете вон там газетку почитать. Если желаете с дороги побриться, у нас парикмахер очень прекрасный из Мариуполя. Как эвакуировался в сорок первом, так и остался. Культурный такой, будет вам о чём с ним поговорить. Все, кто к нам бриться ходят, очень уважают. Дрыжик его фамилия, Адриан Онисимович.

Легко вскинув на плечо увесистый чемодан Чудинова, прежде чем тот успел что-либо сказать, она унеслась вверх по лестнице, Документы, выложенные Чудиновым на стойку, едва не улетели за ней – такое возмущение воздуха произвела она своими мощными движениями.

Через несколько минут Чудинов уже сидел в парикмахерской в кресле перед большим зеркалом, в котором через просторное окно за переплётом лёгких лесов отражались сугробы, ели на улице, редкие прохожие. Парикмахер Дрыжик, величественно-медлительный, с печатью интеллектуальной грусти на лбу, маленькими усиками и в несколько старомодном пенсне, сдвинутом к кончику носа и позволяющем смотреть поверх стёкол, работал над физиономией приезжего. В движениях бороды сквозило, несмотря на старательную деликатность жестов, некое искусно прикрываемое на миг пренебрежение: и не таких, мол, брить приходилось... Иногда, отложив в сторону бритву, он заглядывал в зеркало, склоняясь к нему, осторожно трогал кончиком мизинца прыщик на собственном подбородке и при этом продолжал вести неспешный, полный достоинства разговор, обращённый не к Чудинову, а преимущественно к отражению клиента в зеркале.

– Не горячо? – вопрошал он, продолжая мылить лицо Чудинова. – Надолго к нам? – Он посмотрел в зеркало и дождался, тюка отражение Чудинова не кивнуло ему. – Душевно рад. Полюбите город. Будьте уверены. Я когда сюда эвакуировался в сорок первом, тут фактически только посёлок был у рудника, а теперь – глядите! А руда у нас какая! – Он достал с полки, где стояли различные банки и флаконы, несколько маленьких образцов руды, – Вам, конечно, известно, какую роль она в войне сыграла? Да и теперь... – Он снизил



голос, почти перейдя на шёпот: – Это, конечно, не подлежит оплащению, но мы тут свои. А уж лыжники у нас – самородки буквально! Лыжами интересуетесь?

Чудинов решительно замотал головой, так что даже шматок белой пены слетел у него со щеки на халат парикмахера. Дрыжик озадаченно посмотрел на его отражение, даже голову приблизил к зеркалу, а потом, обернувшись, впервые внимательно взгляделся в лицо Чудинова, как бы не веря.

– Лыжами не интересуетесь? Интересный случай... Ну, знаете, это, будьте уверены, у нас заинтересуетесь. У нас к этому делу тут все пристрастные. – Он бросил помазок, принялся точить бритву о ремень, продолжая через плечо беседовать с отражением Чудинова в зеркале. – Я, если позволите так выразиться, тоже немного отношу себя к этой отрасли, в смысле спорта. Спрашивается, почему? – Намыленный Чудинов молчал, но парикмахер сделал вид, что слышит ответ. – Да, да, вот именно: почему? На то есть свой определённый ответ. В нашей стране должны быть люди, которые могучи душой и, так сказать, если позволите выразиться, телом. Ведь будет безусловно такое у нас общее развитие, что все станут могучие. Через чего? Через спорт, через науку и тому подобное. А вот в смысле наружности? Что же получается, я вас спрашиваю? Кто красоты от природы не имеет, тот, выходит, всегда будет отстающим в таком смысле? А вот тут уж являемся мы. Кто мы, спрашивается? Да, вот именно, кто?... Работники гигиены и красоты. Возможно, я ошибаюсь, но у меня сильно вокруг этого мысль крутится... Что это у вас здесь? Порез, шрам? Напрасно так относитесь. Я одному, тоже, между прочим, инвалиду, – Дрыжик понимающе плянул под кресло на ногу клиента, – тоже, я говорю, инвалиду, абсолютно его физиономию восстановил. – Он продолжал орудовать бритвой, – Беспокойства не ощущаете? Братся допускаете для упора? – Он осторожно взял Чудинова за кончик носа. – Человек вы молодой сравнительно... Если не ошибаюсь, холостой? Тем более надо к себе снаружи внимательно относиться. Могу дать крем, даёт сплаживание. Вы не подумайте, что это какое-либо такое я вам предлагаю, якобы в смысле: наше – вам, ваше – нам. Я это исключительно безвозмездно, лишь ради научного интереса, даже за посуду не беру. Я тут заодно всем спортсменам нашим мази особые

для лыж составляю. Секретную, по особому рецепту, таких нигде не найдёшь.



Он снова намыллил густой пеной физиономию Чудинова. В это время с улицы донеслись детские голоса, тоненько и старательно выводившие какую-то песенку. Чудинов увидел через окно, отражавшееся в зеркале, шедших парами ребятишек. Они были одеты все, как один, в оранжевые тулупчики и башлычки из верблюжьей шерсти. Это делало их похожими на маленьких гномиков. Старательно, с перевалочкой двигались ребята на маленьких лыжах.

«А вот и Белоснежка с гномиками спустилась с гор», – подумал Чудинов, увидев сопровождавшую ребят стройную лыжницу. Что-то неуловимо знакомое было в её фигуре.

Но Дрыжик проследил взгляд клиента, ещё раз беспокойно присмотрелся к нему и решительно схватил со стола пульверизатор.

– Освежить? – И, не дожидаясь ответа, он обдал лицо Чудинова распылённой струёй одеколona.

Тщетно тот пытался сказать что-то, жмурился, мотал головой, надувая щёки и плотно сжимая губы, – одеколон уже попал ему в рот.

– Попрошу минутку не открывать глаза! – донёсся до него голос парикмахера.

Звякнула какая-то склянка на полке, и Чудинов почувствовал, что остался один. Лицо щипало. Когда постепенно жжение утихло, Чудинов с опаской приоткрыл один глаз, потом второй. В зеркало было видно, как за окном парикмахер, выскочив на улицу, подбежал к лыжнице, сопровождавшей ребят, и настойчиво совал ей в руки какую-то банку. Девушка отмахивалась. Она стояла спиной к окну, и лица её сейчас не было видно. Но опять что-то неясно напоминающее о недавнем проступило в резком жесте, которым девушка отвела руку Дрыжика и двинулась с места. Однако тут все окно загородила тётя Липа, ворвавшаяся в парикмахерскую.

– Простите, Олимпиада... тётя Липа, – начал Чудинов, – а где этот самый ваш мастер красоты и гигиены?

Но тут тётя Липа, уже сама усмотрела через окно парикмахера, который продолжал виться возле уходившей лыжницы.

– Изверг он! Что он со мной делает! В одном халате... А здоровье у самого гриппозное!..

Она на минуту исчезла из парикмахерской и тут же снова вторглась обратно, почти неся на руках тщедушного Дрыжика. Парикмахер барахтался, дотягиваясь носками до пола.

– Состояние моего здоровья вас не касается, Олимпиада Гавриловна! – шипел он. – Меня тоже прощу не касаться, тем более публично.

Тётя Липа бережно поставила его на пол.

– Культурную. вы, кажется, должность занимаете, Адриан Онисимович, а в натуре у вас тонкости вот ни на столько! Ну и болейте, себе на здоровье! – И, махнув рукой, она рванулась из

парикмахерской, двинув на ходу стул, который отлетел от неё далеко в сторону и ещё скользил некоторое время по паркету, вертясь.

– Супруга? – деликатно осведомился Чудинов.

Парикмахер махнул на него салфеткой:

– Так просто, пристрастная почитательница. Веснушки я ей вывел, с того и пошло. А крема на неё вы знаете сколько требуется? – В сердцах он сдёрнул с Чудинова простыню. – Процедура вся. Крему не прихватите?

– Благодарю покорно, не требуется. – Чудинов, поглаживая выбритую физиономию, посмотрелся в зеркало. – Ну, теперь могу явиться пред грозные очи начальства. Управление строительства напротив?

Он вышел, слегка прихрамывая на больную ногу, которая после прогулки с вокзала вдруг стала слегка ныть. Парикмахер внимательно поглядел ему вслед.

– Да, ему не то что на лыжах – при здешнем профиле местности и пешком затруднительно. – Он взял со стола банку, бережно обтёр её салфеткой и поставил на полку, полюбовавшись сбоку и снизу то одним, то другим глазом этикеткой, где было чётко выведено: «Состав А. О. Дрыжика».

## Глава V

### Белы снеги, красна девица

*Белы снеги выпадали,  
Охотники выезжали,  
Красну девку испужали.  
Ты, девица, стой, стой!  
Красавица, с нами!  
песню пой, пой!*

*Из старой народной песни*

Прошла неделя-другая после возвращения из Москвы зимогорских лыжниц.

Наташа вела с прогулки своих питомцев в интернат. Так они гуляли каждый день после занятий, катались на лыжах с гор; ребята

ходили наперегонки друг с другом, но никто не напоминал Наташе о происшедшем в столице. Словно сговорились все. Она ценила это деликатное молчание. И вообще, то ли очень уж ожгло самолюбие местных болельщиков поражение их чемпионки в Москве и они сами не любили возвращаться к этому разговору, то ли решено было дать Наташе немного одуматься и не беречь её напоминаниями, только и в «Маяке» после двух-трёх попыток вытащить Наташу на тренировку к ней больше не приставали. Отец, Никита Евграфович, упрямо твердил, что виною всему московские судьи: сбили, мол, девку с трассы, придрались к пустякам, а тем временем чемпионка-то и опередила по времени... Он и сам пытался было уломать упрямую дочку, заставить её отказаться от нелепого решения сойти с лыжни, где на неё возлагали столько надежд, хотя, может быть, верно, даже чуток и перехвалили раньше срока. Но характер у Наташи был не мягче, чем у него самого, – скуратовский! И в конце концов отец отступился. «Придёт время, одумается девка, сама вернётся, потянет, – говорил он Савелию, – а переупрямить её и мне не под силу. Вся в мать пошла».

Наташу редко в чем-нибудь неволили дома. Она была любимицей в семье. Братья Савелий и погибший на войне в строю уральских гвардейцев Еремей были намного старше её. В семье уже и не ждали больше детей, и рождение дочки приняли как нежданную радость в доме. Однако очень не баловали: не заведено было у Скуратовых, чтобы попустительствовать всяким глупостям. Наташа с малых лет была приучена к порядку, твёрдо знала свои права и обязанности, не очень злоупотребляла первыми и не отвиливала от последних. Мать похваливала её за исполнительность, а что касается отца, то он уж совсем души не чаял в младшенькой... Чуть она подросла, отец, как мать ни сопротивлялась этому, стал брать Наташу на охоту, научил ходить на лыжах, простых и камысах, подклеенных шкурой, очень удобных для походов в горы: на спусках они отлично скользили по шерсти, а на подъёме не осаживались назад против волоса... А отец пошучивал, что и характер у дочки на манер камысов – против шерсти назад не сдвинешь, и, выходит, дело всё в том, чтобы колею свою знала: где с горки, а где и круто, да назад ни-ни.

Восьми лет Наташа легко обгоняла на лыжах не только всех своих сверстниц, но и старших подруг. Да и из мальчишек мало кто мог

угнаться за ней на лыжне. Вообще росла она девочкой сильной, не изнеженной, вся в крепкую скуратовскую породу – немножко своевольная, упрямая, но к капризам совсем уж не склонная. В школе с ней считались одинаково и девчонки и мальчишки. Обидчиков она не миловала, тем более что брат Савелий втихомолку показал ей несколько приёмов бокса. Но больше всего ребята ценили в ней твёрдость слова и справедливость. Её неизменно выбирали старостой класса, председателем совета отряда. Она была признанным коноводом в лыжных вылазках, пионерских походах и всяких других затеях, когда Можно было хоть на время избавиться от докучливой опеки взрослых. «Атаман-девка у вас растёт, – говорили соседи Скуратовым, – далеко о ней слышно будет». – «И-и, мы за славой не гонимся, бесславья бы не знать», – скромничала в таких случаях мать.

Наташа и сама никогда не задумывалась о том, что люди называют славой, и принимала уважение ребят и взрослых как сам собой сложившийся порядок. Но зимой 1941 года в ней впервые заговорило самолюбие. Его задели понаехавшие из Москвы ребята. То были дети рабочих и инженеров одного небольшого столичного завода, эвакуированного в Зимогорск. Наташе сразу они показались зазнавалами и всезнайками, самоуверенными и чересчур болтливymi. Люди, к которым с малых лет привыкла Наташа, никогда так много не говорили. А эти новички из столицы, едва освоившись на новом месте, стали трещать как сороки, заводить свои порядки в классе, не очень-то считаясь с признанным авторитетом старосты и председателя совета отряда. Особенно дерзко, казалось Наташе, вела себя Нонна Ступальская, дочка инженера, высокая и очень прямо державшаяся девочка, которую посадили как раз впереди Наташи. Все в ней раздражало Наташу: и как та вертела на уроке тонкой шеей, над которой уж слишком мудро, по мнению Наташи, какими-то вензелями были уложены косы, и как, обернувшись, смотрела она на Наташу из-под круглых, высоко поднятых бровей слегка прищуренными глазами, и как охорашивалась перед тем, как выйти к доске, когда её вызывали, и как охотно рассказывала она на переменах о своих московских знакомых, среди которых чуть ли не каждый был знаменитым киноактёром либо известным футболистом. И самое обидное было в том, что её все с интересом слушали, и постепенно эта долговязая болтунья стала чуть ли не первым человеком в классе. Она и гостинцы

для раненых в госпитале собирала, и на сборах выступала, и на рояле аккомпанировала, и сводки Совинформбюро в классе вывешивала. На Наташу она смотрела свысока, быть может, потому, что и в самом деле была на полголовы выше.

Наташа ревниво приглядывалась к ней и другим эвакуированным ребятам. Ей было обидно, что новички слишком уж много рассказывают про свою Москву, чересчур уж хвастают разными столичными достопримечательностями, но зимогорских красот не видят, не понимают и иной раз неуважительно говорят о городе, который вырос вместе с ней среди гор и лесов, отстроился и так похорошел за короткое время. А эти приехали на все готовенькое и ещё недовольны, что тут нет метро, планетария, только два кино и слишком холодный ветер. Подумаешь, неженки какие, дует на них!..

Но, когда стало известно, что новички из Москвы вызвались участвовать в традиционных, ежегодно проводимых в Зимогорске лыжных гонках между городом и рудниками и решили соревноваться с зимогорскими местными школьниками, Наташа поняла, что пришла пора проучить зазнаек. И где им было угнаться за природными уральскими скороходами! И эта длинная, бледная тянучка Нонна тоже записалась. Ну, пусть пеняет на себя.

Говорили, что Нонна Ступальская считалась у себя в московской школе одной из лучших лыжниц своего класса. Может быть... Но сильной и привычной к морозному уральскому ветру Наташе Скуратовой не стоило большого труда обогнать тоненькую москвичку и бросить её далеко за спиной ещё чуть ли не на самых первых порах гонки. Напрасно та напрягала все силы, чтобы хоть немножко удержаться за Наташей. Все попытки её были безнадежны и выглядели жалкими потугами по сравнению с тем уверенным шагом, которым победно вымахивала Наташа под восторженные овации зимогорцев. Торжество Наташи было столь же полным, как поражение москвички. Может быть, в тот день Наташа и отведала впервые хмельной сладости победы и славы.

Но, когда Наташа, румяная, торжествующая, возвращалась с гонок домой, у дома, где были расселены эвакуированные, она чуть не натолкнулась на побеждённую. Нонна сидела прямо на снегу, отбросив в сторону лыжи, и тихонько плакала, уткнувшись в колени. А рядом стоял её братишка, шестилетний Семик, тоже тощенький и

бледный. Он старался одной рукой приподнять за подбородок голову сестры, а другой все совал и совал ей надкусанную горбушку чёрного хлеба, смазанную повидлом.

Услышав шаги Наташи, он вскинул на неё сердитые глаза, а узнав, потупился, спрятал руку с хлебом за спину.

– Зачем пришла? – спросил он тихо. – Уйди... Это ты её нарочно так перегнула, назло... нарочно... Уйди... А то она не станет есть. Она мне утром свою порцию отдала. А я не знал совсем, что сегодня на лыжах...

Он помолчал.

– Тебе хорошо. У вас, мама говорит, от огорода картошка осталась. А у нас питание очень плохое, – сказал он совсем взрослому, – потому что мама больная, не работает и она карточку иждивенческую получает. А ты уж рада... Обогнала... Уйди!

Наташа, постояв немного над ними, не зная, что надо сказать, как помочь, тихо отошла, чувствуя себя в чём-то очень виноватой.

На другой день она дождалась у дома эвакуированных, когда выйдет гулять Семик, и краснея, хмурясь, ткнула ему в рукавичку ещё тёплую шанежку, которую дала ей перед уходом в школу мать.

Никто не мог понять, почему назавтра она решительно отказалась участвовать в лыжных состязаниях с соседней школой, а когда кончились уроки, дождалась у подъезда Нонну Ступальскую, сама подошла к ней и предложила идти домой вместе.

В ту зиму она часто ходила на лыжах с Нонной, но ни в одной гонке, как её ни упрашивали, не участвовала...

Она вспомнила обо всём этом сейчас, когда возвращалась с ребятами в интернат, потому что встретила с группой знакомых лыжников.

Они шли с тренировки, неся лыжи на плечах.

Маленькая Маша Богданова кинулась навстречу подруге.

– Наташка! Вот хорошо! А я к тебе собралась. Здравствуй, между прочим. – Они поцеловались. – А мы тебя с утра искали.

Наташа выпрямилась:

– Заранее говорю – нет.

– Что – нет? Ты выслушай сначала.

– Уже сто раз слышала. Сказала «нет», и все.



– Ну хорошо, – уговаривала Маша, – на тренировки не ходи, это твоё дело пока, там видно будет, но хоть в гонках участвуй. Ты что же, хочешь, чтобы мы знамя переходящее отдали?

Подошли другие девушки и лыжники, обступили Наташу:

– В самом деле, Скуратова!

– Брось, Наташа, упрямиться!

Розоволицый и очень курносый парень, физкульт-организатор, которого, вероятно, за то, что он отпускал кудрявую бородку, все в Зимогорске звали «дядя Федя», тенорком своим добавил:

– Не кругло у нас с тобой получается, Скуратова, не кругло!

Наташа посмотрела на него так, что он даже закашлял.

– А я не по циркулю живу, чтобы все кругло было. Это ты, дядя Федя, по циркулю да по линейке все заранее распланировал, во все колокола брякал, я тебе и поверила, а, однако-то, вышло, что мне до московских ещё семь вёрст пешком, да все лесом. Эх ты, теоретик!

– Позволь, позволь, Скуратова, – заторопился дядя Федя, – это уж ни к чему твоя такая косоцветка, совсем уж некстати. Я и сейчас ответственно скажу, что данные у тебя определённо есть, только техника немного отстаёт, и если тебе подзаняться...

Но Наташа перебила его:

– Дядя Федя и вы, ребята, девушки, я ведь вам уже двадцать раз сказала, что с лыжни я сошла и лыжню мою ветром занесло. Так и знайте.

– Дело твоё, Скуратова, только не одобряю. – Дядя Федя вздохнул: – Не с лыжни ты сошла, а к нам дорожку забыть хочешь. Пошли, ребята!

И лыжники ушли. Только Маша Богданова задержалась несколько, посмотрела ещё раз на подругу:

– И упрямая же ты, Наталья!.. – Внезапно она о чём-то вспомнила. – Ой, чуть не забыла! У нас в бюро новый начальник из Москвы, инженер-архитектор. Интересный такой, симпатичный... Молодой ещё... сравнительно, конечно... Только чудной такой и чуток хромый, почти незаметно. Мы его тоже на вылазку звали, а он говорит: «Куда уж мне, да и вообще, говорит, не интересуюсь».

Между тем в чертёжно-конструкторском бюро строительства, так называемом «Уралпроекте», Чудинов, облаченный в безукоризненно

белый халат, по-хозяйски расхаживал между наклонными столами, на которых были разложены чертежи, свитки ватмана и кальки. Он уже начал свыкаться с новым местом, дело шло на лад, у него установились добрые отношения с коллективом «Уралпроекта», народ тут работал все больше молодой. Новый инженер сумел так интересно рассказать о том, как будет строиться дальше Зимогорск, во что он превратится через несколько лет, он так смело развивал перспективы строительства на ближайшие годы, что сумел всех увлечь... Теперь даже самые скучные, рабочие чертежи каких-нибудь «пищблоков», «санузлов» казались людям в конструкторском бюро «Уралпроекта» деталями большого, по-новому осмысленного и действительно прекрасного дела, в котором почётно и радостно принимать участие.

Кроме того, новый начальник бюро предложил застеклить и развесить прямо на улицах, на стенах ещё кое-где сохранившихся, но предназначенных на слом жилых бараков чертежи с проектами жилых домов, административных зданий, школ, которые должны были возникнуть на теперешних задворках.

– Понимаете, друзья, – говорил Чудинов, – пускай люди ходят и заглядывают в эти проекты, как в окна, через которые им открывается вид на их завтрашнюю улицу... Будто бараки уже просвечивают насквозь и не загораживают нам будущего!

И действительно, возле проектов, вывешенных на Барачной улице, почти всегда толпился народ. Приятно было людям заглянуть в свой завтрашний день.

Сейчас в бюро все были погружены в работу. А чистота и белизна вокруг, по требованию нового начальника, были такие, что могли соперничать с безукоризненно ослепительной белизной снежных просторов, расстилавшихся за большими окнами чертёжного бюро. Вот туда, через эти просторы, к горам скоро будут проложены широкие и красивые проспекты городка, которые сейчас вычерчивались на ватмане, приколотом к доскам. Только один стол с чертежом все ещё пустовал. Чудинов посмотрел на часы:

– Опять Богданова после перерыва запаздывает! Уже третий раз на этой неделе. В конце концов мне это начинает...

Он хотел пройти к своему столу, но в это время услышал позади себя голос Маши Богдановой. Красная, только что с мороза, она уже сидела на своём месте перед чертежом.

– Степан Михайлович, у нас же тренировки перед гонками. Меня всегда отпускали. Я потом своё отработаю.

– Когда это – потом? Вот мы чертежи в управление задерживаем, до сих пор расчёты перекрытия клуба не сданы, а вы там гоняете где-то на лыжах, а потом начнётся гонка здесь. И видите, что у вас тут в прошлый раз получилось? Куда это годится! – Он сердито ткнул пальцем в один из углов чертежа, и бедная Маша стала ещё более красной.

А молоденькая чертёжница язвительно чётким шёпотом, который всегда бывает слышен как раз именно тому, кому его слышать и не нужно было бы, поделилась украдкой с соседом:

– Ведь ещё не старый, а такой сухарь!

На что сосед, долговязый, очкастый и необычайно волосатый, отвечал, загребая всей пятернёй свисшую на лоб прядь к затылку:

– Из зависти. Обидно, что сам не может.

Да, что делать! Как это ни грустно, Чудинов знал, что он уже прослыл в Зимогорске гонителем лыж, ненавистником спорта. Ах, чудачки, если бы они только знали!..

И вот наступил день из года в год неукоснительно проводимых массовых лыжных гонок по маршруту Зимогорск – Рудник – Аэропорт. На это состязание съезжались лыжники со всей округи. Трасса гонки пролегла сперва по узкой просеке через бор, примыкавший к городу, затем поднималась по крутогорью, петляла среди холмов и уходила в широкую, сильно пересечённую равнину, которая вела к полю аэропорта.

Все в городе с нетерпением ждали этого дня. Вероятно, единственный человек, который не проявлял никакого интереса к гонкам, был Чудинов. Безразличие его возмущало молодых сотрудников конструкторского бюро «Уралпроекта». Он не участвовал в спорах, тотчас возникавших, как только речь заходила о предстоящих гонках, а об этом только и говорили в эти дни в Зимогорске. Его, видно, очень мало трогало, что чемпионка Наташа Скуратова решительно отказалась выйти на старт... Впрочем, чего было ждать от такого преждевременно и непостижимо зачерствевшего сухаря?

Но если Чудинову не было никакого дела до предстоящих гонок, то был в городе человек, чья маленькая душа совершенно истерзалась ожиданием гонок, в которых по причинам, ему решительно непонятым, отказалась участвовать тётя Наташа. То был Сергунок. Он места себе не находил все эти дни. Ему казалось, что без тётки Наташи гонки вообще не могут состояться. Их непременно отменят. Сергунок был как раз в том возрасте, когда авторитет учительницы – первой в жизни – непререкаем. Он испытывал священный восторг перед её познаниями. Та, что задаёт уроки, знает все правила грамматики и арифметики, все буквы и цифры, может сложить мигом любое число и так же быстро вычесть одно из другого, та, что помнит наизусть столько стихов и песенок и к тому же лучше всех в городе ходит на лыжах, несомненно является самой важной фигурой в жизни! Сергунок считал Наташу самой красивой на свете, самой умной среди всех: выше её, храбрее и главнее не было вокруг никого. Дальше уже шёл разве только сам товарищ Ворошилов!

И вдруг такое... Сергунок уже достаточно горько пережил известие, что нашлись в Москве такие, что обошли тётю Наташу, и теперь, когда можно было, забыв про московские неприятности, снова восстановить доброе имя тётки Наташи, показать всем, что она такое на лыжах, сама тётя Наташа вдруг не захотела...

В день гонок, нарушая зарок молчания, который дали друг другу ребята в интернате, Сергунок неуверенно подошёл к своей учительнице:

– Тётя Наташа, а ты бы, однако, один разок только, последний, сегодня... А то у нашего «Маяка» знамя без тебя отнимут. Жалко же!

– А ты задачки к завтрашнему дню все решил? – спросила вдруг неумолимая Наташа.

Это был, конечно, запрещённый приём. Так кого угодно можно смутить. Сергунок надулся и мрачно покачал круглой стриженной головой. А тётя Наташа безжалостно продолжала:

– Нет? Ну, вот ты их и решай. А я буду решать сама то, что мне полагается, и уж ты мне ответа не подсказывай. Понятно-о?

Сергунок отошёл нахмуренный и смущённый, но через мгновение снова вернулся:

– А поглядеть без тебя нам можно, как пойдут? Хоть немножко?

И Сергунок неуверенно заглянул в лицо учительнице: не примет ли она это за измену ей?

Но Наташа равнодушно повела плечом:

– Гляди себе на здоровье.

День был воскресный, но ещё неделю назад в конструкторском бюро решили работать до конца месяца без выходных: подпирали сроки строительства. Однако, когда Чудинов пришёл сегодня в бюро, там не оказалось ни души. Под центральной люстрой висела на специально пристроенной рейке все объясняющая афиша:

«Все на лыжи! Сегодня гонки Зимогорск – Рудник– Аэропорт».

Чудинов поскрёб затылок, даже плюнул в сердцах. На минуту ему стало смешно. Кто, как не он, всю свою жизнь пылко, неутомимо и деятельно пропагандировал этот самый призыв: «Все на лыжи!» Ну вот, добился своего. Все на лыжах, а он тут один с незаконченными чертежами, которые нужно гнать к сроку.

За большим окном со сверкающим муаром морозной наледи на стекле гремели марши. Проплывали на уровне второго этажа за подоконником звезды на древках спортивных знамён. Команды шли на старт. Чудинов огляделся, убедился, что никого нет в бюро, подошёл к окну и, стоя за портьерой, осторожно, но критически посмотрел сверху на лыжников.

«Э! Техника! – отметил он по неисправимой тренерской привычке. – Кто же так ногу выносит? Идут, как по песку. Руками, руками энергичнее, ну! – Он спохватился. – Впрочем, мне-то какое дело?.. А хорошо бы сейчас... Товарищ Чудинов, призываю к порядку, отставить! – скомандовал он сам себе, как это он любил делать, и пошёл к своему столу, тихонько ругаясь по дороге: – Занесла же меня нелёгкая! Это просто какой-то район сплошной лыжни. Ну, Карычев, ну, старик, погоди у меня! Приедешь ты сюда, я тебя носом повожу по снегу этому, девственному, лыжниками не тронутому!» – Он расправил свёртывающийся в рулон плотный ватман, прикрепил его к доске, взял логарифмическую линейку, двинул шкалу. Как похожа была гладкая белая линейка с выпуклой продольной движущейся реечкой на лыжный след по снегу!..

Чудинов, уже не в шутку сам на себя рассердившийся, ударил кулаком по столу, потряс головой.

– Может быть, хватит на сегодня? – спросил он громко у самого себя и погрузился в работу.

Между тем на окраине городка уже давали старт лыжным командам, участвовавшим в гонках. Трасса проходила неподалёку от возвышенности, где стоял дом интерната. Вешки, воткнутые в снег, отмечали направление дистанции. Один за другим проносились мимо лыжники, а на холме группа ребятишек из интерната следила за проходившими внизу под ними гонщиками.

– Ничего идут наши, ходко, – заметил Сергунок со знанием дела, нетерпеливо переминаясь с лыжи на лыжу.

– А вон тётя Маша как пошла вымахивать! – восхитилась Катя.

Громким, подбадривающим визгом приветствовали ребята Машу Богданову, которая пронеслась под косогором, энергично действуя палками.

– Тётя Маша!.. Тётя Маша!.. – долго неслоь вслед лыжнице.

А потом вдруг всё стихло. Сейчас ребятам стало особенно обидно, что подруга тёти Наташи, которую та сама всегда обгоняла, уже промчалась, а тётя Наташа не захотела даже смотреть на гонки. Нет, Сергунку всё это стало совсем уж невтерпёж.

Сергунок презрительно посмотрел на ребят:

– А хотите, однако, я с горки разлечусь и её догоню? – И он постукал о снежный наст лыжами.

Катя косилась на него из-под башлычка укоризненно: – Ох, и шибко горазд ты хвастать, Сергунька! Не догонишь, однако. Спорим давай?

– Она кругом пойдёт, балочкой, а я знаю, как прямо можно. Хочешь на спор?

– А тётя Наташа тебе велела? Помнишь, как в прошлый раз увязался? Тебе мало попало?

– А вы тёте Наташе не говорите, ладно? Я ведь только провожу немножко, до рудника, и обратно ходу...

И, энергично действуя палками, умело развивая хороший ход, маленький лыжник всё быстрее и быстрее заскользил с холма, оставив на вершине его оторопевших от неожиданности ребят. Слегка растопырив ноги и присев, он обогнул кусты и через минуту потерялся за сугробами в снежной долине.

Чудинов продолжал работать за своим столом в бюро. Несколько раз он поглядывал на маленький репродуктор радиосети, но стойко отворачивался. В конце концов, не выдержав и ругательски себя ругая, он, как бы невзначай, воровато включил громкоговоритель.

«Сообщаем последние сведения с дистанции лыжной гонки», – донеслось из-за тюлевого экранчика репродуктора.

Чудинов невольно прислушался.

«...команда „Маяка“, ослабленная отсутствием своей сильнейшей гонщицы, несколько поотстала. В команде „Радуга“, тем не менее...»

Чудинов решительно выключил репродуктор.

Метель, как это часто бывает на севере Урала, ринулась на город неожиданно. Вдруг зазвенели, струясь между прошлогодними замёрзшими былинками, торчавшими из-под сугробов, змейками вьющиеся вихри позёмки. Вокруг кустов стало как бы начёсывать белую кудель наносов. Сразу наволокло откуда-то клочковатую облачную муть, закрывшую все небо, и без того короткий зимний день стал угрожающе меркнуть. Тревожно и зловеще заныли провода, ветер засвистел в пролётах мачт высоковольтных передач, шедших из города на рудники. Защёлкал, как кнут в воздухе, оторвавшийся с одного конца от стартового столба транспарант, и ветер прогнал по улицам первый, круто завившийся белый кубарь метели.

Не прошло и десяти минут, как все вокруг смешалось в холодном кипении взметённого снега, и все звуки утонули в нарастающем посвисте бурана.

Тепло и уютно было в этот час в чистенькой столовой интерната. Ребята кончали вечерний чай.

Наташа была в своей комнате. Она проверяла тетрадки. В глазах у неё рябило от толстых и тоненьких, старательно выведенных по косым линейкам кружочков, палочек, хвостиков, но привычный слух продолжал улавливать всё, что происходило внизу, в столовой.

Наташу не беспокоил ребячий гам, она даже любила его. Он казался ей естественным и необходимым, как постоянный шум леса за окнами интерната. Наташа по-настоящему любила ребят, это было у неё с детства. Она ещё школьницей любила возиться с малышами и потому считалась отличной вожатой младших классов. А тот, кто

любит по-настоящему детей, не ради забавы или нетрудного, преходящего умиления ими, понимает, что детям нужен шум, что постоянная тишина для них стеснительна. Наташа любила ребят, не принимала их мелкие провинности за неисправимую испорченность, маленькие уловки – за коварство, невольное слушание – за своеобразие. Она была строга с детьми, но умела всегда сказать всю правду, как порой ни трудна она была, и сама добивалась правдивого признания от любого неугомонного враля. Она твёрдо верила в чуткое и трепетное благородство взыскательной ребячьей души.

Сейчас внизу, в столовой, было почему-то слишком уж тихо. А Наташа знала, что тревожиться надо не тогда, когда в комнате, где много ребят, царит отчаянный шум, а именно в тех случаях, когда там возникает внезапная и противоестественная тишина. Тогда надо немедленно бежать туда, ибо, значит, там что-то случилось...

Наташа быстро спустилась в столовую, но там всё было в порядке. Некоторые ребята уже вставали из-за стола.

– Спасибо, тётя Наташа. Можно встать?

Наташа привычно оглядела стол, проверяя, все ли доедено, не припрятаны ли корочки под тарелками, как это делали некоторые баловники. И вдруг она заметила, что среди пустых приборов и порожних стаканов стоит один, полный молока, перед тарелкой, на которой лежит не съеденный кусок пирога и конфета «Мишка на севере».

– Ребята, кто это молока не пил? – спросила она.

Дети молчали. Катя, по школьной привычке, подняла руку, хотела что-то сказать, но вдруг полные губы её жалко вытянулись, скривились, и она громко заплакала.

И тут, словно по команде, заревели, все, кто был в столовой. Ребята ревели громко, хором, с ужасом глядя сквозь слёзы на Наташу. И она поняла, что произошло что-то страшное, вызванное нарушением каких-то запретов.

Через минуту Наташа стремительно набирала в кабинете заведующей номер телефона городского комитета физкультуры.

– Комитет? Это кто? Скуратова говорит, из интерната. У нас мальчик пропал, за лыжниками увязался. Что? Возвращают из-за погоды всех? А мальчика нет с ними? Не знаете? Орлов Серёжа...



А по долине, где проходила трасса гонок, уже мчалось несколько аэросаней, высланных из рудника. Они неслись навстречу передовым лыжникам. Пропеллер ревел в вихрящихся облаках снега. Сани летели сквозь снежную бурю, словно сами порождённые метелью. Пурга уже заметала вешки, отмечавшие дистанцию, алые флажки волочились в ветре по выросшим сугробам. С каждой минутой муть сгущалась над равниной всё более и более. Казалось, что она готова сейчас схватиться и затвердеть, как гипс.

Когда аэросани встречали кого-нибудь из гонщиков, мотор стихал, и тогда было слышно, как через рупор с борта кричат:

– Кончай!.. Кончай гонку!.. Пурга идёт!.. Отменяется все! Давай к автобусам, здесь, у рудника!

Через полчаса к гостинице, где был назначен сбор, стали подъезжать автобусы. Из них вылезали с лыжами участники гонки. Они вбегали в вестибюль, тёрли застывшие руки и щеки, прыгали на месте, обогреваясь.

– Спасибо ещё, что аэросани с рудника навстречу выслали, – возбуждённо проговорила Маша Богданова, дуя на свои маленькие красные руки, – а то бы досталось нам! Ну и метёт!..

Дядя Федя проверял вернувшихся по списку.

– Товарищи, давайте-ка проверим – никто не отстал? Аболин! Тут? Так. Акулиничев имеется? Богданова? Вижу, тут. Бегичев? Гаранин...

Метель била снегом в стекла. Порой удары ветра со снегом сотрясали, казалось, все здание гостиницы. Дядя Федя продолжал выкликать:

– Сафронова... Селищев... Так. Скура... Ах да, не участвовала.

Он уже вычеркнул карандашом имя Наташи из списка, как вдруг из-за спин окруживших его лыжников раздался голос:

– Я здесь... Только сейчас не в этом же дело!..

– Верно, поздновато спохватилась, Наташенька, – острила Маша Богданова.

– Ребята, я хочу вам сказать... как вы можете?.. Раз такое случилось... – Низкий, грудной голос Наташи, обычно такой спокойный, заметно осел в дрожи.

– Да что уж тут сейчас говорить, – усмехнулся дядя Федя.

– Да вы слушаете? Я к вам, как к людям, а вы... – начала было Наташа, но махнула рукой и резко повернулась.

В это время, легко раскидывая всех, к дяде Феде приблизилась Олимпиада Гавриловна, вышедшая из соседней комнаты. Она была взволнована.

– Слышали? Из комитета звонили, – мальчик заблудился из интерната. Увязался за вами и пропал.

Все оглянулись на то место, где только что стояла Наташа, но было уже поздно. В резко двинувшихся стёклах вертящейся входной двери мелькнула её фигура. Вот она показалась за окном, освещённая качающимся, мутным от снегового кипения светом фонаря, и исчезла в темноте. Только медленно вращалась ещё тяжёлая входная дверь со стеклянными переборками.

Все кинулись вдогонку, но застряли в вертушке, задержались, а когда выскочили на улицу, там уже никого не было. Напрасно кричали в темноту:

– погоди, Скуратова! Вернись, ведь мы же не знали!

– Вот, ей-богу! Не кругло как всё вышло... – приговаривал торопливо дядя Федя.

Маша Богданова схватилась за щеку:

– Ой, ребята, нехорошо как получилось! Она к нам за подмогой, а мы ей смешки. Ведь пропадёт одна. Она на лыжах кинулась, вон след. А задувает-то как, темень какая! Что делать будем? Я считаю, всем надо идти.

Кто-то ещё пробовал кричать в беснующуюся мутную тьму:

– Наташа-а-а! Скуратоваа-а! Стой!

Ветер возвращал им эти крики вместе с горстями колючего снега.

– Аболин, – распоряжался дядя Федя, – звони на рудник и в аэропорт – пускай навстречу высылают искать и по радио пусть объявят.

Не прошло и десяти минут, как от гостиницы стали один за другим уноситься в ревушую тьму лыжники с зажжёнными факелами. Вскоре ветер донёс прерывистый гудок с рудников, заголосила сирена обогатительной фабрики. Гудки то утихали, то снова взывали, сливаясь с рёвом пурги. Тревожные голоса их давали направление тем, кто вышел на поиски пропавшего.

В парикмахерской гостиницы «Новый Урал» тётя Липа на всякий случай сунула боты Адриана Онисимовича в шкаф, заперла дверцу на два оборота, спрятала ключ в карман и стала в дверях, скрестив богатырские руки на груди, как неумолимый и бдительный страж. Тут её и застал бедный парикмахер.

– Если вы полагаете, что это меня остановит, то глубоко ошибаетесь, – произнёс он, оглядев Олимпиаду Гавриловну снизу вверх, для чего ему пришлось высоко и гордо закинуть голову.

Затем он молча обвязал шею толстым шарфом, поднял бобриковый воротник пальто и, повернувшись решительно, зашагал к дверям, где стояли у косяка лыжи.

– Ну что вы с собой и со мной делаете только! В такой мороз и без ботинок! – В отчаянии тётя Липа распахнула шкаф и брякнула к ногам Дрыжика так и подскочившие боты на резиновой подошве, сверху суконные, системы «прощай молодость», как их называют спортсмены.

Адриан Онисимович быстро напялил боты, щёлкнул застёжками, захватил лыжи и выбежал вслед за спешившими спортсменами.

## Глава VI

### Снег стучит в сердце

*Разыгралась той-то вьюга,  
Ой вьюга, ой вьюга,  
Не видать совсем друг друга  
За четыре за шага.*

*А. Блок*

Увлёкшийся работой Чудинов некоторое время не обращал внимания на то, что происходит за окнами бюро. Он только спустил шторы, когда стало посвистывать в щелях окон и задувать в комнату холодными струйками ветра. Работа шла хорошо. Чудинов уже предвкушал, как назавтра он сперва распечат слегка своих чертёжников (очень уж усердствовать не стоило, он всё-таки помнил, что такое для истого болельщика день больших состязаний), а потом покажет, как он разработал новое задание.

Но тут что-то заставило его прислушаться. Сквозь все нараставший гром и посвист метели, шаставшей снегом снаружи по стенам здания, просквозил какой-то тревожный, ноющий звук. «Ого, метель-то разыгралась серьёзная», – подумал Чудинов, вслушиваясь в нестройный, стонущий на разные тона звук, который рвался снаружи. Воющий рёв метели как бы подчинялся этому странному звуку, становился то громче, то слабее, почти замирал и вдруг опять усиливался, словно повинуюсь какому-то неровному и тяжёлому биению. И вдруг Чудинов понял, что это гудят на заводах и ветер то доносит гудки, то заглушает их гулом бурана. Потом ему показалось, что откуда-то пробился далёкий частый набат. Чудинов подошёл к окну, но разглядеть ничего не мог. Метущаяся мутная мгла, в которой расплылись светлые блики вокруг фонарей, кишела за окнами. Чудинов включил репродуктор.

«...сбор лыжных поисковых партий у гостиницы „Новый Урал“, – раздалось в комнате. – Они прочешут весь район рудника и аэропорта, где, по-видимому, находится заблудившийся ребёнок».

Диктор кончил читать сообщение, и наступила пауза. Чудинов ждал: может быть, повторят. И действительно, после щелчка в репродукторе послышалось:

«Внимание, говорит Зимогорский радиоузел. Повторяем наше сообщение: в районе рудника и аэропорта пургой застигнут ребёнок из интерната. На спасение заблудившегося мальчика вышли лыжники из города. В аэропорте организована лыжная поисковая партия. Приглашаются добровольцы-лыжники. Сбор лыжных поисковых партий у гостиницы „Новый Урал“».

Чудинов выпрямился. На секунду ему показалось, что колющая лёгкая боль резнула у него сквозь колено, но тотчас же прошла. Да и не до этого было сейчас. Он устремился к дверям.

У гостиницы ветер рвал пламя факелов, которые держали лыжники.

– Есть лыжи свободные? – спросил выбежавший из подъезда Чудинов, который уже успел побывать у себя в номере, чтобы переодеться в свою неизменную лыжную клетчатую куртку.

Маша Богданова, услышав его голос, одним толчком подъехала поближе, взгляделась, не веря своим глазам, но всё же в летучем мельтешащем свете факелов узнала начальника.

– Степан Михайлович, вы? Вам же трудно... Вы же...

Чудинов резко оборвал её:

– Завтра поговорим, трудно или легко. Где лыжи взять?

– А вам, товарищ, когда-нибудь приходилось иметь дело с этой снастью? – осторожно спросил дядя Федя, уже наслышанный о том, как относится к спорту новый начальник конструкторского бюро.

Чудинов отвечал быстро, нетерпеливо:

– Приходилось, изредка.

– Ну и как, – поинтересовался дядя Федя, – получалось? У нас тут местность очень пересечённая.

– Карту! – коротко потребовал Чудинов.

Дядя Федя, иронически пожав плечами, поднёс к факелу планшетку с картой:

– Смотрите, чтобы вас потом самого искать не пришлось.

– Как-нибудь сам найдусь. Ну-ка... лыжню! – крикнул он властным и звучным голосом. Все невольно попятнулись, отступая. И он унёсся в метельную темь, сразу с места уверенно взяв сильный ход.

– Смотри, какой прыткий! – удивился дядя Федя. – А стойка какая, видали? Ой, братцы, это он, кажется, все темнил...

Жутко было сейчас человеку в поле. Наташа упрямо пробивалась сквозь бушующую стену пурги. Столбы крутящегося снега налетали с маху, рушились на неё, грозя свалить с ног, слепя и на мгновение лишая дыхания. Но девушка упрямо шла вперёд, низко пригнувшись, иногда примечая торчащую вешку, минутами теряя направление, вслушиваясь в гудки. Она то проваливалась в сугроб, то снова вскарабкивалась на крутогор.

Наташа была опытной лыжницей. Она даже не помнила, когда в первый раз стала на лыжи. Вероятно, почти тогда же, когда самостоятельно стала на ноги. Она привыкла к далёким лыжным переходам. Бывало так, что неделями ей ежедневно приходилось и в школу-то ходить на лыжах. Лыжи для неё были не только спортом, но и привычным способом передвижения. Прежде она никогда и не думала о том, что лыжня станет для неё тропой, где её ждала сперва слава, а потом позор. Несколько лет назад во время комсомольской лыжной вылазки на неё обратил внимание заезжий инструктор физкультуры, уговорил её выступить на областных соревнованиях. С

того дня и началось. Но теперь с этим было покончено. Лыжи для неё стали снова только привычным средством для любимых прогулок.

Не раз случалось Наташе быть застигнутой в поле метелью. Но такого, как сегодня, ей ещё не выпадало. Она уже жалела, что не дождалась других лыжников, которые, конечно, теперь уже вышли тоже на поиски Сергунка.

Ничего не видно было вокруг в этом крошечном мутно-белом аду. Свирепое кишение взбесившегося снега, казалось, заполняло весь мир, и тщетно было звать, сложив ладони рупором, проталкивая крик в этом яростно клокочущем ледяном воздухе:

– Сергуно-о-к!.. Сё-ре-жа... Орло-ов!..

Но снова и снова звала она мальчика.

Внезапно она замолкла, тяжело дыша, прислушиваясь.

Откуда-то, казалось издалека, а может быть, и совсем рядом, сквозь белую круговерть донёлся со стороны почти неразличимый слабенький голос: «Ау-у!»... Наташа, с места развернувшись, бросилась туда, откуда послышался ей ответ. Облака снега, ринувшиеся навстречу, на мгновение ослепили её. Она зажмурилась, оборачиваясь, чтобы передохнуть, и не видела, что лыжи её уже скользят по снежному карнизу – настругу, свисающему с края оврага. Она только почувствовала вдруг, что все под ней куда-то оседает вниз, безудержно увлекая за собой, и вместе с небольшой лавиной стремглав обрушилась на дно овражка. Он был не очень глубокий, но крут. Наташа сильно ушибла руку при падении. С трудом выбралась она из-под снега и только тут с ужасом убедилась, что одна лыжа у неё сломана, а без лыж в такую погоду и километра не пройдёшь. Наташе показалось, что, словно почувствовав всю её беспомощность, пурга с новым неистовством задула навстречу. Несмотря на боль в руке, Наташа кое-как выбралась из овражка и позвала Серёжу. Ей снова послышалось тихое «ау». Почти по самый пояс утопая в снегу, она кинулась на зов, выкарабкалась из сугроба. Впереди затемнел полузанесённый куст. Что-то шевелилось под ним.

Через минуту Наташа уже поднимала за плечи полузамёрзшего, совсем ослабевшего мальчика. Она пыталась поставить Сергунка на ноги, но мальчуган так ослаб и застыл, что снова валился на снег. У него хватило только сил, еле шевеля губами, произнести:

– Тётя Наташа, ты иди, а я лучше тут полежу, отдохну чуток.

Наташа грела ему своим дыханием руки, тёрла варежками щеки, тербила, отряхивала.

– Сергунок, милый... ты, маленький, никак не сможешь идти?

Он вяло отводил её руки, твердил виновато:

– Я ног не чую. Ты иди, тётя Наташа, я уже теперь не боюсь, раз ты меня сыскала. Ох, я рад до чего, что нашёлся! Ты только не сердчай, что я заблудился. Нечаянно... Я больше никогда сроду не стану...

Их обоих заносило снегом. Нельзя было оставаться тут на самом ветру. Надо было найти хоть какое-нибудь укрытие. Наташа, отвернувшись от ветра, как бы упираясь в него спиной, связала лыжи Сергунка своим шарфом, соорудила что-то вроде салазок, уложила на них мальчугана и попыталась волочить самодельные санки за собой. А метель задувала все неистовее, сплошной поток плотного, как будто уже в воздухе слежавшегося снега хлестал навстречу. Буран закручивал эти хлещущие струи вокруг. И Наташе, ослабевшей, терявшей последние силы, казалось порой, что она попала в какие-то огромные, бешено вертящиеся двери и безнадёжно крутится, крутится в них и никак не может угодить в выход.



Она то и дело падала на колени, проваливаясь уже выше пояса, с трудом поднималась снова.

Потом один раз у неё уже не хватило сил подняться...

Лыжники с электрическими фонариками в руках и с факелами, которые, словно огненные квачи, размазывали тускло светящиеся пятна в тёмном ревущем пространстве, шли со стороны городка и аэропорта, прочёсывая навстречу друг другу весь район, примыкавший к трассе недавних гонок. Они рассыпались по снежной равнине, взвихрённой бураном, обходя её двумя широкими цепями, которые, должны были сойтись, как две скобки. Зарево факелов улетучивалось в облаках несущегося снега.



Лучи электрических фонариков беспомощно задыхались в мути. Совсем в стороне от уже занесённой гоночной лыжни луч одного из фонариков вдруг остановился на обломанной, ветке куста, упавшей на снег, по-видимому, недавно, так как метель ещё не успела занести её полностью. Рядом свет фонаря обнаружил ямки на месте свежих, но уже полузанесённых следов. Некоторое время круглое световое пятно от луча фонарика металось вокруг. В конусе луча, лихорадочно ощупывавшего сугроб, кишели яркие высвеченные снежинки. Потом луч устоялся на ветку куста, на которой колотился на ветру зацепившийся за колючку помпон – кисточка от детского башлычка. Свет фонарика рванулся дальше по еле заметным следам, почти уже сровнявшимся с сыпучей поверхностью сугроба. Секунду-другую он петлял по сторонам и вот вздрогнул, остановился, набредя на полузанесённые детские лыжи. Ещё быстрее стал шарить вокруг в этом тёмном, словно дымящемся пространстве луч фонарика, пока в конусе света не появились очертания двух прильнувших друг к другу и совершенно белых, будто загипсованных фигур.

Полузамёрзшая Наташа, прикрыв собой от ветра Сергунка, прикорнула на руках с ним за сугробом. Девушку и мальчика уже почти занесло снегом. Оба были недвижны, в забытии. Только свиристел ветер в сучьях кустарника да шумела яростная позёмка.

Наташу вывело из беспамятства ощущение чего-то обжигающего во рту. Она судорожно закашлялась, отталкивая руку которая вливала ей почти насильно в рот коньяк из фляжки. Ослеплённая лучом фонарика, направленного ей прямо в лицо, она ничего не видела вокруг, но сквозь тугой поток ветра и снега, нёсшийся из тьмы, до слуха её пробились обращённые к ней слова:

– Подняться в состоянии? Мальчика возьму сам.

Обопритесь на меня. Тут рядом шалаш. Я вешку поставил.

– Постойте... Это кто? – еле справляясь с окоченевшими губами, пыталась спросить Наташа.

Голос из пурги и темноты отвечал быстро и кратко:

– Потом, потом... Молчите, дышите в шарф.

Наташа почувствовала, как тёплый вязаный шарф, закинутый за её шею, ложится на лицо, прикрывая его от ветра. На мгновение она увидела в свете фонарика рукав клетчатой куртки. Блеснула на обшлаге выпуклая пуговица в форме маленького футбольного мяча.

Кто-то подхватил Сергунка на руки и, оставаясь невидимым в темноте, помог подняться Наташе. Прикрывая обоих плечом, повёл сквозь толщу рвущегося навстречу ветра к полуразрушенному охотничьему шалашу. Наташа и Сергунок были уже упрятаны в это шаткое, заваленное снаружи снегом убежище, когда зловещее мутное пространство над равниной начали пронизывать уже совсем рядом лучи прожекторов и отсветы факелов. Вскоре до лыжников, участвовавших в поисках, донёлся глухой, тонущий в рёве пурги голос:

– Эге-гей! Сюда все! Обнаружил!

И замигал, вспыхивая и потухая, фонарик. На этот зов и прерывистые вспышки фонарика к шалашу со всех сторон понеслись из тьмы факелы. Прожекторы аэросаней, бродившие вокруг, скрестились на ветхом, занесённом сугробами сооружении. Ослепительный свет, пробившись сквозь роившиеся клубы снега, залил внутренность шалашика. Окончательно пришедшая в себя Наташа счищала снег с Сергунка, который, полуочнувшись, припал к её лицу. Ближе всех к спасённым оказались Маша Богданова, расторопный дядя Федя и вездесущий Ремизкин, В слепящем ореоле лучей, бивших им в спину с аэросаней, и как показалось сперва Наташе, дымящихся, они ворвались в шалашик. Им пришлось брать неожиданное препятствие, нечто вроде снежного порога, наметённого у входа бураном. Но когда увесистый дядя Федя, замешкавшись, наступил на этот снеговой накат, раздался приглушённый стон:

– Ой, ногу... с ноги сойдите!.. И так отморозил. И в невыносимом для глаз сиянии прожекторов из-под смёрзшейся соломы, укрытой снегом, задом к лучам, посылаемым прожекторами, выполз совершенно окоченевший Дрыжик.

Наташа глазам своим не верила. Как трагикомически кончался кошмар этого вечера!

– Это вы нас сюда? А я уж думала, конец... Спасибо...

Между тем порывы ветра заметно слабели. Перестал валить снег.

Маша Богданова прижималась к холодным щекам подруги, обнимала её, тормошила Сергунка.

– Ух, чёртушки вы наши!.. Было из-за вас делов!.. Наташенька, неужели это он тебя? – зашептала она в ухо подруге. – Смотри пожалуйста, как повезло человеку! Недаром он твой вздыхатель.

Смотри-ка! Нашёл и укрыл. Ну дела... Ай, Адриан Онисимович, вы же герой, однако!

Продрогший, ослеплённый лучами прожекторов, жмурясь, отряхиваясь, ещё сам не соображая, как всё это случилось, Дрыжик бормотал, вертя в руках карманный электрический фонарик.

– Ах, оставьте, прошу! Не знаю, право... Возможно, бессознательно... Не отдаю ещё отчёта. Не окончательно ещё память восстановилась...

Донат Ремизкин, в полном раже оттирая других лыжников, лез к Наташе.

– Всё-таки нельзя ли точнее? Кто вас обнаружил первым? Вы сами сюда добрались или кто вас?.. – Он уже вытаскивал из куртки свой замусоленный блокнотик. – Кто? Мы портрет дадим на первой полосе. Ведь это какой же материал для газеты, соображаете?

Кто-то постучал ему легонько кулаком в плечо. Ремизкин обернулся.

За ним стоял на лыжах инженер Чудинов. Он глаз не сводил с лица Наташи, ярко освещённой теперь прожекторами.

– Простите, – негромко в самое ухо Ремизкину проговорил Чудинов, – я не так давно в Зимогорске, не всех знаю. Это ведь Авдошина?

– Какая такая Авдошина? – поразился Ремизкин. – Это же наша чемпионка, хозяйка снегов, как говорится, Скуратова. Вы что, не признали? Ей-богу, честное даю слово, даже удивительно!

Чудинов открыл рот, а потом захлопнул его. Стал быстро выбираться из группы лыжников.

«Определённо она. Конечно, она. Час от часу не легче. Но почему Скуратова?»

Но Ремизкин, найдя подходящий объект для излияния и видя в Чудинове приезжего, ещё мало разбирающегося по всех местных делах человека, уже настиг его:

– Как считаете, товарищ, надо в Москву сообщить? Такое происшествие в нашем районе! Это же называется именно – незаметный герой. Заголовок дадим: «Благородный поступок»... Нет, лучше: «Отвага и скромность». Правда здорово? Это звучит. Ей-богу, честное даю слово.

Чудинов пожал плечами:

– Нормально. Не всё ли равно, кто первый обнаружил? Не на соревнованиях. Важно, что столько народу бросилось на поиски, это здорово. А вообще-то, спасены– и ладно.

– Ну знаете, товарищ! – горячился Ремизкин. – Говорить теперь, конечно, легко, а вы бы вот попробовали сами.

– Я пробовал, – сказал Чудинов и ещё раз шагнул вперёд, внимательно взгляделся из темноты в лицо Наташи, которая уже совсем оправилась, покраснелась, стояла в накинутой кем-то стёганой куртке и укутывала в тёплый шарф Сергунка.

– Она и есть, – проговорил Чудинов, отъезжая в сторону, чтобы выйти из луча прожектора, – Скуратова. Вот поди ж ты! А в Москве сказали: Авдошина из Вологды. Ничего не понимаю!..

Ремизкин уже наседавал на ещё не совсем очухавшегося Дрыжика, что-то чиркал в своём блокноте.

– Так всё-таки как же это получилось-то? Неужели не помните?

– Да ведь, собственно... – бормотал, растерянно оглядываясь, парикмахер. – Тут, в общем, довольно просто получается. Следую я таким направлением... Замечаю возвышение, вижу шалашик, а меня заносит. Ну и... Разрешите в другой раз, чересчур околел.

И вдруг стало совсем темно. Аэросани выключили прожекторы. Интервью оборвалось. Все окутала крошечная, непроницаемая тьма.

## **Глава VII**

### **Разговор начистоту**

Была уже глубокая ночь, когда Чудинов добрался до гостиницы. Раненая нога всё время напоминала о себе, видно порядком он натрудил и разбередил её. Неожиданное открытие совершенно сбило с толку. Спасённая девушка оказалась Скуратовой, а в Москве её называли Авдошиной. Но несомненно это тогда была именно она, сердитая красотка!.. Ему запомнилось это характерное лицо, на которое он успел тогда близко глянуть через двенадцатикратный полевой бинокль. Круто выведенные щеки, чуточку вздёрнутый нос, серые глаза с выражением ребячливого своенравия и женственная, застенчиво-упрямая складка по-детски выпяченных губ.

И надо же было случиться сегодня этому бурану! Теперь плуто уже будет у себя в бюро изображать ненавистника спорта или, во

всяком случае, равнодушного к лыжам человека. Должно быть, они уже заметили его хватку и стиль, если хоть немножко разбираются в этом деле. А ко всему ещё это странное открытие: не Авдошина, а Скуратова. Не Вологда, а Зимогорск. Уж не нарочно ли это всё Евгений подстроил тогда в Москве?..

Чудинов специально задержался, чтобы не попадаться на глаза возвращающимся лыжникам. Ещё таилась смешная и нелепая надежда, что, может быть, он остался незамеченным в общей сутолоке. Стараясь не шуметь, он осторожно поставил в вестибюле лыжи, которые ему были даны дядей Федей. Но уже спешила к нему бессонная Олимпиада Гавриловна.

– И вы ходили? У вас же нога... Прямо все с ума посходили с этим! Наш-то Адриан Онисимович – и тот! Что это, верно говорят, будто он-то и разыскал? Сказывали, их там в шалашике вместе и обнаружили, куда он их приволок. А ведь скромник-то какой, не признается по сей момент полностью. Намекает, а таится. «Не помню», – говорит. Вот благородной души человек! Из-за какой-то девчонки так здоровьем рисковал. Да что здоровьем – можно сказать, жизнью! – Она было отошла, направляясь к своей конторке, потом вдруг спохватилась – Ой, товарищ Чудинов, забыла совсем предупредить вас. Там я к вам на вторую коечку командировочного одного поместила, временно. Уж извините – переполнение.

Свет в номере был погашен, но сквозь окно проникали отблески уличного фонаря. Пурга давно уже утихла, снежная муть осела. Фонарь за окном струил ровный и мягкий свет, и можно было различить все предметы в комнате.

Осторожно, чтобы не разбудить нового жильца, Чудинов раздевался в темноте, вешал одежду не в шкаф, а на спинку стула. Потом он ушёл в ванную. Слышно было, как он там легонько ухает под душем и затем, побрякивая, обтирается полотенцем. Потом он вернулся в комнату, прошёл к своей кровати, но споткнулся о стул и с грохотом уронил его на пол.

– Ох, простите, нашумел! – сказал он смущённо.

И услышал в ответ:

– Ничего, пожалуйста. Да зажги свет, хватит тебе в жмурки играть!

Вспыхнул свет. Чудинов, невольно приоткрыв рот в изумлении, с каким-то даже явным недоверием разглядывал нового постояльца. Он даже похлопал глазами, зажмурил их на миг и снова уставился, видимо не очень доверяя тому, что видит.

– Ты?..

– Как видишь, я.

И это был действительно я. Как я и предупреждал Чудинова, у меня нашлись дела в районе Зимогорска. Редакция получила ряд сигналов о задержке темпов строительства на самом руднике, и по дороге из Свердловска я, по распоряжению редакции, заехал в Зимогорск.

Самолёт наш садился на зимогорский аэродром уже во время начавшейся метели. Из-за снежной бури, разыгравшейся, едва мы приземлились, я весь вечер не мог добраться из аэропорта до города и решил заночевать в комнате ожидания. Мне дали чистую койку, и, усталый, я тотчас же заснул. Уже за полночь, когда буран стих, попутные аэросани, по моей просьбе, захватили меня в город и доставили в гостиницу. По дороге я услышал историю о том, как были найдены и спасены заблудившиеся. Все говорили о каком-то парикмахере.

Олимпиада Гавриловна, когда я явился к ней в гостиницу, предложила мне на выбор койки в двух комнатах. Услышав, что в номере Чудинова есть свободная, я, конечно, попросился к нему.

– Вот это да! – изумлялся Чудинов, присаживаясь против меня на своей кровати. – Ну и вечер неожиданностей! Ну что же, здравствуй, Евгений, очень рад. Только предупреждаю, у нас сейчас будет с тобой серьёзный, крупный разговор.

– Погоди, погоди, отложим большие разговоры до утра. Я устал чертовски, еле добрался сюда от аэропорта. Пурга все дороги замела... Но ты, как здесь, в общем, говорят, развил бурную деятельность?

Чудинов неожиданно перенёс своё ладное, сильное тело на край моей кровати и слегка наклонился надо мной:

– Ох, Евгений, ты мне зубы не заговаривай! Это ты, старик, меня нарочно сюда запятил.

– Благодарю покорно! Теперь уже я виноват! Ты же твёрдо решил уехать из Москвы, при чём тут я?

– Вот-вот. Как это ты тогда мне расписывал? Таёжная глушь, медвежий угол, волчьи тропы... никакого представления о спорте!.. Шут ты эдакий, чтоб тебя!.. Да тут просто дыхнуть нельзя от этих лыжников! Вообще, по-моему, тут пешком никто не ходит. Как из пелёнок стал на ноги, так и пошёл вымахивать до старости. Любой дед тебя тут на лыжах обставит. «Никакого представления о спорте!» Ведь знал же! Чего рожу воротишь?

– Что ты на меня накинулся? Ты же сам решил бесповоротно выбрать Зимогорск.

– А-а! Ты ещё издеваешься? Да? Может быть, ещё про Авдошину скажешь?

– Авдошина тут при чём? Она живёт себе в Вологде, тренируется. Недавно на областных состязаниях показала недурные результаты.

– Слушай, старик, ты, может быть, кончишь дурака валять? Ты что, меня совсем идиотом считаешь? Я ведь с тобой серьёзно говорю. Я тебя тоже хочу спросить: при чём тут Авдошина? В Москве тогда, на гонках, ты мне кого показал? Скуратову, местную чемпионку?

– Ну, это просто, значит, путаница какая-то с номерами. Мы вместе с тобой установили по списку, что это Авдошина. Просто перепутали. Ну, поздно сейчас об этом говорить. Значит, судьба такая, Степан!

– Я вот возьму сейчас эту судьбу за шиворот и вышвырну к чёртовой бабушке из своей комнаты! Что ты тогда скажешь?

Я на всякий случай отодвинулся подальше к стенке.

– Скажу, что и у судьбы бывают свои превратности. Ты лучше мне скажи, тебе, что же, удалось до сих пор таиться?

Чудинов тяжело вздохнул:

– Да, пока держался. Боюсь только, что сегодня всё кончилось. Очень глупо вышло. Ты слышал, верно?.. Пурга, понимаешь, ребёнок один заблудился и девушка, воспитательница из интерната местного. Вот эта самая твоя Скуратова. Ну, я слышу – гибнут. Знаешь, тут уж не до принципов, люди же. И пошёл. Пришлось стать на лыжи. Они и глаза выпучили. Я тут у них гонителем спорта прослыл.

– Так, так, – протянул я, поглядывая на своего смущённого друга. – Ну, и каков результат поисков? Говорят, нашли? Благополучно спасли?

– Обнаружили, – нехотя отвечал Чудинов. – Обоих... Да уж и не так это сложно было. Район ограниченный, ориентиры хорошие. Прочёсывали густо, кто-то же должен был наскочить.

Я ещё раз внимательно поглядел ему в лицо и слегка приподнялся на подушке, опираясь на локти.

– Ага! Несложно, значит? Так. Ну, и кто же всё-таки первый обнаружил в такую пургу, или, как ты выражаешься, «наскочил»?

Чудинов встал, зевая и потягиваясь:

– Да кто-то там из спасательной партии. Там набежало видимо-невидимо, чуть весь город на лыжи не поставили. Нога вот, понимаешь, опять заныла, беда. Что ты так на меня смотришь?

Я пристально разглядывал его.

Он немножко изменился за то время, что я его не видел. Пожалуй, даже чуточку отяжелел без привычных тренировок, но всё же выглядел он у меня молодцом. Стройный, собранный, спокойный.

– Ну, чего уставился, спрашиваю! – недовольно повторил он.

? Да так, вспомнил кое-что из недавнего прошлого. Карельский перешеек, например...

Чудинов резко повернулся ко мне:

– Слушай, Евгений, позабыл уговор? Ещё слово – ночуй где хочешь. Ты вот лучше скажи мне по совести другое, уважаемый специальный корреспондент, чёрт бы тебя разодрал! Ты мне объясни всё-таки, каким же это образом у нас с тобой Клавдия Авдошина оказалась Натальей Скуратовой и пребывает, вопреки твоим авторитетным сведениям, не в Вологде, а именно здесь? Что это за странная путаница с номерами, а? Твоя работа?

Так... Пришёл час ответа. Я старательно взбил подушку, устраиваясь на ночь.

– Ну что ты, Степан, на самом деле! Как я могу сам менять номера, перебрасывать лыжниц из города в город да ещё переименовывать их! Ты считаешь меня слишком всемогущим. Это не в моей власти. И вообще я устал с дороги. Спокойной ночи.

– А-а, сразу в сон потянуло? – Он несколько раз сунул меня головой в подушку. – Это ты, старик, не её, а меня, дурака, из города в город перебросил. Я тебе это припомню когда-нибудь!

– Ну что ж, приятно, когда друзья помнят добро.

– Добро? Думаешь, что обошёл меня?



– Ничего не думаю и ничего уже не слышу. Я сплю. Сплю и вижу чудный сон: снежная равнина, и ты тренируешь Наталью Скуратову, Она тебе улыба...

Тут Чудинов ударил меня по голове подушкой со своей кровати и стал легонько ею душить. В общем, я чувствовал, что гроза миновала.

Я действительно очень устал с дороги и быстро заснул.

Проснулся оттого, что Чудинов опять слегка зацепил стул, стоявший между нашими кроватями. Я видел, как Степан подошёл к стулу, осторожно, стараясь не зашуметь, снял со спинки клетчатую спортивную куртку с круглыми пуговицами, имеющими форму футбольного мяча с выпуклыми дольками.

Он взял куртку, осмотрел её и стал накручивать на палец оборванную нитку, которая свисала там, где, как я заметил, недоставало сейчас одной пуговицы. Я слышал, как он ворчал про себя:

– Эх, незадача! Сколько лет держалась – и на тебе!

Не найдёшь теперь тут такую. – Он сел на корточки, заглянул под обе кровати. – Да нет, конечно, не здесь обронил. Видно, посеял там. Ах ты, досада!

Он скосил глаза в мою сторону. Но я тотчас же зажмурился, делая вид, что крепко сплю.

## **Глава VIII**

### **Метка на шарфе**

В то утро редакцию газеты «Зимогорский рабочий» одолевали телефонные звонки. Когда я, следуя традициям приезжих корреспондентов, зашёл сюда, чтобы нанести обычный визит вежливости редактору, во всех ещё пустовавших комнатах и на всех столах трезвонили телефоны. Аппараты, казалось, подпрыгивали от нетерпения и готовы были сорваться с проводов. Редактор, пожилой человек в тёплой, толстой, словно из войлока, куртке, с десятком авторучек и целым спектром цветных карандашей и линейчек-строкомеров, торчавших из нагрудных карманов, топая огромными валенками, с ожесточением хватался одной рукой за трубку звонившего у него на столе аппарата, а другой вынимал вату из уха.

– Да, слушаю! – Он закивал мне, указывая глазами на стул, приглашая присесть. – Да. Редакция. Хворобей у телефона. – Тут он чихнул раскатисто и надсадно, с каким-то жестоким наслаждением. – Благодарю вас. Что? Кто спас? Ах, в этом вопрос!.. А кого спас? – Он переложил трубку в другую руку, воткнул вату в ухо, которым слушал, высвободил затычку из второго. – Весь город звонит, товарищи дорогие!.. Кто спас, кого спас? – Он опять сокрушительно и со стоном чихнул два раза. – Самому спасу от вас нет! Мешаете работать!.. Марта Мартыновна, – крикнул он, повернувшись к дверям, – переключите, бога ради прошу, на себя аппарат...

Он бросил трубку на рычажок, аппарат сейчас же принялся звонить снова. Редактор снял трубку и положил её на стол. Потом вынул вату из одного уха и запихал её в трубку. Трубка приглушённо курлыкала на столе. Пользуясь этой паузой, я представился.

– Милости просим, очень приятно, – радушно сказал Хворобей, – поглядите. У нас тут строительство развернулось на полный ход. Этот новый инженер из Москвы очень толково жмёт. По бытовому строительству большие перспективы. А тут лезут со всякой ерундовиной: кто спас, кого спас!

В кабинет ворвался Донат Ремизкин:

– Здравствуйте, товарищ Хворобей. Вчера уже поздно было, а у меня такой материал есть, прямо ахнете!

– Ох! – устало передохнул редактор.

– Вот именно, что не ох, а ах, – не унимался Ремизкин. – У меня уже есть строк двести. Называется «Люди спасены» и подзаголовок – «Отвага и скромность». Слышали? Во время вчерашнего бурана человек спас...

– Да кого спас? – спросил редактор.

Но Ремизкин, видимо готовя заранее им задуманный эффект, подлетел к двери и широко распахнул её. В дверях показалась Наташа Скуратова. Она была немного бледнее обычного, и глаза её были пригашены затаённой усталостью. Видно, немало пережила она вчера. Но всё же я опять невольно залюбовался ею.

– Вот её спас! – воскликнул Ремизкин. – И её воспитанника Серёжу Орлова из первой группы.

Наташа в некотором смятении оглядела всех нас:

– Товарищи, погодите, я ведь как раз пришла сказать...

Но редактор энергичным жестом остановил её:

– Тихо. Прошу. – Он показал ей на свободный стул. – Так. Сели.

По порядку. Вас спасали?

Наташа кивнула головой.

– Так. Значит, с этим ясно. Теперь: кто спас?

Тут опять вмешался Ремизкин:

– Разрешите? Я уже все обеспечил. Он здесь, чтобы без задержки было, прямо в номер... Адриан Онисимович, войдите, вас просят! – крикнул он в другую дверь, и оттуда появился Дрыжик.

Парикмахер был явно не в своей тарелке. Он вошёл в нерешительности, прижимая к себе треух и как бы растирая им грудь.

– Вот он! – торжественно возгласил Ремизкин. – Товарищ Дрыжик. Я с утра все уточнил, расследовал, а вчера лично был на месте совершения... тьфу, извиняюсь, то есть на месте происшествия. Товарищ сам не помнит от переживаний, что как раз он сам-то и спас. А улики... то есть данные, все налицо.

Хворобей, надев очки, строго смотрел на Дрыжика:

– Товарищ, только короче. Номер стоит, газету задерживаем. Но отрицайте, спасали?

Дрыжик, только было присевший, снова вскочил, растирая грудь шапкой, которую он комкал в руке:

– Видите ли, я... конечно, спасал... то есть у меня было такое определённое намерение, и, значит, когда я увидел... смотрю это...

Наташа не выдержала:

– Товарищ редактор, и вы, Адриан Онисимович... Это всё так, только я хочу одно сказать...

– Только быстрее! – Редактор с размаху и с треском положил толстый карандаш на стол. – Короче. У нас набор задерживается. Срочный материал с обогатительной фабрики, и вот товарищ из Москвы прибыл, специальный корреспондент.

Ремизкин посмотрел на меня с восторженным уважением. Наташа тоже удостоила меня любопытствующим взглядом. Хворобей продолжал:

– Короче. Сокращайтесь. Неужели не можете разобраться до сих пор? Вы спасали?

– Затрудняюсь уточнить, – бубнил растерянный, но честный Дрыжик. – Был отчасти без полного ясного сознания. Иду, значит,

замечаю – шалашик.

– Ну, ясно же все. Скромность! – пояснил Ремизкин на ухо редактору.

Редактор опять хлопнул карандашом по бумаге:

– Психологически понятно. Материал в полосу! Быстро фото, клише в номер. Четыре квадрата.

– Товарищ редактор, – уже решительно начала Наташа, – я бы всё-таки хотела сперва уточнить. Конечно, спасибо вам за внимание...

Но Хворобей уже не слушал её:

– Некогда, дорогая, некогда. Всё ясно. Номер стоит. Благодарить будете потом его! – Он ткнул пальцем в Дрыжика.

И дальше всё произошло почти мгновенно. Ошарашенного Дрыжика посадили посреди комнаты в редакторское кресло, отодвинутое от стола. Ремизкин установил аппарат на треногу. Наташе, оторопевшей в такой спешке, он сунул в руку большую электролампу для подсвечивания. Сам Ремизкин почему-то, секунду подумав, влез на стул, собираясь снимать героя именно в таком ракурсе. Штатив аппарата он установил на столе. Войдя в привычный раж, он командовал:

– Нет, стоп... Дайте лампу! Товарищ Хворобей, попрошу поддержать. Вы, Наташа, сюда! Я вас вместе – спасителя и спасённую. Предупреждаю, будет выдержка. Внимание! Наташа, прошу вас, молчите. После все скажете. Начали! Раз... два...

Дрыжик скромно, но в горделивой позе человека, которому слава не так уж нужна, застыл, поедая очами аппарат.

– Товарищи! – не сдавалась Наташа, но Хворобей и Ремизкин замахали на неё руками. – Однако, в конце концов, спасали-то меня! Я не спорю, Адриан Онисимович действительно был там под соломой...

– На... – сквозь зубы, стараясь не шевелить губами, поднял голос Дрыжик, продолжая сидеть неподвижно и подчиняясь фотовыдержке. – На... На соломе.

– Ну вот, все испортили! Придётся сначала, – разогорчился Ремизкин.

– Ну хорошо, – продолжала Наташа, – был обнаружен, скажем, в соломе. Пускай так. А вот потом я обнаружила у себя на шее этот шарф. Это не мой, и здесь, глядите, какая-то метка вышитая. Часть уже стёрлась, нитки повывернулись, а разобрать кое-что можно.



Я невольно вздрогнул, когда Наташа развернула этот весьма мне знакомый шарф. Все склонились над ним. На толстом шерстяном крутой, плотной вязки кашне можно было прочесть буквы, оставшиеся от когда-то вышитой метки:

С. Цу

– Разве это ваш шарф, Адриан Онисимович? – в упор спросила парикмахера Наташа.

Ремизкин секунду-другую вглядывался в метку, потом вдруг хватил себя ладонью в лоб так, что даже сам отшатнулся, взъерошил волосы и обвёл нас всех взором, который, вероятно, был у Менделеева, когда тот составил Периодическую таблицу элементов, или у принца в сказке о Сандрильоне, когда потерянная туфелька пришлась как раз впору Золушке.

– Стоп, граждане! Понял, ей-богу, честное даю слово, всё ясно! Как фамилия этого нового инженера, который тоже спасать ходил, а раньше прикидывался, что на лыжах ни бум-бум? Чудинов? А звать как? Степан? Теперь что получается? Видите, тут точка стёрлась, еле видна... И что же мы имеем? С. Чудинов. Только конец метки вытерся. Вот это да! Бегу в «Уралпроект». От меня не утаишься!

Уже не глядя на Дрыжика, он резко повернулся и задел аппарат, который с грохотом упал на осветительную лампу, остававшуюся ещё в руке у Хворобя. Лампа с оглушительным треском лопнула, свет погас.

– Все вдребезги, – резюмировал Дрыжик.

В конструкторском бюро все уже были на своих местах, когда появился Чудинов. Его встретили неожиданно бурными аплодисментами. Маша Богданова, волнуясь, вышла вперёд, на середину комнаты. Из-за плеча её восторженно смотрели молоденькая чертёжница и волосатый чертёжник, которые так недавно сердились на Чудинова.

– Уважаемый Степан Михайлович! Нам всё известно...

Чудинов уже знал, что так будет... Он слегка опустил голову и исподлобья посмотрел на Машу:

– Что вам известно?

– Все, все, – заторопилась Маша. – И то, что вы были знаменитый чемпион, – это уже отрицать теперь не станете. Вон дядя Федя даже журнал достал за тысяча девятьсот тридцать девятый год.

Она посмотрела вверх через плечо назад, а волосатый чертёжник осторожно раскрыл над её головой страницу спортивного журнала, на которой был изображён в разных видах заслуженный мастер спорта Степан Чудинов, чемпион Советского Союза по лыжам за 1939 год.

– Степан Михайлович! А тренировать вы нас теперь станете? – Маша весело и заискивающе заглянула снизу в глаза начальнику. – Уж не будете ругаться?

Чудинов неловко хмыкнул и отвернулся.

– И какой вы хороший, смелый, что Наташу Скуратову спасли с Серёжкой и даже сперва никому не открылись. Все на парикмахера подумали.

Чудинов резко обернулся и открыл рот, чтобы что-то сказать, но все заговорили разом, не давая ему возразить.

– Да, да, бросьте, хитрый какой! Опять таится! А нам из редакции звонили. Шарф обнаружили ваш с меткой. Все буквы ваши на месте.

– Да какой шарф? Никаких шарфов давно не ношу! – твердил обескураженный Чудинов. – И вообще, с чего вы взяли? Ну, насчёт тридцать девятого года я не спорю. Было такое дело. А уж это оставьте, пожалуйста!

– Довольно скрытничать! – кричали ему все. – Всё знаем, теперь уж поздно прятаться. Сейчас Ремизкин придёт из редакции. В газете ваш портрет будет.

– Портрет? Этого ещё только не хватало! Да что вы, товарищи! С ума вы сошли, что ли? – взмолился Чудинов. – Ну, хватит, за работу, живо! Я сейчас дам новые расчёты...

Он уже повернулся, чтобы выйти в соседний кабинет, но в дверях наткнулся на Ремизкина. Тот надвигался на Чудинова, не сводя с инженера глаз и объектив фотоаппарата.

– Вы это, дорогой товарищ, что так нацеливаетесь?

– Товарищ Чудинов, – взволнованно, но настойчиво объявил Ремизкин, – сейчас уже бесполезно отрицать. Вот вещественное доказательство – шарф с вашей меткой, видите? «С. Чудинов». – Он потряс над головой шарфом.

– Положим, я этого тут не вижу, – сказал Чудинов, но с явным смутением посмотрел на шарф.

– А вы взгляните мысленно! Вот, если тут продолжить, как раз и получится, что С. Чудинов.

– Странно, – растерянно проговорил Чудинов, – был у меня похожий шарф, но только я его ещё в году эдак сорок шестом уронил с яхты на Ладоге и утопил нечаянно. А это просто случайное совпадение. Да вообще, с чего вы взяли? Чепуха какая!

– Да, как же, – набросился на него Ремизная. – Ведь всё же буквы совпадают. Погодите, я вас только сниму.

– Послушайте, приятель, – уже совсем сердито сказал Чудинов. – Беседа закончена. Ясно?

– Так ведь буквы же! – не сдавался Ремизкин.

– Не приставайте, а то я вас на такую букву пошлю... – уже грубо сказал Чудинов, отвёл рукой попавшегося ему на дороге волосатого чертёжника и быстро вышел из комнаты.

Ремизкин устремился было за ним, но в это время позвонил телефон. Маша подошла:

– Из редакции? Кого? Тут Ремизкин. Донат, вернись, из редакции тебя.

Запыхавшийся Ремизкин кинулся к телефону, схватил трубку.

– Не дают оперативно работать! Ну, что такое? Как? Кто? Тот, кто спас? Сам пришёл?..

Все смотрели на него в полном смятении.

А в это время в редакции «Зимогорского рабочего» перед Хворобеем сидел, развалясь, небритый, запухший детина в стёганом ватнике.

– Погодите, Ремизкин, – говорил в телефон редактор, – погодите у телефона. – Он повернулся к собеседнику: – Так вы утверждаете, что вы именно обнаружили заблудившихся?

Тот откашлялся и, немного поёрзав, расположился удобнее в кресле.

– Вполне свободная вещь, спросите милицию. Обнаружили меня в той же местности, как я был не в себе, чересчур окоченевши. Конечно, я вам все это в точности объяснить не берусь, как я, будучи, говорю, сильно окоченевши, и, конечно, как шёл заступать в аэропорт, то принял немного... К тому же учтите, я по состоянию здоровья зарегистрирован как лунатик, могу вам справку из амбулатории. Вот сон вижу, что сплю вроде... А сам хожу и после не имею памяти, где ходил. Лунатизм. Вам это понятно? Это вы обратите внимание... Теперь, значит, дело как было...

– Понятно, понятно. Ремизкин! – закричал в трубку Хворобей. – Имейте терпение, сейчас я все выясню.

– Да что выяснять-то? – продолжал посетитель. – В газету объявление я не требую. Дайте справочку на руки, что не мог



заступить вовремя по причине спасения погибающих. Печать приложите, и всё. Мне лишние разговоры эти ни к чему. А то меня через всё это с работы сымают, под прогул подводят. Я же разве виноват, что на меня напал лунатизм?

Ремизкин что-то верещал в трубку. Хворобей закивал головой:

– Сейчас спрошу. – Он перегнулся через стол, насколько позволил ему провод. – Быстро: шарф теряли? Теряли, спрашиваю?

– А как же, – не смутился посетитель, – свободная вещь. Как меня обнаружили, я хватать-похватать – нет на мне ничего, ни, конечно, денег, ни вот этого самого... шарфа...

Трубка опять заверещала, и редактор, поднося её к самому рту, закричал:

– Да сейчас, сейчас! Не порите горячку! Выясню... Как, товарищ, ваша фамилия?

– Фамилие моё будет Сычугин. Так запомните или написать вам?

– Фамилия Сычугин! – закричал редактор в телефон.

И услышал, как Ремизкин там, у другого конца провода, охнул:

– Как Сычу... Граждане, отставить! Ещё один спаситель нашёлся!

Буква в букву...

## Глава IX

### По следам неизвестного героя

*Ищут пожарные,  
Ищет милиция,  
Ищут фотографы  
В нашей столице...*

*С. Маршак*

Тщетно бедный Ремизкин пытался разобраться во всей этой путанице с буквами. Появление Сычугина совсем сбило его с толку. Вот, кажется, и буквы все сошлись, а сомнительно было, чтоб этот лунатический выпивоха спас Наташу и Сергунка. Чудинов же и слышать не желал обо всей этой истории. Сунувшегося было ещё раз к нему Ремизкина он довольно уже бесцеремонно выставил за дверь бюро и просил больше с этими глупостями к нему не являться.

Бедный Ремизкин, которого разбирало не только любопытство, но ещё мучило то, что он не оправдал доверия редактора, поймал меня и просил, как более опытного, старшего товарища, посоветовать, что делать, как быть.

– Ведь это же, конечно, Чудинов? – говорил Ремизкин, просительно смотря на меня. – Ну, вы ему друг, скажите, чтобы признался. Если не хочет, мы портрета давать не будем. Можно даже без фамилии. Напишем только одну букву: «инженер Ч.» Ну что ему, жалко? Всего только одна буква, не все и догадаются.

Но как я мог помочь Ремизкину? Я слишком хорошо знал характер Степана и на этот раз вполне понимал его. Хотя я в душе и был доволен, что случай свёл Степана с Наташей, и готов был про себя благословлять пургу, пронёсшуюся над Зимогорском, я понимал всё же, как злят Чудинова все эти разговоры о шарфе, буквах и прочих неотвратимо сходящихся мелочах. Да, все улики, как говорится, были налицо. Но не такой человек был мой Степан, чтобы его могли легко припереть к стенке, если он этого сам решительно не хотел.

Ремизкин рассказал мне, что он пытался расспросить о подробностях Наташу, но девушка заявила, что ей трудно восстановить в памяти детали этого недоброго вечера. У неё все словно снегом замело в сознании. Ей, видно, были тоже неприятны расспросы Ремизкина. Они напоминали самолюбивой девушке о том, что она фактически потерпела ещё одно поражение на лыжне, хотя это была не гонка, а поиски заблудившегося. Всё же она показала себя не с лучшей стороны, эта бывшая Хозяйка снежной горы. Куда уж там! И лыжу сломала, и справиться сама потом не смогла. Спасибо, нашёлся какой-то добрый человек, что выволок её из беды, спас от гибели. И, видно, деликатный, чуткий человек. Спас и скрылся в темноте. Не лезет с напоминаниями, не ждёт, чтобы спасибо сказали. А другой бы явился да начал красоваться... Честно-то говоря, Наташу тоже разбирало любопытство. Ей очень хотелось узнать, кто же был тот таинственный спаситель, который разыскал её в такой лютой пурге, донёс на себе Сергунка, согрел её своим шарфом. Но не такой был у Наташи Скуратовой характер, чтобы она со своей стороны стала помогать розыскам неведомого спасителя. Не хочет открываться – и не надо.

С отчаяния Ремизкин решил даже обратиться в уголовный розыск. Он сделал это по своей собственной инициативе. И вся редакция была заметно удивлена, когда вдруг в кабинете Хворобя появился худощавый смуглый человек с маленькими чёрными усиками, в круглой шапке-кубанке. На поводке он вёл огромную овчарку. Собачица легла поперёк редакторского кабинета и стала подозрительно смотреть на самого Хворобя, который почувствовал себя при этом как-то очень неуверенно и только шёпотом спросил у пришедшего:

– Намордники им не полагаются?

На что пришедший отвечал:

– В частной жизни водим в намордниках, а при вызове сымаем.

Выслушав рассказ о происшествии, товарищ из угрозыска стал весьма сосредоточенным и даже печальным.

– Сыск – благородное дело, – сказал товарищ из угрозыска. – Но только в данном вопросе мы вам не поможем. На подобные случаи у нас даже и собаки не натасканы. Не в этом направлении тренировка идёт. Это уж, извините, не наша сфера деятельности, так сказать. Вот если бы, скажем, убийство было или хищение чего-либо, или, скажем, растратили бы средства какие, тут, может быть, по распискам или по ходу движения суммы мы бы следствие и повели. А так трудно. Да и закону такого нет, чтобы следствие вести на человека, который героизм проявил и не желает открываться. Ведь ни под какую статью не подведёшь.

– Это верно, – сокрушался Ремизкин, но всё-таки настоял на том, чтобы ищейке дали понюхать шарф. Но это вещественное доказательство так захватили за последние дни все кому не лень, что собака и носом не повела. Только отвернулась брезгливо. Не произвели также никакого впечатления на овчарку и буквы из метки.

– Нет, ей-богу, честное даю слово, даже обидно! – жаловался мне потом Ремизкин. – Столько всего понаписано про то, как злодеев, всяких преступников разыскивать – целая, говорят, литература есть; мне в библиотеке справку дали, так столько там книг, что за всю жизнь не прочтёшь, однако, – а как сыскать, если кто геройство совершил и не открылся, ни звука. Просто даже обидно! Значит, если по кровавому следу – счастливого вам пути! Или, как пишут, разматывать клубок преступлений – сделайте одолжение, мотайте! А

если чинно, благородно надо хорошего человека выявить, если он такой скрытный, чересчур совесть имеет и больно уж скромный и тому подобное, так никто ничего толком не посоветует. Вот я бы такое учреждение велел организовать, чтобы они пусть всякие неизвестные хорошие дела разбирали и всему народу сообщали.

Потом однажды Ремизкин примчался ко мне о новостью, которая, признаться, даже и меня привела уже в некоторое замешательство. Дело в том, что неугомонный репортёр-любитель продолжал свои розыски. Хотя Ремизкину было ясно, что не кто иной, как Чудинов, вызволил тогда из беды Наташу и Сергунка, ему самому хотелось исключить всё, что могло бы в наималейшей степени поколебать это убеждение. Он отправился в свободное время к начальнику аэропорта и там выяснил, что в тот памятный вечер из-за пурги на зимогорском аэродроме до самого утра задержалось несколько транзитных самолётов. Пятеро пассажиров с них вызвались, оказывается, добровольно участвовать в действиях поисковой партии, которая вышла навстречу лыжникам, отправившимся из города. И вот в списке пассажиров какого-то транзитного самолёта Ремизкин усмотрел одного, по фамилии, как бы вы думали какой?.. Русочуб!

– Вы только смотрите, – напирал на меня возбуждённый Ремизкин, – опять же сходится. Видите! «С», а тут «Чу». И начальник аэропорта говорит: «Помнится, что ходил такой на поиски – плечистый, здоровый». Улетел утром во Владивосток, понимаете? Тут опять-таки возможно сделать предположение, а? Честное даю слово, ей-богу! Как по-вашему? Я решил с Москвой связаться. Запрошу службу перевозок. Начальник сказал, что, когда билет берут, адрес записывают. Значит, есть зацепка, верно ведь? Товарищ Карычев, вот вы, человек опытный...

Он и мне порядком уже надоел за эти дни. Пускай списывается с этим самым Руевчубом, но пора уже было поубавить пылу и ражу этому следопыту, а то Чудинов мой, чего доброго, от всей этой истории, так хорошо начавшейся, совсем уже взбеленится.

– Занимались бы вы, Ремизкин, своим делом, – посоветовал я ему. – Ну что вы носитесь, как дурень с писаной торбой, когда, в общем, и так всё ясно для каждого? Кончили бы всю эту волынку. Ну подумаешь, спас. Что тут особенного для лыжника?

Ремизкин смотрел на меня во все глаза.

– Да, да, – продолжал я. – Не надо из мухи слона делать. Ну что вы хотите тут сенсацию раздуть? Осложняете только отношения, которые могли бы прекрасно сложиться ко всеобщему удовольствию... И вообще, знаете, Ремизкин, что на этот счёт сказал композитор Гуно, вот тот самый, что «Фауста» сочинил?

– «Фауста» по радио передавали. А вот насчёт того, что сказал, – не слышал.

– Так вот, запомните. Гуно сказал: «Добро не делает шума, а шум не делает добра». Вот, друг мой дорогой...

– Ну... – сказал Ремизкин. – Ну, товарищ Карычев, от кого-кого, а от вас не ожидал! Такой, можно сказать, боевой журналист, сколько я ваших корреспонденции читал, и вдруг...

– Что – вдруг?

– Извините, только вы не чувствуете настоящей героики, вот что я вам скажу!

И больше ко мне уже не приставал.

А назавтра я узнал, что Чудинова пригласил к себе председатель местного исполкома товарищ Ворохтин, вернувшийся из отпуска и командировки в Москву.

Каждый, кто впервые попадал к Ворохтину, глядя на него, прежде всего думал: «Ох! И как же ты, дорогой, изо всего вырос!» И правда, ощущение было такое, что все тесно этому великану. Коротки стали ему собиравшиеся гармошкой у неохватных плеч рукава синего пиджака, пуговицы которого, казалось, вот-вот отскочат от напора могучего и огромного, с трудом втиснутого в костюм тела председателя. Слишком узким выглядел воротник полосатой сорочки, кончики которого торчали в разные стороны под нажимом мощной шеи. Слишком туго, казалось, был повязан галстук, хотя узел его и так был уже где-то на груди, на уровне депутатского значка. И тесноватым выглядел кабинет, слишком маленьким по сравнению с фигурой хозяина был стол, а сам Ворохтин словно не вмещался в своём широком кресле, готовом вот-вот раздаться во все стороны. И даже весь город Зимогорск показался Чудинову слишком маленьким, не по росту так вымахавшему председателю исполкома.

Он радушно приветствовал инженера, обеими руками крепко, но бережно стиснул руку его, подтащил к себе, взял за плечи, всадил в

кожаное кресло, которое подтолкнул к гостю носком сапога, и сам тоже втиснулся в другое, стоявшее напротив. Годолобый, румяный, бритоголовый, он посмотрел внимательно на Чудинова и вдруг подмигнул ему одним глазом.

– Вы – вон, оказывается, кто такой! Ну, думаю, инженер, говорят, толковый специалист, немного круто поворачивает, зато быстро порядок навёл в конструкторском бюро. Это мы приветствуем. И хорошее дело придумали с этими витринами-проектами. Пусть народ сквозь бараки завтрашнюю нашу красу видит. За это спасибо. Жаловалась только на вас, что характером туговаты и молодёжь на тренировки лыжные не пускаете. Это, конечно, вы неправильно. Ну, да сейчас об этом разговор, вероятно, уже запоздал. Оказывается, сами-то вы вон кто такой! Ишь ты, прихоронился-то как хитро! – И он развернул перед Чудиновым уже знакомый ему журнал, на обложке которого красовался чемпион 1939 года. – Узнаете? Отказываться не будете? Так в чём же дело, товарищ Чудинов? Одно другому не мешает. Но ведь город-то наш на всю округу лыжниками славится. Именно гнездо покорителей снегов. Да наш «Маяк», откровенно сказать, «Радуге» этой может двадцать очков вперёд дать, если захочет.

– Но пока что на двадцать пять очков позади оказался, – возразил, пряча улыбку, Чудинов.

– Чистая случайность, – разгорелся Ворохтин. – Абсолютно уверен, что случайность. И потом, непривычная обстановка. К тому же, учтите, снег у вас другой, а у наших мази для лыж охотничьи, фамильные, из рода в род идут, свои секреты. Однако там, видно, не подошли. Это бывает. Как говорится, не попали на мазь. И потом, извините меня, прямо скажу: судьи, я знаю, придрались к нашим. На дистанции запутали. Ведь вы сами знаете, от судьи тоже многое зависит, как ни говори. Вы тоже, москвичи, хитры. Знаю я вас!

Он погрозил огромным, с огурец, пальцем Чудинову и опять подмигнул ему.

– Ни при чём тут судьи, – возразил Чудинов. – Просто техники у ваших не хватает. Например, вот эта ваша местная звезда Авдо... тьфу!.. Скуратова Наталья. Такие данные! Дал бог силушки, а поглядите, как ходит. И рубит, и колет, и в полон берет, а сама у себя

крадёт скорость. Да, – продолжал он, как бы внезапно осадив себя, – никто не спорит, данные есть, только мало этого.

– Вот именно, – подхватил Ворохтин. – Я сам, признаться, бешеный этого дела болельщик. Кое-что кумекаю. Ну, и вижу – отсутствует техника. Вот к чему и разговор, товарищ Чудинов. Взялись бы вы, а? Ведь это же просто повезло нам, чтобы такое светило, как вы, – и вдруг на нашем горизонте возшло. – Он перегнулся вперёд, громадными своими ладонями схватил Чудинова за колени, целиком покрыв их, и, легонько постукивая одно о другое, продолжал: – Нет, честное слово... Как вас по отчеству? Степан Михайлович? Так слушай, друг Степан Михайлович, – сказал он, внезапно и доверчиво переходя на «ты», – ведь здорово же будет, шут нас с тобой обоих возьми, если, скажем, сяду вот так вечером к приёмнику, поверну ручку, – он легко, не вставая, достал сажённой рукой до приёмника в углу, щёлкнул рукояткой, – и оттуда услышу: «Первое место и звание чемпиона Советского Союза завоевала Наталья Скуратова, клуб „Маяк“, город Зимогорск». Слушай, дорогой ты мой Михалыч, милый, я же серьёзно говорю. Ну кто тебя там обидел, от спорта отшиб? Плюнь ты на это дело! Да мы тебя, брат, почётным гражданином Зимогорска сделаем. Квартиру пожизненно от исполкома! Ей-богу, правду говорю. Натренируешь?

Между тем в приёмнике, который машинально включил Ворохтин, прогрелись лампы, и из-за экранчика диффузора раздалось:

«Начинаем передачу для детей дошкольного возраста. „Угадайка“... Здравствуйте, дорогие ребята».

Ворохтин с сердцем выключил приёмник, смущённо поглядев на инженера. Оба невольно расхохотались.

– Вот то-то и оно-то, – сказал Ворохтин. – Небось думаете, что для меня подходящее: в детство, мол, впадает председатель. Но что делать, товарищ Чудинов, – он широко развёл руками, чуть не весь кабинет перегородив собою, – болею. Каюсь, болею!

– Я подумаю, – сказал Чудинов. – Честно-то говоря, я, когда сюда ехал, твёрдо считал, что с этого рода деятельностью у меня, как говорится, завязано. Навсегда. Но, признаться, разбередили вы меня. Это, вероятно, журнал вам Маша Богданова притащила? Ну, так и знал! Не вылезь я тогда в эту пургу проклятую...

Ворохтин, поглаживал мосластый бритый подбородок.

– Слышали, слышали кое-что.  
– Что слышали? – насторожился Чудинов.  
– Ничего! – спохватился Ворохтин, вспомнив, очевидно, наставления приходивших к нему вместе с Машей Богдановой физкультурников. – Ровным счётом ничего. То есть слышал только, как вы ночью тогда махнули, не задумываясь... Ну, а насчёт всего иного мы тоже лишних слов зря не говорим, шуму не любим. Да и то, как говорится, не пойман – не вор, не награждён – так не герой. Так, что ли? Эхе-хе-хе!

## **Глава X**

### **Очнись, Белоснежка!**

В тот же день стало известно, что инженер пришёл в клуб «Маяка» и долго молча, придирчиво выбирал себе лыжи. При этом он успел сделать несколько огорчительных замечаний работникам клуба, упрекнул их, что они неправильно хранят лыжи, и даже сам показал, как следует укреплять их в стойке, и вообще произвёл неприятное впечатление: придира, зазнавака, все ему не то и не так. Выбрав более или менее подходящие лыжи и в душе ругнув себя за то, что оставил в Москве свои испытанные, Чудинов после работы сделал первую разминку.

Когда он вышел на снежную равнину, постепенно переходившую в холмы, на вершинах которых стеной стоял сосновый бор, мышцы его разгорелись, приобрели прежнюю эластичность и словно налились знакомой уверенной силой.

И Чудинов пошёл!.. Он постепенно увеличивал ход, почти не учащая шага, лишь удлиняя его в скольжении, разгоняя скорость. Приятно было ощущать, как с каждым мгновением возрастал послушный накат лыж, скользивших с лёгким звоном по чуточку примёрзшему насту, который хрустко подавался тоненькими, ломкими пластинами. Утром ещё Чудинову казалось, что он отяжелел, утратил лёгкость дыхания, устойчивую, стремительную манеру свою, которая так восхищала когда-то зрителей. Чудинов знал, что полное удовлетворение на разминке наступает тогда, когда скорость, уже накопленная, как бы становится твоим состоянием и словно сама передаётся всем движением, удлиняя их приобретённым разгоном.



И вот все это возвращалось к нему сейчас. Белое пространство покорно стелилось под выносимые поочередно вперёд острые концы лыж. Чудинов чувствовал себя снова вернувшимся в покорный ему удел морозного ветра и властного движения к далёкой, но несомненной цели.

Взлетев с разгона на крутой холм, он остановился и, опираясь на палки, посмотрел вдаль. Там появилась группа маленьких лыжников в башлычках. Их возглавляла мягко шедшая вдогон рослая лыжница. Чудинов знал, что они сегодня будут тут. Он для этого и пришёл сюда, чтобы посмотреть ещё раз на Скуратову и, может быть, наконец поговорить, если придётся. Он видел, как девушка взмахнула рукой, слегка приседая, и ребята, выстроившись шеренгой, старательно отталкиваясь палками, заскользили по склону горы. Чувствовалось даже издали, что все они держатся на ногах легко и уверенно. Настоящие природные маленькие хозяева белых гор... Гномики-снеговички!

А когда ребята съехали, Скуратова слегка пригнулась, сделала лёгкий пологий рывок и, мигом скатив с холма, описала безукоризненный полукруг, обхватив им всю группу своих питомцев. Опытный глаз Чудинова тут же отметил несколько ошибок в технике шага, излишний развал движений на ровном месте. Но нельзя было не восхититься той смелой свободой скользящего шага, с которой Наташа промчалась по довольно крутому спуску. Чудинов расправил плечи. На короткое время пригнувшись, по привычке провёл рукой по левому колену, как бы прислушиваясь к нему, потом, оттолкнувшись обеими палками, сделал первый шаг, и через минуту он уже нёсся по крутогору туда, вниз, где чернели на белом фоне фигурки гномиков и Белоснежки на лыжах.

Неожиданно перед лыжником оказалось что-то вроде естественного трамплина – снежный нанос, круто обрывающийся. Сворачивать было поздно. Чудинов слегка присел, прыгнул, сохраняя равновесие, врезался лыжами в покатый сугроб, пересёк его на большой скорости, оставляя глубоко взрытую колею, но за сугробом оказался почти заметённый снегом небольшой пенёк. Правая лыжа концом своим пришлась прямо в него, и Чудинов полетел кубарем под откос, зарываясь головой в сугроб. На счастье, снег был ещё не слежавшимся, рыхлым.

Когда Чудинов, тихонько чертыхаясь про себя, выкарабкивался, к нему уже со всех сторон подкатывали маленькие лыжники. Слегка опередив их, к месту происшествия подъехала Скуратова. Чудинов поднялся, отряхиваясь. Снег залепил ему уши, нос, глаза. Снег забился в рукава, за воротник. Наверное, всё это было очень смешно, потому что ребята смотрели и прыскали в плечо друг другу, отворачиваясь. Скуратова тоже с трудом сдерживала улыбку. Чудинов посмотрел на всех, обтёрся платком и вдруг тоже начал хохотать во всё горло.

– Здорово я?..

Круглоголовый коренастый мальчуган, посмелее других, подобрался ближе.

– Дядя, вы, верно, плаваете хорошо, однако? – басом проговорил он. – Вы когда ныряли в снег, так руки вперёд, сразу вот так...

– Сергунок! – остановила его Скуратова. Она строго посмотрела на своего воспитанника и обернулась к Чудинову: – Вы не ушиблись, товарищ?

– Да нет... Снег мягкий. Это пенёк тут подвёл.

Чудинов ногами разгрёб снег, показывая на торчавший из сугроба пенёк, который был виновником его позора.

– Да, у нас тут надо под ноги смотреть, когда на лыжах ходишь, – сказала Наташа. – Вы, видно, приезжий?

– Да, недавно из Москвы, – отвечал, все ещё не оправившийся от конфуза Чудинов, вслушиваясь в её грудной уральский говорок с мелодичными вопросительными интонациями.

– А-а, – протянула Скуратова, – оно-то и видно. К укатанной дорожке привыкли?

Сергунок стоял, задрал нос и поглядывая снизу на Чудинова.

– Дядя, а вы попросите тётю Наташу, она вас научит, как по-нашему ходить. Правда, тётя Наташа?

– Ну, хватит тебе! – строго сказала Наташа. – Встань в ряд обратно.

Чудинов легонько пожал плечами, нахмурился:

– По-моему, тёте Наташе самой надо ещё многому поучиться.

– Уж не у вас ли? – спросила она свысока.

– Что ж, кое-чему и я могу научить. Давайте познакомимся, коли так вышло. – Он поклонился: – Чудинов.



Наташа вскинула на него свои строгие серые глаза и вдруг зарделась вся так, что через мгновение у неё пылали не только щеки, но и виски, и лоб, и уши.

– Чудинов? Это что же, вы тот инженер, который, говорят, нас с Сергунком тогда... Мне в редакции говорили, только не совсем фамилию точно сказали, мне послышалось Чудинов. Это вы мне шарф тогда свой повязали? Это вы и есть?

– Опять начинается! – чуть не закричал Чудинов. – Никаких шарфов я не повязывал. Вообще я их не ношу уже лет десять... Это всё ерунда, путаница. И не думал я вас спасать. То есть я, правда,

принимал участие, как все, но не посчастливилось, извините. Уж кому-нибудь другому спасибо скажите.

– Странно-о! – протянула Наташа, не сводя с него глаз. – И фамилия у вас громкая. Я только сейчас вспомнила. Ведь был такой до войны чемпион Чудинов?

Чудинов медленно опустил голову, потом посмотрел куда-то в сторону, вдаль.

– Да. Был такой чемпион. Верно. Был.

– Но ведь, по-моему, его не то убили, не то он ногу потерял... вы что ему, родственник или однофамилец?

– Знаете, как ответил один человек, когда гости спросили, что это за юноша изображён на портрете? Не знаете? Он сказал: «Это сын моего отца, но мне не брат».

– А кто же это был на портрете? Не понимаю, – призналась Наташа.

– Это был сам хозяин в молодости, – негромко пояснил Чудинов. – Ну, до свиданья, Наташа Скуратова. Не буду вам мешать заниматься.

– А откуда вы знаете, что я Скуратова? – не без лукавства поинтересовалась Наташа.

– Ну, кто же тут этого не знает? – беспечно отвечал Чудинов и, сделав поворот, покатил с холма вниз на лыжах, едва заметно оседая на левую ногу.

Некоторое время Наташа смотрела ему вслед, затем, как будто перешагнув через что-то, устремилась за Чудиновым и быстро нагнала его:

– Извините меня... Я не знала, что это вы сами...

Чудинов остановился, покосился на неё через плечо:

– А я тоже не знал, что именно в этих местах проживает такая лыжница. Я вас ещё в Москве видел.

– Ой, не вспоминайте лучше!

– Почему? – с внезапным порывом, совершенно его преобразившим, заговорил он вдруг, вплотную подойдя к ней. – Слушайте, Скуратова, наделила вас природа щедро, не поскупилась. А вы думаете так и прожить на всём готовеньком, от роду отпущенном? Техники у вас ни на грош. Если бы я только не бросил это дело, то я бы из вас такую лыжницу сделал!

– А я ведь тоже навсегда с лыжни сошла, так что не трудитесь.

– И не собираюсь. Я это дело сам решительно оставил.

– Ну, вот и хорошо, – сказала Наташа, сердито подтянув кончики бровей к вискам, – но крайней мере, нечего спорить. Чудинов молчал, невольно залюбовавшись ею. Очень ему нравилась эта упрямая, сердитая, большеглазая...

В Наташе была та цветущая чистота, которая столь свойственна девушкам, работающим в детских садах или яслях, чистота безукоризненная, какая-то невозможно отмытая, победительная. Но в ней не было плянцево-молочной тугощекости, чуточку снулой сытости, которая иногда появляется у таких девушек. Нет, она выглядела тренированной, её девическая свежесть была силой и энергией, и во всём сказывался характер твёрдый и своенравный.

Сердясь на самого себя, Чудинов вдруг решительно сказал:

– Слушайте, Скуратова... а вы хотели бы победить Алису Бабурину, чемпионку?

– Да, победишь её! – Наташа покачала головой. – И вообще, я же вам сказала.

Глядя ей прямо в глаза, со странной убеждённой медленностью он медленно проговорил:

– Скуратова, если вы по-настоящему захотите, вы победите её в следующем же сезоне. Это я вам говорю, заслуженный мастер спорта Чудинов, в конце концов, если уж на то пошло. – Он окончательно рассердился на себя. – Словом, если серьёзно желаете заниматься, ладно! Буду вас тренировать, бог с вами...

– Я вас об этом, кажется, не прошу, – обиделась Наташа.

– А я это не для вас делаю, извольте знать.

– А для кого же? Для Алисы Бабуриной?

Чудинов даже отвернулся от неё:

– Сказал бы я вам, Скуратова! Э, да что там! Хочу я, Наташа, последний раз попробовать. Может, мне всё-таки удастся воспитать для нашей страны действительно классную лыжницу, чтобы на мировую лыжню её вывести, чтобы всем этим норвежкам, финкам, австрийкам она спину показала на лыжне. Вот ради чего я с вами тут разговор веду.

Наташа стояла, опустив голову. Очень тихо сказала она:

– Ничего из меня не выйдет.

– А я говорю вам – выйдет. Довольно тут вам вокруг да около дома крутиться, царевну-затворницу изобразать с вашими гномиками.

– Это что ещё за гномики? Вы знаете, что для меня эти ребята?

– Да вы меня не поняли. Сказка такая есть. Помните? Про Белоснежку и гномиков? Ушла она к ним от злой мачехи в горы, а потом соблазнили её румяным яблочком, откусила чуточку, застряло у неё в горле и...

Наташа задумчиво продолжала:

– После этого заснула и её в хрустальный гроб положил.

– Правильно. Но до каких пор? Пока не явился прекрасный королевич, не разбудил, не вернул её снова к жизни!

Наташа усмехнулась:

– Не пойму что-то. Это вы кто же будете, – королевич или та злая фея с яблочком румяным, на которое Белоснежка соблазнилась?

– Королевич! – убеждённо и весело сказал Чудинов. – Я именно тот самый королевич, а яблочком-то ядовитым вас Бабурина угостила. И теперь, должно быть, справляется она у зеркала, все ли она так же, по-прежнему всех краше и сильнее на свете. А вы что же? Застряла обида в горле – решили задремать, придумали себе хрустальный гроб? Кончено! Я явился и все вдребезги! Впереди жизнь, снег столбом, лыжня, флаги на ветру, а вы – спать. И уж если хрусталь, то не гробик, а кубок! На это я согласен. Ну, Белоснежка, перед вами прекрасный королевич, смиренно ждущий ответа. Освобождаетесь вы от сонных чар или будете дальше дремать?

– Кто вас звал сюда? – едва слышно проговорила Наташа и отвернулась. – Опять вы мне душу разбередили! Уйдите лучше. Я вас прошу, уйдите.

– Есть уйти! – прокричал торжествующе Чудинов и уже начал скользить вниз, но затормозил круто, стал боком, глядя вверх на холм, где стояла Наташа. – А насчёт души – предупреждаю. Я её из вас сперва вытрясу, потом новую вдохну. До свиданья. Завтра в это время прошу сюда. Жду. Ясно? Начнём.

## Глава XI

### Начали

И они начали. Наташа не спала всю ночь перед первой тренировкой. Разговор с Чудиновым вконец лишил её покоя, к которому, как ей казалось, она уже начала привыкать. Но было что-то так уверенно к себе зовущее и в то же время бережно-уважительное, так много обещавшее в том, как говорил с ней и смотрел ей прямо в лицо этот высокий инженер, и во взгляде его требовательных, прячущих добрую усмешку и, видно, много повидавших глаз, что Наташе неодолимо захотелось попробовать. Может быть, всё-таки выйдет что-нибудь?.. К утру она твёрдо решила, что ничего из неё всё равно не получится. Она заснула наконец, вся измаявшись, но в твёрдой уверенности, что ни за что не пойдёт к Чудинову. Но в назначенный час она была на холме, где её уже ждал Чудинов. Он был в лыжном картузике и в своей любимой клетчатой толстой куртке с выпуклыми пуговицами в виде футбольного мяча.

– Ну что же, – сказал Чудинов, поглядев на часы, – минута в минуту. Люблю аккуратность. Тем более, времени у меня в обрез. Итак, значит, давайте попробуем...

Дня через два, возвращаясь с рудника, я увидел их в стороне от дороги, соскочил с машины и, увязая в снегу по колени, поднялся к ним. Оба выглядели усталыми и, как мне показалось, рассерженными. В одной руке у Чудинова был неизменный секундомер, в другой – рупор-мегафон. Он, видимо, только что поднялся на холм, от него чуть пар не валил.

– Ну-ка, – командовал Чудинов, – проделайте это ещё раз.

Наташа, поправив движением локтя прядь волос, прилипших к влажному лбу, помчалась по косогору.

– Резче, резче повороты, колено больше вперёд! – закричал Чудинов, хватая рупор со снега и притопывая лыжами. Тут он увидел меня. – Здравствуй, здравствуй, ты сейчас не мешай... – И снова закричал в рупор: – Опять не ту лыжу загружаете! Ведь может, а упрямится. Я же отлично вижу, – пожаловался он мне.

– Ты бы всё-таки, Степан, не сразу так уж. Ведь характер-то у неё, должно быть, уральский. Да и у тебя тоже не конфета.

– Ну, ты только не учи меня, пожалуйста! Хватит у меня и без тебя ассистентов! Вон на пенёчке сидит.

Только тут я заметил, что за холмом невдалеке сидит в своём тулупчике укутанный в башлык Сергунок. Глаза его так и блестели под капюшончиком. Он даже подпрыгивал на пеньке, когда Чудинов делал замечания Наташе. Но вот она снова поднялась на холм, подошла к тренеру.

– Плохо, – сказал с ласковой настойчивостью Чудинов. – Понимаете, Наташа, плохо. И время я засекал на километр – тоже слабо. На прямой опять теряете скорость. Забываете о работе голеностопного сустава, укорачиваете почему-то шаг, мельчите. Я же вам показал. Ну-ка, приготовьтесь. – Он посмотрел на секундомер. – Давайте-ка ещё прикинем, вон где у нас ёлка стоит отдельная, отмеченная.

Наташа стояла неподвижно, тяжело дыша.

– Зря вы меня мучаете, Степан Михайлович. По-моему, уже могли убедиться. Все равно из меня ничего не выйдет.

– То есть как это – не выйдет? – мгновенно разъярился Чудинов. – Если вы так настроены заранее, то, конечно, из вас ни черта... – он покосился на меня и сдвинул шапку с затылка на лоб, – виноват, ничего не выйдет! Сильнее посылайте ногу вперёд, загружайте всем весом лыжи с маху. Ну-ка, дайте мне сюда ваши палки. Попробуйте без них, как на коньках.

Наташа послушно начала упражнение.

– Резче, резче, расслабленнее, а шаг свободнее.

Наташа, вдруг круто повернув, подошла к Чудинову, почти вырвала у него из рук свои палки. На глазах, на длинных, загнутых вверх ресницах у неё блестели слёзы обиды.

– Степан Михайлович, я сказала, у нас с вами не получится. Я на лыжи стала, как только ходить начала. Меня отец учил, а его – дед. И всем этим фокусам я по-вашему переучиваться не стану.

– Ну, будя, будя упрямитесь, – попробовал урезонить её Чудинов.

– Нет, Степан Михайлович, я же понимаю. Вы считаете, что, мол, есть у вас какие-то права на то, чтобы так вот со мной... Но я ведь вас тогда на помощь не звала...

– Опять начинается эта морока. Тьфу!.. – возмутился Чудинов.

– И тренировать вас не просила. Явились вы незваный, негаданный, непрощеный... Есть вот люди попутные, есть встречные,



а вы, Степан Михайлович, человек поперечный. Только меня вы не собьёте! – И, круто развернувшись, она заскользила прочь.

– И поворот опять сделали нечисто! – крикнул ей вдогонку Чудинов. – Время теряете, надо резче.

Но Наташа уже мчалась по белой равнине к городу.

– Эй, Наташа! – Чудинов схватил мегафон и припал к нему. – Скуратова! Вы что это, на самом деле? Ну, хватит уральский характер мне показывать!.. Обиделась, что ли? – отставив в сторону мегафон, виновато спросил он у меня.

– Да уж, знаешь, нашла коса на камень. Чудинов зашагал к Сергунку:

– А ты чего смотрел? Ты же её больше меня знаешь. Догнал бы...

Сергунок, не спеша встав с пенька, потоптался валенками в снегу, поглядел в сторону уносившейся лыжницы и сказал хрипловато, но уверенно:

– Она теперь, однако, к вам, дядя, больше сроду не придёт учиться. Уж она как рассерчает, так это уж хуже нет. Ко-онец.

– Ну, ну, не страшай. – Чудинов легонько ткнул его подушечкой указательного пальца в кончик носа. Потом опять схватил рупор: – Скуратова, на место! Наташа, будет вам! Эх! – Он с размаху поставил мегафон в снег, положил руку на башлык Сергунка. – Ну что мы с тобой теперь делать будем?

Но Сергунок как будто уже не слышал его. Я видел, как мальчик внимательно вглядывался в пуговицы на куртке тренера. Чудинов нервно накручивал на палец оборванную нитку, которая всё ещё висела на месте отсутствующей пуговицы. Не сводя глаз с куртки, Сергунок быстро полез к себе в карман, задрав полу тулупчика. Он торопливо выгребал на подставленную ладонь другой руки всякую всячину, хранившуюся, по мальчишечьему обыкновению, на дне его карманов. Вот появились две продырявленные ракушки на верёвочке, гнутый гвоздь, шурупчик с фарфоровым изолятором, металлический шарик-подшипник, билет пригородной электрички, косточка домино, цветные стёклышки, косо срезанная пробка, дощечка с намотанной на неё суровой ниткой, черенок от столового ножа, скомканная в шарик серебряная бумага от конфеты... И наконец из кармана была извлечена большая пуговица в форме маленького футбольного мяча с

выпуклыми дольками. Мальчишка глянул на пуговицу, потом ещё раз сличил её с теми, что были на куртке Чудинова.

– Дядя, это, значит, правда вы? – обмирая от восторга, проговорил Сергунок.

Тот рассеянно скользнул по нему взглядом и отвернулся, следя за унёсшейся Наташей. Он не вслушался в вопрос...

– Ну конечно. Кто же ещё?

– Это, значит, правда вы тогда нас с тётей Наташей в шалашик укрыли? Теперь уже не скроетесь. – Он показал на ладони пуговицу и сейчас же, отдернув руку, спрятал её за спину.

Чудинов ахнул:

– А ну живо отдай пуговицу! Где ты её взял? Нехорошо!

– А вы признайтесь, тогда я отдам вашу пуговицу.

– Не в чём мне признаваться, а пуговица действительно моя. Отдай, а то видишь, хожу как! Вид неаккуратный. Слышишь, давай живенько!.. Евгений, – обратился он ко мне, – ты, кажется, умеешь с малолетними. Скажи ему в конце концов...

Я с трудом сдерживал смех. Очень уж смешным, растерянным и беззащитным выглядел сейчас мой приятель.

– Твоя пуговица, ты и доставай её, – сказал я. – Буду я ещё в ваши дела лезть.

– А я теперь все отгадал! – продолжал довольный Сергунок. Я тогда за вас уцепился... А потом, как оклемался, в сознании обратно стал, пляжу, а она у меня зажатая. А я сейчас увидел на вас такие, сразу и угадал, Смелый вы какой, однако. Спасибо вам, а то бы мы так и не нашлись вовсе и помёрзли бы в поле. Другие-то боком, стороной прошли.

– Да перестань ты фантазировать! – накинулся на него Чудинов. – Давай лучше пуговицу, не будь свинёнком, в самом деле! Если тебя кто-то спас, так ты уж не безобразничай.

– Когда признаетесь, тогда и отдам, – невозмутимо отвечал Сергунок.

Чудинов шагнул было к Сергунку, но мальчишка мигом сорвался с места и стремглав понёсся вниз с холма.

– Ну, вот видишь, как это всё дурачки складывается? – вконец расстроился Чудинов. – Теперь будет этой пуговицей щеголять. И так от разговоров тошно, а тут она ещё закапризничала, обиделась. Ну вас

тут (всех к лешему, в самом деле! Вот брошу, и всё. Ты слышал, она уже чуть было не корила меня, будто я какие-то на неё права имею. Припуталась ещё эта история на мою голову! Может быть, ты поговоришь как-нибудь с ней, а, Евгений? Ты же у меня красноречивый, лирик, не мне чета.

Я действительно решил поговорить, правда не с Наташей, а с её упрямым питомцем. Дело принимало ненужный оборот и могло сейчас только вызвать раздражение у Наташи и Степана.

Наутро я подошёл к интернату. Ребята играли во дворе за палисадом, прокапывали ход через наметённые за ночь сугробы. В некотором отдалении от других детей стоял Сергунок. Он что-то кричал в трубку, свёрнутую из старой газеты, а Катюша ездил перед ним взад и вперёд на маленьких лыжах. Я не сразу понял, что это была за игра.

– Руки с ногами соображать надо! – кричал Сергунок.

– Я и так их соображаю, – на ходу звонко отвечала Катюшка и вдруг совершенно другим голосом, тихо спрашивала: – Погоди, я не играю. Как это – соображать?

– Ну, чтобы заодно вместе, разом махались, – так же тихо и совсем другим тоном пояснил Сергунок, но тут же кричал в газетную трубку свою: – Коленкой, однако, не вылягивайся!

Катя деланно громко:

– Я и не вылягаваюсь совсем... – И опять тихо – А ты мне должен на «вы» говорить. – И снова громко: – А если вы будете меня все переучивать по-своему, так я не стану вас больше слушать вовсе. Сам носом в снег тыкнулся, а учит!

– Это когда я тыкнулся? – возмутился Сергунок.

– Ну, я это ему говорю как будто. Помнишь, как он кувыркнулся? – И они снова возвращались в игру. – Никто вас не заставлял учить!

– А вы, однако, ваш характер покиньте!

– А вы не кричите на мой характер. У вас ещё у самого хуже и грубже. Мне даже довольно очень совестно, что вы на меня так выражаетесь. И ещё неизвестно, что вы лично спасли! Докажите!

– И докажу, – сказал вдруг Сергунок и полез в карман.



Тут я решил, что самая пора вмешаться.

– Эй ты, спасённый, – начал я, подойдя вплотную к палисаду. – Во-первых, здравствуй, приятель. Иди-ка сюда.

– Здравствуйте, я вас знаю. Вы тоже из Москвы, редактор.

– Правильно, почти так. Иди-ка ко мне. – Я обнял его у калитки и вывел на улицу. – Слушай, друг милый, что это ты пуговицей какой-то хвастаешь? Почему дяде Степану не отдал? Ходит из-за тебя человек расстёгнутый.

– А чего он не признается, что спасал!

Он насупился и высвободил своё плечо из-под моей руки.

– погоди, не об этом сейчас речь. Как тебя зовут? Сергун?

– Сергун. Сергей я.

– Ну вот, Сергей, можно с тобой поговорить по-взрослому, как мужчина с женщиной?

– Это как два товарища промеж собой?

– Вот-вот, именно.

Я взял его под руку, и мы с ним степенно прогуливались вдоль палисада, ведя спокойный, солидный мужской разговор.

– Понимаешь, дружок, нечего шуметь. Ну, спасли тебя, скажи спасибо. Все уж про то забыли, а ты тут булгу поднимаешь, тётю Наташу только зря волнуешь. Они начали заниматься с дядей Степаном, а тут ты со своей пуговицей. Он не признается, вот у них ничего и не получится. Она ведь гордая, тётя Наташа, думает: «Ах, он считает, верно, надо поблагодарить его, я ему обязана, что спасал», и всякое такое. Знаешь, она... как тебе сказать... они все, тётеньки, такие... – Я тоже был не мастер разговаривать с ребятами, а этот круглолобый чертёнок вообще-то был не из болтливых. Хмыкал, отмалчивался или отвечал односложно своим хрипловатым баском. – Верно, ведь все тётеньки такие? – повторил я.

– Понятно, женщины, – подтвердил Сергунок.

– Молодец, умница! Все понимаешь.

Поощрённый похвалой, Сергунок решил развить мою мысль:

– Она ещё возьмёт да и сообразит: «Надо, мол, однако, пожениться на нём» – и уедет.

– Слушай, Сергей... Кх... – Я закашлялся. – Ты поначалу так умненько все и хорошо говорил, а теперь уж болтаешь пустое. Но одно запомни: я вот скоро уеду в Москву обратно, а ты тут про все цыц, молчок. Пусть тётя Наташа хорошо-хорошо потренируется с дядей Степаном, пока в будущем году на спартакиаде всех не победит. А потом мы вместе с тобой все докажем и пуговицу предьявим. Ты про неё, я надеюсь, тётю Наташе ничего ещё пока не говорил? Правильно! А то отняла бы непременно. Ну, потерпи немножко ещё, я тебя как человека прошу.

– По-товарищески? – переспросил Сергунок.

– Вот именно, как товарищ товарища. Сергунок задумался:

– А если я потерплю, не скажу, вы меня на тот год возьмёте с тётей Наташей на спартакиаду?

– Далёко глядишь. Ну, обещаю.

– И билет дадите?

– Договорились, – заверил я его.

На окраине Зимогорска, где сквозь заснеженные ели видны были корпуса обогатительной фабрики и металлические фермы эстакады, по которой подвозили руду, Чудинов тренировал группу местных лыжниц общества «Маяк».

Неудобно было уже теперь отказываться. Получилось бы, что из-за какого-то личного пристрастия Скуратову он взялся тренировать, а других не желает...

Наташа на тренировки больше не приходила. Чудинов мрачнел, но не желал сам сделать первый шаг. Зато Маша Богданова стала с первой же тренировки радовать Чудинова незаурядными успехами. Да и среди подруг её оказалось немало способных спортсменок.

– Здравствуйте, Степан Михайлович, – приветствовал тренера дядя Федя, явившийся взглянуть на занятия. – Ну, как дела, подвигаются? Ворохтин сегодня звонил, интересовался. Сказал я ему, что все хорошо, только Скуратова опять на дыбы встала. Он сказал, если надо – повлияет.

– Нет уж, – испугался Чудинов, – обойдёмся как-нибудь без вмешательства высоких властей. Так дело не пойдёт. Подождём – сама явится. Девка неглупая, сообразит.

– Ну, а остальные как? Характер-то не у всех Скуратовский.

– Материал благодатный, Хвастаться не буду, но через годик, думаю, мы с вами на спартакиаде выпустим таких лыжниц, что другим жмуриться придётся. Наши их снежком накормят на лыжне. Вот поглядите сами. Ну-ка, девушки, ещё раз сделаем прикидочку на прямой. Вы, Маша, немножко на спусках посмелее, делайте разгон крупнее! Веселей, девушки, глядеть у меня! Устали? Ничего, держитесь. Мы с вами ещё всем Скуратовым да Бабуриным сто очков вперёд дадим, уверяю вас.

Маленькая Маша Богданова потрянула заиндевевшими кудряшками:

– Ой, Степан Михайлович, однако Наташу не обойдёшь. Ведь у неё природный-то ход какой!

– «Ход, ход»! – мрачно передразнил Чудинов. – Разве я сам не знаю. При её данных да подходящий бы характер! Эх, да что говорить! Хоть бы вы на неё, что ли, повлияли, подруга ведь.

– Да, повлияй на неё! У них вся семья такая. Как упрутся – с места не стронешь.

– Ничего, стронем.

Маша вздохнула:

– А вот из меня уж чемпионки никогда не выйдет, верно?

– Как вам сказать. Вы, Маша, делаете просто отличные...

– Пожалуйста, не утешайте, – перебила его Маша. – Не выйдет. А всё-таки я буду ходить на лыжах, буду ходить, буду!

И, рванувшись вперёд, старательно и весело выполняя короткими ножками шаги, которым научил теперь местных лыжниц новый тренер, Маша Богданова помчалась по лыжне, и только ветер, нёсший лёгкую струистую позёмку, растрепал заиндевшие завитушки волос над её маленькими розовыми ушами.

За день до моего отъезда из Зимогорска я, закончив все дела в редакции и на руднике, вернулся ещё засветло в гостиницу.

Чудинов лежал в нашем номере на постели лицом к стене. Быстрые зимние сумерки наплывали в окно, но Чудинов не зажигал огня.

– Ты что тут, Степан, сумерничаешь? – спросил я, присаживаясь на свою кровать, против Чудинова. – Не в настроении? Что, на строительстве что-нибудь? Там тобой не нахвалятся, настоящий, брат ты мой, авторитет у местных приобрёл!.. А ты, если есть какое-нибудь затруднение, скажи, пока не поздно. Может, помочь через центральную печать? Пользуйся, пока я не уехал.

Чудинов приподнял голову с подушки, посмотрел на меня, поморщился, словно попробовал что-то кислое, и снова ткнулся в подушку виском.

– Да нет, тут печатью твоей не поможешь. Ты сам во всём виноват, старик. Да, да, накрутил вот, заставил меня выбрать этот чёртов Зимогорск, хотя великолепно знал, какие тут лыжники, подсунул вместо мифической Авдошиной вполне реальную Скуратову. Ну признайся, сам небось нашептал ей, что я её с мальчишкой спасал и тому подобное...

– Ей-богу, Степан, уж тут вот я ни сном ни духом. Но ты же понимаешь, не у всякого спасённого такой покладистый характер, как у ме... Ладно, ладно, молчу! – поспешил я, так как Чудинов, не

отрывая головы от подушки, поднял руку, завёл её себе за плечо и потряс несколько раз передо мной сжатым кулаком.

– Знаем мы вас, молчальников, – промычал он в подушку. – А она задрала нос, упрямится, срывает теперь всю тренировку. Шут меня дёрнул опять за это дело взяться! Кажется, решил бросить, так нет!

– Ой, Степан, – протянул я с подозрением, – что-то ты больно уж переживаешь крепко. Ты, часом, не того?.., а?

– Ну вот, спасибо! Новое экстренное сообщение нашего специального корреспондента! – Степан даже на постели присел. – Ты, по-моему, старик, знаешь моё правило: вышел тренировать на снег, сам – лёд.

– Ох, господа присяжные, кажется, лёд тронулся. Как бы ты, Степан, подтаивать не начал.

Чудинов одним рывком сгрёб меня на груди за лацкан пиджака и сердито потряс одной рукой.

– Чего взъярился? – спросил я. – Девушка действительно стоящая. – Я почувствовал, что рука Чудинова медленно высвобождает меня. – Такое что-то в ней есть настоящее...

Сам не зная почему, я вздохнул, и Чудинов тоже почти одновременно со мной глубоко перевёл дух, но сделал вид, что кряхтит, и закашлялся.

– Вот видишь, – сказал я, – в одно дышим, как говорится, душа в душу. Все понимаю, брат. Да, туги твои дела, Степан, я вижу. Но ничего, сдюжишь как-нибудь, я в тебя верю.

– Ты бы с ней, может быть, перед отъездом поговорил, что ли? – неуверенно и просительно начал Чудинов. – Намекнул бы, что, мол, нельзя зарывать талант в землю или в снег, как хочешь. Что тебя учить, ты же причастен к изящной словесности.

– Вот-вот... Такая уж у меня миссия... – не выдержал я. – Мне уже не раз доставалась роль Сирано де Бержерака. Мои красивые, великолепно сложенные друзья-герои изнемогают от нежных чувств, а я, как говорится, мордой не выйдя и фигурой должной не обладая, строчу за них любовные послания, намекаю, объясняюсь в их пользу, составляю речи для публичных выступлений. Иногда даже за них и статейки пишу. А им остаётся только подписать и прославиться.

– Да ты! чего это взбеленился? – Чудинов был несколько изумлён. – Такая уж у вас, литераторов, планида, как говорится:



освещать, растолковывать, а где надо – кое-что и приукрасить или умные мысли свои изложить от имени авторитетного лица. Но что-то ты больно растревожился? Уж не сам ли того?..

Он перескочил со своей постели на мою, сел рядом и, одной рукой обхватив меня за плечи, крепко обнял:

– Не злись, старик, я же пошутил. Ты же знаешь, я литературу и печать вполне уважаю, именно за то, что такие вот, как ты, сами с макушкой в жизнь лезут... Беспокойное вы племя, журналисты. Я это в вас и ценю. Но иногда вы обязаны бороться с немотой жизни и помочь ей, заявить во всеуслышание о том, для чего другой слов не найдёт.

– Степан, – сказал я уже серьёзно, – кажется, мы с тобой не первый год друг друга знаем. Что же тут крутить?.. Конечно, попал ты сюда не без моего участия. Хоть бей, хоть прощай – врать не стану. Постараюсь тебе и тут помочь. Но только говорить с ней – это уж избавь. Хватит мне одного твоего характера... А что, правда, если мы её через газету местную? Я этого Ремизкина организую тебе. Поставим вопрос о настоящей спортивной учёбе, о зазнайстве, о неумении пробиваться сквозь трудности и поражения, а?

– Этого ещё только недоставало! – Чудинов отмахнулся. – И так сплетни тут какие-то идут. Ещё мальчишка этот пуговицу мою нашёл где-то. Тычет её всем, твердит, что у меня оторвал в ту ночь.

– О-о! Забыл совсем! – остановил его я. – Можешь обещать мне, что ни с мальчишкой, ни с Наташей ты на эту тему говорить больше не будешь, ни опровергать, ни доказывать, – ни слова?

– Что за вопрос!

– Ну, так бери. – Я протянул ему руку, раскрыл ладонь. На ней сверкала выпуклая пуговица в форме футбольного мяча с рельефными дольками. – На, пришивай, а то у тебя, вижу, не только пуговица, но и душа не на месте.

– Неужели отнял? – поразился Чудинов.

– Зачем? Договорились миром. Очень толковый парнишка.

## Глава XII

### Чёрным по белому

Я покинул Зимогорск, предварительно обо всём договорившись с Ремизкиным, и он проделал то, что било задумало, уже без меня.

Дня через три после моего отъезда Чудинов, придя на работу, заметил, что все как-то странно поглядывают на него.

– Крепко, однако, вы Наталью, – сообщила ему Маша Богданова. – Вы, конечно, правы, только уж очень обидно ей будет. Больно уж вы её проработали.

– Где проработал? – изумился Чудинов, почувствовав что-то недоброе.

– Как – где? В газете.

Чудинов посмотрел на свой стол и увидел, что там уже лежит свежий номер газеты «Зимогорский рабочий» с жирно отчёркнутой красным карандашом статьёй «Наши лыжники». Под ней стояла подпись: «До-Ре-Ми».

Стараясь внешне казаться невозмутимым, Чудинов прочёл:

«В беседе с нашим сотрудником тренер общества „Маяк“, заслуженный мастер спорта инженер „Уралпроекта“ товарищ Чудинов С. М. заявил: „Что касается неоднократной в прошлом чемпионки города Натальи Скуратовой, то она при всех своих способностях не имеет сейчас, естественно, больших шансов на победу, так как пренебрегает новой техникой двухшажного попеременного хода, принятого всеми лучшими лыжниками мира, не отрабатывает стиля, придерживается многих устаревших...“»

У Чудинова даже лоб вспотел. Это, конечно, все Евгений перед отъездом организовал. Как по нотам: до, ре, ми... Ну подвёл! Теперь и вовсе не подступишься.

В городе все судили и рядили о статье До-Ре-Ми. У Дрыжика в парикмахерской только и говорили об этом. Многие считали, что приезжий инженер прав: побили зимогорских лыжниц в Москве. Другие самолюбиво негодовали, возмущались, объясняли все столичным высокомерием и капризами москвича. Особенно задет был за живое старик Скуратов. Ему неудобно было при всех, на людях, внимательно читать статью в газете, расклеенной на ограде рудника близ проходной. Он сделал вид, что все это вообще его мало интересует. Но, вернувшись с работы, тотчас же заставил Савелия прочесть ему статью ещё раз вслух.

В горнице было жарко натоплено. На столе, как паровоз, пуская парок, клохтал самовар. Савелий читал со смыслом и выражением:

– «Что касается неоднократной в прошлом чемпионки города...»

– Ишь ты, – придирался старик Скуратов, – «в прошлом»! А нынешний день, мол, уже никуда.

– «Натальи Скуратовой, – продолжал Савелий, – то она при всех своих способностях не имеет, естественно...»

– «Естественно»! – негодовал Никита Евграфович. – Уже все решил, «естественно»! Естествоиспытатель, однако, какой нашёлся!

– «...Так как не отрабатывает стиля, придерживается многих устаревших, принятых без критического освоения...»

– Стоп, погодь! – не выдержал Скуратов. – Это кто же её переучивать собирается?

– Да вот инженер из Москвы переучивает. Из стройконторы начальник.

– Гляди ты, какой скорый! Рыкало-зыкало! Пускай сперва по нашим крутогорам походит да воздуху нашего хлебнёт. Это ему не московская дорожка – снег по щиколотку! Нет, однако, я завтра прямо в редакцию пойду. Я этому больно прыткому-то там пропишу! И не маши на меня, мать! Раз сказано – пойду. (Кто-то осторожно постучал в дверь.) Это кто там толчётся? Заходи!

Слегка примёрзшая дверь, отдираясь, скрипнула и впустила запорошённого снегом высокого человека.

– Разрешите? – Пришедший снял пыжиковую шапку и коротко поклонился. – Добрый вечер!

– Заходи, коли добрый, – сумрачно отозвался Скуратов.

– Я со строительства инженер, Чудинов моя фамилия, – представился вошедший.

Никита Евграфович выпрямился и вышел из-за стола.

Чудинов, уже наслышавшийся о строгом укладе семьи Скуратовых и о трудном фамильном характере их, почему-то представлял себе, что его встретят тут великаны под стать Ворохтину. С известной опаской шёл он сюда, готовый к тому, что примут его сурово и нелюбезно. Он почувствовал даже какое-то облегчение, когда Никита Евграфович, показавшийся ему, сидя за столом, очень рослым, встав, сделался как-то сразу меньше ростом. Старик-то, вопреки всем предположениям Чудинова, был хоть и крепок, но очень приземист.

Широкие плечи его не очень вязались с маленькими, короткими ногами, обутыми в уральские валенки-чёсанки.

Скуратов оглядел вошедшего, провёл двумя пальцами по коротко стриженным усам, кашлянул:

– Кхе... Это, стало быть, однако, вы Наталью нашу расписали, толком не разобравшись в деле?

– Я вот именно, Никита Евграфович... – начал было Чудинов, проклиная уже себя за то, что решил пойти сюда.

– «Никита Евграфович, Никита Евграфович»! – негодуяще повторил старик. – Не годится так, однако, с лёту, с ходу, да и бултых в воду! Мы тут спокон веку по-своему на лыжи поставлены. Это понять надо. Да ладно, не маши на меня, мать, я тебе не комар какой, не отмахнёшься! Без тебя знаю. Верно, вы раздевайтесь. Садитесь, коли уж пришли. Савелий, подай пиджак.

Сын подал ему из-за перегородки пиджак, к лацкану которого были привинчены ордена: старый, без колодки, орден Боевого Красного Знамени – памятка о партизанских делах времён гражданской войны, и новый, на ленточке, – Трудового.

– Вот мне бы очень хотелось поговорить с вами, – попытался опять завести разговор Чудинов.

– Говорить-то нам уже с вами сегодня после времени. Надо бы раньше... Ну, да садитесь. Мать, налей, я говорю. Вы сперва чайку, а потом уж и разговор будет. Так оно по-нашему.

Некоторое время все сосредоточенно пили горячий чай. Старик прихлёбывал не спеша с блюдечка, легонько посапывал, дул под усы, словно обсушивая их.

Едва Чудинов успевал опрокинуть одну чашку, как сейчас же ему наливали свеженькую. Он пытался возражать, но никто даже его и не спрашивал. Лишь только он отставлял допитую чашку, собираясь начать разговор, ради которого пришёл, перед ним, словно по волшебству, появлялась новая, полная, жарко дымящаяся. Наконец, отдуваясь, он со всей решительностью обеими руками отодвинул пустую чашку.

– Ещё чашечку, – предложил Скуратов.

– Нет, куда уж... Я и так четыре выпил.

– Ну, мы не считали, – сухо пояснил Скуратов. – Налей, мать. – Он пододвинул Чудинову чашку дымящегося чая, налитую в самый

край. – И мне-ка ещё одну, дай бог, однако, не последнюю.

Ещё несколько минут все молча потягивали губами горячий чай с блюдечка. Чудинов поспешно отставил пустую чашку, с трудом переводя дух. Скуратов тотчас же ваял чашку гостя и передал хозяйке.

– Я, уж извините, счета не веду. Охота пришла – пью. На-ка, ещё чашечку.

Тут Чудинов уже прямо-таки в отчаянии замотал головой, собираясь откровенно взмолиться, но Скуратов и глядеть на него не стал.

– Э-э, однако, сдаёт Москва. Раньше, бывало, приедет московский гость – целый самовар опрокинет в себя да новый просит раздуть. Нет уж, вы допивайте, а то, как говорится, паук потопнет. Я о чём говорю, Степан... простите, как по батюшке-то?

– Степан Михайлович, – подсказал Савелий.

– Вы вот, Степан Михайлович, в святцы-то не глянувши, да в колокол бряк. А у Натальи нрав крутой, характером-то она вся в мать пошла. – Он, как бы украдкой, двинул мохнатой бровью в сторону маленькой, тихонько попивавшей чай матери.

Та только рукой опять махнула:

– И-и, старый!.. Нашёл в кого! Чудинов воспользовался паузой:

– Вы мне позвольте один пример, Никита Евграфович, близкий вам? Вот ваш город обязан своей славой руде. Но оказалось, чтобы в промышленность её пустить по-настоящему, нужно руду эту обогатить, концентрацию дать, а иные примеси – вон, в отвал. И построили у вас обогатительную фабрику. И теперь вашей зимогорской руде цены нет.

– Это, конечно, вы верно, – согласился Скуратов, – только не пойму, к чему, однако?

– А к тому, – продолжал Чудинов, – что у вас тут действительно богатейшее месторождение спортивных талантов. И если вот пройти им, так сказать, обогатительную тренировку, так они прославят...

Скуратов пощипал себя за усы:

– Хитро, однако, вы дело сметили. Слыхал, Савелий? Вот она, Москва-то, как растолмачила – руда, мол, есть природная, да требует обогащения. Ах ты, ёлки-малина! Только самому бы поглядеть, какая такая у тебя обогатительная хитрость имеется. Секрет знаешь?

– Охотно покажу, что умею. Ведь эти все секреты я и предлагаю Наташе, а она упрямится. Я бы её знаете как прославил...

– Ты это погоди– охладил его Скуратов. – Мы за славой в сугонь не бежим. У нас вон человек Наташку от гибели спас и то не сказывается, в тайности прихоронился. Это вот по-нашему. Видать сразу, что человек трезвону не любит.

Чудинов поморщился и забарабанил пальцами по столу:

– Гм!.. Это совсем другое дело. Ведь тут по-иному вопрос стоит. Наташа может прославить весь наш советский спорт. У нас слава человека становится славой семьи, коллектива, иногда и всей страны. Вот я и считаю поэтому, что газета, в общем, поступила правильно, напечатав беседу со мной.

Скуратов опять покорябал ногтем под усами.

– Обошёл ты меня кругом, товарищ Чудинов, твёрдый ты, хитёр. Только есть у нас, однако, и свои секреты и своя хитрословинка. Вот возьмём наши мази. Это тоже особа статья, из рода в род идут. Тут надо тайность знать. Поближе сойдёмся если – одолжу. – Он поднялся. – Ну, однако, пошли... Спробуем, какая такая у тебя обогатительная хитрость имеется.

Мать всплеснула руками:

– Куда же это вы? И чаю как следовало не пили! А ты-то, старый, ну куда тебе на лыжах, да ещё против них? Молодые они, – она мотнула головой в сторону Чудинова, – ну где уж тебе! Вот ведь характер анафемский! Заело чертушку! Доктор тебе давеча чего говорил?

Скуратов уже надевал ушанку.

– Я, мать, для этого дела у доктора свидетельства не брал, и не гуди. – Он подтолкнул локтем Чудинова: – Видал характер? Вот в кого Наташка-то. Савелий, сымай из сеней лыжи, мазь давай. Наващивать будем.

Наташа была очень раздосадована статьёй в «Зимогорском рабочем». Она даже всплакнула тихонько у себя в комнате. Потом, когда обида и гнев несколько поутихли, она стала раздумывать. Кто знает! Возможно, и прав этот приезжий инженер-тренер. Может быть, зря она на него так разобиделась, когда дело не пошло на самых первых порах?.. Только уж очень непривычны были его манеры, вся

повадка его и неожиданный строй слов, на которые сперва хотелось обидеться, а потом, вдруг поняв их до конца, радостно отозваться... Странный был он человек, этот Чудинов. Таких Наташе ещё не приходилось встречать. Она пыталась убедить себя, что инженер нанёс ей смертельное оскорбление, которое нельзя уж простить, но с каждой минутой ей было всё труднее и труднее убедить себя в этом.

И тогда она начала досадовать уже на себя.

Приведя ребят с очередной прогулки и уже собираясь закрыть входную дверь, Наташа услышала, как кто-то её окликнул, и высунулась на улицу. К крыльцу лихо подкатила на лыжах Маша Богданова.

– погоди, Наташа. Ну-ка, погляди-ка! – И она, описав несколько роскошных петель возле стоявшей на крыльце Наташи, помчалась по дороге, сделав разворот, взвихривший снежок, и снова прошла перед Наташей в какой-то новой и свободной манере. – Видала, Наташка? – крикнула Маша. – Красиво получается? А знаешь почему? Потому что работа рук согласована с ногами и посыл от толчка получается длинный, свободный.

Она выпалила все это, как хорошо затверженный урок. Чувствовалось, что она на хорошем счету у своего учителя.

Наташа ревниво присматривалась к её движениям.

– Переучилась уже?

– А почему же хорошему не поучиться? – бросила с ходу Маша, мастерски повернувшись, подкатила к Наташе и положила ей руку на плечо. – Если бы мы в Москве с тобой так ходили! Наташка, дурная ты, да если бы у меня был твой талант, данные вот эти физические, как Чудинов говорит, так я бы только и делала, что с ним тренировалась. Знаешь, какой он симпатичный?

– А-а! – понимающе протянула Наташа. – То-то ты так стараешься!

– Ну, и очень глупо! – возмутилась Маша. – Уж если об этом говорить, так известно, по ком он вздыхает. Кстати, он не меня тогда из пурги спасал, кажется.

– Ну, это ещё далеко не известно, он ли. Вон Ремизкин даже сомневается. А если он, так нечего ему таиться. Может быть, дожидается, что я лично ему спасибо скажу? Не дождётся, коли сам не скажет. Дело тёмное.

– Кому тёмное, а мне ясное. Я ведь тоже, Наташка, кое-что вижу.

– Нечего видеть, чего нет! – Наташа покраснела. – Я вот пока вижу, что он тебя в газете хвалит и чуть ли мне в пример не ставит. Прощай, Маша! – Она рассерженно и быстро поднялась на крыльцо.

Маша крикнула ей вдогонку:

– Так, значит, я скажу Чудинову, что ты придёшь на занятия? Не прикидывайся глухой, по затылку вижу, что слышала. Вон уши-то как загорелись!

Наташа громко хлопнула дверью.

Между тем Чудинов закончил показ своих «обогачительных секретов» старику Скуратову и Савелию. Вот тренер вылетел из-за крутого склона, сделал головокружительный поворот на месте. За ним спустя некоторое время появились отец и сын Скуратовы. У обоих волосы под шапками взмокли. Никита Евграфович с трудом отдышался.

– Ну и ходкий ты! – восхитился он. – Это я такого не видывал сроду. Нет, Савелий, ты с ним не равняйся. Это тебе не по носу табак, молод ещё, брат. Ах ты, ёлки-малина! Как стоячего обошёл! Как же ты попеременно-то этим манером разгон такой получаешь? Их ты, силён! Запарил ты меня, как на верхней полке. Это, выходит, правда Наташка дура, что перенять не хочет, это я ей вmozгую...

Возвращаясь после разговора с Наташей, Маша Богданова увидела шедшего навстречу Чудинова.

– Здравствуйте, Степан Михайлович! Я вижу, вас всё-таки в эти края тянет. – Она новела глазами в сторону, где находился интернат.

Чудинов раскланялся и ничего не ответил. Вид у него был очень решительный. Шагал он сосредоточенно и быстро. Маша, развернувшись на лыжах, нагнала его и пошла рядом.

– Я вам хочу что сказать, Степан Михайлович... Наташка хочет завтра на тренировку прийти, да стесняется, ждёт, что позовёте.

Чудинов остановился:

– А вы откуда знаете? Она вам сама сказала?

– Ну да, скажет она, ждите! Но я уж её знаю и отлично вижу. Пришла бы, да стесняется, особенно после газеты. А я говорю: «Чего стесняешься? Знаешь, какой Степан Михайлович хороший человек,



сразу все поймёт». – Она огляделась и потом, став на цыпочки, сколько позволяли крепления лыж, дотянулась ему до уха. – Сказать вам по секрету? Она из-за вас страдает.

– Ага! Обиделась, что я прав был да ещё в газете пробрал.

Маша взглянула на него раздосадованно – вот, в самом деле, непонятливый какой!

– Да я не в этом смысле. Она из-за вас переживает. Понятно вам это?

– Выдумали все. Она после газеты, наверно, и слышать обо мне не хочет.

– Как вам не стыдно только! Такая девушка страдает, а вы! Да вы знаете, какая у нас Наташа?.. Ведь это только у ней с виду такой характер, а вообще-то она...

– Девушка она чудесная, – охотно согласился Чудинов. – Из такой девушки можно мировую чемпионку сделать. Чудесная девушка... – повторил он задумчиво.

– Ага! Ну, слава богу, рассмотрел всё-таки, – немножко успокоилась Маша. – А то мне просто было обидно за вас обоих. Как журавль с цаплей, ей-богу!

## **Глава XIII**

### **«Болеро» и «Шестеро»**

Чудинов остановился возле интерната и прислушался. Сверху из-за двойных стёкол глухо доносились ребячьи голоса, не очень спевшиеся. Слышались приглушённые двойными рамами аккорды рояля. Чудинов знал: в этот час Наташа ведёт занятия по хоровому пению со своими питомцами. Он легонько позвонил. Дверь открыла ему Таисия Валерьяновна. Она была в пальто и платке – видно, куда-то собралась уходить и столкнулась в подъезде с тренером. Чудинов объяснил, что ему нужна на минутку Наташа.

– Поднимитесь, – разрешила заведующая. – Дорогу знаете?.. Они там, в большой комнате, музицируют.

Чудинов неслышно поднялся по лестнице и никем не замеченный стал в дверях комнаты, где шли занятия. Тоненькими, старательными голосами ребята пели:

Дверь ни одна не скрипит,  
Мышка за печкою спит.  
Кто-то вздохнул за стеной,  
Что нам за дело, родной...

Внезапно выделился хриловатый басок Сергунка. Он явно соврал. Наташа остановилась.

– Сергунок, Сергунок! Уши у тебя есть? – Она постучала одним пальцем по клавишу, давая нужную ноту. – Слышишь? «Что нам за дело, родной...» Вот как надо.

Востроносенькая Катя тотчас же подняла руку:

– Я знаю, тётя Наташа, у него уши такие: в одно влетает, а в другое вылетает. Это ему Таисия Валерьяновна так сказала.

– А ты не ябедничай, – остановила её Наташа и передразнила: – «Ухи!»! «Уши» надо говорить. Ну, давайте ещё раз. – Она повернулась к пианино, проиграла мелодию вступления и запела вместе с ребятами.

Грудной, просторный голос её повёл сразу за собой хор, как ведёт наполненный парус лодку с гребцами. Но тут сфальшивила Катя.

– Ну, а у тебя где сейчас уши были? – спросила Наташа.

– А у меня всегда голос со слушом... с ухом... с ушами не сходится, – затараторила, оправдываясь, Катюша.

– А вот ты слушай, как тут поётся. – Наташа стала наигрывать мелодию без аккомпанемента.

И тут раздался от дверей голос Чудинова:

– Эх, не совсем это так поётся. Можно мне?

Растерявшаяся от этого внезапного и, как ей казалось, совершенно невозможного появления, Наташа возмущённо вскинула голову.

А Чудинов уже как ни в чём не бывало подходил к ребятам.

– Здравствуйте, – хмуровато, но бодрясь, приветствовал он. – Можно мне, Наташа, показать? Я эту песню хорошо знаю и очень люблю.

– Уже и сюда пришли меня переучивать? – шёпотом спросила Наташа.

Но тренер не принимал разговора в полутонах. Он громогласно отвечал:

– Нет, что вы! Я тут не специалист. Но вот, может быть, у нас с вами в четыре руки получится, – Он подтащил табуретку к пианино, без всяких усилий сдвинул немного в сторону стул с Наташей и подсел к ней вплотную слева. – Начали!

И, невольно подчиняясь его напористой энергии, Наташа заиграла мелодию, а он стал бравурно аккомпанировать ей, ведя свою партию и подмигивая ребятам. Те запели, весело плядя на обоих, следя за размашистыми движениями его головы, которой он как бы дирижировал, приговаривая:

– Хорошо!.. «Мышка за печкою...» Давай, давай дружно. Вот это другой разговор! Вот и спелись. – Он с размаху взял оглушительный аккорд, сопровождаемый странным дребезгом внутри пианино.

– Уй-ной! Здорово как! – восхитился Сергунок. – Даже задрывало!

Чудинов встал и сконфуженно заглянул под приподнятую крышку пианино, вытер лоб платком.

– Струна. Ничего, я завтра поищу настройщика. А песня, между прочим, хоть и мелодичная, но по смыслу того... «Кто-то вздохнул за стеной, что нам за дело, родной...» Ничего себе воспитание! Лишь бы нам хорошо, мол, было. А там, за стеной, стони, помирай, нам дела нет.

– Что же, по-вашему, я должна с ними «Марш ударников» разучивать обязательно? – тихо спросила Наташа.

Он помолчал в затруднении, вытер платком вспотевшую шею.

– Да нет, это я так. Мне нужно вас на одно слово, Наташа. Выйдем в коридор на минутку.

– Тётя Наташа, – закричала им вслед Катюша, – ты же обещала сказку нам дочесть!

– Дочитать, – машинально, чтобы скрыть все больше охватывавшее её волнение, поправила Наташа.

– Ну, дочитать... про Белоснежку, как она у гномиков в пещере жила.

Катюша, конечно, не могла понять, почему Наташа покраснела так, словно её поймали на чём-то запретном, а у Чудинова торжествующе блеснуло из-под нахмуренных бровей.

– Ну, что вы мне собираетесь сказать? – спросила Наташа, нехотя выйдя с Чудиновым в коридор.

– То, что уже не раз говорил вам: что вы дрянная девчонка с отвратительным характером, но при ваших данных...

– Я всё это уже в газете читала, – спокойно сказала Наташа. – Очень шумите, Степан Михайлович. Мы этого тут не любим, однако.

Она испытующе поглядела на Чудинова. Тот смущённо и трубно высморкался, уткнув нос в платок. И на уголке платка Наташа на мгновение увидела метку: «С. Ч.».

– Откровенно говоря, ничегошеньки я с вами не понимаю, – заговорила она, потеряв вдруг всякую уверенность. – То вы мне одним кажетесь, то совсем другим. Что-то запуталась я с вами.

– Наташа, может быть, хватит нам в эти самые ваши уральские разрывушки играть, а? Руку!

Он протянул ей свою широкую и уверенную руку.

– От вас, видимо, никуда не денешься, – невольно уступая, отвечала Наташа.

– И не будем спорить. Видите, я пришёл первый. Пришёл первый, чтобы вы на лыжне не остались – последней! Сам пришёл, деваться вам некуда. Сдаётесь? Ну?

– Сдаюсь.

Теперь они тренировались ежедневно. Чудинов был неутомим. Постепенно его заразительная, весёлая энергия стала передаваться и Наташе. После всевозможных упражнений и отработки отдельных элементов лыжного хода они в конце занятий делали прикидку с секундомером. И Наташа порой была готова возненавидеть эту маленькую, но дьявольски торопливую стрелочку, которая опережала её и достигала клювиком положенной черты прежде, чем Наташины лыжи пересекали условную линию финиша между двумя ёлочками.

– Вы меня совершенно загоняли! – жаловалась она к концу тренировки, покорно опускаясь на пенёк, и, освободив усталые ноги от креплений, втыкала лыжи в снег. – Скажите хоть что-нибудь.

Чудинов, сам уже взмокший и как будто довольный, сразу начинал объяснять:

– Слушайте, Наташа! Когда вы подходите к финишу, вы не скупитесь, выкладываете все. Я же вам сказал: сделаем сегодня

последнюю прикидку. Что же вы скаредничаете? Бережётесь? Оставляете слишком большой запас в себе. Сил-то у вас достаточно, а вот злости мало, хорошей спортивной злости. А без этого не победишь противника. Вы меня извините, но иногда прямо взял бы вас за шиворот и потряс как следует, леший бы меня взял!

– Ну вот, вы опять уже ругаться начали, – устало и виновато возражала Наташа.

Чудинов в таких случаях смущался, но продолжал бушевать:

– Я же сказал «меня». Меня чтоб леший взял!

– Ну, и на этом спасибо.

– Не за что! – Он внезапно распаялся. – Леший бы пас обоих взял в конце концов! На меня злиться – это вы умеете, а вот где надо характер ваш зауральский, норов этот ваш чалдонский в быстроту перевести – тут стоп дело. Ничего из вас не выйдет, пока не разозлитесь хорошенько. – С затаённой хитрецей он поглядывал на Наташу. – Вот, например, когда я тренировал Бабурину...

Наташа вскакивала:

– Опять Бабурина? Хватит с меня этой Бабуриной! Только и слышу... Пожалуйста, командуйте, я готова.

– На сегодня хватит, – подзуживал Чудинов.

– Нет, не хватит. Я хочу тренироваться. Слышите? Командуйте!

Так они тренировались день за днём, день за днём.

Однажды, после вечерней тренировки, Чудинов вынул из кармана два билета.

– На концерт сегодня пойдём. Вы свободны? «Пятую» Чайковского играют. И «Болеро» Равеля. Сильнейшая вещь! И вам полезло будет послушать.

...Они сидели в большом зале рудничного клуба. Оркестр, приехавший из Свердловска, играл «Болеро».

Удивительной и непривычной была для слуха Наташи эта музыка. Собственно, музыки в первых тактах не было. Неподвижно сидели все музыканты на эстраде... Почти недвижим был и сам дирижёр – только чуть-чуть подрагивала мерно в его руке, прижатой к талии, палочка да возле него, в самой серёдке молчавшего оркестра, едва слышно что-то поцокивало однообразно, сухо, настойчиво, в одном и том же, лишь слегка, двухоборотно смещающемся, попеременно проступающем ритме. И вот постепенно, как бы приближаясь, это упорно

повторяющееся звучание становилось всё громче, громче, явственней, решительней, и на него отзывался, подчиняясь тому же двойному, попеременно распоряжающемуся чёткому ритму, один инструмент за другим. И он, этот ритм, облёкся в робкую сперва мелодию, которая бежала по оркестру от флейты к скрипкам, от скрипок – к виолончелям, от виолончелей – к фаготам, как бежит по магниевому шнуру огонь, зажигающий свечу за свечой на ёлке. Все неодолинее, все могущественнее становился этот властный попеременный ритм, настойчивый, немного придыхающий, неодолимо, такт за тактом вовлекающий в своё движение все силы оркестра. И мелодия, послушная ему, с каждым тактом насыщалась всё новыми и новыми оттенками. Вот она уже завладела всеми инструментами, и то, что было недавно ещё едва слышным, цокающим стуком барабанчика, теперь стало жадным, лихорадочным и набатным зовом широко развучавшейся темы. Она пробивалась от одной группы инструментов к другой, все более разрастаясь, открываясь во всей своей повелительной мощи. Ритм несколько убыстрился, а мелодия все повторялась и повторялась. Она гремела уже оплустительно, почти истошно. Казалось, сейчас она изнурит и музыкантов и не хватит больше сил слушать её, требовательную, всеисчерпывающую, прошедшую через все инструменты, сыгранную и так, и эдак, и ещё совсем по-новому, и потом опять, ещё раз по-другому... И когда, казалось, звучание уже достигло предела, истощив все свои возможности, и, торжествуя владея всем залом, подчиняло себе безоговорочно биение всех сердец, в музыке произошёл какой-то короткий внезапный сдвиг – и в скользящей лавине звучаний, вовлёкшей все инструменты оркестра, всё оборвалось и смолкло...

Наташу совершенно половил этот изнурительный двойной, попеременно повторяющийся странный ритм и как будто однообразное, но могучее движение музыки. Зал аплодировал, а она сидела неподвижно, прерывисто дыша, вся ещё во власти только что оборвавшихся звучаний.

– «Болеро», – тихо пояснил ей Чудинов. – Фанатический танец, особая магия ритма. Но хотите смейтесь, хотите верьте, есть в нём что-то похожее на наш двухшажный попеременный ход, честное слово. Вы заметили? Тут тоже попеременно повторяется одна и та же музыкальная фигура, а потом берётся разгон и включаются все силы,

используются все возможности... полная отдача! Кажется, уж нечего больше выкладывать, а оказывается, можно ещё вот и так... и под конец ещё один, почти иступлённый рывок, бурный спурт и финиш... Люблю я эту штуку!

Потом играли Пятую симфонию Чайковского. Наташа вообще любила музыку, а сегодня благородные звуки симфонии, лившиеся с эстрады, волновали её с какой-то не совсем ей даже Понятной и новой силой. Всё вокруг было музыкой – и новые надежды, которыми она теперь жила, и завтрашний день, обещавший опять встречу на снежных холмах, и сегодняшней вечер, и этот сидевший рядом недавно ещё совсем ей не известный, а теперь уж очень нужный то грубоватый, то ласковый неукротимый человек. Чудинов тоже отдался весь во власть слышимого и едва заметно качался, как бы повинуюсь величавому ритму симфонии. А Наташа, сама того не замечая, в сладостном оцепенении припала к его локтю, стиснув его руками. Спohватившись, Чудинов, слегка отодвигаясь, шёпотом сказал:

– Чувствуете, какая здесь звучит воля к победе? Слышите, как свершается это? Как человек побеждает? Преодолеывает все в великом напряжении... Слышите? Ещё и ещё. Победа близка!

– А я что-то совсем другое представила, – зашептала кротко, но ещё не сдаваясь, Наташа. – Будто вечер и чуть-чуть позёмка... И вот идут по равнине двое, рядом, близко так. И впереди у них что-то хорошее, светлое, и они идут туда... все рядом...

Чудинов как бы задохнулся слегка, но нашёл силы пошутить:

– Гм!.. Рядом уже не годится. Вы должны быть впереди. Помните, что вы должны быть впереди.

– Но чтобы быть впереди, – на другой день говорил Чудинов на тренировке, – надо напрячь все силы, собрать всю волю, и так день за днём...

И шёл день за днём, и каждый день они встречались. Сперва под ноги им стелилась белая пороша, потом подмёрзший звонкий паст, потом лыжня потемнела, а под лыжами иногда проступала вода в колее.

А затем уже не снег, а мокрые дорожки стлались под ноги Наташи я тренера. И оба они, обутые в лёгкие беговые туфли с

шипами, делали пробежку среди ещё голых весенних деревьев. А после была гаревая, залитая ранним утренним солнцем дорожка пустого стадиона, где тоже надо было тренироваться. А иногда ноги упирались в дощатое дно лодки и в руках, привыкших к лёгким лыжным палкам, были довольно тяжёлые длинные весла, сверкавшие в лучах солнца над водой озера при каждом взмахе.

Когда интернат переехал в загородный дачный лагерь, Чудинов примерно через день стал наезжать туда в электричке после работы. И опять начались в лесу пробежки, разминки, игры в мяч. Ребята бурно радовались приезду Чудинова. Они уже привыкли к нему и даже прощали, что он на два-три часа отнимал у них тётю Наташу. А инженер безотказно перекидывался с ними мячиком, придумывал какие-то новые, необыкновенные игры в следопытов, охотников, вырезал в лесу биты для городков, сочинял какие-то невозможные фигуры вроде высотного дома, лимонадной будки, метро, которых никогда прежде до него в городках и не было.

Потом снова задули холодные сибирские ветры и облетели с деревьев рыжие листья, янтарные – с берёз и словно из красного сафьяна вырезанные – с кленов. Но и онигодились Чудинову. Он научил Наташу ходить на лыжах по золотой влажной осыпи листьев, уверяя, что они дают прекрасную лыжню, отличное скольжение. А Наташа не сразу узнала свой родной город, когда вернулась вместе с ребятами в интернат после трёхмесячного лагерного житья. Город так отстроился за лето, что многое из виденного прежде Наташей на проектах Чудинова, которыми он нет-нет да легонько хвастался перед своей ученицей, перешло теперь уже с бумаги на улицу, стало прочно срубленными или красиво выложенными из камня стенами новых жилых домов, пролегло совсем ногой улицей к лесу, распахнулось красиво застроенной площадью, которой ещё не было весной. И Наташе было приятно знать, что город хорошеет оттого, что в этом очень нужном деле неутомимо действует человек, который и её самое взялся обогатить душой, возвеличить и прославить, как он обещал это ей и городу.

Её все больше тянуло к этому человеку, в котором многое было несколько непривычным в в то же время влекущим: и манера держаться, и неожиданные обороты мыслей, и грубоватая искренность речи. Чувствовалось, что он сильный человек. Но сила



обычно не волновала Наташу. Она привыкла жить среди сильных людей – горняков, охотников. Старик отец и сейчас ещё мог трижды перекреститься гирей-двухпудовиком. А когда-то он слыл на руднике одним из первых силачей, несмотря на свой малый рост. Трудно было удивить Наташу силой. Но у Чудинова сила была его волей, его строго нацеленным движением к смело и твёрдо намеченному будущему, к которому он упрямо шёл, ведя за собой и Наташу.

Хороший был человек Чудинов, только иногда уж слишком деловым, чрезмерно устремлённым лишь к одной точке и ничего, кроме неё, до обиды не видящим казался он Наташе.

Пришла ранняя зима. Двинулись сугробы в улицы городка. Опять замелькали за деревьями подступившего к Зимогорску бора фигуры лыжников в лыжниц.

Однажды вечером, когда Чудинов занимался после работы у себя в номере, к нему, едва постучав, ворвался Донат Ремизкин. Чудинов привык уже к подобного рода вторжениям. Энтузиаст-репортёр всегда сообщал в таких случаях что-нибудь сверхпланово сенсационное, как он говаривал.

– Ну, танцуйте! – закричал, торжествуя, Ремизкин, размахивая ещё мокрым оттиском только что свёрстанной газетной полосы. – Я прямо из типографии. Танцуйте!

Тут только он заметил, что левая нога тренера укутана пледом и покоится на подушке, положенной на подставленный стул. Раненое колено с осени опять стало напоминать о себе.

– Ну ладно, – смутился Ремизкин, – я за вас станцюю. Шестёра! – объявил он, и пошёл приседать, выкаблучивать но паркету номера и выкидывать коленца, старательно выплясывая все фигуры знаменитого уральского танца, имеющего шесть заходов и потому названного «Шестёрой». – Подгорна!.. Сербияночка!.. – продолжал выкрикивать Ремизкин, притопывая, приседая и колесом носясь по номеру. – Барыня! Холмогорочка... Зимогорочка...

Отбив дробь и исполнив все шесть положенных фигур, он подскочил к Чудинову и, чуточку отдышавшись, стал торжественно читать то, что было оттиснуто на мокрой полоске:

– Ну, слушайте. «В ознаменование десятилетия города Зимогорска и достигнутых его трудящимися высоких успехов в добыче руды и строительстве, а также учитывая массовый размах

спортивной работы в Зимогорске...» Слышите, Степан Михайлович? «Массовый размах». Здорово?.. «Комитет по делам физкультуры и спорта решил провести зимнюю спартакиаду и розыгрыш кубка в городе Зимогорске».

Он опять взвился, отбил дробь, хотел было кинуться с раскрытыми объятиями на Чудинова, но покосился на его ногу, махнул рукой и побежал к двери, крича на ходу:

– Пойду сейчас нашим комсомольцам сообщу, всех ребят проинформирую. Ведь это же какое дело! Ей-богу, честное даю слово! Дождались-таки, признали нас!

С этого дня пошли ещё более интенсивные тренировки. Но тренировались и другие лыжницы в Зимогорске. Та же Маша Богданова, старательная, наделённая каким-то особым весёлым рвением, делала вое более заметные успехи.

И на первых прикидках результаты получились совсем неожиданные. Время, которое показала Маша и другие её подруги при замере по секундомеру на три километра, было не хуже, чем у Наташи.

– Зря вы со мной бьётесь, – говорила опять после этого Наташа, – сами видите. Ещё хуже ходить стала, чем прежде. Совсем вы меня сбили.

– Нет, Наташенька, – успокаивал её Чудинов. – Это другие стали ходить лучше. А вы сейчас, как говорится, шкурку меняете. Прежнюю сбросили, а новую ещё не совсем нарастили. Это не всем сразу даётся. И потом, я же пока вам давал прикидку на коротких отрезках. Тут ваша выносливость, заряд ваш великолепный, неисчерпаемый не успевают показать себя, поверьте мне, потому и результаты получаются примерно равные. А вот постепенно начнём увеличивать дистанцию, вы их всех бросите позади, оставите у себя за спиной. Мы ещё кое-что с вами отработаем. У вас пока не сразу ладится после старта, засиживаетесь. Посыл лыжи у вас великолепный, но иногда вы ещё коленом сами себе тормоз создаёте. Словом, унывать абсолютно не с чего. – Он брал секундомер. – Ну-ка, пошли! Времени до спартакиады осталось немного, теперь от меня пощады не ждите.

А она и не ждала. Она уже не хотела пощады.

## Глава XIV

### Зеркало туманится

*«Зеркальце, зеркальце на стене,  
Кто всех красивей в нашей стране?»  
И ответило зеркало:  
«Вы, королева, красивы собой,  
Но Белоснежка там, за горой,  
У карлов семи за стеной,  
В тысячу раз богаче красой».*

*Из старой сказки*

Тем временем Алиса Бабурина тоже не дремала. Она теперь занималась с новым тренером. Это был некто Закрайский Всеволод Илларионович, человек с необычайно чёткой дикцией, изъясняющийся всегда чрезвычайно звучно, многозначительно и без запинок.

– Следует отметить, – говорил он Алисе, – что ваша прежняя подготовка в известной степени складывалась без учёта индивидуальных ваших особенностей и имманентных, вам одной присущих качеств. Я не хочу порочить метод моего предшественника. Товарищ Чудинов был когда-то несомненно весьма примечательным, я бы даже сказал – выдающимся скороходом. Однако он слишком долго держался за то, что казалось ему непреложным, а по существу отвергнуто международной спортивной практикой. Я имею в виду режим, которым он вас в известной степени подавлял. При наличии такой отточенной, я бы счёл возможным даже сказать – изощрённой техники, как у вас, Бабурина, совершенно излишни, на мой взгляд, подобного рода режимные ущемления, которым он вас постоянно подвергал. Ваша техника решает все.

Алиса нашла в нём очень удобного для себя тренера. А что касается расторопного Тюлькина, то тот просто был заморожен Закрайским, упивался его красноречием и был в восторге от эрудиции нового тренера.

– Вот, понимаешь, голова! – восхищался он при встрече со мной на Ленинских горах, где мы смотрели прыжки с трамплина

неподалёку от университета. – Послушал бы, как выступает он на совещаниях! С багажом человек. Я имею в виду – культурным. И, главное, у меня с ним лично сразу вполне хорошие отношения наладились. Я ему для дочки норвежские лыжи схлопотал, неплохой свитерок для него лично организовал. Он умеет ценить, не то что этот Чудинов. Ему было всё равно. Напялит свою допотопную кацавейку в клетку, довоенного уровня, выпуска тысяча девятьсот тридцать девятого года, и дует себе. А этот разбирается.

Однако на состязаниях под Кировом Алиса показала время ещё хуже прошлогоднего и вообще оказалась в плохой форме, придя к финишу четвёртой. В «Маяке» встревожились, заинтересовались системой нового тренера, убедились, что он совершенно не следит за режимом лыжницы, во всем идёт на поводу у капризной чемпионки. Да и сама неблагодарная Алиса вскоре на одном из собраний лыжной секции сострила, что хотя Закрайский говорит весьма красно, но все у него шито белыми нитками, Словом, Закрайский был отставлен. С Алисой стал заниматься старый, опытный лыжник Иван Михайлович Короткое, который первым делом, не боясь уронить своего достоинства, списался со Степаном и попросил прислать график тренировок и поделиться некоторыми соображениями по части индивидуальных особенностей Алисы. Чудинов не заставил себя долго ждать, прислал Короткову подробное и точное описание необходимых, на его взгляд, тренировок, посочувствовал Короткову, зная наперёд, что нелегко ему придётся с капризной и набалованной чемпионкой. Алиса ничего не знала об этой переписке. Встретив меня на одном из хоккейных матчей, она спустилась ко мне из ложи и даже снизошла до личной беседы.

– А-а, Кар, приветствую! Ну как ваш друг, нас покинувший, пишет что-нибудь? Я краем уха слышала, что он опять там тренерствует. Не вынесла душа поэта, так, что ли?

Я рассказал Алисе всё, что знал о Чудинове по письмам, которые, впрочем, я в последнее время получал от Степана довольно редко.

– Да, – задумчиво сказала Алиса, – ведь спартакиада будет теперь как раз там. Ну, сейчас я понимаю этот хитрый ход. Просто заранее отправился, чтобы подготовить мне в пику. Зачем было только придумывать такие сложные объяснения, выкрутасные мотивировки? Ну что ж, встретимся довольно скоро. Говорят, он там звезду какую-то

разыскал. Неужели это та самая Скуратова, которую я в прошлом году так обошла в Подрезкове? Смешно! Ходит, как снегоочиститель, размаху много, а вперёд чуть. Ну что же, поглядим, лыжня-то и на Урале узкая, кому-то придётся уступить.

Но Чудинов не собирался уступать. Я написал ему о своей встрече с Алисой, рассчитывая ещё больше подогреть рвение его новой строптивой воспитанницы, и получил ответ от Степана:

«Дорогой Евгений, спасибо, старик, что не забываешь. Писать мне некогда. Время горит. Что касается Алисы, то напхни ей сказку о Белоснежке. Очень ей хочется, чтобы зеркальце ответило на её ревнивый вопрос: „Ты, царица, всех милее, всех румяней и белее“. А зеркальце-то пока туманно. И я верю, что оно скоро лишит Алису покоя, ответив, что за горами, за долами есть кое-кто и румянее, и белее, и, во всяком случае, сильнее. Дорогой мой! Я верю в Наташу, и, что ещё важнее, кажется, она поверила в меня».

Чудинов решил прибавить лишний час ежедневной тренировки. Но Наташа не всегда успевала управиться с делами по интернату, пройти с ребятами домашние задания. Энергичного тренера я это не остановило. Привыкший делать все сам, где это только возможно, не обременяя просьбами других, он отправился в интернат, чтобы обо всём договориться на месте.

Ребята сидели за партами, готовя уроки. Увидев вошедшего тренера, все радостно вскочили. Дети успели подружиться с Чудиновым за лето и радовались каждому его приходу. А сейчас, помимо всего, это был совершенно законный повод для того, чтобы отложить учебники и тетради в сторону. Но Чудинов поднял руку очень строго:

– Сидеть, сидеть у меня, вы, молекулы! Где тётя Наташа?

Сергунок, сев, поднял ладошку вверх.

– Можно мне ответить? – Он вскочил и отрапортовал: – Тётя Наташа сейчас придёт наши домашние задания проверять. Она дежурная, пробует ужин. Будут оладьи с повидлом.

– А какое у вас задание?

– Задача очень трудная, – наперебой заговорили ребята. – Никак не выходят ни у кого. Складываем, складываем, – пожаловалась Катюшка, – и все не получается.

Чудинов сел за учительский стол:

– У вас задача не выходит, а у меня тренировка из-за вас срывается. Учиться надо как следует. А ну, давайте сюда вашу задачу. Тихо, не все сразу. Все остаются на местах, я сам подойду.

И он пересел на маленькую парту, потеснив обитающего там Сергунка.

– Ну, что же тут трудного-то? Эх ты, нагородил сад-палисад! Давай вместе решать. Очень просто. Значит, так. Смотри сюда: десятки любят, чтобы их подписывали под десятками, а ты куда их запятил? Так. Ну, теперь давай складывать. Вот тут сбоку ставим прелестный крестик, именуемый плюсом, здесь подводим изумительной красоты черту. Раз... один у нас с тобой был в уме, мы это отметили вот тут. Теперь производим необходимое нам с тобой действие. Вот видишь, как просто! Небось час бы без меня возился, а тётя Наташа сиди с вами тут. Ну-ка, давайте живо все задачки.

Ребята, вскакивая, замахали тетрадками.

– Дядя, и у меня не выходит.

– И у меня...

– Тихо! Чтобы у меня порядок был!

Пересаживаясь с парты на парту, Чудинов решал ребятам задачи. Малыши, как это всегда бывает в закрытых детских учреждениях, интернатах, детских домах, соскучившись по домашней ласке и сердечному, отеческому вниманию взрослого человека, прижимались к его плечу.

– Ну, вот что, ребята, – сказал Чудинов, когда все задачки были решены. – Давайте условимся. Вы тётю Наташу любите?

– Любим! – словно выдохнул класс.

– Ну, раз любите, так учитесь как следует. – Он наклонился над партами, заговорщически оглянулся: – Ну, хотя бы до спартакиады прошу. Вы хотите, чтобы тётя Наташа всех победила и чтобы хрустальный кубок... – Он шагнул к доске, схватил мелок и двумя-тремя штрихами мгновенно нанёс очертания почётного приза, – Вот такая красивая чаша, вся из чистого хрусталя да ещё с серебром вокруг. Хотите, чтобы нам достался? Хотите?

– Хотим!

– Ещё бы не хотеть! Ну так вот, готовьте, чертенята, уроки скорее. Слышите вы, молекулы? Занимайтесь как следует, чтобы тётя Наташа

на вас меньше времени тратить могла, а вместо этого на тренировки бы ходила. Помогите мне. – Он добавил совсем тихо, доверительно склонившись к ребятам: – А если задачки будут трудные, вы ко мне в гостиницу Сергунка присылайте. Мы с ним старые приятели. Все задачки с ним я сам решать буду.

Ребята смотрели на него с неизъяснимым восхищением. Вот какой хороший дядя! И представить себе, что он учит тётю Наташу, которая и так все знает, всех умнее и главнее! А вот слушается и уважает его. Какой же это, наверно, знающий и важный человек!

И сразу даже не заметили, что Таисия Валерьяновна вошла в класс и стоит возле доски. А заметив, разом все вскочили. Чудинов оглянулся и тоже несколько оторопел. Таисия Валерьяновна качала головой:

– Это ещё откуда репетитор такой выискался? Чем это вы тут с ребятами занимаетесь, Чудинов?

Товарищи родные! Какая же, должно быть, была умная, знающая и важная Таисия Валерьяновна, если теперь уже сам Чудинов, тот, который учит тётю Наташу, учительницу, вытянулся и весь покраснел, совсем как школьник, застигнутый за каким-то непозволительным занятием! Ребята были вконец потрясены.

– Таисия Валерьяновна, – сконфуженно заговорил Чудинов, – я просто хочу помочь Наташе. Ведь дело серьёзное. На весь Союз спартакиада. Надо бы Наташу немного освободить.

Таисия Валерьяновна знаком пригласила его выйти из класса.

– А вы полагаете, что она действительно может многого достичь? – как всегда спокойно, спросила Таисия Валерьяновна, когда они оказались в коридоре.

– Таисия Валерьяновна! – с внезапной страстностью рубанув ладонью воздух перед собой, сказал Чудинов. – Таисия Валерьяновна, она явление совершенно исключительное. Вы не представляете себе, что это за девушка! Драгоценный самородок! Вот вам рука моя! – Он непроизвольно схватил её за руку. – Какая скрытая сила в каждом движении!

Таисия Валерьяновна, слегка прикусив губу, высвободила руку.

– Простите, я, кажется, вам больно сделал?

– Да, кажется, у вас тоже скрытая сила в движениях. – Она легонько потёрла руку. – Но вы всё-таки ребят нам, пожалуйста, не

портые, пускай уж задачи решают самостоятельно. А я постараюсь сделать все, чтобы Наташа была посвободнее.

Долго после его ухода смотрела Таисия Валерьяновна через окно вслед широко шагавшему по улице Чудинову, легонько трясла в воздухе рукой, покачивала головой, улыбаясь сама себе. Вошла Наташа.

– Тут что, говорят, Чудинов заходил? – как можно безразличнее спросила она.

– Да, по делу, ко мне. На минутку.

– Всегда только по делу и на минутку. Удивительный человек! Секундомер!

Таисия Валерьяновна внимательно поглядела на неё.

А проклятая нога от усиленных тренировок стала всё чаще и чаще напоминать о себе. Иногда Чудинов уже с трудом доводил занятия до конца. Но он был не из тех тренеров, которые довольствуются разработкой графика, нотациями, прикидкой по секундомеру и командами, передаваемыми через мегафон. Он всегда стремился быть на самой лыжне, рядом, без усталости, невзирая на боль, отрабатывая все элементы хода, сам показывая все приёмы... И вот однажды он уже не в состоянии был пойти на работу. Положив обмотанную одеялом ногу на поставленный возле себя стул, он укрепил перед собой на другом стуле чертёжную доску, прикрепил кнопками лист бумаги и весь ушёл в работу. За этим занятием его и застал вежливо постучавший в дверь Сергунок.

– А, Сергунок,ходи,ходи, – приветствовал его Чудинов. – С чем пожаловал? Опять по ответу не сходится?

– Не сходится, – буркнул Сергунок, оглядывая комнату и пристально всматриваясь в повешенную на спинку стула клетчатую куртку.

Пуговица была пришита на том месте, где её когда-то не было. Сергунок не в силах был отвести от неё глаз. Он уже было что-то хотел сказать, но, должно быть, вспомнил наш уговор, только громко булькнул горлом, будто плотая, и промолчал. Он лишь позволил себе спросить:

– А спартакиада теперь уже скоро будет?



– Скоро, скоро, – отвечал Чудинов. – Ну, давай задачу, что у тебя там не сходится? Гора с горой только не сходится, а человек с человеком и задача с ответом всегда могут сойтись.

Некоторое время они занимались задачей. Когда в задачке всё сошлось, Чудинов откинулся на спинку дивана. Он немного устал, должно быть, поднималась температура.

– А устные приготовил? – спросил он. – Смотри у меня!

– Я все выучил. И другие ребята тоже стараются, – заторопился Сергунок.

– Пусть стараются как следует, а то вот дня два у меня пропадут из-за ноги. Подвернул на тренировка брат. Подводит она меня всё время. Что делать!

– Вам на войне её прострельнули? – с уважением спросил Сергунок.

– На войне, брат.

– Из винтовки или автомата?

– Из автомата. Ну, хватит про это. Иди, Сергун, окажи тёте Наташе – день, мол, завтра пропустим опять, а послезавтра чтобы была вовремя. Запомнил?

– Запомнил, – отвечал Сергунок, опять вглядываясь в пришитую на место пуговицу на клетчатой куртке, висевшей на спинке стула.

– Дядя, а вы, значит, уже пришили?

– Ты это насчёт чего? – Чудинов проследил направление взгляда Сергунка и немного привстал. – Ты опять? Конечно, пришил, тогда же. Что же мне, на память о тебе расстёгнутому ходить было, что ли?

– А где вы взяли, Дядя?

– Ты же сам отдал.

– А я вам не отдавал, – сказал совершенно растерявшийся Сергунок.

– Это неважно, кому ты отдал, – сказал Чудинов. – Гораздо важнее, кому она принадлежит. Понятно? Ну, будь здоров, дружок, мне работать надо.

Сергунок помялся в дверях, опять глянул украдкой на пришитую к куртке Чудинова пуговицу. Его, видно, так и подмывало сказать что-то ещё, но уговор оставался в силе, он вздохнул и замолчал. Чудинов снова взялся за работу.

Нет, не скрою, не чертежами строительства города Зимогорска занимался он сегодня, не для «Уралпроекта» трудился он сейчас. На шероховатом листе, приколотом к чертёжной доске, возникал большой акварельный портрет Наташи. Когда-то инженер Чудинов недурно рисовал да и в последние годы, когда выпадала свободная минута, делал наброски, развлекался несложными композициями.

Лыжница была изображена во весь рост, мчащейся по снежному крутогору. Развевался шарф за спиной, ветер взвил выбившуюся из-под вязаной шапочки прядь...

– Товарищ Чудинов, – послышалось за дверью: кто-то постучал, легонько приоткрывая её. – Насчёт чаю не распорядиться вам? Трубы починили, вода пошла, кипятильник заработал. – Это была заботливая тётя Липа.

Чудинов порывисто убрал портрет за диван.

– Организуйте стаканчик, дорогая. – Он вернулся к работе, поставив доску с рисунком на стул. – А что, неплохо, – похвалил он сам себя, наклоняя голову то в одну, то в другую сторону, отодвигая и приближая к себе портрет. – Честное слово, недурно! Товарищ Чудинов, в чём дело? Помнить старое правило: с кем бы ни вышел на снег, сам – лёд. Есть помнить старое правило, – проговорил он усмехаясь. – Но хороша, ничего не скажешь. Эх, Наташа, Наташа...

В дверь тихонько постучали.

– Давайте, давайте ваш чай! – крикнул Чудинов.

– А вы, оказывается, и художник? – раздался за его спиной знакомый грудной голос.

Застигнутый врасплох, он сперва схватил обеими руками портрет, потянул к себе, как бы пытаясь заслонить его, потом в ужасе оглянулся, попробовал встать и окончательно смешался:

– Вот не ожидал!

– Зашла проведать. Может, вам нужно что-нибудь?

Она глаз не спускала с портрета.

– Нет, спасибо... Вы садитесь, пожалуйста... Да, Наташенька, расклеился немного, опять с ногой. Решил на досуге побаловаться, помалевать! Тряхнул стариной.

– Вот никогда не думала, что вы так дивно рисуете! И меня... – Наташа похорошела от радостного смущения.

– М-да... – промямлил Чудинов. – Знаете, это мой обычный метод... Я всегда, когда тренирую кого-нибудь, рисую себе, чтобы, так сказать, нагляднее понять... определить все дефекты... Видите, не совсем правильный подколенный угол. Правда, тут это мне не совсем удалось схватить... Гм!.. Но, в общем, анатомия движений, она требует, понимаете...

– Понимаю, – сказала сухо Наташа, помолчала по том тихо спросила: – А Бабурина вы тоже рисовали?

Чудинов не знал, как быть.

– Нет... я её не рисовал. – Он заметил, что Наташа не может удержать довольную улыбку, и поспешил добавить: – Да знаете, ведь у нас там, в Москве, просто: сказал, чтобы сняли кинограмму. А вот тут уж приходится самому... (О чёрт! Как он ненавидел сейчас себя и проклинал свои обязанности тренера и воспитателя! Как ему хотелось сказать другие слова! Но правило есть правило. Лёд не должен был тронуться.) – Знаете, что я вам скажу, Наташа? Вы, в общем, чертовски славная девушка. Убеждаюсь с каждым днём всё больше и больше.

– Да, это правда? – взволнованно сказала она. – Вы столько сделали для меня за это время, Степан Михайлович! Мне иногда кажется, будто я совсем другой стала. Действительно, будто Белоснежка очнулась, как в сказке той говорится.

Наступила пауза. Как будто что-то разделявшее их пало, и Чудинов приподнялся навстречу склонившейся к нему девушке. Впрочем, он тотчас же откинулся и заговорил своим обычным тренерским тоном, лишь голос у него внезапно сел как будто.

– Только вы, пожалуйста, не вздумайте зазнаваться. Рано! Вам ещё работать и работать. Но вообще-то вы у меня молодец, Наташа!

Несколько разочарованная, Наташа выпрямилась и отсела на другое кресло.

– Степан Михайлович, а вы всегда так? Для вас ваши ученики – это только машина для бега на лыжах, анатомия движений?

Он чуть было не возмутился.

– Наташа, да вы поймите, если бы я вам мог... – Он сделал резкое движение, но тотчас же схватился за колено. – Видите, совсем никуда я стал, а тоже ещё, разговариваю. Ведь предстоят такие состязания, что нам надо с вами все решительно выкинуть из головы.

– Хорошо, – покорно согласилась Наташа, – выкину.  
– Ну вот... – Чудинов, как бы успокаиваясь, откинулся на подушки. – А теперь дайте, пожалуйста, мне со стола вон тот лист. Поглядите на график дистанции. Я вот здесь уже наметил...

## Глава XV

### Накануне решающих дней

Вместе с командами московских лыжников, конькобежцев и хоккеистов я прилетел в Зимогорск. Мне было поручено ежедневно слать корреспонденции со спартакиады и параллельно вести радиорепортаж прямо с места состязаний.

Едва стих рёв моторов нашего самолёта, мы услышали уханье барабанов, а потом понемногу отошедшие уши распознали звуки торжественного марша встречи. Трубы оркестра сияли золотом на белом фоне заснеженного аэродрома. Низкое зимнее солнце на безоблачном небе, длинные синеватые тени и полыханье пёстрых знамён спортивных обществ, вышедших встречать нас, ярко расцвечивали морозный простор, в котором мы очутились, спустившись по лесенке из самолёта. Я поискал глазами в толпе встречавших Чудинова, но, к моему удивлению, не нашёл его, зато тотчас же увидел Никиту Евграфовича Скуратова, который, аккуратно ступая маленькими чёсанками, в сопровождении Ворохтина, рядом с которым он казался совсем коротышкой, и других представителей городских властей, приближался к нам.

– Добро пожаловать, добро пожаловать! – басил Ворохтин. – Рады гостям дорогим. Вот знакомьтесь: наш уважаемый депутат Никита Евграфович Скуратов, старожил, можно сказать, основоположник всего, что видите в местах наших, и сам лыжник, охотник наипервейший и, между прочим, отец нашей знаменитой лыжницы.

– Ишь ты! – услышал я возле себя голос Тюлькина. – Чудинов-то недаром тут завяз, дорожку в высокие местные сферы прокладывает.

– Замолчи, Тюлькин! – негромко оборвала его Алиса. – Просто надоел ты мне! – Она потянула меня за рукав: – Вы не находите, что странно всё-таки, почему нас Чудинов сам не встретил...

– Хо! – вмешался Тюлькин. – Всё ясно. Должно быть, Скуратова не пустила. Видно, к рукам прибрала и держит – во!

К этому времени слухи об успехах Скуратовой уже дошли до московского «Маяка». Она отлично выступила на отборочных состязаниях общества в Свердловске. И хотя ей не пришлось там встретиться с Алисой, которая в это время участвовала в товарищеском состязании с приехавшими в Москву чешскими лыжницами, но все знали, что уральская гонщица вошла в состав сборной команды «Маяка», которая должна была защищать цвета своего общества на спартакиаде. Прилетевший с нами тренер Коротков, очень высокий, седой и жилистый, похожий на жокея в своём старомодном картузике, сказал, что, вероятно, Чудинову сейчас не до торжественной встречи: идут, по-видимому, последние напряжённые тренировки.

– Странно всё-таки, – не унималась Бабурина; она была явно задета.

– Да нет, он действительно очень занят, – пояснил я, – и строительство и тренировки.

– Как говорится, ваше место занято, пройдите на свободное, – сострил Тюлькин.

– Ох, Тюлькин! – вздохнула Бабурина. – Вы не знаете, Карычев, почему я его ещё терплю?

– Твёрдо не знаю, но, в общем, догадываюсь.

– А я и догадаться не могу, – сказала Алиса.

Сквозь толпу встречавших, где узнавали наших чемпионов и откуда неоднократно слышалось имя Бабуриной, мы прошли к автобусам.

Минут через двадцать наши автобусы уже катили по неузнаваемо отстроившимся и празднично принаряженным улицам Зимогорска. Я просто глазам своим не верил, глядя сквозь окна автобуса, на стёклах которых мы продышали в наморози прозрачные кружки. Как быстро все перешло со знакомых мне чертежей в жизнь! Я узнавал дома, построенные по тем проектам, которые мне ещё в Москве показывал Чудинов. Вот новый клуб, кино. Замелькали на фоне леса, стеной окружавшего город, небольшие жилые коттеджи, типовые проекты которых в последние годы разрабатывал Степан. Значит, всё, что он

задумал, понемножку осуществлялось. Что бы там ни принесла спартакиада, он уже недаром потратил здесь время.

Но не скрою, что всё-таки мне очень важно было, чтобы и там, на лыжне, его ждала бы удача.

Город казался мне многолюдным. Спортсмены, съехавшиеся из всех краёв и городов страны, в комбинезонах, куртках, бриджах, национальных костюмах, с лыжами, чемоданчиками, коньками, хоккейными клюшками, запружали улицы маленького городка, над которыми ветер парусил яркие транспаранты. Улицы вдали переходили в просеки, которые убегали в окружающий город сосновый бор, уносились к подножию пологих гор или распахивали вдали просторный белый горизонт равнины.

Когда наш автобус подкатил к уже достроенной, давно сбросившей Леса гостинице «Новый Урал», я, войдя в знакомый вестибюль через знаменитую вертящуюся дверь, сразу услышал из угла голос Чудинова. Он кричал в телефонную трубку:

– Аэропорт? Ну как, выяснили? Вот тебе раз!.. – Он бросил трубку, подошёл к ожидавшим его в стороне Наташе и Сергунку: – Оказывается, не на том самолёте прибыли, уже полчаса назад уехали в город. Сейчас тут будут. Дотренировались мы с вами. Ах, неладно вышло!

Стеклянная дверь вертелась без остановки. С чемоданами, лыжами, с хрустальным кубком, укутанным в семицветный стяг общества «Радуга», входили в вестибюль прибывшие со мной москвичи, Бабурина сейчас же бросилась к Чудинову:

– Смотрите, товарищи, вот он, уральский житель! Степан Михайлович, как я рада! Мы все по вас скучали так, особенно я.

– Здравствуй, Бабурина, здравствуй, Алиса, – говорил заметно взволнованный Чудинов. – Здравствуй, Евгений, дорогой! – Он крепко обнял меня. – Вот молодец, что приехал!

– А как же! Без меня такие дела не обходятся. Буду тебя в печати и по радио транслировать, на весь эфир.

Алиса не отходила от Чудинова.

– А я, честное слово, соскучилась по вас, Степан Михайлович. Товарищи, внимание! Можно от вашего имени, от лица всей нашей команды и от своего непосредственно поцеловать покинувшего нас,

но всё же любимого, уважаемого, несравненного Степана Михайловича?

Неожиданно обняв Чудинова, она припала к его щеке. Степан был несколько обескуражен, и я уловил, что он невольно покосился на Наташу, которая присматривалась ко всем издали.

Тюлькин шепнул:

– «И возвращается ветер на круги своя», – как сказал Эвкалипт, то есть как бишь его? Эклептик?..

Коротков хлопнул его ладонью по лбу:

– Экклезиаст, голова твоя!..

– Ну, пускай себе будет ёлклизеаст, – не унывал Тюлькин. – Смысл тот же.

Чудинов подхватил под руку Алису, повёл её к Наташе.

– Вот, пожалуйста, знакомьтесь. Вам придётся встретиться на лыжне.

Алиса элегантно протянула Наташе руку, чуть-чуть выгнув кисть ладонью вниз:

– Бабурина.

– Скуратова. – Наташа просто, коротко и решительно пожала ей руку.

Высунувшийся из-за Наташиной спины Сергунок тоже протянул свою широкую ладошку.

– И ты туда же! – сказал Чудинов. – Это небезызвестный наш Сергунок.

Тюлькин подтолкнул локтем Алису:

– Слышала? «Наш». Что я тебе говорил?

Присев, как старые друзья, чуточку в стороне от всех на диван, Алиса и Чудинов весело болтали.

– Это ваша новая звезда? – спросила Алиса, метнув взор в сторону Наташи.

– Да. И верю, что счастливая звезда. Бабурина ещё раз снисходительно оглядела издали Наташу.

– Симпатичная девушка и недурна.

– На дистанции ты сумеешь оценить и другие её качества, – предупредил Чудинов.

А Сергунок отвёл меня в сторону и сказал:

– Дядя, а у него пуговица пришитая на том месте. Вы же тогда говорили...

– Цыц! – пригрозил я ему. – Мы с тобой как условились? Забыл? Что, по-твоему, кончилась уже спартакиада?

– Значит, пока не кончится, всё равно ни-ни?..

– А то как же!

– А вы обещали мне пропуск, чтобы везде ходить.

– Получишь, получишь, – успокоил его я и нахлобучил ушанку с крупной его макушки на самый нос.

Наташа сидела на диване возле стойки тёти Липы. К ней тотчас же подсел Тюлькин. Он привык с лакейским презрением относиться к так называемым простым людям. Что тут было церемониться с провинциалкой! Тюлькин поблистал всеми своими «молниями» на костюме, бесцеремонно осмотрел Наташу и сел рядышком.

– Так это, значит, вас Чудинов гоняет? Так, так. Очень приятно лично познакомиться. Первым делом, конечно, он вам насчёт подколенного угла теорию вкручивал? Понятно. Ох, уж он этой теорией всем нам в Москве – во!.. – Тюлькин показал на горло.

– А зачем вы мне все это говорите? – удивилась Наташа.

– Я вижу, вы хорошая девушка, простая, хочу по дружбе. Бабурина чемпион, а сейчас она в такой форме, как никогда. Смешно думать, что её можно обойти. Бред. Детский лепет. Вы Чудинова не знаете, хитрейший человек и изикил... тьфу... как это... иезуит лыжни. У него ведь в мыслях что? Вас с Алисой вот так – лбами столкнуть, а все для секундомера. Из вас дух вон, а ему кубок по общей сумме показателей. Плевать ему, кто первый, вы или Бабурина. Эх, я бы вам мог кое-что рассказать, да... вон, глядите, как воркуют.

Наташа непроизвольно плянула в тот угол, где, увлечённые беседой, сидели Алиса и Степан. Чудинов, видимо по старой тренерской привычке, положил руку на плечо Алисе, а другой рукой показывал какие-то, должно быть, приёмы, двигая ею возле самого колена Алисы. Заметив взгляд Наташи, он с несколько излишней поспешностью снял руку с плеча Алисы. Наташа встала и быстро вышла, так сильно толкнув вертящуюся дверь, что она ещё долго крутилась за ней...

Чудинов вскочил:



– Наташа, куда вы? – Он подозрительно поглядел на Тюлькина. – Ты ей тут ничего не накрутил, а?

– Да что ты, Степан! – оправдывался Тюлькин. – Я ей просто рассказывал... кое-что про Москву, какая потеря для нас, что ты отбыл, покинул нас, она и расстроилась...

– Ох, Тюлькин! – Чудинов коротко шагнул, подошёл вплотную и незаметно поднял кулак, прикрыв его своим плечом от посторонних взглядов. – Смотри ты у меня, как бы я тебе когда-нибудь не повредил твою материальную часть! – Он хотя и шутил, но в глазах у него проступило нечто, заставившее Тюлькина быстренько пойти на попятную.

– Ну вас всех, ей-богу... Голова у меня прямо-таки от вас болит и пухнет.

Тётя Липа за своей стойкой услышала это и тотчас же посоветовала:

– А может быть, вам освежиться с дороги? Вот у нас парикмахер тут.

С нескрываемым восхищением Тюлькин воззрился на тётю Липу:

– Ух, черт, могучая же вы дамочка! В цирке не работали?

– Не приходилось. Уж вы скажете, в цирке, – застыдилась Олимпиада Гавриловна. – Я на Иртыше на грузовой пристани работала, начальником, да потом радикулит замучил от сырости. Спасибо Адриану Онисимовичу, парикмахеру нашему, мазь дал очень полезительную. Сперва веснушки свёл, а потом для втирания. И как рукой сняло.

С Дрыжиком у Тюлькина завязалась совсем свойская, дружеская беседа. Намыливая пухлые щёки приезжего, парикмахер разоткровенничался:

– Мои кремы широко известны среди местного населения. На чистом коровьем масле изготавливаю.

Тюлькин покровительственно кивнул, сколько позволяла простыня, подвязанная под горло.

– Шайбочки идут? – спросил он.

– Простите, не вник в вопрос?

– Монеты, говорю, много загребаешь?

Дрыжик обиделся:

– Вы меня дурно понимаете. Я чисто безвозмездно, для друзей, по знакомству. В целях науки, не больше. Снабжаю также мазями местных спортсменов. Тут довольно капризная погода, а это иногда может вредно отразиться. Вы, полагаю, слышали, что у нас тут, у местных, есть старые охотничьи секреты в смысле лыжных мазей. У нас снег особенный, на дню состояние три раза меняется.



Тюлькин разом насторожился. Он вытащил руки из-под простыни и пальцем провёл по губам, чтобы снять мыло.

– Как же, слышал! Говорят, у вас тут мази – чудо прямо. Сами лыжи идут. Мечтаю достать для себя лично хоть грамм триста.

– Для себя лично желаете брать? – насторожился Дрыжик.

– Да, я сам любитель в выходной на лыжах походить. Со своей стороны, попрошу взять на память. – Он порылся под простынёй в кармане, вытащил перочинный нож с большим набором лезвий, раскрыл все ножички. Нож стал походить на большого рака. Тюлькин протянул его парикмахеру.

– Вот, прошу принять в знак уважения и приятного знакомства. Вот тут написано «Коля». Это лично я. От меня – вам. Прошу.

Дрыжик внимательно осмотрел нож. Он ему понравился, но, вспомнив что-то, парикмахер подозрительно оглядел своего клиента:

– А сами вы, извиняюсь, не из «Радуги» будете?

– Кто, я? Да нет, какое там! Я по радиочасти специалист. Трансляцию вести буду с Карычевым. Слыхали про такого? Евгений Кар, известный, вот я с ним и прибыл, сопровождаю. А это для себя, так, на прогулочку в выходной для личных надобностей. Знаете сами: не подмажешь – не поедешь. Тонко замечено?

– Ну, тогда можно будет вам сделать, – уступил Дрыжик, вертя в руках уж очень ему приглянувшийся ножик. – А лыжнику бы не дал. Я хоть сам в прошлом из Мариуполя, но болею целиком за местных. – Он густо намылил Тюлькина. – Говорят, чемпионка какая-то из Москвы приехала, известная. Курьёз будет, когда её наша Скуратова за собой бросит.

Тюлькин что-то замычал под мыльной маской, прикрывавшей половину его лица и обрекавшей на вынужденную немоту.

Дрыжик наклонился к нему:

– Беспокоит?.. Смешно думать! Скуратова – это же сила. Как она в Свердловске сейчас на отборочных прошла! Её сам Чудинов тренировал, заслуженный мастер. Говорят, из-за неё и Москву бросил... Тут намерен клиент один приходил, тоже из лыжников местных, так смеялись мы с ним до слёз буквально, когда насчёт этой Бабуриной разговор зашёл.

Тут Тюлькин не выдержал. Как говорится, в нём выиграло ретивое. Как-никак он был давним болельщиком Алисы. Он вскочил, разбрызгивая в ярости мыло, одна щека в пене, другая уже наполовину выбритая, отстранил от себя рукой бритву, с которой к нему наклонился Дрыжик.

– Над кем смеялись? Над Бабуриной? Да она чихать не захочет на твою Скуратову! Она заслуженная, как лауреат всё равно. Её

Буденный вот так за руку благодарил при всей публике на стадионе. Маршал! А ты лезешь ко мне со своей Скуратовой, гигиена!

Дрыжик свернул салфетку, аккуратно уложил кисточку в чашку, сказал очень тихо и даже с печалью:

– Виноват, возможно, не дослышал. Вы на кого, если не ошибаюсь, чихать собрались, на Скуратову? Так я вас понял? Да?

Решительно схватив помазок, он с силой бросил его снова в чашку так, что на зеркало полетели лепёшки мыла. Потом он отодвинул прибор подальше от края стола, дрожащими пальцами снял с Тюлькина простыню, скомкал её и бросил на столик:

– Извините меня, но вам придётся пройти через улицу напротив.

– Куда напротив? – возмутился Тюлькин, утирая салфеткой выбритую щеку и щупая другую, намыленную. – Да брось ты, в самом деле, добрей щеку! Куда же я такой, с одного боку бритый, пойду?

Дрыжик кротко, хотя в голосе его уже бушевал огонь, проговорил:

– При вашем одностороннем рассуждении это будет вполне как раз. Пройдите напротив, там добрее, а я лично с вами заниматься не могу. – Он ожесточённо мыл руки под краном умывальника, потёр щёткой ногти и потом решительно стряхнул воду с пальцев.

Чувствуя, что произошло что-то не совсем ладное, и уже хорошо зная нелёгкий характер своей воспитанницы, Чудинов отправился к ней в интернат. Дверь открыл Сергунок.

– Тётя Наташа у себя?

– А её нет, – удивился Сергунок, – она ещё не возвращалась. Она к своим домой собиралась.

Делать было нечего, пришлось идти к Скуратовым.

Ещё на крыльце Чудинов почуял запах скипидара и какой-то гари. Навстречу ему из кухни вышел Никита Евграфович, который сейчас же поманил его за собой. Попросив Чудинова немного обождать, он вернулся к занятию, которое, по-видимому, было прервано приходом Степана. Никита Евграфович что-то варил на плите, переливал из одной жестянки в другую, нюхал, мешал щепочкой, священнодействовал. Едкий чад заполнял весь дом.

– А Наташи нет, – сообщил он, витая в облаках дыма. – Редко заглядывать стала, все с детишками там да с тобой на подготовке. Ну

как считаешь, шансы у неё есть?

– Шансов-то много, да упрямства ещё больше, – пожаловался Чудинов.

– Это верно говоришь. Это уж она в нашу мать такая. Однако, как полагаешь, эта московская, Забубырина, что ли, не обставит Наталью нашу, не осрамит, как в прошлом годе в Москве?

– Надеюсь, нет.

– Хорошо! С тебя взыск будет, А я вот мазь ей нашу родовую, охотничью изготовил. Дело-то на крайний мороз поворачивает. Тут с мазью не ошибиться. Ну, а уж я в этих смыслах угадываю без промашки. Секрет нашего семейства. Я тебе вот доверяю. Хоть и не переучивался я сам на твой манер ходить, поздно уж мне, а доверяю, однако. На вот, передашь сам Наталье... Три номера тут. Вот, где три креста поставлено на жестянке, это на крайний мороз. Если и ударит, то как раз этот состав подойдёт. Наталья сама знает, не впервой ей.

И Никита Евграфович вручил Чудинову три разноцветные банки с заветной фамильной мазью.

## **Глава XVI**

### **Тайны масок и секреты мазей**

Вечером я увидел Чудинова в городском парке, который был превращён сегодня в огромный каток. Гирлянды цветных фонариков отражались в матовом зеркале льда. Город устраивал карнавал в честь открытия спартакиады. По ледовым, похожим на полосы станиоли дорожкам проносились пары конькобежцев, одетые в яркие маскарадные костюмы. Из рупоров гремела музыка.

На ледовой площадке, окружённой зрителями и залитой светом прожекторов, под общий хохот плясал, кружился огромный матерчатый жираф. Передние ноги его разъезжались на коньках и, хоть убей, не могли приноровиться к движениям задних конечностей, принадлежащих другому конькобежцу, также спрятанному под пятнистым чехлом, который изображал шкуру жирафа. Какой хохот и визг стояли тут! Поощряемый аплодисментами и весёлыми пожеланиями, жираф встал неожиданно на дыбы, взвился почти вертикально и замахал в воздухе коньками на передних ногах. Тут он

вдруг упал, весь перекрутился, а когда встал, задние ноги его поехали в одну сторону, а передние – в другую. То-то была потеха!

Пёстрой поющей фалангой проносились по ледовым аллеям сцепившиеся за руки фигуристы на коньках. Кавалеры в средневековых костюмах, в развевающихся плащах катили перед собой на лёгких санках замаскированных дам. Чиркали коньки о лёд, покачивались цветные фонарики в морозном искристом воздухе. Погружая всех то в красный, то в зелёный, то в золотисто-оранжевый свет, вертелись прожекторы, на которых меняли беспрерывно цветные заслонки.

Все кругом пело, несло, сверкало, перекликалось, хохотало, толкалось, куролесило, и только мрачный, но решительный Чудинов, продираясь сквозь пёструю карнавальную толпу, одинокой и деловой фигурой своей нарушал, как ему самому казалось, всю панораму маскарадного веселья. Я сидел на террасе грелки-ресторана с Алисой Бабуриной. Мы увидели Чудинова и подозвали его к себе.

– Скуратову не видели? – спросил он сразу.

– Найдётся ваша Скуратова! – засмеялась Алиса. – Идёмте к нам лучше. Хотите пинтвейну горяченького?

– Подожди, – сказал я, – кажется, она мне встречалась вон в той аллее, когда я сюда шёл, и, по-моему, в расстроенных чувствах. Что, опять у вас разрывушки? Не время.

– Ещё бы! – пробурчал Чудинов. – Ну и характер!

Алиса бросила на него хитренький, насмешливый взгляд:

– Она, должно быть, коварно скрылась под маской. Может быть, мне надеть на себя что-нибудь, чтобы вы, Степан Михайлович, обратили внимание на старую знакомую?

– А то хочешь, – предложил я, – могу вызвать через радиоузел по знакомству. «Внимание! Гражданку Скуратову Наталью разыскивает её тренер».

– Да нет уж, обойдусь без твоей трансляции! – сердито заметил Чудинов. – Так ты говоришь, в той аллее? – И он ушёл в том направлении, куда я показал ему.

– Степан, – крикнул я ему вдогонку, – мне надо было бы сказать тебе два слова!.. Простите, Алиса, я на минуточку.

– Захватите горячего кофе в термос на обратном пути, и хватит вам там секретничать. Встретились дружки! – съехидничала Алиса.

Я нагнал остановившегося Чудинова:

– Ну что, у вас нелады?

– Не говори! – Чудинов махнул рукой. – Пожалуй, я действительно вёл себя не совсем так, как надо...

– Да как тебе сказать... Если учесть характер твоей Скуратовой, так конечно... Но вообще сейчас не время рассуждать. Иди и винись, нечего уж тут.

– Да где я её найду?

– Я же тебе сказал: по-моему, она в том направлении. Спешите! Ну, а я пошёл за термосом.

Наташа сидела в одиночестве на одной из далёких аллей. Сюда доносились весёлые взвизги, музыка, а Наташа всё больше и больше погружалась в мрачное беспокойство и грусть. И правда, что может быть печальнее, чем сидеть одинокой в праздничный вечер и издали прислушиваться к чужому веселью!

Неожиданно Наташа увидела странную фигуру, которая не очень уверенно приближалась к ней по льду аллеи. Человек в чёрном плаще, в большой шляпе с перьями, скрыв лицо под чёрной полумаской и укрываясь бортом плаща, подошёл к Наташе.

– Здравствуй и внимли! – проговорил он замогильным голосом.

– Это ещё что за чучело? – не очень любезно спросила Наташа. – Вы кто такой?

Маска, сгорбившись, глухим, таинственным голосом возвестила:

– Тот, кто некогда спас тебя в пургу.

– Ах, вы тоже? Это, кажется, уже четвёртый по счёту. Сколько же вас – целая спасательная команда? Обратитесь к Ремизкину, редакция «Зимогорский рабочий».

– Спас тебя и твоего питомца, – упрямо вещала маска.

– Оставьте. Надоело. Я уже забыла давно про это.

– А я тебе напомню, – ещё более глухо и настойчиво продолжала маска. – Я достал фляжку, я повязал шарф тебе, я оказал: «Мальчика возьму сам. Можете идти? Помощь близка». Я говорил так?

Наташа озадаченно прикинула взглядом – тот, кажется, был выше ростом. Она не знала, прогнать этого надоедливого незнакомца, рассердиться или превратить всё дело в обычную карнавальную шутку.

– Я говорил так? – прохрипела маска.

– Да... говорил... то есть не вы, а тот, кто нашёл нас тогда, говорил так.

– Я спасал тебя, чтобы ты принесла нашему городу славу, – уже совершенно потусторонним голосом, давась, заверещала маска. – Помни, ты должна прийти первой, самой первой, только первой! Думай о славе родного города. Слава близка. Преодолей гордыню. Иди к своему учителю и внимай его советам.

Наташа вспыхнула:

– Слушайте, может быть, пора прекратить этот неостроумный маскарад? Хоть нос у вас и под маской, но суете вы его не в своё дело.

– Я повинуюсь тебе и уйду сейчас обратно во мрак тайны, – не отступала маска, – но ты запомни, что я сказал. Ты выиграешь, и тайна рассеется, всё станет ясным. Не веришь? Вот взгляни: на шарфе, которым я укрыл тебя, была вот такая метка. – На короткий миг приоткрыв плащ, он показал серый шейный платок, на котором была вышита большая буква «С». Он тотчас запахнул плащ. – А теперь смотри, вон там... взглядишь!

Наташа невольно обернулась, чтобы посмотреть, куда показывает маска. Никого не разглядев, она оглянулась...

Но чёрный плащ уже прошуршал за заснеженным кустарником.

– Вот ещё! Скажи пожалуйста!.. Кто же это тут разглагольствовал? А впрочем...

Постояв в нерешительности и ещё раз оглядевшись, она двинулась туда, откуда доносились звуки оркестра.

Как назло, у буфетной стойки, где наливали горячий кофе, была большая очередь, и меня порядком задержали здесь. Когда я с пирожными и термосом возвратился на террасу грелки-ресторана, я застал там Наташу, уже разговаривавшую с Бабуриной.

– А он вас только что искал, – объясняла Алиса, по-видимому отвечая на вопрос Наташи о Чудинове. – Они только что с Карычевым... Ну, наконец-то! – закричала она, увидев меня. – Я совершенно закоченела! Давайте скорей кофе. Наташа, хотите чашечку? Вообще, давайте познакомимся как следует. Чудинов всегда меня учил, что надо хорошенько знать своего противника.

Наташа присела возле нашего столика, продолжая насторожённо вглядываться в плубь аллей.



– Ну, вас-то я хорошо знаю, – сказала она. – Вы меня в прошлом году обошли в Москве, как во поле берёзоньку стоячую. Вспомнить стыдно. Да и от Чудинова только и слышу: Бабурина на прямой да Бабурина на подъёме...

Алиса улыбнулась, довольная:

– Значит, все мои секреты уже вам выдал. А может быть, и вы, товарищ Наташа, со мной поделитесь? Говорят, у вас тут местные мази какие-то есть секретные, чудодейственные.

Едва она произнесла это, как между деревьями, окружавшими террасу, появилась странная фигура в чёрном плаще, полумаске и широкой шляпе с пером. Наташа продолжала всматриваться в аллею.

– Так как же насчёт мазей-то этих, сверхсекретно таинственных? – спросила ещё раз Алиса.

– В том секрета нет, могу поделиться, если хотите, – отвечала Наташа и заметила за деревом странную маску, Та или не та?

А человек в плаще в тот же миг сорвал с себя маску и шляпу и оказался всего-навсего Тюлькиным.

«Это не тот!» – решила Наташа.

– И я говорю! – жизнерадостно прокричал Тюлькин. – Правильно, товарищ Наташа, какие тут могут быть секреты? Все свои. Кубок нашенский будет, если выиграем. А мы никому не скажем. Тайна. Гроб. Могила неизвестного солдата. Разве нет, товарищ Карычев?

– Ну, у меня рот на замке, – пообещал я. – Всегда молчу. Такая уж у меня сегодня профессия – радиокomentатор.

Наташа встала:

– Видно, Степан Михайлович уже ушёл. Мне тоже пора. Всего вам лучшего!

Тюлькин последовал за ней, осторожненько нагнав в аллее.

– Так как же насчёт мазей?

– У меня при себе нет, – сказала Наташа. – Как получу, дам.

– Ладно. Замётано, – обрадовался Тюлькин.

Чудинов сидел на скамье в боковой аллее и рассеянно чертил прутиком на гладком снегу, по которому скользили светлые пятна качавшегося фонаря: «Скуратова». Услышав шаги и заметив подходившую Наташу, он спешно одной ногой сровнял надпись на снегу, но не успел стереть первую букву. Наташа заметила это, села

молча на скамью возле Чудинова, взяла у него из рук прутик, притоптала снежок и рядом с буквой «С» вычертила «Ч».

Чудинов легонько хмыкнул. Оба помолчали. Наташа заговорила первая:

– Вы что, сердитесь на меня? Ну, не сердитесь, Степан Михайлович. Неправа я, конечно. Наехало на меня... Было и прошло. Смешно в такое время... Завтра в восемь я на тренировке. Хорошо? Кончили злиться?

– Да я на вас и не думал злиться, – откровенно признался Чудинов. – Я сам вас искал. Обидно, что по таким пустякам, и вдруг...

– Ну хорошо, хорошо, – перебила его Наташа и совсем тихо добавила: – Неужели вы думаете, что я вас могла подвести в такие дни? Только я вам скажу правду, мне как-то очень грустно. Я сегодня поняла...

– Что вы такое там поняли? – начиная уже легонько закипать, просил Чудинов

. – Я поняла: вы все это делаете для Бабуриной, чтобы доказать ей...

Чудинов вскочил, вырвал у неё почему-то из рук прутик и с ожесточением швырнул его в кусты.

– Слушайте, вы, Хозяйка снежной горы, уральский самородок, леший меня и всех вас тут кругом заберите! Что вам далась Бабурина? Вы думаете, одна Бабурина на свете?

– Это, кажется, вы так думаете.

– Я так не думаю и вам не советую, а рекомендую думать, что вам придётся иметь дело с добрым десятком лыжниц, которые сейчас несколько не хуже Бабуриной. Например, та же Авдошина из Вологды, вы видели её в Свердловске, или Бадаева кировская, Румянцева, Нина Гвахария! А я только и слышу: «Бабурина, Бабурина»!

Наташа радостно смеялась:

– Ну, ругайте, ругайте ещё!

Чудинов опустился на скамью, осторожно потянул Наташу за руку, заставляя присесть рядом.

– Попробуйте только не показывать время лучше всех! – Он стал очень серьёзным. – Только это нелегко будет, Наташенька, предупреждаю. Шансы у всех равные.

Наташа решительно замотала головой:

– Нет, у меня больше.

Чудинов никогда не видел ещё её такой.

– Это почему же вы так думаете?

– Потому, что за меня – вы, – произнесла она, глядя ему прямо в глаза, остановилась, словно у неё перехватило дыхание, и резко встала, глядя в другую сторону.

Чудинов посмотрел на неё с благодарностью, взял её руку в вязаной варежке, легонько пожал.

– Наконец-то вошёл в доверие у семьи Скуратовых! – пошутил он. – Вот, кстати, и отец меня просил передать вам фамильную. – Он стал вытаскивать из карманов баночки, вручённые ему Никитой Евграфовичем.

С этого дня город жил только одним – спартакиадой. Спорт подчинил все своим законам и обычаям. Болельщики, едва закончив работу на руднике, обогатительной фабрике и в учреждениях, мчались на стадион. Уже была разыграна гонка для лыжников-мужчин на дистанции 30 и 50 километров, эстафета «четыре по десять». Хорошее время показали лыжницы «Маяка» на эстафете «три по пять». Наташа шла на втором этапе и обошла лыжницу «Радуги», чем выровняла положение своей команды, а Алиса Бабурина, шедшая на последнем этапе, вырвалась вперёд и принесла победу «Маяку».

Оторвавшись далеко от других команд, впереди всех по числу завоёванных очков шли коллективы «Радуги» и «Маяка». Теперь было уже ясно, что именно единоборство этих двух исконных соперников и решит судьбу зимнего кубка. Из-за неудачи гонщиков «Маяка» в мужской эстафете «Маяк» чуточку поотстал, и к последнему, решающему дню «Радуга» имела несколько очков форы, то есть опережала конкурентов. Все должна была решить теперь гонка лыжниц на десять километров. В канун финальной гонки в клубе обогатительной фабрики был устроен вечер встречи приезжих физкультурников с местными.

Наташа сидела вместе с Машей Богдановой в зале.

Один за другим на трибуну поднимались конькобежцы, лыжники, хоккеисты. В зале синели «юпитеры», осветительные приборы. Шла киносъёмка.

Выступали многие хорошо уже известные Наташе по газетам спортсмены. При объявлении их имён фоторепортёры вскакивали с мест, лезли на стулья, мальчишки-осветители хватались за «юпитеры», нацеливали их на трибуну, и оратор в самом прямом смысле купался в лучах собственной славы и был ослеплён ею. При объявлении других имён свет приборов разом бесцеремонно выключали и выступавший, угасая, погружался во тьму неизвестности.

Когда председательствующий Ворохтин своим раскатистым басом объявил, что выступает чемпионка СССР Алиса Бабурина, все лучи «юпитеров» повернулись на трибуну. В зале зажурчал съёмочный аппарат, и Наташа, спохватившись, должна была присоединить свои аплодисменты к общей овации. Может быть, впервые почувствовала она лёгкую и ревнивую зависть к славе этой изящной и немножко высокомерной москвички.

Но ещё громче и дружнее аплодировал зал, когда Ворохтин дал слово Чудинову. Наташа могла сейчас ещё раз убедиться, каким непреходящим уважением пользовался её тренер среди спортсменов всей страны. Все вскочили аплодируя, все улыбались восторженно и почтительно, и Чудинов не сразу смог начать речь. Он стоял на трибуне, слегка щурясь под лучами прожекторов, которые безжалостно высвечивали и шрам, уходивший на виске под волосы, и седины, кое-где уже проступившие. Маша Богданова аплодировала громче всех, так, что даже пришлось Наташе взять её в конце концов за руку и усадить. Но Наташе и самой было несказанно радостно, что все так приветствуют человека, который сейчас ведёт её уверенно к самому трудному испытанию. С гордостью оглядывала она сидевших в зале других лыжниц, слыша, как Чудинов приветствовал приезжих – теперь уже от имени зимогорских физкультурников.

После торжественной части были танцы. Здесь Тюлькин тотчас же подкатился к Наташе:

– Разрешите вальс-бостон?

– Нет, я уже обещала Степану Михайловичу, – ответила Наташа, поискав глазами в толпе Чудинова.

Тот, услышав, пожал удивлённо плечами, но, догадавшись, подошёл и, как заправский танцор, обнял Наташу за талию, шепнув при этом:

– Слушайте, какой я танцор! Вы же знаете прекрасно?

– Ничего, ничего, – шепнула ему Наташа. – Лучше всё-таки вы, чем этот Фитюлькин. Ужас, как надоел!

– Из двух зол, вероятно, я не худшее, это правильно, – смиренно согласился тренер.

Они кружились среди танцующих, а Тюлькин ходил в некотором отдалении по кругу, терпеливо выжидая. Физиономия его то и дело появлялась либо за колоннами, либо из-за плеч танцующих.

– А Тюлькин-то, смотрите, сопровождает нас, как луна в лесу, – заметил Чудинов. Потом он вдруг поглядел на часы, присвистнул: – Хватит, Наташенька, отправляйтесь домой. Завтра ведь такой день! Я вам дал нарочно передохнуть, но сейчас уже время.

– Ну, хоть ещё один танец! – жалобно взмолилась Наташа.

Чудинов был неумолим:

– Довольно, вам пора спать. Вы что, забыли, какой день вас ждёт завтра?

Наташа заупрямилась:

– А вы чем-нибудь ещё интересуетесь в жизни, кроме лыж?

– В настоящее время ничем. Всем другим начну, может быть, интересоваться после спартакиады. Ну-ка, живенько, марш!

Он повёл было её под руку к выходу, но Наташа высвободилась и одна вышла из зала. Чудинов минуту следил за ней, потом мрачно вздохнул. К нему подошёл Ворохтин:

– Что вздыхаешь, товарищ Чудинов?

– Да вот девушку опять обидел. Ей танцевать хочется, а я её спать отправляю. Режим.

– А как считаешь – завтра?..

– Считать нам нечего, – отвечал Чудинов, – за нас секундомер посчитает. – И он зашагал к выходу.

Вечер был чудесный, хотя мороз с каждой минутой становился крепче. Даже дышать было уже нелегко. Ледяной воздух тысячами мельчайших иголочек колот ноздри, как сельтерская.

Провожая Наташу, Чудинов поднялся с ней на холм, под которым начинался парк с дорожками, превращёнными в каток.

Здесь они остановились. Залитая лунным светом снежная равнина простиралась внизу под холмом, уходила к бледно высвеченным склонам далёких гор. Над стеной из елей стояли в небе редкие облачка, отороченные серебряной каймой. Слева подрагивали

в морозной тьме огни города, и казалось, что они, мерцая, похрустывают от мороза. Иногда ветер доносил снизу, из парка, музыку. Чудинов и Наташа стояли рядом, невольно отдаваясь покою морозной ночи, вслушиваясь в него

. – Вечер сегодня какой дивный! Правда? – мечтательно проговорила Наташа.

– Да, хорошо. Чертовски хорошо!

Чудинов расправил плечи, глубоко вдохнул нестерпимо ледяной воздух, потом осторожно коснулся локтя Наташи, приглашая идти дальше.

Наташа попросила:

– Постоим ещё немножко... Как музыка хорошо здесь слышна!

Оба прислушались. Далёкий вальс то доплывал до них, то замирал.

– Тишина, – сказал Чудинов, – кругом тишина. И даль такая, словно сам плывёшь со звёздами из края в край Вселенной.

Луна, высвободившись из проплывавшего облака, серебряным светом своим коснулась лица Наташи. Девушка была очень хороша в эту минуту. Чудинов откровенно залюбовался ею. Вот она медленно повернула к нему своё лицо, которое, казалось, само светилось в полумраке, потянулась навстречу ему, полная открытой доверчивой прелести, и Чудинов невольно подался навстречу, но сдержался и даже отпрянул слегка, Наташа смотрела на него, чего-то ожидая.

– Волнуетесь? – спросил Чудинов.

– Нет. – Она тряхнула упрямо закинутой головой.

– Очень плохо. Надо волноваться.

– Ну, волнуюсь, волнуюсь. Успокойтесь.

– А мне чего успокаиваться? Я не волнуюсь. Наташа повела плечом.

– Ну да, конечно, вам всё равно. Лишь бы кубок «Маяку» достался.

– «Волнуюсь, волнуюсь. Успокойтесь», – передразнил её Чудинов.

Когда они подошли к интернату, какая-то тёмная фигура то расхаживала по крыльцу, то принималась подпрыгивать и яростно колотить себя руками крест-накрест по бокам и плечам, пританцовывая и крикая.

– Это ещё что за ночной сторож?

Чудинов, отведя рукой Наташу себе за спину, шагнул к крыльцу.

– Это я, Степан Михайлович, – раздался знакомый голос. У говорившего, видно, зуб на зуб не попадал.

– Тюлькин! Коля, добрый вечер. Ты зачем здесь?

Бедный Тюлькин продолжал хлопать себя по плечам:

– Гулял, понимаешь, замёрз немножко, дай, думаю, зайду погреюсь. Постучал, а там ребята перебулгачились, меня не пустили. Вот я и дожидаюсь. – Он энергично потёр ладонями замёрзшие уши. – Анафемская температура. А я, понимаешь, решил город посмотреть, побродить, помыслить в тиши ночной.

– О чём же это ты на старости лет решил мыслить? – усмехнулся Чудинов. – Непривычное для тебя занятие.

Тюлькин горестно вздохнул:

– Хорошо тебе шутить... Вот ходишь вдвоём, а я что? Один на всём белом свете, совершенно индивидуально. Мыкаюсь с этим инвентарём, а благодарности ни от кого. А все подай, все устрой. Коньки заточи, ботинки обеспечь, клюшки чтобы были, мазь чтобы была! За все я отвечаю. Да вот, кстати, товарищ Наташенька, вторично хочу вас просить насчёт мази, как обещались. Слышал я опять в народе, что у вас тут для лыж мазь особая какая-то: только навощи ею лыжи – сами побегут. Я к чему это настаиваю: думал, обойдусь, а тут со всех сторон слышу – будто слёг у вас какой-то ненормальный, так что к нему мазь не угодишь – особая, специальная нужна.

– Ну, насчёт снега не знаю, – возразила Наташа, – а мази у нас, правда, знаменитые есть.

– Знаменитые, да, между прочим, никому не известные, – вздохнул Тюлькин. – Народ их у вас в секрете держит. Ужас, до чего публика у вас тут скрытная! Мне вот рассказывали давеча, что вас тут лично вместе с мальчонкой один человек во время бурана от полного обмороживания спас, так скрылся, чудак, и до сих пор все темно и непонятно. Глупая голова. Да о нём бы в газетах написали, вполне бы и орден мог схватить, а он... И неужели, между прочим, так до сих пор и неизвестно кто...

Чудинов решительно перебил его:

– Хватит тебе философствовать! Говори, что надо, а то я Наташу спать отправлю. Тюлькин заторопился:

– Товарищ Наташа сама знает, в чём дело. Извините меня за нахальство, конечно, я же опять насчёт этой мази. Обещались же. Я вас чистосердечно прошу. Ведь должность моя такая: за лыжи отвечай, за мазь отвечай. А где я её достану, раз секрет?

Чудинов испытующе-выжидательно смотрел на Наташу.

– Для Бабуриной стараетесь? – Наташа понимающе покачала головой. – Ну что ж, пожалуйста, охотно поделюсь. Мне отец сам изготовил. Он дело это никому не доверяет. Сам стряпает. Заходите, только чтобы тихо. Поздно уже.

Все трое осторожно поднялись в комнату, где обычно проводились музыкальные занятия.

– Тихо, тихо, пожалуйста, – шёпотом предупредила Наташа, – ребята спят. Сейчас я вам принесу, она у меня в чемоданчике.

Наташа на минуту вышла, вернулась со своим спортивным чемоданчиком, открыла его и поставила на стол перед Тюлькиным.

– Берите любую. Вон та, где три креста, – эта на большой мороз. Рекомендую. А у меня ещё есть запасная. По-моему, как раз будет. Температура падает. Берите, берите.

Она пошла в переднюю, на ходу расстёгивая шубку. Чудинов помог ей раздеться, повесил шубку на вешалку.

Между тем Тюлькин жадными, быстролазными руками рылся в чемодане. Он увидел там три почти одинаковые баночки. Он пошевелил пальцами, осторожно прикоснулся к ним и собрался уже взять ту, на которой были синим карандашом нацарапаны три креста, но тут же заметил, что в углу чемодана, полуприкрытая шерстяным шарфиком, укромно задвинутая за зеркальце, стоит ещё одна баночка. Тюлькин воровато оглянулся, осторожно достал баночку и прочёл этикетку на ней: «Особая. Для резкого похолодания. Состав А. О. Дрыжика».

– «А-а, гигиена чёртова! Вот где твои секреты! Ох, хитры вы здесь все кругом, да не хитрее Тюлькина».

Он понюхал банку, покосился одним глазком в сторону передней, убедился, что Наташа и Чудинов ещё там, и быстро спрятал в карман мазь Дрыжика.

– Спасибо вам, товарищ Наташа, – торжественно поблагодарил он вошедшую Наташу. – Советский спорт и общество «Маяк» вам этого не забудут. Мирская вы девушка. Скажу по совести, я бы за такой не то



что в пургу – в огонь и в воду кинулся при моей натуре. Приятных снов.

– А тебе что же, самому натирать приходится? – посочувствовал Чудинов. – Ох, и барыня же она, твоя Алиса! Разбаловали вы её без меня окончательно.

Тюлькин развёл руками:

– Что делать – талант! Ну, я отбываю. Мороз-то, мороз на улице! На термометре один только шарик видать. Тридцать два на завтра обещают, жуть!

Когда внизу хлопнула дверь, Чудинов крепко сжал в обеих ладонях руку Наташи:

– Молодец вы! Я просто гордился сейчас вами. Так великодушно отвалили ему мазь для соперницы. Вот это по-нашему!

– По-вашему?

– По-нашему с вами, – ласково сказал Чудинов.

Они должны были говорить шёпотом, так как весь интернат уже опал. И, хотя разговор шёл о вещах самых простых и обыкновенных, Наташе от этого шёпота казалось, что они делятся какими-то тайнами, известными одним лишь им. И это волновало их обоих.

– Вот хвалите сейчас, – шепнула Наташа, – а раньше сами говорили, что у меня мало спортивной злости.

– То другое дело. А вот сейчас прошу вас, наберитесь злости. Ну как, есть у вас злость? – Он внимательно посмотрел ей в самые глаза.

А Наташа весело сделала очень страшное лицо, хищно оскалила зубы, подтянула брови к вискам и даже зарычала, сверкнув на него глазами:

– У-у-у!..

– Хорошо, – тихо засмеялся Чудинов и зловещим, трагическим шёпотом продолжал: – Бросьте Бабурину далеко позади, обойдите её, откиньте, сметите с дороги. Нет, я, конечно, фигурально. Ну, Наташенька, покойной ночи. Набирайтесь злости!

Спал Зимогорск. И болельщики беспокойно ворочались с боку на бок, волнуясь за исход завтрашней гонки. Спала Алиса Бабурина. Ещё раз проверив составленный им график гонки, почивал тренер Коротков. Но ещё горел свет в нашем номере, где Чудинов ходил из угла в угол, круто поворачиваясь и что-то бормоча про себя.

Возвращаясь после телефонного разговора с Москвой к нам в номер, я услышал характерное пошаркивание в комнате, где обитал Тюлькин. Дверь была полуоткрыта, я заглянул в номер, заваленный всяким спортивным инвентарём. Тюлькин сидел за столом. На столе горела свеча. Тюлькин подогревал мазь над пламенем свечи и натирал лыжу, поставив её одним концом на пол и зажимая между коленями. На подножке великолепной гоночной лыжи, узкой, сверкавшей цветным лаком, я увидел металлическую дощечку возле крепления. На ней было выгравировано: «Чемпиону СССР А. Бабуриной».

Заметив меня, Тюлькин собрался было что-то сказать, чихнул, едва не загасив свечу, высморкался и подмигнул мне:

– Ишь, зимогоры! Хотела мазь не ту подсунуть. Припрятала заветную. Только Тюлькина не проведёшь!

## **Глава XVII**

### **Лыжню! Лыжню!**

Знаменитый приз сверкал всеми своими гранями, поставленный на маленький алый столик перед центральной трибуной. Возле него несли караул троекратные обладатели зимнего кубка – спортсмены московского клуба «Радуга» со своими семицветными знамёнами.

Как хорош был большой зимний стадион в день торжественного финала спартакиады!

Расположенный в естественном амфитеатре по склонам расходившихся воронкой гор, сверкая льдом хоккейного поля, весь в радужном блеске инея, стадион сам был похож на исполинскую хрустальную чашу.

Все, чем славится спортивная русская зима, было сегодня представлено здесь. На дощатых, освобождённых от снега скамьях сидели знаменитые лыжники, прыгуны с трамплина и конькобежцы, танцоры на льду и слаломисты из Карелии, из Боржоми, из Бакуриани, с Уктусских гор и с Кукисвумчорра. Над рядами лёгким частоколом вздымались цветные лыжи, торчали рукоятки хоккейных клюшек. А вдали, на озере, куда открывался отличный вид с трибуны, скользили по льду, взмахивая на поворотах белым парусом, буера.

Воздух искрился. Все исторгало радостный блеск, всё казалось хрустальным под лучами низкого зимнего солнца в этот погожий,

крепко схваченный морозом уральский денёк.

В центральной ложе рядом с Ворохтиным, приезжими товарищами из Всесоюзного комитета и корреспондентами я увидел неизменного Ремизкина, который в этот день выглядел ещё более азартным и запарившимся, чем обычно. Он всё время пересаживался с места на место, допытывался и лихорадочно записывал услышанное в блокнотик, припадая к нему чуть ли не носом, щёлкая фотоаппаратом, и вообще проявлял самую неукротимую деятельность.

Чуточку ниже ложи целый ряд был занят ребятами из интерната во главе с Таисией Валерьяновной. Башлычки всё время двигались. Ребятам от нетерпения не сиделось на месте. Бедная Таисия Валерьяновна, то и дело приподнимаясь, возвращала на скамью тех, кто был особенно непоседлив, так и норовя перелезть поближе к снежной дорожке. Я узнал Катюшу, но Сергунка почему-то среди ребят не нашёл.

Ещё ниже, неподалёку от прохода, расположилась семья Скуратовых. Фамилия их была представлена тут целиком: отец, мать, сын Савелий. Не было только самой Наташи, которая уже давно отправилась к месту старта.

Тут же, по соседству, я увидел парикмахера Дрыжика и нашу гороподобную комендантшу тётю Липу.

Я занял своё место у микрофона в небольшой стеклянной будке. Она давала превосходный обзор. Видна была даже часть огромной снежной равнины, куда уходила трасса гонки, отмеченная маленькими треугольными красными флажками. Как обычно, трасса была кольцевой. Отрезок лыжни, на которой должны были происходить соревнования, пролегал между трибунами и конькобежной дорожкой. Здесь, перед центральной ложей, был старт и финиш кольцевой гонки.

Я поставил возле термос с горячим чаем, включил микрофон, и рупоры во всей округе возвестили моим голосом, уже как бы отделившимся от меня и живущим самостоятельно во всём этом обширном морозном пространстве, что начинается большая финальная гонка, которая, по-видимому, решит судьбу хрустального кубка. Теперь, когда все подсчёты были уже уточнены по результатам предварительных состязаний, оказалось, что «Радуга» шла впереди

всего лишь на семь очков. На огромном щите, чуточку в стороне от трибун, возле семицветного флажка в графе «Радуги» стояла цифра «310». Лишь на одну графу ниже сверкала эмблема «Маяка» – алая башня, мечущая в обе стороны снопы золотых молниевидных стрел. У «Маяка» было триста три очка. Далее, на третьем месте, находился клуб «Призыв», имевший двести семьдесят очков, и ниже были помечены ещё другие клубы, которые уже вряд ли могли претендовать на первое место и кубок.

Таким образом, сегодняшняя женская гонка на десять километров окончательно решала судьбу личного и командного первенства. Если бы гонку выиграли по сумме времени, перекрывающей по таблице подсчёта разрыв в семь очков, лыжницы «Маяка», они бы завладели кубком, которого были лишены уже три года. В случае победы представительниц «Радуги» зимний кубок остался бы опять у них. Зачёт вёлся командный, по общей сумме, и индивидуальный – для личного первенства. И все понимали, что речь идёт не только о кубке, но и о том, кому быть чемпионкой Советского Союза.

Чудинов, спускаясь с трибун из центральной ложи, подмигнул мне через стекло моей кабины и помахал рукой. Я скрестил над головой сжатые кулаки, вывернутые ладонями вперёд, и потряс ими в ответ. Степан кивнул. Это был наш условный старый знак, означающий пожелание победы.

Между тем лыжницы уже выстраивались на линии старта. Тридцать шесть лучших лыжниц страны. Гонщицы делали последнюю разминку. Кто приседал легонько на лыжах, кто подпрыгивал, перебирая ими на снегу, другие, не сгибая ног, резко склонялись вперёд, доставая кончиками пальцев крепления. Зрители сразу увидели среди лыжниц своих любимых, шумно зааплодировали Наташе Скуратовой, Маше Богдановой.

Судья уже поднял в одной руке клетчатый флаг над головой, держа другой рукой его за уголок полотнища.

Алиса, как всегда, явилась на старт самой последней. Это была её обычная манера. Она любила заставить зрителей немного поволноваться. Её узнали на трибунах, зашумели, захлопали. Вот она, чемпионка Советского Союза, непобедимая, уверенная, прославленная!..

А Бабурина, сделав небольшую пробежку на лыжах, с беспокойством нагнулась и несколько раз одной ногой попробовала скольжение. Тюлькин был тут как тут.

– Ты с мазью не ошибся? – озабоченно спросила его на ухо Алиса. – Погоду учёл? Мороз сильный. С Коротковым советовался?

– Будьте уверены, – последовал ответ, – согласовано. Местная секретная. Проверял. Специально для похолодания в здешних условиях. Можешь быть спокойна.

Старт давали раздельный, парами. Судья взмахнул флагом, и тотчас со старта, срываясь с места, унеслась по лыжне первая пара гонщиц. Вот ушла в паре с чемпионкой общества «Призыв» Ириной Балаевой Маша Богданова. Ещё взмах флажка – и заскользила рядом с Авдошиной из Вологды известная гонщица «Радуги» Нина Гвахария из Бакуриани. На этот раз правила жеребьёвки были несколько изменены. Жребий определял лишь стартовый номер, по которому пара выходит на старт, а распределение лыжниц по парам делали заранее по собственному выбору сами участники.

И, конечно, было решено пустить в одной паре Наташу и Алису. Это ещё было известно накануне и делало сегодняшнюю гонку особенно волнующей. Им пришлось стартовать в числе последних. Но вот наступила минута, когда по взмаху клетчатого флажка обе соперницы рванулись из-под стартовой арки вперёд.

Под сплошной, все нараставший гул трибун прошли они прямою, вылетели на поворот и, идя почти вровень, канули за виражом, ведущим в снежные просторы.

Трасса, сложная, путаная, была проложена по горам и ложбинам. Она требовала огромной выносливости и специальной сноровки. Пролегая далеко по окрестностям Зимогорска, она образовывала десятикилометровое кольцо, которое замыкалось перед центральной ложей стадиона, где линия старта превращалась в черту финиша.

Всю эту неделю зимогорские и приезжие лыжницы, в том числе, конечно, и Алиса, не раз уже проходили по этой трассе, изучая её особенности. Сейчас на всех этапах дистанции стояли контрольные судьи, следившие за соблюдением правил гонки, контролировавшие движение лыжниц по строго размеченной дистанции. Они сообщали по телефону на стадион, как проходит гонка. Сведения эти

немедленно поступали ко мне, в мою стеклянную кабинку, и я мог вести почти непрерывный рассказ о ходе состязаний.

Мне показалось, что Наташа несколько, как говорят, засиделась на старте. Алиса же сразу с места взяла большую скорость и вырвалась вперёд. Уже перед поворотом расстояние между нею и поотставшей Наташей увеличилось заметно для глаза. Мне вообще показалось, что Наташа слишком медлительно развивает темп гонки. Она как будто и не спешила. Зрители с трибун понукали её, топали ногами, кричали вслед, что-то советовали. Наташа шла неспешным, положим и просторным шагом. По сравнению с ней, все резче уходившая вперёд Бабурина казалась куда более подвижной и энергичной.

Тюлькин, поднявшийся на трибуну, уселся неподалёку от моей кабины. Он ёрзал от нетерпения, потирал руки, мотал головой и хихикал в предвкушении торжества, которое неминуемо ожидало его фаворитку. Вот он увидел шедшего по проходу Чудинова. Привстал, доверительно поманил его к себе:

– Ну, Степа, по-честному, за Кого болеешь?

– За тебя.

– Я серьёзно, – обиделся Тюлькин. – По старой привычке за Алису или по новой местной моде за Наташу?

– Больше всего за тебя душой болею, – сказал Чудинов. – Будет тебе сегодня баня, если Алиса проиграет.

Обе лыжницы уже исчезли из поля зрения. С трибун теперь мы могли их увидеть не скоро. Трасса уходила за холм. Оттуда мне вскоре сообщили, что обе лыжницы начали обходить гонщиц, вышедших до них. Бабурина уже обошла двух стартовавших перед ней. Скуратова тоже обошла шедших впереди, однако просвет между нею и соперницей не сокращался. Контроль сообщил мне по телефону с начала второго километра, что на равнине Бабурина даже увеличила просвет. Я сообщил об этом по радио.

– Видишь? – торжествовал Тюлькин. – Говорил тебе, что Алиса всех «привезёт».

– Положим, это не ты, а Карычев сейчас сказал, – отвечал Чудинов.

– Он сказал официально, а я присоединяюсь в частном порядке и советую тебе, пока не поздно. Куда ты?

Чудинов сделал мне какой-то знак и стал быстро сбегать вниз с трибуны, крикнув на ходу Тюлькину:

– Я на дистанцию! Встречу на седьмом километре!

Мне было видно, как он подбежал к аэросаням, ждавшим его у ворот стадиона. На борту аэросаней была укреплена пара гоночных лыж. Чудинов что-то крикнул водителю, махнул рукой. Взревел мотор, разлетелись облака взметённого снега, и аэросани унеслись. Я увидел, как они промчались по склону холма, на котором были расположены трибуны, пересекли снежную ложбину и пропали за леском.

Контроль второго километра сообщил мне, что картина гонки несколько изменилась. Бабурина снизила темп. Она идёт уже с предельным напряжением, и её начинает настигать Скуратова. Судья сказал мне, что Алиса беспокойно оглядывается и то и дело смотрит себе под ноги. Я включил микрофон.

– Внимание! – сообщил я. – Со второго километра сообщили, что первой и здесь прошла Бабурина. Однако она начинает заметно снижать скорость. Видимо, темп оказался ей не под силу. Скуратова начинает дожимать чемпионку Союза.

Такой поднялся рёв на трибунах, что я даже сам не слышал своих слов. Дрыжик ликовал:

– Сейчас она эту москвичку дожмет!

А Тюлькин, слыша это, подмигнул сам себе: «Думает, секрета я его не знаю. У Алисы мазь-то какая, спрашивается?»

Между тем на дистанции гонки разыгрывалась драма. Наташа была уже за спиной Алисы. Она шла своим широким, размашистым шагом, непринуждённо, как бы без всяких усилий, и все настигала, настигала неумолимо, бесповоротно. Тем временем Бабурина почувствовала, что лыжи у неё как будто не идут. На них стал налипать снег. Какое-то странное оцепенение начало находить на неё.

– Лыжню!.. – потребовала Наташа. Алиса, судорожно оглядываясь, делала тщетные усилия, чтобы уйти вперёд.

– Лыжню!.. – властно раздавалось уже над самым ухом её, И Бабурина была вынуждена свернуть немного в сторону, уступая на ходу накатанную лыжню. Наташа обошла её, даже не посмотрев в ту сторону.

Контроль кричал мне по телефону:

– У Тридцать первого номера очень усталый вид. Показывает на лыжи, скольжения нет. Видно, мазь подвела в связи с похолоданием.

Я быстро выключил у себя микрофон, над которым загорелся зелёный сигнал. Затем, кое-что записав для себя, я снова нажал кнопку. Вспыхнул красный сигнал: «Включено», и я объявил по радио, что Скуратова настигла и обошла Бабурину.

Овации сотрясали трибуны.

– У Бабуриной, по-видимому, неполадки с мазью или креплением, – сообщил я.

Тут в радиорубку осторожно, бочком, вошёл Тюлькин. Я тотчас выключил микрофон и предупредил вошедшего.

– Ты только тихо. Видишь сигнал? Следи! Если красный – ни звука. Понял?

Тюлькин торопливо закивал и даже зажмурился. Минуту-другую я прислушивался к тому, что мне сообщали через мои наушники с дистанции. Затем я сделал знак Тюлькину и снова включил микрофон.

– С дистанции сообщают, что чемпионка теряет ход. Её начинают обходить уже другие лыжницы... Слышал? – обратился я, выключив микрофон, к Тюлькину. – Алиса-то выходит из игры. Это ты ей лыжи мазал?

Тюлькин в сердцах стукнул кулаком по столу:

– Мне мазь эту сама Скуратова дала, видно, нарочно подсунула. Вот чалдоны, жулье, зимогоры проклятые! Обманули, выходит, а я-то думал, у них тут по-честному...

Он захлопнул рот, зажимая его обеими руками, и в ужасе показал мне глазами на микрофон. Над ним ярко горел красный сигнал «включено». Очевидно, от удара руки Тюлькина о стол микрофон сам включился. Я тотчас нажал на кнопку, вспыхнул зелёный свет, но было уже поздно. Нас слышали. Я увидел, что страшное волнение охватило трибуны. Люди вскакивали, потрясали кулаками в мою сторону. Старик Скуратов поднялся со своей скамьи.

– Не поверю! – донёсся до меня его голос, когда я, выпроваживая Тюлькина, приоткрыл дверь своей кабины. – Убей меня, однако, не поверю, чтобы Наташа такое допустила. Понапрасну наговаривают.

Как узнал я потом, нас слышали не только на трибунах. Разговор мой с Тюлькиным прозвучал и в радионаушниках, которые надел на



себя Чудинов в кабине аэросаней. Он разом схватил за плечо водителя:

– Давай сворачивай. Жми на третий километр... Давай полный газ... Прошу, гони, браток!

Водитель резко увеличил обороты мотора. Взревевшие сани набрали скорость. Стрелка спидометра перед глазами Чудинова, дрожа, дошла до восьмидесяти, потом, поёрзав на месте, дотянулась до девяноста.

Водитель, перегнувшись к Чудинову, сквозь рёв мотора крикнул ему в ухо:

– Там к дистанции не пройдем – перелесок!

– Стой! – приказал Чудинов.

Сани остановились, почти завертевшись на месте. Чудинов спрыгнул, сорвал с борта лыжи. Перед ним простиралась зеркальная гладь замёрзшего озера. У берега парень в толстом стёганом комбинезоне возился возле буера.

– Эй, друг! – крикнул, подбегая к нему, Чудинов. – Как бы быстрее на ту сторону?

Через мгновение он лежал вместе с гонщиком-буеристом на стремглав несущейся ледовой яхте. Ветер, до предела напрягши паруса, рвал с мачты узкий вымпел; из-под огромных и широких, как меч, коньков, казалось, вылетали искры, звенящий шорох скольжения и гром ветра в ушах почти оглушали. И вот буер подлетел к берегу. Чудинов прыгнул на откос, помахал гонщику рукой, благодаря его за помощь, торопливо надел лыжи и пошёл узкой просекой. Он спустился, разгоняя ход, с крутого холма, промчался между деревьями. Буерист смотрел ему вслед, покачивая от восторга головой: да, это был высокий класс горнолыжного хода.

Выскочив из лесочка, Чудинов промчался по косогору. И тут перед ним оказался небольшой овраг. Лыжник сделал крутой разворот, пронёсся, как с трамплина, по воздуху, но, приземлившись, почувствовал острую боль в раненом колене. Он повалился в снег. Страшная ломота свела всю ногу. Всё же он заставил себя встать и двинулся к трассе. Путь ему преградило полотно узкоколейки, которое шло от каменоломен к руднику. Пришлось перебираться осторожно через рельсы. До третьего километра дистанции оставалось ещё

порядочное расстояние. Боль в колене становилась почти невыносимой при каждом шаге.

Когда Чудинов, вскарабкавшись на полотно узкоколейки, уже собирался перешагнуть через рельсы, он услышал справа за леском пронзительный свисток. И прямо на него вылетел ярко раскрашенный красно-синий локомотивчик, быстро вытягивавший из-за перелеска хвост из четырёх так же ярко раскрашенных вагончиков. Поезд показался Чудинову неестественно маленьким. Крохотным был этот паровозик, старательно пыхтевший паром. Совсем игрушечными выглядели прытко катившие вагончики – зелёный, красный, жёлтый и голубой. Но казавшийся карликовым пёстрый поезд мчался туда, куда как можно скорее надо было добраться Чудинову. Он замахал руками навстречу, сорвал с себя шапку, стал делать ею знаки, прося остановиться. Паровозик сперва несколько раз коротко свистнул, а потом, как бы обиженно, затормозил. Чудинов, преодолевая боль, бежал навстречу, стуча лыжами по шпалам. Вдруг ему показалось, что он слышит очень знакомый мальчишеский хрипловатый басок. Из окна будки машиниста высовывался Сергунок.

Тут только вспомнил Чудинов, что летом, как он слышал, под Зимогорском открылась детская железная дорога. Зимой она не работала. Но ради праздника её, видно, пустили.

Подбежав к паровозу, он легко заглянул прямо в будку. Там хозяйничал паренёк лет шестнадцати в большой фуражке железнодорожника и подпрыгивая, весь чумазый от угольной пыли, видно выполнявший добровольно обязанности кочегара Сергунок. Чудинов торопливо попросил, чтобы его подвезли поближе к трассе, а там уж он доберётся сам на лыжах.

Юный машинист был суров, вынужденная остановка нарушала ему весь график. Он покачал головой, но тут все решило вмешательство Сергунка.

– Давай, Семён... Пускай садится, подвезём, – упрашивал он машиниста. – Это же знаешь кто?.. – Он что-то шепнул на ухо машинисту, ткнувшись ему носом в щёку и оставив на ней след угля.

Юный машинист с уважением поглядел на Чудинова.

– Ладно, – разрешил он наконец. – Только с лыжами в вагон нельзя: краску поцарапают. Нам не велят. Вы залазьте тут, я подвезу куда надо.

Чудинов шагнул прямо с земли в низенькую будку локомотива, почувствовав себя великовозрастным второгодником, который втиснулся в маленькую парту. Локомотивчик посопел, шаркнул по снегу паром, дёрнулся и покатил.

Сергунок о чём-то расспрашивал Чудинова, но сунувшись из будки, не слушая, смотрел в сторону приближавшейся трассы. Там, где полотно узкоколейки, сделав полукруг, уходило в сторону стадиона, Чудинов попросил притормозить, соскочил на ходу, поблагодарил машиниста, встал на лыжи и понёсся навстречу вылетевшим из-за группы деревьев лыжницам. Он ещё издали узнал среди них Наташу.

Она шла широким, свободным шагом. Чудинову хорошо был виден издали номер «32» на её груди. Уже не чувствуя в эту минуту боли, он помчался наперерез, сделал, поравнявшись с Наташей, мастерский поворот и пошёл рядом с ней. Девушка словно летела над лыжнёй, так широко и плавно уносил её вперёд каждый взмах руки, каждый толчок палки, сопровождавший широкий посыл лыжи. Она расцвела, заулыбалась, увидев тренера, ожидая ободряющих его слов, тронутая тем, что он встретил её даже раньше, чем обещал, на трассе. Но Чудинов на полном ходу зло бросил ей:

– Что за притирку вы дали вчера Бабуриной?

Продолжая быстро скользить, не сбавляя хода, Наташа крикнула:

– Не притирку, а мазь отцовскую, при вас же.

– А лыжи почему у неё не скользят?

– Это уже ваша забота, а не моя, – возмутилась Наташа, продолжая мчаться рядом.

Он должен был напрягать силы, чтобы не отстать от неё.

– Одной мазью мазали.

– Одной?.. А весь стадион кричит и по радио я слышал, что Скуратова нарочно подсунула Бабуриной...

Наташа яростно застопорила, врезаясь в снег ребром лыжи, разом повернувшись поперёк лыжни.

– Что-о? Подсунула?!

Чудинов тоже стал. Заговорил отрывисто:

– Если нет, я вам верю, перемажьте ей. Вот мой совет. – Он выхватил из кармана секундомер. – Что делать! К чёрту арифметику. Честь дороже. Наверстаете.

За ними всё ближе и ближе прозвучало:

– Лыжню!.. Лыжню!..

Наташу обошли одна за другой две лыжницы «Радуги». Приблизжалась и Алиса. Наташа и Чудинов, не выдержав, побежали изо всех сил навстречу ей. Алиса шла, с трудом волоча лыжи, на которых уже налипло немало снега. У неё были слёзы на глазах, когда она увидела Наташу и Чудинова.

– Вот... Поверила Тюлькину, а мне нарочно... Наташа почти кинулась на неё, сердито и торопливо стаскивая Алису с лыж.

– Болтаете зря. Перемазывайте быстро! Алиса, уже ничего не понимая, испуганно и недоверчиво уставилась на неё.

– Где я буду перемазывать, чем?

– А вы не разговаривайте много, – распорядилась Наташа. – У меня запасная с собой, по-нашему, по-охотничьему. Ну, быстро!

– Я уж и так из графика вышла, – чуть не всхлипывая, сказала Алиса.

– Сколько мы теряем? – спросила Наташа.

– Пятьдесят две, – сообщил, глядя на секундомер, Чудинов. – Не тратьте вы зря времени, управляйтесь живее.

– Ладно, – проговорила Наташа, уже выдернув из-под Алисы лыжи. – Берите ваши пятьдесят две, только живо. Вы не думайте, я вам уступать не собираюсь. О кубке забочусь, чтобы не проиграть из-за вас. Степан Михайлович, отойдите, прошу, а то скажут, правила нарушаем, вон контролёр смотрит. – Она быстро поскоблила ногтем лыжу Бабуриной, понюхала. – Да они кремом каким-то у вас намазаны. Поняла все... Это Дрыжика крем. Он мне всучил. Тюлькин ваш перепутал или нарочно – думал, хитрю.



Она уже давно вытащила из-за пазухи ладанку, мгновенно отрезала ножичком брусок, чтобы не остыл на ветру, согрела дыханием, сунула полбрусочка в руки Алисы, и обе они принялись, словно наперегонки, перемазывать очищенные от снега лыжи.

– По-охотничьи, – торопливо пояснила Наташа, – как отец учил. Наши так всегда носят, тёплую. Степан Михайлович, вы время-то засекали, время говорите. График весь полетел.

– Давайте, Наташенька, давайте! – торопил Чудинов. – Тридцать секунд... Тридцать пять... Алиса, торопись, кубок трещит... Сорок... Ну, быстрее, быстрее...

Их обходила одна из лыжниц «Маяка». Ничего не понимая, она оглядывалась и даже стала притормаживать.

– Не оглядывайся! – в один голос закричали Наташа и Чудинов.

Секундомер назойливо тикал, гоня мелкими толчками стрелку по кругу.

– Сорок пять... – считал Чудинов, – сорок семь... Копухи вы обе! Марш!

Смазка была закончена. Алиса ловким движением закрепила лыжи на ногах, попробовала скольжение и, словно птица, получившая волю, рванулась вперёд, будто и позабыв про Наташу. Наташа возмущённо обернулась к Чудинову.

– И правильно! – крикнул тренер, толкая её в плечо. – Каждая секунда на счету! Потеряли ведь в сумме свыше полутора минут... Опять засиделась на старте. Марш!

Наташа заскользила по лыжне.

– Вперёд! «Лёссе алле» – дайте хода, как на турнирах говорили.

– Не обойти мне её теперь, – через плечо бросила Наташа.

– Обойдёте! Уж теперь злости-то у вас хватит!

И Наташа унеслась вдогонку за Алисой. Чудинов сделал несколько шагов, чтобы взять разгон и последовать за ними, но вдруг боль, уже нестерпимая, такая, какой он несколько лет не испытывал, словно раскроила ему колено. Со стоном он ничком повалился в снег, сцепившись пальцами в сухожилие под коленом.

## Глава XVIII

### Финиш

*Обнявшись крепче двух друзей...*

*М. Ю. Лермонтов*

Контролёр с дистанции сообщил мне обо всём, что произошло на третьем километре. Он только ничего не сказал о Чудинове, так как тот упал уже за возвышенностью, скрывшей его от судьбы. Я поспешил через микрофон известить всех зрителей, что Скуратова, самоотверженно задержавшись, помогла Бабуриной перемазать лыжи по местному охотничьему способу. Правда, это позволило Гвахарии и

Валаевой из «Радуги» обойти обеих лыжниц «Маяка». Теперь у «Радуги» были все шансы отыграть почти уже потерянный кубок.

Трудно передать, что происходило на трибунах. Весь стадион кипел. Башлычки так и подпрыгивали над своими местами. Катюша, уткнувшись головой в колени Таисии Валерьяновны, колотилась о них клубочком, так что кисточка на нём отчаянно металась... Вскоре появился и запыхавшийся, весь в угле, Сергунок.

– Таисия Валерьяновна, тётя Тася, а зачем же она остановилась? Ведь её теперь все перегонят? – сокрушались малыши.

Таисия Валерьяновна старалась приподнять за кончик башлыка голову Катюши, нагнувшись к ней. Успокаивала ребят:

– Что делать, ребятки, нужно было. Дело по совести идёт. Вам этого ещё не понять.

– Нет, понять! – твердил Сергунок. – Это она по чести сделала. Нарочно так поступила, да? Ведь она ещё догонит, да?

Никита Евграфович тёр своей шапкой голову:

– Решила верно, по-нашему. Только бы ещё московскую ей теперь обойти, а то это уж чистое расстройство.

– Нет, Бабурину не обойдёшь, – усомнился Савелий. – Чемпионка же.

Мать и та качала головой:

– Эх, перемудрила Наташенька!

– А ты обожди! – прикрикнул на неё Скуратов. – Обожди гудеть-то!

Выбираясь с трибуны, посрамлённый Тюлькин столкнулся в проходе с Дрыжиком. Парикмахер был заметно обеспокоен.

– А-а, гигиена, – зашипел зло Тюлькин, – мазь-перемазь! На тебе твой крем-брюле! Только людей путаешь, черт! – И он швырнул в сердцах наземь банку, выхваченную из кармана.

Дрыжик с достоинством отстранился:

– Я бы попросил, во-первых, вести себя культурно, а во-вторых, при чём тут мазь? Это же от обмороживания мой состав. Крем особый, для сохранения внешности на случай сильного мороза.

Тюлькин медленно разинул рот. У него не сразу восстановилось дыхание, словно под вздох ударили...

– И вообще, попросил бы, – продолжал Дрыжик и извлёк из кармана перочинный нож. Он открыл его и шагнул к Тюлькину.

Тот поспешно отступил:

– Но-но, легче, ты! В уме, что ли, тронулся?

– Если не ошибаюсь, ваш? – Парикмахер протянул Тюлькину забытый у него ножик. – Весь ржавый дали, штопор в первой же пробке увяз, так и остался. Натэ, получите!

Он хотел швырнуть нож наземь, но нечаянно сдвинул лезвие, нож закрылся и, словно рак, ущемил палец парикмахера. Дрыжик запрыгал, трясая рукой. Нож отлетел в сторону.

Как они шли! Километр за километром приближались обе соперницы по огромному кольцу трассы к желанному финишу. Сообщение за сообщением получал я по телефону с этапов лыжни и тотчас передавал через микрофон всем зрителям на стадионе. И сообщения эти ещё больше будоражили болельщиков, ибо уже к седьмому километру Алиса Бабурина и неуклонно шедшая вслед за ней Наташа Скуратова обошли других конкурентов, оставили их позади себя, выправили график, вошли в него, укладываясь пока что в великолепное время. Да, это была головокружительная гонка! Восьмой километр проходил через труднейший участок дистанции. Здесь требовались не только скорость и сила, но и искусное владение техникой горнолыжного хода, умение стремительно брать подъем, миновать препятствия, резко ломая лыжню. Здесь Наташа чувствовала себя хозяйкой. Там, где Алиса сбавляла ход, она шла на полной скорости. На подъёмах, которые Бабуриной приходилось брать максимальным усилием, уральская гонщица вымахивала своим неизменным широким шагом. Она уже почти поравнялась с соперницей. Но последние полтора километра гонки проходили по равнине. Этот этап был весьма благоприятным для чемпионки. Алиса Бабурина недаром славилась своим ходом по ровной местности. На стадионе уже увидели показавшихся вдаль гонщиц. Наташа шла вплотную за Бабуриной. Алиса не уступала. Она отчаянно работала руками, старалась вложить всю силу в каждый толчок палкой. Наташа неумолимо шла за ней по пятам своей упрямой, лёгкой, широкой поступью. Я хорошо их видел обеих в бинокль. Мне хотелось крикнуть навстречу:

«Ну, Наташенька, родная, покажите сейчас свой характер! Даром, что ли, вас Степан гонял! Ну, милая!..»



Я не имел права обнародовать свои симпатии. Я обязан был оставаться беспристрастным. Я рассказывал в микрофон, а голос мой, как неотступное эхо, возвращался ко мне со всех сторон из репродукторов:

– Бабурина начинает свой обычный бурный заключительный спурт. Она делает рывок, который не раз приносил ей победу. Но молодая зимогорская лыжница не отстаёт. Феноменальная выносливость и отличная техника!

Я хорошо видел в бинокль, что Наташа идёт уже буквально на плечах у чемпионки. Я видел по движению её губ, что она требует дать ей дорогу.

– Лыжню!..

Но Алиса не уступала. Опытная гонщица, она действовала сейчас очень хитро. Она не позволяла настичь её совсем, как говорится, сесть на лыжи. Тогда надо было бы сворачивать, уступать, иначе это расценивалось бы как грубое нарушение правил и спортивной этики. Нет, она сохраняла разрыв, заставляла Наташу, если той угодно, обойти её по целине и всё время держала соперницу на некотором расстоянии за собой. Сделав свой внезапный, как всегда, излюбленный рывок, столько раз приносивший ей решающую победу, Алиса и на этот раз была уверена, что не ожидавшая этого тактического броска соперница окажется сразу далеко позади. А пока она будет пытаться сама повторить такой же резкий настигающий бросок, чемпионка пересечёт линию финиша.

Низкое зимнее солнце посылало уже по-вечернему косые лучи. Чёткие тени лыжниц, скользившие по равнине, были длинны и синеваты. И тень упрямой зимогорской гонщицы неотступно неслась вслед за чемпионкой. Солнце светило в спину лыжницам. Тень Наташи, опережая её, почти уже доходила до креплений лыж чемпионки, она подползала, упрямо настигая...

Когда Алиса сделала свой знаменитый рывок, Наташа на секунду растерялась. Она не ожидала, что у соперницы, которая казалась уже вымотавшейся, окажется ещё столько сил. Надо отдать справедливость Бабуриной, шла она великолепно. Идя вплотную вслед за ней, Наташа невольно любовалась бурным темпом и самоотверженным рвением, которые проявляла чемпионка. Да, недаром предупреждал её во время тренировок Чудинов. Бабурина была опытной гонщицей и умела

отдать все свои силы, вложить всю себя, весь свой темперамент в одно – в скорость.

Пришлось теперь и Наташе выкладывать весь остаток сил. Я это видел хорошо по выражению её лица, не опуская бинокля. Мне известно было по многим рассказам знакомых гонщиков состояние, в котором была сейчас Наташа. Только бы скорее наступил желанный покой, только бы скорее пришло это «потом». Наташа подгоняла, как ей казалось, время, понукала его, что есть силы выгребая палками в потоке мгновений, бурно нёсшихся навстречу ей. Но это было её собственной скоростью, которую она сейчас уже плохо осознавала. Она уже видела себя там, за желанной чертой финиша, за синей тенью от арки на снегу. Она была там всем рвением, всей волей и неистовой жаждой раньше всех достичь финиша. Но её ноги с лыжами, именно ноги с лыжами, были ещё тут, и надо было подтащить их как можно скорее туда и пересечь ими черту, синюю тень на снегу...

На трибунах все встали. Башлычки визжали и подпрыгивали. Доносился отчаянный крик Сергунка. Он яростно топал ногами и подскакивал на месте...

– Ещё, ещё... Тётя Наташа, скорее!

– Ой, Наташенька, девонька, голубушка, уважь напоследок! – причитала мать уже во весь голос.

– Дочка-а! Не срами ты меня. Вытяни маленько. Поднапри, милая!..

Все стояли на трибунах. Громовые валы возгласов, просьб, понуканий и заклятий катились по стадиону. Сергунок вскочил, стуча сжатыми кулачишками по плечам сидевшего впереди болельщика, но тот словно и не чувствовал...

Я видел, что Алиса делает невероятные усилия, чтобы удержать хотя бы небольшой просвет между собой и Наташей. Алиса умела ходить на пределе, и сейчас все её силы, и физические и душевные, были брошены на лыжню, в эти десятки метров, завершающие бег.

И вот тут под оглушающий рёв трибун Наташа непостижимым образом, сильно согнувшись, сделала бросок. Она оттолкнулась и в мощном одновременном упоре обеих палок, почти летя по воздуху, на самых последних метрах поравнялась с чемпионкой, и они лыжа в лижу, плечом к плечу пронеслись одновременно над чертой финиша.

Кажется, я обо всём этом сказал через микрофон. Я сам себя не слышал, такой рёв стоял вокруг. Обе чемпионки (да, да, они обе теперь были чемпионками страны!) исчезли в толпе окруживших их фоторепортёров, кинооператоров, спортсменов. Сзади суетился, подпрыгивая, чтобы как-нибудь через головы стоявших впереди сфотографировать победительниц, Донат Ремизкин. Оркестр играл туш.

– Внимание! – сказал я в микрофон, выпив целый стакан боржома и вытерев платком взмокший лоб и шею под воротником (досталась и мне эта гонка!). – Внимание! – сказал я. – Итак, финальная лично-командная гонка на десять километров для сильнейших лыжниц окончилась победой двух основных претенденток на первенство: Алисы Бабуриной – общество «Маяк», Москва, и Натальи Скуратовой – «Маяк», Зимогорск. Они обе стали всесоюзными чемпионками, показав великолепное до одной десятой доли секунды сошедшееся у обеих время. Тридцать восемь минут две секунды – превосходный результат. Неоднократная чемпионка страны Бабурина никогда ещё не показывала такого времени. Ей пришлось напрячь все силы, мобилизовать всю свою изощрённую технику, чтобы выдержать борьбу с молодой, но уже блестяще себя зарекомендовавшей уральской лыжницей Скуратовой, которая прошла всю дистанцию на большой скорости, показав незаурядную технику. На третьем месте оказалась Ирина Валаева, «Радуга», город Киров, четвёртый результат по времени показала Мария Богданова, тоже молодая, но чрезвычайно выросшая лыжница зимогорского «Маяка». Таким образом, хрустальный зимний кубок спартакиады уже обеспечен теперь «Маяку».

Прежде чем победительниц окружила толпа почитателей и корреспондентов, я всё же успел заметить, как Алиса, одновременно с Наташей миновав линию финиша, зашаталась, почти падая ничком... Она так устала, что ей невольно пришлось повиснуть на плече Наташи, иначе она бы не удержалась на ногах. Она была в полном изнеможении. Руки с палками висели ниже колен, у неё не было сил разогнуться. А Наташа, пожирая её взором, в котором сквозь пелену огромной усталости все ещё просвечивал огонь неукротимого спортивного упорства, сама была не в силах оттолкнуть её или отойти.

Они стояли с подламывающимися от усталости коленями, не имея возможности оторваться друг от друга, как это бывает с боксёрами, попавшими на ринге во взаимный клинч. А вокруг цыкали затворы фотоаппаратов, безжалостно били в глаза молниеносные вспышки рефлекторов, и я уже представлял себе, как завтра в газете появятся снимки с короткими подтекстовками, объясняющими, что две чемпионки обнимают друг друга, поздравляя с победой... Потом осторожно, но настойчиво высвободившись из объятий Алисы, Наташа, как всегда прямая и словно неспешная в движениях, прошла мимо аплодирующих трибун, широко и плавно скользя своим просторным, невозмутимым шагом.

– Королева, – сказал кто-то в толпе, любуясь ею.

– Хозяйка, – поправили сзади. – Белой стези хозяйка.

Но где же, где был Чудинов? Тщетно просматривал я ряды трибун и группы сидящих репортёров и спортсменов у финиша – нигде не было Степана. А ведь сейчас наступил тот момент, о котором он, вероятно, давно уже мечтал.

Да, пусть Наташа не обошла Бабурину, но она великодушно помогла ей в тяжёлую минуту и пришла с ней вровень. Она не дала вырваться грозной чемпионке, она поделила с ней славу, победу и звание первой лыжницы страны. Вот они поднимаются вместе, только что бывшие непримиримыми соперницами на лыжне, а сейчас две сестры по славе, две чемпионки – Алиса Бабурина и Наталья Скуратова. Наталья Скуратова и Алиса Бабурина. Они поднимаются на вышку почёта, на которой выведена цифра «1». И гремит музыка, и реет над ними, поднимаясь на мачте, голубое с алой башней, мечущей снопы золотых молниеподобных лучей, знамя «Маяка». Уже несут хрустальный кубок, выигранный теперь у «Радуги». И сам Ворохтин, возвышаясь над толпой, огромный, необычайно величественный сегодня, вручает сверкающий почётный приз Короткову, представителю «Маяка». Наступает последняя минута спартакиады. И радио возвещает на весь стадион, торжественно притихший: «Чемпионкам Советского Союза по лыжам Бабуриной и Скуратовой спустить флаг».

И снова вместе подходят они к высокой красной лакированной мачте и вместе берутся за верёвку. Наташа запрокинула голову и глядит на медленно скользящий вниз алый флаг. А Алиса смотрит

хмуро и сосредоточенно прямо перед собой, перебирая руками снасть. И теперь, когда всё кончилось и официальная церемония позади, Алиса стремительно протягивает руку Наташе. Нет, не так торжественно официально, как там, когда стояли на вышке почёта, а порывисто и даже чуточку неуклюже. Она хочет что-то сказать, но у неё бессильно расползаются губы, и, отвернувшись, она внезапно отходит.

А Наташа в это время уже ищет глазами вокруг себя, смотрит на трибуну, на дорожку. К ней подбегают ребята, лезут под руки, прижимаются. Со всех сторон она окружена их башлычками. Подходят отец, мать, проталкивается сквозь толпу Савелий. А она все оглядывается беспокойно и уже рассеянно подставляет щеку матери...

– Товарищи, а где же Степан Михайлович?..

И через пять минут мы мчимся на аэросанях по равнине, где только что разыгрывалась гонка, въезжаем в тот перелесок, который не позволил Чудинову подоспеть на аэросанях к нужному пункту дистанции. Сейчас у нас есть возможность объехать мешавший крутогор с лесочком. Аэросани наши оставляют за собой искрящийся хвост снежной пыли, несутся вдоль лыжни.

Вот и третий километр.

Чудинов сидит на бугре, туго завязывая колено носовым платком. С контрольного пункта из-за холма радио доносит из репродуктора музыку, которую ещё передают со стадиона. Значит, Чудинов уже слышал обо всём.

Водитель резко тормозит аэросани, останавливаясь у края овражка, мешающего подъехать прямо к лыжне. Я выскакиваю на ходу, за мной Наташа, прихватившая доверенный ей Коротковым хрустальный кубок. Вываливается через борт аэросаней, плюхаясь в снег, Сергунок, увязавшийся за нами. Он разом проваливается в глубокий сугроб. Наташа сует кубок в руки оторопевшему Сергунку, чтобы тот подержал пока приз, и бежит к Чудинову. Я обгоняю её.

– Степан! Дорогой! Поздравляю! – кричу я ещё издали. – Новая чемпионка пополам со старой, и кубок дома!

Чудинов делает вид, что его сейчас занимает главным образом боль в ноге.

– Вот, понимаешь, растянулся не вовремя! Но дело сделано. Теперь уж можно и без меня.

Оттолкнув меня в сторону, так что я невольно сел в сугроб, прямо в снег перед Чудиновым бросается на колени Наташа. Я понимаю, что мне тут сейчас, собственно, делать нечего, встаю и отряхиваюсь. А Чудинов смотрит на опустившуюся подле него Наташу. Глаза у неё запавшие, усталые, но такие благодарные!

– Спасибо, Наташа, – просто говорит Чудинов и вдруг неожиданно, порывисто и неловко целует ей руку, которую она положила ему на плечо. И не отпускает, придерживает её кисть своей щекой.

Оба они одновременно бросают взгляд в мою сторону. Но я отряхиваюсь. Мне снег попал за шиворот, мне сейчас не до них. Я им всячески доказываю это, старательно выгребая из-под воротника белые тающие комочки.

– А вы не сердитесь, что я так и не обошла?

– Наташа, – слышу я голос Чудинова за своей спиной и вычищаю снег из ботинок, – ведь фактически вы же победили. Вы её выручили, это всё понимают. А вы ещё будете так ходить!

– Ну, всё-таки время я могла показать лучшее.

– К чёрту время! К чертям секундомер! Меня сейчас это не интересует... Молодец вы. Спасибо!

– Это вам спасибо, – совсем тихо проговорила Наташа. – Я же знаю, Степан Михайлович, что без вас... Это же вы меня вытащили, вы вернули к жизни...

«Так, – подумал я, – сейчас начнётся».

И действительно, Чудинов быстро сказал:

– Ей-богу же, это недоразумение, Наташа! Право же, это не я вас тогда...

Наташа досадливо перебила его:

– Да не о том я. Не понимаете?.. Вы же меня заставили снова поверить в себя, вернули на лыжню.

– Наташа, – ещё тише проговорил Чудинов, – я вам давно хотел кое-что сказать, но решил уж после состязаний...

– Опять что-нибудь насчёт подколенного угла или голеностопного сустава? – озорно спросила Наташа.

– Да ну их к лешему! – воскликнул Чудинов и покосился в мою сторону, а потом махнул рукой. – Нет, Наташа, хватит! Я...

Но тут водитель аэросаней внезапно включил мотор, прогревая, и мажорный неистовый рёв его заглушил всё, о чём говорил Наташе Чудинов. Обернувшись к ним, я видел только бесконечно счастливое лицо девушки. Шёл неслышимый для меня разговор, только губы двигались. А глаза у обоих были неподвижны, устремлённые друг на друга.

Водитель несколько поубавил газ. Я почувствовал, что кто-то тянет меня за рукав. Это перебравшийся через сугроб Сергунок попытался обратить на себя моё внимание. Одной рукой в варежке и подбородком он, напыжившись и прижимая к животу, кое-как удерживал тяжёлый, оправленный в серебро хрустальный кубок. На раскрытой, красной от мороза ладони другой его руки я увидел... большую коричневую пуговицу, имеющую форму футбольного мяча с выпуклыми дольками.

– Дядя Карычев, чеперь уже всё можно сказать? – настойчиво шептал Сергунок сквозь зубы, в которых торчала снятая варежка.

Я быстро прикрыл ладонью его растопыренную пятерню:

– погоди минутку, Сергунок.

Поддерживая Чудинова, Наташа вела его к аэросаням. Вот они оба уселись. Наташа виновато оглянулась на меня, потому что места в санях теперь для меня уже не оставалось. Я успокоительно помахал рукой. Загрохотали выхлопы, в размытый радужный круг слились лопасти бешено завертевшегося пропеллера. Нас с Сергунком запорошило алмазной пылью.

И они унеслись.

Я принял из рук Сергунка тяжёлую хрустальную чашу в серебре. Им там обоим, на мчавшихся по снежной долине аэросанях, сейчас было уже не до приза...

А Сергунок все протягивал мне на ладони пуговицу.

– Ну чего же, дядя? Ведь теперь можно уже сказать... как мужчина мужчине. Вы же сами обещались... Я же уговор сдержал. Теперь уже всё кончилось?

Я поглядел вслед серебряному вихрю, который уносился к белому горизонту, оглашая всю округу громом и сея осколки радуг.

– Нет, Сергунок, по-моему, сейчас только все и начинается.

*(Конец рукописи Евгения Карычева.)*

## Эпилог

Теперь вы знаете, о чём рассказывал в своей повести Евгений Карычев.

Я увёз его рукопись в своём чемодане, поспешая на Белую Олимпиаду в Италии. По дороге, в вагоне, я ещё раз перечитал её, и оставшиеся в ней неясности ещё более раззадорили меня. Но я не сомневался, что предстоящая встреча с Карычевым рассеет все сомнения...

Вы, вероятно, помните, как проходили в Доломитовых Альпах зимние Международные олимпийские игры, и нет нужды ещё раз подробно рассказывать здесь обо всём, что довелось нам увидеть на безукоризненной ледовой глади горного озера Мизурина, на зеркальном, залитом потоками электрического света поле олимпийского стадиона в Кортина д'Ампеццо, на знаменитом лыжном трамплине «Италия», на крутых склонах Доломитов, где флажки отмечали ворота гигантского слалома, и на лыжне международного Снежного стадиона. Но, как вы понимаете, у меня был свой особый интерес к тому, что разыгрывалось в те памятные дни на белых просторах альпийских заснеженных лугов, над которыми отвесной стеной уходили вверх, к ярко-синему небу, розовые громады Доломитов.

Я с нетерпением ждал событий, которые должны были составить содержание последней, ещё не дописанной главы повести Евгения Карычева.

Как известно, эта зима в Западной Европе была на редкость снежной. Виноградники Италии и Прованса оказались погребёнными под сугробами. Снежный буран гулял по Европе. Когда мы попали в Рим, «вечный город» предстал пред нами таким, каким его никогда не видели и сами итальянцы. Толстый слой снега укутывал пальмы в садах Пинчо и Боргезе на древних холмах. Вьюга свистела в каменных пролётах Колизея и свивалась в метельную воронку, крутившуюся в старинном амфитеатре. Перед собором Святого Петра ватиканские монахи играли в снежки. Призрачные снежинки роились в сумраке Пантеона, проникнув через круглое отверстие в куполе, и таяли на



старинных плитах, своей скоротечностью как бы подчёркивая невообразимую долготу веков, память о которых хранили эти стены. Замёрзли венецианские каналы, и дворцы, лишённые отражения, словно осели по пояс в камень набережных. Свирепые белые вихри шатались по дорогам Европы, замечая их. Тысячи машин застревают в заносах, и в газетах, которые я читал по дороге, когда наш поезд часами простаивал на занесённых перегонах, острили, что Королева русских снегов явилась на Олимпийские игры, стеля за собой через всю Европу белый шлейф метели...

Королевой русских снегов звали теперь за границей Наталью Скуратову. Мне уже было известно, что после драматического эпизода на трассе в финальной гонке в Зимогорске, когда Скуратова поделила звание всесоюзной чемпионки с Бабуриной, Наташе пришлось защищать, как говорят физкультурники, спортивные цвета нашей Родины на международной лыжне. Она выступала в Норвегии, ездила в Финляндию и везде оказывалась первой. Имя Скуратовой уже за год до Белой Олимпиады стало широко известно в Европе. В газетах её называли Королевой русских снегов, Звездой белого горизонта, Царицей снежных полей, Хозяйкой зимних троп, Владычицей белых долин, Сводной сестрой уральских метелей, Приёмной дочерью сибирских вьюг и Грозной подругой российских буранов.

Как только её не называли в европейской спортивной печати, падкой на пышные обобщения!

Но нам было не до этих роскошных эпитетов. Застревая чуть ли не перед каждой станцией в заносах, мы проклинали увязавшуюся за нами пургу, по милости которой могли опоздать к самым интересным состязаниям. Чем ближе подъезжали мы к центру Белой Олимпиады, тем сильнее ощущалось, с каким нетерпением ждут на большом Снежном стадионе у Кортина д'Ампеццо гонки лыжниц на десять километров. Во всех газетах, которые попадались нам по пути, видели мы портреты Скуратовой и крупные заголовки, возвещавшие, что Хозяйке снежных Уральских гор предстоит сейчас встретиться с сильнейшими гонщицами мировой лыжни – со знаменитой Марлен Доггерти из Канады, Терезой Гранберг из Австрийского Тироля, Эрной Микулинен – чемпионкой Финляндии и грозной победительницей норвежских снегов Ирмой Гунгред. Участвовала в этой гонке и Алиса Бабурина, целый год не выступавшая на лыжне

после розыгрыша кубка в Зимогорске, но недавно снова начавшая тренироваться и показавшая на отборочных соревнованиях в Кирове хорошее время – менее 38 минут.

Пятьдесят лучших лыжниц всего света готовились оспаривать на лыжне, проложенной в Доломитовых Альпах, звание Олимпийской чемпионки и лавровый венок чемпионки мира, так как Международная лыжная федерация объявила, что считает состязания на Белой Олимпиаде одновременно и розыгрышем мирового первенства.

«Гунгред!.. Бабурина!.. Гранберг!.. Скуратова!.. Микулинен!.. – кричали заголовки в газетах, которые расхватывались на станциях пассажирами, спешившими на Олимпиаду. – Микулинен!.. Гунгред!.. Скуратова!..»

Длинные и усыпляющеважкие автобусы-пульманы знаменитой туристской фирмы «ЧИТ», на которые мы были пересажены у пограничной станции, мчали нас по альпийским дорогам в Кортину. За окном мелькали над пропастями рекламные щиты, на которых змеевидные девушки, приподняв юбки до подвязок, демонстрировали преимущество нейлоновых чулок, шестилапый чёрный пёс исторгал пламя из пасти, опившись бензином своей марки, а вездесущая диннерская фирма «Эссо» возвещала, что она готова обслужить автомобилистов и обеспечить их всем необходимым в любом уголке мира, на любом уровне высоты над морем...

Потом мы промчались под повисшими над шоссе пятью огромными цветными кольцами, сплетёнными в известную эмблему олимпиады. Гирлянды этих колец стали появляться всё чаще и чаще. Уже чувствовалось, что мы близки к своей цели, что совсем уже недалеко до центра Белой Олимпиады. И вот молодой бородатый альпинер с длинным пером на зелёной шляпе поднял шлагбаум, мы влились в поток автомобилей, устремлявшихся к Кортине со всех дорог, сходящихся тут, и вскоре оказались в самом центре гигантского и весёлого циклона, задувавшего в те дни среди Доломитовых Альп и вовлёкшего в свою головокружительную воронку десятки тысяч людей, влюблённых в спорт.

Едва наши затёкшие от долгого сидения ноги коснулись снега, мы почувствовали, что уже и сами втянуты в этот пёстрый и бесшабашный вихрь.

Нестерпимая белизна альпийских снегов слепила глаза даже через дымчатые очки, которые пришлось немедленно надеть. На тесных нарядных улочках Кортины, между старинной колокольней-кампанилой и жёлтыми, белыми, зелёными отелями шумела, бурлила, смеялась, запевала незнакомые нашему слуху песни, перекликалась на всех языках мира интернациональная толпа. С трудом пробирались в ней, сверкая цветным лаком на солнце, длинные лимузины, из окон которых брехали на прохожих подстриженные и даже словно как бы завитые собаки диковинных пород. В невообразимом смешения красок, где один цвет соперничал по силе с другим, развевались флаги наций, вымпелы, эмблемы спортивных команд, блестели на солнце витрины с сувенирами, многоцветные значки и гербы на прохожих, на машинах. Частоколом стояли воткнутые в сугробы щегольские лакированные лыжи всех оттенков радуги. Газетчики в ярко-красных куртках и жокейских картузиках неумолчно выкликивали название спортивных газет, сообщали последние новости. «Скуратова!.. Гунгред!.. Микулинен!..» – то и дело повторялось в этих выкриках. Пришепётывая шинами на плитах мостовой, с которой лучи альпийского солнца свели снег, катили автомобили. Весёлый стоязыкий говор звучал на улицах. Плыл в вышине над городком и отдавался в ущельях неспешный, как бы чуждый всем закипавшим тут страстям звон колокола. И прямо над головой у нас отвесно уходили в синее, не по-зимнему яркое, густо-синее итальянское небо розовые кручи и скалы Доломитовых Альп. Три цвета – слепящая белизна альпийских лугов, багрово-розовая стена Доломитов, вставшая над ними, как окаменевшее зарево, и простирающаяся над всем этим неистовая синева южного неба царили в этом удивительном крае. И весь он в миниатюре, но со всеми своими красками, тысячекратно повторялся, изображённый в нагрудных олимпийских значках, горевших на людях, которые окружили нас возле автобусов.

Все здесь были, как видно, заражены забавным поветрием – все весело обменивались нагрудными значками. И едва мы вышли из автобусов, как подбежавшие к нам юноши, девушки и далеко уже не молодые люди бесцеремонно принялись теревить нас за лацканы и отвороты и тут же жестами начали объяснять, что они готовы вступить с нами в меновые отношения. Дело пошло очень ходко. Видимо, советские значки были тут в цене. Мы едва успевали

откалывать, отвинчивать, снимать с себя прикрепленные ещё в Москве значки «Интуриста», эмблемы Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, юбилейные жетоны Московского университета и даже новогодние ёлочные значки Центрального Дома работников искусств... А взамен на нас навинчивали маленькие металлические флажки, веночки, гербы, привезённые сюда из Новой Зеландии, Рейкьявика, Кейптауна и Ньюфаундленда...

Сильное, высоко стоящее над грядой Доломитов альпийское солнце ощутимо грело щеки, несмотря на мороз. Сладко было дышать прозрачным высокогорным воздухом; бодрящая, азартная атмосфера молодой дружбы и рыцарского соперничества сразу же охватила и нас.

Но надо было спешить. Факел со священным огнём опередил нас, и, пока мы пробивались сквозь заносы, огонь, доставленный на военном корабле из Греции в Италию, пронесённый через Рим, проплывший каналами Венеции, поднятый на перевалы альпийскими стрелками и спустившийся в торжественный день открытия спортивных игр в Кортину, промчался в руках лыжников по улицам городка, был подхвачен конькобежцем на ледовой дорожке Олимпийского стадиона и уже несколько дней днём и ночью горел в высокой, плоской чаше светильника, высоко поднятой над стадионом.

Уже состоялись первые встречи хоккеистов, проведены были на склонах Тофаны состязания по гигантскому слалому, уже передавалась из уст в уста весть о победе наших конькобежцев на дорожке озера Мизурина в горах, и на центральной площади Кортины появились первые алые флажки на Доске почёта... Но гонки лыжниц ещё не проводились, и все с нетерпением ждали встречи Королевы русских снегов со знаменитыми гонщицами Европы и Америки. И обступившие нас возле автобусов спортсмены, болельщики, все в ярких джемперах, узких лыжных цветных брюках, сейчас же ввязались в горячий спор с нами о результате предстоящей гонки. И опять зазвучали вокруг нас имена Гунгред, Скуратовой, Микулинен.

Мне необходимо было ещё до гонки встретиться с Карычевым. Но группа туристов, с которой я прибыл в Италию, расположилась в нескольких десятках километров от центра олимпиады, в горном посёлке Доббиако, а спортивной делегации Советского Союза был предоставлен в качестве постоянной резиденции высокогорный отель

«Тре Кроче», что в переводе на русский язык обозначает «Три Креста». И те, кто уже успел посмотреть выступления наших конькобежцев и хоккеистов в Кортина д'Ампеццо, сейчас же поделились с нами ставшей тут популярной остротой, что русские мчатся на гонках и ведут атаки ворот противника на высших кавалерийских скоростях – аллюр «три креста»... А я невольно вспомнил, что в повести Карычева старик Скуратов ставил три креста на особой, заветной фамильной мази, которой он оснастил дочку на финальных гонках спартакиады.

Кстати, как я узнал в тот же день, разговор о русских таинственных и колдовских мазях уже давно волновал олимпийских болельщиков. Здесь прослышали о драматической истории, которая случилась на прошлогодних гонках в Зимогорске. Едва мы прибыли на олимпиаду, нам все уши прожужжали ею. В газетах, так и сяк переиначивая, не скупясь на краски, рассказывали об этом эпизоде. в биографии обеих советских чемпионки. Промелькнули в печати сообщения, что в Европе и Америке изобретены какие-то новые удивительные мази, дающие неслыханное скольжение. Нам показывали даже рекламные проспекты, прославлявшие эти новинки. И всё же разговоры о секретах уральских лыжников не затихали в Кортине. Какая-то правая, реакционная газетка сообщила даже, будто русские столь бдительно охраняют тайны своих мазей, что горные дороги, ведущие к отелю «Тре Кроче», патрулируются особыми отрядами коммунистов... Но мало кто верил этому вранью, и целые дни в отель, где жили советские спортсмены, наведывались лыжники и тренеры разных команд.

Я тоже побывал там в надежде встретиться с Карычевым, но, конечно, не застал его дома. Вообще он был неуловим. Мне говорили в «Тре Кроче», что он отправился на Большой трамплин. Я искал его там, но оказывалось, что он перебрался уже на Снежный стадион. Попав туда, я узнавал, что Карычев помчался смотреть состязание по бобслею. Я спешил к ледяному жёлобу, где с грохотом пролетали санки, управляемые гонщиками в пробковых шлемах, но здесь мне сообщали, что Карычев сейчас уже на Олимпийском стадионе, на поле которого выступали наши хоккеисты.

Словом, я смог увидеть Карычева лишь в памятное утро десятикилометровой лыжной гонки.

О-о, это был действительно Большой День!

С самого раннего утра к Снежному стадиону уже спешили тысячи лыжников-любителей. Все они, молодые и старые, вне зависимости от пола, возраста, национальной принадлежности и мировоззрения, обгоняя друг друга, объятые единой страстью, катили к стадиону. Студенты, финансисты, киноактрисы, католики, республиканцы, правые и левые социалисты, ковбои из Оклахомы, норвежские моряки, австралийские овцеводы, международные ловеласы и старые девы – все решительно были облачены в узкие лыжные брючки, заправленные в толстые ботинки, и в пёстрые куртки с лёгкими капюшонами. И все они скользили на красных, синих, жёлтых, полосатых лыжах вдоль трассы гонки. Многие располагались на разных этапах дистанции, чтобы наблюдать поближе борьбу на лыжне и не платить за вход на стадион, так как администрация в этот день загнула ошеломляющие цены на билеты...

Мы с трудом пробрались на нашем автобусе к стадиону. По дороге нас не раз надолго затирали густые колонны автомашин. Отливая цветным лаком, сверкая выпуклым плексигласом и хромированными частями, неслись к стадиону машины всех марок – на крыше у каждой было укреплено по несколько пар лыж. И машины напоминали мне этим наши знаменитые миномёты «катюши».

Катили переполненные автобусы, красные, жёлтые и ярко-зелёные. Сверху, на крышах, и сзади, на багажных решётках, сидели люди в спортивных куртках и, конечно, с лыжами в руках.

– Австрия едет! – объяснил мне один из наших спутников, тоже лыжник.

В толстых чулках, с зелёными пёрышками на шляпах скользили с гор прибывшие специально на сегодняшнее состязание тирольцы. Мчались на «джипах» румяные плечистые парни в полупальто из белого пухлого драпа с красными гусарскими шнурами и бранденбурами на деревянных пуговицах-бирюльках, в алых шапках из искусственного нейлонового меха.

– Америка двинулась, – поспешил сообщить мне мой осведомлённый сосед.

Размахивая полосатыми жезлами и клетчатými фляжками, с трудом регулируя клокочущий поток машин, пропуская через шоссе целые колонны лыжников, распоряжались на дорогах взмокшие,

охрипшие альпинеры – альпийские стрелки... К началу гонки трибуны Снежного стадиона были плотно заняты зрителями. Нас провели на Центральную трибуну, очевидно предназначенную для почётных гостей. Слева и справа от нас протянулись скамьи с самыми дорогими местами. Здесь была совсем особая публика, обитатели фешенебельного отеля «Маримонте-Мажестик», румяные, вислощекие джентльмены, жевавшие длинные сигары, седоватые сухопарые дамы с клетчатыми пледами на коленях, в тёмных, цвета желчи очках и длинноногие, коротко стриженные девушки, очень похожие на тех, что были изображены на дорожных щитах, прославляющих нейлоновые чулки. Они беспрерывно щёлками фотоаппаратами и жужжали маленькими кинокамерами. Дамы постарше в ожидании начала гонок подставляли солнцу, едва лишь оно проглядывало сквозь облака, свои жёлтые щеки и занимались вязаньем. Тонкие спицы посверкивали в их пальцах, но вязали дамы что-то до такой степени лёгкое, эфемерное и почти невидимое, что я невольно вспомнил о работе портных из знаменитой сказки Андерсена про голого короля.

Мужчины были заняты представительством: они церемонно раскланивались, причём делали это в самой разнообразной манере. Вот один толстяк, подвижной и общительный, пропуская даму, коротко при каждом поклоне приподнимал шляпу по нескольку раз, поблистав на солнце лысиной, будто просемафорив свой привет. Другой, тощий, очень высокий и такой тонконогий, словно он стоял на штативе, медленно отводил шляпу в сторону, держал её в некотором отдалении, как бы считая при этом про себя, и быстро затем надевал её на склонённую плешь, как делает фотограф-пушкарь, приоткрывая «с выдержкой» объектив старомодного аппарата. Третий, обнажив голову, кивал ею несколько раз, склонив набок, и затем вдевал её с виска в шляпу, которую держал полями перпендикулярно к плечу...

Ниже, под центральными местами, и сзади над нами на верхних трибунах шумели, спорили, перекликались болельщики: Уже знакомая триада «Гунгред... Микулинен... Скуратов...» слышалась оттуда.

Флаги тридцати двух наций, участвовавших в Белой Олимпиаде, развевались над Снежным стадионом.

В ложах прессы наперебой стрекотали пишущие машинки, чуточку в стороне слышалось приглушённое бормотание радиокomentаторов, склонившихся над маленькими микрофонами. Commentаторы держали микрофон возле рта шепотью, и издали казалось, что они, что-то урча себе под нос, посасывают мороженое «эскимо»...

И тут я наконец увидел Карычева. Он тоже заметил меня, вскочил за барьером журналистской ложи, перегнулся через него, радостно помахал рукой, а потом показал на своё горло.

– О-о, наконец-то! – сипло крикнул он мне. – А я уж тебе звонил в Доббиако. Надо же нам с тобой потолковать, в конце концов... Понимаешь...

Он совсем захрипел, мотая головой, прокашливаясь.

Я хотел что-то сказать ему, но он заторопился:

– Прости, после поговорим... Слышишь, какой у меня бас профундо? Сорвал, понимаешь, плотку: очень уж вчера болел за наших, когда они американцам в хоккее насажали.

Перескочив через барьер ложи, он быстро спустился туда, где под сенью тридцати двух флагов, бившихся в морозном ветре, уже делали последнюю разминку, пробовали на снегу лыжи выходившие на старт лыжницы.

Я видел, как Карычев подбежал к стройной плечистой девушке, у которой был номер «38». Заглянув в программку, я мог убедиться, что именно под этим номером и идёт «Наталья Скуратова (СССР)».

Я попытался разглядеть её через бинокль. Миловидное чистое лицо её с упрямым, несколько припухшим ртом и ребячливо выпяченными губами дышало здоровьем и каким-то собранным, не показным и даже немного сердитым спокойствием. Огромные, словно настезь распахнутые серые глаза под длинными загибающимися вверх ресницами, на которых оседали пушинки снега, были внимательны и излучали строгий, ровный свет. Не чувствовалось, по крайней мере издали, что она волнуется... Только кончики длинных бровей, слегка приподнятые у виска, нет-нет да подрагивали.

К ней подошёл высокий, спортивной выправки человек в голубом полупальто с белыми буквами «СССР» на груди и пыжиковой шапке. Это была форма спортивной команды СССР. Он едва заметно прихрамывал, но двигался уверенно и чётко. Подойдя к Скуратовой,



он что-то сказал ей, положив руку на плечо с той властной и целомудренной простотой, которая так характерна для отношений, обычно устанавливающихся у нас между прославленными спортсменками и их требовательными воспитателями-тренерами. Скуратова быстро обернулась к нему всем зардевшимся и как будто ещё более похорошевшим лицом и словно обдала его блеском разом подобревших серых глаз. И я хорошо видел через свой сильный бинокль, как она незаметно, украдкой потёрлась упрямым подбородком о его руку, лежавшую у неё на плече.

Я давно уже узнал в подошедшем Степана Чудинова, портреты которого встречал в спортивных журналах. Что-то сказав подошедшему Карычеву, покивав ему, Чудинов, быстро присев на корточки, осмотрел крепление на Наташиных лыжах, заставил её проверить скольжение и отошёл в сторону.

И началась гонка.

Старт давали раздельный, не парами, как тогда, на спартакиаде в Зимогорске, а для каждой лыжницы особо, с интервалами в полминуты. Взлетал над головой толстого голландца-судьи клетчатый, в шахматных квадратах флаг, и очередная гонщица уносилась по трассе мимо трибун. И по мановению судейского флажка стадион каждый раз взрывался рёвом, гулом, топотом. Нестройные хоровые приветствия ещё долго сопровождали лыжницу, умчавшуюся вдаль. Это норвежцы, австрийцы, итальянцы, финны подбадривали своих лыжниц, бравших старт.

И вот в тридцать восьмой раз взлетел шахматный флажок, и гонку начала вышедшая на дистанцию Наталья Скуратова.

Её появления давно ждали на трибунах. Тысячи голосов приветствовали знаменитую советскую гонщицу. Она шла, сосредоточенно набирая скорость, своим широким и сильным шагом. Я не специалист по лыжам, и сам бы Карычев смог написать об этом гораздо лучше, но и мне было видно, как послушно скользят эти узкие лыжи, как все быстрее и увереннее движется мимо трибун ладная фигура лыжницы. Она не убыстряла ритма своих движений, а тем не менее скорость нарастала заметно для глаз. Она как бы раскатывала себя. Это был классический двухшажный попеременный ход, которому научил её Чудинов. Во весь размах шага скользили

послушные ей лыжи. На всю длину руки отводимые назад палки давали мощный поступательный толчок.

– Какой ход! Какой ход! – шептали знатоки.

– Вперёд! Вперёд, Наташа!.. Давай, Скуратова!.. Пошла... Пошла! Даёшь!.. – доносилось с трибун, где голубели спортивные пальто и виднелись пыжиковые шапки нашей команды. – На-та-ша!.. На!.. Та!.. Ша!.. – скандировали болельщики.

А гонщица, то исчезая в низинах, то взлетая на крутизну белых холмов, уносилась всё дальше и дальше от стадиона. Вскоре она потерялась в мутноватом пространстве, которое закрыла завеса медленно опускавшегося снега, редкого, но крупного.

Вообще погода доставила и на этот раз немало волнений участникам гонки и зрителям.

Вчера было очень морозно. И, как мне рассказал впоследствии Карычев, Наташа, посоветовавшись с Чудиновым, остановилась на одной из мазей, изготовленных дома отцом. Наташа упрямо верила в чудодейственные возможности этих охотничьих фамильных составов. Но к утру погода резко изменилась. Тяжёлый войлок низких туч, разматываясь, сползал с альпийских склонов. Потеплело. Воздух стал влажным, замутился. Поверхность снега оттаивала, слёживалась. Лыжи со вчерашней мазью проскальзывали, отдавали назад, лишались упора. Пришлось перед самой гонкой перемазывать. А тут ещё пошёл липкий снег. Все это очень затрудняло гонку и вселяло тревогу в сердца болельщиков.

Дистанция гонки была проложена в виде десятикилометровой восьмёрки, таким образом, что после первых пяти километров, образующих начальный круг, она возвращала лыжниц снова к трибунам. И зрители могли в середине состязания наблюдать непосредственно своими глазами борьбу на лыжне, не довольствуясь только сообщениями по радио.

Кроме того, на исполинском щите, высотой в добрый пятиэтажный дом, всё время передвигались на чёрном пространстве огромные белые номера гонщиц и цифры, показывающие результаты каждой лыжницы на пройденном этапе. Благодаря этому борьба в первой десятке гонщиц, то есть среди наиболее сильных, обошедших по времени других соперниц, разыгрывалась наглядно и на самом стадионе.

Волнение на трибунах нарастало с каждой минутой. Уже взяли старт последние номера. Уже одна четверть дистанции была пройдена основной группой лыжниц. Все смотрели на большой чёрный демонстрационный щит, где появились номера десяти лыжниц, показавших пока лучшее время.

Но номера «38», номера Скуратовой, не было среди них...

Наши болельщики были в смятении. Я видел, что Карычев выскочил и побежал туда, где сидели судьи.

Однако в этот момент произошло что-то непонятное. На чёрном щите, отодвигая вправо все другие номера, впереди, на первом месте, появился номер «38».

Стадион загудел тревожно и насторожённо. Все переглядывались, ничего ещё не понимая. Потом что-то звякнуло в радиорупорах. Все мгновенно замолкли, и в наступившей тишине радио трижды, на трёх языках, от имени судей принесло зрителям извинение по поводу допущенной ошибки. Оказывается, с дистанции сообщили почему-то неправильно время, показанное на первой четверти гонки Натальей Скуратовой... [1]

И тут же стадион взволнованно зарокотал, увидев приближающуюся теперь уже с другой стороны, мелькающую за соснами фигурку лыжницы с номером «38» на груди. Вот она вылетела на крутой склон, убыстряя и без того ураганный ход энергичными действиями рук и палок, стремглав скатилась на прямую, ведущую к трибунам.

Все ахнули, ибо Скуратова уже обошла не менее двенадцати своих предшественниц, стартовавших до неё. А среди них было немало прославленных международных, гонщиц. Правда, тут же показалась у трибун маленькая коренастая фигурка Микулинен, которая стартовала под номером «36». Она тоже обошла многих своих предшественниц и, мчась в своей привычной низкой стойке, как бы настигала Скуратову.

Лыжницы проносились одна за другой мимо трибун, на которых не затихал чудовищный гомон, и устремлялись на второе пятикилометровое кольцо восьмёрки. Прошла, значительно опередив других, бросив за собой многих шедших под меньшими номерами, Гунгред. Промчалась и Алиса Бабурина. Она шла с отличным временем. Ей удалось обойти уже семь своих предшественниц. Глядя

на её гибкую, нервную фигурку, уносившуюся вдаль, невольно любуясь её стремительным ходом, я, признаться, подумал даже, что зря, пожалуй, придирался к ней Чудинов...

На стадионах затихло. Тикали лихорадочно секундомеры в руках у болельщиков и судей. Двигались стрелки на огромных демонстрационных часах. На Большом щите смещались белые скользящие цифры. Они уже показывали время, которое понадобилось лучшим десяти гонщикам для того, чтобы пройти первые пять километров.

Там теперь уверенно стоял в первом квадрате номер «38» и под ним белела цифра «17». Это был результат Скуратовой. За 17 минут прошла она половину дистанции. Самая грозная её конкурентка, Микулинен, показывала 17 минут 25 секунд. Значит, были все основания надеяться, что Наташа будет победительницей. Ведь, в сущности, полдела было уже сделано. Половина дистанции пройдена, и Скуратова пока что имела лучший результат.

Но делать выводы было ещё преждевременно... Внезапно на щите поползли вправо все цифры, уступая первый квадрат номеру «44». В чём дело? Что случилось?.. Это был номер Бабуриной. Да, оказывается, именно она, как теперь выяснилось, показала самое лучшее время на первой половине гонки – 16 минут 46 секунд. Стадион то гремел овациями, то замирал стихая.

Мы так волновались всё, что не заметили даже, как уже давно разошлись облака и небо над нами просквозило всей своей пронзительной южной, итальянской синевой. Над белыми альпийскими склонами в воздухе, вернувшем свою прежнюю прозрачность, заалели рыжие отвесные пики Доломитов, залитые прорвавшимся солнцем. И всё наполнилось вокруг праздничной пестротой красок, цветных костюмов, национальных флагов, рекламных щитов. Все как будто готовилось встретить победительницу во всём торжественном сиянии славы.

Но лыжницы, ведшие свою гонку в этом пёстром, дышащем всеми надеждами мира пространстве, почувствовали, как ухудшается катастрофически скольжение лыж. Профанам это было невдомёк. Но знатоки понимали, что погода может сейчас спутать все карты на лыжне.

Вот тогда Наташа Скуратова и сделала то, о чём потом долго ещё писала вся международная спортивная печать. Она остановилась, чтобы заново перемазать лыжи по охотничьему способу, как её учил отец, чью ладанку с запасной мазью она прятала на груди под курткой.

Когда весть об этом дошла по радио до трибун, поднялся неистовый шум. Стадион был потрясён. Решиться хотя бы на кратчайшую остановку во время такой гонки, когда по пятам наступают грозные конкурентки, могла лишь лыжница, очень уверенная в себе, владеющая ещё огромным запасом сил.

Королева русских снегов сделала рискованный ход! Вот на демонстрационном щите номер её – «38» – передвинулся на третье место, уступив первые два Бабуриной и Микулинен. Вот опять произошла передвижка на щите, и Скуратова оказалась уже лишь на четвёртом месте... Вперёд вышли Микулинен, Гунгред и немножко отставшая от них Бабурина.

Я разыскал глазами в ложе прессы Карычева. Он сидел бледный, вцепившись одной рукой в барьер, вперив мрачные глаза вдаль, откуда должны были уже довольно скоро появиться лыжницы.

Стадион молчал. Напряжённая тишина длилась, казалось, очень долго. Высились над нами равнодушные ко всему шафрановые громады Доломитов с острыми фиолетовыми тенями в расщелинах. И почти неподвижно висел над снежной долиной, где проходила трасса гонки, похожий на алого кузнечика вертолёт наблюдателей. Потом он вдруг взвился резко и, жужжа, поплыл к флагам стадиона.

Радио на трёх языках известило, что передовые гонщицы выходят на последний спуск.

Мимо трибун уже прошли несколько лыжниц, первыми начавшие сегодняшнюю гонку. Они были не в счёт. По времени они уже не могли соперничать с группой претендовавших на первое место. Прошла минута, другая, и мы увидели вдали основных конкуренток. Впереди шла неоднократная чемпионка мира Микулинен, за ней, слегка поотстав, брала подъем Бабурина. Неподалёку от Алисы виднелась Гунгред. Лыжницы заметно сбавили темп. Тяжёлый снег задерживал скольжение.

Скуратовой не было видно.

И сразу вдруг все вокруг нас задвигалось, заговорило, загудело. Там, вдали, появилась быстро двигавшаяся фигурка, которая приближалась к подъёму. Внезапно переменив широкий скользящий шаг на короткий, пружинистый бег, она с поразительной лёгкостью одолела крутой подъём. Тотчас же у всех на глазах она стала настигать трёх шедших впереди лыжниц, по-видимому уже утомлённых тяжёлым подъёмом, который они взяли, тщетно пытаясь, как говорят лыжники, накатиться.

А дальше начинался крутой спуск с поворотом, настолько крутой, что шедшие впереди гонщицы из осторожности сбавили ход и шли, как говорят лыжники, «плугом»: они приседали, для устойчивости слегка разводя задки лыж углом, чтобы сохранить равновесие и избежать падения, вполне возможного на такой крутизне.

Теперь уже хорошо было видно через бинокль, как лыжница под номером «38» не только не сбавляет хода, но идёт бесстрашно по этому крутому спуску, словно по равнине, на полной скорости. В головокружительном скольжении вылетев с поворота на последнюю прямую, она стала обходить Гунгред.

Вот она оказалась уже за спиной Бабуриной.

Только грозная Микулинен была ещё впереди и казалась недостижимой.

– Ура!.. Ура!.. Скура...това!.. – кричали вокруг нас со всеми интонациями, которые возможны в языках, которыми изъясняется человечество. – Ура! Ура!.. Скура...това!..



Микулинен, напрягая все оставшиеся силы, одновременно отталкиваясь обеими палками, судорожно дыша полуоткрытым ртом, мчалась уже мимо трибун, когда на последних десятках метров её настигла Скуратова и недалеко от линии финиша на пол-лыжи обошла.

Валясь от страшного утомления, но все ещё прядая вперёд, она почти упала на руки подоспевшего Чудинова, припав виском к его плечу. Он бережно отвёл её в сторону от лыжни, и она лишь через минуту, устало подняв голову, заглянула ему снизу в лицо.

В азарте мы и не учли, что Скуратовой, собственно, не нужен был этот последний рывок. Она же вышла на два номера позже Микулинен, и, значит, судьба гонки решилась уже за несколько минут до того, как лыжницы показались на дорожке у трибун. Но, должно быть, и Наташе было не до рассуждений у финиша... В великолепное время, которого ещё никто не показывал на лыжне в Италии, прошла десятикилометровую олимпийскую дистанцию Наташа Скуратова – 36 минут 10 секунд.

Я видел, как с трибун, перепрыгивая через ряды, мчался Карычев. Толпа окружила победительницу. Сотни вспышек фотоаппаратов замигали вокруг Наташи. И я сам уже не мог пробиться туда.

\* \* \*

А вечером на Центральном олимпийском стадионе, деревянные, полированные под цвет карельской берёзы трибуны которого были заполнены интернациональной публикой, восемь герольдов в шляпах с перьями, в цветных камзолах, в зелёных плащах на алой подкладке поднялись на возвышение и протрубили в свои трубы. Началась так называемая «церемония официала протоколяра».

Лучи прожекторов скрестились на пьедестале почёта, за которым в высоко поднятой плоской чаше светильника пылал уже одиннадцать дней не угасавший священный олимпийский огонь. На высокой мачте взвилось алое знамя. Ветер величаво стекал с его складок, в которых трепетала пятиконечная звезда над скрещёнными изображениями молота и серпа. Зрители на трибунах встали, обнажая головы, услышав загрепевшие над стадионом мерные аккорды Государственного гимна СССР. Поднявшийся на возвышение перед светильником президент Олимпийского комитета под овации многих тысяч самых азартных представителей благородного всесветного племени болельщиков вручил Наталье Скуратовой – СССР – Большую золотую медаль олимпийской чемпионки, которая покоилась в изящном футляре с бархатной подкладкой. И снова весь стадион, сливая в дружном восторге свои чувства, стал скандировать ставшее с сегодняшнего утра модным в Кортине:

– Ура!.. Ура!.. Скуратова!



В тот же вечер в отеле «Три Кроче» на Наташу был надет лавровый венок чемпионки мира, и прибывшие в отель представители Международной лыжной федерации торжественно объявили, что Наталья Скуратова ныне провозглашена Белой королевой на весь год.

– Хороша Наташа, а главное – наша! – пошутил кто-то из спортсменов, заполнявших в этот торжественный момент зал отеля «Три Кроче».

Здесь наконец я смог поговорить с Карычевым, который увёл меня к себе в номер, как только закончился церемониал.

– Ну, вот и всё! Теперь можно кончать повесть. – И Карычев сладко потянулся.

– Послушай, – сказал я, разворачивая рукопись перед её автором. – Все это, понимаешь, довольно занятно. Но ты многое не договорил, есть какие-то непростительные умолчания. Например, вся эта история со спасением. Ведь читателю интересно же знать, как там дальше происходило. Узнала ли Наташа, кто её спас, в конце концов?

– Так ведь не это же главное в повести, – возразил Карычев. – Это я просто так рассказал, как в жизни произошло.

– Однако ты об этом всё-таки пишешь в повести.

– Я пишу все, как было. Я ведь журналист, а не писатель. А вообще, если это мешает, можно всю ту историю выкинуть, повесть ведь совсем не про это... Мне казалось, что характер Чудинова дан довольно ясно. Будет он тебе признаваться!

– Да, – согласился я, – характер Чудинова мне ясен, и уж он, во всяком случае, не станет присваивать чужие подвиги себе.

– То есть? – насторожился Карычев.

– Ну, вот что, – не выдержал я. – Вот что, дорогой мой друг, хочешь, я тебе помогу закончить повесть и скажу, как это было в жизни?

– Ну, валяй, валяй... интересно! – подзадоривал меня Карычев.

– Так вот, – продолжал я. – Это, милый мой, ты тогда их во время бурана вытащил.

Карычев посмотрел на меня ошарашенно.

– Поздравляю!.. – буркнул он. – Блестящее открытие! Новый Шерлок Холмс. Интересно, как это ты додумался?

– Да, да. Не финти, пожалуйста. Ты в тот вечер прилетел в Зимогорск, застрял из-за бурана на аэродроме, верно? И, конечно,

услышав, что стряслась такая история с девушкой и ребёнком, ты немедленно полез туда в самую пургу. Я ведь, дорогой мой, тоже знаю немного твой характер... Так, значит, пошёл на поиски, и тебе посчастливилось первому набрести на них. Понятно? Затем, когда ты узнал, что в поисках участвовал Чудинов, ты, всю жизнь мучавшийся тем, что обязан ему своим спасением на Карельском перешейке, решил не открываться тоже. Скромность Чудинова тебе давно не давала спокойно спать. И, кроме того, тебе ведь очень хотелось свести поближе своего друга с Наташей, а тут такая романтическая почва для сближения!.. И действовал, конечно, ты чрезвычайно благородно, тем более, что, честно говоря, Наташа тебе ведь тоже самому нравилась. Верно?

– Психолог! – угрюмо проворчал Карычев.

Я безжалостно продолжал:

– Ну что, дальше идти или хватит?

– Валяй, валяй, попляжу, куда тебя занесёт, – усмехнулся Карычев.

– Так вот... Ты вернулся в номер гостиницы раньше задержавшегося Чудинова.

– Ну, допустим, – вызывающе бросил мне Карычев. – А куртка? А пуговица?

– Ну, это уже пустяки. Не стоит большого труда догадаться. Увидев твою куртку на стуле в номере, Чудинов, конечно, принял её за свою. (Ведь я же помню, что в самом начале твоей повести ты говорил о снимке, где вы оба изображены в одинаковых заграничных куртках.) А когда Чудинов заснул, ты ночью подменил куртку, а для вящей убедительности сам оторвал у Чудинова пуговицу. Кстати, именно эту пуговицу ты после и вернул хозяину. Потому у Сергунка и оказалась после гонки та твоя пуговица, что досталась ему во время бурана. Она-то и заставила в конце концов заподозрить тебя. И таинственная маска на карнавале – это, конечно, тоже ты. Уж это, откровенно говоря, грубая работа. Ну что, припёр?

Карычев невозмутимо и иронически слушал меня, а потом сказал:

– Всё это было бы убедительно, но... Но про одно обстоятельство ты забыл. И сейчас я одним махом разрушу все твоё здание из догадок, построенное на зыбучем песке. Ты забыл про шарф. Откуда у меня мог оказаться шарф с меткой «С. Чу...» и так далее?

Тут наступила минута, когда я несколько растерялся и, признаюсь, смолк в замешательстве. Я совсем забыл про этот шарф и метку. Ах ты, черт, действительно!.. Впрочем, погоди, погоди... Внезапная догадка только сейчас осенила меня.

– Ну-ка, дай карандаш. Какая там была метка?

– А вот какая! – Карычев торжествовал и, не отдавая карандаша, сам крупно вывел прописью: «С. Чу...».

– Все! – воскликнул я. – Вот теперь ты окончательно припёрт. У вас у обоих эти шарфы откуда были? Из Швейцарии? Метка-то не русская, чёрт бы тебя подрал! Зря темнишь. Давай карандаш.

И я, поставив «а» после «с», чётко вывел на протянутом мне Карычевым листке буквами латинской прописи:

*Caruyscher*

– Это и читается «Карычев» и никакой там не «С. Чудинов». Ну? Что скажешь?

Карычев поднял обе руки вверх, как бы сдаваясь:

– Ничего не скажу.

– Так какого же чёрта ты накрутил все это?

– Не о том же речь. Речь идёт о воспитании спортсменки и...

– Ну, знаешь, скажу я тебе...

– Знаю, знаю, – перебил меня Карычев. – Ты тоже скажешь вроде Ремизкина, что я не чувствую подлинной героики и тому подобное. Пойдём лучше вниз, я утром обещал Наташе и Степану познакомить тебя с ними. Они там получили поздравительную телеграмму от всех ребят интерната. Только прошу тебя, уж им-то хоть ни слова.

Я пожал плечами.

– Зачем говорить людям то, что они великолепно знают и без меня? Они мне сами обо всём рассказали ещё сегодня днём.

– Сами?.. А я-то...

Карычев схватился за голову и тяжело сел на диван.

Когда мы спускались по лестнице, я увидел на балконе Чудинова и Наташу. Они стояли, вдыхая сладостный высокогорный воздух, любуясь бездонным покоем окружавшей нас звёздной альпийской ночи.

Они молчали. И чувствовалось, что после шумного сегодняшнего дня, принёсшего обоим столько волнений и славы, им очень важно

было вот так тихо постоять рядом и помолчать.  
Помолчим и мы...

*Москва – Кортину д'Амнецо. 1956.*



# Чаша гладиатора\*

«НЕ СЛЫТЬ, А БЫТЬ»

*Девиз на старом русском гербе.*



## Часть I

### Человек-Гора и обыкновенные люди

#### Глава I

##### Еще раз о мальчишках

В шахтерский поселок Сухоярка вернулся самый сильный человек на свете. Приехал он поздней ночью, и об этом событии мало еще кто знал наутро.

Даже мальчишки – мальчишки! – и те еще ничего не успели разведать. А уж если о чем-нибудь не пронюхали мальчишки, значит, еще никто про то не знает. Ибо, как известно, раньше всех других новости узнают именно они – мальчишки.

Мальчишки, как давно установлено, самые первые двигатели прогресса. Не помню имя мудреца, который утверждал это, но, несомненно, он был прав. Это они, мальчишки, раньше всех пробуют ломкий ледок на только что ставшей осенней реке. И первыми же по весне, очертя голову, плюхаются в холодную воду и отчаянно вымахивают саженками против течения. Именно они, опережая всех, протаптывают первые тропочки по грязи, оставшейся после того, как сошел снег. И все материки, и полюсы, и моря, и орбиты в небе связаны незримыми стежками, которые проторили вчерашние мальчишки, ставшие землепроходцами, мореплавателями, космонавтами.

Кто, как не мальчишки, спешат занять первые ряды в кино – и не только потому, что там лучше видно и дешевле билет, а чтобы быть ближе к делу. Сразу же торопятся они разузнать, кто из действующих лиц за нас, а кто против, и первыми в зале начинают бешено аплодировать, когда в решающий момент наши конные пограничники на рысях врываются в кадр, готовые с ходу настичь и опрокинуть нарушителей справедливости. И они же, всегда обитающие в первых рядах, все разом насмешливо издают долгий чмокающий звук, когда все уже решено, все ясно, и герои сейчас благополучно поцелуются.

Они все знают, мальчишки! И какая температура воздуха вчера была в Антарктиде, и сколько оборотов накрутил спутник, и сколько

тонн груза способен поднять своим хоботом африканский слон, и при каких необыкновенных и героических обстоятельствах погиб киноартист Михаил Жаров, хотя бы все и уверяли, что знаменитый артист жив и здравствует.

Каждому из них знакомы по крайней мере пять или шесть секретных приемов, при помощи которых самый слабый человек может в один миг сбороть любого силача, не считая, конечно, того, что сидит в их собственном классе на задней парте, ибо этот силач почему-то всегда оказывается досадным исключением из прекрасного правила и, как назло, не подвержен действию приемов.

Не всегда твердо знают они, что задано на завтра в школе, но неизменно убеждены, что день грядущий будет еще лучше и интереснее сегодняшнего... Ибо всеми помыслами, по самую макушку – они в завтрашнем.

От них нет нигде ни сна ни покоя, растреклятые мальчишки! Они заполняют мир топотом оголтелой беготни, треском раздираемых штанов, искрами пережженных электропробок, яростной возней и залихватским свистом, призывающим творить великие дела. И не их вина, мальчишек, если мир пока устроен так, что свист этот порой воспринимается еще как разбойничий... О мальчишки! Надоедные, несносные, обожаемые мальчишки! Хвала вам! «Мальчишек радостный народ»! – вот как сказал о вас Пушкин.

Птицы, звери, корабли, автомобили, самолеты, футбольные матчи, людоеды, извержения вулканов, фазы луны и попевания арбузов на ближней бахче – все вас касается, мальчишки! Будьте вы трижды неладны и стократ благословенны! Я уже писал о вас, но не устану писать еще и еще.

– А что же, – скажут на это милые подружки моих любимцев, – разве мы хуже мальчишек?

Нет, пусть не обижаются на меня дорогие девчонки! Я их уважаю не меньше, чем мальчишек. Но дело все в том, что сам я когда-то, хотя уже и очень давно, был все же мальчишкой. Девчонкой же мне, понятно, быть сроду не приходилось. Ибо, как сказано у поэта, никто из смертных не рождался дважды. Вот и писать мне проще о мальчишках. Уж о них-то мне кое-что известно... Так вот я говорю: даже никто из сухоярских мальчишек, ни всеведущий Сеня Грачик, ни его дружок многомудрый книгочей Сурен Арзумян, ни другие их

приятели и противники не знали, что в поселок вернулся сильнейший человек мира.

## **Глава II**

### **Сильнейший в мире**

Да. Именно так. Самый сильный на всем свете! По крайней мере, таковым прослыл Артем Незабудный лет сорок с лишним назад, до того еще, как покинул он надолго, а иные думали – навсегда, родную землю...

Артем Незабудный – знаменитейший цирковой атлет, за долгое время своего триумфального пути по всему миру ни разу не коснувшийся лопатками ковра в самых трудных борцовских турнирах. Сильнейший в мире, победитель непобедимых, кампиониссимо, чемпион чемпионов, славянский колосс, Геркулес наших дней, Левиафан XX столетия, русский супермен, сверхчеловек нового века, чудо-великан России! Рост – двести девять сантиметров, вес – сто сорок два килограмма, обхват груди – сто пятьдесят восемь, шея – пятьдесят четыре, пояс – сто девять, бицепсы – пятьдесят пять, бедра – семьдесят восемь, икры – пятьдесят четыре... Вот каков был отвечавший по всем статьям классическим требованиям – спортивный паспорт Артема Незабудного.

«Человек-Гора», – писали о нем в газетах всего мира. «Среди людей он сильнейший; дальше идут уже, собственно, слоны», – острил по его адресу американский спортивный обозреватель. И действительно, силой наделила его природа сверхъестественной. Он без особой натуги взваливал себе на плечи, как коромысло, чугунный двадцатипудовый якорь и обносил его вокруг манежа. Напружив неохватную грудь, одним вздохом ее он рвал цепи, которыми обвивали его богатырский торс... Ему ничего не стоило пальцами свернуть в трубочку медный пятак, одним ударом кувалдоподобного кулака расколоть кирпич.

Вот что это был за старик, чтобы вы знали! (Нет, видно, и мальчишкам не все известно!)

Вернулся он домой после многолетних странствий. Без малого сорок лет назад, в самые трудные и бесповоротно решившие судьбу народа дни, он дал увезти себя ловким людям далеко от Родины. Тогда



он был в расцвете непомерной силы и славы. Ему уже трижды присуждали звание чемпиона мира по борьбе. Говорили, что в этом древнейшем спорте, в котором с незапамятных времен впрямую, как ни в каком другом соревновании, проявляются сила и стремление взять верх над соперником, никогда еще не было равных Артему Незабудному. Золотые медали его чемпионской ленты сверкали на исполинской груди, будто кольчуга. Имя Незабудного гремело на всех цирковых манежах мира, не сходило со страниц спортивных журналов. С ярких афиш в столицах пяти континентов смотрели его портреты. С них, невзирая на все усилия художников, стремившихся придать Артему дикарский вид, глядел добрый великан, как бы даже несколько сконфуженный своими невиданными габаритами и уже почти нечеловеческой силой. Пышные, крыло-подобные усы, соломенная шляпа-канотье, которая по размерам своим вполне сгодилась бы, чтобы покрыть ею большую макитру, заказные ботинки неслыханного номера, не встречавшегося в классификации размеров обуви, знаменитая трость-дубинка весом в добрых полтора пуда и перстень, сквозь который легко проскакивал серебряный рубль, – все это давало пищу для бесчисленных карикатур.

Но других черт, которыми могли бы поживиться газетчики, у Артема не было. Везде знали об исключительной неподкупности и спортивной рыцарской честности русского чемпиона. Он никогда не шел на «шике», то есть на сговор с противником или арбитром. Только «бур» – борьба честная, без всяких фокусов и поблажек, по силе и совести!.. Он был прямо-таки божьей карой для всевозможных махинаторов и ловчил профессионального спорта.

После нескольких скандальных разоблачений, на которые не побоялся пойти Незабудный, несмотря на угрозы воротил спортивных карателей, с ним пытались свести счеты. Ему готовили расправу, подсылали наемных убийц, гангстеров. Но ему удалось избежать участи Рауля де Буше – знаменитого французского борца, убитого апашами, не поладившими с ним... После одного из нападений на Незабудного в Филадельфии троим из бандитов пришлось отлеживаться месяца по два в больнице. А один из них – главарь шайки – так и остался на всю жизнь с кривой шеей, с головой, навсегда как бы припавшей к плечу. «Пусть спасибо скажет, что она у

него хоть на одном плече осталась, – грубовато отшучивался Незабудный. – А сунется еще, так ему не сносить ее вовсе».

Но был Артем Иванович человеком донельзя простодушным, как большинство очень сильных людей. Вечно его облапошивали цирковые импрессарио, наживавшиеся на его силе и славе. А сам он даже и разбогатеть по-настоящему не сумел. К тому же человек он был хотя и смирный, но со всякими неожиданными чудачествами и куражами. То вдруг скупал на базаре все тулупчики и одаривал ими сирот в приютах волжского города, где проходил один из чемпионатов с его участием. То нанимал все пролетки и фаэтоны на извозчичьей бирже у пристаней, рассаживал на них грузчиков, сам садился в первый экипаж, и странный кортеж медленно следовал по главной улице, заставляя сторониться озадаченных городских. А «чистая» публика, прибывшая пароходом, должна была тащиться с пристани пешком по крутым взвозам... То проездом через родную Сухоярку, жители которой помнили его еще навалоотбойщиком в шахте, Незабудный объявлял, что в воскресенье каждый, кто желает поднять за здоровье Артема, может пить за его счет сколько хочет. На площади выставляли ведра с водкой, и поселок поголовно спивался... Вообще хлопот у содержателей цирков и учредителей чемпионатов с Незабудным всегда хватало.

В начале революции он был застигнут гражданской войной, разразившейся на юге страны. Здесь, в Одессе, встретился он в те дни с Котовским. И на что уж был силен сам легендарный комбриг, но и тут должен был признаться, что далеко ему до Артема: они как-то померились силой, поставив локти на стол и упершись друг другу ладонью в ладонь. Но могучая длань Котовского трижды подряд мгновенно оказывалась прижатой тыльной стороной к столешнице. Григорий Иванович очень тогда огорчился... В то время Артем проездом через родную Сухоярку, задержавшись на день, выполнил то, что давно уже задумал: женился на милой, веселой и застенчивой девушке Галине Хмелько. Она была прежде плитовой в шахтах, где когда-то и встретился с ней впервые Артем. А потом приболела и поступила в горничные к управляющему шахтами Грюппону. Недолго пожил с женой Артем, так как за ним приехал его импрессарио – маленький желтый увертливый человечек, Адриан Стефанович Зубяго-Зубецкий, давно уже построивший и дом и дачку на деньги,

которые ему заработал, проливая пот на цирковой ковер, Артем Незабудный. Он увез борца в Одессу, где неунывающие предприниматели организовали турнир.

Артем обещал вернуться через месяц-другой за Галей. Но вскоре начался тот знаменитый белогвардейский драп, которым окончилась на юге гражданская война. И одна из мутных волн паники унесла с собой за море Артема Незабудного, не привыкшего к долгим размышлениям.

Ему все равно надо было по давно уже им подписанному контракту бороться в Стамбуле, а потом в Париже. Зубяго гарантировал ему возвращение на Родину тотчас же, как все утрясется. Но жизнь что-то не утрясалась.

Мир в то время только еще приходил в себя после великих передряг и потрясений первой мировой войны. Люди жаждали бездумных зрелищ и крепких удовольствий. Приглашения, ангажементы следовали один за другим. Не успевал Артем получить очередной приз и раскланяться на манеже после финальной схватки в одном чемпионате, как надо было укладывать чемпионские кубки, пояс с медалями, борцовское трико в чемодан и спешить на поезд или на корабль, чтобы попасть на другой конец света, где уже висели афиши с его крупно набранным именем и портретом, на котором топорщились известные карикатуристам всего мира усы его, порой смахивающие на рога буйвола, пучились неохватные бицепсы и свирепо тарасились неловко вылупленные добрые глаза.

Да, имя его было, казалось, вездесущим. Всюду видел он афиши со своим именем. Огромный, повсеместно знаменитый, он раскатил свою славу по всему свету. Он чувствовал себя колоссальным, необъятным, занимающим так много места в мире. Но потом стало немного пошаливать сердце. Пришлось даже один-другой раз сорвать выход в турнире. Да и мир как будто сам становился все теснее. Приходилось ради выгоды устроителей и экономии времени все чаще пользоваться самолетом. А при этом ощущение дальнего путешествия скрадывалось. Исчезало разнообразие пространства. Везде было одно и то же.

Чемоданы на скользких столах таможни. Радио, приглашающее на посадку. Трап в кабину самолета. Тоненькая стюардесса в пилотке на висок. Тесное кресло. «Просьба пристегнуться. При взлете не

курить». Взрыли все вокруг свирепые моторы. За окном трава, деревья, строения стремглав полегли навстречу. Горизонт косо ушел вниз. Туго заложило уши. Десять часов сплошных облаков. Потом опять больно ушам. Рыхлые, оседающие воздушные ступени спуска. Жесткое прикосновение земли. Внезапно – глухота. Звуки неуверенно возвращаются. Трап. И под ногами другое полушарие Земли.

Нет, просторы мира, которые когда-то были заселены его славой, как бы перестали существовать. А где он только не побывал за эти годы! Незабудного мотало по всему свету. И постепенно он становился равнодушным к этой постоянной, частой и привычной перемене мест. Какая разница, что там, за стенами амфитеатра, окружающего манеж? Не все ли равно, куда смотрят двери артистического подъезда, возле которого будут по окончании вечера толпиться назойливые зрители, знатоки и мальчишки.

Меняется ли дело оттого, что там, снаружи? Каменная сухарница Колизея или сквозной, застывший над городом смерч Эйфелевой башни? Или зубцы башен, скалящихся в тумане над Темзой? Или эвкалипты Мельбурна? Или рекламные огнеметы Бродвея? И тесные провалы улиц, со дна которых даже днем, как из колодца, видны звезды, ночами гаснущие в крошечке стоэтажных огней?.. Или полотняные фестончатые тенты над раскаленными террасами Кейптауна? Или проступавшие в мареве над горизонтом пустыни громады пирамид, издали так горько напоминающие родные терриконы?.. Менялись климаты и ландшафты. То облегал распаренное тело липкий, как горячая пластиковая пленка, тропический зной. То где-нибудь на Аляске при выходе из цирка била в лицо колючая морозная осыпь и на груди свивался белый жгут метели, совсем как на цирковой рекламе «Борьба с удавом»...

Всюду приходилось бороться, стараясь не выйти за пределы квадратного ковра, которым был застлан круглый манеж. Словно бы упрощенно решать задачу о квадратуре круга, считавшуюся, как объяснил Артему один любитель математики, извечно нерешимой.

Все повторялось сначала: эффектный выход в финале парада под почтительные овации зрителей, и вспышки магниевых пыhalок над аппаратами фоторепортеров, и магнезия, растертая в ладонях, и ковер, вминающийся под подошвами, и сопящее дыхание противника в лицо, и круговой рев цирка. Все повторялось.

Когда Незабудный был молод, рвался к славе и связанным с ней деньгам, его обдавал и влек крутой, как кипяток, азарт спорта. Тешило, что самых сильных противников он в конце концов припечатывал к мягкому настилу манежа. На какие только уловки и хитрости они ни пускались, он разгадывал их. Но постепенно и это стало привычным. И уже раздражало, что надо подчиняться незыблемо все тем же правилам и пускаться в ход снова и снова эффектные, но давно заученные приемы, которые жаждала своими глазами увидеть цирковая публика.

С какими только людьми не приходилось встречаться за эти годы! Но люди все были чужие и временные. И крыша, под которой он спал, была всегда ненадолго. И земля, по которой он ходил, оставалась не своей. Жизнь была бездомной. Когда в финале очередного чемпионата он выходил на помост победителя – на вышку почета, – неизменно становясь над цифрой «1», всякий раз возникала неловкость. Не знали, какой флаг поднимать, какой гимн играть, и старались обойтись без этих деталей торжества. И некому было Артему похвастаться своей славой или поведать свою печаль.

В первое время он убеждал себя, что вот-вот вернется домой. Проведет по контракту все положенные ему схватки в турнире, получит приз и вернется. Заедет в Сухоярку за Галей, и заживут они под своей крышей. Но почта из-за границы редко когда доходила в те годы на юг Советской России, завязая в путанице фронтов гражданской войны. И вскоре Артем, не получивший в ответ на свои письма ни одной весточки из дому, по-своему это истолковав, бросил писать... С каждым днем все гуще зарастали стежки, ведущие к дому. Все дальше уносила Артема его бездомная судьба. И все глуше делалась тоска и по дому в шумной и пестрой крутоверти, которая его захватила окончательно. Кроме того, Зубяго сумел убедить Артема, что возврата к прошлому уже нет... И окружали везде Артема Незабудного люди, которые твердили, что путь на Родину бесповоротно отрезан. Да и не стоит, мол, жалеть об этом, так как никогда не смогут дать большевики то, что получает чемпион чемпионов по своим заслугам в других странах. И в Америке, и в Европе ему доводилось встречаться с иными знаменитыми русскими людьми, которые, как и он, бросили Родину в опасные дни, тосковали по ней, но не возвращались на свою землю по разным соображениям.

Не раз сживал он в кафе на парижских бульварах с Куприным – писателем, очень верно понимавшим борцовскую душу и относившимся ко всему, что происходит в России, с жадным, но тогда еще враждебным любопытством.

Пришел к нему однажды за кулисы цирка в Нью-Йорке сам Федор Иванович Шаляпин. Сначала долго и восторженно, почти ребячески, дивился объему и твердости мышц Артема, потрагивал, поглаживал, охлопывал их, с восхищением закидывал красивую голову с седеющим клоком, вздыбившимся надо лбом, любовался снизу ростом Артема, хотя и сам был сложения богатырского... Обещал даже вылепить торс Артема, так как баловался и по части скульптуры. Потом вдруг обнял борца, и оба чуть не всплакнули, вспоминая и Волгу и степи – родные края, пути к которым уже как будто и не было.

Шаляпин зазвал однажды Артема, когда тот боролся в Калифорнии, на дачу к Чарли Чаплину, где гостили в тот день «два Сергея» – люди очень разные, но братья по музыке, – Сергей Рахманинов и Сергей Прокофьев. И каждый из прославленных людей, собравшихся в тот день на даче в Голливуде, да и сам хозяин старались чем-нибудь порадовать других от щедрот своего таланта. Маленький хозяин с задумчивыми, обиженными глазами на насмешливом лице, печальный озорник, заставлявший весь мир сотрясаться от хохота, разыгрывал перед гостями всякие смешные сценки. Он показал знаменитый танец вилок со вздетыми на них наподобие ботинок булочками. Незабудный видел это в известном фильме «Золотая лихорадка». Суровый Рахманинов с тяжелым, древним складом лица и могучим грифом, поразившим Артема, сел к роялю вместе с изящным Прокофьевым, длинные летучие пальцы которого словно ворожили на клавишах. И знаменитые композиторы разыграли, импровизируя, очень смешную школьную пьеску в четыре руки, причем одна клавиша у Прокофьева будто бы западала и он делал вид, что должен подковыривать ее... А потом Шаляпин так изобразил пьяного московского купчину, что совершенно покорила всех. Громоносный бас его властвовал над окружающим и вдруг стихал, становясь почти неслышным и в то же время волшебным явственным. И Артем увидел, какими влюбленными глазами смотрит Чаплин на великого русского певца.

Незабудному захотелось самому хоть как-нибудь потешить и отблагодарить этих замечательных людей, пригласивших его в свой круг. Он попросил всех сесть на рояль, подлез под инструмент и, легонько поднатужившись, поднял и пронес по гостиной и концертный рояль, и тех, кто расположился на нем... Все были в восторге, особенно маленький знаменитый хозяин дома. «Мацист пигмей», – сказал он, пренебрежительно махнув рукой куда-то в сторону, поблескивая черными и озорно повеселевшими глазами, и показал, что Мацист и до плеча не достал бы Незабудному.

Артем не раз видел в кино Мациста – бестолкового силача, постоянного героя многих тогдашних кинофильмов, и оценил замечание хозяина. А русские гости великого американского артиста только посмеивались, довольные, не в силах скрыть гордость за богатырскую силу соотечественника. И опять тогда вдруг пала на Незабудного в конце вечера тоска по дому. Впоследствии Артем слышал, что один из гостей, Прокофьев, вернулся на Родину, и музыка его, несколько капризная и что-то лукаво утаившая в себе, зазвучала теперь дома с новой силой и в новой славе.

В Мехико один раз встретил Артем Незабудный высокого, широкоплечего, орлиногозлого человека, окруженного шумливыми мексиканцами, восторженно прищелкивающими пальцами и языками. Человек этот метнул на него взгляд огромных, немного мрачных глаз, двинул резко очерченным большим ртом и спросил у своих спутников звучным, низким голосом: «Этот небоскреб переволокли сюда с Манхэттена?» И, услышав имя Незабудного, поглядел через плечо с неодобрительным, как показалось Незабудному, любопытством. Потом Незабудный узнал, что это был Маяковский. Но, конечно, и знай он тогда, что перед ним прославленный поэт-соотечественник, не рискнул бы подойти к нему. Так было и в тот день, когда американцы шумно приветствовали Чкалова. Знаменитый летчик, со всех сторон спертый толпой любопытных, должно быть, заметил огромную фигуру Артема и весело кивнул ему издали, поведя широким, размашистым плечом. А Артем только снял шляпу и опустил голову. Что он мог сказать великому летчику, который первым перемахнул через полюс из Европы в Америку, показав, что и через полюс путь никому не заказан. Для него, для Артема Незабудного, расстояние до дому было уже, как ему казалось, непреодолимым.

Слышал Артем и Поля Робсона. Певец пришелся ему по душе не только бездонной глубиной голоса, будто из черного бархата, но и богатырским своим сложением. Их познакомили. И Робсон многое рассказал русскому борцу. Робсон еще до встречи с прославленным Человеком-Горой из России слышал, что Незабудный в штате Алабама, рискуя собственной жизнью, спас одного негра-батрака от неминуемого линча: своими руками разорвал он тогда цепи, которыми был уже прикован несчастный к столбу над занимавшимся костром.

Цепи уже были горячие. Цепи, врезавшиеся в черное кровоточащее тело, которое билось от боли и ужаса! Он раскидал ногами, затоптал облитые газOLIном пылавшие поленья. Кто-то в белом балахоне от макушки до пят, в колпаке-маске, без лица, дырявоглазый, прицелился было из карабина. И тогда огромная грудь Незабудного закрыла всей своей ширью полумертвого негра. Волоски на толстом твиде пиджака великана уже тлели, но он медленно в жару и в дыму сходил с поленницы, неся на спине обвисшее тело, заслоненное им от бесноватой толпы.

И стрелять не посмели. Великана узнали. Ведь это он накануне победил на арене местного цирка-шапито брюхастого, вислощекого развязного бразильца Хуана Баррейраса. И победителя пронесли по улицам городка под музыку. Теперь свирепость толпы невольно отступила перед бесстрашием и силой исполина. «Повезло сегодня черномазому. Но мы еще до него доберемся...»

Знаменитый негритянский певец, вспомнивший благородный поступок Артема, рассказывал еще немало страшных историй из жизни негров американского Юга. Но все же человек этот любил свою страну, гордился ею и верил в народ, с которым живет. А он, Артем Незабудный, русский человек, не имел ни родины, ни дома...

Потом разыгрался всем памятный скандал в Чикаго. В финальной схватке борцовского турнира, в котором оспаривалось звание очередного чемпиона мира, Артем Незабудный встретился с Робом Келли, чемпионом обеих Америк. Но тот пошел на заведомо нечестный трюк. Незабудный и до начала схватки подозревал, что американец в сговоре с жюри и арбитром.

Его пытались подкупить еще задолго до матча. Предлагали большие деньги за мнимое поражение. «Хватит вам царствовать



единолично. Пора и честь знать. Время подумать и о других, если вы хороший товарищ, – уговаривали Артема. – Вам предлагают обменять условную корону на реальное золото. Келли – это кумир обеих Америк. Мы вас предупреждаем. Вам с ним все равно не справиться. Не лучше ли заранее договориться по-хорошему? Верное дело!»

Нет, не пошел и в этот раз на сделку Незабудный. Но противник его на ковер вышел умащенный каким-то маслом. Он выскальзывал из любого обхвата, лоснящийся, скользкий. Мышцы его неудержимо выдавливались из-под железных пальцев Незабудного. Он противно, как вазелин из тубы, выжимался из тисков Незабудного. Напрасно протестовал Артем. Арбитр посылал Келли обтереться. Тот, посмеиваясь, оглаживал себя полотенцем, но впитавшееся масло, едва лишь снова начиналась борьба, тотчас же проступало с потом. И Незабудный отказался продолжать схватку. Тщетно взывал он к жюри, к публике. Его дисквалифицировали за отказ продолжать борьбу. Ему было засчитано поражение. Он лишился официального звания чемпиона мира.

Долго не стихал в международной спортивной печати шум вокруг этого скандала. Разобиженный вопиющей несправедливостью, Незабудный заявил, что он оставляет арену. На самом деле он твердо решил любыми способами вернуться на Родину. Он покинул Америку и переехал в Европу. Он уже начал предпринимать все нужные шаги, чтобы договориться с советскими представителями за рубежом о возвращении в родные края.

Но тут разразилась война с фашистами. И Незабудный застрял во Франции, а потом, когда гитлеровцы оккупировали французскую землю, перебрался в Италию. Здесь и пришлось ему отсиживаться, выжидая, когда в Европе все утрясется и можно будет снова сделать попытку вернуться домой.

Услышал он с завистью, будто Рахманинов в первое же военное утро явился в советское представительство и спросил, чем он, как русский патриот, может помочь своему народу в справедливой борьбе. И прославленный композитор, как слышно было, стал организовывать концерты, отдавая сборы в пользу Советской Армии.

Силы у Артема в то время уже немного поубавились, и сердце то и дело пошаливало. На манеже его могли ждать и неприятности, а хотелось уйти с ковра, так и не коснувшись его лопатками, ни разу в

жизни не тушированным... И тогда Артем стал устраивать те сильно действовавшие на нервы зрителей представления, которыми он когда-то в своей молодости прославился в южных городах России, на Волге и в Сибири. Он опять стал объявлять в афишах, что будет изображать «живой мост», то есть держал на себе помост, по которому проходили автомобили.

Работал он и знаменитую «Могилу гладиатора», когда его закапывали в двухметровую яму, выстланную брезентом, засыпали сверху землей, и через десять минут, после того уж, как публика начинала кричать «довольно», он, вспучивая насыпь и разваливая ее споднизу, снова появлялся, потный, с лицом чернее земли, но невредимый. Здесь, помимо огромной силы и невероятной емкости легких, помогала Артему и былая шахтерская сноровка. Дважды приходилось ему в молодости попадать в завал и, экономя дыхание, ждать прихода горноспасателей.

С огромным успехом показывал в разных городах мира Артем Незабудный этот страшный номер, казалось бы недоступный для смертных, – «Могила гладиатора». Еще когда отмечался в Америке пятидесятилетний юбилей Незабудного, ему в качестве подарка богатые любители, сложившись, поднесли пару специально изготовленных для этого ваз-кубков, вроде тех, что в старину ставили на камин. Серебряный атлет напрягал до предела литые мышцы, опершись на одно колено, другой ногой находясь еще в каменной могиле, и приподнимал плечом оливиную плыбу с укрепленным на ней щитом гладиатора. Свободной рукой он поддерживал над головой вывернутую из земли колонну, увенчанную большой чашей, также из оливина. Артем очень дорожил этим почетным парным призом, вероятно последним в его спортивной судьбе.

Но с одной из этих ваз и связана была история, о которой очень не любил вспоминать Артем Незабудный. Ему пришлось лишиться одного из этих двух кубков после истории, которую все свидетели ее сочли постыдной. Словно половина его славы ушла тогда с той второй чашей, да и та половина, что осталась, тоже теперь как бы ставилась уже под сомнение...

Происшествие это пятнало безукоризненную репутацию Незабудного и затягивало еще один узелок в его и без того путаной биографии. Хорошо еще, что в ту пору людям было не до

«гамбургского счета», по которому проверяется истинная слава профессиональных борцов, и под шум войны мало кто в Европе прослышал об этой неприятной истории. Но сам Артем не мог простить себе ее. Постыдная тайна эта; как ему казалось, волочится за ним повсюду. Когда он уже несколько лет спустя вспоминал о ней ночью, то мучился, яростно поворачивался на другой бок и укрывался с головой, словно боясь, что на нее сейчас падет позор происшедшего. И все время не мог он решить, как сбросить с себя гнет этого случая. Едва он начинал думать – и уже найденное как будто решение ускользало от него... Встречались Артему и на ковре такие верткие борцы-противники, которые, чуть что, спешили уползти с ковра, не давая себя припечатать к нему.

История та мешала ему долгие годы вернуться домой, когда уже можно было бы вполне сделать это. Да и сейчас он больше всего боялся, что тут, дома, земляки узнают, прослышат о том случае, после которого он уже никогда больше не возвращался на арену.

### **Глава III**

#### **Две встречи с Богритули**

Но все же решение вернуться на Родину, давно зревшее в нем, он окончательно принял после другого памятного случая.

Шла война в Европе. Гитлеровская армия, как сообщали газеты, давно захватила родные для Артема места и двинулась к Волге... Артем в то время оказался в Италии. Жил он бедно, в небольшом городке виноградарей и рабочих газовых заводов Альфонсинэ, неподалеку от Болоньи. Существовать было не на что.

Ученики частной гимнастико-атлетической школы, которую он было организовал, разбрелись. Фашистская Италия уже поняла к тому времени, что безнадежно проигрывает войну, и старалась выйти из схватки, уползти со зловещего ковра, чтобы покорно лечь за его пределами и тем самым хоть как-нибудь избежать ужаса полного поражения. Гитлер оккупировал Италию. И тогда на всем севере Апеннинского полуострова вспыхнула народная война. Артем слышал о бесстрашных действиях итальянских партизан, в рядах которых вместе с итальянцами сражались бежавшие из лагерей смерти русские, французы, югославы, чехи.

В тот памятный дождливый, туманный вечер, когда в городе, еще занятом оккупантами, стало известно, что совершен новый побег из лагеря смертников, Артем возвращался домой. И вдруг он услышал в полном мраке: «Синьор!.. Месье!.. Друзе!.. Камрад!.. Товарищ!..» Он едва не споткнулся, разглядев у самых своих ног лежавшего человека. До ужаса исхудалый, лихорадочно содрогавшийся, он попытался прижаться к краю тротуара, словно хотел вдавиться в камни, слиться с темнотой. Показалось тогда Артему или вправду лежавший прошептал: «Товарищ»?.. Слово это было прежде очень важным в жизни Артема, когда он работал в шахтах.

За углом хлопнули два выстрела. Послышалось топотание тяжелых сапог. Думать было некогда. Артем подхватил на руки лежавшего, бросился в соседний переулок. Но район был уже оцеплен. Неся на плече раненого, тело которого показалось ему бесплотно легким, почти невесомым и чудовищно костлявым, Артем кинулся в узкий переулок и сразу оказался окруженным в темноте патрулем гитлеровцев. Один из фашистов, отброшенный с невероятной силой, был перекинут через трехметровую ограду и очнулся лишь через несколько минут с переломленным плечом. Его автомат оказался разбитым в щепы, а одна из металлических частей глубоко врезалась в дверь соседнего дома. В узком проходе между домами один из патрульных фашистов, пытавшихся оказать сопротивление, был мертвую задвинут переставленной с тротуара массивной лимонадной будкой и по ошибке обстрелян подоспевшими на шум гитлеровцами.

На другой день в газетах писали, что на патруль на-пала целая банда до зубов вооруженных людей исполинского роста. Затиснутый в проход лимонадным киоском гитлеровец твердил, что на него двинулась сама стена, и высказал предположение, что в этом районе произошло что-то, вызвавшее, по-видимому, взрыв либо небольшое землетрясение...

Артем унес подобранного им беглеца в свою каморку на пятом этаже, сам перевязал его, так как хорошо знал простейшие способы лечения всяких повреждений, – спортивная практика приучила к этому.

Спасенный около суток был без сознания. Часами сидел возле него Незабудный, менял на широком лбу раненого тряпки, смоченные

под краном, вглядывался в изможденное чернявое лицо – все в кровоподтеках и ссадинах. Было что-то до боли и неудержимого вздрога знакомое в этом лице, в широко, чуть раскосо поставленных глазах, хотя Артем твердо знал, что никогда в жизни не встречал этого человека. Раненый буквально истлевал в страшном жару, бился, стонал. Артем решил пойти на риск.

На второй день он отправился к одному своему старому знакомому врачу ревностному патриоту. И тот, когда совсем стемнело, поднялся в каморку Артема, сделал укол, перебинтовал раненого и клятвенно обещал молчать обо всем. Человек он был надежный, жил одиноко, холостяком, – нелюдимый, как бы на замок замкнутый. На него можно было положиться.

Но, когда Артем, после перевязки проводив доктора, вернулся к себе, он увидел, что чернявый незнакомец сидит на кровати, беспокойно вперив куда-то неподвижный взор огромных, широко расставленных глаз. Артем проследил направление его взгляда: незнакомец так и впился в стоявший на столе кубок вазу «Могила гладиатора». Потом, отвалившись бессильно на подушку, спросил по-русски:

– Слушай, отец... Вы сами?.. Ты... Простите, вы синьор Незабудный?

– Лежи, лежи, – прошептал тогда Артем, плотно прикрыв дверь. – Был я и синьор, и мистером был, и месье бывал, а тебе просто Артем Иванович. Лежи. А ты кто сам-то будешь? Ты не таись, не бойся...

– Земляк, – тихо сказал раненый, откинувшись навзничь. Потом собрал силы, слегка приподнял голову и зло метнул глазами на кубок. – Видел я такой точно... у одного гестаповца на столе. Откуда бы?

Не хотелось, ох не хотелось рассказывать беглецу о судьбе второго кубка, будь он неладен! Но пришлось.

Раненый настаивал, опускал упрямо на пол исхудавшие ноги. Пришлось Артему раскрыть свою тайну. И беглец как будто поверил.

Не сводя с Артема пристально-горячечных глаз, устало пал он на подушки. На всю жизнь запомнился Незабудному этот ни малейшей увертки не принимавший взор, словно горячий ключ, забивший с глубокого дна задымленных глазных впадин. Но через четыре дня, вернувшись домой, Артем не застал его в постели. Только записка

лежала на столе, придавленная кубком «Могила гладиатора». И вот что было сказано в записке:

«Спасибо, Артем Иванович, всемирно известный земляк. Много о вас слышал еще дома. Остаться больше не могу. Что вы мне рассказали – верю. Но одно доверить самого себя, а другое – товарищей своих и общее дело. Ими рисковать не вправе. Не имею права и вас подводить. Как я вас понял, вы слишком на примете. Во всяком случае, спасибо за все. Такое не забыть. Может быть, живы будем – еще встретимся дома. Счастливого вам туда пути. Ваш земляк...»

Не сразу разобрал подпись Артем. «Богритули» – было нацарапано там.

«Не поверил, не поверил! – твердил себе огорченный Артем. – Да и как верить, если он знает про то...»

Больше они не встречались. Но не раз слышал Артем о действиях какого-то бесстрашного партизанского вожака Богритули. По слухам, он был из русских, и Незабудный хорошо знал, что слухи эти верные. Он вспоминал, как нес на своих руках израненное, до ужаса легкое тело. Впрочем, тот ли это был человек, им спасенный, или лишь назвался тогда в записке таким именем, Артем дознаться не мог. Он с угрюмой насмешкой перечитывал расклеенные немецким командованием объявления, которые сулили сто тысяч лир тому, кто поможет изловить грозного Богритули или доставит его живым либо мертвым в руки немецких оккупационных властей. Сгинул ку-да-то с того дня и доктор Саббатини, что приходил перевязывать беглеца. Артем Иванович наведывался в больницу, где тот служил. Но и там ничего не знали. Полагали, что старика схватили гитлеровцы.

После окончания войны Незабудный поехал в Геную, чтобы оттуда на корабле отправиться в Ниццу, так как он списался со старыми знакомыми борцами в Париже, и те предлагали ему поработать в частной атлетической школе.

До отвала корабля оставалось несколько свободных часов. И Незабудный отправился на Стальено – знаменитое генуэзское кладбище, куда непременно заглядывает каждый, кто приезжает в Геную. Не найдя среди живых отбитого им у фашистов человека, что назвался Богритули, Артем думал, что, может быть, найдет его среди

мертвых. И все чаще тянуло его теперь побродить по печальным местам вечного успокоения.

Кладбище располагалось в обширной низине, окаймленной зелеными холмами. На вершину одного из них вели марши колоссальной лестницы. Там высился храм. К подножию его примыкало окончание грандиозной колоннады, которая, как прямоугольная скоба, с трех сторон обрамляла площадь кладбища. Все внутреннее пространство его было тесно заставлено невысокими беломраморными надгробиями, на которых стояли вазоны с белыми и золотыми хризантемами. Море мрамора в кипении бело-золотых лепестков... Но здесь были похоронены люди попроще. А те, кто побогаче и знатнее, нашли себе вечный приют под сенью гигантской колоннады. Там, в нишах и между колонн, в гробницах и под тяжеловесными постаментами памятников, покоились именитые граждане, аристократия, негоцианты, городские богатей, щедро оплатившие эту вещественную и вечную память по себе, недоступную для кармана простого человека.

Озадаченный, стоял он некоторое время, с насмешливым удивлением поглядывая на памятник старой генуэзской бубличницы, здоровенной тетки, красовавшейся среди знатных могил со связкой выточенных из мрамора бубликов. Уверенно расставив толстые ноги, она утвердилась тут в той самой позе, в которой, верно, когда-то стояла у генуэзских причалов, зазывая моряков-покупателей. Посетитель, у которого, заинтересовавшись, попросил объяснения Артем Незабудный, охотно рассказал ему, что бубличница сколотила за жизнь немало денег, во всем отказывая себе ради бессмертия. Она еще при жизни купила себе место в Стальено и заказала одному из лучших ваятелей свой памятник. Вот и стоит она за свои собственные деньги среди самых знатных покойников Генуи.

И подивился еще раз Незабудный тщете славы человеческой в том мире, где пришлось ему прожить лучшие годы своего века, потратив их тоже на бессмысленную погоню за славой и деньгами.

Он равнодушно брел затем среди роскошеств бронзы, гранита и мрамора. И только у одного надгробия постоял в раздумье. То был памятник ученому, который, как видно, жил, целиком поглощенный своей наукой, и думал отгородиться ею и от жизни и от смерти. Ваятель изобразил его уже поверженным временем, одряхлевшим,

сидящим бессильно на земле. Возле него была брошена раскрытая книга с чертежами. Валялись инструменты, выпавшие из старческих рук. А стена, которую он возводил всю жизнь, высилась за ним, так и оставшись недостроенной. И уже обвалились, упали два-три камня. А сверху, через край пролома, протянулась, готовая сграбастать старика, костлявая рука смерти.

Не скоро отошел от этого памятника Артем. Его одолевали невеселые думы о собственной жизни, ушедшей так нелепо, об одиночестве, которое он ощущал все болезненнее, о неодолимой стене, которой он сам отгородил себя от Родины. Потом он побрел дальше. И среди могил Стальено вдруг увидел скромный, бережно отгороженный уголок. Здесь рядами, как на солдатском кладбище, были расположены небольшие надгробия. На мраморной доске, поставленной у прохода, чернела вырезанная надпись: «Остановись, прохожий, и склони тут голову. Здесь те, кто лег в землю, чтобы ты еще мог свободно ходить по ней».

Медленно шел Артем по узкой, посыпанной розовым песком аллее, по тесной дорожке между скромными могилами. Шел и читал на небольших каменных досках имена итальянские, французские, польские. И вдруг он словно сам окаменел у наклонной плиты с вправленным в нее застекленным медальоном-фотографией. Незабудному показалось, что и ветер, струившийся по песку дорожек, тоже замер. Не шевелились ветви тамарисков и пиний. Недвижны были лепестки хризантем в вазонах надгробий.

Из медальона, врезанного в плиту, глянули в упор на Артема знакомые большие темные, широко и слегка вкось расставленные глаза. И разом узнал Артем и этот не принимающий никаких уверток взгляд, и тонко вырезанные крылья носа, и решительную, плотную складку губ, и глубокую ложбинку немного выставленного вперед подбородка. Он!..

«Неизвестный русский командир партизанской группы. Действовал под именем Богритули, – прочел Незабудный. – Геройски погиб 28 октября 1944 года в районе Альфонсинэ».

Дальше шли врезанные в мрамор строгими, прямыми буквами строки эпитафии:



Спи, русский друг! Безымянную славу твою  
Слава впитала земли, что тебя родила.  
А кровью своей ты вспоил итальянскую землю.  
Да будет тебе она пухом.

Сомнений не оставалось. Это был тот самый человек, которого отбил у гитлеровцев и принес израненным к себе в каморку Артем Незабудный, И опять что-то невыразимо знакомое как бы всплыло на мгновение в чертах человека, запечатленного на фотографии. Так неуловимо ускользает вот-вот уже готовая зазвучать в памяти мелодия где-то давно слышанной песни... Артем стоял и раз за разом от начала до конца перечитывал и перечитывал строки, выбитые в мраморе. «Вот, безымянным погиб, – думал он, – но даже смертью и то своей земле родной славу дал. А я, живой, именитый, а при жизни безродный...»

Незабудный опустился на колени, осторожно горстью сгреб немножко земли с могилы в расстеленный на траве носовой платок и завязал его, как ладанку.

Когда Артем поднялся, он увидел старого, одетого во все черное человека.

– Знал ли лично синьор храброго Богритули? – спросил старик. Это был служитель кладбища. Незабудный кратко рассказал ему, что встречал когда-то человека, лежащего под мраморным надгробием, но кто он и откуда родом, ему неизвестно. Хотелось узнать подробности гибели храброго Богритули, с которым так удивительно и так до обиды ненадолго связала его судьба. Но служитель сообщил, что никаких подробностей о Богритули никто не знает. Известно только, что это бывший русский командир, попавший тяжело раненным в плен и угодивший в лагерь смертников. Там он поднял восстание и организовал дерзкий побег. Потом его снова изловили, и он еще раз ушел из лагеря, сколотил большую группу партизан и долго наводил смертный ужас на оккупантов по всей Тоскане и Эмилия. Когда гитлеровцы хотели предать огню и смерти население одной из деревень за помощь партизанам, Богритули со своими товарищами пробился на помощь и держал оборону до тех пор, пока последняя женщина с ребенком не оставила селение. Он дал возможность

спастись всем жителям – и старым и малым – и только тогда снял свой пулемет, которым прикрывал отход женщин и детей. Здесь его и настигла пуля гитлеровцев.

И еще сказал служитель генуэзского кладбища, что тело Богритули несли сотни километров по очереди жители итальянских сел, как эстафету, передавая из деревни в деревню. Вот и похоронен теперь неизвестный русский храбрец партизан, скрывшийся под именем Богритули, в самом почетном месте старого генуэзского кладбища Стальено.

– Мольто корадже! (Очень смелый!) – повторял старый служитель. – Мольто корадже!..

Артем вернул билет в порту и задержался тогда на несколько дней в Генуе. Он разыскал бывших партизан из «АНПИ» – Национальной ассоциации партизан Италии, попробовал навести у них справки о таинственном Богритули. Все рассказывали ему о подвиге русского партизана, но никто ничего не мог сообщить о его происхождении, никто не знал о настоящем имени его. Кто знает, может быть, он был грузином и такова была его подлинная фамилия – Богритули? Нечто похожее слышал когда-то Артем.

Каждый день он приезжал на Стальено. И всякий раз заставал там у мраморного надгробия Богритули ворохи свежих огромных белых генуэзских хризантем. Чьи-то неведомые руки приносили цветы на могилу русского партизана.

– Может быть, вы знаете хоть, кто приносит эти цветы? – допытывался Незабудный у знакомого уже смотрителя.

– Кто? Вы хотите знать – кто? Люди, синьор! Благодарные люди. Их много, этих людей, в сердцах которых всегда будет жить память о храбреце, что лежит здесь. Мольто корадже, мольто корадже!

Пришла было Артему мысль найти православного священника и отслужить поминальную молитву за погибшего. Но усомнился Человек-Гора. «Ведь, поди, коммунист был, вряд ли бы попа звал. Что же я против воли покойника пойду. То не дело».

Он добрался через Ниццу в Париж и прозябал там несколько лет. Тренировал молодых борцов в спортивной школе. Но, еще стоя на могиле Богритули, он молча поклялся себе во что бы то ни стало вернуться в свои родные края, разыскать близких героя и отдать им вместе с бережно хранимой запиской землю с могилы в Генуе.

Артем Иванович и раньше осуществил бы свои намерения, но жил он в последнее время не один. До этого долгие годы он мыкался в полном одиночестве. Короткое время была у него жена, молодая красивая шведка из труппы циклистов акробатов на велосипедах. Но еще до войны она ушла к богатому американскому импрессарио, старше ее лет на тридцать пять. Измученный одиночеством, Незабудный подобрал в приюте для детей так называемых «перемещенных лиц», вызволил из сиротства одну живую душу и твердо решил вернуть ее Родине. Это был сынишка русской женщины, которую знал Артем Иванович. Она вскоре умерла от чахотки в одном из парижских госпиталей. Мальчишка оказался в приюте без рода, без племени... Петя, или, как он уже привык, Пьер Кондратов.

Нелегко было вырвать его из приюта, над которым шефствовало какое-то американское филантропическое общество, уже готовившееся переправить мальчика за океан. Очень сложные отношения царили в мире людей, по тем или иным причинам и в разное время оставивших Родину. Те, кто принадлежал к кругам белых эмигрантов, покинувших страну в первые годы революции, считали, что грехи их перед Родиной за давностью лет большей частью прощены. Большинство из них и правда относились к Советской стране с постепенно нарастающим уважением. Они искренне презирали и ненавидели фашистов, гордились победой русского оружия. Как они выражались, Советская Россия выполнила свою историческую миссию – «славянский щит опять спас Западную Европу от тевтонского меча и рабства». В этих кругах многие жили надеждой снова вернуться на Родину особенно молодежь, уже выросшая на чужой земле и свою в глаза не видевшая. К так называемым «перемещенным» они относились с нескрываемым осуждением и старались не якшаться с ними.

Среди «перемещенных» было очень много всевозможного сброда, человеческого отребья, вынужденного скрываться от справедливого гнева и суда родной земли. Но было тут и немало несчастных, случайно захваченных черным вихрем второй мировой войны. Отринутые злосчастно сложившейся судьбой от всего, что им было родным, они в то же время старались держаться подальше от белоэмигрантов, считая их буржуями, аристократами и чуждым для себя элементом.

Все это очень осложняло дело, когда Артем решил вырвать мальчика из сиротского приюта. Но среди чиновников нашлись люди, приверженные к спорту, они хорошо помнили славу Незабудного. В конце концов ему удалось усыновить Пьера. Ради него одного уже стоило вернуться, чтобы мог расти мальчишка на родной земле среди своих соплеменников, а не мыкаться по приютам в чужих краях. Хотелось возвратить Родине живую душу, чтобы хоть этим как-то отдать малую толику неоплатного долга, в котором всегда чувствовал себя Артем Незабудный. Да и самому хотелось помереть Дома, лечь на покой в родную землю, где, должно быть, давно уже лежит старуха мать, с которой он расстался тогда же – в 1918 году. Но не так-то легко отпустили его домой. Поднялся крик, что он обманным путем завлек мальчика, похитил его из так называемого «свободного» мира и теперь насильно тащит в страну большевиков. Против Незабудного выступили некоторые правые газеты. Он получал анонимки с угрозами, которые, впрочем, не производили на него большого впечатления, так как он привык к подметным письмам, сулившим ему мало приятного еще с давних лет, когда расцветала его борцовская карьера.

Несмотря на то что советское посольство своими встречными действиями поддержало хлопоты Незабудного, местные власти всякими уловками пытались задержать его отъезд. Чиновники придирались к каждой букве документов, цеплялись за любой повод для проволочки.

Спортивная школа предъявила ему огромную неустойку. Пришлось распродать все, что можно, чтобы покрыть долги. Распрощался Артем со многими своими чемпионскими медалями и кубками, только один оставил – «Могила гладиатора». Хоть и напоминал он о тайне, терзавшей душу бывшего чемпиона мира, но не мог расстаться с этим кубком Незабудный. Да и опасно было напоминать этим призом об истории, которую, может быть, не все еще знали или помнили.

Приходили к Незабудному люди, прослышавшие о его намерении вернуться в Советский Союз. Многие из них грозили уже вслух всякими неприятностями, пугали, страшали или, наоборот, пытались сманить, сбить с толку и Артема Ивановича и его приемыша. Посылали к Пьеру и монахов и репортеров. Увивались вокруг

мальчишки какие-то подозрительные субъекты. А один из них уже перед самым отъездом Артема, увидев у него на столе приготовленный к запаковке кубок «Могила гладиатора», наловато подмигнул борцу – дескать, знаем мы историю и со второй вазой... Вот если шепнуть кому-нибудь об этом в Москве, то, пожалуй... Быть бы этому человеку со сломанной шеей, спустил бы его Незабудный с лестницы, да, спасибо, помешал Пьер, вбежавший на рык Артема Ивановича в комнату...

Ни угрозы, ни посулы, ни мерзкие намеки не подействовали. И вот Артем Незабудный вместе с усыновленным Пьером, который называл его дедом, вернулся в родные края.

## **Глава IV**

### **Земляки вы мои, земляки**

Вот откуда взялся в Сухоярке великан, который встретился сегодня утром Сене Грачику и его верному другу Сурену Арзумяну, когда оба приятеля спешили в школу.

Худенький Сеня Грачик, несмотря на прохладную еще погоду, был уже без пальтишка, в одной форменной гимнастерке, с проступавшими у ворота ключицами и угловатыми плечами.

Весь он был словно расперт изнутри жердочками. Тоненький, летучий, шел он, подпрыгивая от нетерпения, – каждый шаг с наскоку, сам весь легкий, напряженный, словно воздушный змей, которого вот-вот запустят и он взмоет упрямо ввысь...

Его друг Сурен, на полголовы выше, выглядел немного увальнем. Он шагал неспешно, нахохлившийся и очень серьезный. Голова у него была круглая, давно не стриженная. Волосы сзади, с толстой шеи на узких покатых плечах, когда он ворочал головой, ездили по воротнику пальто.

Да и сам он, ушастый, круглоглазый, с длинными, сросшимися на переносице, мыском вниз, бровями, маленьким горбатым носом и торчащими, высоко поставленными ушами, очень смахивал на совенка.

Конечно, оба мальчика сразу же обратили внимание на встретившегося им великана. Они заметили его еще издали и теперь

отбегали назад на целый квартал, чтобы снова пойти навстречу и разглядеть как следует еще и еще раз.

– Вот это да! Дядя Степа! – шепнул Сеня Грачик.

– Шагающий экскаватор сто кубов, – подтвердил Сурен.

– Дяденька, достань воробушка, – хихикнул Сеня.

Казалось, великан не обратил на них внимания. Он продолжал шагать по обочине тротуара, огромными махами переставляя толстые ноги в ботинках на плотной каучуковой подошве. Палица в его руке взлетала и с глухим стуком опускалась, оставляя на влажной земле глубокие следы – Типичный Куинбус Флестрин, – изрек с ученым видом Сурен, став еще более многозначительным.

– Точно, Куин...

Исполин внезапно стал. И, прежде чем Сеня успел отскочить, он почувствовал, что какая-то мягкая, бесшумная сила мгновенно вознесла – его под самые, как ему показалось, облака. Неуловимый взмах огромной руки – и мальчишка очутился на карнизе балкона, за перила которого успел судорожно уцепиться. А великан низким, добродушным басом, от которого загудела, казалось, вся земля вокруг, спросил внизу под балконом у оставшегося там Сурена:

– Ну как, хлопчик? Этого воробья достать? Или нехай там остается?

Смущенный необычайностью случившегося, не зная, реветь или же не стоит, Сеня зашептал, свешиваясь с перил:

– Дяденька, съмите меня отсюда поскорее. Я же вам ничего такого не сделал. А то на меня вон уже ругаются. Там тетенька за окном. Она думает – я сам.

И действительно, за стеклом балконной двери появилась худая дама в старомодном пенсне и прическе валиком. Она грозила мальчику обеими руками, воздетыми к небу. Тут же она беззвучно всплеснула ими, так как мальчонка на ее глазах исчез, как бы снесенный неведомой силой.

– А может быть, тебя вон на ту каланчу закинуть, чтобы ты поближе к воробьям был? – вежливо осведомился незнакомец у Сени, поставив его на землю.

– Не надо, дядя! – поспешно взмолился тот, веря, что и это уже может случиться.

– Ну, – сказал Незабудный, – говорите тогда, где у вас тут школа.

– Идемте, дядя, мы вас проводим. Мы сами туда. У нас как раз сегодня каникулы кончились. Первый день занятий. А вам зачем школа?

– Да вот новичка к вам хочу определить.

– А в какой класс? – с нетерпеливой надеждой спросили сразу оба мальчика.

– Сами-то вы в каком?

– Мы в шестом.

– Ну вот, значит, как раз к вам. Ему бы на годик по-старше полагалось, да с языком трудно будет, Лучше уж пусть год повторит.

– А он что, не русский?

– Да нет, русский...

– Это ваш кто – сын? Да?

– На манер того, что внучек.

Ничего не понимавшие мальчишки повели незнакомца-великана в свою школу.

Сеня кинулся подать великану его толстую трость, желтую, отливавшую сквозь лак прожилками и наплывами породистого дерева, – Незабудный поставил ее у стены, когда бережно снимал мальчика с балкона. Сеня протянул руку к трости, схватил ее, хотел приподнять и даже руку отдернул в испуге – трость словно приросла к стене. Он взялся снова, потянул сильнее. Трость шевельнулась слегка.

Артем крикнул:

– Не тронь! Не сдюжишь или еще живот себе сорвешь. Не по носу табак! Это только мне с руки. Я с этим посошком весь свет обошел. Да...

И, легко вскинув трость, в которой, верно, было не меньше двадцати кило, зашагал с мальчишками.

Они вели незнакомца, стараясь шагать в ногу с ним и потому ступая вприскок слева и справа, и победоносно поглядывали на всех прохожих, которые невольно замирали, оторопев при виде исполина. В какой восторг пришли мальчишки, как прыснули они, когда какая-то старушка, которую они обогнали, вдруг съежилась вся, вобрала голову в плечи, шарахнулась в сторону, оглядываясь, суматошно закрестилась:

– Ох, чтоб тебе!.. А я думала, конный какой наехал... Они прошли мимо двух старых деревьев на площади.

– Раинки? – спросил, остановившись, Артем Иванович.

Мальчишки обрадовались, что он знает местное название этих деревьев. Оно повелось по имени несчастной девушки Раи, которую когда-то довел до отчаяния и самоубийства соблазнитель-шахтовладелец. Ее похоронили за оградой кладбища уже в степи. И на могиле выросло дерево всем на диво, не совсем привычного вида, что-то вроде граба, но постройнее. И с тех пор эти деревья стали звать в Сухоярке раинками. Но Артем Иванович сейчас шел, не узнавая родных мест. Он вспоминал, как в былые его приезды в Сухоярку строения, улицы, дома казались ему осевшими в землю, укоротившимися, до смешного уменьшившимися. А теперь, наоборот, все тут как будто вверх ушло и стало непривычно крупным. Все его переросло, все решительно. Только старая каланча, считавшаяся когда-то самым высоким сооружением в Сухоярке, так же, как и он сам, будто укоротилась и присела на корточки между высокими новыми домами в четыре-пять этажей.

Потом он вдруг остановился, прислушиваясь к странным, совершенно невозможным в старой Сухоярке звукам. То были звуки рояля. Они лились сквозь открытые форточки нового дома. Он сначала подумал, что это радио. Но из разных окон доносились разные звуки: то робкие, отрывистые, то повторяющиеся в одном и том же бурном разливе, Незабудный понял: в Сухоярке дети учатся музыке. Вот чудно!

Как все отстроилось вокруг, раздалось вширь, пошло вверх или переместилось куда-то на более высокие места! Артем не узнавал старых улиц.

– А где же Сабочеевка? – вспомнил он.

– Ее еще когда снесли, – поспешил ответить Сеня. – А кто жил, переселили вон туда, кверху, где Дворец шахтера.

Мальчишки шли, перемигиваясь, шушукались тихонько за спиной, как слышал сверху, с высоты своего головокружительного роста Артем. До него донеслось:

– Мимо светофора пойдем. Да?

– Ясно.

Они забежали вперед, повернули за угол влево. И Незабудный послушно последовал за ними. Потом повели его через какой-то пустырь, вышли на большую улицу. «Первомайская», – прочитал



Незабудный на табличке на углу. И тут оба мальчика остановились и, чуточку попятившись, закинув головы, стали внимательно смотреть на своего спутника-великана: какое впечатление произведет на него светофор, всего лишь три недели назад повешенный над перекрестком у Первомайской улицы, – первый светофор в Сухоярке. А светофор, как на грех, горел и горел ровным зеленым огнем, пропуская колонну тяжелых самосвалов, которые шли по Первомайской. К тому же никто не собирался выезжать из боковых переулков, и милиционеру-регулировщику в стеклянной будке на углу не было надобности переключать свет на красный. Но вот, к счастью, появился наконец слева велосипедист. Это катил старый почтарь Гаврилюк, которого хорошо все знали в Сухоярке. Регулировщик схватился за рычажок. Над перекрестком погас зеленый свет, загорелся красный, и Гаврилюк выехал на Первомайскую.

– Сашко! Здоров!

Вглядевшись в Незабудного, старенький велосипедист с большой сумкой через плечо чуть не свалился с седла. Он соскочил на землю, ведя одной рукой велосипед и протягивая издали Артему другую.

– Люди добрые!.. Ой, лишенько мое! Поглядьте сюда! Да то, никак, Артем?!

Они обнялись. Причем старенький почтальон, как ни тянулся на цыпочках, так и не мог добраться до шеи Артема.

– Ну, с прибытием. Да, надолго адресат выбывал в неизвестном направлении. Ну как, на постоянную прописку или временно?

– Рассчитываю, что на постоянную, – глухо проговорил Артем Иванович.

– Эх, ус-то у тебя сивый стал, – бормотал Гаврилюк, разглядывая Артема и обходя его со своим велосипедом вокруг. – А так ничего... Да и времени ведь укатило дай тебе боже! Сколько тут через мои руки одних похоронных прошло... Повестки сначала разносил, а после похоронные. Всяко. Только от тебя вот корреспонденции не было. А уж сколько она, бывало, спрашивала: «Как, мол, ничего нет?» – «Да нет, говорю, все еще пишет, видно»... Ну вот, сам прибыл. Как говорится, распишитесь в получении. Ну, надо считать – свидимся еще. Во Дворец шахтера, где, помнишь, Подкукуевка была, заглядывай, уважь стариков наших. А мне – по адресам. Бывай!

Мальчики заметили, что новый знакомец их как-то поскучнел. Он шел, уже не глядя по сторонам, опустив голову, покусывая седой ус.

Так они вышли к длинному обрыву. Почти отвесный край его как бы отрезал от степной низины небольшую возвышенность, где несколько на отшибе стояло большое белое здание. У входа была прибита табличка: «Школа-семилетка имени Героя Советского Союза Григория Тулубей». Перед самым входом на невысоком постаменте золотыми буквами была выбита надпись: «Герой Советского Союза Григорий Богданович Тулубей».

Двумя огромными шагами перемахнул Незабудный к постаменту. Он стоял перед бюстом, и голова его находилась почти на уровне бронзовой головы Героя. Одной рукой он далеко оттянул на груди отворот пальто, другой лихорадочно шарил у себя за пазухой. Он вытащил оттуда бумажник. Не попадая пальцами под ремешок, наконец отстегнул кнопку, раскрыл, выхватил какую-то фотографию, поднял на уровень лица, протянул к бюсту Героя, взглянул, откинул голову, еще раз сверился и медленно снял шляпу. Он снял шляпу и, как бы прикрыв ею сердце, отвел к левой стороне широкой груди. Так он и стоял с минуту – огромный, неподвижный, не отрывая глаз от бронзового лица Героя.

Мальчики подошли тихонько, пытаюсь заглянуть в фотографию, которую держал теперь в опущенной руке великан. Они увидели, как глубокие морщины у него на крупных скулах медленно заплывают слезами.

– Дядя, вы его знаете? – решил наконец спросить Сеня.

Великан молчал, шумно переводя дыхание.

– Это наш Герой Советского Союза, – заторопился Сурен. – Он без вести погиб. А до этого еще стал Героем. И теперь наша школа его имени. Он председателев сын был... Летчик.

– То ж он, – тихо проговорил Артем. – Богритули.

– Да нет, дядя! Это Тулубей. Григорий Богданович Тулубей.

– Теперь-то уж вижу, что Григорий Богданович...

Знакомое лицо с большими, широко в наклон расставленными глазами, на всю жизнь запавшими в память, смотрело на Незабудного немного сверху, почти в упор. И опять что-то неуловимо знакомое проступало в бронзовых чертах, как просквозило сейчас в надписи «Григорий Богданович Тулубей». Так вот как составил тайное

прозвище свое человек, похороненный на старом кладбище в Генуе. По отцу своему, по собственному имени и фамилии. Артем стоял и вспоминал: когда-то, лет пятьдесят назад, работал с ним на шахтах энергичный и ловкий Богдан Анисимович Тулубей. Они с ним дружили. Неужто тот человек, которого Артем вырвал в итальянском городе из лап гитлеровцев, был сыном Богдана Тулубея? Долго и молча стоял, держа в руке шляпу, прижатую к груди, Незабудный у памятника Григорию Тулубею. И чуть поодаль, не решаясь приблизиться, притихли два друга – Сеня Грачик и Сурен Арзумян. Они еще не понимали, что произошло, но чувствовали, что огромный человек и удивительный силач, с которым они только что познакомились, нашел сейчас что-то очень для него важное и дорогое.

– Ну спасибо вам, хлопцы! – проговорил, потрянув головой и глубоко насовывая на нее шляпу, Артем. – Спасибо, что проводили. Не знаете, директор ваш у себя?

– Он у себя в кабинете... Сегодня первый день после каникул. Он уже, верно, давно тут. Мы вас проводим.

Мальчики распахнули было дверь перед Незабудным и собирались уже проскочить за его просторной спиной, но тут же были выставлены на улицу сердитой нянечкой Феней:

– А вы куда? Пришли ни свет ни заря. Ваша смена вторая, а вы чего спозаранок лезете?.. Вы, гражданин, проходите. Вон третья дверь налево.

Директор школы имени Тулубея Глеб Силыч Курзюмов, которого школьники, с легкой руки остроумца Сурена, прозвали «Хлеб кислый с изюмом», как будто бы ничему не удивился. Ни рост пришедшего, ни то, что он прибыл из Парижа, – ничто не поразило Глеба Силыча. Глеб Силыч вообще никогда ничему не удивлялся или не считал нужным показывать, что удивляется. Он все принимал как должное и обыкновенное. В этом была его педагогическая система. «Удивляться может только тот, кто мало что знает», – объяснял он. Если бы вдруг явился к нему какой-нибудь новый родитель и сказал: «Я, видите ли, только что прибыл с Марса и прошу принять моего марсианчика к вам в школу», и тогда бы, наверное, Глеб Силыч не удивился, а только спросил: «А как у него там, на Марсе, с успеваемостью было? Справку об оспопрививании имеет?» Ничему не удивился и сейчас Глеб Силыч, только сказал:

– Вы бы присели. – И повторил приглашение, так как не заметил, что Незабудный уже давно расположился на стуле перед ним и высится над столом сидя.

Артем стал было рассказывать ему историю Пьера, но Глеб Силыч извинился и сказал, что очень торопится сегодня и с деталями готов более пунктуально ознакомиться в следующий раз или при случае, А пока он хотел бы поинтересоваться документами поступающего, если таковые имеются. Кое-что у Артема имелось. Он еще в Москве запасся чем нужно. И Пьер Кондратов был принят в шестой класс Сухоярской школы имени Григория Тулубея.

Мальчики терпеливо ждали Незабудного у подъезда школы.

– Записали? – спросил Сеня.

– Зачислен, – ответил Незабудный. – А директор у вас, видно, хлопчики, строгий.

– Хлеб кислый с изю... – начал было Сеня, но получил тотчас потайной тумак в спину от приятеля и смолк.

– Ну, а теперь, хлопчики, ведите меня в исполком, – попросил Артем, – Где он тут у вас?.. Значит, как сказали председателю фамилия – Тулубей?

## Глава V

### Дар отвергнут

По дороге мальчиков уже окончательно разобрало любопытство. Они шли по бокам от исполина-незнакомца, переглядывались за его спиной и шушукались где-то на уровне его локтей, мерно качавшихся в такт шагу и глухому стуку ударяющейся о землю трости.

Наконец Сеня не выдержал:

– Дядя, а вы сами кто?

– Незабудный. Слышал про такого?

– Еще бы! – поспешно сказал Сурен. – Это такой был борец.

Сеня тоже не дал маху:

– А я в старом журнале «Нива» у нашей хозяйки на квартире портрет видел и читал – чемпион чемпионов. Он сам помер давно. А вам тот Незабудный кто был? Родственник? Дедушка?

– Человек сам себе дедушкой не бывает, – ответил добродушно Артем Иванович и погладил усы. – Живой я покуда, хлопчики. Хотя,

свободно, может быть, ты прав. Да, я тому Незабудному сын блудный. Складно сказал? Незабудный – сын блудный...

– В рифму, – согласился Сурен.

– Вот именно, что в рифму. Сам я, хлопчики, и есть тот самый Незабудный.

Мальчики только рты поразевали, еще не совсем веря...

Когда Незабудный скрылся в подъезде исполкома, они, подсаживая друг друга, влезли на ограду. Им интересно было, как примут власти такого знаменитого человека.

– Эх, как он тебя: раз – и фюйть на балкон, – хихикнул Сурен. – Вот бы Ксанка видела!

– А я и сам трошки подскакнул и подтянулся.

– Да, «подтянулся»! А сам чуть реву не дал.

– Это кто, я? Сбрехни еще что! А вот ты скажи, почему он у бюста расстроился. Даже заплакал. Видел?

– Я это и без тебя заметил.

– По-твоему, это тот самый Незабудный? Ты как считаешь?..

Между тем Артем вошел в коридор. Он остановился у двери со строгой дощечкой: «Председатель исполкома т. Тулубей Г. П.».

Опять вспомнил Артем, что был у него в молодости товарищ, штейгер в шахтах, Богдан Анисимович Тулубей, тоже рослый, плечистый и статный человек. Но кто же тогда этот Тулубей – Г. П., председатель исполкома? Однофамилец, что ли? Он постучал и вошел.

Секретарь, плюгавенький и сверх меры многозначительный, вскинул недовольно очки на Артема.

– Я к председателю... Председатель у себя?

– Товарищ Тулубей сегодня не ожидают, – сказал секретарь. – На стройке председатель. День, товарищ, сегодня вообще у нас не приемный. Приема посетителей нет. Он, перегнувшись через стол, с опаской и любопытством глянул под ноги вошедшему: не стоит ли тот на чем-нибудь.

– Вы, извините, по какому вопросу?

Артем изложил свое дело. Объяснил, что приехал на неделю раньше назначенного. Очень уж не терпелось скорей попасть в родные места, да и приемному сынишке надо в школу, чтобы он со всеми вместе втянулся с первых дней после каникул. Пока остановился с

сыном в общежитии для приезжих. Отвели угол. Багаж еще на вокзале. Вот только чемоданчик захватил с одной штуковинкой.

– Теперь понятно, – удовлетворенно сказал секретарь. – Возвращенец. Проще сказать – репатриант. О вас нам было уже указание из центра на имя председателя. Через меня проходило. Но не ждали в этот срок.

– Домик у меня тут был. За терриконом. Мать моя в нем проживала. Как мне сказали, померла перед войной. Вот могилу хочу найти, да и тоже со временем туда...

– Насчет могилы также не скажу определенно. Вопрос решался в смысле переноса кладбища. Возможно, и домик ваш бывший, – он сделал нажим на «бывший», – помечен на снос. Я после посмотрю в списке. Уже некоторых выселяем.

– Это почему же? – насторожился Артем. Секретарь скосил глаза и многозначительно сосредоточил взор свой на кончике собственного носа:

– На то имеются определенные обстоятельства и причины. Извините, гражданин, до полного выяснения вопроса сообщать не имею данных.

– Значит, так... И жить негде, и помирать некуда.

Тут секретарь обиделся и даже встал, чтобы находиться, так сказать, на одном уровне с посетителем, тяжело осевшим на стуле.

– Довольно отстало мыслите и странно рассуждаете, гражданин. Как это так некуда? Что за намеки с вашей стороны? У нас похоронное обслуживание вполне на высоте. Венки в районе заказываем, грузовичок украшаем не хуже катафалка. Материи отпускается достаточно.

– Да я пока не о том забочусь.

– Так ведь это я тоже только к слову вашему ж. Проживайте на здоровье себе. Милости просим. Мы это приветствуем. Стало быть, как говорится, из бывших белых будете?

– Не понял я вас.

– Из белых эмигрантов, говорю?

– Из каких же я белых? Шахтер я местный. Из здешних навалоотбойщиков, коренной. Руки-то у меня не из белых. Уголька порубал черного – будьте здоровы!

– Да нет, это я так, для классификации, – засуетился секретарь. – Я объясняю вам вторично: живите на здоровье. Ну, а после перепланировки города в отношении площади для вас...

– Да к чему мне эта площадь? – не понял его Артем.

– Не так вы меня восприняли опять. Я имел в виду жилплощадь. На проживание. Но тут тоже есть указание в отношении вас. У председателя. Порядок будет. Предоставим. Тут Артем немножко замялся. Приоткрыл свой чемоданчик, который до этого поставил на пол возле стула.

– Скажите, – начал он, неловко оглянувшись и затем склоняясь всем своим огромным телом над заскрипевшим под его грудью столом секретаря. – Скажите, а как в настоящее время у вас, если, допустим, пожелает какое-нибудь лицо сделать... доброхотное приношение?

– Недовполне я вас понял...

– Я вам сейчас объясню. – Артем Иванович засмутился, открыл свой чемоданчик, вынул какой-то предмет, бережно размотал плотную материю и поставил перед секретарем на стол свой заветный, серебряный с оливином кубок «Могила гладиатора». – Вот, разрешите?... Хотел бы подарок сделать родному городу. Знаю, очень люди у нас тут страдают через недостаток воды. С молодости сам помню. А я вот читал, Айвазовский, художник был...

– Буря на море, девятый вал, – сказал секретарь, – известный.

– Да, именно. Так он на свои сбережения водопровод в родном городе провести хотел, все добивался. Я когда-то по плупости всех тут водкой спаивал за свой счет. Озорной был, да и деньги шальные водились. Ну, а сейчас тоже бы имел желание, только, конечно, не так... Мечта такая у меня... Чтобы помочь городу жажду утолить. А то, я вижу, бабы у вас все у колодцев с ведрами в череду стоят. И водовоза встретил старого. Только что цистерной обзавелся вместо бочки, а суть вся прежняя. Всухомятку еще живете.

Секретарь вскочил. Он неожиданно очень обиделся:

– Попрошу!.. Попрошу принять прочь. Пожертвований в частном порядке не принимаем. Тем более я лично. Насчет воды это уж позвольте, и без вас позаботятся кому надо.

– Так я ведь это от всего сердца, поймите. Секретарь стучал по столу кулачком, натянув на него, впрочем, предварительно обшлаг своего пиджака.

– Примите, прошу, прочь. Сказано ясно! Вам надо договориться с руководством. А сейчас уберите... Во избежание чего-либо уберите. Люди каждый момент могут взойти и занять подозрение. Неловкий вид получится. Видно, вы меня плохо понимаете, гражданин.

И мальчишки, которые, взобравшись на ограду и держась для верности за дерево, смотрели на всю эту сцену через окно, стараясь уловить обрывки слов, доносившихся через форточку, увидели, как Артем Иванович неверными руками смущенно укутал обратно в материю удивительной красоты вазу, сунул ее неловко в чемодан и побрел к дверям. У мальчиков даже сердце заныло – таким огорченным показался им их новый знакомец. От огорчения Незабудный даже трость забыл у стола. Секретарь вскочил, чтобы нагнать посетителя и возвратить ему дубинку. Мальчишки разом замерли за окном, предчувствуя... И действительно, сейчас же сквозь форточку послышался глухой стук чугунной, окрашенной под дерево дубинки, грохнувшей на пол, и истошный вскрик бедного секретаря, который, схватившись обеими руками за одну ногу, запрыгал по кабинету на другой.

## **Глава VI**

### **Пьер Кондратов из Парижа**

С первого же взгляда на этого мальчика Ксанка поняла, что она влюблена по-настоящему и так, как никогда еще в жизни. В прошлой четверти все это было не так. Да, тогда было совсем не то... Бабушка возила ее в район, И там они пошли посмотреть спектакль приехавшего из Киева Театра юного зрителя, Шел «Тимур и его команда». Он был так хорош, этот Тимур, что совершенно покорило Ксанкино сердце, и она даже решила написать ему письмо. А так как Мила Колоброта – дочка знаменитого бригадира проходчиков, соседка по парте и самая близкая подруга – во всем должна была делить думы и увлечения; Ксанки, то писали письмо вместе. И чуть было уже не отправили его. Но случайно они увидели в одном журнале фотографию и по ней узнали, что Тимура из ТЮЗа играла артистка, тетенька далеко уже не молодая. И увлечение рухнуло. Да, совсем это было не то, что сегодня.



И полгода назад было совсем по-другому, когда они опять, уже вдвоем с Милкой, решили, что обе влюблены в знакомого тракториста Есипова с целины портрет его они видели в «Огоньке». Они написали ему письмо, для чего бегали к знакомой исполкомовской машинистке и просили у нее разрешения «постучать для стенгазеты» – почерк у обеих подруг был далеко не каллиграфический. А тракторист, как на грех, приехал в гости к шахтерам, попал в Сухоярку и пришел прямо в дом к Милке. И все были сконфужены, а больше всего, кажется, сам знаменитый тракторист, который решил, что ему писали две взрослые и образованные девицы. «Смотри какие грамотные!» – оправдывался он. Но гулять на Первомайскую и в кино «Прогресс» он пошел не с Милкой и не с Ксанкой, а со старшей двоюродной сестрой Милы, Валерией, гостившей прошлым летом в Сухоярке. Да, он пошел с ней, хотя ни одного письма она ему никогда не писала...

И с Сеней Грачиком, когда они в зимние каникулы возвращались вдвоем после школьной елки и пообещали друг другу, что будут теперь всегда как брат и сестра, все было по-другому.

Нет, все было не то. А теперь Ксанка чувствовала – то! И надолго. Может быть, уже и навсегда. Во всяком случае, уж на всю последнюю четверть, до самых летних каникул. Новичок понравился сразу всем девочкам в классе и вызвал любопытство и настороженность мальчишек.

– Вот, ребята, – говорил Глеб Силыч, вводя его в класс, – принимайте новенького, зачислен в нашу школу. Он из-за границы... Ничего такого особенного, – поспешил добавить Глеб Силыч, заметив блеск яростного любопытства, сразу вспыхнувший во всех глазах, – просто из Парижа. Приехал к нам в Советский Союз на постоянное жительство. Будет учиться с вами... Арзумян, вместо того чтобы ерзать и шушукаться, ты бы взял да и показал всем на карте, где Париж, – напомнил бы тем, кто нечетко знает то, что давно проходили в классе.

Лучший ученик класса Сурен Арзумян, которого все в классе звали Суриком, подошел к карте и уверенно ткнул пальцем в самый большой кружок на том месте «немой» карты, где подразумевалась Франция.

– Правильно, – сказал Глеб Силыч, – здесь. А ты что, Грачик, поднял руку, чего тебе?

– Можно? Я скажу, – заявил Сеня.

– Что скажешь? Где Париж?

– Нет. Кто его дедушка, – ответил, вскакивая, Сеня. – Мы с Суриком Арзумяном уже с ним знакомые. Он знаменитый борец, чемпион чемпионов всего мира... Он...

– Возможно, возможно, – перебил его Глеб Силыч. – Вполне допускаю, но не вижу в этом основания для крика с места.

И Глеб Силыч, пожелав всем познакомиться, но не нарушать нормального хода занятий, вышел.

Новичка тотчас же тесно обступили. Он стоял, упрямо наклонив голову, прочно расставив ноги. Большие пальцы рук были засунуты под пояс узких брючек, а другими пальцами новенький настороженно поигрывал над карманами. Вид у парня и вся, как решили мальчишки, «выходка» его были хотя и не вызывающими, но бывальыми. Чувствовалось, что в обиду себя он не даст. Но, черт возьми, какие узенькие брючки обтягивали его ноги! А какая вельветовая, хотя и потертая до пролысин на локтях, курточка была заправлена поковбойски под брюки! И прическа со взбитым чубчиком над лбом... С ума сойти!

Девчонки так и стригли его глазами, успевая, впрочем, тотчас отводить их в сторону с равнодушным видом. А мальчишки снисходительно посматривали на стаченные по-модному, но побуревшие ботинки и отвороты замахрившихся, хотя и остро заутюженных брюк.

– Как твоя фамилия? – спросила Мила Колоброда.

– Пожалуйста? – переспросил новенький.

– По фамилии как?

– Пьерг Кондргатов, – ответил тот краснея.

У него была какая-то особенная картавость. Не то чтобы он не произносил буквы «р», нет. Но он подкреплял ее еще каким-то звуком, и получалось «Пьерг Кондргатов». Это тоже всем понравилось. Звучало совсем необычно, очень по-иностранному. Словно ветер далеких стран пролетел через шестой класс сухоярской школы. Все чувствовали себя несколько возбужденными. И глаза у новичка были красивые. Только он никому не смотрел в лицо, а все время опускал длинные ресницы.

– Пьер Кондратов – пи эр квадратов... – с таинственным видом произнес Сурен Арзумян. Недаром он считался самым образованным мальчишкой в шестом классе и всегда заглядывал в учебники старшеклассников. – Пи эр квадрат – площадь круга...

– Молчи ты, – тихонько оборвал его Сеня, – сам ты площадь круга! – И он несколько раз обвел пальцем вокруг широкой физиономии приятеля.

Все засмеялись.

Но тут, раздвигая плечом и локтями собравшихся, вплотную к новичку подошел Еремей Шибенцов, по кличке «Ремка Штыб», самый фасонистый парень в школе, первый силач и последний ученик класса. Он задержался в учительской, куда его вызвали в первый же день после каникул, за время которых он тоже успел отличиться на улице у него. Теперь он опешил наверстать упущенное, так как любил блеснуть знанием иностранной жизни.

– Алле, алле! Бонжур-абажур! – приветствовал он Пьера. – Паризьян из обезьян? Гран мерси, не форси!

На этом познания Штыба по части французского языка исчерпались, и он счел за благо перейти на отечественный.

– Садись ко мне, – предложил он новичку. – У меня свободно. Сильвупле на сопле. Все от меня отсаживаются.

Садись, если не трусишь. – Он с вызовом посмотрел в лицо парижанину.

– Я... не тргусишь, – мягко сказал новичок и не спеша пошел за Штыбом к его парте, провожаемый взорами Ксаны и Милы, которые напрасно трясли отрицательно головами и делали страшные глаза, чтобы показать Пьеру всю безрассудность его решения.

– Это ужасно, – сказала своей подруге Ксана. – Ремка его испортит своим влиянием.

– Еще кто на кого повлияет, – протянула Мила.

И действительно, пока что все с удовольствием ощутили на себе известное влияние новичка. Через минуту уже весь класс жевал поделенную по-братски, пахнущую мятой ароматическую резинку «чуингам».

Когда старая учительница литературы Елизавета Порфирьевна, припадая на ногу, пробитую осколком авиабомбы во время войны, вошла в класс и отставила к стене палку с резиновым наконечником,

она с удивлением прислушалась и заметила, что весь класс легонько чавкает.

Но тут все наперебой стали объяснять ей, что в классе новенький, да еще из Парижа. А сам Пьер с любезной готовностью встал и галантно угостил учительницу жевательной резинкой.

Елизавета Порфирьевна, не в пример Глебу Силычу, никогда не скрывала, что она удивлена, если было чему удивляться. Наоборот, она радовалась, что на свете происходят удивительные вещи. Она и сейчас очень заинтересовалась, поблагодарила, но аккуратно отложила гостинчик парижанина в свою старенькую сумку, заявив, что попробует на вкус в другой раз. А затем, подойдя к парте, где сидел новенький, стала с нескрываемым любопытством расспрашивать его о Франции, о Париже. Она когда-то в молодости, очень уже давней, ездила с учительской экскурсией в Париж, для чего десять лет откладывала деньги из своего скудного жалованья.

Елизавета Порфирьевна Глинская, в чьем классе учился когда-то и Григорий Тулубей, была из тех людей, без которых в мире стало бы куда больше паутины и плесени. Она до старых лет сумела сохранить неукротимый интерес ко всему, что волновало ее в молодые годы, когда она, похлебав жиденького супа в дешевой студенческой столовой, бегала на все мало-мальски интересные публичные лекции, ночами простаивала в очередях за билетами в Художественный театр или на концерты Шаляпина и Собинова, носилась с записной книжкой по музеям, круглые ночи напролет читала книги о Софье Ковалевской, бегала на Курский вокзал в Москве, узнав, что из Ясной Поляны приезжает Лев Толстой. В подобных людях сохраняется молодость века, и старость бессильна что-либо сделать с ними.

Сейчас Елизавета Порфирьевна сильно хромала. Она едва не лишилась ноги в дни, когда вернулась из области в Сухоярку, которую безжалостно и оголтело бомбили гитлеровцы, – вернулась, чтобы помочь эвакуировать своих питомцев-школьников: их вместе с матерями отправляли в восточные районы.

Но и сейчас она была по-прежнему подвижна, неутомима и любопытна до всего, что стоило внимания. Организовывала интересные экскурсии, устраивала самодеятельные концерты, сама читала лекции о писателях и художниках для сухоярских шахтеров. Когда она отдыхала, никто не знал, так как ее заставляли чуть свет уже

в учительской, а ночью в ее окне постоянно горел огонь над столом, где она проверяла ученические сочинения. «Я, как Нахимов без корабля, без школы жить не могу», – отшучивалась она.

Сейчас, подойдя к парте, за которой стоял Пьер, опираясь на нее рукой, она внимательно рассматривала новичка. – Очень хорошо, – промолвила она затем. Значит, будет у нас в классе Петя-Пьер, пти Пьер, маленький Пьер. Ну, правда, уже не очень маленький... А как там, голубчик, на набережной Сены, все еще торгуют букинисты старыми книжками? Замечательные букинисты там, ребята! Каких только книжек у них нет! Я там часами пропадала... Но оказалось, что Пьер там не пропадал. Он никогда не бывал у букинистов. Зато, когда Елизавета Порфирьевна, понимая настроение класса, попросила его рассказать что-нибудь интересное о Париже, он сейчас же с готовностью принялся рассказывать, как идут семидневные гонки на парижском велодроме и как на его глазах встречали первую красотку Европы – киноартистку Софи Лорен. Это было совсем не то, чего ждала от него Елизавета Порфирьевна, и она поспешила остановить Пьера, чтобы не без труда вправить урок в нормальное русло.

А во время перемены все опять обступили новичка, оглушая его всякими расспросами. Но теперь уже на все отведал за своего нового соседа Ремка Штыб, почувствовавший себя хозяином положения и покровителем новичка. За время прошедшего урока он уже успел шепотом выспросить у новенького все, что требовалось знать о нем, и сейчас, жуя полученную им добавочную порцию резинки, бойко отвечал за Пьера, объясняя, что дед у того знаменитый борец, чемпион чемпионов, Артем Незабудный, самый сильный человек на всем свете, и Пьер обещал, что познакомит его, Ремку, с силачом. И тогда все будут знать, как задевать Еремея Шибенцова и что из этого может получиться...

– А ну, геть, извини-подвинься, – говорил Ремка, отпихивая локтями наседавших на его парту любопытных одноклассников. – Ну, хватит, хватит вам приставать к человеку. Кажется, я вам объяснил все и – оревуар-резервуар.

Сеню Грачика больше всего поразило, что Ксанка, застенчивая тоненькая Ксанка, тоже чересчур уж заинтересовалась новичком. Он слышал даже, что она шепнула своей подруге Миле Колоброта, чтобы та позвала сегодня парижанчика к себе на именины. А высокая,

полненькая, обычно гордо державшаяся Мила, теперь стоя неподалеку от парты, где сидел новенький, принялась вдруг громко рассказывать известную всему классу смешную историю о том, как ребята стали переписываться с болгарскими школьниками и как один школьник из Пловдива принял Милу за мальчишку, потому что она подписалась в своем письме: «Привет Людмила Колоброта». И стали приходить из Болгарии письма: «Людмилу Колоброту. Здравствуй, дорогой Людмил», так как в Болгарии Людмил – это мужское имя. Зато Ваней, например, могут, наоборот, звать девочку.

– А что есть это за Гргигоргий Тулубей? – спросил вдруг новичок. – Везде и везде я видел – Тулубей, Тулубей... И Сеня, дернув его за рукав, сказал негромко:

– Тише ты. Это отец ее, Ксанкин. Ей тоже фамилия Тулубей.

Но, хотя Сеня Грачик и Сурен Арзумян были еще накануне приглашены к Миле Колоброта на день рождения, провожали подруг, Ксану и Милу, из школы Рейка Штыб и Пьер Кондратов, новичок.

## **Глава VII**

### **Неприятности одна за другой**

Те, кто верят в приметы, утверждают, что будто, если с утра были две неприятности, случится и третья.

Первой неприятностью этого дня у Сени было его невольное утреннее вознесение на балкон. И ведь надо же, чтобы это оказался именно балкон квартиры Тулубей. Сеню, конечно, узнали и подумали бог весть что.

И так уж хозяйка квартиры, где жил со своим отцом Сеня, болтливая и кокетливая не в меру Милица Геннадиевна, любила намекнуть, завидя проходящую мимо окон Ксану: «Поспешай, Сенечка, поспешай! Вон уже симпатия твоя отправилась». Симпатия! Что взрослые вообще могли понять во всем этом?

Никогда бы даже себе самому не признался Сеня Грачик, что он давно уже слишком много и часто думает о Ксане. «Просто мы с ней хорошие товарищи – вот и все!» – поклялся бы он.

Но утром, когда он выходил на улицу, чтобы идти в школу, и думал, что есть на свете Ксана, и знал, что сейчас он увидится с нею, все обещало ему что-то хорошее. И хотелось кричать: «Здравствуй,

утро доброе! Здорова была, галка на дереве! Эй ты, облачко над терриконом, здравствуй! Пой, гудок грузовика, сигнал, пой! Фырчи, мотор, катите, толстые колеса! Привет вам! Вейся, флаг, на Совете! Салют тебе! Гони, ветер, пыль по дороге, греми, ведро, у колодца!»

И Сеня казался себе тогда очень большим. Всему хватало места в нем. И порхавшему по стенам радужному зайчику от мотавшейся в ветре форточки. И тугой зеленой травинке, с непонятной силой пропарывающей асфальт на улице. И песне о «Варяге», которую передавали по радио. И мохноногому коню-битюгу, который вез навстречу кладь, прочно, гордо, как бы с выбором ставя свои чашеобразные копыта под светлыми султанами и потряхивая в такт шагу белой, как ковыль, гривой.

Всему было место. И только сердце от радости не вмещалось в груди.

И когда Ксана появлялась в классе, то в груди и вокруг становилось еще теснее. Потому что, честное слово, казалось, некуда от нее деться. И куда бы ни смотрел Сеня, глаза его наталкивались на нее. И даже правила немецкой грамматики делались вдруг необыкновенно значительными и важными, хотя сосредоточиться на них было совсем уже трудно.

Когда же он проходил с Ксаной после школы мимо пивной забегаловки – как на грех, она была недалеко за углом, – то, наоборот, пьяные начинали сильнее толкаться, словно нарочно, и грубые, плохие слова принимались позорить весь мир, все, на чем свет стоит, с ужасной, бесстыдной громогласностью. И сердце Сени сжимало болью, и сам он ежился от стыда, страхась, что Ксана услышит, горько обидится, как будто он виноват во всем этом безобразии, которое еще встречается в жизни.

Итак, значит, первой неприятностью было вознесение на балкон. Вторым огорчением этого дня было то излишнее внимание, которое Ксана проявила по отношению к новичку из Парижа. Конечно, Сене полагалось бы быть, как передовому пионеру, особенно внимательным к приезжему, да еще сироте и наполовину иностранцу. Но не мог он чего-то преодолеть в себе, не понравился ему с самого начала новенький.

Между тем Артем Незабудный тоже пребывал в состоянии далеко не веселом. Прием у секретаря исполкома задел и обидел его. С

квартирой дело, видимо, тоже не устраивалось. Да и кроме того, пока он ходил по коридорам исполкома, он наслышался уже, что с жильем дело обстоит в Сухоярке еще туго. Понаехало много народу на какое-то соседнее строительство, и людям живется тесно. И многое из того, что он приметил на улицах, огорчало его. Он ждал лучшего. Давно уже он потерял веру в зарубежные газеты, всегда готовые наболтать невесть что о Советском Союзе. Но сейчас он сам с излишней придирчивостью и уже каким-то недоверием, вдруг возникшим в его усталой душе, приглядывался ко многому. Показались ему не слишком хорошо одетыми люди. Последнее время ему приходилось жить среди тех, кто был одет не всегда опрятно, но более модно и фасонисто, хотя и жил порой впроголодь.

Потом он увидел, как у булочной выстроилась очередь за хлебом, поинтересовался осторожно и узнал, что ввиду большого наезда людей на строительство с хлебом бывают еще иной раз и перебои.

Боль в сердце сегодня что-то так и не могла улечься. Все ворочалась и ворочалась в груди, то выбирая себе местечко почувствительнее, то кидаясь в левое плечо и просачиваясь колючими мурашками в кончики пальцев.

Мерно и печально зазвонил колокол в церкви. Кого-то провожали в последнюю дорогу. Отходил уже человек свое на этом свете. Артем Иванович зашел в старенькую церковь. Народу было немного, и все люди немолодые. Но знакомых не оказалось. Незабудный механически коснулся щепотью лба, груди и плеч, огляделся в церковном сумраке. Потом спросил тихонько у одной старушки, кого хоронят. Та назвала фамилию – незнакомую – и неодобрительно покосилась вверх на Артема Ивановича.

Удивили его нищие на паперти. Их, правда, было только трое, но они стояли на тех же местах, где стояли, почитай, сорок лет назад, и так же бормотали, как тогда, только немножко потише, как показалось Незабудному. Один из просящих узнал вдруг Незабудного, подошел, закрестился, запричитал. Вспомнил его и Артем. И фамилию его припомнил: Забуга. Этот и в старое время всегда просил Христову милостыню, пропойца, ругатель, калика переходжий, ворюга, лентяй и бездельник.

– Ишь ты, какой видный, да ладный, да статный! – забормотал заискивающе нищий. – Господи Христе, мать божья, удостоился



еще разок встренуться. Одели чем-нибудь мытаря грешного. Тебе-то за грехи твои вон как воздалось, а я-то, видишь, как был гол и наг, таким сырым и остался. Не буду бога гневить, роптать не стану... Но ты за грехи свои, за бега свои дал бы мне десяточку. Отмолю перед господом.

Он тыкался в грудь Артему, пытался поцеловать его руку. От него несло водочным перегаром. И чистоплотный, простодушный, но ненавидевший всякое юродство, как он говорил – фортелизм, Незабудный рассердился в конце концов.

– Что ты на меня смотришь, богова твоя душа?.. – Он говорил негромко, но казалось, что все пространство вокруг само набухло этим глуховатым, громоподобным рыком, исходившим из неохватной груди. – Что толку от того, что ты тут околачивался при своих, когда я в бегах был? Да, что толку с того? Ты на дне своей торбы хоронился и от правых, и от виноватых, в суме своей душонку прятал. Groшовую душонку! Тебе передо мной гордиться нечем. Да, нечем! Это ты оставь, слышишь? Пошел ты к богу в рай!.. Встретился один старый знакомец. Был когда-то мелким лавочником, а теперь, судя по всему, спекулировал чем попало. Он уже успел где-то прослышать о возвращении прославленного земляка. Сразу узнал Артема, подошел к нему запросто, потянулся, чтобы почеломкаться, да не достал, махнул рукой. Взял приезжего за локоть и сразу спросил, не привез ли он чего-нибудь такого – заграничного, ходкого. Желательно по дамской линии: чулки там нейлоновые, может, ткань какая? И тут же стал жаловаться на всяческие притеснения и что ходу никакого не дают его инициативе, а при его-то оборотистости да бережливости он бы давно... По его словам выходило, что все делается не как надо, все плохо и толку никакого все равно не будет. Он шипел, облизывая губы, легонько всхлипывая, и нудил, нудил и ругал вся и всех вокруг:

– Церкву чуть было не запретили. Говеть негде было. Ты, чай, говеешь?.. Бросил? Напрасно, Артем... Людям ты все равно нужен не будешь. Ты хоть о душе подумай.

Артему Ивановичу, настроенному в этот день несколько торжественно, вдруг стало противно слушать. Он хотел уже отойти, но тут старичок, словно спохватившись, нагнал его и стал ему выговаривать за то, что-де Артем Иванович долго отлучался, и того ему люди не простят.

Артем хмуро слушал, а потом вдруг грубовато оборвал:

– А ты-то чего гоношишься? Да. Ты-то?! Сам говоришь, что малость деньжонок скопил. Так в кубышке своей и жизнь провел. И сейчас в ней с головой сидишь. Тебе, брат, тоже задаваться-то передо мной нечего. Один был архаровец – Родину у меня на сорок лет, почитай, украл, гад смердящий! С чего это ты ябедничаешь на всех? Есть такие – голова оплешивела, а сердце шерстью обросло. Видал я таких. Не попадался бы ты мне лучше!.. Он собрался уже уйти, как к нему подошел, отслужив похоронную службу, старенький попик, отец Кирилл Благовидов, которого он знал еще с молодых лет. Он венчал когда-то Артема с Галей.

Ласково заговорил:

– Вернулся, блудный сын? Окончил странствование свое? В добрый час, в добрый час! Ну, приходи исповедоваться. Вместе грехи твои замолим перед всевышним, перед отечеством.

Артем подошел под благословение, но, уже раздраженный попреками, ответил не очень вежливо:

– Чего же я буду, батюшка, перед вами исповедоваться? Да, чего? Ведь я вот вижу, так получается: это верно – сорок лет я по свету бродил и действительно от своего дома отбился. Ну, а вы тут дома были ведь тоже не с народом, как я смекаю, а в сторонке. Так оно?

– Нет, ошибаешься, Артем, я с народом был, – возразил отец Кирилл. – Я с ним и в беде, и в горе, и во всех страстях оставался.

– Были-то вы вроде с людьми, – оказал Артем, напрягая мысль, которая все ускользала от него, так как боль в сердце нарастала с каждой минутой, – то верно, да ведь звали-то не к жизни, не к делу, нет, а к богу призывали уйти. А я хоть и сам ушел, да к людям как-никак. Плохие или хорошие, а люди. Живут. На земле живут. И я среди них жил и горе мыкал. Конечно, блуждал я. То правда. Обманывали меня. А веры в людей я не лишился, хоть всякой пакости навидался предостаточно. Так что вы не обижайтесь, батюшка, мне перед вами исповедоваться не в чем.

– Не передо мной... Неразумно ты говоришь, Артем... Не передо мной, а перед всевышним. Что же, ты и от него отрекся?

– Я от него, батюшка, не отрекся. Да он вот не очень-то за мной доглядывал. Допустил вон такое. Бросил одного...

Он махнул рукой и пошел, угрюмый, невероятно большой, хотя и ссутулившийся. Отец Кирилл только покачал головой ему вслед.

Неладно было на душе у Незабудного. Дали знать себя волнения длительного переезда, и непомерная трудность принятого решения, и усталость, и где-то вдруг снова пробравшиеся невтерпеж жгучие сомнения, заползшие в душу, и обида в исполкомовском кабинете, глупые попреки – все теперь тяжко навалилось на сердце. По дороге в общежитие для приезжих, где он пока остановился с Пьером, пришлось присесть неподалеку от рынка на скамейку возле остановки автобуса.

Здесь тоже к нему немедленно подскочил развязный верзила. Это был коновод гулящих парней, Вячеслав Махонин, по кличке «Махан», недавно выгнанный из училища при шахте и вечно околачивавшийся либо на рынке, либо на Первомайской, у кино «Прогресс», либо возле забегаловки. Опытный глаз Махана сразу определил заграничное происхождение просторного серого пальто, несколько обвисшего на похудевшей фигуре.

– Мони есть? – шепнул Махан, подсаживаясь.

– Как? Чего ты? – не повял Незабудный.

– Мони, говорю, есть? – повторил Махан и, чтобы быть понятным, потер пальцами, сложенными щепотью. – А смок, сигарет?

– Я из тебя сейчас такой «смок» сделаю, ты от меня, гнида, получишь «мони» такие, что и свои позабудешь, не то что заграничные! – рявкнул Незабудный.

Махану показалось, что сама земля ходуном заходила под ним. Артем Иванович хотел приподняться, но сердцу вдруг стало совсем плохо. И он только плечом легонько двинул в сторону надоедливого парня. Но этого было достаточно, чтобы того отнесло метра на два к краю тротуара.

## Глава VIII

### Стар и млад

Между тем Сеня Грачик, чтобы хоть немножко скрасить этот столь сомнительно начавшийся для него день, порылся в карманах, нашел там мелочь и решил доставить себе удовольствие – покататься в последний раз на карусели, которая еще оставалась на базарной

площади после окончившихся вчера каникулярных праздников. Уже по тому, как вел себя Сеня на таком заманчивом сооружении, как карусель, можно было определить, что это за человек – Сеня Грачик... Все дети ехали как дети. Кого родители посадили верхом на лошадку, кто сам сумел забраться в самолет или автомобильчик, но все ехали, крепко держась руками за седла и сиденья, пряча в широко раскрытых глазах легкий испуг и преклонение перед чудом техники. Ребята уносились по кругу, сохраняя напряженную неподвижность, лишь слегка скашивали глаза, ловя обнадеживающий взгляд отца или матери, посылаемый с твердой земли в момент, когда те поравняются с ними.

Всего этого Сене было недостаточно. Он только один круг проехал так, как другие, в лодочке, где ему досталось место. Затем лег поперек нее. Потом он сел задом наперед. Следующий круг он проехал, закрыв один глаз, потом зажмурил оба и к тому же зажал уши. Когда он появился опять перед сидевшим неподалеку Артемом, он уже стоял в своей лодочке на четвереньках и смотрел себе под ноги назад. Видно было, что это человек со смыслом, исследователь и экспериментатор. Ему не терпелось все испробовать и испытать на себе. Во всем он искал свой толк и корень дела.

Каким бы манером проехал он еще раз по кругу, никто так и не узнал, потому что у Артема Ивановича, глядевшего издали на карусель, вдруг закружилась голова, он побелел и, внезапно отвалившись на спинку скамьи, весь обвиснув своим громадным телом, закрыл ладонью глаза.

И Сеня, увидев это и теперь уже зная, с каким знаменитым человеком он сегодня утром познакомился, соскочил на ходу с карусели и бросился к старику:

– Сердце? Незабудный кивнул.

– Перебои? – допытывался Сеня.

Артем Иванович только бровями вниз повел. Кивать уже было больно.

– Жмет?.. – быстро переспросил Сеня и исчез.

Артем приоткрыл глаза, но мальчика уже не было. «Удрал, испугался», – с тоской подумал Артем.

Но не прошло и трех минут, как Сеня снова появился возле Артема Ивановича, на ходу зубами вытаскивая пробочку из

маленького пузырька с валидолом.

– Не проходит? Незабудный помотал головой.

– Вот пососите, дядя, пробочку.

– Ты, я вижу, толк в этом деле знаешь, – проговорил Артем Иванович, ощутив охлаждающий вкус валидола во рту и слегка отдышавшись. – У кого это ты науку прошел?

– У папы моего.

– Отец у тебя доктор, что ли?

– Нет, не доктор, – тихо ответил Сеня, – шофер он.

– Тоже с этим мается?

– У него последствия бывают... – неохотно ответил Сеня. Он явно не желал продолжать. Помолчал, внимательно поглядев на Артема, и, убедившись, что старику полегчало, вдруг спросил: – А у вас, дядя, кстати, семьдесят две копейки не найдутся?

– Это на что тебе понадобилось?

– Да у меня от карусели только восемьдесят копеек оставалось, а в аптеке надо было рубль пятьдесят две. Вы не беспокойтесь, мне и так поверили. Потом, говорят, занесешь, если будут. Да раз такое дело, и без всего бы отпустили.

Артем Иванович нашарил в кармане рубль:

– Иди, сынок. Отдай долг. Спасибо скажи, что поверили.

– Это я после. Лучше я с вами посижу. Можно?

– Сиди на здоровье, дорогой.

И Сеня сидел рядом с великаном, сильнее которого никогда не было на свете, сидел, улыбаясь, очень довольный, заглядывая в лицо своему огромному собеседнику. А мимо шли из школы ребята-старшеклассники, и все видели, с каким человеком сидит Сеня Грачик. Мальчики из старших классов шли, красуясь перед приезжим нарочито натруженной горняцкой походкой, перенятой у отцов. У многих верха школьных фуражек были придавлены и промяты с нашлепом, фестонами, наподобие верха шахтерских касок. И школьные сумки у некоторых были специальными крючками пристегнуты к поясам на манер шахтерских лампочек.

Завидев Сеню, они степенно здоровались с ним, хотя уже виделись в школе в этот день:

– Здорово, Грачик! Кончал уже? На-гора?

– Букет! – по-шахтерски отвечал Сеня. Потом валился гудок на шахте. И вскоре пошли по домам шахтеры, кончившие смену, А навстречу им выходили жены.

И, глядя на них на всех, Незабудный почему-то вспомнил Бретань, рыбацкий поселок, где ему пришлось застрять на некоторое время. «Человек везде добытчик, человек уж такой, – думал про себя Незабудный. – Человек свое возьмет – под водой или под землей, а возьмет. Да, – думалось ему, – что-то есть схожее у рыбаков с горняками для тех, кто знает, почем фунт лиха, пробовал сам промышлять рыбу в море или рубить уголек под землей. Море устрашает новичка своей настезь распаханной беспредельностью, а подземелье гнетет с непривычки глухой, безысходной теснотой. Как будто и нет ничего похожего... А ведь так вот тоже встречаются рыбацкие жены своих мужей, вернувшихся с моря, как встречаются тут поднявшихся из-под земли на-гора Кормильцев. Человек везде добытчик, и труд его нелегко, но всему основа. И только тот, кто проваландался всю жизнь на берегу, не выходя ни разу в море на промысел, кто гулял лишь по поверхности земли, не спускаясь добытчиком в ее недра, не понимает этого.

Люди идут гордо. Сами себе добытчики, сами себе хозяева».

Жизнь, уже совсем по-новому для Артема устоявшаяся, уверенно текла мимо него, а ему не терпелось войти в ее течение. Ему больше не под силу было оставаться одному как бы на пустынном берегу. Ему хотелось плыть со всеми. Боль в груди отпустила. И он сидел, прислушивался и присматривался, то с умилением узнавая что-то до слез знакомое с давних детских лет, то недоверчиво дивясь всему, что было для него приметам новой для этих мест жизни.

Инвалид шел с красивой женщиной, должно быть женой. Легонько поскрипывал протез в добротном ботинке. Шел человек хотя и прихрамывая, но степенно, с достоинством. На нем было хорошее пальто из бобрика. Одной рукой опирался он на узловатую трость, другой – на руку жены. И впереди чинно шла девочка в новеньком нарядном полупальто. И видно было, что семья живет дружно и с достатком.

Две хозяйки показывали друг другу на углу покупки, только что сделанные в магазине. Пальцами вспарывали обертки, щупали. Обе были довольны.

На автобусной стоянке скопилась очередь. Народ был больше всего молодой. Многие в форменных фуражках и с книгами. Пришел автобус. Взял всех. Только один парень застрял в дверях. Так и ехал он, стоя на подножке одной ногой и весело помахивая связкой книг. Чья-то рука сверху на всякий случай крепко держала его под мышку.

Шла по улице, то и дело останавливаясь, молодая женщина в клеенчатом плаще поверх стеганки с большим бумажным рулоном и ведерком. Она расклеивала афиши.

Афиши были разные. Кино «Смелые люди», «Молодая гвардия». Спектакль областного театра «Овод». Лекция «Будущее нашего района». И объявления: «Срочно нужна электросварщица», «Требуются чертежники», «Требуются опытные няни». Вообще, как видно, многие тут сегодня требовались.

Через перекресток ехали и ехали все в одну сторону, один другому вдогон, грузовики, самосвалы, тяжеловозы с прицепами, груженные кирпичом, строительным лесом, какими-то металлическими конструкциями. Где-то, видно, неподалеку шли большие работы. Проехали на нескольких машинах люди. Все они были в брезентовых, коробом стоявших куртках. И все пели. Песня перелетала от машины к машине. Песня неслась, как лодка на волнах, то совсем было пропадая, то снова взлетая, когда ее подхватывали на следующей машине. И долго еще было слышно эту песню уже с дальней улицы. А навстречу автоколоннам провезли целый дом. Так прямо и везли на низкой платформе. С окнами, с крышей. Казалось, сейчас и дымок завьется из трубы.

Потом все машины на перекрестке разом стали: девушка, очень молоденькая, видать – хлопотунья, переводила через улицу малышей. Их было не меньше сорока. Все шли парами, держась за руки. Девушка пропускала их, касалась по очереди их плеч, словно пересчитывала. Малыши перебирались на другую сторону улицы не торопясь. У каждого в руках было по яркой бумажной вертушке. А машины стояли слева и справа и ждали терпеливо. Только из кабины одного из самосвалов высунулся шофер и весело закричал:

– Ну, вы, звездолеты! Ползи шибче! Давай веселей! Топ-топ!

Убедившись, что Артем Иванович уже совсем оправился после приступа, Сеня счел возможным осторожно начать разговор о том, что его сегодня с утра волновало пуще всего.

– Дядя, – начал он, – а вы правда самый сильный на свете?

– Да нет, совсем слабый я сегодня. – Незабудный покачал большой своей головой.

– Ну это сегодня... А завтра опять будете самый сильный, как пройдет у вас?

– Да нет, не пройдет уж это. А был когда-то, говорят, всех сильней.

– А сейчас уже разве не самый сильный? – с жалобной надеждой допытывался Сеня.

– Да, может, где уже и посильнее кто имеется. Я уже, брат, на слабину пошел.

– А раньше никто никогда вас не мог сбороить?

– Не находилось вроде таких.

– Никто-никто во всем мире?

– Сказал – никто.

– Ни разу в жизни?

Незабудный подозрительно покосился:

– А тебе что, другое говорили? Глупости! Не верь. Не было такого. Я с международного ковра ушел, разу одного к нему спиной не приложившись.

– Значит, всех могли сбороить?

– Всех.

– А если бы пять человек сразу набросились?

– Справился бы.

– А десять?

– Если бы рассерчал очень, совладал бы.

– А если двадцать?

– Ну, двадцать – это, пожалуй, не совладал бы. Многовато. Десяток раскидал бы, а те, кто целые, навалом бы взяли. Где уж тут! Хотя бы пятнадцать сказал, а то, вишь, двадцать. Это уж ты хватил!

Помолчали. Сеня с восхищением оглядывал необыкновенного своего знакомца: А вы, дядя, в Америке тоже были?

– Приходилось.

– А там много есть, которые за нас?

– Сколько хочешь таких. Люди чувят, что тут она, правда. Вот и сочувствуют.

– А вы, дядя, теперь тоже уже окончательно за нас будете?



– Да я сроду против не был. Это вышло так... Обманули меня, по дурусти. Вот и получилось теперь, что приехал уж, как говорится, на все готовенькое. Народ такое тут сотворил, а я ни в чем и не участвовал...

– Я тоже еще ни в чем не участвовал! – вздохнул Сеня. – Ни в гражданской, ни в Великой Отечественной. Только вот лом мы собирали с пионерами на шахтах. А так больше ни в чем не участвовал.

– Ну, ты-то еще поучаствуешь во всем. А вот уж я... Сеня поспешил утешить:

– У нас, кто и на пенсию уже полную вышел, все равно они тоже участвуют. Обследуют там что... Или во Дворце шахтера дежурят. Актив они там.

– Ну, в таком разе и меня не забудь. – Незабудный смешно шевельнул одним усом в сторону Сени. – Только не знаю уж, как я: актив буду или пассив?

– Зато самый сильный, – не смутился Сеня. Но у него еще была в запасе пропасть неотложных вопросов. И он торопливо продолжал:

– Дядя, а вы видели когда-нибудь в Америке живых диких индейцев?

– Видел... Только уж, вернее, как бы тебе сказать, – полуживых. Да и не дикие они вовсе. Им, брат, сейчас там не жизнь. Это они голыбосы с голодухи, а не от дикости. Им никуда и ходу не дают. Вот они перышки крашенные понатыкают, ну, а публике интересно. С того и живут.

– Про это я читал. Сурен, мой товарищ, книжку мне давал, – сказал Сеня. – И про негров тоже... Дядя, а в сколько этажей теперь уже есть в Америке дома?

– Да не считал. Говорили, что больше ста имеется. В Нью-Йорке.

– А вы, вы туда на самый верх лазали?

– Зачем лезть? На то элевейтер есть, лифт. Подъемная машина. – Я знаю. Это как клеть у нас в шахте.

– Правильно говоришь. На тот же манер. Сеня сбоку посмотрел на собеседника:

– У вас теперь совсем прошло?

– Будто ничего. Спасибо тебе, вовремя подсобил.

– Эх, хорошо, наверное, сильным быть! – мечтательно произнес Сеня. Интересно, наверное?

– Одной силы это еще мало. Надо подготовку иметь. Развитие.

– Ясно. Без тренировки нельзя. Дядя, а если я стану тренироваться, я могу тоже сделаться сильным? Ну не таким, конечно, а все-таки?..

– А почему бы нет.

– А меня вот физкультурник наш в команду не принял. Говорит – слабое сложение.

Незабудный мизинцем повернул за плечо Сеню к себе спиной. Другой рукой провел между лопатками у мальчика, свел ему локти вместе, наклонил Сеню вперед осторожным тычком ладони в круглый стриженный мальчишеский затылок с глубоко запавшей ложбинкой на гибкой шее. С отведенными назад остренькими локтями Сеня был похож сейчас на большого пойманного в руки кузнечика. Артем Иванович ощутил хрупкую худобу мальчика. Бережно провел широкой ладонью по спине Сени, где под материей каждая косточка прощупывалась, как прощупывается в тряпичной кукле-петрушке ее каркасик.

– Ничего, ты крепенький, – проговорил Незабудный. – Только тощий чересчур. Развивайся. Ты вот гнешься зря, ты прямее ходи. Вот этак – плечи разверни назад... Ну вот...

– Я уже немножко кое-чего достиг в жизни, – сказал Сеня скромно. – Вот, например, кульбит научился делать. И каждый день плавание изучаю, – тихо договорил Сеня.

– Плавание – это хорошо! – одобрил Артем.

– А-ля брасс уже знаю, и как кролем.

– А баттерфляй можешь?

– И баттерфляй могу. Только теперь новый стиль с поправкой, как в Австралии. «Дельфин» называют.

– Правильно, – сказал Артем Иванович. – Ну и как, хорошо получается?

– Да я на воде еще не пробовал. Я пока дома на полу. Расстелю одеяло и тренируюсь. Я учебник плавания уже весь прочел. У нас ведь скоро много воды будет. Вот я и хочу заранее подготовиться...

– Погоди, погоди!.. – прервал его Незабудный и повернулся, громадина, к мальчугану. – Откуда у вас вода-то будет? С чего ты взял?

Недаром ведь Сухояркой место наше зовется. Ведь степь кругом?

– А Гидрострой? К нам же воду скоро подведут. Разве не знаете? Вот, если на террикон залезть... Хотите, я вас туда сведу? Оттуда уже сверху видно строительство. Правда, канал от нас далеко пройдет, ну, а к нам водохранилище разольется... Вот я уже и подготовленный буду!

И он, захлебываясь, словно уже плотая залпом желанную воду, стал рассказывать о том, как ждут все ее в поселке, как подготавливают к ней трубы в домах и колонки на улицах. Что же из того, что пройдет трасса канала в стороне? Пусть не на самой магистрали будет Сухоярка. Но вода, вода большая, желанная, еще дедами загаданная, подступит и сюда.

Незабудный слушал его, изумленный, весь исходя несказанной благодарностью к мальчишке, от которого узнал такое, о чем и мечтать не решался. Так вот зачем переносят кладбище. Вот чему уступит место хибарка матери, которую хотят куда-то перенести и, возможное дело, уже срыли. А он-то, старый чудила!.. Тут все готовилось быть полной чашей, а он полез со своей вазочкой.

Артем Иванович повеселел, словно и его сердце омыло грядущей водой, о которой столько десятилетий мечтали в этих иссыхающих краях.

## **Глава IX**

### **Не быть земле пухом**

И он сразу взбодрился, встал, вспомнил, что ему надо повидаться с председателем исполкома. Но того опять не оказалось на месте, когда они зашли в Совет. Сеня, который знал, где живет председатель, предложил пойти к Тулубеям на дом. – Строгий он у вас? – по дороге осведомился Артем.

– А у нас не он, а она.

– То погано, – огорчился Незабудный. – Боюсь я, брат, ихнюю сестру-начальницу.

– Она добрая, У нас ее внучка учится. В нашем классе. Тулубей ей тоже фамилия. Я же вам говорил, тот Герой Советского Союза – это сын ее, как раз нашей председательницы. По дороге Артем Иванович узнал еще от Сени, что всем в доме Тулубеев заправляет, как сказал

Сеня, «подшефная барыня», так в Сухоярке прозвали вдову бывшего управляющего рудником Грюппона. Незабудный хорошо помнил его: атлет и гимнаст, большой меценат по части спорта, сам пробовавший свои силы на ковре. Он когда-то первым и помог Артему выйти на манеж, оценив невероятную силу и многообещающие возможности молодого гиганта-навалоотбойщика.

Они были у дверей квартиры Тулубеев и Сеня уже постучал, как вдруг Артем Иванович, которого смутила внезапная догадка, удержал его за плечо:

– Не стучи, стой! Как ее, барыню-то, говоришь, подшефную звать? Часом, не Наталья Жозефовна?

– Наталья Иосифовна.

– Стой, стой... а не...

Но дверь уже открылась, и в ней появилась «подшефная барыня». Конечно, то была Наталья Жозефовна Грюппон. Сразу же узнал ее Артем. Да и пенсне как будто было то же, что видел он на ней сорок с лишним лет назад, – старомодное пенсне «велосипедом» на длинном черном шнурке.

Да, это была Наталья Жозефовна, бывшая хозяйка его Гали. У нее, у Грюппонов, жила в горничных Галя, после того, как, заболев, перестала работать плитовой в шахтах.

Незабудный вспомнил, как танцевал с мадам Грюппон мазурку на своей свадьбе. Вспомнил, как бранила она его за дурное французское произношение, когда он еще в старое время, первый раз вернувшись из Парижа, заезжал в Сухоярку. Но еще не знал он сейчас, что Наталья Жозефовна все эти годы не расставалась со своей бывшей прислугой. Они и в эвакуацию вместе ездили. А после гибели Григория Тулубея и смерти его жены бывшая барыня помогла выходить маленькую Ксану. Она давно уже прижилась в семье Тулубеев, стала своим человеком в доме, чем-то вроде экономки и домоправительницы. В доме к ней относились со снисходительным уважением, хотя и называли за глаза «подшефной барыней». Так «величать» ее стали в первые годы революции: когда в обязательном порядке уплотняли бывшую квартиру управляющего, Галина при распределении комнат заявила, что Наталья Жозефовна теперь ее «подшефная барыня» и она, Галина, сама займется ее политическим воспитанием.

– Боже мой! Артем! – воскликнула Наталья Жозефовна, увидев великана, который боком, склонив голову, чтобы не задеть притолоки и косяка, ввалился в комнату. – Вот уж верно сказано: гора с горой не сходится...

– А Человек-Гора со своими встречается, – пробасил, прерывая ее, Незабудный. И, низко склонившись, поцеловал руку «подшефной барыне».

А она припала виском к его локтю, так как выше достать не могла.

Сеня был поражен поступком Артема Ивановича. Такой большой и знаменитый человек, силач и всемирный чемпион, и вдруг позволяет себе целовать ручку, будто какой-то придворный в кино из старой жизни. Тьфу! Этого уж Сеня никак не ждал от своего нового и столь необыкновенного знакомого. Вот до чего могут довести человека при капитализме! А «подшефная барыня», увидев за спиной Артема Сеню, быстро сказала:

– Премило! Утром через балкон, а теперь, слава богу, в дверь. Рановато, мой дружок, наведался. Ксаночки еще нет.

Она быстро сказала что-то по-французски Артему, и тот добродушно и негромко проговорил в ответ тоже по-французски, показав на Сеню.

– Нот! – воскликнула Наталья Жозефовна. – Только послушайте, какое произношение! Каков прононс! Париж, настоящий парижский диалект! Да вы сядьте, ради бога. Вы такой огромный, что от вас в комнате темно. Садитесь, мой дорогой. Нет, вы послушайте, господа, каково произношение!

Наталья Жозефовна всегда, когда очень волновалась, говорила нечаянно «господа». – Но, слушайте, как там насчет Алжира? Что думает все-таки французское правительство? Кончится когда-нибудь эта возмутительная, безобразная узурпация? Что смотрит общественное мнение? И что же, действительно у вас там повсюду решительно американские базы? Вы знаете, я на днях ходила на доклад – приезжал лектор по международным вопросам, – просто нет слов! И все эти шашни НАТО и СЕАТО...

Незабудный был несколько озадачен, так как не ожидал, что старушка так сильна по международной части. А Сеня слушал и поражался. То, что «подшефная барыня» говорила по-французски, это

было вполне естественно и не ново, но что такой усатый громадный дядька ловко чешет по-французски, это было уже дико для Сени. Насчет НАТО и СЕАТО он также был не очень силен и вполне посочувствовал Артему Ивановичу, который, разводя руками, только и мог сказать:

– Да что уж тут, Наталья Жозефовна, толковать... политика!

Он помял шляпу в руках, зажатых между коленями, наклонился, чуточку покосился на Сенью, стоявшего за его плечом, и голосом, в котором вдруг проступила хрипота, спросил:

– А как Галя... Галина?... Ничего?

– О, Галина Петровна! Вы знаете, как ее тут зовут? Мать-хозяйка. Вам уже известно?... Она у нас председатель исполкома в Совете. Пользуется огромным авторитетом, могу вам сообщить. Ах, Артем, Артем, что Старое поминать... Не хочу вас винить и не мне судить, а прошлого не вернешь. Но... – Она быстро проговорила что-то по-французски Незабудному, и тот, вздохнув в покорном согласии, опустил голову. – Такая, знаете ли, у нее, бедной, нагрузка! Дня не видит! Да и мы ее редко когда видим... Ох, извините, пардон, это, кажется, она.

На улице что-то зашумело, хлопнула дверца машины. Артем плянул в окно и увидел внизу, у подъезда, зеленую «Победу» на высоком ходу – так называемый «козлик». Тень мелькнула между машиной и крыльцом под балконом. В подъезде что-то кратко-распорядительно произнес низкий певучий голос, который лет сорок пять назад впервые услышал на рудничном дворе под землей Незабудный и уже потом не мог забыть всю жизнь. Оробев, он ждал встречи с ней. Сомнений не оставалось – он слышал ее голос с лестницы. Да, это была Галя, Галина Петровна, Теперь уже, как видно, не Незабудная и не Хмельно, а Тулубей, председательница исполкома Сухоярского Совета депутатов трудящихся, мать Героя, на могилу которого в далекой Генуе благодарные матери приносили цветы.

«Бог ты мой! – думал Незабудный. – Значит, это ее сына принес он тогда окровавленного, отбитого у гитлеровцев! Ведь это легко мог бы быть и его сын, если бы только он не бежал, не бросил ту, которая так верила ему. Как же мог поверить ему ее сын!.. Да. Гора с горой не сходится, а судьбы человеческие, видно, все соприкасаются одна с

другой либо так, либо иначе. Жизнь просторна, а мир тесен, и пути народов плотно переплетены, и люди из разных концов мира сходятся на этих путях. Закон ли тут или случай, а вот бывает, выходит, так, что здесь аукнется, а за тридевять земель откликнется. Недаром таким неуловимо знакомым показался тогда, в памятный страшный итальянский вечер 1944 года, этот чернявый, смертельно истощенный и гордый человек с чуть косо, в наклон, как у Галины, поставленными глазами».

А она уже сама стояла перед ним. Маленькая, почти совсем седая, неузнаваемая, но удивительно моложавая, закинув голову, глядя на него широко, просто и даже как бы с сожалением.

– Здравствуй, Артем, с приездом!

Голос у нее сохранился таким же, как был прежде, и так же прогудел низко и враспев.

Артем поднялся рывком со стула. И Сеня испугался, что сейчас он поцелует руку председательнице исполкома. Но Незабудный низко опустил голову, стриженную коротко, по-борцовски, уперев тяжелый подбородок в грудь, напряжив дугой выпирающую сзади, из-под затылка, могучую шею. Они стояли один против другого. Их разделяло меньше полуметра. Но годы, годы и тысячи километров, неоплядное время и бесконечное пространство легли между двумя этими когда-то такими близкими людьми. И оба они молчали.

Потом Незабудный подрагивающей рукой вынул из внутреннего кармана своего пиджака белоснежно чистый платок, закрученный в узелок, развязал, извлек маленький замшевый мешочек, похожий на кيسет, потянул шнурок и высыпал на подставленный платок горсточку земли.

– Вот, Галя... Привез. Итальянская земля. Из Генуи. Это с могилы твоего Григория.

Она смотрела на него исподлобья снизу, ничего еще не понимая. Тогда он развернул бумажник и осторожно непослушными пальцами вынул оттуда полуистершуюся записку и фотографию.

– Я его, Галя, в сорок четвертом... от патруля фашистского отбил. Не знал тогда, конечно, кто такой. Не знал. Да и в голову не входило. А он не поверил. Ушел. Я, Галя, так выходить его хотел, а он ушел. И не открылся мне. Гордый был. Отрывисто, сбивчиво и путано рассказал он обо всем. И о том, как услышала вся Италия о подвиге

Богритули, за голову которого фашисты обещали тысячные деньги. Рассказал, как нашел в Генуе могилу Богритули.

– Гордиться можешь, Галя, такой это был герой!.. Вот и место, где он лежит. Я тогда снимок заказал фотографу в Генуе.

Она не сразу протянула руку. Словно страшилась взять. А потом вдруг сердито и решительно схватила, почти вырвала у него из рук фотографию. Вгляделась, затем приблизила к глазам записку, которую передал ей Незабудный.

– М-м... – тихонько застонала она, как послышалось Незабудному. – М-м... прозвучало еще раз сквозь тесно, добела сведенные губы Галины Петровны. Потом они через силу разомкнулись. – Его рука, Грини. Всегда он, говорю, «эм» так выводил, с петельками... В письмах во всех мне вот так, бывало, с петельками: ма...а.

Она плотнула воздух, беспомощно обвела всех взглядом, полным отчаяния и растерянности. Словно искала поддержки и ожидала, что люди сейчас опровергнут страшное сообщение, которое теперь уже навсегда и полностью покончило с последними остатками и без того угасшей надежды. И вдруг тяжко, навзрыд заплакала. Наталья Жозефовна кинулась к хозяйке, но та твердой рукой отвела ее. Она стояла перед огромным Артемом, маленькая, прямая, запрокинув назад голову, и плакала в открытую, не пряча лица, словно перед всем миром готовая обнажить свое годами копившееся и теперь уже до конца испитое материнское горе.

Потом она, отвернувшись и вся сникнув, протянула Артему свою руку, маленькую, твердую, совершенно канувшую в бережно сошедшихся громадных ладонях Незабудного.

– Спасибо тебе, Артем. Теперь хоть знаю. Без вести был, а теперь ты и весть принес. Что ж, рано или поздно, а знать надо. Ну, пойдем сядем, поговорим...

Наталья Жозефовна тихо вышла в соседнюю комнату и втянула туда за руку Сеню, прикрыв дверь.

Галина Петровна села на диван в самый угол, взяла с комода платок, вытерла глаза. Потом рукой показала Артему на место возле себя. А Незабудный все смотрел на нее и глазам своим не верил. Неужели это его прежняя Галя, тихая, застенчивая и ласковая девушка? Откуда появилась эта властная твердость? Совсем старая



стала, а какое достоинство в каждом жесте, и в повороте маленькой головы, и в движении строгих бровей. Даже сейчас, когда сердце ее соприкоснулось со всей жестокостью правды, которую он сообщил, Галина Петровна не казалась жалкой. Что-то величавое было в ее материнской скорби, в бесконечно горестном взоре, в упор устремленном на Незабудного.

Он подсел к ней и вполголоса принялся рассказывать все подробности, все, что узнал о Григории Тулубее – Богритули.

Она слушала, лишь изредка отворачиваясь и проводя тыльной стороной ладони по щекам, чтобы согнать скатывавшиеся слезы.

Он кончил и замолчал.

Теперь пришла очередь ее.

– А мама Настя твоя... Настасья Захаровна... Перед войной померла. Я в отъезде была. Говорили потом люди. Зной палил, и некому было ей воды подать. Ведь у нас тут мука всем без воды. И сейчас еще тяжело. Помнишь, как говорили: слезу языком слизи, вот и напьешься. А были такие годы, Артем, что и слезы пересохли. Ну ничего, теперь все кончится. Идет к нам вода.

– А от меня тебе, Галина, верно, тоже слез хватало?

– Да уж, напоталась, спасибо тебе...

– Попрекали? – Нет, у нас ведь отворачиваются от тех, кто бросил, а не от того, кого покинули. Это у нас уж закон. Ну, анкету, это верно, немного, конечно, портил. – Она усмехнулась и покачала маленькой головой, поправила гребенку на затылке. – Долго мне писать приходилось... «Есть родственники за границей?» Как же, имеется. Муженек благоверный. Бывший. – Я тебе, Галя, не то что анкету – жизнь, наверное, испортил? – Ну нет, Артем, ты уж много на себя берешь. Жизнь, положим, я и без тебя справилась. Это в старые, прежние времена наша молодость бабья, как степная весна, была коротка. Чуть цвет даст и уже ссыхается вся. А теперь у нас и степь долго зеленеть и цвести будет. Так что лишнего на себя не принимай. Ты Богдана Тулубея помнишь? Штейгера? Он у меня, Богдан Анисимович, инженер давно, по гидротехнике специалист. На Гидрострое сейчас. Воду к нам гонит. – Ты прости, если можешь, Галя. Все на меня обиду имеешь?.. Это, конечно, так, это уж навовсе, сам понимаю, по гроб! – Да оставь ты, Артем! У меня к тебе не осталось ничегошеньки: ни зла, ни любви. – Она так и сказала:

«любви». – Ничегошеньки. Ты для меня давно уже на нет сошел, ровно бы тебя и сроду не было...

Послышались на лестнице прочные шаги, хлопнула дверь, и вошел вернувшийся со строительства Богдан Анисимович Тулубей. Высокий, плечистый, не такой, конечно, как Артем, но под стать ему. Вошел, по-хозяйски, без промаха, метнул кепку на вешалку, взглянул внимательно на гостя:

– Артем, что ли, коли память мне не отшибло?

– Он самый.

– Да, обознаться трудно. Второй такой сроду не встречался.

Незабудный переминался с ноги на ногу, смущенно, глухо пробасил:

– Вот повертался-таки назад к вам, люди.

– Ну, здорово, Артем.

– Здоров, Богдан. Вот...

– Оба сделали разом короткое движение друг к другу, словно собирались обняться по старинке, но, невольно взглянув на продолжавшую сидеть Галину Петровну, остановились.

С минуту длилось молчание. Незабудный покусывал ус, ставший сейчас совсем белым на фоне налившегося кровью лица. Богдан Анисимович вынул коробок с куревом и никак, никак не мог открыть.

– Богдан... – Галина Петровна встала и подошла к нему. – Богдан, он Гришину могилу нашел... Он Гришу нашего живого встречал. У катов тех отбил, на себе домой принес и не знал даже кого... Вот, читай.

Богдан Анисимович осторожно взял у нее из рук сперва записку Григория Тулубея, потом протянутую ему фотографию. Он вглядывался то в строчки записки, то в снимок. Снял очки, уронил голову и хотел было отвернуться, да не успел. Негромко стукнула тяжелая отцовская слеза в помятый листок. Осторожно свел ее пальцем с бумаги Богдан Анисимович, а Галина Петровна вдруг припала виском к его плечу. Он взял ее осторожно за плечи и усадил на диван. Потом вернулся к стоявшему посреди комнаты Артему, схватил его за локоть, стиснул сильно, зажмурился, помотал головой, справляясь с волнением:

– Вот как оно получилось, Артем... Гришу встречал, значит? Вот они, как начала да концы-то схватываются. – Он добавил, словно бы

извиняясь: – Что в живых нет, то, конечно, давно ясно было. Так ведь умом ведаешь, а вот за сердцем где-то нет-нет да и шевельнется: «А что, если где живой?..» Ну теперь уж ты как похоронную нам принес.

– Ведь я, Богдан, и в мыслях не имел тогда, что это твой сын. Одно понял: земляк. Стал след искать, вот и обнаружил. А сейчас подошел к школе, глянул на бюст, и меня как громом стукнуло – вижу, он самый. Богритули он там, в Италии, прозывался. По имени по отчеству.

– Богритули, говоришь? – словно прислушиваясь, произнес Богдан Анисимович. – Ну, расскажешь когда все по порядку... – Он уже сумел совсем справиться с собой. – А сейчас садись, гулена. На, сверни. – Он протянул ему коробочку с табаком и курительную бумагу.

Артем отрицательно покачал головой. – Может, отвык от нашего, к заграничным сигаретам пристрастился?

– Нет, вообще не балуюсь. Всю жизнь... – ответил Артем. – Режим.

– Так и не заимел привычки? Силен! Ну, а я подымлю, если не возражаешь.

– Дыми, пожалуйста, себе на удовольствие, сделай милость, – сказал Артем Иванович.

Богдан Анисимович долго свертывал сигарку, просыпая табак. Наконец управился и вставил в зубы, крепко прикусив. И Артем заметил неживой, металлический блеск его зубов.

– Ну, а как, ревматизм тебя оставил? – спросил Незабудный.

– Да прошел было, а после снова я его схватил в сыром месте на холоду... Ну, а ты как, небога, скачешь?

– Пока землю топчу.

– Далеко ты ее обтоптал?

– Да, можно считать, всю кругом.

– Ну, и как там жизнь?

– Всяко. Где худо, где еще поплоче, если народ брать в целом. А так люди везде люди. Ладят житьишко кто как сумеет. Один за работой света не видит, а некоторые без работы мыкаются. Кое-как перебиваются. Чаше ведь так выходит. Но надежду все имеют, что и у них за окошком посветлеет. И пуще всего войны опасаются. Этого, я тебе скажу, хуже черта боятся. Все натерпелись.

– Значит, все-таки походил, побродил, поглядел, а к дому-таки потянуло? Эх, бродяга ты, бродяга, гулена старый!

Наталья Жозефовна стала хлопотать, собирая на стол.

Богдан тихонько сказал Незабудному:

– Тут у нас сегодня дело не сробится. Не до нас Галине Петровне. Слушай, давай-ка сходим к старикам, в бывшую Подкукуевку. Помнишь место такое? Хаживали мы туда с тобой... Там сейчас Дворец шахтера у нас. В буфет заскочим? Правда, ты, должно быть, теперь крепкого не принимаешь?

– В прежнее время, конечно, ни-ни. А уж сейчас-то не беды!.. Чего там соблюдать!.. Режима не держу, допускаю себе но малости. – Ну, давай по малости. Ты как устроился-то в общем? Где стал?

Незабудный рассказал, что пока он в общежитии для приезжих, где ему, спасибо, уважили, предоставили комнатку. Рассказал, что был в исполкоме, но ничего толком не добился.

– У тебя там, между прочим, типы сидят, – сказал Богдан Анисимович жене. – Я уже давно приглядываюсь, когда ты их оттуда выставишь... Вы, кстати, поторапливайтесь со сносом-то и школу новую форсируйте, а то смотри – зальем. Паводок ожидается высокий, весна ранняя. Заполним водохранилище до проектной отметки в два счета. Вода вас ждать не станет.

Ходуном заходила лестница под множеством веселых ног. И в комнате появилась забежавшая домой переодеться Ксана. А за ней Пьер. На их голоса вышел из соседней комнаты, куда он был отведен Натальей Жозефовной, Сеня.

Галина Петровна взяла внучку за остренькие плечи. Обхватила их ладонями, словно хотела своими руками укрыть ее от горькой вести. Подвела к Незабудному:

– Вот, Ксаночка, познакомься. Человек из далеких стран воротился... Ой, Ксаночка! Он там в военное время папу твоего видел. Спасти хотел...

Большие, широко и чуть в наклон поставленные глаза девочки зажглись тревожной надеждой. Давно уже потухшая надежда вдруг на мгновение вспыхнула снова. Но бабушка продолжала:

– Погиб твой папа... Героем был!.. По всей Италии слава и память о нем.

И девочка разом сгасла, словно свечка, которую резко задули. Она переводила взор с заплаканного лица бабушки туда, вверх, откуда на нее смотрел невиданного роста человек. И не могла еще понять, не могла поверить...

– Иди... иди себе, – сказала Галина Петровна. – Ведь вам к Миле сегодня. Собирайся. Ксана все стояла.

– Иди, иди, Ксана! – повторила строго Галина Петровна. Но вдруг схватила за локти, притянула к себе внучку, вгляделась в лицо ей и припала губами ко лбу девочки, покрывая его порывистыми, короткими поцелуями. А потом сама резко отошла в сторону. – Иди. Что уж тут... Отгоревали мы, детка, с тобой давно. Это только сегодня уж так... печать к нашему с тобой горю приложили. Иди, родная! Ступай, ступай, маленькая!

Незабудный представил Галине Петровне своего приемыша. Пьер разом подшагнул и припал к ручке Галины Петровны.

Но та отдернула руку, смущенно и сердито проговорила:

– Ну-ну, ни к чему это. Не полагается у нас... А вы, значит, уже познакомились? – Она показала глазами на Ксану, и та, оглянувшись от дверей, утвердительно кивнула, вся покрасневшись.

Когда она вышла, Галина Петровна сказала Незабудному:

– Что это он у тебя модный чересчур? И ручку лижет. Ну ничего, обработают его помалу наши пионеры. А так складненький да и с рожицы чистенький. Девчонки-то небось в классе уж загляделись... И Ксанка-то... Эх, бедная моя... Рвануло ей, наверное, сейчас сердчишко-то. Хоть и не знала отца, а все думала о нем. Уж так гордилась. И все, видно, хоть вот такесенькую, да берегла в себе думку-надежду.

Артем и Богдан ушли к кукуевцам. Ксана еще переодевалась у себя. А Соня в Пьер забрались с коленками на диван и занялись разглядыванием семейных фотографий на стене. Снимки хранили память и славу семьи Тулубеев. Тут были старые, словно обкуренные и полусмытые фотографии времен гражданской войны. С одной из них глядел черноусый и бровастый Богдан Анисимович Тулубей в буденовском шлеме с разлапистой красной звездой, со стрелецкими перехватами у отворотов кавалерийской шинели, с кривой казацкой шашкой у пояса. Молодая Галина Петровна стояла у бронепоезда, я над ней из поворотной башни торчало дуло орудия. А вот она же

много лет спустя, уже похожая на сегодняшнюю, снята с делегатами партийного съезда на Красной площади в Москве перед Спасской башней.

Многие фотографии пожухли, потускнели, и казалось, что все они сняты в плохую погоду, в сумрачный день. По лица у людей были погожие, глаза смотрели молодо, гордо.

Рядом висели почетные грамоты. Их было много. А сбоку от них разместились плохонькие снимки, хотя и тусклые, но, как видно, более свежие. Они рассказывали о тяжелых, полуголодных, душу выматывающих днях эвакуации за далекий Урал. Там и простудилась в холодном нетопленном цеху, монтируя оборудование, привезенное с юга, Ксанкина мать, Марина Андреевна, и вскоре умерла, оставив на руках у бабушки маленькую дочку. Ксанка, конечно, не помнила матери. Но вот она, Марина Андреевна, красивая, веселая, нарядная, очень смелая, смотрит со стены.

Мальчики оба разом оглянулись. За ними стояла и молча глядела на ту же материнскую фотографию Ксана. Нарядная и такая неожиданно красивая в новом своем платье, что заглядишься, она была сейчас очень похожа на мать, смотревшую со снимка. Только шейка больно уж тоненькая, – так беспринутно и зябко вылезала она из широкого выреза, что у Сени непонятно и тревожно заныло где-то под ложечкой.

## **Глава X**

### **С той и с другой стороны**

Они идут по городу – Артем Незабудный и Богдан Тулубей. Двое состарившихся, бывалых, давно не видевшихся людей. Они идут не спеша, и Артем Иванович по пути нет-нет да и спросит о чем-нибудь. Ведь все в этих старых местах для него ново.

– Шарманщиков чего-то я совсем не вижу. Не ходят боле? Помнишь, «Маруся отравилась» пели? Или «Сухой бы я корочкой питалась»...

– Эка вспомнил. Тут кругом у нас радио. И музыкальная школа для ребят открыта, а ты шарманку завел про старое.

– Еще помню, Богдан, китайцы с товаром всяким ходили, чесучу железным аршином отмеривали. Тоже не заметил что-то...

– Ну, Китай нынешний день другую жизнь себе отмеривает, только уж не на тот аршин. Потом Незабудный поинтересовался:

– А где же это, я слышал, тут у вас еще новый Дворец шахтера заложили? Это что, где шахтоуправление было, что ли?

– Да, признаться, я и сам толком не знаю. Я ведь тоже, брат, тут долго не был. И сейчас больше все на строительстве.

– А где же ты был?

– Я, брат, с другого конца вернулся. Ты – с запада, а я, пожалуй, с востока... Вернее – с крайнего северо-востока.

– Это чего же тебя туда носило?

– Да не своя воля носила.

– Чего же ты там делал?

– Чего делал? Землю копал, лес валил, а потом уж разрешили по специальности. Плотины строил, воду подводил. Артем Иванович сперва не понял.

– Ну, – поясняет ему Богдан, – оба мы, в общем, с тобой Галине Петровне анкету марали: сперва ты, а потом я – по другой уж графе. Но об этом вспоминать неохота, мало ли какие промашки да ошибки бывали... После разобрались.

– А в чем же ты ошибся, Богдан?

– Да не я ошибся, это во мне ошиблись. Большого маху со мной дали, Артем. Оговору подлецов поверили. Я тут при оккупации сильно полициям фашистским насолил. Ну, кто из них уцелел, меня и оклеветали, дело запутали. А время после войны было, сам знаешь, строгое, не сразу и разобрались... Получалось, что изо всего народа на всем свете только одному человеку верить можно.

Мы-то в него верили, а он, понимаешь, народу доверия не оказывал. А в народ верить надо, иначе такое получится, что и...

Он отмахивается и глядит в другую сторону, отвернувшись.

– Слушай, Богдан, – осторожно начинает снова Артем, – как же ты после простил все?

– Кто же так вопрос ставит? Кому прощать?

– Ведь я так мыслю, Богдан. Я вот виноват перед народом, но надежду имею все-таки, что простят меня в конце концов. А ведь перед тобой все виноваты, выходит, раз ты безвинно пострадал. Кто тебя со всеми рассудит? – Плохо ты мыслишь? – резко останавливает его Богдан. – Ерундовина это, брат! Странное твое рассуждение. И в

корне неверное, скажу тебе. Что за разговор это? Как так можно рассуждать? Скажи, пожалуйста... Весь народ, мол, передо мной виноват. А я сам что? Я не народ? А кто я? Слава богу, в партии с восемнадцатого года. И заметь, между прочим, восстановлен вчистую, с полным зачетом стажа. Я тебе так скажу... Нет, погоди, я уж все скажу, чтобы нам после не ворошить в низу самом... Ты вот спрашиваешь: простил ли я? А я не поп, чтобы грехи отпустить.

– Ты извини, если что не так сказал... – говорит Артем.

– Да нет, – с досадой прерывает его опять Богдан, – сказал ты так... Подумал неверно. Я не из тех, кто себя этой обидой отравил. Обида у таких все соки живьем в душе выпарила, так и ссохлись. А я по-другому рассуждаю. Я вот для Галины без вести пропавшей, числился в таких. Но сам-то о себе по-другому понимал. Я-то для себя знал, где я и кто я. Меня, помнишь, еще в старые годы завалило раз. Четверо суток тогда с самим стариком Шубиным<sup>[2]</sup> с глазу на глаз оставался, но знал – пробьются ко мне люди. И не слышал их, а верил, что пробьются. Я веры в народ ни минуты не терял.

– Черт-те вас знает! – восхитился Незабудный. – Из какого состава вы тут все сделаны?

– Состав тот же, только крутой замес мы дали.

– Ну и что же, считаешь, все уже совсем хорошо, как надо?

– Нет, если кто тебе так станет брехать, – не верь. Жизнь мы налаживаем по-человечески. То правда. Многое уже помаленьку достигли, но, конечно, не хватает нам еще, ой-ой! Сам убедишься. Все с боем ведь брать пришлось. А потом Гитлер поразорял. Но мы его, как говорится, сами и прикончили. Да жаль, погибло народу много хорошего. Сын у меня, Артем, был настоящий человек. Вон в той школе учился, что теперь его именем назвали. Уже начальником участка шахты работал. А попутно пилотаж освоил в районном аэроклубе. Сразу, с первых дней, в воздух, в бой. Тринадцать звезд на фюзеляже. Героя дали. Потом сбили его. После ранения приехал к жене на поправку за Урал, к Марине. Тоже была хорошая. Верный человек и удивительной душевности какой-то. Любили они друг друга... Глядеть было радостно на них. А вот не выдержал. Вернулся. Пошел в партизаны. Его по здоровью в армию не приняли, так он пробился. Ну, а дальше ты лучше меня знаешь. Последний ты его видел, а не я. А Марина его в эвакуации жила с Галей. Условия



тяжелые, цехи нетопленные, мороз... Ну и осталась у нас Ксанка на руках одна. А я-то сам в этих краях скрывался. В подполье.

Досталось тогда нашей Галине, ох досталось. И работала, и внучку маленькую выхаживала, ведь совсем лялька-то была маленькая. Но сберегла все-таки ее Галина. А без нее бы, без Ксанки, и дом бы у нас запустел. Видал, какая девчонка выравнивается и умишком не отстаёт. Вылитая Григорий. А иногда плянет – Марина!

Они идут некоторое время молча.

«Ксанка, Ксанка, – думает про себя Богдан, – Ксения-полухлебница, как дразнили ее когда-то. С задумкой девчонка, и не поймешь сразу, что у нее там на сердчишке. Как она вон зажглась и сгасла сейчас. Ведь и не знала никогда отца, а все им живет – и славой его и памятью. Живая, горячая душа! Тихонькая она на вид, а робости ни в чем нет. Верно Галина говорит: „Ксанка у нас как свечечка горит, светит, теплится ровненько, а вдруг – фырк-фырк и затрепещет, растрещится, аж искорки брызнут...“»

Он стал вспоминать, как застенчивая, тихонькая Ксанка решалась иной раз на поступки отчаянные, а то и диковатые... «Нет, это не своенравие, – думал Богдан, – это решительность, порыв. Вот как тогда со щенком Гавриком».

Наталья Жозефовна не велела брать собачонку в комнату, где спала Ксанка, глисты еще заведутся. И Гаврика заперли в сарай.

А ночью была гроза. И щенок так выл, что слышно было сквозь гром. И тогда Ксанка, ей было лет семь, тихонько вылезла в окно, пробралась под ливнем в сарай и притащила к себе в комнату щенка. Так и застали их утром под одним одеялом. А подушка вся в грязи.

В другой раз она, услышав от доктора, что бабушке запретили курить дымила-таки Галина Петровна основательно, – тайком от нее выбросила в печку все папиросы. А бабушка хоть обиделась и пошумела, но дома больше не курила. Случилось еще раз так, что пробрали малость Галину Петровну в районной газете; не досмотрела председательница Сухоярского исполкома что-то по жилищному хозяйству... Так Ксанка вечером, как стемнело, взяла у Натальи Жозефовны ножницы и вырезала это место в газете, расклеенной в открытых витринах на Первомайской. Очень уж ей было нестерпимо, что фамилия Тулубей так нехорошо звучит в газете. А бабушка тогда совсем рассердилась, сама пошла в киоск, купила десяток газет и

велела внучке снова наклеить на тех же местах, где, как казалось Ксанке, был выскоблен ее позор.

«Нет, все-таки хорошая девчонка, – повторяет про себя Богдан. – Маленькая, а душа!»

– А я, признаться, чего-то зажурился с утра, – перебивает его мысли Незабудный. – Все народ какой-то мне попадался, по старой выкладке живет. А после в исполкоме разговор этот...

– Слушай, Артем! – Богдан даже остановился и положил руку на его высокое плечо. – Я тебе заранее скажу – ты должен одно учесть. Тебя никто сюда не звал – ты сам приехал, и правильно сделал. Ты наших кровей человек. Хватит тебе по чужим краям шататься. Но если ты сюда ехал, чтобы охать да ахать, да всем только восхищаться, так ты лучше, брат, уезжай обратно, откуда явился. Ты меня извини, но я напрямую... Я тебя уже предупреждал. У нас не все еще так, чтобы только в ладоши хлопать да с утра до ночи ура кричать. Нашему делу верить нужно, тогда правду и разглядишь. Что толковать, добились мы великого, такого еще на свете сроду не было! Как сказали всему миру, что покончим с таким явлением, когда один человек у другого его же трудом, потом добытое отнимал, и как сказали, что с темнотой покончим, что мы из отсталых в самые наипередовые выйдем – все это и выполнили, как заявляли. Ну, а то, что дураков всех у себя сразу ликвидируем и пакостников всяких разом всех до одного выведем – этого мы никому и не обещали в такой срок. Хоть и поумнели мы лет на двести в смысле культуры, но, скажу тебе, дурачье и дрянь всякая – это у нас еще кое-где встречается. И боюсь, на наш с тобой век хватит.

Богдан, усмехнувшись, вдруг задорно толкает плечом Артема:

– Видал? Я тебе на ходу целый политический доклад сделал... Я ведь недаром и в армии наипервейшим полит-докладчиком считался. Так что ты уж меня не подводи, старик. Давай перековывайся идеологически.

И он громко хохочет, так что отдается по всему переулку, где они остановились перед большим, красивым зданием.

Оно кажется неожиданным среди маленьких домов и магазинов. Молочно-белые электрические фонари, как луны, парят между колоннами. Хлопают тяжеловесные двери с толстыми стеклами. Народ идет и идет в этот дом.

– Помнишь, Артем, здесь когда-то у нас Подкукуевка была, или, проще, Кукуй. А теперь тут у нас Дворец шахтера. Зашли?

А тем временем Ксана и Сеня ведут новичка-парижанина на рождение к Миле Колоброта. Вернее, ведет его Ксана. Ей так хочется, чтобы их город понравился этому ни на кого не похожему мальчику, дед которого спасал ее отца...

А Сене приходится почему-то все время идти сзади. Он плетется за спинами Ксаны и Пьера и что есть силы старается не показать, как он несчастен.

Впрочем, иногда ему приходится оттуда, из-за их спин, давать некоторые пояснения. Потому что он, по его мнению, конечно, лучше, чем Ксана, знает, какими именно достопримечательностями города надо потчевать приезжего.

– Вот тут у нас кино, – сообщает Ксана. – А там парк. И летний театр. Там летом музыка играет. И драматические артисты выступают из района.

– А тут уже скоро будет пристань речная. Пароходы будут ходить пассажирские, – дополняет из-за ее спины Сеня.

– И лодки будут, чтобы кататься.

– Не только, чтобы кататься, а и гоняться на скорость, – добавляет Сеня.

– Вам... то есть тебе... наверное, все таким странным кажется у нас с непривычки? – продолжает Ксана.

– Пожалуйста?

– Я говорю, тебе с непривычки многое странно.

– Нет. Зачем стрганно? Очень хоргошо... Мне у вас нргавится. Тихо.

– Это только сейчас, а вот скоро гулянье начнется, – объясняет Ксана. – А вон там Дворец шахтера. Там у нас танцы бывают.

– И научные лекции, – спешит добавить Сеня, чтобы приезжий не подумал, чего доброго, будто сухоярцы только и делают, что ходят в кино и танцуют. Докладчики приезжают из общества пы-рыс-пы-рыс-ты-ры-не-нию знаний, благополучно перебравшись через шесть «ы», которые ставили все сухоярские мальчишки в этом слове, отбарабанил Сеня.

– А это там с кргестом – цергковъ? – поинтересовался Пьер.

– Да, тут у нас еще старая церковь. Троицкая, – сказала Ксана.  
– А тебе бабушка часто туда ходить пригиказывает? – спросил вдруг Пьер.

– Куда? – не поняла Ксана.

– Ну, в церкковь. Нас в пргиюте все время водили.

– Моя бабушка сама сроду в церковь не ходит! – возмутилась Ксана, краснея.

Сеня попытался вразумить приезжего:

– У нее бабушка знаешь кто? Председатель исполкома. Почти всех главнее. А ты говоришь, в церковь. Чего она там не видала?

– А твоя бабушка богатая? – спросил Пьер у Ксаны.

– Как так – богатая? Что она, капиталистка, что ли? У нас так и не выражаются: богатая... богатая... Получает она, и дед Богдан работает. И вполне даже хорошо хватает.

– Ну у вас, например, есть авто?

– Ты про машину, что ли? – вмешался Сеня. – Ясно, есть! По работе! Раз она председатель исполкома! У нее «Победа»-козлик, на высоком шасси, спецборки. Немного еще прошел. Тысяч двенадцать километров, не более. Хорошо ходит!

Пьер стал смотреть на Ксану с явным уважением.

Она поспешила сменить направление разговора:

– Вон там у нас музыкальная школа. Мы туда с Милкой второй год ходим.

– А вон там, на Красношахтерской, милиция, – со своей стороны сообщил Сеня. – Где часовой стоит, там тоже... понял?

Вдали, над крышами, в воздухе, стремительно наполнявшемся теньями ранних весенних сумерек, ярко разгоралась большая алая звезда.

– А что это там светится кргасиво? – поинтересовался Пьер. – Тоже кино?

– Какое там на руднике может быть кино! – Сеня снисходительно поглядел на него из-за спины Ксаны. – Ты думаешь, у нас кино только везде?.. Там у нас шахта самая лучшая. «Безводная-Новая» называется. Самого Никифора Колоброта шахта.

– Колоброта?.. Он есть кто?

Хозяин-директор?

– Ну не директор... И не хозяин, ясно! А самый знатный человек. Его даже в Москве все знают. Один раз даже в журнале «Огонек» его портрет напечатали. На все цвета фото было. На самой обложке спереди! И в газетах часто.

– О, большой пргедпргиниматель!

– Как это – предприниматель? – Теперь уже пришла очередь не понимать Сене.

– Ну, что ты... русского языка не знаешь? – удивился Пьер. – Это мне можно, а тебе уж непргостительно.

– Не понимаю я такого твоего русского языка.

– Я тебя, кажется, ясно спрашиваю: он есть кто? Круглый промышленик?

– Конечно, крупный: его бригада самая первая. И промышленик, верно. Он знаешь как работает? По добыче всех кругом уже на сто семьдесят пять процентов обогнал.

– Других конкурентов, тоже владельцев? – опять задал непонятный вопрос Пьер.

– Ксана, – взмолился Сеня, – скажи ему ты! А я что-то не пойму никак, про чего это он...

– Правда, Пьер, ты объясни, – сказала Ксана. И Сеня снова зашел покорно за ее спину.

– Ну, он очень богатый, наверно? – пояснил Пьер. – Богаче всех у вас.

– Что ты все «богатый, богатая»!.. – Сеня уже чуть не рассердился. – Что, мы в его сберкнижку подсматривали, что ли!.. Ну ясно, прилично имеет. И премиальные еще. У них так вся бригада выгоняет. И живут культурно. В новом доме. Пол везде паркетный, а в кухне плиточка-ми, как шашки. И скоро еще водопровод пустят. Их улица на первой очереди.

– Ты сказал, Колобродо? А эта девочка, как ее... Миля, где мы будем гости, она тоже Колобродо?.. Она есть его кто?

– Дочка она его родная.

– Ой! – Пьер даже приостановился, принявшись озабоченно разглядывать себя с ног до головы. – Это будет некрасиво так. Я не знал совсем. Я не экипи... надо переодеться. Это будет не так комифо... неудобно.

– Да брось ты – удобно, неудобно!.. – успокоил его Сеня. – Он знаешь какой, Никифор Васильевич! Он свой совсем. Сам увидишь. А хочешь, вон дойдем до того угла? Там, на Первомайской, щит почета стоит. И его портрет есть. Но до Пьера дошло только одно слово: «почета».

– Ого, – протянул он с уважением. – Почетный... дон-нер... Почетный кавалер он?

– Сам ты, я вижу, кавалер! – нарочито громко захохотал Сеня и, чуть ступив вперед, насмешливо заглянул Ксане в лицо. – У нас так про это редко когда говорят. Это кто танцует, тот у нас кавалер. А Никифор Васильевич Герой Соцтруда. Звездочку золотую имеет. И орденов еще целых четыре. А медалей еще сколько!..

– Генерал?

– При чем тут генерал? Хватят с тебя, что он самый знатный шахтер.

– Пргосто только шахтер?

– Дурные у вас там, что ли, все за кордоном, за границей?.. – Ксана укоризненно обернулась на Сеню. – А чего он говорит: «просто только». Вот полазил по штрекам и лавам да порубал бы, тогда и говорил бы: «просто только». Ты пойми: он знаменитый бригадир...

– А-а, – успокоенно согласился Пьер. – Бригадирг!.. Это-тоже гран... большой офицерг.

Сеня махнул рукой. Так, видно, ничего и не попял этот закордонный...

– А вот мы и пришли, – сказала Ксана. – Вон в том новом доме Мила живет. Они недавно переехали.

Сурик Арзумян уже поджидал их. И в чистеньком подъезде большого светлого дома, построенного из плитняка, гулко, на всю лестницу, трижды просалютовала вдогонку гостям дверь с тугой новенькой пружиной.

## Глава XI

### Огорчение номер три

Ко дню рождения Миле Колоброта отец и мать подарили ручные часы. Это были первые в жизни собственные часы у Милы. Течение времени, ранее незаметное, теперь вдруг чрезвычайно осмыслилось

для нее. Она почувствовала себя хозяйкой времени, имеющей возможность когда угодно отмечать его ход. И приятно было ощутить себя включенной в это общее движение и знать, что вот тут на руке, наперегонки со стуком пульса, тикает маленький механизм, и стрелки на узком циферблате показывают тот же час, который объявляют по радио, о котором возвещают и гудок на шахте, и часы на углу у Первомайской.

Мила долго отработывала перед зеркалом жест, который позволял особым образом вывернуть кисть тыльной стороной к себе и, отставляя руку, держа ее несколько на отлете и медленно поднимая на уровень глаз, издали взглядывать на часики, тикавшие у запястья.

Все время хотелось глядеть ни них, следить за временем и сверяться с другими часами. То и дело слышалось:

– Мама, посмотри, сколько там, в кухне, на ходиках?

– Седьмой час, – отвечала мать из кухни.

– Нет, ты точнее.

– Ну четверть седьмого.

– Вот видишь! А на папином будильнике еще двенадцать минут, а на моих уже семнадцать. Я их сейчас переведу. Нет, я лучше подожду радио, включу и проверю.

Она еще в школе сегодня совсем извела Ксану. Каждую минуту во время урока сообщала, сколько осталось до звонка. И все показывала, как можно переводить стрелки взад и вперед. Дома она то и дело подбегала к матери, занятой приготовлениями к праздничному столу.

– Мама, почему ты меня не спрашиваешь, который час? Смотри, скоро уже, наверное, начнут собираться... И кончилось дело тем, что, вертя стрелки часов, она, должно быть, неправильно поставила их. Она не заметила, что часы стали показывать на целый час меньше, чем следовало бы. И Мила едва лишь успела надеть новое платье, как в дверь постучали.

– Ой, уже! – воскликнула Мила, поглядела на папин будильник, сверилась по ходикам на кухне и поспешила перевести стрелки у себя на час вперед.

Стали собираться гости.

Мать поставила на стол праздничный именинный пирог с апельсиновыми корочками. На пятнадцать частей был он разрезан – вот сколько народу было приглашено, чтобы отметить день рождения

Милы Колоброда. Пришли сюда, конечно, и Сеня Грачик с Суреном Арзумяном. И здесь-то, на вечеринке у Милы, и ждала Сеню третья неприятность этого бесконечного и незадачливого дня.

На пятнадцать частей разрезали пирог. Но одна долька была больше всех, и на ней сверху была приклеена густым вишневым сиропом самая большая карамелька. И, конечно, этот кусок был заранее предназначен приезжему.

Вообще Пьер был в центре общего внимания. Он подарил Милке маленький парижский сувенир: крохотный флакончик в виде Эйфелевой башни с цепочкой. «Портбоне» – так называл Пьер эту штучку. За ней пришлось зайти в общежитие, где остановились. И, чтобы Ксана не завидовала, он пообещал ей, как только доставят багаж, идущий малой скоростью из Москвы, подарить тоже какой-нибудь маленький «обже д'ар», то есть предмет искусства.

– А который теперь час в Париже? – допытывалась с подчеркнутым и кокетливым интересом Мила. Пьер не очень был сведущ в поясном времени и замялся. Но его выручил Сурик:

– Там время на три часа сзади нашего.

– Тебя не спросили, – прошипел Ремка и больно ткнул кулаком Сурена под ребро.

Тот оттолкнул его плечом.

Ремка не уступал и тоже хотел пихнуть как следует Сурена.

Так они и стояли, оба красные, незаметно для всех пихая друг друга, тихонько сопя, упираясь, но стараясь не нарушать светских приличий.

– А вы уже перевели часы? – спросила у Пьера Мила.

– Нет, – сказал Пьер. – У меня нет часов. Все были несколько удивлены и разочарованы. Приехал из Парижа, и нет часов. Чудно!

А Ремка Штыб, из кармана которого уже торчал хорошенький заграничный карандаш, выпрошенный им у Пьера, как видно, совсем завладел парижским гостем. Они вдвоем все время перемигивались, говорили какими-то странными намеками. Пьер сперва несколько смущался, но потом стал подлаживаться под тон и манеры своего рослого покровителя, успевшего еще утром сообщить ему, что является первым силачом в классе и если с ним дружить по чести, то никто Пьера и пальцем не тронет.

Скоро Мила посмотрела на свои новенькие часы и сказала:



– Ой, уже тридцать девять минут седьмого. Давайте садиться за стол.

Все расселись. И Пьеру первому был положен на тарелку самый большой кусок праздничного кухена.

– Конечно, вам в Париже не такое есть приходилось, – сказала дородная и конфузливая мама Милы, – но уж не обессудьте, чем богаты...

Пьеру, и правда, в приютах для «перемещенных» и потом на мансарде у Артема есть приходилось не такое... Он в последние годы лишь мог мечтать о таких лакомствах. Но он промолчал, стараясь уж не очень смотреть на яства, манившие его с тарелки.

Из настоящих винных бутылок разлили сладкий, смешанный с кагором сироп по рюмкам. Причем Ремка Штыб, взяв свой бокал, подтолкнул локтем Пьера и всем своим видом стал показывать, что он-то привык не к такого рода напиткам, но уж поскольку собралось такое цыплячье общество, то и он выпьет эту водичку...

Потом зашел разговор о школе, о занятиях. Все старались рассказать Пьеру какую-нибудь смешную историю. При этом Ремка, о чем бы ни шел разговор, начинал каждый раз так:

– Стойте, погодите, я сейчас расскажу! Помните, это в тот день вышло, когда я Коське Халилееву влепил. Он полез на меня, а я как ему...

Потом он излагал свои взгляды на науку.

– Отличничать! – разглагольствовал Ремка, вызывая негодование и священный ужас у девочек. – А на кой мне ляд через край потеть-то? Я в академики подаваться не собираюсь. Вон Славка Махан, он уже мотоциклетку заимел, аккордеон схватил. Только играть никак не научится. Слуху нет. Его из горного училища выгнали, а он работает на станции. Когда погрузка, когда выгрузка, когда что. Выгоняет в месяц семьсот с гаком. Сейчас особенно учиться – это абсурд, расчету нет. Нет, с этим я кончал.

– Ну и дурной, – сказал Сеня. – Если все так будут рассуждать, так кто же тогда, интересно, будет добиваться, чтобы все развитие дальше шло?

– Да, это тебя не очень хорошо рекомендует, – заметил Сурен, любивший выражаться совсем как в книгах.

– Ой, держите меня! – закричал Ремка. – Патриотизм... – Он так и сказал «патриотизм». – Бурные овации, все встают.

– Ты испытываешь предел моего терпения, – невозмутимо ответил Сурик и как можно презрительнее пожал плечами. Но Ремка продолжал ломаться, стараясь блеснуть перед Пьером своим остроумием и полнейшей независимостью.

Танцевали под патефон. К сожалению, пластинки, которыми еще в школе похвастался Пьер, были в багаже, следовавшем через Москву малой скоростью. Танцевали под старые, которые имелись у Милы. Сеня, Сурен и другие мальчики стояли у стены и смотрели с тем насмешливый, снисходительным видом, с каким считают себя обязанными поглядеть на вечеринках вдогонку танцующим все уважающие себя мальчишки.

Зато Пьер танцевал со всеми по очереди, вызывая всеобщее восхищение.

Иногда во время танца Мила вдруг громко спрашивала:

– Угадайте, сколько сейчас?

– Чего – сколько?

– Сколько времени.

– Еще только без пяти восемь.

– Девятнадцать часов пятьдесят пять минут, – уточнял Сурик. А в перерыве между танцами Сурик Арзумян успевал внезапно спросить: – Раймонду Дьен ты встречал?.. А Анри Мартена не видал?

Пьер, оказывается, не видел этих героев французского народа. И таким образом, к удовольствию Сени, верный Сурен своими познаниями несколько утишал всеобщий восторг, которым, как показалось приятелям, окружили парижанина. И Сеня сам великодушно предложил сыграть в шарады. У него уже были припасены для этого вечера очень подходящие к случаю, например: «Пари-ж». Сначала поспорить – это будет первый слог. А второй, чтобы все изображали жуков: «Ж-ж-ж!» И общее: «Бонжур! Откуда вы приехали?» Все это прошло превосходно. Когда шарады наскучили, стали смотреть альбом «Третьяковская галерея», который недавно привез из Москвы отец Милы, Никифор Колоброта, ездивший на конференцию горняков. Снова позвали к столу закусить. За столом опять все по очереди рассказывали смешные истории, анекдоты,

рассказывали наперебой, и каждый начинал: «А вот еще так было... Приходит один человек домой и видит у собаки на хвосте...»

Ремка снова пытался, как говорится, занять площадку – он уже всем надоел. И теперь едва он что-нибудь принимался рассказывать, как все кричали:

– Знаем, знаем, это уже рассказывали! Сто раз уже! Это про пьяного. Знаем! Это, как он жене объяснял, что пришел вовремя, еще рано, только десять часов, а на башне как раз пробило час ночи. А он говорит: «Они же нолик бить не могут». Да, про это?

И, к досаде Ремки, собирался он рассказать действительно про это.

Зато Пьер оказался на высоте положения. Он рассказывал один анекдот за другим, и никто еще до него не слышал их.

– Один богатый местье... господин, – без запинки выкладывал Пьер, слегка перекатывая букву «р», – выдавал замуж свои три дочери за одного дворянина, одного купца и одного банкира. И он имел им в приданое пятьсот тысяч фranken на каждой. Нет... лучше рубли. И у каждого зятя он брал слово, что они, когда он будет мор... мертвый, положат ему в гроб по тысяче рубли. И вот этот человек умер, и зятя пошли прощаться к гробу. Дворянин говорил: «Благородные люди должны всегда сдерживать свое слово». И положил тысячу рубли. Потом подходил купец и тоже говорил: «Хороший был человек, который покойный, и я честно исполню, что как ему обещал». И он клал в гроб на тысячу рубли купонов за год вперед. А последним подходил банкир.

Тут Пьер торжествующе обвел всех взором и увидел, что хотя не все хорошо поняли, какие это купоны положил купец, но все слушают с полной готовностью немедленно расхотаться, как только можно будет. Девчонки уже зажимали руками рты, боясь прыснуть слишком громко, а мальчишки даже дыхание задержали.

– И вот подходил, значит, банкир и говорил: «Банкиры всегда должны быть честными, и я тоже должен сдерживать свое слово», – и поклат в гроб чек на три тысячи, а две тысячи денег брал из гроба обратно, как себе сдачу. Хитрый какой, да?

Все очень смеялись. Только Сеня, отсаженный на этот раз в далекий от виновницы торжества и ее подружки угол, мучительно

вспоминал, где и когда он слышал или читал историю, которую так бойко рассказывал Пьер.

– Одну девушку, которгая нанималась в горгничные, спргашивали, – бойко и заученно выговаривал тем временем Пьер: – «Вы поступили на службу?» Она говорит: «Нет, очень уж это бедные люди». – «Да кто вам это сказал?» – «Да как же, – говоргила она, – пришла я наниматься и вижу, там две баргышни...»

– Знаю! – вдруг закричал Сеня. – «Две барышни сразу на одном пианино играют». Они в четыре руки упражнялись.

– А ты успел знать уже... – сердито протянул Пьер. – Так хоргошо не полагается. Надо срразу говорить, если кто успел уже знать.

– Правильно, правильно! – закричали все. – Это не по правилам! Надо сразу говорить.

– Он один знает, а всем другим мешает. Всегда так. Вот уж у вас с Суриком привычка, – сказала Мила. – Ну, расскажи, Пьер, еще что-нибудь.

– Расскажи-ка еще, Пьер, про запах дыма, – сказал Сеня.

Он теперь вспомнил, где давно уже читал все анекдоты, которыми развлекал сейчас общество Пьер. Как-то еще в прошлом году он нашел на комодe у квартирной хозяйки Милицы Геннадиевны старую книгу в коричневом, по углам как будто обглоданном, замахрившемся переплете и со странным названием «Опытный домашний секретарь-наставник, заключающий в себе полный самоучитель к составлению всевозможных образцов писем на все случаи частной и общественной жизни: поздравительные, утешительные, рекомендательные, пригласительные, благодарственные, укорительные и тому подобное. А также житейскую мудрость, правила вежливости и вообще хорошего тона со множеством анекдотов, шуток, загадок, шарад и каламбуров...» Возмутило Сеню, когда он перелистывал эту книгу, замечание о футболе: «Игра эта очень незатейливая, – уверял „Секретарь-наставник“, – партия тянется долго. Упорная борьба в конце концов сильно утомляет участников, так что о второй половине нечего и думать...»

После этого Сеня уже окончательно потерял веру в «Домашнего секретаря-наставника». Но в конце книги оп обнаружил раздел,

который сразу же привлек внимание, суля и заманчивые возможности. «Фокусы и анекдоты для светского общества» – назывался этот раздел. Достаточно было, как заверяла книга, изучить фокусы, запомнить анекдоты – и Сеня мог бы стать в любом обществе его душой, неотразимым властителем умов и покорителем сердец. Правда, и тут его ждало разочарование. При дальнейшем и более внимательном ознакомлении с ними фокусы оказались либо невыполнимыми, либо совершенно неподходящими для демонстрации их в том обществе, в каком большей частью приходилось вращаться Сене Грачику. Ну на самом деле!

Разве не странным был такой рекомендованный «Наставником» фокус:

«Как застрелить на лету ласточку и снова оживить ее? Взявши ружье, объяснял „Секретарь-наставник“, – зарядить его обыкновенным порохом. Вместо же дроби употребите половину заряда ртути... (Не так-то легко принести на вечеринку ружье, да еще зарядить его ртутью!) при выстреле нет надобности метиться прямо в ласточку, так как для нее достаточно одного испуга, чтобы она упала, но тем не менее надо все-таки стараться так, чтобы ласточка во время выстрела летела от вас сравнительно близко. (А как это можно стараться, чтобы ласточка летела близко? И если вообще ласточка не прилетит?) Затем, когда ласточка упадет, то ее тотчас надо поднять, поддержать несколько минут в руках, до тех пор пока она очнется, и тогда уже представить ее зрителям живую и невредимую».

А вдруг она упадет и разобьется? Что тогда?.. Нет, не годились эти фокусы для Сени Грачики и его общества. Зато анекдоты, хотя они и сообщали о каких-то странных господах Н. Н. и пахли, как и вся книга, старым сундуком, мышами и нафталином, все же запомнились Сене. И вот теперь эти-то анекдоты и рассказывал Пьер, которому, Видно, когда-то тоже попал в руки старый «Домашний секретарь-наставник».

После бестактной выходки Сени, испортившей настроение парижскому гостю, некоторое время длилась неловкая пауза.

– Давайте споем что-нибудь! – предложил кто-то.

– А ты «Карманьолу» – слова – знаешь? – спросил у Пьера Сурен. – «Эх, спляшем „Карманьолу“, пусть гремит гром борьбы!..»

Но Пьер не знал слов «Карманьолы».

Зато он знал песенку Монтана «Большие бульвары», которую много раз передавали по радио. Мила сейчас же села к пианино и оглушительно громко заиграла всем знакомую мелодию. Сеня украдкой посматривал на Ксану и затаенно страдал за нее: она тоже училась музыке, но почему-то никогда так громко не играла. И все запели: «Как хорошо в вечерний час пройтись кольцом Больших бульваров лишь хотя бы раз». Все пели по-русски, а Пьер на настоящем французском языке. Вот это было очень здорово!

– А вы видели когда-нибудь Чарли Чаплина? – спросила тоненьким голоском одна школьница, которая весь вечер просидела тихая и молчаливая, как кролик, тая в себе этот вопрос.

– А бывал ты... – начал было и Сурен. Но Ремка Штыб перебил его:

– Заткнись ты со своими вопросами «А был?.. А видел?.. А читал?» Чего ты к нему пристаешь?.. Пьерка, расскажи-ка лучше сам еще что-нибудь смешное.

– Ладно, – сказал Пьер. – Очень хоргошо. Тре бьен<sup>[3]</sup>. Вот в один магазин пргходила молодая покупательница и спргашивала торговца, сколько стоит один аргшин этого баргхата? А торговец аргмянин...

Сеня покраснел и, стараясь не глядеть на Сурика, тихо сказал Пьеру:

– Не надо про это.

– Почему это не надо?

– А я знаю этот анекдот, он не смешной нисколючко, – настаивал Сеня.

– Тебе не смешно, а другим интересно! – закричал Ремка.

– Адын пацылуй, баргишна, – продолжал Пьер, коверкая слова, как ему казалось, с армянским акцентом.

Сурик сделался бледным. Сеня вскочил и двинулся прямо к Пьеру.

– Я тебе сказал, не надо... – И он показал ему глазами себе за плечо на загороженного им, побледневшего Сурика.

– Подумаешь, распоряжается! – сказал Ремка. – Это тебе с твоим Карапетом Курацаповичем не надо. А нам надо.

В комнате стало тихо, но Пьер расхохотался:

– Как, как? Каргапетом Кургацаповичем? О, здорго-во! Я тоже знаю так.

Ксана страдальчески смотрела то на Пьера, то на Сурика. Ремка захохотал.

Сеня подошел было вплотную к Пьеру. Но, отвернувшись, он поглядел на Ремку, продолжавшего ухмыляться, и издали громко сказал ему:

– Пускай спасибо скажет, что он еще только второй день у нас. До трех дней гостем считается. Объясни ему. А послезавтра я бы ему за такие слова...

– А что ты, интересно бы, ему сделал? – вызывающе спросил Ремка, выпрямился и уперся руками в бока.

– Выкиданс.

– Чего, чего такое? – переспросил Ремка, уже наседавая выставленным плечом на Сеню.

– Это по-французски значит: по шеям, – объяснил Сеня. – Он должен знать. Спроси его.

– Смотри, как бы ты раньше сам не узнал! – пригрозил Ремка.

Сеня посмотрел на него в упор.

– Ох, и отрицательная ты личность, Ремка! – проговорил Сурик. – И тип же ты, я тебе скажу!

– Просто балда! – дополнил Сеня. – Пошли, Сурик!

– Ну, куда же вы? – зашумели все, пытаясь остановить Сеню и вставшего за ним Сурена.

– Еще совсем рано! – Мила водила перед всеми выставленной вперед рукой с часами на ремешке.

– Бико! – произнес презрительно Пьер, мотнув головой в сторону Сурена.

– Это что за бико? – заинтересовался Ремка.

– А это у нас так африканцев желтомордых называют, алжирцев... Бико!

Сеня остановился, полуобернувшись, стиснул кулаки. Но Сурик потянул его за собой.

– Сеня, он же еще не перевоспитанный, ты должен понимать, – лепетала Ксана.

Но оба друга молча вышли из комнаты. Хлопнула наружная дверь. Все молчали. В комнате стало вдруг очень неуютно. На столе,

на двух тарелках, лежали среди крошек недоеденные куски именинного пирога. Апельсиновые корочки были выковырены из них.

Ремка покосился:

– Зря только надкусили. А через них теперь пропадай добро.

– И время еще только без двадцати одной минуты десять, – сказала Мила, посмотрев на свои новые часики.

## **Глава XII**

### **Клуб удачливых отцов**

Лекцию о будущем района читал совсем еще молодой человек, очень худой, узколицый и востроглазый. Все в нем было как будто колючим – и черные глаза, немедленно вонзавшиеся в тот угол зала, где возникал вдруг шумок, и резкий голос, хорошо слышимый во всех рядах, и длинная копьеобразная указка, которой он то тыкал в карту, висевшую на сцене, то в лад своим словам вонзал в воздух, как бы нанизывая на острие ее то, о чем он говорил.

Сначала Артем Иванович дивился, как это такой молодой человек научился говорить перед народом столь чисто и бойко. Тем более, что народу было много. И не только молодежь сидела в зале. В первых рядах, поближе к трибуне, белели головы над голубыми стоячими воротниками, принадлежавшими, как пояснил Богдан, старой сухоярской гвардии, почетным шахтерам. Но, видно, молоденького лектора уже хорошо знали тут. Когда Незабудный и Богдан Анисимович входили в зал, лектор только что появился на эстраде. И все ему хлопали очень дружно – и молодые и старики. А он раскланивался, вскидывая острый подбородок, и улыбался, зорко посматривая то влево, то вправо, кивая в зал запросто, как своим.

И слушали его очень внимательно. Но то, что говорил лектор, совсем уже озадачило Артема Ивановича. Не доверяя своим ушам, он украдкой поглядывал на соседей. Он хотел своими глазами убедиться, что слова докладчика все воспринимают всерьез, что он не шутит. И несбыточные, как казалось Незабудному, посулы о том, каким будет район Сухоярки в ближайшие годы, всеми воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Вот в том-то и было самое удивительное. Люди вокруг Незабудного по-хозяйски прислушивались к тому, что сообщал лектор, подробно рассказывавший о том, каким станет



Сухоярка очень скоро, и, согласно кивая, заносили что-то в записные книжки. И то, что казалось Незабудному сказкой, для них, для всех, кто сидел в зале, было делом добрым и прочным – радостным, но вполне возможным и даже как бы совершенно необходимым.

А когда кончилась лекция, стали задавать вопросы из зала. И в том, что спрашивали люди, тоже звучала спокойная и хозяйская требовательность. Чувствовалось, что спрашивают о чем-то очень нужном, большом, на что могут предъявить права.

– Предусмотрена ли новая дорога на аэродром? А то грейдер совсем стал никуда. Час на крылышках летишь, а три до дону добираться на колесах...

– Как в смысле рыбохозяйства на водохранилище будет? – Это спросил один из стариков в мундире почетного шахтера.

– Можно ли рассчитывать, что предприятия Сухоярки – все, словом, хозяйство – будут включены в общее энергокольцо? – Про то спросила полная коренастая девушка с тугими длинными косами.

– Будет ли свой театр в Сухоярке? И какой? Хорошо бы – музыкальная комедия! – спросил парень, одетый в куртку с застежкой-«молнией».

И тут все зашумели:

– А драматического тебе что, не надо?

– Ты без музыки и в театр не пойдешь?

– Кстати, – спросила седая женщина в толстых очках, – что слышно о новом помещении для музыкальной школы?

Теперьешнее уже тесно.

– А как со строительством холодильника?

Что-то затянулось, – спрашивали из зала. – А солонина вот уж где сидит! Спрашивающий стучал себя ребром ладони под горло.

– Планируется ли расширение сети шахтерских профилакториев? – раздавался вопрос из другого угла зала.

На галерее встал парнишка в форме («Из горнорудного училища», – пояснил Богдан) и, прежде чем спросить, заранее уже залился краской так, что девчонки рядом с ним начали фыркать друг дружке в плечо, отворачиваясь... У мальчонки был какой-то странный двойной голос. Он то говорил низким басом, то вдруг сбивался чуть ли не на фистулу.

– Прошу сказать, – начал парнишка густым голосом, – будет ли атомная энергия, – тут он вдруг соскочил с баса на дискант, – применяться в местных условиях на угледобыче. И как стоит вопрос с подземной, – он сошел на басы, газификацией угля? А также с гидродобычей?

– Слыхал?! – Богдан восторженно ткнул локтем в бок Незабудному. – Видал, как соображает! Надо мне его будет заприметить. Ишь ты, верещит и пиликает, как дудка, а котелок варит.

Потом, когда на все вопросы даны были ответы, старики стали обступать Незабудного. Кто сразу узнал и продирался через ряды к приезжему, а кто сперва всматривался, а потом только начинал припоминать, кто перед ним.

– Артем?! Будь ты неладен! Чтоб тебя разорвало!

– Здоров, Незабудный! Недаром так тебе фамилия. Не забыл, старый. Повертался.

И каждый из стариков, проталкиваясь к Артему, еще издали здоровался:

– О-о-о, бедолага! Мы думали, совсем ты от нас отломился, Артем.

– День добрый, старый чертяка!

Старики, сгрудившись вокруг Незабудного, громко крякали, утирали усы, лобызались с Артемом Ивановичем и крепкими еще кулаками били чемпиона в плечо и в грудь, в которой только гудело что-то от этих ударов, способных бы с первого же раза повалить любого другого человека.

Большинство из них помнил и узнавал сейчас Незабудный. Вот могучий Павло Лиходий, глава целого рода прославленных забойщиков. Вот веселый юркий Микола Семибратный. Жив еще старик, не сдастся. Подошел и Макар Зелепуха, а с ним Максим Халилеев и Никита Перегуд. Все это были крепкие, двужилые старики. Трудовые и партизанские медали красовались на их мундирах с голубыми стоячими воротниками – на мундирах почетных шахтеров. Вот какие это были деды! Да и отцы они были удачливые. Едва расспросив Незабудного о том, как его здоровьичко, как доехал, все стали хвастаться успехами своих детей. Да и было чем похвастаться перед приезжим. У одного сын уже был где-то директором завода, а другой командовал за инженера на большой

шахте. У этого дочь стала известной балериной и выступает сейчас в Ленинграде, в Академическом театре. Вон она какая краса-кралечка на фотографии. Юбка, правда, малость коротковата, но это уж у них такое заведение, непрменный фасон. А четвертый достал из кармана письмо сына, который был в Москве заместителем министра по угольной части. И с завистью слушал рассказы этих удачливых отцов, полные чадолубия и родительского бахвальства, навеки уже бездетный и вчера еще бездомный Артем. Ведь и с Пьером у него что-то не складывалось как надо. Не получался из Пьера Петька. Очень уж французистый был паренек.

– Что толку-то в стоячку да под сухую! – сказал старик Лиходий. – Пошли, братья, в буфет.

И Артема Незабудного повели в уютный зал, где люди толпились у стойки, блиставшей всеми традиционными ресторанными дарами. А над стойкой он увидел старые часы с кукушкой. Да, это были те самые часы, что висели когда-то в трактире, который так и звался «Подкукуевка», или «Кукуй». Давно уже, видно, кукушка не отсчитывала часов. Где ей было угнаться за новыми временами. Она так и застряла в окошечке своего домика, выгаращила глаза, раззявив беззвучно клюв. Откуковала, видно, свое зозуля и теперь молча уставилась из своего окошка на новую эпоху.

Но здесь, в буфете Дворца шахтера, по-прежнему встречались вечерами вышедшие на пенсию, но еще пошумливавшие старики шахтеры.

Сдвинули столики. Артема Ивановича усадили на почетное место, в центре. И пошел большой, хороший разговор.

– Так, – сказали старики и выпили все враз. – Значит, вотрь сянте, говоришь? Ну, нэхай так. Сянте так сянте. Будем здоровы!

Хорошо. Значит, выпили по-французски. «Вотр санте. Ваше здоровье!» По-немецки уже пили: «Прозит!»

Теперь все налили себе кружки сызнова.

– Ну, в Италии, чай, был? – спросил старик Зелепуха. – Давай же выпьем тогда и под итальянский разговор. Это как будет?

– У них, у итальянцев, пьют таким манером, – объяснил Артем, – сперва, стало быть, нальют и говорят: «Салюте!» А потом встают и

друг дружку издавая приветствуют: «Чин-чин». Вроде как бы, мыслится, чокнулись.

– Вот и хорошо, выпьем чин-чином, – подхватил Зелепуха.

Все шло отлично. Старики были довольны.

– Культурно сидим, – говорил кто-нибудь из них время от времени. Не раз, конечно, за этот вечер вздохнули старики, вспоминая тех, кто уже давно выбыл из числа посетителей Подкукуевки и либо лежал на погосте, либо почил где-то в братских могилах, либо сгинул без вести в годы войны. Понутив седые головы, помянули старики и многих сыновей – своих и чужих, не вернувшихся домой, война поубивала...

И смолкали все. Кто осторожно слезу выковыривал из морщины, кто медленно ставил перед собой тяжелый, добела стиснутый кулак на столешницу.

Незабудный заметил, что у многих горняков на почетных мундирах рядом с трудовыми медалями и орденами красуются ордена боевой славы, партизанские медали. Приподнял пальцем на груди у Перегуда одну такую. И о каких только удивительных делах, о каких походах неслыханной дерзости – и о смелых рейдах, оглушавших оккупантов, и о безмолвной муке окружения, когда любой шорох мог привести к гибели, и о добровольном неистовом труде на подмогу фронту – обо всем пересказали в этот вечер Незабудному старики под давно уже не кукующей деревянной зозулей. Они побуждали друг друга к рассказу, сами же перебивали и снова, как говорится, «делали подставу» для разговора. Только и слышалось:

– А ты расскажи ему, Павло, как наши хлопцы у них генерала кончали и весь штаб с адъютантами... Чего ты головой крутишь? Ведь ты, черт старый, сам тогда им штаб запалил зажигательной полбутылкой. Так все и полыхнуло...

– Да что про то!.. Ты лучше вот что... Помнишь, как пехом с тобой тысячу километров, а то и поболее топали через фронт. И все ночью. Днем где заховаемся, а как стемнеет – ходу! С нами еще человек шесть было. Пооборвались все, наголодовались – это жуткое дело! Чуть не голяком, и кости наружу торчмя торчат. Кто вовсе босый, а кто на одну ногу обутый, а с другой товарищу обужку дал. Чтоб хотя на одной топал. А все же до своих продрались.

– Нехай кто про жинок наших скажет! Как они с малыми ребятами мыкались по эвакуациям. Как за тем Уралом руки себе морозили. Танки в нетопленных цехах собирали. А стужа такая, ветер сибирский... До того мороз, что поверишь, Артем, какую, бывалочи, железку нихватишь, так шкура с пальцев начисто и слазит. К железу как прикипает... А рукавиц не хватало. Живым мясом брали. – А лучше спытай у Миколы Семибратного, как он в платяном шкафу, проще сказать – в гардеробе, три месяца жил, на манер той моли, чуть от нафталину не задохнулся... Он в хате одной сховался, как на разведку ходил. А в ту самую хату немецкого полковника жить поставили. Ну и попал наш Микола Васильевич. У двора часовой день и ночь. Ходу уже никуда из хаты. Хата, спасибо, большая, три горницы, так полковник за стенкой в одной, а Микола наш в другой. Хозяин был свой, наш человек. Оборудовал в шкафу все, как полагается. Ведерко с крышкой приладил там. Ну конечно, кормил чем мог. Днем, когда полковник в штабе своем, Микола из шкафу выходил, вентиляцию шкафу и себе променаж делал по горнице... Ну, после, конечно, они того полковника самого же кончили и в шкаф вместо Миколы определили.

– И про то, как восстанавливали после шахту у нас. должен знать! Вентилятор взорванный был немцами. Так мы, веришь, в противогазах работали, чтобы как скорее дело наладить. Более десяти часов на-гора не выходили.

– Да, друг, досталось нам тут... На голом месте сызнава жизнь заводить пришлось. Но корень-то наш никому уже не вырвать. Нет. Он глубоко пущен. Вот и пошел, пошел снова в рост. Сам видишь...

– О, Артем, то еще не диво, что тебе сказывали... А вот, веришь, по двести пятьдесят граммов хлеба было... да какой там хлеб, отруби да жмых. И вот, веришь, по двенадцать часов кряду рубили. Тут еще тогда от Ленина комиссар приезжал.

– Да тю, сдурел ты! То же в двадцатом году было, как белые шли.

– Ой, твоя правда, трохи заблукался...

Потом пришел знаменитый вожак комплексной бригады, знатный шахтер, депутат Верховного Совета Никифор Колоброта. А с ним и ребята из его бригады, державшие уже второй год знамя по всей округе. Это было замечательное содружество, как они сами себя называли, – коллективноопытники. Они действовали по правилу:

лучшее от каждого – коллективу, лучшее от коллектива – каждому. Таков был их девиз. Они раз навсегда покончили со старым профессиональным скрытничеством, когда один таил свой рабочий секрет, свою трудовую хитринку от других. У них все шло в общий котел. Кто был послабее, тот учился у более сильных и опытных. А сильный перенимал то, в чем был сам слабей ученика. Проходчики, забойщики, крепильщики работали сообща, помогая друг другу, делясь каждой находкой, всяким новым соображением. Комплексная бригада Колоброды работала уже в счет шестидесятого года, на несколько лет перевыполнив все годовые задания. Так рассказали Незабудному старики.

– Знакомься, Артем... Депутат наш. От нас выбранный. Можно так сказать, член самого правительства...

А Незабудный смотрел на сравнительно невысокого и не так чтобы уж очень плечистого, хотя крепко скроенного, сутуловатого человека, с маленьким красным эмалевым флажком на лацкане, смотрел и думал: «Вот уже в счет шестидесятого года дает, а я никак свои долги за восемнадцатый год заплатить не могу, и вовек мне не рассчитаться...»

Еще теснее сдвинули столы и снова налили кружки пивом. Но Колоброда, уважительно поприветствовав новоприбывшего, поздравив его с приездом, застенчиво отказался от новой кружки. Он объяснил, что у него дома семейный праздник и дочка обидится, если отец не придет вовремя...

– Я ведь, папаши, не имею привычки злоупотреблять, – смущенно отнекивался Колоброда.

– А ты не зло употребляй, а добро употребляй! – наседали старики.

– Мне, отцы, сегодня еще и подзаняться надо. Чертежик один... А тут примешь сверх нормы, ну и сморит тебя... Так что не поимейте на меня обиду...

– Он у нас на инженера жмет! – пояснили старики Артему. – Заочно! В город на экзамены ездит...

Колоброда, кланяясь и прижимая к сердцу широкую руку с въевшейся в край ногтей угольной чернью, еще раз поклонился старикам и ушел со своими парнями.

– Ты не думай, Артем, – утешали Незабудного старики, – это он не от гордости. Это он от твердости. Это уж, как он себе поставил в жизни, так и поступает. Это нето, что нашему брату приходилось. У него жизнь ясная. Чего ему за ворот закладывать? Правильно я говорю, старики?

– Правильно, – подтвердили все.

Подсел к столу слепой аккордеонист с партизанской медалью на зеленой колодке. И чтобы потрафить гостю и в то же время, не обижая его, чем-то отметить особую встречу, аккордеонист заиграл: «Всю-то я вселенную проехал». И сейчас же встал за соседним столиком сидевший поодаль удивительно красивый, немного похожий на цыгана человек, густоволосый, с легкой проседью на висках и чистым голосом, при звуках которого все вмиг стихло кругом, запел:

Всю-то я вселенную проехал,  
Нигде милой не нашел.  
Я в Россию воротился  
Сердцу слышится привет.

И Незабудный оценил тонкую деликатность окружавших его людей и понял их товарищеский намек и выпил еще кружку вместе со старыми друзьями.

А кудрявый все пел и пел, и глаза его глядели куда-то в сторону вверх сидевших задумчиво и совсем невесело, хотя он лихо встряхивал при высоких нотах кольцами черных, продернутых белыми нитями волос.

То был, как тихонько объяснил на ухо Незабудному Богдан, Тарас Андреевич Грачик, бывший завгар центральной автобазы в Сухоярке. От него много лет назад ушла жена, уехала с одним хозяйственником, переведшимся в Москву, и оставила у Тараса Андреевича на руках маленького сына. И с той поры стал Тарас Грачик зашибать. Вышла у него один раз крупная недостача. Его судили. Учли старые заслуги и в тылу и на фронте, но сняли с должности. И вот теперь он работает шофером грузовика-самосвала на гидростроительстве.

Выпили за все нации. Хорошо выпили! «Нехай все будут равноправные – нам не жалко!»

А загулявшие старики, приговаривая: «Эх, культурно сидим, законно гуляем», все чокались и чокались с Незабудным и подливали ему и все рассказывали, какая у них теперь пришла жизнь. Кто хвастал уже мотоциклом, кто пианино, на котором учится внучка играть, а кто уже и телевизором, что приобретен загодя, благо деньжонки подкопились, а уж через год-другой обещают в области открыть телецентр – тогда, поди, и не достанешь. Наперебой рассказывали старики шахтеры Артему о новых горных комбайнах, о врубовых машинах и об иных чудесах, которые теперь творились под землей.

– А про такое дело слышал – РУВ? – допытывался старый Перегуд.

– Нет... То что такое?

– А-а, то-то! Вашей загранице слабо, выходит, выстоять против нашей новой техники! А у нас, сказать, везде по всем рудникам теперь поставлен тот РУВ, без него и техбезопасность шахту не принимает. Объясни ему, Богдан, що це таке той РУВ?

И Артему рассказали об удивительном аппарате РУВ, который мгновенно самовыключает ток в подземной сети, едва лишь кто-нибудь по неосторожности коснется оголенного провода высокого напряжения. И с тех пор как поставили этот аппарат под землей, ушла оттуда одна из частых шахтерских смертей. А сколько еще не так давно погибало по неопытности или неосторожности молодых ребят, пораженных насмерть ударом высоковольтного тока – этой всегда подстерегающей подземной молнии.

– Что же, бра ты, – сказал, выслушав это и многое другое, Артем Незабудный, – что же, старики, счастливо живете. Да... Позавидуешь!

Но тут старики, хотя и согласились, что живут они хорошо и дети, дай бог, имеют хорошую жизнь, однако принялись вдруг ругать некоторых начальников за бюрократизм, невнимание и волокиту. Но и эту воркотню слушал Артем с удовольствием. Он заметил, что кто-то из сидевших за столом украдкой подтолкнул чересчур уж крившего каких-то начальников соседа и глазами показал на гостя.

Незабудный успокоил:

– Это ничего, старики, что вы начальство ругаете. Это даже хорошо. А то уж я думаю, что это вы, такие деды нравные, и всем чересчур довольны. Начальство уж больно уважаете.



– Так то ж не начальство. У нас руководство теперь называется, – поправили его. – Пойми ты, умная твоя голова. Из наших же. Вот мы их и учим. Это у нас знаешь как называется – са-мо-кри-ти-ка. Ты небось в старое время только критику знал, а у нас теперь и самокритика завелась на самих себя... Понял?

Тут помянули и Галину Петровну, председательницу.

– У-у-У с той лучше и не зацепляться.

Отчешет! – сказал старый Лиходий. – И как это ты, Богдан Анисимович, сам с ней управляешься? Крутая у тебя жинка. Все она, думаю, тебе постанавляет... Ну, что правда, то правда, голова!

И все согласились:

– Это уж точно сказать. Руководительница. Мать-хозяйка нашему мисту.

– Зелепуха! Ты ему, Макар, кажи, как она тебя раз шуганула, окорот тебе дала, когда ты на горло хотел ее взять. Помнишь, как тебе тот сарай из-под; курей снесли, который ты не на месте поставил!.. Он, понимаешь, глаза выкатил да на нее: га да га! А она, Галина Петровна, ему в ответ: «А ты, старый, что уж так очами зырка-ешь? Думаешь, искры из тебя летят? Не спалишь. То из тебя уже не искра, а песок сыплется». Ей-богу, так и сказала. Да еще и прибавила: «И не шуми, старый. Не на-тружайся так горлом, а то, не дай, говорит, бог, долго ли до греха у другим месте...»

Макар аж на стенку полез: «Как ты смеешь, бессовестная?!» А она: «А не знаю, про что ты думаешь. Я, говорит, имела в виду, сердце у тебя больное. А уж за какое место ты больше всего тревожишься, куда у тебя забота кинулась, то я, кажет, отвечать не могу...»

– Да тю вас! – Зелепуха махал рукой на стариков. – Сарай-то все же указала поставить у другим месте. И нехай так.

Посмеялись, а после Макар Зелепуха, как бы опечалившись немного, сказал:

– Вот, стало быть, и ты весь вышел, Артем. Будешь вроде у нас на пенсии. Тебе персональную, факт, поставят.

– Факт! – шумели старики. – Это мало сказать, сам Незабудный! Всех в мире перекрал!

– Только ты себе, Артем, какое-нибудь занятие приспособь, – продолжал Зелепуха. – Пошукай и выбери. А то ведь день ото дня отлички иметь не будет. И такая тебя скука прихватит, что и жить

станет неохота – аминь, пирожки! Надо, брат, и нам, старым, свой график иметь.

– У нас с тобой график выполнен! – заметил старый Лиходий.

– Бреешь, Павло Акимыч, бреешь на сто процентов! – возразил Зелепуха. Надо по ходу жизни отмечаться, для себя зарубки делать. Я вот себе какой порядок завел. Вот, скажем, по международным вопросам ассамблея собирается. Я день за днем газеты читаю. С утра встаю, сейчас – радио! Нукаси, как у них там голосование, которое назначено было. Так у меня уже с утра интерес имеется. Или турнир где какой шахматный. Я сейчас это себе табличку завожу, по клеточкам все у меня там. У кого ничья, у кого шах и мат получился. Теперь возьмем, что поближе, скажем, по угледобыче нашего района. Слежу за сводками. Так вот, час за часом не отстаю от течения жизни. А летом вот я еще для наглядности хмель по-за домом сажаю. До того он, собачий сын, растет! От утра до вечера, веришь ли, и то заметно. Вот на столько, сантиметра на четыре, а то и на пять за сутки вытягивается, да еще с оплеткой, винтовым ходом. Так что у меня один день на другой и не похож, всегда отлична есть... Это ты и себе займай, Артем.

Тут некоторые, уже хватившие лишнее, старики пенсионеры стали хвастаться своими прежними трудовыми победами, показывать силу рук своих. И до того расхвастались, что это уже и Артема заело. Сам он, всегда, всю жизнь придерживавшийся строжайшего режима и в рот хмельного не бравший, тут хватил водки с пивом и теперь захмелел немножко. И, чтобы показать бахвалам свою всемирно известную силу, он встал, подошел к печке, взял висевшую там толстую кочергу, согнул ее без особой натуги и скрутил еще узлом.

– А ну, дружки-старики, – проговорил он, – пошли на волю, я вам покажу!

Все повалили за ним на улицу. Там лежала здоровенная шестовина, толщиной чуть ли не с телеграфный столб. Артем вскинул ее на плечо, велел с каждого конца взяться, кто уцепится, и устроил карусель. Этот номер он по раз показывал зрителям в цирках. Человека по три, по четыре повисло на концах шестовины, которую Незабудный уравновесил на своем плече и затем стал вращать ее с такой быстротой, что ноги висевших, относимые центробежной силой, только замелькали в воздухе. У кого-то далеко отлетела галоша,

кто-то сорвался. Хорошо, что его еще успели подхватить у самой земли зрители. Старики уже не рады были, что вызвали Незабудного на такое... Еле уgomонили они разыгравшегося великана.

И милиционер, явившийся на шум, бегал вокруг, уважительно уговаривая:

– Граждане папаши! Уважаемые! Товарищи пенсионеры! Слушайте, деды дорогие. Вы же почетные люди! Ей-богу же, вроде как неудобно. Ну это же шкода получается, даю вам слово. Создается нарушение же!

А старики, души которых наконец отпустил, вернув их снова на землю, Незабудный, только пошатывались от головокружения да диву давались. Пришлось снова зайти в буфет, где допили остатнюю кружечку – теперь уж под свой корень: «Здоровеньки булы!»

Богдан решительно настоял, что пора уже идти по домам. Они вместе с Артемом вышли на улицу.

## **Глава XIII**

### **Притча о разных точках зрения**

С Первомайской, где еще не кончилось заведенное тут издавна ежевечернее гуляние, доносились перепевы гармошки, девичьи голоса, подхватывавшие веселые и озорные «коломийки», частушки.

Вдали горели звезды на копрах шахт. Люди выполняли свой план. Шахтерская слава их горела алым огнем над крышами поселка.

И все шли и шли, гомонили, сотрясая землю, разгоняя качающимися лучами фар темноту, и двигались туда, откуда степной ветер нес еле различимый, но неумолчный рокот колонны автомашин, грузовиков, самосвалов.

– Нет, что же это за народ такой! – бормотал про себя Незабудный, весь еще во власти услышанного им. – Что же за народ!.. Бог ты мой, что за люди, если они все смогли выдержать и такое сделали! Да ведь приведись это какой другой нации, так они бы все, слово тебе даю, перевелись бы начисто. Это уж ты поверь! Навидался-таки я порядочно. Или бы давно открестились от всего, что задумали, – хоть бы как-никак перебиться да свой век на свете отбыть... А эти-то, наши, не отступились, жмут свое. И не с оглядкой

назад, а с задумкой вперед живут. Вот оно плавное. И что же это за люди такие?..

Ночка была хорошая. Ветер ровный и несильный наносил знакомый запах степи, слегка смешанный сейчас с бензинным дымком. И все вокруг было и ново, и в то же время до слез знакомо. Артем шел, вдыхая и с детства знакомые, и совсем новые для этих мест ароматы.

– Что за люди! Ах, боже мой... – размышлял вслух Артем. – Я думал – вот как много я всего повидал на свете! А теперь вижу – еще больше проглядел. Как говорится, по широкому миру в тесных сапогах ходил... Что за люди! Да ведь и сам бы мог вполне свободно с ними на равных быть, да от доли своей отказался, просто-таки бежал от своей доли. Силой очень уж большой хвастал. А на поверку-то вышло, что слаба кишка. Но в чем же, скажи, сила та неодолимая кроется, что все выдержала, не согнулась?.. В правде, видно. Правду народ почуял. В правду свою поверил больше, чем в господа бога. Вон как тот мальчонка давешний, что еще воду в глаза не видел, а уже плавать выучился, потому что верит и знает – придет к нему вода. У него и мысли такой нет, что может не прийти.

– Ну ты, я вижу, кое в чем убедился, – заметил Богдан, – а если сам еще в чем и не разобрался, дай я тебе кратенько обрисую, если тебя, конечно, это интересует.

– Спасибо только скажу.

– Я уже тебе, как сюда шли, говорил про основное. Что люди у нас хозяева сами себе стали.

– Да и этого уж немало!

– Ты погоди, ты имей терпение до конца слушать. – Богдан Анисимович говорил негромко, медленно, вкладывая в каждое слово строгий и веский смысл. – Нет у нас хозяев, что помыкают людьми. Нет у нас, Артем, больше такой жизни, чтобы отцы неволили дочерей за постылых идти. Нет власти золота, а попробуй кто такую власть займет – есть на него управа. Власть света у нас сломала власти тьмы. Вот ты пойми главное.

– Великое дело, – проговорил Незабудный. – Нет у нас, – продолжал Богдан, – в судьбе нашей общей, народной различия ни по крови, ни по рождению. Нет, понимаешь, разницы никакой между крещеными и нехрестянами, и такого слова уже нет – инородец. Коли

помнишь, забудь... И не услышишь ты нынче про кухаркиных детей, которым ходу не было на чистую половину жизни. Покончили мы, брат, с этим навсегда. Нет больше позора горького на голову одиноких матерей – не топятся у нас от этого. Нет больше срама безотцовщины, и доли нет сиротской. Не мрут уже от живота, от горла да синюхи голодной малые ребята по деревням...

– Слушай, – остановил его Незабудный и сам стал. – Так ведь это же все для меня диво-дивное. Ведь вот оттого и пошли люди на эдакие испытания, выдержали все, а на обратный ход ни в какую не согласились. Я так соображаю!

– Ну, вижу, раскумекал кое-что, – усмехнулся Богдан. – А теперь ты скажи мне: ну скопил ты хоть что-нибудь? Капиталистом, может быть, стал или все так, прахом пошло? Ведь ты, слышно было, монету загребал – дай боже! О тебе по всему свету гром гремел.

– Что тебе сказать, Богдан? Не поверишь. Я врать не стану. И достаток был, и славы хватало. Не скажу, что уж так богато, но всего хватало. А счастья не было... Дня одного не имел. Все ни к чему. А потом и вовсе туго стало. И деньги все куда-то сгинули, и дружков я растерял, какие встречались, и уж от славы моей радости ни себе, ни другим. И завещание отписать некому... Вот я книгу одну читал английского, что ли, писателя, то ли, возможно, из американцев... Про старика рыбака. Могучий старик. Лучше не было во всем мире рыбака. Изловил он рыбину, ну просто богатство в руки схватил. На всю жизнь ему с той рыбы заработать можно было. А у него все, как есть, акулы съели. Чисто все. Костяк один остался. Вот так и меня акулы объели вчистую. На акул работал.

– Акулы мирового империализма! – засмеялся Богдан. – Так, что ли?

– Да уж не знаю там какие... А акулы – факт! И как так получилось, что сила моя ни другим большой славы, ни мне радости не оставила!

– Надо, брат, направление иметь, – ответил Богдан задумчиво, – течение жизни своей знать. Артем ты мой Иваныч, дорогой, в берега человеку надо входить. А не так себе разливаться. Вон пойдешь вылей разом весь Днепр в пустыню какую, ну, скажем, Сахару. Зашипит и в песок уйдет. А канал проруют, окопают как надо, дадут уклон. И бежит, и орошает вокруг.

Артем с внезапной горечью стал жаловаться Богдану на тех, с кем встречался утром. Ему обидно было, что и нищий, и священник, и бывший лавочник – сегодня спекулянт – не только считают его чем-то связанным именно с ними, чем-то сродни им самим, но еще позволили себе корить его и учить...

– Да плюнь ты на них, – посоветовал Богдан, – нашел кого слушать. Они хоть и рядом с нами живут, а в отдалении от всего нашего. Это, я тебе скажу, сидячие эмигранты. Вот как я считаю. Да они тебя ничуть не краше, хуже, пожалуй. Тебя хоть судьба по дурости твоей мотала, но ты, как видно, и за тысячу верст всей своей, можно сказать, требухой тут был. А есть такие у нас еще, что вроде как и на месте примостились, а нутро у него вон куда тянет, на чужой манок. Один к богу в рай убежать норовит, под боговой бородой укрыться, другой все в старом навозе вчерашний день ищет; тот, как сам же ты верно сказал, на дне сумы нищенской копошится, а кто в кубышку с головой влез, копит чего-то. А есть такие, что на дне стопки утешения ищут. Я бы сказал, за границей сознания прячутся. Тоже, назвать можно, в бега от жизни ударяются.

– Это ты верно сказал, Богдан, – с облегчением проговорил Артем. – Только удивительно мне – неужели они тут живут, а правды не видят рядом с собой? Самой сути не замечают. – А это все зависит от точки зрения, откуда кто глядит, – пояснил Богдан. – Стой-ка, я сверну закурить, а тебе сказку одну расскажу, не помню, где я ее читал, очень она мне запомнилась. Хоть и детская сказка, но и нам, старикам, она сгодится. Вот послушай!

### *Сказка о трех точках*

Жили-были бабушка, отец и сынок. Жили они в одной комнате, и окно у них было одно-единственное, маленькое. И было оно проделано в стене так высоко, что мальчонка и до подоконника не дотягивался. Посмотрит в окно, задерет голову и видит одно только высокое небо. А бабка лежит себе на печке, еще выше окна, и видит разве только что землю одну.

И вот они, как уйдет отец на работу, принимаются спорить. Спор у них идет из-за того, кто что в окне видит. Бабка эта раньше других

вечернюю тень на дворе примечала. А мальчонка, наоборот, первым солнце видел. Вот они все ссорились и спорили, спорили и ссорились.

«Ох, грязь какая сегодня на улице! – Это бабка ворчит. – Погода противная!»

«Нет, сегодня солнышко на дворе! – мальчонка возражает. – И небо, говорит, – синее-пресинее сегодня. А грязь эта только от вчерашнего дождя осталась».

И вот смотрит мальчишка через окошко на небо, видит – солнышко там сияет, нонешнее солнышко, и вчерашние тучи оттуда уходят. И деревянные балки, и лестничные краны торчат в небе. Новый дом по соседству строится. И самолет гудит на все небо. «Слышишь, бабушка, самолет летит?»

А бабка в ответ:

«Да нет, это обоз по мостовой стучит, обоз во двор въехал. Мне с печки-то видно».

Потому что с печки-то можно увидеть только старый, мусорный двор, старые заборы, лужи от вчерашнего дождя да прошлогодний снег, что в уголках притаился, еще не растаял. А больше ничего она и видеть не желала, бабка эта. Сама не видела и уже верить не хотела, что и солнышко на дворе, что и погода выправилась, и за старым забором новый дом растет...

Но тут придет отец. А он как раз такого роста, что ему видно через окно и вверху и внизу, и влево и вправо, и близко и далеко. Он-то уж все видел – и грязь, которая от вчерашнего ненастья осталась, и солнце, что сегодня на ясном небе взошло, и обоз он примечал, и самолетом любовался. И мусор замечал во дворе, и мрамор на десятом этаже. Все видел. И отец мирить пробовал бабку с внуком.

«Погодите, – говорил он, – вот мы переедем в новый дом с большими окошками, тогда и спорить вам будет не о чем». Вот переехали они вскоре в новую квартиру с большим окном. И тогда, верно, бабка узрела все, что видел внук.

Только думаешь, они перестали спорить? Нет! Все равно они и по сей день спорят. Они теперь спорят о лестнице в новом доме. Внук говорит:

«На лестнице у нас шестьдесят приступочек. Я сам считал».

А знаешь, как он считает? Он ведь на четвереньках еще карабкается. На каждую ступеньку сперва ногами, а потом и

руками...

А бабушка уверяет, что на лестнице девяносто ступенек. Потому что, когда она поднимается, старая, так на каждую ступеньку одну ногу поставит, потом вторую, да еще палкой упирается и при этом ворчит:

«Ах, будь ты трижды неладна!.. Будь ты трижды...»

А отец всех уверяет:

«По-моему, на лестнице у нас пятнадцать ступенек».

Потому что он человек молодой, работающий, торопится всегда, ну и шагает сразу через две ступеньки.

– Вот видишь, какое дело получается, – закончил неожиданно Богдан свою сказочку. – Поди-ка сосчитай, сколько ступенек!

Артем засмеялся:

– Верно, как тут считать?

– А чего считать! – сказал Богдан. – Лифт надо, вот и считать не придется. Техника при наших условиях общую жизнь поднимает на высокий уровень. И спорам конец. Ну, я уж дома. Дорогу найдешь?.. Бывай жив!

– В час добрый, – пожелал Артем и не спеша, вдыхая вечернюю свежесть, двинулся к общежитию, где они остановились временно с Пьером. За углом он столкнулся с какой-то странной парой. Худощавый, разбитной и долговязый парень почти волок на плече своем очень сильно выпившего человека и все о чем-то уговаривал его. А тот только отмахивался, невнятно бормотал, силясь высвободить руку. Артем осветил встречных мощным, похожим на булаву электрическим фонарем. И сразу узнал Тараса Андреевича Гранина. Около него увивался тот парень, что еще днем возле базара приставал к Артему с вопросами насчет «мони» и сигарет.

– Погоди, малый. Это ты куда его волокешь? – спросил Артем, не сводя с них луча.

Махан, жмурясь от света, стал финтить. Дескать, не может он бросить человека, коли тот вовсе не в себе. Стало ясно из разговора, что Махан ведет шофера просто куда-то в темный переулок и собирается, видно, отнять у него получку, которой похвастался в Подкукуевке пьяный. Шофер и сейчас все вынимал из-за борта кожанки и норовил переложить в другой карман пачку денег. Не



требовалось особой сообразительности, чтобы понять, к чему клонится дело. Артем медленно сжал свой пудовый кулак и, для убедительности еще подсветив его, поводит им перед физиономией Махана. Тот отпустил спутника, отпихиваясь ладонями от кулака Артема, ворча под нос:

– Ну, ты не очень... интуист! Размахался у носа. И подлиньше тебя были, да укорачивали... Чего ты, чего ты?.. Он на мои гулял. Я ему литр цельный поставил. Что же, получить сполна не имею права? Вали обратно, откуда приехал...

Махан, продолжая бормотать, смылся в темноту. В то же мгновение из-за угла показалась едва различимая в темноте маленькая фигурка. Артем посветил фонариком. То был Сеня.

– Тебе что, плохо, папа?.. Нехорошо? – заговорил он, ловким и, как видно, уже привычным движением вдеваясь плечом отцу под мышку и перекидывая руку его себе через шею. – Это у него последствия бывают, – виновато зашептал он, обращаясь к Артему. Ему было смертельно обидно, что отец оказался в таком жалком и плачевном состоянии перед знаменитым приезжим человеком. И по тому, как он сноровисто управлялся с совершенно захмелевшим отцом, заметно было, что уже не впервой это мальчишке.

– Дай-ка я тебе подсоблю, – предложил Артем, тяжело посопев.

– Не надо, дядя, я сам...

– Да чего сам! Тяжело. Дай я ею с этого боку возьму...

Когда они дошли до дому, где жили Грачики, Артем сказал:

– Когда отца уложишь, если сам не задремлешь, выйди. Я подожду.

Он присел у ворот. Ждать ему пришлось недолго. Сеня вскоре появился, тихонько прикрыв за собой калитку.

– Ну как, уgomонился? – спросил Артем.

– Спит. Он всегда быстро.

– Нехорошо это, что он пьет у вас, – посочувствовал Артем.

– Он у нас хороший был, – сказал Сеня. – Да вот как с мамой тогда вышло, так он уж у меня и стал вот так.

Оба помолчали.

Потом вдруг Артем Иванович наклонился к Сене:

– Слушай, малый... Я что тебя попросить хотел. Своди-ка ты меня сейчас на террикон. Ты давеча говорил, что видно оттуда...

Поглядеть не терпится. Дорогу, верно, туда знаешь?..

И вот они поднимаются на вершину старого террикона. И с каждым шагом ночь делается просторнее. Все, что было вокруг, уходя вниз, размыкается, ширится и как бы распахивает объятия. И дальний горизонт расправляет плечи, и кажется, что все пространство вокруг медленно, во всю грудь вдыхает свежего вечернего воздуха.

Звезды в небе не становятся ближе, нет, они еще более властно манят в недостижимое, но словно разгораются все чище и ярче. А большие огненные звезды на копрах шахт горят теперь уже в прохладной тьме, простершейся под ногами. То здесь, то там ночь беззвучно запечатывает светлые квадраты окон в домах, теснящихся внизу. Люди гасят свои огни, отходя ко сну.

Но далекий горизонт в ночной степи полон других, недреманных огней. Одни возникают из-за его смутной кромки, движутся и, взметнув короткие, как зарницы, лучи, гаснут. Другие мерцают, переливаются, словно угольки в печке, будто ветром раздувает их. Легкий, неумолчный рокот вместе со степной свежестью доносится оттуда. Там идет работа. Оттуда со временем придет вода.

## **Глава XIV**

### **Слабости сильных**

Пьер, вернувшись от Милы, застал Артема Ивановича в очень плохом состоянии. Дед лежал поперек гостиничной койки, не вмещаясь, пододвинув стул и положив на него одну ногу. Другая неловко съехала на пол. Он тяжело дышал и непослушными пальцами пытался развязать галстук. День, полный впечатлений, новизны, обид и утешений, не прошел даром. Сердце билось, срываясь, то совсем как будто останавливалось, то вдруг принималось частить, и каждый удар больно отдавался в левом виске, а пальцы истаивали какой-то тошнотной и вялой слабостью.

– Худо мне, – трудно проговорил Артем, увидя Пьера. – Может... доктора?

Дежурный общежития предложил вызвать, если надо, «скорую помощь» или сходить к живущему в доме напротив врачу. Пьер, перебежав улицу, остановился у чистенького крылечка, где на дверях висела табличка: «Доктор Левон Ованесович Арзумян». Но Пьер не

стал читать таблички. Он разглядел рукоятку старомодного звонка, похожего на велосипедный насос, дернул раз, второй. В доме, должно быть, уже ложились, потому что откликнулись не сразу. Лишь после того как Пьер дернул за рукоятку в четвертый раз, из-за двери послышалось:

– Кто там?

– Паргдон... пргостите... Мне докторга... очень скорго... пожалуйста... пргошу!..

Кого-то очень напоминал Пьеру голос, окликнувший его из-за двери. Да и там, за дверью, видно услышав слова Пьера, насторожились.

– А это кто? – нерешительно переспросили из-за двери.

Пьер не успел ответить, как дверь приоткрылась, и над цепочкой просунулось знакомое лицо Сурена. Некоторое время оба молчали, поглядывая друг на друга и не зная, как быть. Потом дверь захлопнулась. Пьер собрался уже было позвонить еще раз – делать было нечего, надо было унижаться и просить... Но послышался звон откинутой цепочки, и дверь распахнулась.

– Сейчас, – сказал Сурен, глядя мимо Пьера, – входи. Я отца разбужу. Он дежурил. Устал. Спать лег.

– С дедом Артемом плохо, – виновато объяснил Пьер.

– Ну подожди тут.

Пьер остался один. В домике не слышалось ни звука. Чужая и, как казалось, безучастная ночь – ночь на новом, необжитом месте-заглядывала в окна. Но не прошло и минуты, как в комнату, где ждал Пьер, вошел маленький носатый человек в толстых очках, с всклокоченными волосами и старомодной бородкой клинышком. На нем был уже пиджак. Он вошел, быстро на ходу завязывая галстук.

– Это что? – спросил он, подходя к Пьеру. – От кого? Это Артем Иванович Незабудный? Мне сказали – приехал. А ты кто?.. Внук? Так что? Так что такое с дедом? Только быстро. И кратко. Живо. Ну?

И, пока Пьер, картавя больше, чем всегда, сбиваясь, вставляя в русскую речь французские слова, объяснял, что произошло, доктор Левон Ованесович, которого все в Сухоярке от мала до велика звали Левонтием Афанасьевичем, внимательно слушал, кивая головой, поглядывая красными, утомленными глазами сквозь очки, собирал

инструменты, доставал что-то из шкафчика. Не успел Пьер еще закончить свои объяснения, как доктор заторопил его:

– Ну что, все? Где это, далеко?.. Ах тут, в общежитии. Все ясно. Отправились.

Каким беспомощным, ненужным и обременительным казалось сейчас Артему его огромное тело. Когда-то им любовались на всех аренах мира. Он получал особые призы за красоту телосложения почти на каждом чемпионате. С него лепили статуи. Вот оно, это одрябшее, отслужившее свой век тело. В прежние годы Артем бережно холил его. Надо было умащивать, выхаживать, тренировать. Каждый мускул приносил доход и славу. А сейчас только лишь тяжесть, обуза себе и другим...

Счастливые люди – здоровые люди! Что вы знаете о нас, болящих, немощных? Разве приходится вам нащупывать у себя на запястье сбивчивое туканье пульса, прислушиваться, считать, словно по капле тебе отпущено на жизнь... Что знаете вы о бессонных ночах, когда до муки хочется заснуть, а страшно, что сердце воспользуется этим и вовсе станет...

Когда Пьер вернулся с доктором, Артему Ивановичу было уже совсем плохо. Но укол, который тут же сделал ему Лево́й Ованесович, сразу принес некоторое облегчение.

– Вот, Леонтий Афанасьевич, – глухо говорил Незабудный, с благодарностью глядя на доктора, которого еще помнил с юности, – довелось попасть к вам перед смертью.

– Что за разговор! Почему перед смертью? Я не священник, чтобы перед смертью. Что такое – перед смертью!.. Хорошенькое дело! Моя обязанность, чтобы тащить обратно в жизнь, а не отпускать туда, куда провожают попы. А ну, довольно глупостей. Полежать придется. Вообще ничего. Спазм. Конечно, поберечься не мешает. А это что? – спросил он, с обычной докторской фамильярностью тыча пальцем в плобусоподобное плечо борца.

– Бен Дриго укусил, – просто объяснил Артем.

– Что это за зверь, Бен Дриго?

– Именно что зверь. В Буффало боролись. Я его бросил с тур де тета<sup>[4]</sup>, а он зубами мне в плечо... А это меня еще стражник нагайкой угостил, так, что шкура разошлась... Давнее дело. Помните, доктор,

на шахте у нас заваруха вышла, когда людей завалило, гнилую крепь дали...

– Так. А это чья расписка?

Незабудный покосился на глубокий шрам под грудью и сконфуженно закричал.

– Это одного, на меня подосланного, я на тот свет отправил в Сиднее. А он все-таки успел чиркнуть.

– Да... интересная летопись! – пошутил доктор Арзумян. – Ну как-нибудь зайду вечером, почитаю.

– Доктор... Леонтий Афанасьевич, мне должны из Москвы перевод... Вы уж извините. Сколько я вам должен?

– Вы мне должны – лежать. Понятно? Больше вы мне ничего не должны. Если вы денек полежите, то я вам обещаю дать сдачи хорошее самочувствие. Все?.. – И он посмотрел на Пьера. – А это? Ваш внук?

– Приемный, – шепотом ответил Артем.

– Что же, такого стоит и принять. Как тебя зовут, мальчик?.. Пьер? Так вот что, Пьер, завтра утром пойдешь в аптеку, возьмешь этот рецепт... – И, быстро написав рецепт, дав соответствующие наставления, обещая навесить завтра же к вечеру, Левон Ованесович ушел.

Но дома ему не пришлось сразу лечь спать. Он застал в своей комнате Сурена. Тот был чем-то взволнован и угрюмо расхаживал из угла в угол.

– А спать? – спросил доктор.

– Папа, – сказал наконец Сурик, – ты имей в виду, этот мальчишка, который за тобой приходил только что, – расист.

Тут доктор сделал то, что он так часто обычно требовал от пациентов, говоря: «Раскройте пошире рот и скажите „а“...» Потом Левон Ованесович захлопнул рот, сделал вид, что проглотил слюну, и внимательно посмотрел на сына.

– Да, – продолжал Сурик, – он всякими анекдотами дразнился с акцентом, и он меня на вечеринке у Милки Колоброта обозвал еще как-то... «Бико», кажется. Так они алжирцев дразнят.

– Кто это – они? – поинтересовался доктор.

– Ну, французы там, империалисты, фашисты ихние.

– Так, – сказал доктор. – Значит, он империалист. Давно не встречал. Ну и что? Что из этого следует?

– А то, что я на твоём месте не пошел бы к ним больше.

– Нет? Не пошел? – Доктор встал и, подойдя к сыну, крепко взял его за подбородок. – Нет, мой дорогой. Если тебе придется когда-нибудь быть на моем месте... если тебе доверят это место, так ты пойдешь. Очень глупый ты. Нет, ты не бико! Ты просто бычок, глупый обидчивый бычок. Я раненого немца перевязал, когда мы его схватили. Раненый, больной – это вообще уже не противник. Это пациент. Иди спать. Утром подумай, что я тебе сказал. На свежую голову подумай. А насчет этого империалиста мы еще с тобой потолкуем.

И долго еще сидел старый доктор у себя в кабинете, ерошил жесткие и без того взлохмаченные волосы, разводил руками, сам с собой о чем-то толкуя. Конечно, он все-таки расстроился. Все было понятно и естественно: мальчишку привезли оттуда, из чужого мира, из него еще не выветрились многие гнусности. И как-никак было чуточку обидно за то, что пережил сейчас сынишка.

И невольно пришли тяжелые воспоминания. Он вспомнил, как был схвачен гитлеровцами, когда, едва успев эвакуировать раненых, сам задержался в госпитале. Его тогда приняли за еврея и хотели расстрелять, а он из гордости не собирался сам опровергать эту ошибку. И только случайность, свидетельство одного из жителей и оставшиеся в госпитале документы спасли доктора.

Гитлеровцы не могли понять, почему доктор промолчал даже тогда, когда его уже собирались прикончить расисты. А доктор объяснял потом своим товарищам: «Я не считал для себя возможным пользоваться какими-то привилегиями, которые незаконно и гнусно даются одному народу и отнимаются у другого. Почему я буду отрекаться? Я уважаю все нации. Вполне уважаю и ту, к которой меня по ошибке причислили». Ему удалось через одного своего старого пациента связаться с подпольем, перебраться через фронт, и он ушел к партизанам.

Подойдя к шкафчику, Левон Ованесович достал оттуда какой-то пузырек, отмерил, налил в мензурку воды, поболтал в руке, опрокинул в рот и лег досыпать свою короткую докторскую ночь. Все плохо спали в эту ночь. Ксана несколько раз просыпалась, вздрагивая,

и садилась на постели. Потому что ей все снилось, стоило лишь задремать, что вокруг идет бой. Дымный кромешный бой, какой она не раз видела в кино. Ей нужно спасти раненого командира. То она подползала к нему под огнем, и у нее не хватало сил поднять раненого. То это было уже в глубоком и темном каземате... И она протискивалась в удушливых, узких ходах подземелья и застревала. И нельзя было вздохнуть. Или, наоборот, надо было карабкаться по совсем гладкой стене и потом идти по узкому наружному карнизу, очень высоко, без всякой опоры. И, не достав до бойницы, через которую надо было спасти командира, она падала, падала в бездну. По-всякому повторялось это. Но каждый раз у командира было точно такое же лицо, как на той фотографии, что висела у Ксаны над кроватью. Конечно, это был Григорий Богданович, отец Ксаны. И не могла уже Ксана вызволить его, спасти...

Не спала бабушка Галина Петровна. Вставала, в который уже раз снова открывала комод, доставала слежавшиеся листки, расправляла, хотела прочесть, но как доходила до строки «Дорогая ма...» да видела букву «м» с петельками вверх, так и роняла голову на край выдвинутого ящика. И поднимался с постели, накинув на плечи тужурку, Богдан Анисимович, подходил к ней, наклонялся, припадал виском, сам незаметно вытирая глаза о седые пряди ее волос.

– Ляг, старая... ляг, Галя. Люба моя родная, ну не добивай себя! Не знали мы разве с тобой, что нет уже Грини в живых? Давно уже дума такая у нас была. Не терзайся. Ну, обездолил он нас с тобой, зато, подумай, сколько он матерей от горя уберег. Мы сердцем своим за это заплатили, а он-то ведь жизнью своей. Что поделаешь...

Милка тоже спала беспокойно. Все зажигала свет и смотрела на часы. Прежде она никогда не боялась проспать. Мать будила. Но теперь она сама отвечала за течение времени. Только Сеня Грачик так наморился за этот незадачливый день, что заснул сразу. И ему ничего не снилось.

## **Глава XV**

### **Полная тайн и намеков**

Днем возле домика, где жили Грачики, взвизгнули тормоза. Мотор фыркнул и смолк. Громко хлопнула, прищелкнув, дверца

кабины. Это Тарас Андреевич заехал домой пообедать.

Как всегда, после того как он перехватывал, отец чувствовал себя виноватым перед сыном. Ему хотелось скорее загладить вчерашнее.

Сеня любил отца острой, настороженной и мучительной любовью, в которой восхищение иногда уступало место гнетущей жалости, пугавшей его самого, а сыновняя гордость сменялась порой жаркой обидой за отца. Он старался не вспоминать мать, давно твердо решив про себя, что она была куда хуже отца.

Совсем еще маленьким Сеня уже не мог простить ей, что она так мало радовалась, когда папа наконец вернулся домой, задержавшись еще на полтора года после войны в оккупационных войсках. Сеня снова и снова принимался тогда считать ордена и медали на отцовской гимнастерке, а мать, несколько не восхищаясь отцовскими наградами, все рылась в его чемодане и прикидывала, подсчитывала, на сколько отец привез разного заграничного добра в подарок ей, и пренебрежительно морщилась. А потом, года через два, мать совсем уехала с тем бритоголовым, что еще во время войны часто бывал у них и приносил маме то материал для платья, то белые булки, то какую-то, как он объяснял, горькую микстуру, которую мама разбавляла водой из графина и пила, морщась. И дарил Сене конфеты, от которых неприятно пахло лекарством. Бритоголовый работал в госпитале «по хозяйственной чести», как выговаривал тогда маленький Сеня, всех очень смеша. Да, она уехала с тем бритоголовым, «по хозяйственной чести», говорили о матери.

Сеня знал – сейчас отец бледный, с заметно припухшими глазами, но все же красивый, пойдет на кухню умываться. Снимет с себя гимнастерку, тряхнет черными, сединой прохваченными кольцами кудрей. И Сеня, держа наготове полотенце, опять zalюбуется его легким, смуглым и мускулистым телом. А какое удовольствие ждет Сеню потом, когда после обеда выйдут они во двор, куда заводит на время обеда Тарас Андреевич свой самосвал, и Сене будет позволено вместе с отцом мыть машину у колодца! Как он будет, становясь на цыпочки и повисая всем телом на ручке ворота, вертеть его, вытаскивая из прохладного колодезного сруба тяжелое ведро, и обегать с ним машину, лезть под огромный самосвал в тень, пахнущую маслом, бензином и резиной. Какое неизъяснимое наслаждение тереть, мыть и скоблить, выкручивать веретье,



надраивать до блеска металл и с головой влезать в капот мотора, изнутри которого идет еще теплый бензинный дух, и слышать от отца негромкие приказания: «А ну, дай сюда конец! Подержи тут. А теперь вон ту гаечку подверни... Еще!.. Хорош!..» И ходить до бровей измазюканным, и держать в руках тяжелый разводной ключ. Вот это жизнь!..

Так все было и на этот раз. Они работали с отцом на совесть, хотя Милица Геннадиевна, квартирохозяйка, несколько раз выходила на крыльцо и пыталась усовестить их:

– Тарас Андреевич, ну что вы позволяете мальчику так мараться? Вы только посмотрите, на кого он похож, чумичка какой-то!

Отец только посмеивался, пряча от Сени немножко виноватые глаза под густыми, загнутыми вверх ресницами. А Сеня-то хорошо знал, на кого он сейчас похож. На настоящего рабочего человека. На человека, занятого серьезным делом. А на кого вот она сама похожа, дурында?! Как заявляется отец, чтобы пообедать, так обрядится она сразу в длинный халат до самой земли, а талию затянет чуть ли не под мышками и похожа делается – тощая, длинная – на урну, что стоит на углу...

И, не глядя на хозяйку, он продолжал возиться у машины, изредка задавая отцу вопросы по специальности:

– Ну как, папа, бобина у тебя больше не отказывала?

– Нет. Порядок.

– Папа, как ты считаешь, «кадиллак» – это хорошая марка?

– Да, классная машина, легковая.

– А какая, ты считаешь, самая лучшая марка на свете? Английская? «Роллс-ройс»?

– Для нас, шоферов, всякая машина имеет одну марку – «ройсь-копайсь», отшучивался отец.

И Сеня замирал от удовольствия, хотя уже не раз слышал от отца эту шоферскую шутку. «Ройсь-копайсь»! Эх, если бы позволили, он бы целый день сидел за баранкой, хотя бы машина и с места не трогалась. Сидеть, держать баранку, осторожно касаться ногами педалей, взирать на жизнь через ветровое стекло с усиками «дворников», вдыхать запах кожи на сиденье, масла, бензина что может быть лучше этого!

Потом оба с отцом сполоснулись еще раз у колодца, стряхнули воду с рук. И Сеня во всем подражал отцу: сгибом локтя водил по своим стриженным волосам, как отец отодвигает кудри со лба, и так же свирепо фыркал, сплевывая воду, и крякал. Словом, момент был самый подходящий для задуманного еще вчера разговора. Можно было начинать.

– Слушай, папа, а пап?..

Тарас Андреевич, последний раз обойдя самосвал, уже готов был сесть в кабину и занес ногу на ступеньку. Он посмотрел на сына:

– Ну, что тебе?

– Папа, дай мне семь пятьдесят.

– Это как? Без запроса?

– Ну правда, в аккурат...

– Это куда ж тебе? – спросил отец, водя рукой у себя в кармане.

– Мне галстук-самовяз нужно.

– Носи мой, если нужно.

– Твой в косую линеечку, а сейчас надо в крапочку или полоски поперек.

– Это кому надо?

– Всем.

– Это что же, форма такая, что ли?

– Не форма, а по-модному так.

– Я тебе покажу моду! – Отец с веселой угрозой тряхнул кудрявой головой. Слышишь, Арсений?

– И брюки надо сузить мне, а то болтаются. Сейчас клеш уже не модный.

Тарас Андреевич с изумлением оглядел сына и даже ногу снял с подножки самосвала.

– Это с каких пор ты модничать так стал? Смотри, Арсений. Я вот эти самые брюки твои, не погляжу, модные или не модные, как стяну да такой тебе фасон пропишу!.. Это где ты такую моду слышал?

– Везде так носят сейчас, – не сдавался Сеня. – И в Москве и в Париже.

– Арсений, я тебе еще раз говорю! До Парижа далеко – отсюда не видно. А до того места, по которому отстегать можно, рукой подать. – И Тарас Андреевич сделал вид, что хочет изловить Сеню.

Сеня отскочил. Он отлично знал, что все это говорится так, только для формы. Отец его никогда и пальцем не трогал. Было, правда, однажды, несколько лет назад, когда Сеня играл со спичками и прожег хозяйскую скатерть – огромная враз расплзлась дырища с таким красивым черным махровым ободком... Но на всю жизнь запомнилось, как зажал тогда свою руку меж колен отец, словно нестерпимо заныла она, эта рука, сгоряча ударившая сына. И когда отец потом вернулся вечером, от него пахло, и он все протягивал эту руку Сене и просил: «На, плюнь, прошу тебя! Плюнь на нее...» А Сеня пятился и не хотел ни плевать, ни пожать протянутую отцовскую руку. Но больше это не повторялось.

– Ну ладно, – сказал Тарас Андреевич, изловил-таки Сеню, подтащил его и стал, шутя, мотать голову сына, положив ему ладонь на макушку, – возьми там в столе сколько надо. Только дорогой не покупай, а то мода отойдет, а самовяз останется ни к чему. Смотри ты, стилияга...

– Я, папа, не стилияга.

– А кто же ты? Как есть пижон-стилияга!

Жоржик! И брючки ему суживай, и самовяз в крапочку. Ладно, давай за вчерашнее мириться. Порубим капустку? Так они всегда мирились. Становились друг перед другом, ладонь к ладони и начинали «рубить капусту». За отцом тут было не угнаться – до того он был ловок. Ладонь его, как ни частил Сеня, встречала твердые звонкие ладони отца. А Тарас Андреевич все убыстрял и убыстрял движение, и руки его так и мелькали, так и били, то прямо, то крест-накрест, то одна за другой, то обе вместе. И всегда Сеня проигрывал, в конце концов запутавшись. И, сдаваясь, повисал на отцовских руках. Так он повис и сейчас и, раскачиваясь, как на качелях, заглядывая снизу в лицо отцу, вдруг сказал:

– Папа... А зачем ты пьешь столько?

– А сколько надо? – разом посерьезнев, спросил отец и поставил Сеню наземь. – Ты мне что, норму даешь какую-нибудь? Или указания на то имеются?

С минуту он, ничего не говоря, смотрел на сына, собрался было что-то еще добавить, но лишь тяжело вздохнул. Потом одним ловким движением взлетел в кабину, невесело через окошко подмигнул Сене, дал газ... И огромный лязгающий самосвал вылетел со двора на улицу.

Сеня шел в школу, думая о неприятной встрече, которая ему предстояла. Как держаться с Пьером? Может быть, зря вчера так уж погорячился? Ксана, должно быть, права: он еще не перевоспитался, этот заграничный новичок. Но как гадко обозвал он вчера Сурика. Да еще и алжирцев обидел заодно. Вот, значит, у них там за границей все так и бывает, как пишут в газетах. Эх, надо было не так вчера сказать. Надо было подойти к нему и сказать: «Сурик в тысячу раз больше тебя русский, в общем, для нас свой, наш. Его отец тут всю жизнь всех лечит и с партизанами был, а твой дед?..» Тут воображаемое красноречие Сени стопорило. Знаменитого деда Пьерки никак уж не хотелось задевать.

Но Пьер не пришел на урок. Напрасно Ксана с надеждой смотрела на дверь класса каждый раз, когда она открывалась. Пьер не пришел.

– Ну вот, – огорчилась Ксана, – видите, что вы натворили вчера?

– Нашлись умники! Все рождение мне испортили, – подхватила Мила. – Знала бы, так не звала.

– В следующий раз можешь и не звать, не напрашиваемся! – отрезал Сеня.

– Нет, – сказала Ксана, – ты, Сеня, пойми. Мы должны учитывать. Ведь он сколько пережил в жизни. И, конечно, он еще не совсем уж сознательный. И мы должны его перевоспитать.

– Хо-хо! Очень вы ему нужны, – захихикал Ремка. – Да он вам сто очков вперед даст. А вы его пе-ре-воспитывать! Умники какие идейные, высокосознательные. Плевать он на вас хотел. С высоты этой... как ее?.. Эльфелевой башни.

– А я считаю, – сказала Ксана, – я считаю, что, как только он сегодня придет...

– «Я считаю»!.. Считай хоть до тысячи, что толку!

– Он сегодня не придет, – сообщил вдруг молчавший до этого Сурен, не отрываясь от книги, над которой он сидел, низко склонившись, за своей партой. Не придет. У него дедушка заболел... Спазм сердечных сосудов.

В классе притихли.

Сперва лекарство подействовало. Артем Иванович успокоился, но под утро проснулся с тоскливо щемящей болью в груди и снова стал маяться.

«А вдруг помру? – ворочалось в его голове. – Помру и так людям ничего не скажу. А потом всплывет то дело с кубком... никто уже толком рассудить не сможет по совести и справедливости».

Он приподнимался на подушке, смотрел на стол, где в предрассветном полумраке проглядывали контуры вынутого из чемодана кубка «Могила гладиатора». Он напоминал ему снова и снова о той трудной тайне, которая, как червь, как дурная тайная болезнь, точила его.

Днем его навестил Сеня Грачик, который сообщил, что он пришел по тимуровскому поручению, чтобы передать привет, доброе пожелание здоровья от всего шестого класса и спросить: не нужно ли чего приедем?

– погоди! – неожиданно вспомнил Артем. – А как это дружок твой, когда мы на улице встретились, обозвал меня? Квинбус какой-то?

Сеня смутился:

– Куинбус Флестрин.

– Это по-каковски же будет? Я по-английскому свободно разумею. Французский разговор знаю прилично. Немецкий тоже немного понимаю. И итальянский. А такого не слышал. По-латинскому, что ли?

– Нет, – смутился Сеня, – это по-лилипутскому.

– Это как же так? Я вот много в цирках лилипутов встречал. Разные номера работали у иллюзионистов, но не слышал я, что есть такой язык – лилипутский.

– Нет. Это книга есть такая, – пояснил Сеня, смущаясь еще больше. Называется «Путешествие Гулливера». Она у Сурика есть. Как один человек там попал к вот таким маленьким людям, и они назвали его Куинбус Флестрин. Это по-ихнему, по-лилипутскому значит: Человек-Гора.

– А, Человек-Гора! Это так. Это про меня и в афишах так писали. А насчет того Квинбуса ты дай мне книжку почитать. Попроси у дружка. Интересно...

Он стал постепенно поправляться. В общежитии ему с Пьером, по указанию исполкома, отвели большую, просторную и светлую комнату, где приехавшим и предстояло жить временно до получения квартиры в новом, строящемся на возвышенности квартале.

Он настоял, чтобы Пьер стал ходить в школу на занятия, так как считал, что уже может обойтись один и не нуждается в неотлучном уходе. За то время, пока Пьер пропускал занятия по болезни деда, те самые мальчишки, которые еще недавно тайком от матерей вставляли клинышки в брюки и расклешивали их по-флотски, теперь стали один за другим самочинно обуживать штаны. Но, к их разочарованию, когда Пьер снова появился в школе, то был он уже в обычной форме, такой же, как и у других мальчишек. Это был результат забот Елизаветы Порфирьевны, которая хотела, чтобы, как она говорила, мальчик скорее ассимилировался. Как это надо ассимилироваться, Пьер не очень хорошо знал, но в новую форму, которую ему посоветовала приобрести учительница, облачился охотно. Ему надоело, что на улицах чужие мальчишки кричат ему: «Эй, джентельмен! Стиляга!..»

Ксане сперва было отчасти жалко, что вот и новенький стал таким, как все. Но ввиду того, что они с Милкой твердо задались целью перевоспитать приезжего, то форма в известной степени облегчала дело. Пьер действительно теперь уже по виду мало чем отличался от других ребят в классе, и говорить с ним поэтому было проще. Ей очень хотелось доказать ему свою особую заботу. Но не было случая: из-за болезни деда Пьер нигде не бывал и из школы шел прямо к себе домой, в общежитие. Тогда Ксана попросила, чтобы ей тоже дали пионерское поручение – навестить Артема Ивановича Незабудного. Проявить тимуровскую заботу – так и было записано в протоколе.

По дороге из школы, когда шли втроем, Ксана, Сеня и Пьер, на ходу решавшие, как лучше организовать эту самую тимуровскую заботу о дедушке Артеме, им повстречалась квартирная хозяйка Грачиков – Милица Геннадиевна. Она, конечно, была уже в курсе всех новостей, прослышала о приезде чемпиона и его приемного внука и даже об истории на вечеринке у Колоброда все вызнала. Она шла из магазина с полной авоськой, из которой торчали хвосты и раззявленные рты селедок.

Увидев ребят еще издали, она запричитала:

– Ах, боже мой! Что за парочка!

Хотя ребята шли втроем, но Сеня на полшага поотстал, и, по-видимому, слова Милицы относились к Пьеру и Ксане.

– Ну что за парочка! – воскликнула Милица, склоняя голову то налево, то направо, и так и эдак разглядывая новичка. – Познакомь меня, Ксаночка, с молодым человеком. Бонжур, очень приятно, Кутыркина Милица Геннадиевна. Заходите к нам. Ничем удивить не собираемся, живем скромно, но будем рады. Что же ты молчишь, Сеня? Пригласи молодого человека. Бог знает с кем водишься, а хорошее знакомство не поддержишь.

– Заходи, правда, – без восторга сказал Сеня и незаметно подшагнул, чтобы стать снова рядом с Ксаной. Пьер неловко кивнул.

– Большое вам мерси. Будем ждать. Ты ведь знаешь, Ксаночка, его дедушка твою бабушку бросил. Ну, в общем, оставил, когда молодой был. Вы можете считать себя вроде как родственники... А ты, Сеня, не опаздывай к обеду, папа велел тебе сказать, чтобы ты вовремя...

Не все поняла Ксана, но почувствовала – на что-то нехорошее намекает Милица.

А Сеня прошептал:

– Ух, сплетница!.. Честное слово, дурная она, ты ее не слушай!

К обеду он пришел вовремя, но решил чем-нибудь насолить Милице. Он видел, что каждый раз, перед тем как отец заезжает обедать домой, хозяйка прихорашивается, подолгу вертится у зеркала и запудривает свой длинный, хрящеватый нос с ехидно подергивающимся кончиком. Она употребляла пудру, которую называла «а-ля загар». Сегодня, пользуясь тем, что Милица захлопоталась на кухне, он пробрался к ней в комнату и подсыпал в розовато-коричневую пудру смешанное в банке с растолченным в порошок сахаром какао.

Когда приехал отец и сели обедать, мухи начали совершенно одолевать бедную Милицу. Она так и не могла догадаться, почему это такая на нее напасть сегодня.

– Как рано в этом году (хлоп!..) мухи развелись! – удивлялась Милица, отмахиваясь и шлепая себя по шее. – Наверное (хлоп!..), лето будет очень жаркое... Ф-фу!.. Буквально в рот лезут. Сегодня же мухоморки поставлю... Ф-фу! (Шлеп!)

– Что это они за вас так взялись? – заметил Тарас Андреевич.

– Да уж, верно, сладкая я такая, – кокетливо отвечала Милица, не подозревая на этот раз, как она близка к истине. Сеня с самым смиренным и послушным видом, опустив глаза в тарелку, деликатно прихлебывал суп, прислушиваясь с наслаждением к тому, как нещадно хлопает себя то и дело по лбу, по щекам и по шее Милица Геннадиевна.

...После странных намеков Милицы во время встречи ее с Пьером и Ксаной девочка почему-то не решилась сразу пойти навестить Артема Ивановича. Не то что она смутилась, но какая-то настороженность возникла у нее, и стало неловко идти вместе с Пьером к его деду. Ей бы хотелось пойти без него, побыть там, прибрать комнату и расспросить деда Артема об отце, которого она совершенно не знала, так как была еще совсем маленькой, когда он уехал снова воевать.

Между тем Ремка Штыб сообщил Пьеру, что с ним желает познакомиться Славка Махан – уличный коновод и чрезвычайно влиятельная, по словам Ремки, личность. Махан ждал ребят на пустыре, с которого уже снесли дома перед наступлением воды.

Он прогуливался взад и вперед у черного входа кино «Прогресс», куда выпускали после конца сеанса публику. Прохаживался со скучающим видом, оглядывая окрестности. У него была особая манера курить: руку на отлет, держа кончиками двух сложенных в щепоть пальцев сигарку и при этом насвистывая, ввинчивать в воздух дымок.

– А-а, – заговорил он своим хрипловатым тенорком, увидев приближающихся Штыба и Пьера. – Слыхали о таком! Вашему высокосковородию от нашего прохладительства низкий бульон, мое почтение! Здоров, жертва капитализма! Он протянул небрежно руку Пьеру. – Уже обмундировался под общий фасон. Ну, приветик, приветик жителю Европы. – А ты что есть, какой житель? Афргики? обиделся неожиданно Пьер. – Стоп, беседа! – Махан засунул руки в карманы и сплюнул. – Во-первых, не житель, а гражданин. Запомнил? Во-вторых... Штыб, разъясни этому жителю, что так со мной разговора не будет, принципиально... Если он, конечно, не хочет быть жертвой, а собирается жителем оставаться. Растолкуй ему, что у нас бывает, если кто чересчур фасон давит. – Пожалуйста? – переспросил Пьер. Он не очень понимал, о чем говорит Махан, но почувствовал,



что ему угрожают. – Подумаешь, – сказал Пьер. – Да мой дедушка, если я ему скажу, тебя вон будет кидать на ту торгу одной ргукой. – Во-первых, это не гора, а террикон. Не мешает знать тем, которые из Европы. Раз. А второе – я на твоего деда с высоты того террикона чихать хотел. Понятно? Штыб, ты чего его не информировал? Что он у тебя еще вовсе темный? – Я ему говорил, а он ломается. Штыб покосился на Пьера. – Ну ладно, хватит, – отрезал Махан. – Сам возьмусь. Ты вот что... Кончим-ка дурака валять. Мы же свои тут. Может быть, дед какое-нибудь барахлишко спустить захочет импортное, так тут есть люди. Можно организовать через меня выгодно и при этом иметь личный интерес. Ты, да я, да мы с тобой. Посторонние не требуются. Только давай условимся: без лишнего звона. Компрене? Ну, давай пять. И вообще контактуй со мной – не пропадешь. Свой будешь. Как говорится, поцелуй дугу в оглоблю, будешь мерину свояк. А деду ты не очень покоряйся. Да какой он тебе, спрашивается, дед? Нашему забору двоюродный плетень.

Тем временем Ксана прибрала в комнате у Незабудного.

Разложила бумажные салфеточки, подмела. Аккуратно чистой тряпочкой обтерла она серебряное тело гладиатора на кубке. Она уже собралась уходить, но Артем Иванович попросил ее немножко посидеть с ним. Ксана взяла стул и пододвинула к кровати, на которой лежал Незабудный.

– Как там мой парижанчик? Ничего? Подтягивается?

– По математике совсем уже хорошо! – с полной готовностью и торопливо заговорила Ксана. – Только по русскому ему немножко трудно с непривычки. Окончания в падежах немного еще путает. Но это у него исправится. Елизавета Порфирьевна сказала, что он способный.

– Вы с ним построжее там. Он балованный. Отвык от порядка. – Мы все решили его перевоспитать, – сказала Ксана.

– Ну раз все, так уж справитесь, а то мне одному не под силу. – Незабудный усмехнулся и вздохнул. – У меня для него авторитету мало. Считает, видно, что самого меня еще недовоспитали полностью.

Незабудный, двинув мохнатой бровью, легонько подмигнул Ксане.

– Артем Иванович! – Ксана, по-видимому, решила начать какой-то серьезный разговор.

– Да ты меня зови просто дедя Артем.

– Дедя Артем... А какой мой папа был? Мне бабушка все рассказала, как вы его один раз спасли. Он красивый был, мой папа?

Незабудный хорошо представил себе исхудалое лицо в кровоподтеках и струпьях, запавшие глаза и синеватые губы над бледными деснами с наполовину выбитыми зубами.

– О-о! С лица он, папа твой, Ксаночка, загляденье был! – быстро сказал Незабудный и откинулся на подушку. – Такой с виду хороший был. Орел! Вот как перед школой стоит, такой и был...

– А тоже был сильный?

Артем вспомнил обвисшее на его руках, совершенно невесомое тело, шею с выпирающими острыми хрящами, с бледной кожей, натянутой, как перепонка, над провалами ключиц.

– Не поверишь! – сказал он. – Не поверишь, до чего здоров был.

– Высокий?

– Ну, чуть помене меня, конечно. Но уж такой стройный, такой ладный.

– А бабушка говорит, он не такой уж большой был ростом.

– Да матери сын родной и до самой его старости все дитя малое. Это уж водится так.

– Он очень смелый был, да?

– Уж тут-то я не знаю и был ли когда-нибудь кто храбрее его!

Артем приподнялся на подушке. Теперь уже было легче. Все было теперь правдой. Нечего было таить. Все было так, как в жизни. И он рассказал Ксане о том, как ее отец, знаменитый по всей Италии русский партизан Богритули, прикрывал уход стариков, женщин, ребятишек из окруженного фашистами села. И как боялись его при жизни фашисты. И как несли после смерти благодарные итальянцы его гроб сотни километров, передавая из рук в руки, из селения в селение, как почетную эстафету. Все, что узнал он от людей в Италии про бесстрашного Богритули, про легендарного сына его дорогих друзей, все рассказал Ксане Артем Иванович Незабудный. Она слушала его, то пугающе бледнея, то вспыхивая вся и разгораясь и делаясь действительно похожей на тоненькую свечечку с нежным, колеблющимся и лучистым огоньком.

Но тут пришел Пьер. Он просто-таки не узнал комнату. Такой чистотой сияла она сейчас. По всему прошлись быстрые руки гости. Какой сверкающий порядок царил сейчас во всем! И на столе среди чашек, поставленных на аккуратно вырезанные узорные бумажные салфеточки, стоял и сверкал, как новенький, кубок, на котором серебряный атлет, опершись на одно колено, стоял другой ногой в каменной могиле, поднимая могучей рукой округлую оливковую вазу.

– Останься с нами, внучка, чаек попить, – пригласил Артем Иванович.

Но Ксана замотала головой и, стараясь не глядеть на Пьера, все время поворачиваясь к нему щекой в красных пятнах, объяснила, что спешит, быстро попрощалась и выпорхнула из комнаты.

В этот день Наталья Жозефовна, сев за свой очередной пасьянс «Каприз Наполеона», была несколько удивлена, когда к ней неслышно подошла Ксана и шепотком спросила:

– Баба Ната, а вы гадать на картах умеете?

Очень строго поглядела на нее через пенсне Наталья Жозефовна, пожевала губами и не спеша объяснила, что она и в старое царское время не позволяла себе оставаться во власти всевозможных пагубных суеверий, а уж сейчас Ксане, как пионерке и дочери передовых родителей, совершенно не к лицу в столь ответственный исторический момент, когда Западная Германия снова вооружается и грозит бедами человечеству, как она слышала сегодня по радио, и когда требуется высокая ясность сознания каждого человека, верить в ворожбу... И она кратко изложила Ксане свои взгляды на международную обстановку, разоблачив, как всегда, НАТО и упомянув о СЕАТО.

– Но вы же, когда пасьянс раскладываете, так ведь тоже загадываете? возразила Ксана, пропустив мимо ушей обличительные высказывания Натальи Жозефовны по адресу НАТО и СЕАТО.

– Пережиток! – вздохнула Наталья Жозефовна. – Пережитки властны еще над нами. И потом, что за сравнение! – Она искренне возмутилась. – Я же загадываю лишь относительно международного положения. Мне просто интересно, удастся ли Аденауэру получить ядерное оружие для вермахта. Или вот эти, – она ткнула в

разложенные веером трефы, – эти его тайные карты будут биты? У меня третий раз сегодня не сходится. А мы, бельгийцы, достаточно натерпелись от этих тевтонских набегов. Что думает Европа – не понимаю. Но вы, вы, современная молодежь, вы должны быть свободны от этих предрассудков. Я имею в виду карты. Стыдно, Ксана!

Бедная Ксана повздыхала, поводила капризно концами пальцев по клеенке стола, нарочно производя противный пищащий звук, который терпеть не могла Наталья Жозефовна, но в душе должна была согласиться, что баба Ната права.

Сеня прогуливался по Первомайской, куда он завернул, чтобы узнать, какую картину будут показывать на следующей неделе в кино «Прогресс». Он увидел вдали Сурена.

– И-ао! И-ао! – тотчас же закричал Сеня.

Недавно в «Прогрессе» шел фильм «Смелые люди». И после этого все мальчишки в Сухоярке в результате длительной тренировки, сводившей с ума домашних, научились воспроизводить звук, которым герой картины призывал своего верного коня Буяна. Собственно, это было что-то напоминавшее крик осла. Но в картине, как только артист Гурзо становился на склоне горы и издавал этот клич «и-ао», сейчас же слышался, к восторгу мальчишек, заполнявших первые ряды зрительного зала, топот скакуна, неудержимо мчащегося к своему бесстрашному хозяину.

– И-ао!

Сурик остановился молча. Когда-то он хорошо изучил клич Тарзана и мог бы ответить соответствующим образом, по-обезьяньи. Но лошадино-ослиное «и-ао» он еще не отработал. Поэтому он молча остановился и ждал приятеля.

– Слышал? – заговорил подбежавший к нему Сеня. – Новая картина в «Прогрессе» – «Верные друзья». Интересная картина, Штыб говорит. Он уже ходил на нее. Там смешное... Как на плоту трое дядек плывут, а у одного тапка с ноги в воду. А потом они без всего остались, и без паспорта. И еще в милицию одного из них забрали... Интересное кино!

Сеня принадлежал к тем верным приверженцам кино, которые, какой бы фильм они ни смотрели, ждут, что обязательно кто-нибудь упадет в воду или герои хотя бы уж подерутся. Во всяком случае,

произойдет что-нибудь очень смешное. И, надо надеяться, не будет длинных разговоров и любовных объяснений, которые только все дело затягивают.

Но Сурик безучастно слушал его.

– Интересное кино, говоришь? – протянул он. – А вот известно тебе, что такое вторая серия картины «Молодая гвардия»?

– Го! Я уже пять раз ее видал.

– А в шестой раз не желаешь? – многозначительно спросил Сурик. – Так имей в виду – она с этим типом сговорилась завтра на эту картину идти.

– Что же, она раньше не видела? – насторожился Сеня.

– Это для него. Не понять тебе? Перевоспитывает. Он, наверное, и первую-то серию еще не видал.

– А ты откуда знаешь, что они идут?

– А я видел – они билеты брали.

– Сколько? Два?

– Да нет. Три.

– А третий, что же, для Милки? И она с ними?

– Сеня, тебе должно быть известно, что хвост легко отрывается только у ящерицы, – с важным видом произнес Сурик. (И откуда, шут его возьми, все на свете знал этот мальчишка?)

– При чем тут ящерица? – недоумевал Сеня.

– О боги! – Сурик воздел руки. – До тебя что, не дошло? Я имею в виду Милку. Она за ними всюду, как хвост.

– Не скажи. – Сеня задумчиво покачал головой. – По-моему, наоборот, он сильнее к Милке относится. Как считаешь?

Сурик пожал плечами.

– Да, я тоже так считаю, что наблюдается.

– Видно, что ни в чем он не разбирается.

– Где ему разобраться!

И оба зашагали молча.

В тот же самый час Ксана, которая делала домашнее задание вместе с Милой, собирая книжки, чтобы идти домой, остановилась на мгновение у порога, а потом таинственно сообщила:

– Знаешь, Милка, когда мы вчера шли с ним с пеня... он мне вдруг говорит: «А сколько, говорит, вашей подруге лет?» Я говорю: «Мы с ней одного года рождения». А он не понял, спрашивает: «Как

это?» Ну я ему объяснила. Потом он стал считать, а после как удивится и говорит: «А на вид совсем уже как мадмуазель, интересная».

– Врешь, Ксанка, так и сказал? Мадмуазель? И интересная?

– Я, кажется, не имею привычки сочинять.

Мила испытующе посмотрела на подругу, подошла к зеркалу, поправила волосы и глянула еще раз, уже из зеркала, на Ксану.

Потом сказала ей, не оборачиваясь:

– А он меня про тебя тоже спрашивал.

– А что про меня? – Ксана, не доверяя зеркалу, быстро заглянула в лицо подружке.

– Подошел на переменке и говорит: «Почему, говорит, ваша подруга такая всегда задумчивая?»

– А ты что?

– А я говорю: «Она большей частью вообще обычно очень серьезная, потому что много пережила».

– Ну и он что?

– Л он говорит: «Это, говорит, заметно – чувствуется. Я тоже, говорит, много пережил, как и она».

– Так и сказал: «Как и она»? Ой, Милка!

И они, визжа, схватив друг друга за плечи, долго прыгали и кружились на месте.

У бабушки Галины Петровны в этот вечер был большой доклад во Дворце шахтера. И она после обеда прилегла соснуть часок перед выступлением. Ксана осторожно примостилась на диване возле нее, подползла неслышно, притерлась к плечу и стала легонько толкаться лбом ей за ухом.

Конечно, бабушка проснулась:

– Ишь, подкралась, ящерка...

– Ты спи, спи. Я не буду тебе мешать. Я только так, помышкаться.

– Брысь, пошла отсюда!

– Я буду тихонько. Прошло несколько минут.

Бабушка дышала ровно. Только веки ее чуть подрагивали.

– Бабушка, ты спишь? – зашептала Ксана.

– М-м? – откликнулась бабушка, едва двинув губами и не открывая глаз.

– Нет, ты спи. Я только тебя хочу спросить. Бабушка, а разве это может быть так, что живут вот, живут... И вдруг какой-то человек делается, ну, почти что важнее всех?

– Ну, сразу уж так это не делается, – сонно проговорила бабушка. – Это надо, чтобы по душе пришелся, чтобы из всех был самый такой, выбранный.

– Чудно как-то! – Ксана поежилась, устроилась поудобнее на плече у бабушки, помолчала, потом опять шепотом: – Ну, а если они даже раньше и не учились вместе?

– Кто же это такие они? – Бабушка приоткрыла один глаз и очень внимательно посмотрела на Ксану.

– Ну, просто так... кто-нибудь. Скажем, один человек и другой.

– Что же, так их и кличут по номерам: один да второй?

– Да нет, бабушка, какая ты!.. Я ведь это так интересуюсь, вообще. Я говорю только, может быть так, чтобы этот человек даже и подругой не был и не родственник никакой даже, а вдруг такой вот делается, самый важный?

Бабушка вздохнула и чуть заметно улыбнулась.

– Да, вот так и бывает: и не родня никакой, а делается всех родней.

– И со мной так когда-нибудь может быть?

– А почему же нет? Что, ты других хуже?

– Нет, – помолчав, задумчиво проговорила Ксана, – это, бабушка, наверное, все-таки как-нибудь не так бывает.

– Как бывает, еще узнаешь, нечего задумываться раньше времени. Ты что это, а? Нуканько, уж рассказывай давай.

– Да ну тебя, бабушка! – Ксана отодвинулась и уткнулась подбородком в подушку. – Ты уж сразу думаешь не знаю что!

– Ишь, хвостопырка! Чуть что, и уж все перышки топырь, топырь! Лежи, пока вовсе не согнала тебя отсюда. Полежали тихонько минутки три.

Потом Ксана дотянулась до уха бабушки:

– Нет, я все равно больше всех буду любить тебя.

– Не зарекайся, дурочка.

Еще что-то хотела сказать Ксана, но не решилась. Поежилась, повертелась, чтобы поглубже ввинтиться плечиком в подушку, и вдруг:

– А в Париже, оказывается, прямо посередке города поля. Называются Елисейские. Только это называется так. А то даже и не поля совсем! Улица там такая. В пять раз ширше, чем у нас Первомайская.

– Это что за «ширше»? Тебя в школе так учат говорить?

– Ну, шире.

– Ксанка, ты можешь дать человеку перед докладом хоть минутку поспать?

– Спи, спи себе. Я же не кричу. Я тихонько. – Она совсем перешла на еле слышный шепот. – Бабушка, а с тобой тоже так было, как ты сказала?

– Вот, ей-богу, еще наказание! Присуха какая! Ну что ты ко мне привязалась? Было и со мной, как со всякой.

– И дедушка Богдан раньше тебе совсем даже был не свой, ни капельки не родной?

– Вот чудная ты! Я же тебе объяснила.

– Удивительно, правда, как это вдруг получается?

– Да вот сколько уж люди на земле живут – сами все удивляются, что за сила такая берется.

– А это разве такая сила?

– Сила! – не сразу, подумав, но твердо сказала бабушка и, открыв оба глаза, повернулась к Ксане. Глаза у нее вдруг стали ясными и смотрели куда-то далеко, поверх Ксаниной головы. – Сила! – повторила она убежденно. – Если хорошо все у людей, то сила. А если нехорошо, не сошлось что-нибудь, то хуже боли и слабости всякой. Да, это, Ксаночка, такая сила, что человек, бывает, и совладать с ней не может.

– А дедя Артем?

– Это с каких пор он тебе «дедя»?.. Артем Иванович? Он при чем тут?

– Нет, я говорю: вот Артем Иванович, он ведь самый сильный считается... Он бы совладал?

Долго молчала Галина Петровна. И Ксанка решила, что бабушка уже спит.

Но та вдруг, не открывая глаз, не двинув плотно сошедшимися бровями, тихо проговорила:



– Ну он, кто знает... Он-то совладал бы. Видно, не сильное у него и было.

Бабушка полежала некоторое время.

Потом она вдруг снова открыла глаза. Сна в них уже не было совсем.

– Глупая ты еще, Ксанка... Это все не даром дается. За это сердцем человек рассчитывается. Это надо всей жизнью своей откупываться. А иначе вор человек, и нет такому ни родства, ни веры, ни дружбы, ни любви.

Бабушка повернулась к стенке.

Ксанка почувала, что не надо ее больше беречь расспросами.

Она только сказала:

– А у нас Катька Ступина и Женька Харченко сегодня в прическе под парижскую моду явились. Смешно. Как у лошадей дрессированных, метелки. Помнишь, в цирке выступали, когда мы с тобой в район ездили? Ты меня брала...

Бабушка не отвечала.

– А в Париже, – прошептала Ксана, – река есть. Называется Сена. Смешно, правда? Сена, солома, овес... – Она смолкла и уже совсем тихо, только для самой себя: – Там с моста девушки топятся, если несчастные... – И она очень тяжело вздохнула. Слышала бы бабушка, как ужасно пубок был этот вздох! Куда там Сена-река – пучина океанская!

## **Глава XVI**

### **От обреченных к обретенным**

Когда Артем Иванович уже окончательно пошел на поправку и доктор Левон Ованесович навестил его в последний раз, чтобы дать, как он выразился, «вольную» Незабудному, зашел опять разговор о Пьере. И тут доктор осторожно рассказал Артему о том, что произошло на вечеринке и как нехорошо Пьер обидел Сурена. Никогда не думал доктор, что это произведет такое впечатление на чемпиона. Тот побагровел, выпрямился во весь свой гороподобный рост и так треснул кулаком по столу, что угол столешницы отскочил далеко в сторону и ударился о стену.

– Да я ж его, чертова сына! Да за это же мало... Нашел кого, щенок свинячий!..

– Да ты не волнуйся, не волнуйся, Артем Иванович, – успокаивал его врач. – Я ведь не от обиды тебе говорю, а просто желая помочь мальчику. В чем дело? Совершенно понятно. Какой вопрос может быть? Ведь среда-то у него была в основном специфическая. Можно представить, каким хорошим вещам учили в приютах для «перемещенных лиц». Ты скажи еще спасибо, что он такой, в общем, скромненький. Но слабовольный он, мне кажется, и охотно под чужое влияние попадает. Но только, Артем Иванович, давай уж по-честному уговоримся. Я тебе это все сказал по дружбе, и ты, пожалуйста, меня уж не ставь в неловкое положение перед мальчиками.

Незабудный пообещал, что он не будет наказывать Пьера, а поговорит только с ним по душам. Но не сдержал своего слова Артем Иванович.

– Ты что же? – набросился он на Пьера, как только стали они выяснять, что случилось на вечеринке. – Ты соображение имеешь или ты его там оставил окончательно, откуда я тебя вытянул, как щенка слепого из помойки... Ты знаешь, какому человеку ты обиду нанес? И ты что думаешь, ты его опозорил? Меня ты, дурак, осрамил, меня, Артема Незабудного. Вот, скажут, ездил старый дурень по всему свету, а ума не набрался. Не мог мальчишку вразумить. Ты же это меня хуже всего осрамил!

И вдруг Пьер словно взбеленился.

– Ты не кричи на меня, – тихо сказал он деду и часто задышал. – Ты что очень-то раскричался? А сам ты, думаешь, я не знаю?..

– Что-о-о? – Незабудный уставился на Пьера ничего не понимающими глазами.

– Да-да! Не прикидывайся. – Пьер почему-то вдруг перешел на французский, оглянулся на дверь и воровато зашептал, приблизившись к деду: – Думаешь, я не знаю, что ты скрываешь? Ты нарочно никому не говоришь. А ко мне, когда мы собирались уезжать из Парижа, приходили два господина... И они мне сказали, что если ты будешь против них везде говорить, так они мне скажут, где это находится. Я знаю, что ты скрываешь! Там, где зарыто, есть тот кубок... Второй... Что ты фашистам подарил.

– Да ты что городишь-то? Кто дарил?! Про что толкуешь? С чего это ты вообразил? И какого черта ты со мной французишь тут?! Ты что, родной язык забыл свой? Да я тебе...

С помертвевшим лицом, тяжелея душой, он откинулся на спинку стула и почти с ужасом смотрел на приемного внука. А тот тоже, видно, почувствовал, что сказал лишнее, и, отвернувшись, тупо смотрел в стенку.

Это было незадолго до того, как Незабудный окончательно собрался уезжать на Родину. В его отсутствие мансарду, где они жили с Пьером, навестили двое. В одном из них Пьер узнал уже знакомого ему Зубяго-Зубецкого, бывшего импрессарио Артема Ивановича. Другой был незнакомый. Они сперва расспрашивали Пьера: не увозит ли его Незабудный насильно, не хочет ли он остаться во Франции? А потом под большим секретом сообщили мальчику, что там, в Сухоярке, куда приемный дед собирается увезти Пьера, их может ждать одно очень интересное дельце.

Им доподлинно известно, что гитлеровцы, по приказу командования, перед своим уходом из Сухоярки, который совершался в большой панике, так как Советская Армия неожиданно прорвалась в этот район, успели зарыть несколько ящиков с огромными ценностями, временно находившимися как раз в Сухоярке для отправки в Германию. Вывезти их было уже невозможно, и гитлеровцы решили зарыть их. И вот Зубяго и его спутнику, человеку, на которого можно было тоже вполне положиться, было поручено сообщить обо всем этом отъезжающим домой эмигрантам. Но характер Артема Незабудного был им слишком хорошо известен трудно было рассчитывать на такого упрямого, ни с чем не считающегося старика. Однако вот, может быть, Пьер сам? Он мальчик разумный, уже многое повидал в жизни и, как надо полагать, умеет держать язык за зубами. Не так ли? Между тем местоположение зарытых ценностей известно одной организации, которая готова сообщить все, что надо, и дать точную карту с условием, что половина обнаруженных там драгоценностей будет отдана соответствующему лицу. Каким образом, это сейчас уже не его, Пьера, забота. Те, кому будет причитаться половинная доля клада,

оставшегося в Сухоярке, найдут способ свидеться и получить причитающееся им. Пусть это Пьера не волнует.

Но все, конечно, должно быть в полной тайне. Посетители намекнули Пьеру, что вряд ли желательно для его деда обнаруживать перед земляками не очень-то приятную историю, благодаря которой чемпион лишился одного кубка, составлявшего пару с оставшимся. А этот второй драгоценный кубок, да будет Пьеру известно, находится там же, в одном из ящиков, зарытых в Сухоярке, так как некое официальное и хорошо Незабудному знакомое лицо, находясь на службе и в особых частях гитлеровской армии, возило этот кубок с собой, с определенным расчетом, желая, если понадобится, произвести нужное впечатление на упрямых земляков чемпиона...



И они показали Пьеру фотографию. На ней был изображен какой-то толстолицый и очень, по-видимому, важный офицер в форме гитлеровской дивизии «СС». Он держал в руках кубок – такой же, как тот, что был у Незабудного. А вокруг стояли, выпятив животы, втиснутые в эсэсовские мундиры другие гитлеровцы... Так что разумнее было бы не путать никого в это дело и избежать огласки. И вот если он, Пьер, благоразумно решит поступать именно так, как ему рекомендуют его искренние доброжелатели, то все останется в тайне, а он на старости лет вполне обеспечит своего нареченного деда, да и сам сможет иметь кое-что про запас.

– Слушай... Я тебя прошу, – выдавил наконец из себя Артем, когда Пьер теперь рассказал ему обо всем. – Забудь ты про это, набрехали тебе... Жулики это, гады были. И они хотят нас с тобой тут перед всем честным народом ошельмовать. Они и мне про что-то намекали, да я с ними и разговаривать не стал. И тебя хотели но глупости твоей словить. Ты этому, дорогой, не верь. То обман. Ты уж меня послушай. Я это жулье, слава тебе господи, знаю. Вот они где у меня всю жизнь сидели. – И Незабудный с силой похлопал себя сзади, по литой борцовской шее. – Давай уж условимся, что об этом больше ни звука ни со мной, ни, упаси бог, с другими.

Пьер был неплохой, но слабовольный парень. А главное, он не очень любил задумываться надолго. И он терпеть не мог сам выискивать какое-то решение, с удовольствием разделяя чужое мнение. Доктор Арзумян правильно подметил, что он готов петть под любую дудку.

Сейчас он уже был не рад, что сорвался и выболтал все, что узнал тогда в Париже от тех двоих...

Они дожидались его тогда внизу под лестницей. И, хотя Артем Иванович строго-настрого наказывал ему в те дни остерегаться, чтобы не попасть в какую-нибудь ловушку, он согласился пойти в соседнее быстро. Там они угостили его вкусным аперитивом<sup>[5]</sup> и яблочным тортом и стали уговаривать, чтобы он сделал, когда приедет в Сухоярку, так, как они ему советуют. Они острили, перешучивались, хлопали его по плечу, понимающе переглядывались и намекали на какие-то возможные, угрожающие деду позором последствия, если Пьер откажется выполнить предлагаемое. Потом опять сулили Пьеру

несметные богатства, обеспеченную, роскошную жизнь в любом уголке мира. Может быть, он хочет ехать на Таити? О, там очень интересно! А какие девушки! Это он поймет, когда подрастет. А в Миами разве плохо? Или, скажем, в Вальпараисо? Были бы деньги! А они будут, если Пьер будет послушным мальчиком и станет поступать так, как его учат хорошие люди. Пьер тогда обещал подумать. А те двое велели на всякий случай заучить их адрес (записывать его они не советовали): «Париж, бульвар Капуцинов, 16, апартамент 132, месье Томбо<sup>[6]</sup>». Пусть не пугает Пьера эта зловещая фамилия. Это условное обозначение, намек на то, что тайна должна быть сохранена, как в могиле, – пошутили они. А потом уже серьезно объяснили, что достаточно Пьеру по указанному адресу сообщить из Сухоярки о своем согласии, и ему немедленно пришлют в ответ все необходимые сведения. А письмо Пьера, пусть уж он не обижается, будет для них некоторой гарантией, что он их не обманет. Ибо, если такое письмо им придется кое-кому показать в СССР, то Пьер сам понимает... И так далее...

Но слишком ненавистны были измучившемуся в скитаниях из приюта в приют эти чужие и чем-то враждебные люди. С ними в представлении Пьера связывалось все тяжкое, постыдное и грубое, что составляло его несчастное детство. Нет, ну их! Он уже бежал из двух приютов. Три недели после второго побега он ночевал в трамвайном депо, проникая туда им самим придуманным хитрым способом. Когда шли последние вагоны, задерживаясь обычно или замедляя ход под низким пролетом одного из уличных мостов – виадуков, он ждал удобного момента, держась снаружи за перила, и тихонько с арки моста опускался на крышу трамвая. Он ложился между укрепленными на крыше вагона рекламными щитами и вместе с трамваем въезжал в депо. Там можно было переночевать. Там, по крайней мере, была кровля над головой. Там было сравнительно тепло. Все-таки это было какое ни на есть пристанище, чтобы переспать ночь. И утром он снова взбирался с крыши трамвая на арку виадука и отправлялся бродить по огромному, оскорбительно безучастному к нему городу, где он был всем чужой, абсолютно никому не нужный и где можно было выклянчить или какими-нибудь маленькими услугами заработать на чашку скверного кофе с тарталеткой.

Много еще было путаницы в его голове, напичканной всем, что он вычитал в дешевых пестрых книжонках, вроде «Фантомас, гроза полуночи», «Королева сточных вод» или «Рассвет в казино». Не во всем он разобрался сразу, начиная новую жизнь, которая взяла теперь его решительно и, должно быть, навсегда в свой заботливо властный оборот. Не обо всем можно было поговорить и с дедом, который, видно, сам кое в чем еще путался, а о каких-то делах из прошлого предпочитал не поминать.

Он чувствовал, что не следует больше терзать Артема Ивановича расспросами, видел, как встревожен и озадачен был дед, когда услышал о разговоре в Париже с теми двумя... Он тихо вышел из комнаты. Но хотелось потолковать с кем-то. Не о том, про что шел сейчас разговор с дедом, об этом, конечно, лучше было молчать, забыть, выкинуть из головы и молчать. Но были у Пьера и другие вопросы, о которых следовало бы побеседовать с его новыми друзьями. Много интересного и нового для себя узнал за последние недели Пьер Кондратов. Много было еще не совсем ему понятно, а уж хотелось понять все. Может быть, поговорить с Ксаной? Она, видно, хорошо во всем разбирается. И не разболтает. Не такая!..

Но, когда он пришел к Тулубеям, Ксаны дома не оказалось. Его встретила Галина Петровна, только что вернувшаяся с работы. Она была в капоте, мягких туфлях, домашняя, уютная и не такая уж строгая, какой показалась в первые дни Пьеру.

– Ксаночки нет, – сообщила ему Галина Петровна. – Но, может быть, со мной посидишь? Заходи. Я же тебя толком и не разглядела. Вот совсем теперь вид другой у тебя, справный вполне. А то какой-то чудной фасон ты имел – не наш, не ваш, а так, не поймешь чей. Ну как, поправляется дед Артем? Кланяйся ему. Садись. Расскажи, как ты там в заграницах-то обретался? Намыкался порядочно, должно быть? Как же это так получилось все?

Пьер молчал.

– Может быть, вспоминать неохота? Ну, я тебя не неволю, беречь не хочу. Что было, то сплыло. И хорошо. Ну как, тебя не обижают наши ребята?

– Нет, – сказал Пьер, – если хотите, пожалуйста... Я могу рассказывать. Я никому не рассказываю. Я не люблю. Это плохо было. Это очень было нехорошо.

Впервые ему захотелось почему-то рассказать именно этой маленькой, строгой, очень внимательно смотрящей на него женщине о себе, о том, что было у него в так нелепо сложившейся и наполовину даже самому ему непонятной жизни. Галина Петровна смотрела на него спокойно, не разглядывала, а просто смотрела. И не было в ее взгляде того нетерпеливого любопытства, которое уже немного стало надоедать в людях Пьеру. Сначала этот повышенный интерес, вызывавшийся везде им, тешил Пьера, а сейчас такое чрезмерное внимание казалось ему назойливым. У него было как-то очень спокойно на душе оттого, что Галина Петровна смотрит на него внимательно, но совершенно не любопытничая. А главное, не было в ее глазах того жалостливого участия, которое всегда очень раздражало Пьера.

И он все рассказал ей. И как увезли мать в больницу, после чего он уже больше ее никогда не видел. И как отправили его в приют. И как он бежал оттуда первый раз. И как опять забрали его ажаны. И как захотела его пожалеть какая-то одинокая, уже немолодая и чересчур уж ласковая дама – эмигрантка, с усиками на вечно приподнятой и противно выгнутой губе. О ней ему и вспоминать почему-то было тошно. И как он опять удрал. И как прыгал на крышу трамвая с виадук. И как снова загнали его в приют, когда поймали, и уже собирались отправить в Америку. И как нашел его Артем Иванович. Про все рассказал Пьер.

Галина Петровна слушала его строго, не, перебивая. Только иногда спрашивала, если попадалось непонятное слово:

– Ажан по-нашему кто будет?.. Ага, полицейский. Так-так. Поняла. А мансарда? Ага, ясно. Вроде мезонина, значит. Ну, давай дальше. А потом она спросила его:

– Ну, а кем же ты быть собираешься, куда работать пойдешь, когда школу кончишь? Дальше планируешь учиться или как?

– О-о! – Пьер оживился. – Я имею одну большую мечту. Я много времени мечтаю. У меня будет свое кафе, там музыка и много, много гарсонов. Это значит лакеи. И я буду всех очень угощать. А потом будет красивая яхта. Буду брать пассажиров. Будем делать вояж, путешествовать.

– Это, конечно, хорошее дело, разлюбезное занятие: угощать да путешествовать, – сказала Галина Петровна. – Но ведь только так



проешься быстро да проездишься. Либо на людях наживаться тебе придется. Ты как же хочешь предпринимателем быть, что ли, или в Нарпит пойдешь, буфетчиком на пароход? Я что-то тебя не разумею.

– Нет, паргдон! – возбужденно пояснил Пьер. – Это будет у меня мое. Лично. Это, как сказать, свое дело.

– Так. Свое дело. Ну, а свое призвание, думка какая-нибудь на жизнь у тебя есть? К чему у тебя склонность имеется? Как ты думаешь, что ты в жизни делать должен? Ведь не только угощать да катать товарищей с музыкой. Цель жизни у тебя есть?

– Какая цель жизни? – переспросил Пьер, кашлянул, как будто проглотил что-то, и вдруг громко, заученно, бесцветным голосом отрапортовал: – Цель женщины – рожать солдат, а мужчины – убивать их, воюя.

И тогда она вдруг встала, крепко схватила его маленькой, но цепкой рукой за ухо и стала таскать Пьера из стороны в сторону.

– Где же, где же ты пакости такой набрался, а?

– Лессе муа!.. Оставьте!.. Больно же! Ну пустите! – Пьер обеими руками уперся в локоть Галины Петровны, но та не выпустила его уха.

– Больно? – проговорила она, мотая его голову. – А я и хотела, чтобы больно. Чтобы запомнил. Чтобы, как услышал такую где брехню подлую или сам так подумал, ухо у тебя сразу зачесалось. – Она отпустила Пьера и оттолкнула его. Он стоял весь красный, не зная, что ему делать: бежать, оставаться, наговорить что-нибудь этой маленькой, старой, злой женщине.

– Вот иди и скажи деду, что я тебе уши нарвала за глупые твои слова.

Но Пьер не уходил. Он стоял и кусал губы. И все краснел и краснел.

– А пишете сами везде, что у вас нет физических наказаний... – пробормотал он. – Значит, только так? Прогопаганда?..

Он покраснел еще пуще. Казалось, что кровь сейчас брызнет у него. Но брызнули слезы.

– Ты что это? – всполошилась смущенная Галина Петровна. – Больно я тебе сделала? (Пьер замотал головой.) Обиделся?.. Ну ты меня извини. Я ведь к тебе хотела с лаской, а не с таской. Позасорили тебе, дурню, мозги. Мальчик ты еще молодой, складненький, а городишь шут знает чего. Ты разве фашист? Ты мне скажи – фашист?

Нет ведь! Ты же ведь наш, русский. А теперь наш, советский. Что же ты, как тот попка, поганые чужие слова повторяешь? От плохих людей ты их набрался. Это все люди конченные. Им рано или поздно крышка. У тебя у самого они, вон те, у которых цель жизни – убивать, отца с матерью сгубили. У меня сыночка отняли, да какого!.. Ой, Пьерушка... Дай-ка я тебя уж попросту Петькой звать буду? Ах ты, Петька-петушок, золотой гребешок! Не масляна твоя головушка бедовая, а несмышлена. Задурили тебе ее. Не слушай ты лис поганых. Унесли они тебя уже раз за темные леса, за высокие горы... Ну и будет! – Она вдруг сильной, уверенной рукой подтянула к себе Пьера. – Что же это у тебя тут пуговка на честном слове мотается? Такой кавалер, а тут неуправка. Дай-ка я ее живенько на место поставлю. – Ловким движением она сняла со стены, где висела бархатная туфелька, иглу с ниткой. – Ну, стой смиреннько, а то уколую.

Мигом пришила, откусила нитку.

– Ну вот, теперь полный порядок. – Она поспешно отдернула руку, пряча ее за спину. – Нет, уж ты только руку мне не лижи. Это у нас не заведено. Дай-ка я тебя лучше так. – И, взяв его за виски, поцеловала в лоб. – Деду кланяйся. Дед твой тоже глупостей понаделал на весь белый свет. Да под старость, видно, за ум взялся. А уж мы его тут не оставим без внимания. Не сомневайся. Скоро вам квартиру хорошую дадим, в новом доме выделим, на Первомайской, где сейчас строится.

Поздно вечером, когда вернулся со строительства Богдан, бабушка, садясь с ним за ужин, приготовленный Натальей Жозефовной, вспомнила:

– Ксанка-то наша, замечаешь?.. Как этот Петушок из Парижа-то прилетел, неровно дышит, а? Был он у меня сегодня. Ох, ералаш у него еще в головенке. Я его тут за уши оттакала.

– Ты что, в уме?

– Я-то в здоровом уме и твердой памяти. А вот теперь пусть и он запомнит. А Ксанка-то, Ксанка, а?

Богдан, отодвигая допитый стакан, с добродушным лукавством посмотрел на жену:

– Да уж признавайся, старая... И у тебя, я заметил, душа зашла, как чемпион чемпионов явился.

– Да ну тебя, Богдан! – возмутилась Галина Петровна. – Оставь! Я же серьезно говорю.

– А я что, шутки шучу? Что внук приемный, что дед пришлый, вижу – вам обеим с Ксанкой покою не дают.

– Вот дурень-то старый, вот чумовой! Честное слово! Видали вы его, граждане? Это ты куда же мыслями подался? У-у, чертушка, хуже, чем молодой был!

Она всей ладонью уперлась ему в лоб и сильно толкнула. Но он удержал ее ладонь обеими руками, прижал к своему лбу, потянул медленно вниз, пока ее рука не пришлась ему к губам, и остановил ее тут, тесно сведя косматые брови, плотно сомкнув веки.

– Сколько годов, а ты все у меня такой же, как был. Ой, Богдане, казачина скаженный, не сточило тебя ничем!..

## **Глава XVII**

### **Честь и слава**

Незабудный хоть и полеживал еще иногда, как советовал ему Левон Ованесович, но уже стал понемногу выходить. Разговор с Пьером очень его взбудоражил. Нельзя было таить дольше то, о чем проболтался мальчишка. Надо было на что-то решаться. Может быть, посоветоваться с Галиной Петровной? Все-таки руководство...

И после долгих раздумий он решился.

Надел лучший костюм, темно-синий, с еле проступающей красной прожилкой, тщательно выбрился, взял свою знаменитую двадцатикилограммовую трость, которой обстукал чуть ли не весь шар земной, и пошел в исполком.

– Записывались? – спросил секретарь, хмуро покосился на внушительную дубинку, с которой уже имел несчастье познакомиться, но тотчас строго сосредоточил взгляд на кончике собственного носа.

– Это куда же надо записываться? – не понял Артем Иванович.

– Не знаю, как у вас там, за границей, – сказал секретарь, – а у нас такой порядок, что если собираются о чем-либо у руководства исходатайствовать, то заранее на прием записываются.

– Ну, коли такой порядок, то валяй записывай, – добродушно согласился Незабудный.

– На сегодня, извиняюсь, уже записи нет. Я вас, разрешите, на следующую неделю занесу.

– Да уж ты занесешь. Это я вижу... Нелегкая туда не занесет, куда ты.

– Вам лучше знать, куда нелегкая заносит.

– Слушай, ты!.. – Приемная наполнилась гудением баса Артема Ивановича.

Но тут дверь кабинета председательницы распахнулась. Оттуда вывалился толстый человек с расстегнутым брезентовым портфелем. На ходу, недовольно побрякивая, он засовывал в портфель папку. Тесемки ее болтались. Галстук на толстяке вылез из-под воротничка. Даже ботинки на нем расшнуровались. Видно, баня ему была только что хорошая. Вдогонку вышедшему из глубины кабинета прозвучал голос Галины Петровны, негромкий, но решительный. Толстяк поправил галстук, завязал тесемки на папке. Потом кинулся к телефону на столе секретаря, назвал какой-то номер, навалился на аппарат, захрипел в трубку, прикрывая ее ладонью:

– Свищенков?.. Я это. Крутенюк... Срочным порядком отставить, что в отношении переноса продмага решили. Мать-хозяйка ни в какую. Да, сам попробуй... А я лично... спасибо тебе! Ни боже мой! У нее уже сигналы были от населения. Отставить, говорю. Дверь из кабинета приоткрылась.

– Ты, Артем? Ко мне?

На Галине Петровне ладно сидел синий шевиотовый костюм. Уголки белоснежной блузки были выпущены поверх жакетки, на которой Незабудный заметил две пестрые полоски орденских планок. Сама она показалась Артему Ивановичу в этот раз строгой и даже как бы ростом побольше, чем выглядела дома. Должно быть, подставленные по уже давно миновавшей моде высокие плечи жакетки придавали фигуре председательницы эту непривычную осанистость.

– Да я только спросить, – начал было Незабудный.

– Не записан на сегодня, предупреждаю, – вмешался секретарь.

Галина Петровна взглянула на часы, висевшие в приемной.

– Так сейчас еще минутки две до приема есть, Илья Гурьевич, – примирительно заметила она. – Надо все-таки уважать, человек приезжий.

– Нечего было уезжать. Вот и не значился бы приезжим. Сорок лет не торопился, а теперь заспешил, без очереди просится.

– Вот что, Илья Гурьевич, – промолвила председательница, – ты что-то лишнее брать на себя стал. Уж как-нибудь я без твоих этих нравоучений обойдусь с посетителями...

– Галина Петровна... Товарищ председатель! – Секретарей так и взъерепенился, даже карандаш с размаху положил на стол. – Я бы при посторонних попросил вас...

– Не знаю, чего бы ты там попросил, а я вот, товарищ Лобейко, требую... Понял? Требую, чтобы ты с людьми был потактичнее. И собой Советскую власть не заменял. Она человека приняла, а ты попрекаешь. И нечего карандашами о стол стучать. Давай уж без стуку... Проходи, Артем, присаживайся там. Вот время только зря проваландали. А теперь уж, верно, прием надо начинать. Ты меня извиняй, Артем, но у меня так заведено. Чтобы люди минуты зря не ждали. – Она еще раз поглядела на стенные часы. – Садись покуда там, Артем. Посиди, погляди нашу работу. Интересного, может быть, мало, а секретов нет...

Артем Иванович сел в уголок клеенчатого дивана, глубоко прогнувшегося под тяжестью его тела.

– Мне, Галя, только посоветоваться... Я ненадолго.

– Как ни ненадолго, а часы счет любят. Придется тебе посидеть. У меня тут еще... – Галина Петровна посмотрела на какие-то записи, лежавшие перед ней на столе, позвала секретаря. – Гурыч, соедини-ка меня с горторгом. – Затрещал телефон на маленьком столике возле ее кресла. Она взяла трубку. – Стахов?.. Товарищ Стахов, вы что это там фантазируете насчет продпалатки? И не думайте. Людям ходить три километра придется. Надо о народе думать. Ничего. Завезете. Транспорт у вас на это выделен... – Она положила трубку и опять позвала секретаря. – Гурыч, будь добр, свяжи-ка меня с электростанцией. Они, кстати, не звонили?.. Нет? Так. Ну-ка, я сама наведуясь... Это кто?.. Архипчук? Ты что ж не звонишь? Думаешь, я тебя в темноте не разыщу? Напустил в город мраку!.. Как – в какой темноте? Что это у вас с током целый день, радио еле можахом, в кино – муть одна... О ремонте надо было вовремя думать... Врешь. Это ты наш дом на первую линию подключил! А я вот заходила в аптеку, где вторая линия... Не брещи. У Богдана вчера специально вольтметр

попросила. И замерила. Еле сто девяносто натягивает. Не даете вольтажа положенного... Ну смотри... – Она положила ладонь на рычажок, сняла. – Девушка, соедините-ка меня с пятым строительным... Ну как, начальники? Дома в ванной скоро мыться будем? Как – к чему вопрос? А я полагаю, что не скоро... Вы что это, граждане добрые, там затылки чешете? Если ждать таких, как вы, так не скоро мы воду увидим. Очень просто. С Гидростроя звонили. Где двадцать машин, которые вы должны были сегодня к полдню дать?.. С резиной плохо? Вы сами что-то тянете, как резина. Смотрите вы... У меня и на сухом месте попариться придется. Это же государственное дело. Надо соображать... Закругляйся! У меня прием... Если через час машин на месте не будет, в райком сообщу, как хотите. Да, да! Кстати, что это вы как со школой возитесь? Застряли на третьем этаже... Слушайте, вы только не божитесь. Я в бога с восемнадцатого года не верю. А вот вода придет – где дети учиться станут? На нас Гидрострой жмет, требует старое здание уже сносить...

Незабудный во все глаза глядел на нее с дивана. Вот так Галя-плитовая, ай да шахтерка! Дает всем жару. И откуда что взялось? Ведь как распоряжается всем – не поспоришь, не ослушаешься. Нет, зря он сюда явился со всеми этими своими темными утайками. Ей и слушать противно будет. Да и время занимать у человека совестно. Вон у нее сколько дел! Но ему уже хотелось сидеть, слушать и смотреть.

– Ну давай, Гурыч, зови-ка там, приглашай, – распорядилась тем временем Галина Петровна.

И начался прием. Один за другим входили люди, присаживались на молча предложенный стул перед большим столом председательницы, выкладывали ей свои нужды, просьбы свои и заботы. Посетителей было много. Незабудному начало казаться, что не везет ему: попал он в такой трудный для председательницы день. А день-то был самый обыкновенный, и прием ничем но отличался от тех, что были накануне и будут на следующей неделе.

Сначала пришла худенькая заведующая детскими яслями и стала жаловаться, что в скверик, куда выходят окна ее яслей, плядит окнами недавно открывшийся клуб строителей. И вот, как только наступила теплая погода, самодеятельный хор строителей весь вечер репетирует под самыми окнами яслей. И дети вечерней смены не могут спать. И

пугаются. И пеленок не напасешься. Нельзя ли хор куда-нибудь перенести?

И Галина Петровна уже названивала в клуб строителей:

– Дело не в пеленках, а в детях. Вы же не можете вашим этим хористам распоряжение дать, чтобы они только одни колыбельные песни пели. У вас там два каменщика басовитых есть, так как рявкнут «Реве тай стогне», так у меня тут, на Советской, слышно. В общем, переносите репетиции куда хотите, а детей не пугайте. И имейте в виду, лично проверю.

Потом явился Макар Зелепуха. Он никак не ожидал встретить здесь Незабудного и очень смутился. Сидя у стола председательницы, он все поглядывал на Артема Ивановича, попробовал даже подмигнуть ему, на что тот подбадривающе усмехнулся, двинув усом.

– Ты, Галина Петровна, уж не серчай на меня. Ну был у нас разговор... Старики и сей день все меня им допекают. Все вспоминают, как ты меня тогда осекла. Так я ведь не про то. Ту сараюшку снес я, как было твое указание. А ты мне тесу обещала. Надо же новый ставить. Курей-то держать негде...

Получив направление на лесной склад, он ушел, по дороге хитро двинув клочкастой бровью в сторону повеселевшего Незабудного.

Тут позвонили еще с какого-то строительного участка и, видно, чем-то обрадовали председательницу, потому что она вдруг повеселела и сказала в трубку:

– Вот это разговор! Вот это как музыку слушать. Спасибо тебе, товарищ Андрюшин, за всех спасибо! Хорошо. Завтра же назначим комиссию на приемку. Порадуют людей. Сразу же, если все в порядке, заселять будем.

Она не успела положить трубку, как кто-то, видно, уже подсоединился. Потому что Галина Петровна закричала: – Что, что? Из радио... Так я же вам послала свой текст. Нет, насчет нового городского парка это извиняйте. Не стану. Рано еще говорить про то. Я пустыми бочками греметь не привыкла. Да. Уж как хотите.

Пришла потом маленькая веселая старушка и подробно рассказывала о том, как Галина Петровна помогла ей жильем, и как ей теперь хорошо живется на новом месте, и какие тут аккуратные соседи, не то, что те, вредные и нахальные, с которыми она жила прежде на Поселковой.

– Так чего ж тебе еще требуется, бабушка?

– Поблагодарить тебя требуется. Только всего! Ты не думай, я в черед к тебе на прием записанная. Я с той недели еще записанная. Пришла-таки просто сказать, что спасибо тебе. Я за тебя как на выборах голос отдавала, то и хочу сказать: не зря. Нет, не зря, Галина Петровна. И вот мой весь тебе разговор. Потом явился сухонький пожилой гражданин в тубетейке, с острой седоватой бородкой на румянном и подвижном лице. Загремел листами толстой, свернутой в трубки бумаги. Он прижимал эти трубки к себе, разворачивал их, как гармонь, и то наступал на председательницу, то отбегал назад, показывая то, что было начертано на этих листах. И Галина Петровна, встав со своего места, принимала иногда у него листы, отходила с ними к окну, чтобы посмотреть лучше, на свету.

– Ну спасибо вам, Илларион Петрович, – приговаривала она. – Поставим в среду же на президиуме. Да, я думаю, всем понравится. И, ей-богу, прямо не верится. Неужели у нас в Сухоярке такая красота будет?.. Артем, подойди-ка сюда, полюбуйся. Погляди только, какой через год-другой наша Сухоярка станет. Видишь проекты? Вы познакомьтесь, кстати. Это скульптор наш. Илларион Петрович Скородумцев. Это он Гринин памятник лепил, что перед школой стоит.

– Товарищ Незабудный, если не ошибаюсь? – оживился скульптор. – Очень приятно. Вы, слышал, самого Григория Богдановича в далеких краях встречали?

– Было дело.

– Ну как считаете? Как на ваш глаз? Справился? Ухватил я в основном? Мне ведь хотелось передать вот этот характер поразительный.

– В точности, – глухо проговорил Незабудный. – В аккурат, как живой. Я как подошел, плянул, так меня ровно молнией прожгло. Вылитый!

Скульптор со всех сторон восхищенно оглядывал исполинскую фигуру борца и наконец не удержался:

– Эх, товарищ Незабудный... Артем Иванович, если не ошибаюсь? Вот если бы вы согласились... Мне большая фигура заказана для будущей набережной, где у нас водохранилище будет. Вот здесь намечено!.. – Он развернул один из листов, показал



пальцем. – Эх, если бы вы разрешили с вас! О лучшей натуре и мечтать нечего. Из бронзы отолью. На века, так сказать.

– Нет, – Незабудный качнул своей могучей шеей, – спасибо вам. Повременим покамест с бронзой, я покауда из своего собственного материала еще покрасуюсь. Вот помру, тогда уж и отливайте из бронзы. Если, конечно, потребуется...

Долго длился прием у председательницы. Часа два, не меньше. Под конец пришла когда-то, верно, красивая, очень прямо державшаяся дама с мертвенным, увядшим лицом под полями старомодной шляпки с цветочками, и цветы тоже выглядели завядшими. Она заявила протест против переноса на новое место части кладбища. У дамы там был похоронен муж – инженер, всю жизнь проработавший на шахте в Сухоярке. Дама прижимала платок к виску и говорила с тихой, но назойливой обидой о том, что надо уважать память людей... И надо уважать чувства близких.

– Я и чувства уважаю, гражданка, – тихо сказала ей Галина Петровна, – и людей привыкла уважать, и еще до того, как они покойниками стали. Ясно? Знала я вашего супруга Евгения Дементьевича... Очень был хороший инженер. И мы, шахтеры, всегда его уважали и ценили. И, поверьте, не тревожили бы мы его праха. Но ведь ему-то все равно сейчас, где покоиться. А нам надо живых людей расселять, новое жилье возводить. Жилье! Понимаете вы это? Место, где людям жить! Ведь вода идет. Сколько кварталов на снос!.. А что ж худого, если мы перенесем могилку Евгения Дементьевича на новое кладбище?

– Вам этого не понять, – сухо сказала дама. – Вам все эти понятия чужды. Что делать!.. А ведь я и квартиру сменила, чтобы быть поближе там... Чтобы каждый день могла ходить... Где вам это понять!

Галина Петровна встала, перегнулась через стол и внимательно взгляделась в лицо посетительницы.

– И это кому же вы все говорите? – почти шепотом произнесла она. – Вам на автобусе не больше десяти минут ехать туда, на новое место. Пешком если, то и тогда полчаса не потребуется. А до могилы, где у меня сын... до той могилы, мне самой дорогой... тысячи километров. А десять лет с лишком я и не знала даже, где она. Вот спасибо, человек нашел... Только на другом краю света. А вы мне

такое говорите! Нет уж, видно, не понять вам! Посетительница тоже встала.

Они стояли и смотрели друг на друга, чужие и непохожие.

– Простите, – сказала дама.

– Да что тут... – Галина Петровна устало опустилась в кресло.

Как после всего этого было начинать разговор о каких-то сомнительных тайнах и припрятанных кладях? Но Галина Петровна, отпустив последнего посетителя, попросила секретаря, чтобы распорядился дать чайку на двоих, и пересела сама на диван, с которого собирался уже было подняться Артем. Маленькой сильной рукой она удержала его за плечо, согнала потом ладонью пелену усталости со своего лица, словно паутину сняла.

– Ну, Артем, задержала я тебя, прости ты меня...

– Царица ты Савская и Соломон мудрый в одном лице... – пробормотал Артем, отворачиваясь. – Честное тебе даю слово. Ну никогда не думал, не гадал, Галя... И во сне не снилось, что ты такая станешь! Ведь какое же, погляжу, у тебя хозяйство!..

– Да ладно тебе, Артем... Выкладывай, что там у тебя.

– Нет, я лучше, Галя, когда в другой раз...

– Как знаешь, Артем. Крутишь ты что-то. Чего-то таишь.

– Ну, Галя, – Артем Иванович решился, – как знаешь, а я правду скажу.

Нет, не все сказал он. Утаил-таки самое трудное, что и трогать-то было больно и совестно... Всего сказать, конечно, не решился, но передал кратко разговор, о котором сообщил ему Пьер.

Галина Петровна, выслушав его, задумалась.

– Знаешь, – сказала она потом твердо, – я тебе, может быть, тут плохая советчица. Это дело твоей личной совести. Только чую я, что ты чего-то темнишь. Не все договариваешь.

– Да нет же, Галя...

– Ты не спорь. Это твое дело. Я не допытываюсь. А все-таки на твоём месте я бы кой-куда сообщила. Тут дело что-то не совсем чисто. Кстати говоря, у нас тут долго слушки ходили, будто где-то в этих местах фашисты большие ценности позарывали. Ну мы тут одно время и поиски делали. Но пока ничего не обнаружили. Вот, правда, на Гидрострое, так там один раз, когда поселок Степной сносили, экскаватор банку консервную из-под земли выцарапал. Там верно

были кое-какие вещички. Кольца, ожерелье одно. Сдали государству. Говорят, на довольно приличную сумму. Нахапали где-то, видно, каты-фашисты, да не успели с собой унести. А больше пока ничего не слышно. Во всяком случае, не мешало бы сообщить куда следует. Скоро тут пол-района водой зальет. Чего же добру пропадать на дне? Сгодится в хозяйстве. Затраты у нас очень огромные. Я, Артем, конечно, могла бы сама о нашем с тобой разговоре сообщение сделать, но, по-моему, умнее будет, если ты лично туда зайдешь. Мало ли какие вопросы могут быть. Верно? В общем, ты иди, а я позвоню, чтобы тебя сразу приняли.

И отправился Артем на Красношахтерскую улицу, в дом № 8, где у входа стоял часовой.

Артема Ивановича приняли в небольшой, очень чистой комнате.

Через опущенные донизу легкие шторы на окнах свет лился на сверкавший, как будто только лишь сейчас вымытый пол. Худощавый, медлительный и даже как бы несколько сонный, но вдруг становившийся неожиданно быстроглазым человек в штатском встал навстречу Артему Ивановичу. Пригласил сесть. Сел сам. Со вниманием, но словно бы без особого интереса выслушал. Поблагодарил.

Затем Незабудного пригласили пройти еще в один кабинет, побольше, тоже очень чистый и несколько пустынный.

Все тут было голо и строго. Ковровая дорожка вела по натертому до блеска паркету к большому столу, без единой бумажки на нем. Человек в штатском познакомил Артема Ивановича с высоким, уже немолодым военным. Здесь Артем Иванович снова повторил свое сообщение. И опять его вежливо поблагодарили. Сказали спокойно, что поступил он совершенно правильно.

Порекомендовали все дело сохранить в строжайшем секрете, чтобы не было лишних разговоров. На листке, вынутом из ящика стола, записали тот адрес, который назвали в Париже Пьеру его незваные гости. И листок снова спрятали в стол. Обещали списаться с центром, с Москвой, поскольку дело получалось уже международное и могло иметь самые неожиданные оттенки. Просили не тревожиться. Сказали, что примут меры. И не советовали пока что говорить Пьеру о визите на Красношахтерскую.

Теперь, по существу, Незабудный сам отдался во власть судьбы, грозящей раскрыть для всех ту постыдную, нелепую историю, опровергнуть которую он уже вряд ли бы смог, если бы она обнаружилась. Трудно было бы вскрыть погребенную этим происшествием истину. Однако на душе у Артема Ивановича стало как-то спокойнее. Во всяком случае, поступил он честно. Все пришло в какой-то порядок. Теперь, хотя бы до поры до времени, он мог смело смотреть в глаза людям. А там – как уж получится. Если не соврали тогда Пьеру те двое, если и правда вместе с тайником раскроется и его тайна, грозящая ему позором, хотя и безвинным, он попробует доказать, что не так уж грешен, как может показаться... А коли не удастся опровергнуть, что же, пусть это ему будет за все прошлое. По дороге домой он присел отдохнуть на скамейке под старой раинкой. Надо было еще зайти на почту, чтобы получить пенсию, которую ему окончательно и щедро установила теперь Москва «за особые заслуги перед отечественным спортом». Подошла незнакомая совсем молоденькая девушка. По крайней мере, такой издали показалась она Артему. Когда приблизилась, Незабудный увидел, что не такая уж она девочка.

Только фигурка у нее была совсем как у школьницы, – легкая, с тонкой талией и маленькой головкой, оплетенной двумя толстыми косами. Она держалась свободно и совсем по-юному.

– Простите, вы из местных? – обратилась она к Артему Ивановичу, настороженно поглядывая на его костюм, покрой которого изобличал человека, приехавшего издалека.

– Из местных, – с удовольствием ответил Артем Иванович. Он еще испытывал каждый раз удовольствие, что наконец может считать себя местным. Много лет он нигде не был «местным».

– Вы не можете сказать, где здесь школа имени Тулубея? – спросила она.

Незабудный стал медленно вставать, приподняв вежливо шляпу. И, когда выпрямился, молоденькая незнакомка даже слегка попятилась и приоткрыла рот.

– Ух, какой вы! – вырвалось у нее.

– Пожалуйста, барышня... – пробасил Незабудный. – Я вас доведу. Мне в ту сторону.

Девушка с удивлением вскинула на него глаза при слове «барышня». По пути в школу они разговорились, познакомились. – И девушка, почувствовав сразу какое-то особое доверие к спутнику, поразившему ее одинаково как ростом, так и фамилией, рассказала, что она назначена старшей пионервожатой в школу имени Тулубея и зовут ее Ирина Николаевна, а фамилия у нее Стрекотова.

– Вот, ребятки, знакомьтесь. Любите и жалуйте, – объявила на другой день, появляясь в классе, Елизавета Порфирьевна, вводя за собой Ирину Николаевну. Это наша новая учительница. Она будет преподавать в младших классах, а по совместительству станет вашей старшей пионервожатой. Вот у нас до сих пор не было такой, а теперь будет. И уж вы, пожалуйста, помогите ей быстренько войти в курс всех наших школьных и пионерских дел.

Ребята, сидящие на задних партах, даже привстали, чтобы рассмотреть новую учительницу, которая к тому же, как оказалось, должна была стать теперь их пионерской руководительницей.

– Какая молоденькая! – перешептывались девочки. – И хорошенькая!

– Больно уж сама как девчонка! – не одобрили мальчики.

А она, чуть поворачивая голову влево и вправо, медленно озирала класс, ряд за рядом, парту за партой, словно запоминая всех, кто сидел тут.

– Значит, вон вы какие, пионеры шестого «А», – негромко произнесла она.

Ремка поднял руку и, не дожидаясь вызова, вскочил с места.

– Наш отряд самый лучший, – заговорил он особым звонким голосом, словно заранее припасенным для такого случая, – и по успеваемости, и по сбору металлолома и утиля, а также по всем показателям. И по дисциплине. Мы на хорошем счету. Наша школа знатная вообще и на хорошем счету. – Он смотрел прямо в лицо учительнице, а под партой тихонько лягал Пьера и украдкой подмигивал ребятам. И все видели эту игру, всем было смешно, что Ремка говорит сейчас так, как обычно говорит в подобных случаях Глеб Силыч, даже тем же изюмным голосом. Глеб Силыч всегда говорил гостям из района, что школа неизменно числится на хорошем счету. И к этому все привыкли. Как будто полагалось говорить так.

Класс слушал снисходительно, пряча за невозмутимостью насмешку. Но Сене, глядевшему в доверчивое внимательное лицо Ирины Николаевны, стало вдруг очень совестно. Он осторожно перевел взгляд на Ксану и увидел, что ей тоже не по себе от болтовни Ремки. А тот бойко продолжал:

– У нас все наши пионеры...

Но Ирина Николаевна, вдруг выставив перед собой ладонь, остановила его.

– Хорошо, хорошо... Я ведь от тебя отчета не требовала. Условимся так, что отчитываться о нашей пионерской работе будем уже вместе. Ладно? А сейчас давайте лучше познакомимся с вами как следует.

И, раскрыв журнал, она стала вызывать ребят одного за другим. И каждый вставал, когда она называла его фамилию, и говорил «я» или «здесь». И в каждого она вглядывалась с веселым и немного вызывающим как будто, но дружеским интересом. Словно приглашала. «Ну, мол, давай, давай! Погляжу я, какой такой ты, Арзумян Сурен? И что ты за человек, Грачик Арсений?»

Когда дошла очередь до Милы Колоброды, она вскинула голову от журнала, спросила:

– Это не того ли известного Колоброды, что рекорд проходки поставил?

И Милка, страшно покраснев, буркнула:

– Того!

– Интересно! – И чувствовалось, что новой пионервожатой и правда интересно. Она только сдерживается с трудом, чтобы не расспросить Милку о знаменитом отце. Потом Ирина Николаевна вызвала еще по алфавиту несколько ребят. И вдруг остановилась, вгляделась в журнал, склонившись над ним, и тихо, как бы с затаенным вопросом, прочла:

– Тулубей? Тулубей Ксения...

Ксана встала:

– Это я.

Ирина Николаевна долго, что-то думая про себя, смотрела на Ксану и вдруг сама заметно порозовела.

– Герой Советского Союза Григорий Тулубей – это...

– ...отец, отец! – зашептали все, привставая с парт. – Это отец ее.

– Он мой папа был! – звонким, стеклянным голоском своим ответила Ксана и потупилась.

Новая пионервожатая встала из-за стола, подошла к парте, где все еще стояла Ксана, перебирая руками край передника.

– Да, – сказала Ирина Николаевна, – похожа. Садись.

Она вернулась к столу, оглядела класс и внезапно стала очень строгой, даже суровой, как показалось Ксане.

– Вот видите, – сказала Ирина Николаевна, – мне выпала честь теперь работать вожатой у пионеров школы, которая носит имя замечательного человека... Удивительной храбрости человека! Ему славу поют и честь воздают не только на нашей земле, не только под нашим небом, которое он так бесстрашно защищал. Но и там, далеко, под голубым небом Италии... И в классе у вас учится дочка этого человека.

Все в классе обернулись на Ксану и посмотрели на нее так, как будто никогда раньше не видали.

– Вон там, за окном, стоит ему памятник. (И все повернулись к окну.) Но вот, ребята, посмотрела я и на памятник, и в кое-какие дела школьные успела заглянуть, и показалось мне... Может быть, я, конечно, ребята, ошибаюсь... Но показалось мне, что имя Героя у вас само по себе, а дела ваши, и школьные и пионерские, где-то сами по себе. Портрет в коридоре, портрет такого героя не застеклен. В пазах рамки пыль. С бюста перед входом, я посмотрела, бронзировка сходит, край постамента с угла обвалился. Говорят, переписывались вы сначала с болгарскими ребятами, потом с итальянскими школьниками из Генуи начали. И заглохло у вас это дело. По успеваемости тоже... Мне казалось бы, что школа имени такого человека, каким был Григорий Тулубей... по успеваемости такая школа должна бы выше находиться. А как по-вашему?

Класс молчал подозрительно, не зная, к чему в конце концов склонится разговор. Все выжидательно посматривали на новую вожатую.

– Слышала я, – продолжала она, – что и на строительство канала, который принесет сюда столетиями ожидаемую воду, вы тоже еще ни разу не ездили. Кто-то в классе поднял руку и сказал с места:

– Мы были.

– Ну-ка, поднимите руки, кто был? – В классе подняли руки еще два-три человека. – Ну вот как мало! Только случайно попадали. Кто был, а кто и не был. – Ирина Николаевна медленно обвела взглядом класс. – А вот на письмо итальянских партизан, которые ухаживают в Генуе за могилой нашего Героя, как я выяснила, ответ до сих пор не послан. И сами посудите, ребята... Оправдываете вы сегодня ту высокую честь, которая так счастливо выпала на вашу долю? Ведь это великая честь, я считаю, учиться в школе, из стен которой вышел такой герой. Небось школьники других городов и итальянские ребята, многих сверстников которых спас, заплатив жизнью своей, Григорий Богданович; они все вам завидуют. Они-то, должно быть, думают: вот уж, наверное, школа так школа, если в ней вырос Григорий Тулубей, знаменитый Богритули... Вот уж, конечно, в этой школе, раз она сохраняет имя Героя, дело идет! А разве так идет, как они представляют, если сказать по совести? Разве так?.. – Ирина Николаевна помолчала, будто ожидала ответа. – А я считаю, ребята, есть замечательный один девиз! Я случайно в Ленинграде его откопала, именно откопала. Приехала на каникулы в Ленинград. Зимой была. Пришла на старое Александро-Невское кладбище, где Суворов похоронен, где композиторы, где Чайковский, Римский-Корсаков... И вот на одной старой могиле петровских времен увидела я на чугунном гербе надпись: «Не слыть, а быть». И только после узнала я, совсем уже недавно, из газет, что у Григория Тулубея в записной книжке тоже было это записано: «Не слыть, а быть». Вы только вслушайтесь, как это хорошо, и строго, и верно сказано. Какое правило для жизни дано! «Не слыть, а быть». То есть не просто славиться, не только считаться, а на самом деле быть таким, каким тебя считают. Соответствовать славе своей. Правда, хорошо ведь, ребята? «Не слыть, а быть».

Она не видела, как вспыхнула, а потом побелела Ксана Тулубей. А в классе от одной стены до другой, от передней парты до задней прошелестело: «Не слыть, а быть». Все повторяли про себя это кто вслух, кто шепотом.

– И мне будет стыдно, если мы уроним высокую честь зваться тулубеевцами. Ведь вы же тулубеевцы! Это помнить надо. Нужно не только слыть, но и быть тулубеевцами. Вот ваша подружка Ксения Тулубей, она, верно, чувствует, к чему обязывает ее фамилия. А всех



вас, пионеров школы, которая носит это же имя, разве оно не обязывает? И я вам говорю с самого начала прямо: если положение в школе мы с вами не исправим, я же первая поставлю вопрос о том, чтобы имя Тулубея передали какой-нибудь другой, более его достойной школе.

Ксана сидела вся белая, ни кровинки в лице, только виднелись еле заметные мраморные прожилки да облетел словно какой-то дымок вокруг лба и залег у глаз. Мила заметила состояние подруги, покосилась и быстро сказала:

– Ой, лучше не надо!..

– Да, лучше не надо, – согласилась новая вожатая. Она встретила смятенный взгляд Ксаны, услышала, как тревожно загудел класс, и повторила: – Лучше, конечно, не надо. И я уверена, что мы никому это знамя не отдадим. Правда ведь?

Директор Глеб Силыч спросил у новой вожатой:

– Ну как, справляетесь? Вы там возьмите себе на заметочку этого Кондратова. Знаете, чтобы не выделялся. Чтобы не сказывалось все-таки чуждого, нежелательного влияния. Как-никак это ученик с отягченной биографией. И важно, чтобы в классе превалировало иное начало. Вы меня понимаете? Кстати, что это вы им там насчет школы излагали? Я подходил к дверям класса, и до меня случайно долетело... Нет, я не в порядке замечания, не думайте. Но просто так, дружески, как старший товарищ. Не рекомендую. Тем более, что наличествует в коллективе мальчик из эмигрантских кругов. Следует учитывать. Любое опрометчивое ваше суждение может легко стать достоянием нежелательных элементов и быть дурно истолковано. Во вред репутации<sup>[7]</sup> нашей школы. А она числится среди передовых по району. А так как класс чрезвычайно дружный, контингент в целом однородный. Я думаю, справитесь.

Он, должно быть, искренне хотел подбодрить молодую учительницу, но она почему-то после этого разговора ужасно заскучала.

– Ну что это вы? – успокаивала ее Елизавета Порфирьевна. – Он человек неплохой, наш директор, и администратор очень дельный.

– Господи! – ужасалась Ирина Николаевна. – Он такой чистый, вымытый, холодный. Мне кажется, когда он берет свой портфель, что

и у того по коже пупырышки идут...

– Ну, это вы преувеличиваете, душенька. Он, правда, только чересчур уж цифрам доверяется. Недаром у него любимое выражение – это: «Числимся на хорошем счету». За суммой иногда слагаемых не видит. А все дети разные. Не верьте никогда тем педагогам, которые самонадеянно заявляют вам, что они знают свой класс как собственные пять пальцев. Кстати, и пальцы-то на руке неодинаковы. Разве похож, скажем, большой палец на мизинец?

Ирина Николаевна послушно взглянула на свою маленькую, по-детски еще пухлую руку и весело закивала головой.

А у хорошего пианиста, – продолжала старая учительница, – все пальцы подчинены музыкальному строю. Так и ребята. Они, в общем, все разные. Это числа именованные, если уж пользоваться арифметикой. Их нельзя складывать, как дрова в поленницу. Сорок учеников у вас в классе? Так помните: это сорок различных человеческих характеров! И не складываются они так просто в класс. Ведь нельзя же прибавлять метры к литрам, яблоки к мячам, складывать дома и корабли. Но их надо объединять тем главным, общим, что есть уже хорошего во всяком или должно быть в каждом. И чтобы возникла эта высокая, добрая общность, которая не расплющивает личный характер, а обогащает личность, – вот в этом я и вижу нашу с вами задачу... И тут важно не числиться на хорошем счету, а в самом деле добиться своего. Да, – произнесла она задумчиво, – именно, «не слыть, а быть». Это вы очень хорошо им сказали.

...Как только кончились занятия, Ирина Николаевна отправилась прямехонько в исполком и потребовала разговора с председателем. Секретарь – тот самый, который ушиб ногу тростью Незабудного в первый день приезда чемпиона, сообщил, что председательница только что отбыла на строительство, и предложил пройти к заведующему отделом народного образования. Ирина Николаевна, постучавшись, вошла в небольшой кабинет. Там, кроме молодого человека в очках и лыжной куртке, приподнявшегося за столом, стояла маленькая пожилая женщина. На ней был брезентовый плащ, сапоги, залепленные грязью. В руке она держала военную походную сумку с планшеткой, очевидно заменявшую ей портфель.

– Как же можно так, товарищ! – заговорила Ирина Николаевна, обращаясь к человеку в лыжной куртке, которому она представилась еще накануне, как только приехала. – Я вот пробыла вчера и сегодня в школе нашей. Школа воспитала такого человека, прославилась его именем! И вдруг перестала беречь свои традиции. Как же можно формально носить такое имя, известное всему народу! И теперь не только нашему народу!

– Пойдите, пойдите-ка, товарищ Стректова, – остановил ее человек за столом. – Вы мне потом все это объясните. Я с удовольствием вас выслушаю. А сейчас у нас тут один разговор деловой... Познакомьтесь, кстати. Это председатель исполкома нашего Совета...

– И очень хорошо, что председатель! – перебила его Ирина Николаевна. Очень хорошо, я как раз с вами, товарищ, собиралась побеседовать на ту же тему. Я уже сегодня говорила с директором нашей школы и еще кое с кем. Оправдываются, видите ли, что все равно надо скоро переезжать в новое помещение, потому что старое попадает в район затопления. Но как можно в таком деле что-то переносить на завтра. Знаю, знаю! – заторопилась она, увидев, что председательница хочет что-то сказать ей. – Знаю! Мне встречались уже подобные деятели. Они все на завтра ссылаются, а сегодняшних дел не хотят видеть. Думают, верно, как бы стороной в грядущий день попасть, без хлопот в будущее переключить. А будущее не придет само – это еще Маяковский так говорил! Как хотите, но я предупреждаю и вас, и вас, товарищ председатель. Раз меня сюда назначили, чтобы вести пионерскую работу, я это дело не могу оставить. Пускай тогда лучше уж имя снимают со школы...

Она выговорила все это залпом, торопясь, сбиваясь, боясь, что ее не дослушают и перебьют. Но, к ее удивлению, маленькая седая председательница, со странным неподвижным взглядом слушавшая новую учительницу-вожатую, вдруг встала с кресла, обняла и крепко поцеловала ее, бормоча сквозь хлынувшие слезы, которые она досадливо вытирала тыльной стороной кисти со своего лица и с замоченной щеки пионервожатой.

– Спасибо вам, товарищ. Голубка вы моя, деточка! Я все ждала, когда живая душа в ком-нибудь заговорит.

– А вы сами что?..

– Товарищ милый! Неловко ведь мне самой-то... Ведь Григория Тулубея не одна только школа воспитала... И я к тому делу причастна.

– Тем более, вы обязаны! – не унималась Ирина Николаевна. Она не видела знаков, которые делались ей из-за стола, и еще не сообразила, с кем говорит.

– Я-то свои обязанности уже выполнила, – проговорила с горечью Галина Петровна. – Я его Родине отдала. А уж теперь, вы меня простите, пусть его честь и славу другие берегут, а матери самой как-то и неудобно о том напоминать...

И только тут Ирина Николаевна поняла, с кем она имеет дело, и, залившись краской, медленно встала перед тяжело опустившейся в кресло седой миниатюрной женщиной.

Дома Ксана, зная о том, что их новая вожатая была в исполкоме, осторожно принялась выпытывать у бабушки, о чем шел разговор.

– О том, чтобы отца твоего не забывали! О том, чтобы имя его все дела у вас в школе освещало. Чтобы не слыли вы, а были тулубеевцами. И с тебя, запомни, спрос будет с первой. Ты его дочка! От тебя тоже зависит, чтобы фамилия Тулубей как надо и в табеле и в классе звучала, и честно с фасада школьного смотрела.

...Через день в школе проходил пионерский сбор, посвященный борьбе за честь школы и право всегда носить имя Тулубея.

Сеня не пришел на этот сбор. Все пионеры были. И даже Пьеру, хоть он не был еще принят в пионеры, позволили присутствовать. Сбор был открытым. Все были, только Сени Грачика не было. Этого, как решила для себя Ксана, она уже никогда не сможет ему простить.

## **Глава XVIII**

### **Кубок пошел в дело**

Но Сеня не пришел на сбор, конечно, не потому, что хотел чем-то досадить Ксане или показать ей, как мало считается он с именем ее отца и с честью школы. У него были дела невеселые. Перед тем как идти на сбор, он зашел домой и застал Милицу Геннадиевну в весьма взвинченном состоянии. Она ожесточенно терла тарелки, гремела ими на столе, а сама так и поглядывала через приоткрытую дверь в

комнату Грачилов. Там стоял у открытого сундука Тарас Андреевич. Он рылся внутри сундука, выхватывал что-то, выпрямляясь, бросая обратно и снова склонялся над разворошенным небогатым семейным имуществом. Услышав шаги сына, он разогнулся и посмотрел на него.

– Беда! – глухо, но с жесткой ясностью проговорил Тарас Андреевич. – Беда у меня, Сеня! – Он захлопнул сундук. – Недостача в моей бригаде обнаружилась на пять тысяч рублей. И как это вышло – не пойму. Подвели дружки хорошие. Гуляли вместе, а отвечать мне. Теперь либо вносить срочно, либо под суд идти. А уж в этот раз не помилуют.

Ни слова не говоря, бросился Сеня в свой уголок, где стояла копилка в виде домишка-ящичка. Там у него были скоплены деньги уже почти на полный велосипед, как он всем говорил. Давно откладывал он туда эти деньги, но тут и думать ни о чем не стал. Ударил об угол стола – выпало дно у копилки. Молча выгреб деньги на стол перед отцом. Но этого было, конечно, мало.

Милица Геннадиевна многозначительно пообещала помочь, если что, из личных средств и при этом как-то не к месту и не ко времени благосклонно поглядела на Тараса Андреевича. Но показалось что-то в этой излишней готовности оскорбительным Сене. Уже давно он относился с недобрым подозрением к чрезмерному вниманию, которым окружала отца Милица. И чересчур большую власть норовила она проявить над Сеней, будто бы выполняя наставления Тараса Андреевича. Видно, чувствовал это и отец.

– Спасибо вам, Милица Геннадиевна, – проговорил он, – но как-нибудь думаю вывернуться. Только уж извините – за квартиру я вам не сейчас, а через месяц отдам.

– Да что вы, что вы! – замахала на него выгнутыми ладонями Милица, вся гремя браслетами и висюлочками. – Какой может быть у соседей разговор!

– Разговор-то обыкновенный, – сказал Тарас Андреевич, – прошу обождать немного. У меня с получки кое-что осталось, товарищи мне часть собрали. Но все-таки вот не хватает тысячи три.

Сеня вышел на улицу в тяжелом смятении. С кем было посоветоваться, куда пойти, как выручить отца? Как помочь ему уйти от позора и суда? Может быть, дедя Артем чем-нибудь поможет? Сене

очень нужно было сейчас ощутить поддержку его самой сильной в мире руки. Он помчался к Незабудному.

Сеня, конечно, не рассчитывал, что Артем Иванович сможет чем-то помочь. Но так хотелось ощутить около себя человека многоопытного, сильного, привыкшего встречать превратности судьбы с открытым лицом.

Артем Иванович выслушал Сеню и сам пригорюнился. «Эх, – подумал он, – вот бы вправду выкопать что-нибудь, что в земле зарыто, если только не вранье это. Пригодилось бы сейчас. А то ведь пропадет человек. И мальчонку жаль». Они сидели друг перед другом молча – старик и мальчик. Оба были подавлены ощущением слепого бессилия.

«А что, – соображал старый атлет, – если, скажем, афиши расклеить, собрать людей на площади по билетам? Я бы сработал им на старости лет „Могила гладиатора“. Если верно дело обставить, чтобы брезент жесткий был, не сошлепывался, а воздух там оставался, я бы и сейчас справился. В прежние время-то мне это ничего не стоило. Да нет, не позволят, пожалуй. Скажут, номер очень уж безобразный, человеку противоестественно. Нет, не позволят». Как же быть? Что придумать?

И вдруг Артем, посмотрев на стол, ударил себя кулаком по колену:

– Стой! Не горюй, Сеня! Найдем средства. Последний срок у отца когда? Неделька есть? Спроси, когда надо отцу.

– Он сказал: дней пять – это крайнее.

– Ладно. Иди. Иди домой и скажи – Артем Иванович обещал помощь. И не журишь. То не беды! Ну, давай лапешку. – И он с размаху протянул Сене огромную, широкую ладонь свою – словно чашу поднес. – Жми крепче... Вот так!

И Сеня почувствовал бережное пожатие поплотившей его кисть колоссальной руки Незабудного и постарался сам изо всех, сколько у него было, сил стиснуть ее.

На другое же утро, пользуясь тем, что Пьер вместе со своими одноклассниками отправился на экскурсию в район строительства, Артем Иванович сказал соседям по общежитию, что ему надо отлучиться по какому-то делу в районный центр. Захватив свою

дубинку и чемоданчик, с которым он обычно и на базар ходил, и в учреждения, Незабудный отправился на автобусную станцию.

Приехав в районный центр, он разыскал комиссионный магазин. Там вяло поблескивали на полках помятые самовары, висели под потолком спецовки, ватники, узбекские халаты. На прилавке стояли чучело совы и гипсовый Наполеон с закрашенными тушью щербинами на треуголке. Над прилавком торчала вешалка с лисьей горжеткой и пустой клеткой для попугая.

В маленьком магазине было тесно. И Артем Иванович осторожно, боком, чтобы не задеть старую детскую коляску с клеенчатым верхом, украшенным голубыми помпонами, и китайскую вазу на тумбе, стоявшую посередине помещения, пробрался к конторке с надписью: «Прием вещей на комиссию». Он раскрыл свой чемоданчик и, вытащив из него что-то, завернутое в матерчатый чехол, поставил перед собой на прилавок. Потом осторожно развернул материю.

Сверкнули серебряные мышцы атлета, поддерживающего оливиную вазу. Поплыло мягкое зеленоватое сияние в воздухе.

Пожилой оценщик – надо думать, человек понимающий – даже рот приоткрыл слегка и чуть очки с носа не обронил, увидев перед собой вещь такой удивительной красоты.

– Где же я такую как бы уже видел? – спросил он, бережно поворачивая вазу с разных сторон, заглядывая под дно, осторожно поглаживая камень и металл.

У Артема мигом словно заledenели ноги.

– Определенно где-то видел. Возможно, в журнале. Простите, откуда она у вас, эта вещь? Артем назвал себя.

– То-то я смотрю, внешность у вас выдающаяся, я бы сказал. – Старый оценщик низко поклонился Артему. – Чрезвычайно приятно лично увидеть. Еще бы, еще бы, как же!

Незабудный! Таких у нас вторых и не было, разве что Шемякин только да Поддубный... Что же это вы расстаетесь с такой красотой?

– Обстоятельства, – кратко ответил Артем.

– А ведь у вас, верно, гарнитур был? Обычно эти вазы парные, образца каминных. Второй не имеете? Жаль, что разрозненная вещь. Можно было бы куда выгоднее для вас оценить. Если бы пара, из Дворца шахтера могли бы заинтересоваться. Там спортзал обставляют.

Артем отмолчался.

– Даже прямо сомневаюсь, имею ли я право такую ценность принимать? Но вы оставьте. Я вам сейчас выпишу квитанцию. В крайнем случае запрошу скупочный пункт в области. Да, работа дивная! Редкой красоты вещь. Но больше двух с половиной тысяч поставить не могу. Да и вряд ли быстро пройдет. Предмет уникальный, но на любителя. Сами понимаете.

Новая пионервожатая добилась-таки разрешения устроить экскурсию школьников на строительство канала. Ирина Николаевна проявила такую энергию и безжалостную настойчивость, стучась во все двери и обрывая телефоны по району, что как ни заняты были люди, а пришлось им уступить. Решили показать школьникам строительство, где шли в то время самые горячие дни.

Отправились туда на двух автобусах, которые выделил исполком.

И вот все, что виделось до этого дня лишь в отдалении, да и то, если забраться только на самую вершину террикона, теперь обступило вплотную ребят со всех сторон. Сколько хватало глаз – везде шла работа! Огромная это была работа – от горизонта до горизонта. Вблизи все было таким громадным и нескончаемым, что ребятам стало казаться, будто они попали в какую-то особенную, разрытую, переколенную, искромсанную могучими силами полосу, которая опоясывает весь земной шар. Будто сама кора земная вспорота здесь и разверзается, чтобы пролечь руслом грядущей воды...

Трасса канала, уходившая и впрямь, как казалось, на самый край земли; откосы котлованов; уже почти готовые камеры шлюзов; гребни плотин, подпиравших вчера еще маленькие ручейки, сегодня уже разлившиеся в озера; огромные краны, как телескопы, нацеленные в небо; неумолчный грохот работы, которой были заняты тысячи людей на таком пространстве, что и глазом не охватишь, бескрайнее столпотворение это совершенно оглушило и захватило школьников. Все вокруг них было в движении. Здесь что-то громоздилось, там низвергалось... Пахло свежесывороченной землей, бензином, какой-то кислотой, дымком, ацетиленом, сосновым тесом и махоркой. А там, где рассыпались с треском алмазные искры электросварки, веяло запахом по-весеннему тающего снега. «Озон!» – пояснил всезнающий Сурен. Но даже он, который обо всем прочел в книгах, был тут подавлен необъятностью совершаемого людьми дела.



Откуда-то доносились звенящие взвизги электрической пилы. Ухала земля от ударов копра, вбивавшего сваи. Как петухи во дворах, перекликались маленькие горластые паровозы. Громоздкие грузовики-самосвалы, выворачивая рубчатými скатами целые вулканы грязи, елозили в вязких глинистых колеях, надрывно рыча и взывая. Из их железных вздыбленных опорожняемых ванн, ссыпаясь, грохотал гравий. Во все стороны тянулись провода, шланги. Стучали, чистили какие-то движки. Ребят больше всего поражало, что в этой чудовищной путанице балок, железа, прутьев, в этом страшном ералаше звуков люди, видно, знали каждый, что надо делать, куда идти, за что браться. И постепенно становился ясным порядок и строгий черед всего, что творилось вокруг. И оказалось, что беспорядок уже не так безнадежен и, несомненно, все тут в конце концов, если разобраться, имеет свое место и направление.

Похожий не то на увеличенную в миллионы раз масленку с тонким горлышком, которой смазывают машины, не то на исполинского гуся, переминаясь с лапы на лапу, смещался на глазах у ребят шагающий экскаватор. Из занесенного к самому небу клюва свисал и как будто вытягивался трос с качавшейся внизу необъятной люлькой. Гигантская горсть ковша вонзалась в землю, заграбастывала ее, уносила по воздуху на огромное расстояние, там разжималась и сыпала вниз камни, комья земли, щебенку.

И мальчишки, конечно, хвастались друг перед другом своей технической осведомленностью и определяли мощность экскаватора и задавались, что им знакомы все машины. И Сеня с Суреном тоже наперебой, чтобы не быть хуже других, называли марки грузовиков: «МАЗ» из Минска, ярославский «ЯГ».

Со всех сторон наезжали, как бы торопя друг друга, самосвалы. Подкатывали к нужному месту, и словно горбом выгибались их хребты, поднимались металлические кузова-ванны, из которых низвергались тонны и тонны земли.

Бульдозеры, как сердитые носороги, с ходу выворачивали и упрямо пихали навалы грунта.

На одном из участков работ, после того как инженер показал ребятам устройство будущего шлюза, прямо на донной площадке в будущей шлюзовой камере устроили выступление учеников школы имени Тулубея перед строителями.

Люди сидели на лесах опалубки, на переплетах металлических ферм, держались за стальные прутья арматуры. А внизу, как в партере огромного театрального зала, один за другим выступали ребята. Кто-то из старшеклассников отбил на звонком дощатом настиле чечетку. Ребята спели хором песню. «Не задерживай, давай», занесенную с Волги. Потом Ксана читала стихи Светлова. Она читала, очень волнуясь, понимая, что слушают ее те люди, которые и делают своими руками все, о чем говорится в стихах. Хрупкий, трепетный и прозрачный, словно на стрекозиных крылышках, голосок ее взлетал над большой, многолюдной, но безмолвной сейчас коробкой шлюза.

А стихи, которые она произносила, брали исток давний и дальний. От подмосковного ручейка, от древних вод, которые качали петровский ботик, от струй, рассеченных кораблями Ушакова, до морей недавней войны, в которых отразилась доблесть советских флотов, до течения вод Волго-Дона, а теперь уже и к самой Сухоярке вели строки стихов.

До чего становится богатой  
Биография твоя, вода!

Мощный, добродушный экскаватор  
Не жалеет для тебя труда.

И все, как это бывает в классе, когда учительница говорит о чем-то знакомом и находящемся рядом, все посмотрели на экскаватор. И казалось, что он, смущенный этим общим вниманием, неловко ощерил зубастую пасть ковша.

Ксана читала о том, что скоро будет и здесь:

Ты тогда предстанешь пред народом  
Не совсем обычной, не простой  
Дружбой кислорода с водородом,  
А союзом действия с мечтой.

Не все было до конца понятно в этих словах, и химию в шестом классе еще не проходили, и не каждый из строителей помнил

формулу, но все понимали: речь идет о близком будущем, которое принесет сюда по открываемому ей пути вода.

– Не один случайный гость приезжий, – произнесла Ксана и выразительно обернулась на Пьера.

Не один случайный гость приезжий,  
Не одна страна – весь шар земной  
Будет умываться нашей свежей,  
Животворной русской водой.

И, когда Ксана кончила, заплодировали все. Даже там, высоко наверху, где на фоне весеннего неба маленькими фестонами чернели головы стоявших на лесах строителей – там сверху тоже все хлопали и кто-то басом, словно вбивая сваи, бухал: «Быс!.. Быс!..»

– Как прочла!.. Какое сердце! – восхитилась Елизавета Порфирьевна.

– И, главное, текст весь усвоила, нигде слова не спутала! – отметил растроганный Глеб Силыч.

А потом, это было заранее задумано Ириной Николаевной, Пьер читал стихи Беранже.

– Революционные французские стихи читает Пьер Кондратов. Автор Пьер-Жан Беранже, – объявил ведущий программу долговязый паренек с озабоченным лицом. Он выходил, ступая огромными резиновыми сапогами, на помост и там начинал говорить с неожиданной басовитостью, как будто он у кого-то на короткое время брал займы голос.

Пьер читал любимые стихи деда:

### *Возвращение на Родину*

Меня в дни юности беспечной  
Непостоянство увлекло  
За океан, где солнце вечно  
Так ослепительно светло.  
Край мой родимый,

Страстно любимый!..

.....

Но я тем странам был чужой

И, по земле своей страдая,

Тобою бредил, увядая...

Привет тебе, мой край родной!

Стихи, прочитанные Пьером, вызвали оглушительный восторг строителей. Но, видимо, кроме Ирины Николаевны, все не очень хорошо разобрались, в чем дело. Потому что, когда от молодежной бригады строителей выступал комсомолец, чтобы поблагодарить школьников за приезд и выступления, он сказал:

– А также просим от имени всех строителей передать наш пламенный привет пролетариям Парижа, от лица которых тут их юный представитель прочитал нам стихи на революционные темы. Пьер был, кажется, доволен, что его приняли за представителя пролетариев Парижа. А объяснять что-нибудь было уже поздно.

Кончился перерыв, запела оглушительно сирена, рванулись с места, лязгая кузовами, фырча и взвывая на подъемах, моторы самосвалов. Люди взялись за лопаты, за ручки тачек, рычаги механизмов. Все двинулось в работу.

Когда ехали обратно, слегка ошеломленные всем виденным, слегка усталые и потому непривычно тихие, Пьер, глядя в окно автобуса, вдруг сказал:

– Это очень здорово пргекргасно будет, что у нас как морге станет... Пргавда, ргебята... Хоргошо, Ксана, да? Ксана радостно закивала. Но Ремка тут же захохотал:

– Слыхали. «У нас». Здорово. Вполне уже перековался. Ай да Пьерка, хвалю!

Ксана уничтожающе поглядела на Ремку. Сеня показал ему из-под сиденья кулак. Сидевший впереди Сурен обернулся и постучал себя по лбу.

Пьер покраснел, припал щекой и виском к стеклу и молчал потом всю дорогу.

На обратном пути проезжали через райцентр. Автобусы, на которых ехали школьники, остановились на небольшой центральной

площади, чтобы заправиться у колонки бензином. Ребята вышли поразмяться. А Ксана сошла здесь, потому что сговорилась встретиться тут с бабушкой. Председательница должна была приехать в этот день на своей «Победе»-козлике по всяким делам в райцентр.

Ремка Штыб, Пьер и Сеня не спеша прогуливались по тротуару, от нечего делать заглядывая в витрины магазинов. И вдруг все трое они стали как вкопанные. За витриной комиссионного магазина, за решеткой, опущенной на обед, они увидели знакомую всем троим, не раз виденную на столе у деда Артема оливиную вазу с серебряным атлетом.

И Пьер, совершенно пораженный, забыв о всякой осторожности, вдруг закричал:

– Регарде! Смотри! Вторая ваза. Значит, уже нашли, откопали?..

– Чего, чего? – жадно насторожился сразу Ремка.

Пьер, бледный, прижавшись скулой к решетке витрины, отгораживая глаза с боков руками, как шорами, всматривался...

Нет, сомневаться не приходилось. Это был кубок «Могила гладиатора», точно такой, как у деда Артема.

– Ты про что говоришь? Откопали? – приставал Ремка.

– Да ничего я не говорил! Убиргайся! Что я говорил?

– Врешь, Пьерка, смотри! Обещался все со мной по-товарищески. Узнаю – хуже будет.

Но уже звал, сигналил автобус у колонки. И Пьер побежал к машинам. Ремка на секунду задержался, посмотрел еще раз через решетку и стекло на кубок в витрине, потом кинулся догонять Пьера.

## **Глава XIX**

### **Тот или этот?**

Вечером Незабудный позвонил из Сухоярки по телефону в магазин. Позвонил так, для очистки совести, еще не ожидая никаких новостей. Но ему сообщили, что кубок уже продан. Нашелся покупатель. Из уважения к бывшему чемпиону мира согласились сегодня же выдать ему вырученные деньги. Артем Иванович заторопился к автобусу.

И уже поздно вечером, вернувшись из райцентра, он явился на квартиру к Грачикам и вручил деньги Тарасу Андреевичу. Вместе с

деньгами Сени «на полный велосипед» и тем, что подсобрал у друзей, старых шахтеров, Тарас Андреевич, теперь как раз получалась нужная сумма. Ничего не сказал Тарас Андреевич. Постаревший за эти дни, обросший, он только обеими руками молча схватил огромную ладонь чемпиона чемпионов, сжал ее изо всех сил и замотал головой. В таких случаях сильные мужчины не любят говорить вслух то, что они думают. Они понимают друг друга без слов.

– Побриться бы вам, – вот все, что сказал Артем.

– Теперь можно и побриться. – Тарас Андреевич провел рукой по своим щекам.

И Сеня, видевший все это, понимал, что говорить тут уж ни о чем нельзя.

Усталый и довольный, возвращался Артем Иванович домой. Нет, хоть и жалко ему было знаменитого приза, а на душе полегчало. Старик был доволен собой. Все-таки вот пошло все в дело. И в хорошее дело. Помог спасти человека от суда и позора. И уберег честную маленькую душу мальчишечью от сыновнего бесславия. Нет, не пошел прахом кубок «Могила гладиатора», не то что тот, второй, при мысли о котором сразу делалось не по себе... Напевая себе в усы свое любимое «Шел солдат с походу в слякотну погоду, шибко перезяб», что было у Незабудного признаком самого высокого расположения духа, Артем Иванович вошел к себе в комнату.

На столе стояло что-то хорошо запакованное, тщательно перевязанное бечевкой. Тронул – тяжелое. Под бечевку был засунут конверт: «*Артему Ивановичу Незабудному*». Чувствуя, что произошло нечто никак не предвиденное, Артем разодрал одним тычком большого пальца тугую бумагу и сразу увидел зеленовато-матовый отлив камня-оливина, а под ним сверкающие мускулы серебряного гладиатора. Он вскрыл конверт, вытащил записку: «Не балуй, Артем. Если уж тебе пришла такая нужда, надо сказать бы. Привык жить среди волков, а пора бы уже понять, что теперь кругом тебя люди. Разбогатеешь – вернешь. Обедняешь – прощу. *Г. Т.*»

Ничего еще толком не понимая, он опустил на стул и долго сидел, уставившись на кубок, силясь плотнеть что-то, спиравшее ему изнутри горло.

Где было ему знать, что произошло днем.

Еще накануне Галине Петровне позвонила ездившая в райцентр знакомая и сказала, что видела в магазине подходящую для Ксаны шубку из цигейки. Галина Петровна давно уже хотела сделать этот подарок внучке. Она знала, что Ксанка еще с прошлого года мечтает о шубке, «такой, как у Милки». Отец привез ее подружке такую шубку из Москвы, когда ездил туда на сессию Верховного Совета. И вот, как сообщила знакомая, в комиссионном магазине райцентра появилась именно такая. И по цене она была подходящая. Галина Петровна специально для этого копила деньги.

Все складывалось как нельзя лучше. У Галины Петровны были дела в райцентре. Так и так – ехать ей туда надо было все равно. А тут как раз и Ксанка, возвращаясь с экскурсии на Гидрострой, могла бы задержаться на обратном пути в райцентре. Значит, можно было бы и примерить на ней шубку.

Ой, дорогие вы мои девчонки! Мальчишкам этого не понять! Какая это была шубка! Легкая, как будто собранная из пушка одуванчиков, она, казалось, вот-вот взлетит на воздух, если тряхнуть ее в руках, чтобы мех расправился... Густой, шелковистый и в то же время тугой и нежный мех, темно-шоколадный, с золотистыми просветами. Словно из пчелиной шерстки была эта полосатая чудесная шубка!

Ксана, крутясь перед зеркалом в магазине, запахивалась мягкими полами, терлась подбородком об уютный воротник, поднимала его, куталась, водила щекой по пушистому плечу.

– Ох, уж извертелась вся! – ворчала добродушно бабушка. – Не юли. Стой, погоди. Тут не потерто?.. – озабоченно спрашивала она продавца.

– Да нет, бабушка! Совсем новая она! – нетерпеливо перебивала ее Ксана.

– А не чересчур она тебе свободна тут?

– Так я за лето знаешь как расту прибавлю? И продавец был симпатичный. Он поддержал.

– Вещь солидная, ценная. Лучше на рост брать, – заметил он. – А так прямо как по индивидуальному пошиву сидит. Не сомневайтесь.

Ксана еще раз повернулась одним боком к зеркалу, потом вторым, вгляделась... И вдруг застыла. Что-то заставило ее резко податься вперед. Она чуть не ударилась о зеркало. Потом поняла и порывисто

обернулась. Там, на противоположном прилавке, серебряный гладиатор вздымал над головой чашу, из которой сочилось мягкое зеленоватое свечение.

Увидела кубок и бабушка. Увидела и узнала. Артем показывал ей эту свою драгоценность, когда пришел в первый раз и пожаловался на то, как его дурно поняли в исполкоме. И она еще, потом несколько раз вспоминая, всегда смеялась вместе с Богданом над этой незадачей. Сомнений не было. Та самая ваза. Вот и гладиатор, и оливинная плита со щитом и мечом на ней. И наклонная, как бы рушащаяся колонна с искусно укрепленной над ее капителью плоской оливинной чашей.

Галина Петровна все-таки решила проверить. Может быть, это другой кубок? Спросила, можно ли узнать, кто это сдал вазу на комиссию. Не высокий ли приезжий человек? Продавец подтвердил.

А Ксана тянула бабушку в сторону и все что-то шептала ей на ухо. Галина Петровна не сразу разобрала, а потом поняла.

– Да что ты в самом деле? Ты в уме, что ли? Откуда у меня деньги такие?

Ксана зашептала еще горячее. Обеими руками стискивала она локоть Галины Петровны.

– Бабушка, ты только пойми!.. Для него ведь это... Это же последний. У них уже ничего не осталось. Он все призы свои за границей еще прожил. Все продал, мне Пьер говорил...

Галина Петровна в душе уже сама корила себя: как это она за старой, не вконец преодоленной обидой не разглядела, что человек в беде и нужде, должно быть. Вот вернулся, старый, в свои края, а она даже толком не поинтересовалась по-настоящему, как живет Артем.

– Во сколько эта вещь у вас оценена? – спросила Галина Петровна у продавца.

– Две с половиной тысячи мы поставили. Редкая вещь. Ведь это самого Незабудного, как я вам сказал. Артема Незабудного. Его лично.

– Вот слышишь, какие деньги, – сказала Галина Петровна. – Откуда мне их взять?

– Бабушка, у тебя же есть... Ты ведь на шубу мне взяла.

– Так то тебе на шубку. Тут и отпускные мои за прошлый год, когда я не ездила. Да и все равно! Слышала, какая этой вещи цена? У меня нет таких денег.



– Ну возьми еще у кого-нибудь. Ну прибавь еще. И я тебе отдам из своей копилки. Я откладывала, чтобы в Москву с тобой поехать. У меня уже тридцать два рубля есть... Бабушка, миленькая, ну купи, я прошу тебя, купи.

– Да что ты, честное слово, имей все-таки соображение!..

Ксана, как стояла перед зеркалом в шубке, так и сейчас еще оставалась в ней. Только теперь она почувствовала, что ей жарко.

Она отерла рукой тонкую влажную шею. Потом покосилась еще раз в зеркало, повернулась одним плечиком к стеклу, затем другим, вздохнула и, решительно сняв шубку, вывернула ее мехом внутрь и уложила аккуратненько на прилавок.

– Как хочешь, бабушка! – Она произнесла это очень твердо, очень убежденно. – Как хочешь. Только имей в виду, я все равно это ни за что не надену. Так и знай. Ни за что в жизни!

– Что это еще за фокусы такие?

– Я знаю, – у Ксаны вздулось горло, – я знаю... Ты вообще против него. Я все знаю...

– Ксения, ты где находишься?

– Да, бабушка, да! Я знаю... А он папу спасал. Он нам все...

– Не твоего ума это дело! – сердито сказала бабушка, отводя Ксану за руку к дверям магазина.

– Ну что, ж, пускай что не ума!.. Я тебе не могу объяснить, бабушка, но я это чувствую.

«Не то я сказала, – думала Галина Петровна, – плохо сказала. Поставила она меня на место. Не ума это дело. Верно. Сердца это дело. Вот она, Гринина дочка! Ах ты, сердечко мое звонкое, бьется как бубенчик, на всякую малость откликается!»

– А как же ты зиму-то будешь? – вздохнула она. – Без шубки опять останешься.

– Ну подумаешь! Я с подстежечкой похожу, с ватиновой. И ничего. Я ведь в росте отстаю.

– С дедушкой бы посоветоваться нам, – проговорила Галина Петровна. – Деньги немалые, подзанять придется.

Боясь посмотреть внучке прямо в лицо, она поглядела на нее в зеркало. На Ксане было старенькое драповое пальтишко. Оно давно стало ей тесно в груди, да и рукава были уже короткие. Но никогда еще не казалась Ксана бабушке такой прелестной, никогда так явственно

не проступала во всем облике Ксанки, бледной и тоненькой девочки, эта не кажущая себя всем пригожесть. И никогда она не была так похожа на отца.

«Красивая будет, выравнивается, – подумала бабушка. – Ох, беды с ней еще будет! Не оберешься».

– Выпишите мне чек, – обратилась она к продавцу.

– На цигеечку?

– Нет, – сказала бабушка, – на вазон вот этот...

– Богатая вещь! – согласился продавец. – А на цигеечку – обождать?

Бабушка взяла выписанный чек:

– Через полчаса оплачу. Только насчет денег созвонюсь. Тогда и заберу.

– А может быть, и цигеечку за вами придержать? Не ставить пока в продажу?

– Нет. Ставь, – сказала Галина Петровна.

Потом ода позвонила на строительство Богдану, рассказала, в чем дело. И услышала его низкое: «Правильно делаешь, Галя».

Галина Петровна заехала к одним из своих старых друзей-шахтеров (знала, что деньги у них водятся), признала немного у них, добавила к тому, что у нее было с собой, и вернулась в магазин.

– Бабушка... Знаешь, как я тебя уважаю сейчас! – И Ксана кинулась обнимать Галину Петровну.

– Ну и носи свое уважение вместо шубки. Может быть, греть будет.

– Еще как! Еще как! Даже жарко будет...

Он сидел в такой глубокой задумчивости, что не слышал, как вернулся с экскурсии Пьер. Вошел и поманил из коридора кого-то пальцем. Сейчас же в дверях показался Ремка Штыб. Оба уставились на кубок, стоявший посреди стола и уже освобожденный от бумаги. Пьер глаз не сводил с кубка. Зато Ремка со знающим видом закивал головой, подмигнул приятелю и щелкнул его сзади. Он еще по пути в автобусе так пристал к Пьеру, требуя, чтобы все было рассказано о тайнике и кладе, насчет которых проболтался у магазина Пьер, что пришлось ему кое-что открыть. Но сейчас Пьер, уже не обращая внимания на Ремку, все смотрел и смотрел на оливиную вазу с

гладиатором. Теперь сомнений уже не оставалось: кто-то нашел-таки зарытые сокровища, обнаружил в них второй кубок. Видно, не наврали тогда в Париже те двое.

Ремка тихонько потянул его за собой в коридор общежития.

– Слушай, – зашептал он, когда они вышли. – Ты все-таки узнай у него, кто же это разыскал? Может, он сам? Я слышал, в автобусе водитель говорил, что видел его сегодня в райцентре. Сразу, говорит, узнал. Фигура, говорит. Слушай, Пьер. А возможно, там что-нибудь осталось? Не мог же он один сразу все оттуда вытащить. Ты разузнай.

– Пошел ты к дьяволу! – сказал вдруг Пьер. – Не хочу я с этим связываться.

– Чего такое? – злобно зашипел Ремка. – Ты что это, забыл, что еще Махан есть? Он тебе в два счета напомним, как ты обещал с ним контакт держать. Ты у меня смотри! Я только шепну, и тебе будет...

– Ничего я тебе так не говорил. Так не было совсем.

– Не говорил? А в автобусе, как ехали. И Сенька свидетель был, слышал, чего ты у магазина сказал:

«откопали»... Да мне и слушать не надо, я глазами вижу. А вот и Сеня. Слушай, Сенька...

Он внезапно захлопнул рот, увидев, что Сеня не один. С ним был отец.

– Дома дед? – спросил Тарас Андреевич.

И, не глядя на ребят, пошел вперед, постучал в дверь, ведущую в комнату Артема. Оттуда загудел голос Незабудного. Сеня с отцом прошли в комнату.

Туда же проследовал Пьер, которому Ремка успел шепнуть:

– Так что гляди, да не заглядывайся. Помни да не запомнявай. Ясно? Артем встал навстречу гостям. Огромная фигура его полностью заслоняла стол, на котором стоял кубок.

– Артем Иванович, – сказал прерывающимся голосом Грачик-отец, – примите обратно, очень вас прошу!.. Не знал я, когда брал, как вы эти деньги добыли... Вот он, – он показал на Сеню, – как вы ушли, все мне рассказал. Не могу я принять... Такую дорогую памятную для себя вещь из-за меня потеряли. Так не пойдет! Завтра поедем в магазин. Я вас сам свезу, в кабину сядете мою. Отпрошусь. Узнаем, кому продали. Деньги вернем. Обратно выкупим. Это же, Артем Иванович, историческая вещь... Не могу я на такое идти.

Незабудный лишь пожимал в странной веселости своими огромными плечами, как бы ничего не понимая. Только поглядывал с добродушной лукавинкой на отца и растерянного его сынишку.

– В толк что-то не возьму, о чем разговор идет? – пробасил он. – Насчет этого, что ли, намекаете, Тарас Андреевич? – Он отодвинулся от стола и показал оторопевшему Сене и его отцу на серебряного гладиатора, поддерживавшего оливинovou чашу. – Это вы в виду имеете? Так что же вы беспокоитесь? Вот он на своем месте.

– Это как же?! – только и вырвалось у Тараса Андреевича.

– Да вот все так же. – Незабудный был очень доволен. Давно он не был в таком настроении.

– А тот? – решил спросить Сеня, боясь приблизиться к столу и поглядывая на кубок из-за спины отца.

– Какой это еще – тот?

– А который мы в магазине видели, когда через райцентр ехали. Значит, там не тот?.. То есть не этот?..

– Да ну тебя! – Незабудный гулко и весело загрохотал, отмахиваясь от мальчика своей лапшей. – Совсем ты, вижу, запутался. Тот да этот, этот да тот... Вот он тут, и весь разговор. Живы будем, когда-нибудь разберемся. Ну, что смотришь?

Огромной своей пятерней он осторожно покрыл физиономию Сени и сделал ему легонько то, что называется «смазью вселенской», захватив разом и все лицо и макушку мальчика. Сеня с деланным усилием высвободился из этого бережного и мощного захвата. – Ага, верткий! – одобрил Незабудный. – Молодец! Погоди, я тебя еще приемам научу, которых никто не знает. Любого тогда сборешь в два счета.

– Правда научите, дядя Артем?

– А что же, врать буду?

Нахмутив толстые брови и неловко двинув одним усом и тронув рукой другой, Артем Иванович сказал:

– Вы бы, хлопчики, прихватили дружка своего да на момент погулять вышли. У нас тут разговор один-Мальчики неохотно, демонстративно волоча по стульям и по полу небрежно накинутые на одно плечо пальтишки, вышли, поминутно оборачиваясь.

– Тарас Андреевич, – начал Незабудный, когда они остались вдвоем с Грачиком, – послушайте-ка меня, старого, бывалого, сорок

лет вокруг да около толкавшегося. Об одном я вас попрошу. Только не обижайтесь. Дайте-ка мне, раз уж у нас такой случай с вами вышел, слово, что погуляли и хватит. И чтобы больше в рот не брать.

– Это уж верно, что хватит. – Тарас Андреевич откашлялся, голос у него внезапно осел.

– Это ведь у тебя, Тарас Андреевич, что получается? – перейдя на «ты», продолжал Незабудный. – Это ведь ты на свой манер эмигрант выходишь.

– Это в каком же смысле? – насторожился Грачик.

– От себя бежишь. Вот как умные люди объясняют. От жизни, так сказать, за границу сознательности спасаешься, где уж никакого понятия ума нет.

– Я от тоски своей спасался, когда уж мочи моей не было терпеть. А от того, что мне делать положено, где мне быть следует, от того не бегал. Это уж вы, Артем Иванович, не то... – То, брат, то! И от дела бежишь – мог бы лучше его делать. И от отцовства своего. Ведь мальчишка у тебя растет золотой. Он же на тебя так смотрит! А ты и от его глаз бежишь. И от своей совести. – Ну, тю! – Тарас Андреевич вскинул кудлатую голову и глянул прямо в глаза Незабудному. Кончайте, Артем Иванович. Сказал вам – не будет этого, и все.

– Ну смотри, Тарас Андреевич. Душу из тебя вытряхну, если что. Без смеха говорю. Вот возьму так, – он крепко обхватил и легко приподнял Грачика, – и душа из тебя прочь. – Но, но... Не маленький, чай, – мрачно усмехнулся Тарас Андреевич и высвободился.

– Извини, это я так, шутю.

– А я, Артем Иванович, всерьез. Верьте слову. Сказал – точка!

## **Глава XX**

### **Поединок**

Сеня качнулся вперед, чтобы устоять, и потрогал место на плече, куда его больно ткнул Махан.

– Ну, еще получить хочешь? Может, для порядка подкрепить с того боку, чтобы не валился? Имей!

Сеня пошатнулся влево, но снова удержался на ногах.

– Или по зубарикам выдать? Куси! Сеня постарался устоять на месте, только облизал быстро вспухавшую губу.

– Ну и что? – спросил он сквозь стиснутые зубы. – Что доказал? Что сильный больно?

– Я тебя людей уважать научу! – пригрозил Махан. – Пора, кажется, знать, что за личность перед тобой.

– Это ты личность? – Сеня поглядел на Махана. – Подумаешь, личность. Культяпка личности ты...

– Так, и это запишем, – сказал Махан.

Неизвестно, что там наболтал о каких-то кладах Махану Ремка, окончательно убедившись после прихода Сени с отцом к Артему, что все они в сговоре, заодно. И Махан давно собирался допросить с пристрастием Сеню. Очень наседать на самого Пьера он не решался. В трусливом представлении Махана за парижанчиком всегда неотступно вставала громобойная фигура Незабудного. А при одной мысли о нем у Махана начинали мелко дрожать колени. Сегодня он вместе с Ремкой и еще одним парнем, вечно слонявшимся на базаре и у кино на Первомайской, подловил Сеню на пустыре, где были уже снесены дома, так как место это предназначалось к затоплению.

Сам Махан до поры до времени не вступал в разговор. Он держался в стороне.

Сначала стал зарываться Ремка:

– Здорово, актив!

– Здорово, пассив! – нашелся Сеня, слышавший когда-то это от Сурика.

– Смотри-ка, разбирается. Привет, привет передовым!

– Вали, вали, отстающий!

– Ну, ты...

С этого все и началось сегодня. И Сеня решил, что пора испробовать прием японской самозащиты, которому его обучил Артем Иванович. Взять неожиданно крепко правую кисть противника, вывернуть ее ладонью вверх, перегнуть через свою другую руку, просунутую под захваченную руку нападающего, и нажимать. И противник сейчас же взмолится – он будет совершенно беспомощен. Артем Иванович даже предупреждал, чтобы, пуская в ход этот прием, Сеня не очень сильно нажимал, а то у противника могут разорваться сухожилия в локте. И действительно, когда этот прием показывал Незабудный на Сене, все получалось совершенно так, как говорил Артем Иванович. Нельзя было шевельнуться. И Сеня должен был

признать необыкновенное действие приема. Правда, когда он сам пробовал этот прием на своем великане-учителе, то полного успеха не достигалось. А один раз даже, когда Артем Иванович пошутил и напряг руку, Сеня неожиданно для себя оказался вверх ногами. Но Артем Иванович и тогда одобрительно утешал его, отметив, что Сеня так и не разжал своей руки, удержал захват. И, хотя Артему Ивановичу ни разу еще не пришлось просить пощады у Сени, однако прием был разработан досконально. И каждый раз теперь, когда Сеня встречался с Артемом Ивановичем, он вместо рукопожатия проводил изученный им японский захват, оказываясь где-то под мышкой у Незабудного. Но Артем Иванович говорил, что прием проведен правильно. Да, великое дело знать секреты. С ними ни-чего не страшно.

Но, должно быть, Сеня сегодня неточно провел прием. И Ремка, выдернув тотчас же свою руку из захвата, мигом сбил Сеню подножкой на землю и уселся на нем. А Махан был уже тут как тут. Он вздернул Сеню, держа его за шиворот, на ноги, поставил перед собой, насмешливо стряхнул пыль с его гимнастерки и принялся за дело сам.

– Так. Таким макарком, значит? – зловеще продолжал теперь Махан, с удовольствием ведя свой допрос. – Значит, выкопали вы там с папашей и с этим самым чемпионом вещички и между собой делите? Сильны! А нас, что же, с Ремкой обойти желаете? А еще свои считались...

– А я никогда твоим и не считался, – прервал его Сеня.

– Хамишь, парень! – прикрикнул Махан. – А на Красношахтерскую не хотите, чтобы я вас сводил? Заявлю кому надо, так живенько разберутся.

– Понятия даже не имею, про что ты намекаешь.

– Видал? С переляку даже без понятия стал. Забывчивый какой.

– Что ты, интересно, Ремка, набрежал? – обратился Сеня к Штыбу, который исподлобья глядел на них. – Как тебе не совестно только? А еще пионером когда-то был у нас.

– Была у одной кошки собака, да мышей не ловила, только котов давила, сказал Махан. – Ты других сюда не путай. Не очень-то другими распоряжайся. Хвост голове не указчик. Ну, будешь говорить все как есть?

– Да брось ты! – Сеня отвернулся.

– Один такой бросал да после три дня на карачках елозил, чтобы обратно взять.

– Ну и что?

– Я тебе нукну. Что это за «ну»? Сел один дурындас в чужой тарантас да еще погоняет.

– Да что ты какую-то ерунду порешь!

– Наша ерунда вашей чепухе родные враки. Ты не прикидывайся, – проговорил Махан. (Сколько дурацких присказок он знал! Но ведь кончится яге когда-нибудь их запас!)

– Сказал я тебе, что ничего не знаю. Не понимаю даже, что за разговор такой! – не выдержал Сеня. – Ну чего ты ко мне привязался?

Махан посмотрел на него, на Ремку Штыба. Он уже подозревал, что Ремка что-то тут напутал. Больно уж уверенно и независимо держался этот пионерчик. Но отпускать его так Махану не хотелось. Он уже вошел во вкус, и ему хотелось еще хоть немножко, но всласть поиздеваться над мальчишкой.

– Ладно, – милостиво промолвил он, – я вижу, что ты парень крепкий. Пионер всем детям пример. А ну-ка, обзовись как следует. Обзовешься – и отпущу. А нет – худо будет. – Балда ты! – сказал Сеня, храбрея от злости. Он слегка отступил от нового тычка. – Ну и что, если стукнул? Значит, еще раз балда. И еще раз!.. Трижды балда!

– Эй, парень, ты меня лаять брось! Я говорю, чтобы ты сам обозвался. Ну, обругаешься?.. Что, слабо тебе, пионер? Брезгуешь?

– Не стану я.

– Какой чистенький, черным словом замараться трусит!.. Видал ты его, Штыб?

– Уж я на него нагляделся, – сказал Ремка. – Правда, Сенька, обзовись. Чего трусишь?

– Я не трушу, а не хочу! – упорствовал Сеня.

– Гляди какой: агу – не могу, засмейся – не хочу. Тебе что, трудно, если человек тебя обозваться просит? Ты что, слов таких подобных не знаешь, что ли? Научить?

– Не хуже тебя знаю, а не стану...

– Нет, станешь!

– Сказал, не стану – и все. Можешь бить хоть до смерти, не стану я для твоего удовольствия ругаться. Ну, пусти, Махан!

– Я для такого цуцика пока еще не Махан.



– Ну, пусти, Славка! – Сеня попробовал вырваться из крепко сгребших его за гимнастерку рук.

– Вот тебе еще за Славку!

– Пусти...

Махан скверно, грязно и длинно выругался.

– Ну обзовись так, и пущу тогда.

– Не считаю нужным. Я в твою компанию не заваживался и по-вашему обзывать не желаю. Хоть умри – не скажу.

– Ты у меня сейчас сам помирать запрочишься, вша свинячая!

Долго бы еще, должно быть, издевался Махан, к удовольствию Ремки, над бедным Сеней, но внезапно земля слегка дрогнула, чья-то гигантская тень как бы накрыла всех разом. Махану в первое мгновение показалось, что террикон, высившийся над пустырем, стал заваливаться на него. Он лишь услышал отчаянный вопль Штыба: «Славка!», едва успел оглянуться и мигом выпустил из рук Сеню. За ним, закрывая полнеба, высился всей громадой своих плеч Незабудный. Прежде чем Махан смог двинуться с места, огромная рука простерлась над ним, и он почувствовал, что нос его ущемлен мертвую двумя жесткими согнутыми пальцами великана. Он попробовал было высвободить нос, но пальцы сжали его с такой силой, что Махан только занюнил тихонько.

Артем, не выпуская его стиснутого фалангами среднего и указательного пальцев носа, заставил Махана скрючиться в три погибели, а затем и вовсе опуститься на коленки.

– Рады, что зила, как у злона, вот и навалилизь! – гнусаво заныл Махан, с вывернутой шеей стоя на коленях. – Нашли з кем зладить.

– А ты сейчас с кем сладить хотел? Ты что, добрым уговором действовал, не силком? – грозно спросил Артем. – А ну! – продолжал он, еще более мрачней. – А ну, паразит, говори, повторяй вслух за мной: «Я есть распротакой собачий гад...» Ну, повторяй, говорю...

Махан сделал какое-то короткое движение, и в шмыгнувшей руке у него, как жало, мелькнул нож. Артем с усмешкой, пренебрежительно отмахнулся свободной рукой. Нож со свистом пролетел у всех над головами и с силой вонзился в телеграфный столб.

– Баловать? – загремел низкий бас Артема. – На кого нож поднял? Говори, гад, скорее, пока я тебя в лепешку не сплющил. Я из тебя

жмых выдавлю.

– Буждиде... Ждо вы бежобдазиде! – гнусавил Махан, извиваясь на коленях с безнадежно ущемленным носом.

– Повторяй, сказал, за мной, ну!.. А то я у тебя со-палку твою с корнем выдерну. Говори: «Я есть распротакой собачий гад... который...»

– Я же де богу, даз вы дажали...

– Сможешь. Не сомневайся. Мы поможем. А непонятно будет, повторишь.

И Махану ничего не оставалось, как послушно загундосить:

– Я ездь разбродакой зобачий дын.

– Гад, а не сын! Я твоих родителей не мараю. Собачий гад.

– Зобачий гад.

– Который, – продолжал Артем, – по боговой ошибке и по людскому недосмотру еще существует на белом свете... – ...да бедом сведе, – лопотал, сопя и всхлипывая, Махан.

– И обещаю не лезть больше к честным ребятам и близко к ним не подходить.

– ...и близко де бодходидь.

– Ну, маршируй отсюда самым резвым аллюром, гунявый! – сказал Артем, отпуская нос Махана и тщательно отирая руку платком. – И спасибо скажи, что я тебя еще при твоей нюхалке оставил. Только не суй ее больше куда не надо. А то я тебя так в следующий раз прищемлю, что одну только шелуху от тебя хоронить придется. Геть!

И Махан, всхлипывая, держась за распухший нос, поспешил скрыться за строениями, огораживавшими пустырь.

Так состоялось его посрамление.

Артем Иванович не спеша пошел с пустыря. Немножко позади него шел, легко подпрыгивая, чтобы попасть в ногу с ним, Сеня. В некотором отдалении следовали Ремка и парень, сопровождавший до этого происшествия Махана. Он с уважением поглядывал на широкую спину чемпиона.

– С чего он к тебе привязался? – не оглядываясь, спросил Незабудный у Сени.

– Да ну его! Лезет все. Глупости всякие. Про клад какой-то допытывался.

– Про какой такой клад? – Незабудный, приостановившись, через плечо глянул назад на Сеню. – Это еще что за разговор?

– Я сам не знаю, – сказал Сеня. А потом тихонько и виновато добавил: – Дядя Артем, а я с Ремкой боролся.

– Ну?

– Сборол он меня сразу.

– А на прием захватывал, как я тебя учил? Сеня покачал головой.

– Что так?

– Да он никак не захватывается. Здоровый он.

– Плохо я, значит, с тобой отработал. Но ничего, я тебя еще натренирую.

Уже смеркалось. Зажглись огни на эстакадах рудников. С каждой минутой все ярче разгорались красные звезды на копрах шахт. Ремка со своим спутником по-отстали, а Сеня шел за Незабудным, незаметно для него перескакивая от одной ямки, которую на ходу оставлял в земле своей пудовой тростью чемпион, до другой, стараясь каждый раз непременно ступить на этот богатырский след.

Теплый, весенний ветер гнал из близкой степи запахи влажной земли и свежей молодой травы.

Вдруг впереди неслышно шмыгнули по земле какие-то маленькие юркие тени. Они, как катышки пыли, в которые заворачиваются брызги воды, если плеснуть в жару на запорошенный пол, бесшумно ширяли в разные стороны.

– Глянь! – сказал парень, шедший с Ремкой Штыбом. – Да это суслики, никак. Они тут, за оврагом, сроду не водились.

– Я уже второй день примечаю, – откликнулся сзади Ремка. – Дерут из степи. Воду, что ли, почуяли?



## Часть II

### Вода живая и мертвая

#### Глава I

##### Воде навстречу

Ты про что, не пойму? – Незабудный склонился над Ириной Николаевной и подставил ей свое толстое с огромной мочкой ухо, похожее на калач.

– Вода скоро подойдет, – как можно тише повторила Ирина Николаевна. Подойдет вода, а наша школа к этому событию...

– А это что, секрет? – спросил Незабудный.

– Почему секрет? – растерялась она.

– А что же вы тихо так говорите?

– Разве? – Ирина Николаевна взялась обеими ладонями за загоревшиеся щеки. Ой, глупо как! Это знаете почему?.. Мне все время хочется, когда я с вами говорю, кричать во весь голос. Вы словно на горе где-то возвышаетесь, а я себя чувствую такой ничтожной, маленькой и все время ловлю себя на том, что мне хочется говорить страшно громко. Вот я сдерживаюсь и получается... Глупо, да?

– Ну что вы, – сказал Артем Иванович, – вы барышня заметная, то есть, простите, девушка видная. Молоды только очень. Посмотреть – так прямо девчоночка совсем.

Сеня, которого вожатая попросила, чтобы он проводил ее домой к Артему Ивановичу, возмутился. Для него вожатая была прежде всего учительницей, то есть человеком уже немалого жизненного опыта и непостижимых познаний. Он сам всегда ужасно обижался, если кто-нибудь давал ему на вид меньше лет, чем ему уже было. И он испугался, как бы учительница не обиделась.

– Какая же девчонка?.. Она уже почти целых полтора года, как институт кончила. Девчонка! Совсем нисколечко и не вылядит!..

Но Ирина Николаевна, закидывая голову с восхищенным изумлением, совершенно по-ребячьи оглядывала Незабудного.

– Нет, правда, вы просто невероятно до чего большой!

– Куинбус Флестрин, – негромко пояснил Сеня. Артем Иванович отмахнулся.

– Какой там я Куинбус! – Он подошел к столу и снял с него книжку, которую ему еще во время болезни принес Сеня. – На, возьми. Ты чего же мне не сказал, что продолжение есть, как он к великанам попал, Гулливер. Я, брат, не Куинбус, а Грильдриг. Это он, когда, после того как у лилипутов побывал, у великанов оказался. Вот тут и понял он, что совсем он не Человек-Гора, а так только Грильдриг, козявка. Вот так и со мной вышло. Мотался среди лилипутов, а теперь вон к каким попал!.. – Он смущенно захохотал, приводя этим в вихревое движение гардину на окне. Но спохватился, оправил штору, посмотрев искоса на учительницу.

– Так вот, Артем Иванович, – сказала она, – с Гидростроем я обо всем уже договорилась. С шахтерами на шахте все в порядке – сам Колоброта обещал приехать. Но вы должны помочь тоже. Если это правда, что вы такой человек, как о вас вот Сеня говорит, вы нам очень можете помочь. Надо поднять у ребят чувство ответственности за школу. Надо, чтобы они гордились честью своей школы, чтобы ревновали ее, чтобы отстаивали. Я бы вас попросила... Мы хотим вызвать на соревнование ребят из районной школы. Хотелось бы начать со спорта.

Артем совсем повеселел. Ему нравилась молоденькая, энергичная, хотя и застенчивая учительница-вожатая. Чижик, можно сказать, а пляди, как взвилась! Сразу загорелись и у него под насупленными, косматыми бровями глаза и ширнули вверх концы усов, когда он услышал слова вожатой насчет спорта.

– Мне хотелось, чтобы вы их сами подбили на это, – продолжала учительница. Так прозвучит куда авторитетней. Шутка ли, сам Незабудный предложит, чемпион чемпионов!

– А вода, ребята, тем временем идет, – говорил школьникам Богдан Анисимович, когда через два дня после встречи у Артема состоялось собрание в школе.

– Вот именно. Подходит вода, – подтвердил Никифор Колоброта.

Он сидел в президиуме среди других знатных гостей и родителей. Литая звездочка Героя Социалистического Труда сверкала золотом у него на лацкане широкого пиджака, и уголок его все отгибался под ее

тяжестью. Он сидел и слушал, как Богдан Анисимович Тулубей рассказывает ребятам о ходе строительства и приближении воды к Сухоярке.

– Да, скоро вон там разольется, – продолжал Богдан Анисимович и показал рукой на окна класса.

И все невольно посмотрели на окна, а потом опять на классную доску, где Богдан Анисимович только что нарисовал мелком схему строительства, прочертил толстой белой линией трассу канала и заштриховал площадь затопления... Да, вон там, за окнами, скоро засверкает водная гладь и уйдет на дно степь. Воды сейчас еще не было, но все уже словно разглядели ее там, под самыми окнами школы, и у всех душа занялась на мгновение от сладко-холодящего, как мята, предвкушения.

...Бубум!.. Бум!.. Тугой, круглый, как барабан, звук какого-то далекого тяжкого удара прокатился за окнами над степью, над пустырем, где виднелись остатки недавно снесенных домов. Легонько тронуло стекла в окнах. – Взрыв на выброс, – пояснил, слегка покосившись в окно, Богдан Анисимович, усаживаясь на место. – Дорогу водичке расчищаем.

– Давайте, дорогие ребята, и мы с вами на выброс всякую пакость, все, что мешает! – так начал свою речь Никифор Колоброта, сменивший как раз в эту минуту на трибуне Богдана Анисимовича.

– Можно рвануть, – сострил из своего угла Ремка.

Все оплянули на него неодобрительно. Такое поведение Штыба никому не понравилось. Ведь на трибуне стоял не просто Милкин отец. Сеня даже Милке удивлялся не раз, видя, как она чересчур уж запросто и вольно обращается со своим знаменитым отцом. Нет, поднявшись на трибуну, тот стал не просто всем знакомым отцом Милки Колоброта, не только известным человеком, но уже лицом в какой-то мере неприкосновенным, оберегаемым всеми принятой традицией уважения к почетному гостю, к оратору, выполняющему особое свое назначение. Человек на трибуне был уже сам по себе фигурой, вызывающей почтение. Он выступал. Правда, выступал он, чувствуя, как видно, не очень-то себя в своей тарелке.

Откашливался, сморкался, вытирал большим платком вспотевшую шею. Видно, нелегко ему было на трибуне. Но это выступал знатный гость, большой портрет которого всегда висел на

Доске почета у Первомайской. И поэтому никто не засмеялся на остроту Ремки. Все посмотрели на него с укоризной, а сидевшие поблизости показали под партой кулаки.

Но сам Колоброда и не поглядел в сторону Ремки. Казалось, что он и не слышал глупой шутки.

Он продолжал:

– Товарищи школьники! Позвольте мне! Разрешите мне от имени шахтеров, по их поручению поздравить вас. Скоро будете уже с большой водой. Благодаря чему? Благодаря заботам... – Он остановился, нахмурился. Ему, должно быть, самому было скучно говорить привычными, заученными на многих собраниях словами. И вдруг совсем другим голосом, тем, что и Сеня, и Пьер, и Ксана, и Ремка Штыб слышали не раз, когда были в гостях у Милки, Никифор Васильевич Колоброда продолжал: – Вода-то подходит, а вот вы, школа ваша, подхода пока встречного к такому большому делу в жизни не имеете. Ведь это будет уже у нас не поселок, а что? Будет город Сухоярка. Возможно даже, станет и районного значения. Тут теперь близко от нас пристань будет. Транспортировать уголь станем по воздушной подвесной дороге. А там прямо на баржи грузить...

Верно, Богдан Анисимович? – Тот кивнул головой с места. – Значит, какой вывод? А такой, что с наших ребят и с нашей школы спрос будет уже другой. Тем более, что вы тулубеевцы. Это имя по всей стране известное. Ему надо во всем соответствовать. А у вас что? У вас еще попадаются малосознательные. Вот, скажем, порядка Шибенцова, примерно. Одного не могу понять: отец – справный шахтер, а сын, как мне известно, из пионеров отчислен, в конце класса плетется, да и у других еще под ногами путается. Разве это тулубеевец? Одно только название. Да и позорит он такое звание.

Никто уже не глядел на Ремку. И совестно, и страшновато было взглянуть на него. Не раз уже обо всем этом говорилось в классе. Но всегда это было делом обыкновенным и даже в какой-то мере привычным. Ну мало ли что скажет учительница, выговаривая за плохие отметки, за нерадивость или какой-нибудь проступок. А тут об этом было сказано знатным гостем с трибуны. Ремка сидел, застигнутый врасплох, с багровыми от срама и словно оттопырившимися ушами, стараясь сохранить полную неподвижность, но предательский скрип парты выдавал его ерзание.

– Я бы советовал что? Подтянуться, – продолжал Колоброда. – У нас теперь всякое дело словно бы в большой воде начнет отражаться. Вот у нас на копре всегда звезда горит. Никогда не снимали все эти годы. Что она означает? Это вам всем хорошо известно. Но могу и повторить для памяти. Звезда горит значит, что? С планом порядок. Программу даем полностью и даже с превышением. А сейчас знамя переходящее по тресту держим уже второй год. А школа у нас, особенно ваш класс, ребята, не обижайтесь, от всего в отдалении топают. Не гасите нам, ребята, звезду. Мы зажгли, а вам надо ее выше поднимать, чтобы выше звезды над Сухояркой горели.

Сурен Арзумян поднял руку:

– Можно вопрос?

– Почему нельзя? Пожалуйста!! Сурик встал: – Вот вы сказали: все в большой воде будет отражаться? И другие, которые хулиганничают?..

Никифор Васильевич Колоброда искоса поглядел на Богдана Тулубея, прокашлялся...

– Вот о том и разговор у нас с вами, – начал он, – о том и разговор, что теперь так решается, что всех, кто где мутит, надо нам на чистую воду вывести, чтобы берег в воду гляделся ясный. Воду мутить никому не дадим! Реки впадают в моря... – продолжал он, и легкая хрипотца, которая проступала вначале, исчезла из его голоса. – Реки впадают в моря, я говорю. А наша вся жизнь течет в будущее. И такое, какого у людей еще никогда и не бывало. Коммунизм уже это будет. Вот что такое наше будущее, ребята! И жизнь у нас должна быть чистой воды. Как бриллиант. Чтобы не нанести мути всякой в будущее.

– А всякие еще несознательные будут тогда? – задали вопрос откуда-то с задней скамьи.

– Я так лично думаю, – сказал, поглядев в ту сторону, Никифор Васильевич, что к тому времени такие, как ты говоришь, и вовсе водиться уже не будут. Ну, а народится если случаем, так уж вылечат урода, приведут в сознание.

Ремка Штыб поднял руку. Ему хотелось как-нибудь вернуть расположение класса.

– Можно вопрос еще?

– Гони.



– Вот, говорят, – сказал Ремка ясным, вкрадчивым голосом примерного ученика, – говорят, что когда коммунизм наступит уже совсем, так всякий будет получать сколько кому захочется, а работать кто сколько может. А в школе, например, тоже учиться станут сколько захочется по способностям? И пятерки будут ставить по потребностям?..

В классе раздались смешки.

– Это в будущем так дурни только рассуждать будут. А я лично считаю, что они к тому времени повыведутся. И какой толк, если тебе хоть пятерку с плюсом выставят, когда у тебя понимания на круглый нуль. Кому будет охота расти олухом царя небесного? А учиться, конечно, придется порядком. Как я лично себе представляю – выучить придется поболее, чем сегодня вам задают. Ведь техника как двинется! Так что я насчет этого вам легкой жизни не обещаю. За хорошую ручаюсь, а легкой – нет, не ждите... Ну, будут еще вопросы? – торопливо проговорил он, оглядывая класс. Вопросов больше не было, и он сел под звонкие хлопки ребят.

Потом говорили ребята. Всех задело еще тогда, в первый день прихода Ирины Николаевны, как она сказала: «Не слыть, а быть». Всем теперь хотелось «быть», а не только «слыть», казаться. Не только прозываться тулубеевцами, но стать ими. Неожиданно все головы, как по команде, повернулись к двери. Заплодировали шумно, дружелюбно, с каким-то особым, старательным удовольствием. Несмотря на шум, слышно было, как крякнули под тяжелыми шагами Незабудного половицы, когда он поднялся к столу президиума. Он стоял, опираясь на свою всесветно знаменитую дубинку, держа в другой руке чемодан, положив широкополую шляпу на уголок стола. Когда немножко стихло, Артем Иванович поглядел на ребят, на Богдана Анисимовича и Колоброду, покашлял немного с низким гудом, провел платком по усам своим. Долго и аккуратно засовывал огромный клетчатый платок в карман брюк.

– Немного задержался, прощения прошу, – начал он. – В исполкоме был, в отделе физкультуры. Договорились, Ирина Николаевна. – Он повернулся к сидевшей за столом вожатой. – Именно так, как мы с вами планировали. К Празднику Воды, как сюда подойдет, – Артем Иванович мотнул тяжелым подбородком в сторону окна, мы тут соревнования проведем с районной школой. Эстафету на

приз имени Героя Советского Союза Григория Тулубея. Звонил сейчас в райцентр. Там согласны. А насчет приза условились – вот этот будет. – Незабудный посмотрел в зал. Ребята... – сказал он, глухо кашлянув. – Ребята! Мне припала честь... – Он раскрыл свой чемодан, извлек оттуда сверкнувший серебром, заигравший зеленовато-бирюзовыми прожилками в матовой слоистой глубине оливина заветный приз «Могила гладиатора».

Все стали приподниматься, разглядывать диковинную и прекрасную вазу. Он и правда был очень красив, этот кубок! Чаша казалась до краев заполненной каким-то манящим светом. Он струился по литым мышцам серебряного атлета, который, одолев бремя могильной тьмы, сам поддерживал этот свет и как бы призывал вершить подвиги силы и бесстрашия.

Сеня смотрел на всех победоносно. Ксана бросала осторожные взгляды на Пьера. Милка обмирала от восторга. Даже всегда старавшийся казаться равнодушным Ремка Шибенцов, хотя и собрался уже было пренебрежительно отвернуться, не выдержал. Так и впился глазами в кубок.

– Позвольте, позвольте, – сказала Ирина Николаевна, – мне кажется, было бы честнее просто назвать это призом вашего имени: приз Незабудного.

– Нет уж, уважаемая Ирина Николаевна, – забасил Незабудный, – тут уж спорить не будем. Это, ребята... Это мой самый дорогой приз из всех, что за жизнь я получал... У меня их, если подсчитать, разных призов и медалей, тысячи полторы было. Да все пришлось понемножку спустить. А уж это неприкосновенное. Это будет памяти Григория Тулубея. Героя из героев! Вот как пускай будет. А уж вы постарайтесь никому его не отдавать.

– Ну, его еще надо сперва завоевать. Сегодня кубок еще ничей, – сказала Ирина Николаевна. – Ребята в райцентре тоже не откажутся получить такую красоту. А что касается названия... Пусть будет называться так: приз памяти Григория Тулубея, учрежденный чемпионом чемпионов Артемом Незабудным. Вот так, мне кажется, справедливо будет. Верно, ребята?

И ребята, преданно аплодируя, пожирали глазами стоявший на столе волнующе-заманчивый кубок. И Ксана не спускала глаз с приза, который теперь будет разыгрываться в память ее отца. О том, что приз

этот может достаться другой школе, из соседнего городка, Покинуть Сухоярку, – об этом сейчас даже и думать никому не хотелось. Это казалось абсолютно невозможным. Этого нельзя было допускать ни в коем случае.

А ветер толкался в окна. Ветер накатывал из степи, готовившейся уже скоро выстелиться дном, редкие, то одиночные, то сдвоенные глухие, круглые удары, похожие на короткий дальний гром. Рушились, падали последние преграды на пути воды...

– Ей-богу, лучше пять упряжек отработать, чем вот так один раз выступить перед этим народом, – говорил Никифор Колоброда, шагая рядом с Богданом Анисимовичем из школы и вытирая платком вспотевшую шею. – Ну, скажи на милость, товарищ Тулубей? Ведь привык же я на собраниях выступать, на всяких конференциях, по радио говорил сколько раз. В Кремле на трибуну выходил. А сроду никогда так не потел, как вот перед этим пшеном. Вот шутята, лихоманка их забори!..

– Да, с меня, признаться, с самого семь потов сошло, все поджилки тряслись, когда я перед ними выступал.

– А в чем тут дело, как считаешь?

– Они – сама совесть и ответственность наша, вот как я считаю. Приемщики всему, что делаем. Тут уж не увернешься.

– То верно. Он на тебя глядит, этот пацаненок, и уж какой-нибудь такой вопрос припасет, что ты и не ожидаешь. Какую круговую оборону ни держи, а он тебя где-нибудь обойдет. Глядеть – эдакое пшено, а спросит, что никому и в голову сроду не приходило.

– Для них и слова надо особые: семь слов сплотнешь, пока одно скажешь, подтвердил Богдан Анисимович.

– И потом видишь, какое дело, – Богдан Анисимович приподнял одной рукой козырек фуражки, потер другой лоб под ним, снова надвинул картуз поглубже, дело, видишь, в том, что ходким да еще казенным словом их не проймешь. Это у них мимо идет. Вообще-то, я тебе скажу, на сегодняшний день говорить, я считаю, надо уже без крику. Было время, когда нам требовалось всем о себе заявить, чтобы везде нашу правду услышали. А после и на горло расчет был. А сегодня пусть уже само дело наше за себя говорит. Показухи поменьше. Сути побольше. Вон как учительница эта молоденькая Ксанке напомнила: «Не слыть, а быть!» Великие слова. Закон! Стало

быть, не красуйся, не слыви только, а взаправду будь таким, каким тебя люди считают. Оправдай славу.

– Крепко сказано. К делу, – согласился Колоброда. – Не только бы ребятам, а кому и постарше затвердить это надо на всю жизнь. «Не слыть, а быть!» Здорово! А насчет слов это ты верно. Поаккуратнее надо.

Зато у мальчишек, которые были куда вольнее на этот счет, теперь не сходили с языка технические словечки, которыми они щеголяли где надо и не надо: «оголовок», «перемычки», «водослив», «водобой», «арматура»...

– Вот вода подойдет... Когда воду пустят... Придет вода... Вот будет вода... Тогда уж... – Во всех разговорах, во всем, что делалось в те дни в Сухоярке, было теперь это короткое, как стук капли, и раздольное, словно океан, слово «вода». Школа имени Тулубея находилась на самом высоком месте, на вершине холма, от подножия которого уже стелилась степная равнина, готовившаяся стать дном водохранилища. Совсем скоро должна была там, вдали, поближе к горизонту, засверкать вода. И в классе даже на уроках нет-нет да и поглядывал кто-нибудь в окно. Может быть, ни один матрос на каравелле Христофора Колумба не мечтал так раньше других объявить «Земля!», как хотелось каждому мальчишке первому закричать: «Вода!»

Но вместе с водой, ожидаемой с таким нетерпением, подходили и дни эстафеты. Уже приезжал из райцентра лучший бегун тамошней школы пионер Алексей Загорный, не по годам рослый, длинноногий, договариваться с Витей Халилеевым – сильнейшим бегуном школы Тулубея. Выработывались условия состязания. Уже составили команды. Дмитрий Антонович Гаенко, преподаватель физкультуры, теперь стал одним из самых влиятельных лиц в школе. То и дело к нему подбегали, спрашивали, советовались. Он теперь был не просто преподаватель физкультуры, он был тренером команды, которая должна была представлять пионеров-тулубеевцев на Празднике Воды.

## **Глава II**

### **Семь пятниц Робинзона**

Но на некоторое время даже о предстоящей эстафете было забыто.

Однажды, за несколько минут до звонка, в класс влетел Сеня Грачик. Он ворвался в класс, где все уже расселись по партам, и с разбегу вскочил на стул за учительским столом. – Ребята, тихо! – закричал он, отчаянно махая руками. Ребята, слушайте, мы скоро будем жить на острове, как Робинзоны.

– Вот дает! – сказал Ремка Штыб. Даже Сурик с некоторой опаской посмотрел на своего приятеля.

– У Робинзона был только один Пятница, а у тебя семь на одной неделе, изрек он. – Каждый день у тебя новости. Мила Колоброта вышла из-за парты, подошла к Сене, встала на цыпочки, дотянулась и прижала свою ладонь ему ко лбу, словно пробовала, не поднялась ли у него температура. Сеня отбил ее руку в сторону.

– Где это ты нашел необитаемый остров? – спросила Ксана.

– Да нет! – Сеня затоптал на стуле. – Он будет обитаемый. Мы там будем сами обитать.

– Кто – мы? – допытывались из класса.

– Все мы. Я вам сейчас скажу такое, что вы просто запляшете. Пляшите заранее!..

– Охота была! – раздались голоса в классе. – Слезай лучше со стула! Чего ты там звонишь! Ребята, стащите его!

Сеня на всякий случай схватился за спинку стула, но не слез.

Ремка Штыб уже двинулся со своего места. Другие мальчишки тоже подскочили к Сене.

– Минуточку! – взмолился Сеня, отбрыкивая ногой тех, кто пытался приблизиться к нему. – Сурик говорит: у Робинзона только Пятница, а у нас будет целая неделя, и даже не одна.

– Да будешь ты говорить толком?!

Полная, рослая Мила Колоброта, увернувшись от Сениной ноги, схватила его обеими руками за пояс и стала трясти, приговаривая:

– Не тяни, не тяни, не тяни!

– Оставь, Милка! А то я сейчас тебе таким приемом дам, что помнить будешь. Ребята, слушайте! – торжественно объявил Сеня (у него самого уже екало в горле от нетерпения). – Мы ведь должны были переезжать в новое помещение за Первомайской. Ведь школа станет у нас десятилеткой с будущего года, а рабочих рук дефицит, то

есть не хватило. Все брошены на строительство канала. (Чувствовалось, что Сеня слышал у кого-то все эти слова. А Сеня и правда только что слышал, как председательница Галина Петровна говорила об этом, стоя возле школы с Глебом Силычем, директором.) А вода подходит, – продолжал Сеня. Нашу школу надо сносить. Значит, где нам теперь учиться?

– Ур-ра! – завопил Ремка Штыб в полном восторге. – Точка занятиям. Вот здорово – это ловко получилось! На целый месяц раньше отпустят. Во ловко!

И он встал на голову, болтая ногами над партой.

– Перевернись нормально, – посоветовал ему Сеня, стоя по-прежнему на стуле. – Рано радуешься. А Ирина Николаевна с разрешения Глеба Силыча договорилась уже в исполкоме. Вчера инженеры приходили смотреть. Мы же на возвышенности. Сюда вода подойдет не так уж скоро. Может быть, даже в этом году и не подойдет совсем. И Глеб Силыч уже был в исполкоме и с Ксаниной бабушкой, Галиной Петровной, согласовал все.

– Да что согласовал? Про что ты говоришь? Хватит тебе кругом да около вертеться! Говори толком! – закричали со всех сторон.

– Ты испытываешь предел нашего терпения, – добавил, как всегда, Сурен. Предупреждаю, у меня оно уже исчерпывается.

– Так вот, слушайте: решили, что пятый класс, наш и седьмой остаются заниматься тут. Здесь скоро получится вроде острова. Вода же кругом обойдет, понимаете? И мы тут прямо будем жить. Ведь мальков классы освободятся. Нам будут сделаны в них эти самые, общежития, спальни, или, как их, тротуары, что ли... Елизавета Порфирьевна сказала...

– Доргтуаргы, – поправил Пьер.

– Ага! Потому что невозможно каждый день всех два раза вперед возить на лодках. Хотя лодки уже к нам везут. Уже на станции, говорят, выгружают. Вот и будем мы тут жить в школе. Будем как на острове. Правда, здорово?!

– Уй, это да-а!.. – пронеслось по классу.

Девочки растерянно поглядывали на окна. Должно быть, старались представить себе, как это они будут тут жить, окруженные со всех сторон водой. А у мальчишек уже глаза разгорелись. Все стали

наперебой уточнять, как это получится здорово – словно на корабле будем!

– И флаг поднимем на крыше, – мечтал вслух Сеня. – А питание нам будут привозить, и девочки станут его разогревать.

– Ну конечно... Обязательно девочки. Почему это именно девочки?

– Вы будете кухарить, такое уж ваше дело, а мы будем швабрами полы мыть, успокоил их Сеня.

– Надраивать! – внес поправку всемудрый Сурен.

– Надргаивать палубу, как на корабле, – прибавил Пьер.

Никто даже не заметил, как вошла Ирина Николаевна. Она сразу поняла, что классу уже все известно.

– Так как же, довольны? Или все-таки побаиваетесь? – спросила вожатая.

– А чего трусить? Го! Бояться!.. Вот еще! Ее обступили со всех сторон, отталкивая друг друга, продираясь к ней вплотную, затеребили вопросами:

– А родители отпустят? – Ирина Николаевна, мы здесь, значит, и ночевать будем? Вообще жить?

– А в выходной будем ездить домой на лодках?

– А в кино как? Нас будут возить?

Ирина Николаевна, поворачиваясь в разные стороны, откуда неслись вопросы, объясняла, что в кино будут возить, и домой отпускать на воскресенье, и на Праздник Воды все поедут. Но жить будут в младших классах, которые переоборудуют в дортуары. В Совете надеются, что порядок у школьников будет образцовый. И ей, Ирине Николаевне, доверили все это дело. Не только директор и завуч Елизавета Порфирьевна, но и она будет отвечать перед родителями, перед городом. И вожатая надеется, что пионеры не подведут.

– Все это, конечно, довольно трудно, – заключила Ирина Николаевна. – Но что делать? Иначе нам придется терять целый месяц занятий. С новым помещением получилась задержка. Не бросать же нам учение до конца года. Вот и решили использовать опыт волгодонцев. Они его успешно провели, когда строили канал. Там на одной станции такая же заминка со строительством школы вышла, и ребята прекраснейшим образом жили и занимались в старой школе, хотя их уже окружала вода. А что, разве у нас с вами кто-нибудь боится?

Конечно, никто не боялся. А если кто немного и трусил в душе, то не подал виду сейчас.

Однако все это было не так-то просто. Строительная комиссия, обследовавшая здание школы и холм, на котором она располагалась, вынесла заключение, что необходимо произвести работы по укреплению грунта возле школы и на всякий случай оградить ее водозащитной дамбой. Начались сильные весенние дожди, паводок мог быть высокий. Нужно было принять меры, чтобы вода не подошла к самым стенам школы.

И вот теперь каждый день утренняя смена после уроков, а дневная до начала занятий отрабатывали по два часа на возведении дамбы вокруг школьного участка. Само здание школы стояло на крутогоре. Когда-то, в старое время, здесь было рудничное управление. Управляющий Альберт Оттович Грюппон избрал эту возвышенность потому, что считал нужным иметь постоянно хороший обзор вверенного ему района из окна своего кабинета. И действительно, из этой комнаты, где теперь была учительская, открывался великолепный вид на поселок и примыкающий к нему край степного простора. А прежде из окна кабинета управляющего была видна как на ладони вся старая Сухоярка, и копры, и терриконы, и трущобная, нищенская Собачеевка, где когда-то селились как попало, в грязных хибарах.

Большой пустырь, оставшийся после сноса Собачеевки, а частично и нескольких старых кварталов самой Сухоярки, отделял школьный холм от плоскогорья, на котором, собственно, и был теперь городок. Там, на возвышенности, возводились новые кварталы. Там же достраивалось и новое помещение для школы. Все расчищенное пространство до возвышенности, где сегодня еще оставалось старое школьное здание, должно было вскоре покрыться водой, которой таким образом предстояло полностью отрезать школу от города. Но в этом не было ничего страшного. Жили ведь так школьники одной задонской станицы в ту весну, когда заканчивалось строительство Волго-Донского канала. Жили в отрезанной водой школе, да еще учились как! Ни одного дня не потеряли, ни один человек не остался на второй год. Об этом тогда и в газетах писали.

Но, может быть, вы думаете, что легко два часа подряд копать лопатой землю? Или утрамбовывать ее на крутом склоне дамбы? Или



возить щебенку в тачках? Или таскать и укладывать глыбы песчаника? Нет, это не пустяки!..

Но зато – черт возьми! – до чего интересно было чувствовать себя тоже одним из покорителей стихии, как любил выражаться Сурен Арзумян, одним из тех, кто взялся управлять судьбой воды и указывать ей путь. И как приятно было потом, показывая друг другу натертые ладони, пить кружками воду из холодного кипятильника, сплевывать в сторону и снисходительно признаваться:

– Ничего. Досталось сегодня нашему брату.

Все работали. Все, даже Ремка Штыб, который единственно чему научился у строителей, так это кричать: «Перекур!» – и втыкать лопату в землю, обивая ладони о штаны, хотя, конечно, курить при Ирине Николаевне он бы никогда и не решился. Все работали. И каждый делал что мог. И напрасно прикрепленная со строительства шоферка Тася, языкастая, разбитная – Сеня знал ее, потому что она прежде работала в автоколонне отца, – подъезжая задним ходом на своем самосвале со щебнем, кричала, перекрывая грохот ссыпающихся камней:

– Эй вы, интеллигенция, поворачивайся! Это вам не задачки в классе решать: «а» плюс «б» сидели на трубе.

– Езжай, езжай, не задерживай! – кричали ей ребята низкими, нарочито натруженными рабочими голосами.

Но вода поднималась быстрее, чем насыпь. И стало ясно, что руками одних школьников не успеть возвести дамбу. Зальет... И тогда председательница Галина Петровна самолично обратилась к старикам пенсионерам. Она застала их после очередной лекции о международном положении во Дворце шахтера в тот самый момент, когда те направлялись к буфетной стойке, чтобы выпить кружечку пива за мир во всем мире и его борцов и сторонников.

– Здоровеньки булы, деды честные! – начала председательница.

– Галине Петровне наше почтение! – приветствовали ее старики.

– Вот что скажу я вам, отцы премногоуважаемые! Все-то вы пошумливаете да погуливаете. А я хочу спытать вас не на громкие слова, а на одно дело. Оно вроде как бы и не громкое, да доброе. Какое ваше будет мнение?

– Обрисуй, Галина Петровна, какое твое есть предложение? – спросил старик Лиходий.

– С лопатой еще вы управляетесь? Тачку откатить в силах? Или уже весь пар из вас вышел, весь уголек вынули, пустая выработка одна в вас осталась?..

Старики настороженно затаились, не совсем еще понимая, к чему клонит председательница. Тут Галина Петровна и сказала, что не справляются ребята-школьники, обгоняет их наступающая вода. И вот хорошо было бы подсобить им. Устроить субботник у школы. Словом, чтобы старые выручили малых.

– Нам что субботник, что воскресник – уже едино, – дружно загомонили старики. – Об чем речь?! Пока ноги носят, и руки от дела не отказываются...

И они явились на другой день к школе.

– А ну-каси, счастливое детство... Давай место обеспеченной старости! Извини-подвинься.

– Берись, братья! Станови-ись!..

Старики мигом разобрали лопаты, тачки. И дело у них пошло очень споро. Народ все был сноровистый.

А скоро появилась у основания возводимой дамбы и гороподобная фигура Незабудного.

– Старики, примите меня в вашу компанию.

– Это в Кукуе была тебе компания, а тут у нас бригада особого назначения и высшего возраста... Имей соображение, друг.

– Темный он еще, видать, как был, – подзуживал Зелепуха.

– Куда ты годный? – подсмеивался, наваливаясь грудью на рукоятку заступа, Перегуд. – Твоя сила была модная. А ты вот пошуруй, спытай.

– Будет вам грешить, старики! – обиделся Артем Иванович. – Мало уголька я порубал? Мало я с вами его на-гора выдал? А ну, посунься, давай сюда тачку. Грузи навалом повыше. И без всякой натуги, легко, словно за руль мотоцикла, взявшись растопыренными руками за рукоятки тяжелой тачки, на которую старики постарались навалить как можно больше грунта, покатыл ее вверх по крутому откосу насыпи и там одним движением плеча вывернул где положено...

Старики только затылки почесали да фуражки сдвинули на бровь.

И Тася-шоферка, подлетая на своем самосвале, теперь всласть пререкалась уже не со школьниками, а со стариками.

– Здорово, папочки! Сто лет в обед, сколько стукнет к ужину?

– Когда песок привезешь? – спрашивали ее.

– На какого шута вам еще песок сдался? – кричала она. – Из вас и так свой сыплется.

– Вот грубая... Геть отсюда, трепуха! А то как огрею лопатой! – И старики беззлобно замахивались.

Раз, когда до конца положенного срока работы оставалось часа полтора, Ремка отозвал Пьера в сторону.

– Давай смотаемся, – предложил он. – Сегодня в «Прогрессе» новое кино шиказное. Детям до шестнадцати лет нельзя. А у меня там контролер свой парень. На дневной пропустит. Айда.

– А тут как же? – Пьер в нерешительности обернулся к дамбе.

– Да брось ты. Хватит тебе и так вкалывать. Ты и так сегодня вон больше всех наворочал. Охота была тебе... А кино во, мировое! Мне Махан рассказывал. Из вашей заграничной жизни.

– Не видал я, что ли, этой... заграничной... И неудобно. – Пьер снова поглядел туда, где Ксана, Сурен, Сеня и Милка разравнивали по откосу дамбы землю. Они работали пригнувшись, прихлопывая лопатами грунт. Только локти мелькали из-за их спин. – Нехоргошо как-то, – замылся Пьер. – Все наши ргработают, а мы с тобой...

– Да ну! Выучился уже: «у нас», «наши», «работают», «трудятся»... Вон мама моя не глупая же, а отцу и то говорит: «Что тебе, больше всех надо». Больно ты уж скоро сознательный стал.

– Непргавда! Не больше всех, а я хочу, как все... Странный ты какой...

– Ладно. Я странный, а ты иностранный, как ни старайся. Мне-то из шкуры лезть нечего. Счастливо оставаться! Он огляделся и, видя, что никто на него не смотрит, прислонил лопату к тачке, пригнулся, чтобы его не видно было из-за большой кучи накопанной земли, на минуту высунулся, помахал Пьеру ладонью, приставленной к уху, и исчез...

И Пьер, почувствовав вдруг огромное внутреннее облегчение и непривычную решимость, боясь, как бы она в нем не прошла, кинулся с лопатой к ребятам. Ему было уже весело и хорошо, что он остался, что он со всеми, он, как все!

Споро и весело шла работа на дамбе. И Сеня, утирая пот, заливавший глаза, выпрямляясь, чтобы перевести дыхание,

осматривался вокруг, ощущая необъяснимую радость.

«Нет, все-таки мне здорово повезло в жизни! Родился подходяще, где надо, у нас, а не где-нибудь за границей: и в самый раз, вовремя. А то мог бы еще и при капитализме.

Хорошенькое было бы дело! Но тоже, конечно, было бы интересно... В революции бы участвовал. Белых бил бы, возможно, с Ворошиловым и Буденным. Тоже дело. Да, но вот, между прочим, Ксанки тогда бы еще и в помине не было...»

Впрочем, Ксана очень беспокоила Сеню. Он опасался, что ей не под силу работать вместе со всеми. Она ему казалась ужасно хрупкой и беспрерывно подверженной всем опасностям, которые имеются в жизни. Он считал, что она стоит слишком близко к тому месту, где самосвал ссыпает щебень, что берет слишком много песка в тачку и лопата чересчур тяжела для нее. А она почему-то всего этого не замечала. И только посмеивалась, когда Сеня высказывал свои бесчисленные опасения.

– Ну тебя, Сеня! – сердилась она. – Ты прямо хуже бабушки. Вроде Натальи Жозефовны! Честное слово!

И они смеялись над Сеней все вместе: она – Ксана, толстая Милка и Пьер, что было самое обидное. Но он, этот парижанин, работал на совесть. Лопата так и летала у него в руках. А тачку он вез по настилу, весело присвистывая, крича: «Аллон, аллон!» – что было не совсем понятно, но здорово. А иногда в особо решающие моменты Пьер добавлял уже по-русски лихое: «Дайожжь!» – что было похлеще уже привычного на слух «Даешь!»

Нет, плохи были дела у Сени. Ему казалось, что Ксана уже просто не замечает его. Ее внимание целиком поплотил этот шикарный парижанин, который являлся на работу в такой умопомрачительной брезентовой куртке с прошитыми толстыми белыми нитками карманами, что, конечно, не глядеть на него уже было просто невозможно.

Сеня, признаться, уже не раз брал украдкой у Милицы из комода «Домашний секретарь-наставник» и рылся там среди образцов писем, чтобы найти подходящие слова для объяснения хотя бы в письменном виде. Но все не находилось годного образца. Трудно в самом деле было отыскать уместные для данного случая выражения в «Письме вдовца к подруге покойной жены с предложением руки» или в каких-нибудь

других любовных, брачных, рекомендательных письмах. Было, правда, одно письмо, которое даже наизусть выучил Сеня. Оно называлось «Письмо, содержащее *упрек девушке в неверности*». Да, тут были кое-какие подходящие слова, их бы можно было пустить в дело.

«Любезная Н.! (Это было нетрудно заменить „К“.) Желая положить конец моим отчаянию и беспокойству, взялся я сегодня слабой, дрожащей рукой за перо, дабы упросить тебя объясниться откровенно... Я давно заметил в тебе холодность ко мне, которую неоднократно доказала, но прости моему истерзанному сердцу... Не принимай моих слов ложно: ты знаешь, что я говорю, как мыслю, и не нанесу оскорблений без уважительных к тому, вернее – побудительных причин...»

Сеня совсем уже было собрался составить письмо по такому образцу и оставить его в парте у Ксаны. Но вдруг он почувствовал какое-то яростное отвращение – от всех этих советов пахло Милицей, ее помадами, кремами и притирками. Ему стало очень совестно и противно, что он вздумал говорить с Ксаной чужими, готовенькими словами. Это показалось ему почти столь же постыдным, как изрекать те гадости, которые внушал ему насильно, требуя, чтобы Сеня повторял их сам от себя, Славка Махан...

И как хорошо, что он отказался от этой глупой затеи – послать письмо, да еще написанное со шпаргалки. Ксана вдруг сама однажды на последнем уроке прислала ему записку:

«Сеня, мне нужно с тобой срочно поговорить. Очень важно. Останься после уроков у библиотеки. Я вернусь».

### **Глава III**

#### **Она пришла!**

И вот она пришла, как обещала. Она возвращается обратно, когда школа уже опустела, и, запыхавшаяся, румяная, вбегает на второй этаж, где Сеня ждет ее в коридоре у библиотеки. Она подходит, спокойным движением поправляет косу и спрашивает:

– Что ты такой, Сеня, очень грустный? Все время я замечаю, что ты очень грустный.

Нет, – говорит он, – теперь я не очень грустный. Но только мне обидно.

– Нет, ты совсем грустный. Я же вижу. Зачем ты скрываешь от меня, Сеня? Я все вижу, – настаивает она.

– Ты меня об этом хотела спросить, Ксана? – отвечает он. – Так знай. Я не очень грустный, но немножко, правда, печальный. Потому что мне обидно. Но вашему брату девчонке этого все равно не понять. Вы это понять не способны.

– Почему же я не в силах понять? – удивляется она на это. – Неужели я такая уж...

– Нет, ты совсем не такая уж, – перебивает он ее тут, – только ты многого не замечаешь...

Да, сейчас он скажет все, он больше уже не робеет. Теперь он скажет все начистоту. Пусть смеется, ему все равно.

И он говорит... Вот как он говорит, слышите! Смело говорит. Черт подери, почему бы в конце концов и не сказать всего! Он чувствует себя сегодня, как никогда, красноречивым, находчивым, остроумным.

«Ксана, – говорит он, – ты мне верь! Я тебе друг, как никто. Я тебе на всю жизнь друг. Можешь проверить. Хочешь – дай мне испытание, я докажу. Я знаю, что еще не доказал, но ты сама увидишь. Я такое еще сделаю, что стану достойным, чтобы тебе дружить со мной. Я знаю: у тебя папа был такой человек, настоящий герой... И это надо заслужить еще, чтобы ты относилась, как я к тебе отношусь. А я к тебе знаешь как отношусь?! Если бы ты даже родной сестрой мне была, я бы так не относился к тебе. Ты для меня всех плавнее и лучше. Нет, Сурик тоже хороший, но он просто мне друг. Он товарищ мне, и все. А ты тоже хороший товарищ по пионерской линии, но только ты еще важнее, чем товарищ. Пьер тоже, конечно, парень ничего, хотя недовполне еще совсем сознательный. Но он не виноват, конечно, потому что был перемещенный. А с виду он, конечно, это я, Ксана, понимаю – куда мне... Он правда похожий, как в кино бывает. Но другие, Ксана, есть, может быть, не хуже его, хотя и виду того у них с наружности пока нет. И мускулы еще не совсем развитые. Конечно, не все могут быть такие же здоровые, как Ремка. Ну и ладно, пусть, нехай так! Он сильнее. Ведь не в том дело. А есть и другие, которые, может быть, ничего не боятся и готовы за тебя на что хочешь. И могут это доказать, хотя они, возможно, с виду и незаметные...»

А она, она так и впиалась в него глазами и слушает. И как слушает! Нет, не смеется ни капельки. И какие глаза у нее! От них кругом светло. Кажется, сейчас еще раз взглянет она на него, и побегут по стенам солнечные зайчики. Да, она все поняла. Пусть теперь знает, каков он и как к ней относится. Пусть знает, что за человек Сеня Грачик и что скрывается под его внешностью, которая, конечно, хуже, чем у этого парижанчика.

Она молчит. Он никак не может представить себе, что она должна сказать, выслушав его. Что же, он готов ждать сколько угодно...

– Ты давно ждешь? – раздается ее торопливый голос снизу, из-под лестницы. Сеня, ты там, наверху?

.....

Все. Она поднимается. Сейчас она будет здесь. А все слова, которые он только что как будто уже сказал ей, влетели обратно ему в рот. Он даже поперхнулся ими и сейчас так и не может откашляться. Вот она быстренько бежит, стуча тапочками по лестнице. И он уже понимает: ничегошеньки он ей не сможет объяснить. Слова он не скажет. А до чего все это умно, просто, убедительно и складно получалось у него только что, когда он представлял себе, как будет говорить с Ксаной.

Она уже взбежала наверх, перевела дыхание.

– Ой, извини меня, Сеня. Я задержалась. Мы стенгазету рисовали специальный номер о воде. Нарисуем Штыба и как будто он захлебывается и пускает пузыри, а остальные все ребята, понимаешь, уже как будто на высоком берегу. Правда, хорошо будет?

– Ну, – сказал он грубо, – зачем звала? Опять пионерское поручение?

– Сеня... – Она опустила глаза. – Сеня... Это совсем особое поручение.

– Так и знал! – буркнул он, разглядывая расписание выдачи книг по абонементам, прикнутое к двери.

– Сеня, у меня к тебе просьба. Даже не у меня, а вообще у нас у всех. Наши договорились с той школой в райцентре насчет эстафеты. И, понимаешь, такие условия поставлены – чтобы только успевающие. Кто не успевает, тех в команду нельзя, хотя бы они и самые лучшие

бегуны и физкультурники. Дмитрий Антонович очень беспокоится. Ирина Николаевна тоже волнуется. Как ты считаешь?

– А чего мне волноваться? У меня по всем пятерки.. – Да при чем тут ты? Ты же не бегун.

– Здравствуйте! Тебя перегоню.

– Так ведь тебе, Сеня, не со мной гоняться. А там знаешь какие ребята в районной школе?

– Ну, а если мне не гоняться, так при чем тут успевающий я или неуспевающий?

– Да? – проговорила она и негодуя поглядела на него. – Да! – Теперь она смотрела на него уже чуть ли не с презрением. – Да, есть еще такие люди, которые только и думают что о себе... Которым до других и дела нет. Встречаются еще такие. Их не интересует то, что для других, может быть, самое важное. Ты, значит, хочешь, чтобы приз был не у нас, да? Чтобы он им достался, районным? Пусть забирают, да? Пусть? Тебе все равно?..

В голосе ее что-то словно раскололось на занозистые щепочки, и у самого Сени вдруг как-то странно зацарапало в горле.

– Я, честное слово, не понимаю, Ксана, чего ты от меня хочешь?

– Нет, ты скажи, исполнишь, что я тебя попрошу?

– А что исполнить?

– Нет, ты только скажи – исполнишь, да?

– Ну, пускай да. Чего ты от меня хочешь?

– Чтобы ты помог.

– Кому помог?

– Ну, нашим. Ремке Штыбу. Он же наш лучший бегун в школе. Ну и потом... Она стала что-то внимательно высматривать за окном. Сеня невольно поглядел туда же, но ничего примечательного не увидел. – Ну, и Кондратов... Пьер тоже очень хорошо бегают, – сказала она как бы между прочим. – Помнишь, когда на экскурсии стали пробовать, он всех перегнал.

– Жаль только, что его вчера все перегнали на контрольной, – зло заметил Сеня.

Он уже все понял. Так. Ясно. Ему, как отличнику и образцовому пионеру, придется сейчас натаскивать для контрольных работ по математике и русскому языку этого нахального балду Ремку Штыба.



Еще недоставало, чтобы пришлось заниматься с Пьеркой. Ну, сейчас он скажет ей все, что думает. Пусть знает!

– Ксана, – решительно сказал он, – имей в виду! Я тебе прямо скажу. Можешь не обижаться. Если я это делаю, то только для тебя.

Она замотала головой, зажмурилась:

– Нет, Сеня, нет. Так я не хочу. Я хочу, чтобы ты это сделал для всех нас, для школы.

– Ладно, пусть будет для школы, – повторил он уныло.

– Не во мне дело! Ты должен понять.

– Да я понял все. Я говорю – пусть. Пусть для всех. Только одно знай – уж не для Пьерки твоего. Это имей в виду.

На другой день в исполкоме, в отделе народного образования, вместе с представителями районной школы разрабатывали окончательный порядок проведения эстафеты в честь прихода большой воды. Еще раз было подтверждено, что в команду не войдет ни один из неуспевающих. Физкультурник Дмитрий Антонович пытался скомкать этот пункт условий, но запротестовали товарищи из школы райцентра, у которых насчет успеваемости все было в полном порядке. Напрасно молодой учитель физкультуры делал таинственные знаки, пожимал плечами. Ирина Николаевна поддержала представителей райцентра. Дмитрий Антонович только рукой махнул – дескать, пеняйте на себя.

Эстафету решили проводить комбинированную: бег, велосипед. И вот это было полной новинкой для здешних мест – один из этапов проходил по воде. В райцентр уже были завезены байдарки. И на одном из этапов жезл эстафеты предстояло доставить водным путем.

Когда шли обратно после совещания вместе с Артемом Ивановичем, физкультурник Дмитрий Антонович сердито выговорил:

– Я вас просто не понимаю, простите меня, Ирина Николаевна, честное слово! Сами заботитесь о престиже школы, а ставите его под прямой удар. Где мы наберем столько отличников? У нас, извините, лучшие ученики – народ какой-то дохлый. А наиболее развитые, тренированные двойки еще не исправили. Честное слово, просто не понимаю. Сами говорите, что боретесь за честь школы...

– «За честь»! – прервала его Ирина Николаевна и даже остановилась на улице. – Вы это слово понимаете? Честь – не

прослыть! Честь – это быть! Понимаете?

– Очень хорошо понимаю. Не хуже вас. Но при чем тут?..

– А честь всегда при чем. Она при всем. Будем подтягивать ваших, как вы их называете, «развитых». Пионеры за них взялись. Сеня Грачик... Кстати, я что-то не замечала в списках команд ни Грачика, ни Арзумяна.

– Арзумян отличный шахматист, но не более того, – сказал Дмитрий Антонович. – Вы, может быть, в эстафету включите бег конем по шахматной доске? Ну, Арзумяна мы на велосипед. Ладно. А Сеня Грачик это вообщедох-лик недоразвитый.

– Противно выражаетесь! – уже окончательно рассердилась Ирина Николаевна. Грачик великолепный парень, на редкость способный, честнейший мальчишка. Он воду ждет, как никто. Знаете, он даже плавать уже теоретически выучился. Может быть, он уже и грести теоретически умеет? Ведь тут вряд ли райцентр сможет выставить серьезного соперника. На этом этапе. Ведь это, как я понимаю, этап скорее символический. В районе ведь воду тоже только сейчас заполучат. Вот и давайте Сеню Грачика посадим на байдарку. Придется вам его недельку-другую потренировать. А Сурена посадим на велосипед.

– Ну, знаете, это какая-то комедия. Ехали медведи на велосипеде, а за ними кот задом наперед. Мартышкины состязания. Видел я такое детское лото. Правда, Артем Иванович? Вот скажите ваше авторитетное мнение.

– Мое мнение такое, – сказал Незабудный, – мое мнение такое, что нельзя малого от этого дела вовсе отводить. И так ему обидно. Он нутром сильный парнишка – не подведет. И крепкий. Вы зря ему не доверяете. А он обижается. Пришел недавно и спрашивает: «Дядя Артем, а вы, наверное, меня не уважаете, что я такой несильный...»

– Ну, смотрите, – не унимался Дмитрий Антонович, – плакал ваш приз.

– А чего ему плакать? – Ирина Николаевна с вызовом оглядела физкультурника. – Пусть достается лучшим. А вот мальчику плакать я не дам! Это как хотите.

В тот день Сеня вместе с Ксаной, Пьером, Суриком и Милой опять поднялись на террикон, куда они теперь ходили каждый день. Но сегодня они забрели не зря: сверху, сквозь легкое закатное марево,

пльвшее над степью, они впервые увидели там, вдали у горизонта, еще неуверенную, прерывисто мерцающую серебряную полосу. Она то пропадала в сизовой дымке, то снова проблескивала. И оттуда дул какой-то совсем по-новому пахнувший ветер. Ребята широко раздутыми ноздрями старались втянуть неуловимый и будоражащий сердце влажный ветер, который еще никогда не залетал в Сухоярку.

На другой вечер, едва кончились уроки, они снова прибежали сюда и вскарабкались на крутой конус террикона, боясь, что исчезнет вчерашнее видение. Но нет, оно не исчезло. Сегодня уже уверенно поблескивало там, вдали. И, когда стемнело, огни строительства вдруг как бы сдвоились. Каждый теперь отразился там, в зеркале воды, которую скрyla темнота.

И тут уже никто не выяснял отношения, и забыты были все обиды и распри. Ребята прыгали и носились по террикону, и плясали, и кричали:

– Вода! Вода! Вода! Вода!

Пока снизу не заругался сторож и не прогнал всех.

А через день на уроке Елизаветы Порфирьевны за окном класса вдруг мелькнуло что-то белое, метнулось, исчезло, снова появилось. И все, оторвавшись от тетради с очередной контрольной письменной, увидели: там, за окном, косо взлетала, пересекая пространство, то как бы съезжая по невидимому наклону, то вновь взмывая, никогда не виданная в этих краях острокрылая птица. Она присела на гребень крыши сарая и побежала, тяжело приседая, раскачиваясь разлапистая, странно неуклюжая на бегу, с большим клювом, утолщенным к концу и слегка загнутым вниз. И вдруг снова взлетела легко и как бы повисла в воздухе на распростертых белых снизу крыльях, лишь едва-едва шевеля ими.

– Товарищи дорогие... ребята! – сказала Елизавета Порфирьевна и встала. Как зачарованная приближалась она к окну. – Честное слово, это же чайка!

## **Глава IV**

### **Островитяне**

Вода приближалась. Она уже подходила к самой Сухоярке. Все в поселке готовились к встрече с водой. Ее ждали, как невесту в доме.

Перед ней все раскрывалось, все прихорашивалось.

Старик Зелепуха поставил на овражке, куда уже зашли первые струи приближающейся воды, рейку с поперечными синими полосками. Каждое утро и вечер приходил он, чтобы отметить, как идет прибыль, на сколько поднялась вода. Он уже выкопал и пересадил из района затопления высокую раинку, которая когда-то росла возле его теперь снесенного дома. И раинка перебралась на возвышенность, к новому жилью своего хозяина – собранному на новом месте сруб. Уже закончено было переселение в красивые, новые дома, которые успели возвести в районе Первомайской. Уже строилась, пока еще на сухом месте, лодочная станция. Ее устанавливали как раз в том районе, где и должна была разыгрываться пионерская эстафета в честь Праздника Воды.

Сначала вода появилась в домах, в новых кварталах, сложенных из желтого стесанного плитняка. На строительстве пустили фильтровальную станцию. Засипели водопроводные краны. Закурлыкало что-то в трубах, к которым давно уже припадали нетерпеливым ухом сухоярские ребята: при каждом шорохе мчались они на кухню, чтобы повернуть кран над раковиной. Вот однажды из него сперва капнуло раз-другой, потом прыснуло. Вытекла струйка, короткая, жиденькая, как косичка первоклассницы. И вдруг, – сперва отфыркиваясь, а затем ровной тугой струей ударила вода. Водопровод! Водопровод! Люди теперь приходили в гости к счастливицам, уже поселившимся в новых домах, чтобы полюбоваться, как идет вода из крана. И она бежала, прохладная, кристально-чистая, без той проклятой мути, с которой тут давно примирились, била звонко в дно кружки или стакана, пузырилась и, казалось, пьянила. Люди навевались друг к другу, звонили по телефону:

– Ну как, у вас идет? У нас что-то перестала. Говорят, на нашей линии авария. Выключили временно. Обещали к вечеру...

И все понимали, что речь идет о воде.

А многие чересчур заботливые матери были сперва не на шутку перепуганы, решив, что ребята их объелись чем-то и приболели животами, почему и бегают бесперечь в тот уголок новой квартиры, где так интересно было дернуть за ручку на цепочке, чтобы сверху из бачка с шумным клокотанием, балабоня, обрушилась вода. Две недели лившие до этого дожди ускорили приближение воды. Она прибывала,

намного опережая ранее намеченный график. И Сеня с Суреном каждый вечер тоже теперь ставили вешку у ее кромки и радовались утром, когда прутик оказывался уже торчащим далеко из воды.

Вода подступала уже к откосам дамбы, которую возвели вокруг школьного холма. И чем ближе подходила вода, тем больше начинали тревожиться многие родители, которым предстояло отпустить ребят на островное житье.

Неутомимая Ирина Николаевна ходила из дома в дом и уговаривала:

– Простите... В лагерь, я спрашиваю, в лагерь пионерский вы бы их отпустили? Ведь ездили они у вас в лагерь. Ну и считайте, что это будет учебный лагерь, причем у вас прямо на виду, на глазах, как говорится.

– Так то ведь, милая, на сухом месте было, а тут вода... Боязно как-то.

Но так или иначе, а всех удалось уговорить. Провели специально родительское собрание в помещении школы, и понемножку отцы и матери успокоились.

Действительно, ну будут жить, как жили прошлым летом в лагерях, только на этот раз даже ближе и на виду. Да и власть грядущей воды была так велика, так ласкала взор и душу все приближающаяся с каждым днем к поселку прохладная гладь, что трудно было противиться.

А вода поднималась. Вода большая, всенасыщающая, утолительная, мощная в своем тугом застывшем покое. Она заливала все мелкие неровности. Она все утопила под собой – мусор, свалки, заровняла буераки и бугры. И пошла растекаться сверкающей, почти безбрежной далью до самого горизонта. Так загаданное приходит наконец и поглощает все, что противилось ему, и стираются понемногу неказистые приметы прошлого. Удивительным образом обновлялось все вокруг. Даже весеннее, по-южному жаркое солнце теперь светило не так, как прежде, когда оно сквозило через белесое марево, обычно в эту пору уже вползавшее на небо. Воздух стал чище, и солнце было ясным, словно смывшим с себя прежнюю муть.

Неба в Сухоярке всегда хватало. Неба тут было много. Степного, открытого неба, голубого в куполе, палевого к горизонту. Но теперь неба стало еще как будто в два раза больше. Голубизне его снизу

вторила светлая гладь водохранилища. «Было высоко, а стало płyбоко», – как изрек, к сокрушению Елизаветы Порфирьевны, Сеня Грачик.

Во многие воды на свете гляделся Артем Иванович. И в большие и в малые. И в текущие и в стоячие. Но ни в одной не доводилось ему отражаться с такой отрадой, как в этой, желанной, давно загаданной и пришедшей на зов самых заветных дум. Первыми у воды появились трава и мальчишки. Трава, словно чувствуя приближение влаги, лезла из всех пор, пробивалась между камнями с тем, чтобы завтра же быть затопленной. А мальчишки уже пускали бумажные кораблики, учились бросать камешки «блинами», задрав штаны, бегали по мелким местам и рассуждали о капризах морской погоды и превратностях жизни матросской.

За мальчишками явились собаки. Сперва поджав хвосты, приближались они к воде, которой никогда еще за свою недолгую собачью жизнь не встречали в таком обилии. Припав на передние лапы у самой кромки берега, с удивлением смотрели они на свое отражение, никогда прежде невиданное; отпрянув на секунду, снова подходили, пробовали языком и потом принимались лакать с судорожной жадностью – поселковые собаки, вечно умиравшие от жажды.

Потянулись сюда и коровы. Они заходили в воду и долго стояли так, поводя раздутыми боками, испытывая неведомое им прежде наслаждение.

На перекрестках забили, как бубен, ведра под туго скрученными струями из водопроводных колонок там, где трубы еще не вошли в дома.

Поливальщики стали по утрам нахлестывать улицы водяными бичами из брандспойтов, прибивая пыль, от которой всегда житья не было в поселке с первых же сухих дней. Сухоярка утоляла свою вековую жажду.

Только Милица Геннадиевна не разделяла общего настроения.

– А что мне ваша вода? – говорила она Сене. – К морской твоей жизни я никогда вкуса не имела. А чай пить да постираться мне и так хватало. С водовозом хоть поговорить было можно, новости, какие есть, узнать. А что мне ваш крантик?

Но Незабудный утешил Сеню, когда тот пожаловался ему на несознательность Милицы.

– Да ты чего ее слушаешь? – сказал Артем Иванович. – Я же тебе говорю: она на манер как от всего беглая. Живет хуже, чем наш брат эмигрант был. Мы хоть сослепу да с перепугу, правды не видя, драпанули тогда. А эта тут забила за свой комод, за ширмочку, заставилась розами бумажными и не видит, что люди уже вон какой живой цвет растят. Уж верно сказано: таким хоть кода не теки...

Тем временем вода текла, прибывала и уже обходила школьный холм. И ребята с гордостью утверждали, что они уже учатся на полуострове. Всем хотелось не упустить момента, когда слева и справа обходившие холм воды сольются и окончательно отрежут школу от городка.

Уже закончилось переселение. Уже малышей перевели на «большую землю», как тотчас же Сеня и Сурик окрестили теперь возвышенность в районе исполкома. Уже были повешены на дверях освобожденных классов дощечки с надписями: «Спальня мальчиков 6-го класса», «Спальня девочек 7-го класса». Там, в бывших классах, поставили аккуратные, чистенькие кровати, которые раздобыла в райцентре председательница исполкома Галина Петровна. Сначала в районе попробовали было заартачиться, сказали, что трудно внезапно достать столько незапланированных коек. Но характер Галины Петровны Тулубей, очень спокойный и абсолютно при этом неуступчивый, хорошо знали во всей округе. Она заявила, что детям по ночам запланировано спать. И сверхплановые кровати нашлись.

А как известно, место, где хоть бы раз пришлось переспать ночь, кажется наутро обжитым. Но все же это был пока еще полуостров. Небольшая узкая гряда, шедшая от возвышенности, еще соединяла холм с «большой землей». А как указано в учебнике географии, лишь часть суши, со всех сторон омываемая водой, зовется островом... И все с нетерпением ждали, когда вода зальет перемычку и совсем отрежет школу.

Только Пьеру сперва почему-то не понравилось на полуострове. Может быть, потому, что классы-спальни с койками, стоявшими в ряд, напоминали о дортуарах приюта...

На третий день после переселения, как ни старались учителя сохранить обычный порядок, никому уже не сиделось за партами. То и

дело в тех классах, которые были обращены окнами к оставшейся перемышке, ребята приподнимались, тянулись с места, старались заглянуть, как там вода...

– Грачик! Ступина! Чего вы там не видели? – удивлялся Глеб Силыч, ведущий урок в шестом классе. – Вы что, на воду еще не нагляделись? Сидите спокойно. Не понимаю, что вам не сидится сегодня. Кажется, уже переехали, перебрались, так все равно, кругом же вода. В конце концов, что изменится оттого, что вон та полоска земли уйдет в воду? Ведь отпуска на берег я уже отменил позавчера.

Но и этот день прошел еще на полуострове. Несколько раз вставал ночью Сеня, тайком выглядывал в окно. Нет, полоска земли еще тянулась от берега к школе. Оставалось совсем немножко, метра полтора, когда перед рассветом Сеня снова высунулся в окно, чтобы посмотреть. Но дежурный Витя Халилеев велел ему немедленно вернуться на койку и не мешать всем спать. А когда проснулись наутро...

Остров! Настоящий остров! Школа стояла на островке. Перемышка уже целиком ушла под воду. Со всех сторон была вода. Она плескалась за окнами, ветер гнал легкую рябь, и мраморные отблески бежали по стенам и потолку класса.

А через два дня Ремка Штыб выловил первую рыбу. Повезло парню. На простую муху, насаженную на заостренную проволочку, он выудил какого-то малька. Все ходили в шестой класс смотреть эту маленькую рыбешку.

И Ремка Штыб был героем дня.

Еще до переезда у Сени состоялся разговор с Ремкой и Пьером. Он был примерно такой.

– Ребята, – заявил Сеня, – вам, надеюсь, говорили... Я назначен вас подтягивать.

– Прямо уж! – протянул Ремка.

– Да. И вам придется нажать. Я помогу.

– Уж сейчас!

– Не хотите – не надо. Но имейте в виду, в команду вас не поставят иначе.

– Стой! Это уже не тавэ!

– Ну, тогда не валяйте дурака.



– А, Пьерка? – Ремка повернулся к своему приятелю. – Пойдем навстречу? Пожалуйста? Куда? – не понял тот.

– В том-то и штука, что не подашься никуда, – ответил Ремка сердито. – По занятиям выровняться велят. Потеть придется. Ясно?

Пьер кивнул. Неизвестно, как по русскому языку успевал Пьер, но тот дурацкий, тарабарский язык, которым изъяснялся с ним Ремка, он уже постиг полностью.

– Закэ, – сказал он пренебрежительно, что означало: «законно».

– Поке, – заключил Ремка, прощаясь.

Постепенно устраивался быт островитян. С берега перевозили на большой лодке-дощанике обед в огромных кастрюлях, судках и термосах. Дежурные девочки под руководством Ирины Николаевны разогревали его на кухне. Домашние задания они теперь были не совсем домашние, а тоже школьные, классные – готовили сообща. И ребята заметно подтянулись. Только с Ремкой Штыбом не было сладу. Он не являлся на занятия. Сидел с самодельной удочкой, свесив ноги наружу, на подоконнике, там, где вода подходила к самым стенам школы. Да и Пьерку он подбивал, чтобы тот не занимался. Сколько ни бился с ними «общественный репетитор», как назвал шутя кто-то из учителей Сеню, – у обоих, и у Пьерки и у Ремки, еще красовались в дневнике двойки по математике и по русскому. Иногда хотелось уже плюнуть на все и отказаться.

– Не стану я вас больше подтягивать! – заявил в сердцах Сеня. – Не могу я вас силком тащить. Не хотите – не надо, получайте очередную пару.

– Ну и тю-тю кубок Тулубея! Увезут его – будь здоров! – насмеялся Ремка Штыб.

– Да если нас нет – кубок адье! – спешил поддакнуть Пьер.

– И если будешь очень артачиться, – угрожал Ремка, – так мы мигом Ксанке скажем, что ты отказываешься выполнять пионерское поручение. Слушай, Сенька, ну чего ты, правда, зря с нами время тратишь? Ты нам лучше реши задачку, когда контрольная будет, подсоби, и все будет в порядке. И сочинение, когда будет. Все от тебя самого зависит.

А Ксана спрашивала то и дело: – Ну как они у тебя, двигаются?

– Я сам бы их двинул! – угрюмо отвечал Сеня.

– Смотри, Грачик, мы на тебя рассчитываем. Они же такие невыдержанные, что на тебя вся надежда. Имей в виду.

Через несколько дней на лодках команду участников эстафетного бега стали возить на берег для тренировки. Иногда приходил смотреть на подготовку к соревнованиям Незабудный. Присаживался на скамеечку, смотрел внимательно и частенько досаждал советами физкультурнику Дмитрию Антоновичу. Не сиделось старику на месте. Он все вставал, что-то собираясь заметить, сам на себя сердито махал рукой, садился, но через минуту не выдерживал опять:

– Тут, виноват, надо бы ему рывок чище отработать!

На лодочную станцию привезли новенькую легкую, пустотелую, как мандолина, верткую байдарку. И Сеня теперь под руководством Дмитрия Антоновича тренировался ежедневно, так как для этого не надо было ехать на берег. Байдарку разрешили каждый день пригонять к школе.

Тут и объявился снова Махан. На время он куда-то исчезал, и все надеялись, что он теперь совсем уже сгинул после позорного столкновения с Сеней и Незабудным... Но, подобно тому, как разлившаяся вода иной раз приносила то пустую полузатонувшую жестянку, всплывшую где-то на пустыре, то дохлого суслика, то расколотое корыто, то еще какую-нибудь дрянь, так и Славку Махана неожиданно принесло на берег водохранилища. На земле ему уже, видно, не было подходящего места. Нашлось у воды.

Когда-то Славка Махан служил две недели в Николаеве на пристани, в память чего постоянно носил полосатую тельняшку, широченные матросские клеши со вставными клиньями по шву и всем показывал вытатуированный на руке якорь. Людей, знакомых с пристанями и лодками, в Сухоярке было еще очень мало. Пришлось принять услуги Махана. Он стал работать на лодочной пристани. Известие, что Артем Незабудный пожертвовал свой драгоценный кубок в качестве приза для пионерской эстафеты, Махан принял по-своему. – Темнит старик. Свой припрятал, второй выдал, чтобы отцепились, чтобы разговора не было. Хитер. Да не хитрей меня...

Пытался он завести снова разговор на эту тему с Пьером. Начал издали, подходил осторожно: ну как, мол, дедушка пристроил капитал? И тому подобное. Но в школу Махана не пускали, а на берегу подробно поговорить не удавалось: сразу появлялись ребята, и

в первую очередь тот же Сеня. Приходилось прекращать разговор. Махан возненавидел почему-то особенно Сеню. То ли он еще не забыл, в какой постыдной позиции видели его именно из-за этого пионерчика, который всюду совал свой нос и едва не заставил поплатиться таковым Махана. То ли он чуял, что Пьер постепенно начинает догадываться, что большая, справедливая и решающая сила не на стороне Ремки и Махана, а на стороне маленького, на вид тщедушного Сени.

Приезжали тренироваться к лодочной пристани, в районе которой должна была проводиться эстафета, школьники из райцентра, чтобы пройти подготовку на этапах, где будет разыгрываться состязание. Это были рослые, уверенные ребята. И девочки были под стать – все крепенькие, высокие. И, глядя на них, Сеня решил, что действительно без Пьера, отлично показавшего себя на тренировках, и без Ремки Штыба, давно уже завоевавшего славу одного из лучших бегунов школы, не видать тулубеевцам почетного приза.

А тут еще физкультурник Дмитрий Антонович вдруг забеспокоился: хорошо ли умеет Сеня плавать? Без этого ведь было рискованно участвовать в эстафете на этапе байдарок. Легкое ненадежное суденышко всегда могло перевернуться в спешке состязания. До последних дней вода была холодная, и купаться еще не разрешалось. Но теперь южное солнце уже согрело верхние слои воды. Физкультурник решил попробовать. Сеня успокоил его, что он давно уже знает все способы плавания. «Теоретически», – еле слышно добавил Сеня, так как малый он был честный.

Теоретически? – только и протянул Дмитрий Антонович.

## **Глава V**

### **Испытание на воде и на суше**

В одном из пустых классов Сеня попробовал повторить на полу все движения, перенятые из учебника плавания. На полу получалось великолепно. Если завтра на воде он повторит то же самое, все будет в порядке. Но надо было попробовать сперва самому. Все складывалось отлично, так как Сеня был в тот вечер дежурным.

Когда все в интернате на острове легли, он вышел на откос дамбы, разделся до трусов и стал припоминать все, что затвердил из учебника

по плаванию. Но как попробовать в первый раз?

Сеня уже давно выписал из того же «Домашнего секретаря-наставника», тайно взятого у Милицы Геннадиевны, один полезный практический совет по части плавания:

«Знаменитый ученый Франклин, – утверждал „Домашний секретарь-наставник“, – дает такой совет желающим научиться плавать: надо выбрать неглубокое место реки или моря, около берега, раздеться, взять в руки яйцо и, войдя в воду, отойти на некоторое расстояние от берега. Затем надо бросить на несколько шагов от себя яйцо в воду. Оно станет немедленно погружаться на дно. Теперь пусть бросивший попытается, наклонившись к воде всем туловищем, достать яйцо, опустившись на известную глубину: он тотчас убедится, что опуститься в воду передней частью не очень легко и для этого нужно усилие. И явление это ему докажет, что вода способна держать его тело, если он смело ляжет на живот, на что ему тем легче рискнуть, что он не на глубоком месте, всегда может стать на ноги».

В учебнике плавания, который Сеня знал уже наизусть, о таком способе ничего не говорилось. Но там имелось твердое указание, что учиться нужно непременно под руководством опытного инструктора или хотя бы хорошо плавающего товарища. Найти яйцо было значительно легче, чем подыскать в частном порядке опытного инструктора, тем более что Сеня не хотел бы осрамиться при ком-нибудь. Ведь в классе давно знали, что он лучший теоретик по плаванию. Яйцо же выдали накануне за завтраком. Сеня не стал его есть, спрятал. И вот сейчас прихватил яйцо с собой на дамбу под школьным окном. Ночь была светлая. Луна в три четверти стояла прямо над водохранилищем. Серебряная дорожка, легонько виляя, протянулась по водной глади.

Раздевшись, Сеня попробовал ногой воду. Она показалась ему ледяной. На мгновение его охватила нерешительность – может быть, не стоит? Не лучше ли завтра пойти вместе с Дмитрием Антоновичем? Признаться ему, что плавать еще Сене не приходилось, и сделать первый опыт при учителе!

Но Сеня тут же сбросил с себя это краткое оцепенение. Сначала медленно вошел в ледящую воду и, стиснув зубы, втянул живот, стал осторожно передвигаться, постепенно заходя все глубже и глубже.

Теперь надо было бросить яйцо, которое Сеня крепко держал в руке. Сеня слегка нагнулся и пустил яйцо по воде. Но то ли яйцо было болтуном, то ли и тут наврал «Секретарь-наставник», яйцо не тонуло. Зато, едва ступив к нему еще один шаг, ушел в воду с головой Сеня. Вопреки поручительству «Домашнего секретаря-наставника», вода не держала переднюю часть туловища. Дно ушло из-под ног мальчика. Очевидно, оно обрывалось здесь круто в глубину. Сеня потерял упор, забарахтался, кувыркнулся, напотавшись холодной, пахнущей чуточку какой-то гнилью и, как ему казалось, жирной воды. На мгновение Сене удалось всплыть на поверхность. Он, судорожно раскрыв рот, старался вдохнуть воздух. Вот тут уже проклятое яйцо и полезло ему прямо в открытый рот, так что он чуть не захватил его губами. Сеня с отвращением отогнал тыкавшееся ему в рот яйцо и почувствовал, что пальцы его ног касаются дна. Он стоял на цыпочках. Вода доходила ему лишь до подбородка, если задрать голову повыше. Достаточно было лишь немножко опуститься, стать на всю ступню, и рот уходил под воду. Тут Сеня, болтая руками, наткнулся на что-то твердое, схватил, сделал судорожное движение, чтобы выбраться на поверхность, и в свете луны увидел, что он держится за большую вешку, которую ребята когда-то поставили здесь, отмеряя наступление воды. Обеими руками уцепившись за вешку, он пытался подобраться поближе к дамбе. Но вода так и норовила перевернуть его. Ноги вело кверху, а голова и плечи то и дело уходили под воду. И вешка гнулась. Надо было звать на помощь. Ничего не поделаешь.

– Сурик! – закричал не очень громко, боясь перебудить всех, Сеня. Ему казалось, что верный друг его и во сне должен услышать зов приятеля, оказавшегося в беде. Но никто не откликнулся. Сеня начинал застывать. – Эй, Сурик! – повторил Сеня уже погромче.

И вдруг он услышал, как раскрылось окно спальни и кто-то выпрыгнул, должно быть, так как над головой Сени на берегу что-то плюхнулось на землю.

– Это кто есть? Ты чего? Алло? – услышал Сеня и сразу узнал голос Пьерки. Только этого не доставало!

– Ты зачем там? – спросил Пьер. – Вот Глеб Силыч узнает, он тебе!.. Не велели же!

– Я т... т... только т... т... так, хотел глубину пром... м... мерить, заблеял бедный Сеня, у которого уже зуб на зуб не попадал.

– Отчаянный ты! – сказал Пьер и уселся на берегу. – А вода холодная?

– Н... н... не очень чтоб-б-б, – пробубнил Сеня, уже совершенно коченея.

Вешка гнулась, стоять на цыпочках было уже невыносимо больно. Сводило пальцы на левой ноге. Но как Сене было признаться, что он не может сам выбраться из воды?

Пьер сидел почесываясь, потягиваясь. Потом посмотрел на окна школы.

– Хитерг ты! – с некоторым восхищением произнес он. – Вызвался дежурным быть, а сам – купаться. Не думал я, что ты такой отчаянный. А может быть, и мне искупаться? И до каких порг нам запрещать будут? Температурга уже вполне, а? Как, по-твоему, температурга воды?

– Нормальная, – забулькал несчастный, так как нечаянно опустил подбородок.

– А что это там плавает все около тебя?

– Яй-ц-ц-цо... – Зубы у Сени так и цокали.

– Это, навергное, утиное, – не спеша размышлял вслух Пьер. – Вряд ли здесь будет кургиное. Это утка, навергное, снесла. А ну, погони его ко мне, я тебе сргазу скажу – кургиное или утиное. Утиное, оно обычно есть немножко... он... немножко плю гран... кргупнее и чуточку пргодолговатее и скорглупка немножко шергшавая...

Неизвестно, сколько бы времени еще Пьер продолжал толковать о различии между куриными и утиными яйцами, но вдруг голова его слушателя ушла под воду и тотчас появилась с громким бульканьем. Сеня отчаянно отплевывался.

– Нырать учишься? – спросил Пьер. – Надо уши пальцами зажимать и ноздри.

– Пьер, – вдруг тихо взмолился Сеня, – я что-т-т-то никак не выйд-д-д-ду. Тут спасительная мысль пришла ему в голову, неукоснительно уходившую под воду. – У меня судорога. – Сеня слышал не раз о том, что судорога случается даже и у самых лучших пловцов и признаться в этом совсем не предосудительно.

– О-о-о, судоргога – это очень плохо. Ложись сразу на спину, – скомандовал Пьер, – и уколи себя в икру, если у тебя есть булавка.

– Я без булавки плаваю, – признался совсем уже безнадежным голосом Сеня.

– Напргасно, совершенно напргасно, – поучительно прокартавил Пьер, – в пргохладной воде лучше купаться, всегда имея при себе булавку на всякий случай. Воткнул бы в пояс тргусов. Что, она тебе плавать бы помешала? Ты, между пргочим, осторгожней, если судоргога. Тут плубоко и может дно затягивать. – Пьер шагнул к самой кромке воды. – Ох, тут скользко как! Давай на всякий случай ргуку.

Сеня изо всех сил уцепился за руку Пьерки, чуть не стащив его в воду. И тот, видно, почувствовал, что дело неладно. Он стал очень серьезным.

– Дергжись кргепко, Гргачик, – проговорил он. – Не тргусь.

Он помог Сене вскарабкаться на берег. Пьеру пришлось тащить его изо всех сил, так как Сеня совсем ослаб. Собравшись в комок, обхватив свои трясущиеся плечи ладонями, Сеня присел на корточки и тихонько попросил:

– Т-ты никому не рассказывай, ладно?

– Какой ргазговорг, – ответил Пьер.

– А то неудобно.

– Еще бы! Дежургный, – понял его Пьер.

– Спасибо тебе, – продолжал Сеня. – Я бы сам в жизни не вылез.

– Чего там спасибо. Пустяки. – Пьер помедлил и принялся обеими руками растирать задрогшую спину Сени. – На контргольной ргассчитаемся – тоже поможешь вылезти.

И они вернулись в школу, где все давно уже спали.

Мог ли он после всего этого не послать решения задачи Пьеру, а заодно уж и Ремке Штыбу во время контрольной? Он понимал, что это не очень-то хорошо. Не такое пионерское поручение давали ему. Но ведь приз надо было выиграть. Ксана, как казалось Сене, не пережила бы, если бы приз имени ее отца с первого же раза ушел в другую школу. Да и как было не помочь Пьеру, у которого, когда он опянул со своей парты на Сеню, было такое выражение, которое, должно быть, бывает у тонущего, пытающегося выкарабкаться из воды человека. Сеня не знал, какое выражение лица было у него самого в ту

ночь, но он теперь хорошо понимал, что испытывает человек в подобном положении...

Пьер получил за контрольную пятерку. А Ремка, тот даже при готовом решении не мог заработать больше тройки, – такую мазню развел в задаче. Но тройка эта все-таки была уже отметкой, при которой допускали в команду эстафеты. Теперь надо было выправить обоих бегунов по литературе. И у Пьера и у Ремки одинокие четверки и кучковавшиеся тройки перемежались двойками. С такими оценками неумолимая Ирина Николаевна не допустила бы ни того, ни другого к участию в состязании. Дело могло спасти домашнее сочинение, которое задала всему классу Елизавета Порфирьевна. «Моя любимая книга» – такова была тема. Хуже уже нельзя было придумать. Любимые книги! Легко сказать!.. Пьер читал до приезда в Сухоярку главным образом детективные романы.

Хорошенькое будет дело, если он принесет Елизавете Порфирьевне сочинение, в котором будет утверждать, что его любимая книга «Приключение кровавого Фантомаса», «Любовь на дне ада» или «Убийство в полночь». Что касается Ремки Штыба, то ему уже сама постановка вопроса казалась издевательской. Самая любимая книга? Он вообще терпеть не мог книг. Ему приходилось кое-что читать по обязанности, но любить это занятие казалось ему делом недостойным настоящего парня. Если бы хоть еще насчет кино спросили.

– Ну в конце концов, – обратился Сеня к обоим приятелям, когда уже приближался срок сдачи домашних работ, – «Молодую гвардию» в кино вы же видели?

– Ну, видел, – сказал Ремка. – Это как одна там дробь бьет, цыганочку танцует, Любка?.. А на самом деле она против фашистов действует?

– Вот, вот, это самое!

– Это можно, – сказал Ремка. – Пиши, что это моя любимая.

– Ну, а ты? – обратился Сеня к Пьеру.

– Жюль Верна можно? – спросил Пьер.

– Конечно, можно.

– Ну, тогда это пусть будет «Дети капитана Гранта», – согласился Пьер.



– Стой! Это и я тоже в кино видел, – откликнулся Штыб. – Ты лучше мне пиши про это.

– Нет уж, – сказал Сеня, – ему простительно, он недавно к нам приехал. Вот пускай и пишет про Жюля Верна. Тем более, что француз.

– Нет, писать это ты будешь, – уточнил Ремка.

– Я тебе помогу, Пьер, – попытался было вразумить товарища Сеня, – но пиши сам. А то ведь будет заметно. И потом лучше бы сразу уж про три книжки. Они ведь друг с дружкой связаны – «80 тысяч лье под водой», «Дети капитана Гранта» и «Таинственный остров».

– Я «Таинственный остров» уже немножко забыл, – сказал Пьер.

– Ну, я тебе напомню. Помнишь, как они на острове оказались и там им все время кто-то помогал, спасал их, а оказалось, это капитан Немо.

– Давай, давай про них, – милостиво согласился Пьер. – Я вообще морское люблю. Пиши.

Сначала Сеня еще пытался как-нибудь вдохновить обоих своих подопечных, чтобы они самостоятельно сделали домашнюю работу. Ничего не получилось. Пьер хотя и старался, но никак не мог связать воедино мысль о трех книжках. А Ремка Штыб нес такую околесицу, что и слушать было тошно, а не только читать это на бумаге. Чтобы не тратить попусту время и покончить с грызущими его укорами совести, Сеня постарался представить себе на минуту лицо Ксаны в том случае, если приз достанется другой школе... И как только представил себе это, то махнул на все рукой. Попросить Сурика Сеня не решался. Не следовало его путать в это сомнительное предприятие. Тут дело, что говорить, не очень-то красивое. И скрепя сердце, просидев три дня по несколько лишних часов в классе после уроков, Сеня сам написал сочинение для обоих. Велел им переписать за воскресенье. Тем более, что шестому классу разрешили с субботы до понедельника побыть на «большой земле» – дома у своих: там удобнее было незаметно переписать работу.

Сам Сеня так замучился с двумя работами для своих незадачливых подшефных, что еле успел написать собственное сочинение. Он писал про «Овода». Он видел «Овода» в кино и не раз перечитал книжку. Овод был одним из любимых его героев.

Удивительно: хромой, с виду непривлекательный, а такой благородный, храбрый и неукротимый человек!

Пьер получил за сочинение «пять», так как Елизавета Порфирьевна, учитывая, что у него встречались затруднения с русским языком, простила ему многие погрешности, которых он не избежал, переписывая слово в слово то, что ему подготовил Сеня. Ремка Штыб при переписке ухитрился сделать три грубейшие ошибки и еле-еле «натянул» тройку. А, к изумлению самой же Елизаветы Порфирьевны, Сеня, всегда писавший работы на пятерки, в этот раз должен был удовольствоваться четверкой.

– Ты спешил, Грачик, заметно спешил, – огорчилась Елизавета Порфирьевна. Ты слишком много внимания уделил внешности, физическому облику. А ведь это только лишь одна черта. Образ Овода куда полнее, чем у тебя. Прочитай еще раз.

– Я уже три раза читал, – сказал Сеня.

– Ну, значит, надо перечитать в четвертый. Приходи ко мне, мы с тобой поговорим об Оводе. Дело ведь меньше всего в том, что он хромает... – Она внезапно смешалась.

И Сеня кинулся поднимать ее палку, со стуком покотившуюся по полу.

Ксана назвала своей любимой книгой «Повесть о настоящем человеке». Мила Колоброда – книгу Ильиной о Гуле Королевой «Четвертая высота». Сурен Арзумян, неутомимый книголюб, ухитрился написать сразу про три книги: про «Тимура», про «Тома Сойера» да присоединил еще к этим двум Гаврика из «Белеет парус одинокий» Катаева. Он, конечно, получил пятерку. А Сене сейчас было не до собственных отметок. Он испытывал очень сложное чувство, когда Ксана, после того как были розданы с отметками домашние задания, подошла к нему и сказала:

– Ты, Сеня, правда друг! Спасибо тебе. Я тебе так благодарна... то есть все мы...

Ничего не сказал Сеня Грачик. Сердце у него пылало от нежной гордости, а уши горели еще жарче. Ему было и хорошо, и ужасно совестно. Что же, он сделал так, как просила Ксана. Он подтянул двоих отстающих, правдой или неправдой, но подтянул. Он вернул в команду двух лучших бегунов. Если бы только знала Ксана, как это было все достигнуто? А впрочем, что же тут такого? Вот Никифор

Колоброда, знаменитый шахтер, прославленный бригадир, он тоже помогает отстающим и, наверное, за них не раз делает проходку, чтобы не отставала вся бригада. А слава у всех у них общая. Ничего тут такого и нет, если разобраться!.. Так размышлял Сеня.

## Глава VI

### Два жезла

«На случай моей смерти настоящим заявляю всем...» Слова эти уже несколько дней не выходили из головы у Пьера. «На случай моей смерти...» Неужели дед Артем чувствует приближение конца? А он казался еще таким бравым. Грузная сила чувствовалась в каждом его движении и в том, как без всякой натуги вскидывал он, выходя на прогулку, свою тяжеловесную дубинку на весу, или двигал дома одним плечом дубовый шкаф, переставляя его на другое место. Правда, в последнее время дед стал заметно сдавать. Почти не делал обычной гимнастики по утрам, объяснял, что уже не под силу. То и дело жаловался на сердце, принимал валидол, капая на сахарок, по нескольку раз в день принимался считать пульс и с какой-то непривычной грустной внимательностью поглядывал иногда на Пьера и при этом качал, озабоченно вздыхая, головой. И все же таким прочным, несокрушимо могучим и по-особому красивым выглядел дед, когда в своей широкополой шляпе, поигрывая полуторапудовой дубинкой, шел он по улице, покручивая сивые усы, величественно кивая с высоты своего роста людям, которые его приветствовали...

А вот, оказывается, о чем он думает, когда остается один: «На случай моей смерти...»

В прошлое воскресенье, когда Пьер вместе со всеми был отпущен на «большую землю» и сидел дома за столом Артема Ивановича, переписывая набело с Сениного черновика сочинение «Моя любимая книга», ему нечаянно попала эта бумажка. Он сразу узнал почерк деда. Это тоже, должно быть, был черновик, столько в нем было помарок, зачеркнутых слов. Запись обрывалась на полуслове. Может быть, дед Артем взялся писать все заново, либо еще не дописал начатого. Но Пьера как холодом обдало от слов, крупно написанных сверху листка: «На случай моей смерти...»

«На случай моей смерти настоящим заявляю всем, что если действительно будут обнаружены разные ценные предметы, которые награбили и захоронили фашисты, как сообщали некоторые лица, и если среди этих предметов будет, как сказали те же лица, второй кубок „Могила гладиатора“, парный к тому, который у меня имеется, то прошу людей верить мне, что хотя я и сильно виноватый перед Родиной и людьми, но тут я был вполне честный, Родину не предавал, и в данном отношении все произошло без всякого умысла с моей стороны, потому и про...»

На том и обрывалось загадочное завещание.

Пьер был ошеломлен и подавлен. Значит, правду сказали тогда те двое, о которых и слышать не хотел дед. Видно, знал дед Артем, что второй кубок может оказаться спрятанным среди зарытых где-то сокровищ и с ними хоронится что-то такое, что дед скрывает в глубокой тайне и что, появившись снова на свет, может угрожать ему смертным позором... Что-то еще было написано сбоку на той бумажке. Почерк был торопливый, бесконечные помарки затрудняли чтение. Пьер так и не успел узнать, что написано сбоку, потому что явился внезапно с прогулки дед. Он увидел за своим столом Пьера. Хорошо еще, что тот догадался, едва заслышав шаги деда, положить сверху одну из книг, прикрыв ею листок. Артем Иванович сразу, беспокойно глянув на стол, как бы торопясь прибрать его, снял и книгу и ту бумажку и запер в ящик стола.

«А может быть, все-таки написать тем двоим по адресу, который они назвали», – думал Пьер. Написать, сообщить, что он готов поделиться... Нет, ничего ему не надо, все готов он отдать, только чтобы вернули тот второй кубок, чтобы деду ничего больше не угрожало ни бесславию, ни позором, который почему-то таился на дне оливеновой вазы, где-то припрятанной.

Неплохо было бы, конечно, взять и себе половину сокровищ... Нет, не себе! Пьер уже начинал привыкать, что можно думать не только о себе. Вот, например, хорошо бы поставить новый, красивый, настоящий памятник Григорию Тулубею. И, конечно, совсем не ради Ксанки. Если уж пошел об этом разговор, то Милка нравилась ему больше. Она была девчонка видная, умела и глазом повести при разговоре. А Ксана уж больно птенчик, бабушкина внучка... Можно было бы также на эти средства, если их раскопать, сделать в новой

школе, когда переедут на «большую землю», морской кабинет. И чтобы там была мастерская, где делали бы красивые модели кораблей. Тоже неплохо. А на худой конец, угостить весь класс – если уж гулять, так гулять, – всю школу мороженым по три порции на человека. Это тоже неплохо!..

Но дед запретил ему даже думать о каких-то там сокровищах, велел выкинуть раз и навсегда из головы все это. Ладно ли будет, если он сейчас тайком затеет эти поиски?

Пока же надо было приложить все усилия, чтобы хоть этот стоящий сегодня еще на столе у деда кубок не покинул Сухоярки. Кубок ныне звался уже официально: приз имени Героя Советского Союза Тулубея, учрежденный Артемом Незабудным. Он должен был оставаться в школе имени Героя. Незаметно для себя Пьер уже привык к новым товарищам, понемножку научился дорожить их уважением, и ему хотелось показать себя перед ребятами с лучшей стороны.

Праздник Воды был назначен на воскресенье. День выдался, как говорят в таких случаях, будто на заказ. Солнечный, не жаркий, повесенному пахучий. Он словно посмотрелся в зеркало разлившейся под Сухояркой воды и, прихорашиваясь, становился с каждой минутой все прекраснее. Последние облака канули за горизонт, очистив небо, которое теперь сияло всей своей голубой лазурью. Ветерок погуливал по глади водохранилища, мелодично наигрывал что-то на проводах стоявших у воды мачт электропередачи и перебирал, как клавиши, пестрые, развешанные над лодочной станцией флажки свода морских сигналов или, как объяснил хорошо осведомленный во всех морских делах Пьер, флаги расцветивания. И все дышало запахом, который еще никогда прежде не знали эти места, – запахом просторной воды, уже прогретой на солнце.

Шахтеры Сухоярки и других рудников, гости из райцентра с семьями, нарядные, веселые, возбужденные, заполнили места для зрителей, отделенные канатом, укрепленным на стойках вдоль берега, который здесь полукругом охватывал залив водохранилища. В самом центре береговой излучины была сколочена из досок трибуна.

Там собрались товарищи из Совета и партийного комитета Сухоярки и почетные гости из райцентра. Сеня разглядел за барьером трибуны и Галину Петровну Тулубей, и Богдана Анисимовича, и Никифора Колоброду, и других знатных людей поселка. Он видел там,

над толпой, красивую голову отца. Тарас Андреевич смеялся и все почему-то наклонялся и весело смотрел куда-то вниз. Когда там зрители немножко пораздвинулись, Сеня увидал, что рядом с отцом, облокотившись на перила, стоит Ирина Николаевна. И Сене тоже стало почему-то весело.

Ирина Николаевна часто заходила к Грачикам, когда Сеня жил еще на «большой земле». И Милица Геннадиевна все шипела и так грохала посудой на кухне, что один раз даже перестаралась и разбила розетку для варенья. При этом она, повернувшись к двери, ведущей из кухни в комнату, что-то бубнила насчет некоторых чересчур образованных и о себе воображающих, но без стыда так и лезущих в чужой дом... Но давно уже Сеня не видел у отца тех красных, мутных и плутающих глаз, взор которых было неловко встречать. И не примешивался больше к прекрасному запаху бензина, к дорожному ветру, витавшему вокруг отца, тот ненавистный душок, который с таким отвращением чуял Сеня сразу, когда отец, бывало, приходил навеселе.

Напрасно Милица ставила к обеду перед прибором Тараса Андреевича стопочку – отец отодвигал ее в сторону. «Зарок, – говорил он смущенно, но твердо. Извините. Слово дал». – «Это кому ж такое, интересно?» – «Кому дал – тот знает. А я помню и держу». – «Вот вам какую запятую поставили», – язвила Милица Геннадиевна. «Нет, то не запятая, а точка! – отрезал Тарас Андреевич. – А после точки большая буква ставится. Теперь у меня, Милица Геннадиевна, новая строка в жизни. С большой буквы. Это вам понять трудно». – «Где уж нам... – обижалась Милица. – Мы институтов не кончали».

Этап Сени проходил по воде как раз перед самой трибуной, вернее сказать с тыльной стороны ее, от самой лодочной станции, где хозяйничал теперь Махан, до маленького плота, зачального метра в трехстах от нее у противоположной стороны врезавшегося здесь в берег залива.

Всего этапов было десять. На первом этапе шли мальчики, потом эстафету должны были передать девочкам, от которых на новом этапе жезл переходил опять в руки бегунов. От них жезл принимали велосипедисты, потом снова бежали школьницы, сменявшиеся на следующем этапе мальчиками.

Затем эстафету брали девочки и после своего этапа передавали на воду. А после водного этапа был один этап девчачий и, наконец, заключительный этап мальчиков.

Физкультурник Дмитрий Антонович очень хитро расставил силы команды на всех десяти этапах. На первом этапе эстафету должен был нести Ремка Шибенцов, давно уже слывший одним из лучших бегунов среди пионеров школы имени Тулубея. Рассчитывали, что он сразу же уйдет от соперника на этом этапе, добьется разрыва, который позволит затем команде, расширяя и закрепляя успех, унести свой жезл далеко вперед. А для окончательного подавления противника на последнем, заключительном этапе был поставлен Пьер Кондратов. Он показал себя на тренировках способным спуртовать, то есть, если надо, совершать самоотверженно резкие броски у финиша. Правда, от школы райцентра на финальном отрезке дистанции шел лучший бегун школы соперников Алексей Загорный, который уже выступал на областных школьных состязаниях и занял там второе место.

Этапы располагались по сердцеобразной дистанции. Старт должны были принимать на берегу перед трибуной, находившейся у развилки трассы. Бегуны уходили по полукругу против часовой стрелки, вправо от трибуны. Эстафету нужно было пронести, передавая из рук в руки, по аллеям нового горсада и доставить на велосипеде к Первомайской. Затем жезлу предстояло, продолжая описывать дугу, вернуться к водохранилищу, теперь уже слева от трибуны, к лодочной станции, проследовать через залив на байдарке к двум последним этапам и снова возвратиться по берегу назад, к трибуне, войдя – уже справа от нее – в поворот к исходной точке. Черта старта была одновременно и линией финиша.

Одиннадцать часов сорок пять минут. Солнце стоит прямо над головой. Водоохранилище ослепительно синее. Зрители одеты совсем уже по-летнему – очень ранняя весна в этом году. И над пестрой толпой вьются, крутятся, егозят подхваченные ветром с водохранилища гирлянды морских флажков: клетчатых, полосатых. А ветер пахнет рекой – совсем новый для этих мест волнующий запах!

Играет оркестр. Радужные зайчики от воды скользят по зеркальным раструбам. Бухает веско барабан, словно отсчитывает минуты, оставшиеся до начала состязания.

Через четверть часа старт.

Участники обеих команд – тулубеевцы в голубых и ребята из районной школы в красных майках – выстроились перед трибуной с почетными гостями. Там же перед трибуной на столике, крытом алым сукном, стоит заветный приз – приз памяти Героя Советского Союза Григория Тулубея, учрежденный чемпионом чемпионов. До слепящего блеска начистил своего гладиатора Артем Иванович. Солнечные лучи делают полупрозрачным оливин на плите, которую могучей серебряной рукой приподнял маленький атлет, и играют в прожилках камня на чаше, поднятой восставшим из могилы.

Кому-то достанется сегодня этот приз?..

Галина Петровна с трибуны говорит несколько кратких приветственных слов и желает победы достойным – пусть победит сильнейший!

Участники эстафеты расходятся по своим этапам. В последнюю минуту, перед тем как расстаться и уйти на свои места, Ксана подходит к Сене.

– Сенечка! – шепчет она и все посматривает на кубок, сверкающий там, посреди стола. – Сенечка, я тебя так прошу, я тебя просто умоляю! Ты старайся! Сеня ничего не говорит. Он пытается локтем прикрыть то место на своей голубой майке, которое вчера, когда гладила, прожгла Ксана. Видно, задумалась и оставила на минуту горячий утюг на майке. Не о нем, не о Сене, верно, она вчера задумалась...

– Ты же сама знаешь... Я все время стараюсь. – Больше он ничего не говорит.

Поет сирена. Десять минут до старта. Все по местам! Дмитрий Антонович на своем маленьком красном мотоцикле с коляской, в которую взгромоздились – мала куча! – его питомцы, развозит их по этапам дистанции.

– Ну, – повторяет он, – ну, ребятки... – и похлопывает неловко всех по очереди. – Вы, главное, спокойнее. Техника была у нас лучше. Поверьте мне. Ступина, ты только не задерживайся при передаче. Сеня, помни! Работай ровно, ударяй коротко. И потом веди плавно. Помнишь, как я тебе говорил?

– Помню.

Пожалуй, больше всех волнуется сам учредитель кубка. Он же главный судья. Он в клетчатых чулках и спортивных брюках гольф.



Каждая штанина с хороший аэроостат. Тонкий вязаный свитер спортивного фасона с красным кантом, идущим вокруг шеи, и острым углом на груди. На голове у него смешной пестрый картуз. Он смотрит на часы, проверяет секундомер. Осматривает жезлы эстафеты и вручает их двум первым бегунам – Ремке Штыбу и низкому загорелому крепышу из районной школы.

Двенадцать. Все проверяют часы. Судья смотрит на секундомер.

Стартер поднял клетчатый флаг. Судья на старте выкинул руку с пистолетом.

Выстрел. Пошли!..

Сеня у старта своего этапа лодочной пристани видит, как Ремка, чуточку засидевшись на старте и отпустив вперед маленького прыткого противника, уже настигает его. Нет, где там тягаться с Ремкой! Сейчас обо всем забыл Сеня. Ему надо только одно, чтобы Ремка пришел первым, первым передал заветный жезл уже прыгающей от нетерпения, пританцовывающей на своем этапе Кате Ступиной. Давай, давай, Ремка! Хорошо! Молодец, Ремка! Нет, куда им, районным. Ай да Ремка, ай да Штыб!.. Сейчас Сеня гордится им, сейчас все, что есть в Сене, – все за него, за Штыба. И под возгласы зрителей, свист и хлопки Ремка, намного опередив соперника, первым передает волшебную палочку эстафеты уже как бы убегающей от него, лишь протянув к нему назад за свое плечо руку, Кате Ступиной. И Ступина идет неплохо. Конечно, не так, как Ремка, куда ей, девчонке; но все же идет хорошо. Так. Теперь палочка уже на третьем этапе. Ее принял Витя Халилеев. Все хорошо. Все идет как надо. Молодец, Витя!

Только сейчас палочка районной школы вышла на этот этап, а Витя Халилеев уже заканчивает его. На аллее нового городского парка, недавно посаженного, молодые деревца еще не сомкнули листву над дорожкой. И зрители, повернувшись теперь спиной к водохранилищу, видят, как проходят там бегуны.

И вот палочка уже вложена в руку Сурена Арзумяна. Ну-ка, Сурик, покажи себя! Если бы не та история с отцовской недостатчей, куда ушли и Сенины деньги из копилки, может быть, и Сеня сегодня мчался бы на своем собственном велосипеде. Ничего, пусть Сурик! Качай педали, не оглядывайся! Там сзади парень из районной школы тоже уже вскочил на велосипед...

Нет, никто не догонит Сурика! У него уже приняла палочку Мирра Хижина из пятого класса, лучшая бегунья. Та самая, которую Сурен всегда дразнит: «Мир хижинам, война дворцам».

Ух ты, молодец, Мирка, законно идешь! Сила! Держись, районный Дворец спорта! Ликуй, хижины Сухоярки! Палочка уже в руках у Юры Брылева. Поворот к берегу... Ну, не подводи, Юрка, что ты медлишь? Быстрее!.. Вот так. Вон уже тебя ждет Мила. Эй, не сбавляй ходу! Смотри, каким прытким оказался мальчишка из районной школы, который бежит на шестом этапе! Он сократил расстояние. Ого, как идет! Как бы не нагнал...

На ходу вложил Юра Брылев палочку в простертую к нему пухлую ладошку Милы. Быстрее, живей, Мила! Вот, вот... я жду тебя.

Сеня дрыгает на дощатом настиле лодочной пристани. Сейчас он примет у Милки жезл, бросится в стоящую уже рядом с ним байдарку, воткнет палочку в специальное гнездышко и – левой, правой, одним концом двухлопастного весла, другим – помчится по гладкой воде... Ах, Милка, какая неповоротливая! Вот толстая растяпа, неужели не может быстрее? Ух, копуша!

Махан, заведующий инвентарем пристани, уже держит за корму две байдарки, одну с красным флажком, другую с голубым, и выжидательно смотрит в сторону приближающихся соперниц.

А Сеня подпрыгивает от нетерпения, выскакивает на берег, оглядывается на байдарку, отскакивает назад. Тут надо все рассчитать, чтобы не потерять ни одной доли секунды. Ну, давай!

И вот влажная от многих рук, согретая ими, волшебная палочка с силой впечатывается ему в ладонь. Он стискивает ее как можно крепче, разом прыгает в лючок байдарки и втыкает жезл в специальное гнездо.

Махан толкает лодку в корму и кричит насмешливо вслед:

– Полный ход! Ни пуха ни пера, ни дна ни покрышки! Счастливого плавания!

– Смотри, как рубает! – говорит Никифор Колоброда стоящему возле него Богдану Анисимовичу.

– Старательный, – соглашается тот.

– Вот так Сеня Грачик! – И довольная Галина Петровна качает головой: – Ай да Сеня! – А отец-то видит? – спрашивает Никифор Коло-брода.

– Да где-нибудь тут, – отвечает Богдан Анисимович.

– Как он? – интересуется Колоброда.

– Да просто на удивление: вот уже сколько времени – ни-ни.

Артем Иванович, говорят, слово с него взял.

– Ой ли? Артем ли тут Иванович причиной?

– Кто знает...

Но Сеня тем временем, пересекая заливчик, слышит за спиной частые всплески, которые все убыстряются и раз за разом делаются громче. Это его противник-напарник, его непосредственный соперник на том же этапе, разгоняет свою байдарку. Сеня уже давно его знает. Он его видел несколько раз на тренировках. С минуту назад, когда они оба, переминаясь с ноги на ногу, подпрыгивая от нестерпимого ожидания, готовились принять эстафету, он присматривался: да, соперник на целую голову выше его и руки длиннее. Как махнет веслом – наверное, разом рванется лодка на метр вперед...

Он не слышит, что кричат ему с берега из-за каната зрители. Он знает только одно: надо как можно скорее и первому домчаться вон до того плотика у берега., где стоит легконогая, тоненькая фигурка, которую ни с кем нельзя спутать. Да, там ждет Ксана. И как ждет! Эх, если б она всегда так ждала его! Надо скорей передать ей жезл эстафеты. И он не подведет. Он не даст себя обогнать.

Что это такое, однако, происходит с байдаркой? Она словно стала тяжелее. Что-то холодное сперва сочнется, а сейчас уже хлещет на ноги Сене. Вот так история! Что за чертовщина? Байдарка течет. Она явно наполняется водой. А только вчера вечером ее проверяли они вместе с Дмитрием Антоновичем, и все было в порядке. Уж не Махан ли натворил что-нибудь?

Дмитрий Антонович подбегает к самой кромке воды, что-то кричит через рупор. Один из судей делает ему замечание: тренер не имеет права вмешиваться посреди этапа. Но на берегу уже тоже заметили, что у Сени происходит что-то странное. Лодка все глубже и глубже погружается в воду. Вот она уже чуть ли не по самую палубу в воде. А осталось каких-нибудь десять метров. И тут, на этих последних десяти метрах тот, долговязый, длиннорукий, легкими гребками двухлопастного весла посылает свою байдарку длинным рывком вперед.

Ну еще немножко!.. Семь метров... пять... Красный флажок уже за плечом. Вот уже не надо поворачивать голову, чтобы увидеть его. Вот красный флажок уже поравнялся с голубым. Гребец из районной школы делает обгон под восторженные крики ребят, приехавших с других рудников. Он обходит Сенину байдарку, которая уже почти не видна над водой. И бедная Ксана, мечущаяся у края мостика с маленькой, простертой к нему рукой, верно, вообще уже не получит палочку эстафеты, так как выронить ее – все равно на землю или в воду – это значит, по условиям состязания, окончательно проиграть... И вот уже волночки перемахивают через легкую, тонкую палубу, и уже Сеня сам по пояс в воде. Только голубой флажок еще движется над поверхностью. К Сене наперерез от берега мчится моторка.

Но он кричит:

– Не надо, не надо!.. Я сам.

И, схватив из гнезда жезл, держит вытянутую руку над водой. Каких-нибудь полтора метра остались до плотика. Но ведь недаром же он изучал так долго теорию плавания, а теперь уже неделю занимался под руководством Дмитрия Антоновича – и не так, как советовал «Домашний секретарь-наставник», а так, как следует действовать в воде на самом деле. И, выкарабкиваясь из люка ушедшей из-под него байдарки, оттолкнувшись ногами, он, взмахивая свободной рукой, дотягивается до края плотика, цепляется за него и видит прямо над собой полные смятения и благодарности глаза Ксаны и ее тоненькую руку, вырывающую у него эстафету.



Но длиннорукий уже за минуту до этого передал палочку своей партнерше. И Сеня уже видит ее стремглав уносящуюся спину в алой майке.

– Давай, давай скорей, Ксана!

Ксана мчится вдогонку за своей соперницей. Видно даже издали, как она отчаянно частит, выкладывая все свои силы. Но красная майка не приближается. Красная майка все еще впереди. Еще метр, другой – и палочка районной школы уже перешла через стартовую линию последнего этапа.

Последний этап! Приняв жезл эстафеты, бегун из районной школы рванулся по прямой к финишу, к победе, к призу!

Но вот и палочка тулубеевцев проносится над чертой, отделяющей последний этап. Она сейчас уже в руках у Пьера, который принял жезл на несколько секунд позднее. Все сейчас зависит от Пьера. Все смотрят с надеждой на Пьера.

– Давай, гони, жми, Кондратов!..

– Пи-ер – квадрат! Пи-ер – квадрат! – хором подбадривая бегуна, кричат школьники с трибуны.

Тарас Андреевич стучит кулаком по поручням, пока Ирина Николаевна, стоящая рядом, вежливо, но твердо не прижимает его руку к перилам. Он как бы даже и не замечает этого, но кулак у него разжимается. Встал во весь свой огромный рост Артем Иванович Незабудный. Стоящие сзади зрители уже не кричат ему: «Гражданин, отойдите, не видно...» Потому что все понимают: никто сейчас не будет отходить. И за Незабудным образуется в толпе пустота, целый коридор. Зрители стараются выпянуть из-за его локтей и плеч слева и справа. Да, теперь уже все стоят, никто не садится. Встали почетные гости на трибуне.

Вперед, вперед! Пьер, дорогой! Ну еще!.. Все надежды, все пожелания Сени сейчас с Пьером. Ничего не надо Сене, лишь бы Пьер добежал первым. Только это! Только пусть победит, и кубок достанется школе. И Ксана будет радоваться. Но на последнем этапе от районной школы бежит сам Загорный, Леша Загорный, опаснейший соперник. Он всегда обгонял на районных соревнованиях сухоярцев. Не догнать его Пьеру. Как рьяно, вкладывая все свои силы в бег, ни мчится вдогонку за Лешей Загорным Пьер, расстояние, отделяющее одного бегуна от другого, остается прежним. Он лишь меняется в цвете, этот треклятый, ненавистный, никак не поглощаемый отрезок. Только что он был серого цвета, когда бегуны шли по участку, посыпанному шлаком. Потом он стал зеленым, когда перебежали соперники лужок. А сейчас он оранжевый – бегуны вступили на песчаную дорожку, ведущую уже к финишу у берега. Оно меняется в цвете, это неодолимое расстояние, но не сокращается. Оно остается прежним. Оно лишь перемещается.

Но что это? Погодите! Кажется так или на самом деле?..

Расстояние между несущимся вперед Загорным и пытающимся изо всех сил настичь его Пьером вдруг стягивается, как резинка. Оно делается все меньше и меньше. И вот оно уже просто исчезло. Пьер

вплотную приблизился к бегуну в красной майке. Нет, товарищи, нет, дорогие, это правда! Они бегут уже вровень. Загорный пробует сделать рывок. Ему удастся это, и он натужно идет чуть впереди, слегка косясь через плечо на противника, продолжающего бежать вплотную за ним. Снова на несколько секунд резинка расстояния, упруго связывающая обоих бегунов, вытягивается. Но Пьер словно держится за невидимую, влекущую его вперед тугую связь с соперником, и расстояние начинает опять сокращаться, сжиматься, и Пьер уже бежит снова плечом к плечу с Загорным. А у того больше нет сил для нового рывка. Он не может оторваться, уйти вперед на решающих метрах пути. Перед ними уже трепещет в ветре белый серпантин финишной ленты. И в эту секунду, которой дано решить все, Пьер неожиданно увеличивает и без того широкий, летучий свой шаг. Еще! Ну!.. Сейчас!.. Вот! Голубая майка Пьера первой касается ленточки, рвет ее, и палочка тулубеевцев на какую-то долю секунды, на расстоянии вынесенной вперед руки опережает у самой черты финиша жезл противника.

А Пьер, не в силах остановиться, пробегает еще несколько шагов навстречу бросившимся к нему и вопящим от восторга ребятам. Развевающийся обрывок финишной ленточки, прижатой встречным воздухом к его груди, медленно опадает на землю.

## **Глава VII**

### **Все пропало**

Хотя кубок был вручен тогда же на берегу, после окончания эстафеты, тулубеевцы решили отпраздновать победу самым торжественным образом. Организовали специальный вечер в школе, в большом классе, который и раньше служил залом в дни школьных вечеров, а сейчас назывался по-корабельному «салонем». К вечеру, когда клетки подняли из-под земли на поверхность сменившихся шахтеров и уже прошел деловой день, заперли в столы и шкафы папки с бумагами в учреждениях, много лодок с представителями сухоярских организаций и гостями из районного центра пришвартовались к дамбе у школы. Прибыла из района кинопередвижка. Обещали показать картину «Отряд Трубочева действует». В «салоне» зашторили окна, механик уже налаживал свой

аппарат с высоко поднятым над дулом объектива толстым диском – аппарат, как заметил однажды кто-то, похожий на статую дискобола, переделанную в пулемет.

К восьми часам вечера зал заполнился школьниками и гостями. Ждали Незабудного, который в сопровождении представителей местного и районного отделов физкультуры должен был торжественно внести в школу кубок, завоеванный тулубеевцами. Но Артем Иванович почему-то задерживался.

Уже давно выстроилась у дамбы перед входом в школу вся команда – все десять человек, все десять завоевателей кубка – от Ремки Штыба до Пьера. Ребята стояли в строю так, как были расположены в прошлое воскресенье по этапам на трассе эстафеты. И Сеня стоял рядом с Ксаной, полный волнения, затаенной нежности и ничуть не коримый совестью. Он считал, что недаром потрудился для славы своей школы. Если еще до эстафеты что-то екало у него в душе, когда он вспоминал о домашних сочинениях, то сейчас, когда все уловки, на которые он был вынужден пуститься, принесли такой великолепный результат, ни о чем плохом уже не думалось. Однако Артема Ивановича все не было.

А задержало его вот что. Он сел к столу побриться, перед тем как отправиться в школу. Брился он по старинке не безопасной, а самой что ни на есть опасной бритвой, размашисто вода ею над плечом, наподобие смычка, безжалостно выскребая лезвием щеки до безукоризненной гладкости и вытирая снятое мыло о бумагу. И вот, нашаривая в ящике стола старую бумагу, он вдруг обнаружил там два вырванных из тетрадки листка, на которых сверху было написано одной и той же рукой крупно: «Моя любимая книга». Это не была рука Пьера. Оба листка были мелко исписаны совершенно одинаковым, но незнакомым почерком. Это были, несомненно, черновики недавней контрольной работы, написанной для Пьера и, как понял сейчас Артем Иванович, для Ремки Штыба кем-то другим, но не самими приятелями. Ясно, что кто-то из школьников постарался за Пьера и Ремку, чтобы дать им возможность участвовать в эстафете.

Артем Иванович стал вспоминать, как шушукались Пьер с Ремкой, когда приезжали «на побывку» две недели назад, вспомнил, как заходил к ним Сеня и они вместе, закрыв плотно дверь, о чем-то тихо переговаривались. Рыцарь спортивной чести, чемпион



чемпионов и прежде презиравший в делах спорта всякий, как он выражался, «фортелизм», Незабудный не мог примириться с этим. В последнее время ему особенно хотелось, чтобы все вокруг совершалось по чести и совести. Недаром же сам он, хоть и поздно, под конец жизни, как говорится, вышел на прямую. И любая нечистоплотная уловка, если он подмечал ее, обидно задевала его. Надо было немедленно выяснить, совпадает ли шпаргалка с теми работами, которые Ремка и Пьер представили как контрольные домашние задания. Настроение у старика сразу резко испортилось. Он не знал, как ему поступить, если окажется, что отметки, позволившие обоим приятелям оказаться в команде, были добыты мошенническим путем. Значит, кубок выигран нечестно. Но, с другой стороны, ему очень не хотелось огорчать ни Галину Петровну, ни Богдана Анисимовича, ни Ксанку, которая так радовалась...

Ребята, встречавшие на дамбе у школы Артема Ивановича, сразу заметили, что он чем-то расстроен. Впрочем, Незабудный сослался на плохое самочувствие. Сердце, мол, пошаливает. Его сразу хотели провести в зал, где уже все с нетерпением ждали появления знаменитого учредителя приза, но он попросил Сеню, Ремку и Пьера пройти в соседнюю комнату, которая имела дверь на эстраду. Он решил действовать напрямую.

– Твой почерк? – вдруг низко пророкотал Незабудный и подтащил к себе оторопевшего Сеню, мизинцем зацепив его за пояс.

– Это... это... почерк мой, только...

– Так, – сказал Артем Иванович. – Выясняется. Красивая картина! Ну-ка, Пьер, и ты, Ремка, сбегайте-ка к себе в дортуар, достаньте из тумбочки свои домашние работы, за которые вы, собачьи дети, отметки нахватили... А ну, кому говорю? Или, может быть, ты, – обратился он к Сене, – скажешь все начистоту и по чести, по совести.

– Так я же разве для себя это?.. – упавшим голосом начал Сеня.

– Я понимаю, что не для себя. Ты для этих вот субчиков двоих... У-у, глаза бесстыжие ваши!.. Так бы и пришиб обоих. Чего теперь делать станем?.. – Артем Иванович с устрашающей силой опустил пудовый кулак свой на темя себе. – А я-то, дурень старый, в дневнике да таблице расписывался. Радовался, что на старости лет и я могу свою фамилию поставить, где значится: «Подпись родителей». Ни на одной афише своей фамилии так не радовался. Подпись родителей – А.

Незабудный... Под чем же ты меня мое честное имя выставить заставил, а?

– Я же не для них... Честное слово! – бормотал Сеня. – Меня Ксана попросила... Ей же хотелось, чтобы кубок памяти отца у нас остался. Что же, я не могу помочь? А потом мы все равно их побили, хотя мне какой-то гад и провертел байдарку так, что я чуть не нахлебался.

Да, Незабудный хорошо знал эту историю с байдаркой. При осмотре ее после эстафеты были обнаружены с обоих бортов по две дырки, просверленные сантиметра на полтора выше ватерлинии и искусно замазанные на время хлебным мякишем, а затем покрашенные сверху мелком. Пока лодка была порожней, дырки эти находились над уровнем воды, немного выше ватерлинии. Но как только Сеня на эстафете прыгнул в лодочку и она под его тяжестью слегка осела, вода стала размывать мякиш, и постепенно лодка начала заполняться. Это был старый, подлый трюк, хорошо известный речным хулиганам. Но в Сухоярке, где вода была в новинку, никто о таких каверзах не слышал. Махан же уверял, что он не подходил к лодкам, только сторожил их, но что, мол, какие-то личности действительно, как ему ночью казалось, подплывали к пристани. Когда же он вышел, никого уже не было. Кто знает, может быть, из команды противников. За всем не усмотришь... Мало кто придавал значение объяснениям его. Махану уже давно привыкли не верить. И сейчас он не был пойман за руку. Его только понизили по должности. Он стал заместителем завхоза пристани. Ибо злой умысел был не доказан, а недосмотр оказался налицо.

Но как быть теперь? Артем Иванович грузно сидел на пюпитре парты, положив одну руку на колено и другой скребя подстриженную ежиком, по старому фасону, голову.

Пришла вызванная ребятами Ирина Николаевна.

– Вот, Ирина Николаевна, фортель какой у нас получился.

Все рассказал ей Незабудный. Подавленная, она опустила на одну из парт. Глаза ее растерянно метались по лицам молчавших ребят. И, как показалось Сене, она стала чем-то удивительно похожей на Ксану. А как выглядела сейчас Ксана, Сеня и посмотреть не решался.

Вошел Глеб Силыч. А за ним Елизавета Порфирьевна. Оба были встревожены.

– В чем дело? Почему задержка? Пришлось и им сказать.

– Ну вот, извольте радоваться!.. – начал Глеб Силыч. Он чуть было не удивился, но остался верен себе. – Я полагаю, – продолжал он уже своим ровным, размеренным, как метроном, голосом, – я полагаю, что все это хотя и весьма прискорбно и подлежит безоговорочному осуждению с нашей стороны, однако... э-эм... представляется мне делом сугубо внутришкольным. И, поскольку вопрос уже этот ныне решен, вряд ли целесообразно выносить его ца посторонний суд, вызывая тем самым нарекания на школу и бросая, следовательно, темное пятно на ее репутацию. Имя, которое до сих пор с честью носила наша школа...

– Ну, знаете!.. – не выдержала Ирина Николаевна.

И тут, кажется, Глеб Силыч удивился. Во всяком случае, ему уже не удалось скрыть, что он поражен столь резким вмешательством молоденькой учительницы-вожатой.

– Попросил бы вас, однако, – остановил он Ирину Николаевну и новел поясняюще начальственным оком в сторону ребят. – А что, – приободрился, заметив это, Ремка Штыб, – что тут такого? Спортивная хитрость. Это в футболе называется финт, обманное движение. Про это и по радио говорят, когда футбол передают. И ничего такого. – И правда! – встрепенулся Сеня. – Ирина Николаевна, ну что же тут такого? Меня попросили помочь, Я взял да и помог товарищам. Это взаимовыручка боевая. Сами кругом толкуют... лучшее, мол, от каждого всем, а от всех всякому... А чуть что сделаешь, так сразу уже разговоры!..

С молчаливым сожалением посмотрела на Сеню и на двух незадачливых его подопечных старая учительница Елизавета Порфирьевна, которая пока еще ни слова не проронила сама. Но довод Сени поколебал Незабудного. Ведь верно. Ну что тут такого было? Помог человек своей команде, поработал на товарищай. Ну, правда, сам целиком написал за них сочинение. Но уж это его честь и заслуга. А отменять из-за этого результаты соревнований – это и сраму не оберешься, да и несправедливо будет.

– Позвольте! – сказала тогда Елизавета Порфирьевна. Опираясь на толстую палку и припадая на больную ногу, она вышла вперед. –

Позвольте, друзья мои дорогие, я вам приведу один пример. Ну, возьмем хотя бы шахту. Раз уж Грачик сам заговорил о взаимной выручке в коллективе. Хорошо... отлично!.. Вот один шахтер, скажем, вырабатывает сто двадцать процентов нормы, а другие, кто поленивей, только восемьдесят. Она медленно и отчетливо произносила каждое слово, будто диктовала условия классной задачи.

– Да, только восемьдесят... Бывает ведь так.

– Бывает, – согласились ребята.

И Артем Иванович тоже кивнул головой: как не бывает, случается.

Тогда Елизавета Порфирьевна стала развивать свой пример дальше.

– Вот, скажем, наш прославленный знатный шахтер Никифор Колоброда, сам всегда с большим превышением выполняющий нормы, чтобы поддержать честь своего участка в шахте, своей бригады или, как выражается Сеня, выручить товарищей, за каждого выработал еще по двадцать процентов недостающих. Все как будто в порядке. Ну, может быть, устал только очень знатный шахтер. Но на его выработке это же не отразилось, он свое выработал. Это уже вопрос его усталости, его личного желания, его собственного благородства и дружеского участия.

– Ну и правильно! – сказал, расцветая, Сеня. – Я вот тоже так соображаю...

– Плохо ты, Грачик, соображаешь, – прервала его учительница. (И Сеня завял, не успев расцвести.) – Значит, по-твоему, все честно, а? Ты как полагаешь? Ну хорошо. А если бы те двое лодырей... (Пьер и Ремка опустили головы и покраснели.) Нет, это я в данном случае имею в виду тех лодырей из шахты, а не вас, молодые люди. Я говорю, если бы те двое лодырей работали сами в полную силу, значит, государство бы получило по сто процентов с каждого от них самих. Так ведь? А Коло-брода мог бы выработать сам дополнительные еще сорок процентов, прибавив к своим полутора. А так что же получается? Из-за его великодушия и доброты страна, государство так и не получили вот этих сорока процентов. Как ни считай, а эти сорок процентов зажулили и недодали двое лентяев... Я уж не говорю, ребята, о том, что хороший проходчик, если он честный человек, не пойдет на то, чтобы покрывать грехи двух лодырей, вместо того чтобы

заставить их поработать честно самих. Я уверена, что никогда бы Никифор Колоброта на это не пошел. Мне даже совестно, что я его имя в таком примере упомянула. А у нас в школе что получилось на этот раз? Вместо того чтобы выполнить честно – хоть это и очень трудно, я понимаю – данное ему пионерское поручение, по-настоящему заняться воспитанием товарищей, заставить их обогатиться подлинными знаниями, Сеня помог им скрыть невежество, лень, безответственность за добытыми для них и ошибочно им приписанными отметками. Это что? Это как называется, а?

Как это называется, никто сказать не хотел. Все понимали, что история вышла некрасивая, и молчали. Безмолвствовал и недовольный Глеб Силыч. Он только плечами пожал и отвернулся, как бы показав, что не желает больше вмешиваться. Бедная Ксана, побледнев, беспомощно оборачивалась то к Артему Ивановичу, то к учительнице, то к ребятам. – Да, тяжелая картина в доме у Мартына... – начал Незабудный и только крикнул, замолчав.

В зале уже топали ногами, били в ладоши, требуя начала торжества.

– Как же быть? – раздался вдруг звонкий, непривычно высокий от волнения и готовый вот-вот сорваться в рыдания голосок Ксаны. – Это, значит, вы думали так всех нас обмануть? И меня, Грачик?

– Ксана, я готов... – начал было Сеня. Но она прервала его:

– Замолчи лучше. Любишь везде говорить о чести, совести, а сам! Как тебе не стыдно только. Ведь ты нас всех... А говорил!.. Я с тобой теперь никогда в жизни больше дружить и водиться не буду! – и, чтобы скрыть слезы, повернулась к нему спиной.

– Не расстраивайся, не расстраивайся, Ксаночка, – сказала Елизавета Порфирьевна. – Сейчас мы подумаем, как быть.

– Как быть? – еле слышно проговорил Сеня. – «Не слыть, а быть». Вот как Ирина Николаевна нас, пионеров, учила. Надо все прямо сказать. Всю правду.

Ксана кинулась к Ирине Николаевне, схватила ее за руки, припала головой к плечу. Она уже не могла сдержать слезы.

– Нет... не надо!.. Ну, пожалуйста, не надо... не надо отдавать кубок! Лучше еще раз устроить эстафету. Ведь у них тоже было нечестно! Вон Грачик чуть не утонул. Я вас прошу – не надо!

Сердце Сени так и кромсали на части жалость и сознание непоправимости поступка.

– Ну тогда, – объявила Ирина Николаевна, – тогда надо сказать всем. И пусть сами ребята решают. Пусть поступят пионеры так, как им подсказывает их совесть. Идемте.

Елизавета Порфирьевна согласно закивала белой головой. И все пошли к лесенке, которая вела через дверь на эстраду. Позади тяжело ступал Артем Иванович, обхватив одной рукой заветный кубок.

Пьер попридержал чуточку Сенью:

– Слушай, Гргачик... Может быть, мне лучше самому сказать все?

– Я бы на твоём месте, Кондратов, так и сделал. – Но я не могу. Как же это я выйду... и буду смотреть им в глаза... и говорить...

– А ты закрой глаза, – посоветовал Сеня.

– Но ребята-то не закроют. И все меня видеть будут. Вот если бы можно было, чтобы в это время на меня никто не смотрел...

– Стой! А если бы на тебя никто не смотрел, ты бы сказал?

– Пароль-доннер... [8] Честное слово, сказал бы.

– Иди тогда и проси слово. Я тебе отвечаю – никто смотреть не будет. Как только попросишь слова, так я...

Он принялся что-то шептать Пьеру.

Тот, подставив ухо, испуганно косился:

– Врешь ты...

– Не имею привычки. Иди.

– А ты?

– Сам увидишь. Мне на ребят смотреть, думаешь, не совестно?

Пьер вошел в зал последним и, ни на кого не глядя, занял свое место в президиуме.

Так как все считали его героем эстафеты, решившим ее результат, когда, казалось, уже дело было проиграно, снова вспыхнули аплодисменты, которые только стихли после овации, устроенной в честь Артема Ивановича Незабудного.

Кубок был установлен на большой тумбе у края сцены, слева, у самого портала. Занавес, подобранный в красивые складки, как бы задрапировал тумбу. И все выглядело очень празднично.

– Ну, Пьерка, начинай, говори, а то поздно будет, – шепнул соседу из-за занавески Сеня. Он исчез, но через минуту появился снова,

шепча: – Ну чего же ты?.. Говори...

Но тот в ответ только головой замотал, с ужасом оглянувшись на Сеню.

В это время фотокорреспондент из районной газеты уже нацелился своим аппаратом на кубок, вскочил на стул, потеснив ребят в первом ряду. И один из мальчиков, с гордостью вызвавшись в этот день быть его помощником, подключил к штепселю тысячесвечовую лампу. Крак!.. Где-то раздался легкий щелчок, и все погрузилось в полную темноту. Должно быть, старые пробки не выдержали.

И в полной темноте, в которую погрузился зашторенный зал, раздался голос Пьера:

– Ребята, погодите! Я сейчас все скажу. Это я, Пьерг Кондргатов. Пргавда, ргебята, надо возвргатить кубок...

Зал в темноте грозно закричал, зашумел, но потом пронеслось:

– Тесс!..

– Да... надо отдать... Потому что было неспргаведли-во, неспргавильно... За меня и за Шибенцрва Ргему контргольную написал Гргачик. И по математике он ргешил нам...

Так было темно и тихо в зале, что казалось, будто все ушли из него и закрыли плотно за собой двери и живой души вокруг не осталось. И вдруг разом все закричали, затопали, загремели скамьями.

– Переиграть! – гремела тьма в зале.

– Несправедливо отдавать!

– Неправильно!

– Переиграть!..

Где-то уже загремели спичечные коробки и даже чиркнули там и здесь огоньки, чиркнули и разом погасли. Были-таки у некоторых про запас спички, но каждый боялся, что его еще, чего доброго, заподозрят в курении.

Послышался топот, скрип дверей, кто-то выбежал в темный коридор. Где-то с грохотом повалили стул, слышались голоса снаружи из коридора. Оттуда блеснул луч карманного фонарика, и вдруг все залил яркий, а после темноты нестерпимо слепящий свет. Пробки исправили.

Но пораженный зал словно онемел сначала. А потом все вдруг наполнилось тревожным, круто нарастающим гулом. Все смотрели в

левую сторону сцены. Некоторые испуганно моргали и жмурились и снова открывали глаза, словно не верили тому, что видят.

Все вглядывались в тумбочку, на которой только что стоял кубок у края сцены. Кубка там не было.

## **Глава VIII**

### **Новый след старой тайны**

Он так и исчез таинственно и бесследно, этот кубок... Осмотрели все помещения, лазили на чердак, открывали дверцы кладовок, заглядывали в топки печек-голландок, но все поиски были безуспешны: кубок пропал самым непостижимым образом. Праздник был сорван, и все оставалось огорчительным и донельзя загадочным. Недоумевали гости, руками разводили учителя и школьники-тулубеевцы. Кто-то из ребят сказал Ирине Николаевне, что слышал странный всплеск за шторами окна, к которому примыкала сцена как раз той стороной, где возле занавеса у самого края стояла тумбочка с кубком. Другие уверяли, что до них как будто донесся звук лодочных уключин за дамбой. Третьи твердили, что кто-то, когда было темно, топал по чердачной лестнице через кухню. Словом, слухи и сведения, одни противоречивее других, ходили по школе из класса в класс, из дортуара в дортуар, где в этот вечер никто не спал до поздней ночи. Но следов кубка не было.

А когда все наконец понемножку утомонились, к Ирине Николаевне, уже укладывавшейся спать в учительской, постучался семиклассник Витя Халилеев – он был лучшим электротехником в школе и первым бросился чинить пробки, когда погас свет.

– Ирина Николаевна, странное дело, пробка-то ведь не перегорела. Ее просто кто-то нарочно вывернул. А я как посветил фонарем – так и вижу...

Все запуталось еще больше.

Тогда же после исчезновения кубка, когда гости из соседней школы садились на свои лодки, тулубеевцы украдкой успели заглянуть им под скамьи, но кубка не было и в лодках соседей. Да и зачем было им пускаться на такое, когда им открывалась возможность увезти к себе кубок по всем правилам. Не мог же унести кубок обратно сам Артем Иванович. Никто, разумеется, не посмел предложить ему



раскрыть чемодан, в котором он привозил кубок. А сидел он на сцене с краю, неподалеку от тумбочки. Если бы он захотел... Но зачем человеку, который только что принес учрежденный им кубок, красть его? И на другой день не могла успокоиться, все еще бурлила школа. По всем классам и дортуарам шушукались, переговаривались. Все были подавлены, все терялись в догадках. Многие склонялись к тому, что это тот же проклятый Махан, которому крепко попало после истории с Сениной байдаркой, подплыл тихонько в темноте к дамбе, на которую выходило окно зала возле сцены, и, когда погас свет, через то же окно похитил кубок. Собирались уже сообщить в уголовный розыск и вызвать собаку-ищейку. Но вряд ли бы она смогла что-нибудь учуять: десятки рук уже касались тумбы, открывали окно, десятки ног наследили на сцене...

...Пьерка терзался. Он не находил себе покоя. Бедняга считал, и не без основания, что он главный виновник всей этой неприятной кутерьмы. Он видел, как огорчен и так сдававший с каждым днем дед: он ведь теперь утратил непонятным образом и второй кубок... Пьеру было нестерпимо стыдно, что он обманул ребят: и Ксану, и других, которые ему так сердечно и радушно доверяли. Ему так хотелось вернуть уважение товарищей и деда, который, наверное, теперь тоже в душе презирал его! Надо было предпринять что-то решительное и сделать какое-то большое, для всех важное дело. И тут Пьер снова и снова возвращался к мысли о зарытых фашистами драгоценностях, о секрете деда, который скрывался там, на дне тайника, неведомого, но, как он знал, расположенного где-то здесь, поблизости. Он решил, что напишет по тому адресу, который его заставили выучить наизусть в Париже. Напишет, и пусть они сообщат место. А он, конечно, ничего не говоря деду, разыщет эти сокровища и сделает все так, чтобы связанная с ними темная тайна больше не мучила деда. Если надо, он уничтожит эту тайну. Ладно, пусть половину берут те, которые укажут ему место тайника. Ведь об этом никто не будет знать. Зато вторую половину он отдаст школе. У него все было продумано.

Почту в школу привозил теперь на лодке старый почтарь Александр Устинович Гаврилюк. В старое время он ходил пешком. Потом получил в премию велосипед. А теперь ему выдали подвесной моторчик. И лодка его, весело тарыхтя, подлетала под окна школы. И Гаврилюк, опираясь одной рукой на рукоятку руля, кричал: «Эй,

островные, принимай почту! „Пионер“ пришел! „Пионерская правда“! „Мурзилка“ кому, по малости лет!» Кто не знал в Сухоярке Гаврилюка! Сколько похоронных, сколько повесток разнес он! Как часто приход его предвещал горькие слезы! А иной раз его тут же оставляли выпить на радостях. Ему Пьер и решил вручить для отправки заказное авиаписьмо. Вот что было написано в нем:

«Мой дорогой месье, – было написано по-французски Пьером на том листке, который был вложен в тщательно заклеенный конверт, помеченный надписью „Авиа“. – Мой больной дедушка очень страдает. Я решил вернуть ему кубок. Напишите, где это. Все будет сделано, как условились. Простите, если есть ошибки. Я теперь учусь по-русски и делаю уже, возможно, по-французски ошибки...»

В школу имени Тулубея приходило много писем из-за границы. Когда Незабудный раскрыл тайну храброго партизана Богритули и в Генуе узнали, что на кладбище Стальено похоронен Григорий Богданович Тулубей, стали приходиться письма из Италии. И ничего не было бы странного в том, что сравнительно еще недавно вернувшийся из-за границы школьник Пьер Кондратов кому-то посылает письмо в Париж.

Но, когда моторчик Гаврилюка уже тархтел под окнами школы, Пьерка вдруг, как никогда, почувствовал, что совершает, может быть, совсем скверный поступок, решившись напомнить о себе и об этом проклятом, но манящем тайнике тем двоим из мира враждебного, зловещего, отвратительного. О нем хотелось навсегда забыть после того, как все это осталось где-то позади в пространстве и времени. Позволительно ли было снова, на свой страх и риск, хотя бы вот так связаться с тем миром, впустить его опять в свою жизнь, в которой теперь властвовал строгий, но добрый и ясный порядок, много обещающий в будущем. В то же время Пьеру так хотелось, так нужно было сейчас отличиться. Он был парень слабохарактерный, но чрезвычайно честолюбивый. А ради славы порой даже слабые люди готовы идти на самые рискованные поступки.

И все же он не вручил письма почтарю Гаврилюку. Долго потом, оставшись один в дортуаре, смотрел он из окна, как медленно кружились на воде клочки разорванного письма и ветер с берега угонял их все дальше и дальше.

Между тем оставались уже последние дни жизни старого школьного дома. Через несколько дней предстояло навсегда оставить здание, обреченное на снос. Для Пьера это был новый, недавно лишь обретенный им кров. Для всех других школьное здание давно стало чем-то вроде части и продолжения родного дома. Все вспоминали теперь, как пришли сюда в первый раз, держась за подолы матерей или несвычные руки отцов. Вспоминали, что Елизавета Порфирьевна была тогда еще не очень старой и волосы у нее были рыжеватые, веселые, с золотым отливом, не то что теперь, словно скирда, засыпанная ранним снегом. И сколько разных отметин хранили давно не отремонтированные стены класса! Тут были начертаны имена, говорившие иной раз не столько о славе, сколько о чрезмерной привязанности к классу, в котором расписавшиеся проводили не один год... Здесь были кляксы и сердечки со стрелами и вензелями, и потайные записи, заменившие шпартгалки во время письменных. И следы чьей-то вражды: «На перемене будешь бит, станешь знать тогда», «Сам держись за землю, а то упадешь»...

Заметы долгой жизни хранили стены школы. У нее была своя сложная судьба.

В дни войны здесь был штаб гитлеровцев. Иногда вдруг проступали сквозь полуслезший слой клеевой краски какие-то немецкие надписи, которые сердито выскребывались ребятами. А в ином углу когтистая свастика или носатый орел выклеивались из-под облупившихся обоев.

А после того как выгнали гитлеровцев, тут размещался штаб одной из дивизий, освободившей весь район от врагов.

И вот теперь все это должно было уйти под воду или быть снесено. Вода продолжала прибывать. Правда, уже не так стремительно, как в первые дни заполнения водохранилища, но все-таки она продолжала подниматься неукоснительно. Это было заметно и во водомерным рейкам, все больше отдалявшимся от берега, и по тому, как уходила в воду дамба, которой была обнесена школа. Заливало улочку за улочкой в снесенных кварталах. И это тоже очень тревожило Пьера. Вдруг тайник скрывается где-нибудь в том районе Сухоярки, который еще будет затоплен. То, что сокровища не были зарыты в районе Собачеевки, ныне уже ушедшей глубоко на дно, было

ясно: при сносе домов, при рытье котлованов они были бы уже обнаружены. Но сейчас Пьерка старался уже не думать обо всем этом.

...Славку Махана, когда он отправился промышлять разными неблагоприятными способами возле кино «Прогресс», остановил какой-то тип в синем комбинезоне, которые обычно носят монтажники на стройке. Что-то очень недоброе, сразу напомнившее о каких-то опасных знакомствах, разглядел в нем Махан. А тип подошел сбоку, легонько толкнул Махана локтем в бок и, глядя в сторону, произнес:

– Здорово, Маханок! Сколько лет в обед, как мы с тобой не видались.

Махан настороженно молчал, разглядывая типа. Тот приблизился к Махану и, как бы подставив ему свою щеку, слегка склонившись набок, вдруг стал очень ловко двигать одним ухом. Ухо подрагивало, ходило из стороны в сторону и сверху вниз, мелко дрожало.

– Вертоухий? – подавленно ахнул Махан.

– Цыма! Тишина. Если помнишь – забудь. С тем завязано.

– Тебе еще срок не вышел? – шепотом спросил Махан, узнав уже теперь окончательно человека, с которым он не столь давно сам чуть не угодил в очень далекие места. – Что, винта, нарезал?

– Амнистия, – скромно ответил тип, отводя Махана в сторону. – Подчистую, не сомневайся. И вообще ты это оставь. С тем давно завязано. А есть новый разговор.

– Нет, это уж мимо, – сказал Махан.

– Это как понять? Гляди, я мимо не бью.

– Я давно с этим всем кончил, – попробовал возразить Махан, впрочем, не очень уж уверенно.

– Ты мне эту психику не разводи, – проговорил тот в самое ухо Махану. – Я тебя в закон брал, я тебя при-ияд, только я и. могу тебя вчистую отпустить. А стукнуть вздумаешь кому, так за тобой, знай, по двум статьям должок числится. Если все приплюсовать, годков на восемь верных набежит. Давай, если тебе молодой жизни не жалко. Сам я мараться не буду с тобой, суд решит праведный.

Махан молчал. Только глаза у него бегали по сторонам, словно искали лазейку, через которую можно удрать.

– Брось оглядываться, не убежишь. И довольно из себя девочку строить. Я тебе дело предлагаю. Имеется одна работка ударная. От тебя мне многого не потребуется. А будешь в деле. Ясно?

Они отошли в сторонку и сели в безлюдном месте на одну из скамеечек, недавно поставленных близ водохранилища. И тип в комбинезоне стал говорить Махану, что, возможно, у них тут, у местных лопухов, которые ничего не чувят, прямо под ногами лежат тысячи и тысячи – чистое золото и камешки. Тип не так давно вернулся из отдаленных мест, где его по наивности пытались перековать и исправить. Попал он туда, как известно Махану, совершенно безвинно, так как настоящим полицаем никогда не был, а так только оказывал иной раз и кое-кому некоторые услуги. Да и то не по своей охоте. Другим сошло, а он – отвечай. И обошлись с ним, конечно, уж чересчур строго. Слава богу, пришла амнистия – его отпустили. Но дело в том, что там, где его перековывали и исправляли, был один здешний, сухоярский. Вот тот уж был настоящим полицаем. И вообще немцам кум, сват и брат родной. Ему-то самому еще вольного света скоро не увидеть. И вот дружок этот, узнав, что его сосед по бараку уходит на волю, рассказал под великим секретом о тайнике, в котором скрываются несметные ценности. Даже дал на кусочке коры нацарапанный чертежик. По нему сразу можно найти тайник. Это в подвале, там имеется заслоночка. Надо только место знать. Там сверху замаскировано. Дело простое. Только самому ему, Вертоухому, опасно соваться, как бы кто не встретился из старых знакомых. Еще, чего доброго, признает. А Махану ничего не стоит. Он назвал адрес. «Там еще раньше штаб был», – напомнил Вертоухий и, прищурившись, посмотрел на Махана.

– Гей! – оживился вдруг Махан. – Так это, выходит, прямо у них в подвале под самой школой находится. Ну, вовремя ты прибыл, я тебе скажу. А то через неделю это вовсе на дне останется. Школа-то намечена на снос.

– Вот к чему и разговор. Рассиживаться-то некогда. Понятно теперь?

– Понятно.

– Хорошо, что хоть еще не вовсе понятие потерял.

Махан задумался. Как быть? В школу его категорически не пускали. Даже близко туда совать нос было опасно. Значит, надо было еще кого-то брать в долю.

– Там у меня есть двое хлопцев, – осторожно сказал Махан. – Они кое-что слышали про это дело.

– Откуда же? – насторожился Вертоухий.

– Да тут один из-за границы воротился, так у него парнишка. А ему еще там, за границей, сказали. – Махан уклонился от более подробного ответа. Ему не хотелось говорить о Пьере, обо всем, что он слышал от Ремки.

– Ты чего это накручиваешь? – усомнился Вертоухий.

– Правду я тебе говорю. Этому парню в Париже, что ли, кое-чего говорили. Только он с ними связаться трусит. А со мной, будь покоен, все будет в ажуре.

– А он не брякнет кому?

– По гроб не пикнет. Давай планчик. Тип не сразу отдал. Он смотрел в прыгавшие из стороны в сторону глаза Махана.

– Нет, – решил он, – это я тебе не отдам. Сымай сам, своей рукой.

Пока Махан перерисовывал план на папиросную коробку, Вертоухий все смотрел на него.

– Слушай, Маханок, – сказал он напоследок, – я хоть и отпущен вчистую, хоть и завязал, но в последний раз могу кое-что и вспомнить. Так что ты смотри не балуй. Ясен разговор?

– Ясно без слов. – Махан угодливо закивал и хихикнул. – Порядок будет!

Сговорились, где должны встретиться, когда будет извлечено из тайника то, что в нем хранится.

– Смотри!.. – еще раз пригрозил на прощание Вертоухий.

Они разошлись.

Тип в комбинезоне направился к станции, но за поворотом на Вокзальную улицу кто-то окликнул его.

Сумерки сгущались, и Вертоухий не сразу разглядел человека, с которым они уже было разминулись.

– Виноват, гражданин хороший! – сказал этот человек, подходя к нему. – Где это вас вроде уже будто видел? – То был Богдан Анисимович Тулубей, возвращавшийся домой с работы. – Ей-богу, лицо знакомое.

– Возможно, бывает, – неохотно согласился тип. – Всяко бывает, товарищ начальник. Личность с личностью, случается, и совпадает, а на поверку выходит совсем обратное: не тот.

– Погоди-ка, стой! Не вместе ли мы с тобой плотину ставили в одном северном местечке?

– Так точно, товарищ начальник. – Видя, что уже не отвертеться, тип развел руками и суетливо осклабился.

– Я тебе товарищем еще, помнится, не был.

– Извиняюсь, гражданин начальник... Вот теперь снова уравнились, так сказать. Вы, что же это, слышать, были реабилитированный? Ну, а я амнистированный. Сказать можно, у нас с вами свобода, равенство и братство. Обоим пофартило: кто правый, кто виноватый – два сапога пара, только ноги врозь идут. Одна назад, другая вперед. Вы, видать по всему, далеко вперед ушли. Реглан на вас. Замечаю, что комсостав выше среднего. Ну, я, видно, вам уже не компания. Пока!

– Компанией, положим, ты мне никогда и не был, – сказал Богдан Анисимович, а сейчас не торопись. Потолкуем.

– А мне торопиться некуда. У меня срок вышел.

– Ты что же сюда заявился? Работать станешь или за старое возьмешься?

– Никак нет, гражданин начальник, назад уже поворота быть не может. Верьте слову, завязано.

– Так, – в напряженной задумчивости проговорил Богдан Анисимович, брезгливо оглядывая человека в комбинезоне. – Ну, а тут что бродишь? Так околачиваешься или уже на строительстве работаешь?

– Да нет, так. Прибыл тут по одному частному делу. Чисто личный вопрос, гражданин начальник. Разрешите папирочку?.. Весьма благодарен. Богдан Анисимович, не сводя с него глаз, думая о чем-то далеком и давнем, раскрыл перед ним коробку. Вертоухий взял из нее две папиросы. Одну засунул в рот, а другую за ухо. Подумав, он деловито вытащил из коробки третью, положил ее про запас в нагрудный карман комбинезона.

Богдан Анисимович все старался что-то вспомнить... Чтобы как-нибудь задержать время, он сказал:

– Ну, раз встретились, зайдём куда-нибудь, выпьем по кружечке, поговорим. Может, я тебе устроиться помогу, на работу встать.

– Нет, куда мне с вами. Текущий момент не подходит. – Тип подозрительно попятился. – Вы партийный, идейный, а я «судейный». Вход был общий, выход – в разные стороны. И давайте для порядка: я вас не встрепул, вы меня не видели. Так вернее.

– А с кем это ты там таскался, на берегу?

– Да малый один... ветрел меня, признал, обрадовался. То да се. А я и фамилии его не знаю, кто такой. Встречались когда-то. Где, не помню. Дружбы не было, знакомство имелось. Куда ему, сосунку... Ну, я побежал, а то рабочий поезд уходит. Опоздаю.

– Стой. Не беги! – почти шепотом сказал Богдан Анисимович. Но было в этом тихом голосе что-то, заставившее Вертоухого замереть на месте. – Стой, пес? Я когда вернулся вчистую, то мне много известно стало. Когда с меня пятно смывали, так кое-что узнал я.

– О чем разговор, не мыслю, гражданин начальник.

– Сейчас размыслишь. Забыл Скрыдло Василя, полицаю?

– А что покойников шевелить?

– Он-то покойник, да ты еще живой ходишь, гад. Это вы с ним меня тогда оговорили. Счеты сводили за наши партизанские дела, за все, чего мы вам натворить не дали при оккупации. Тогда не разобрались. А после ясно-стало.

– Я лично, гражданин начальник, по уголовной статье проходил – на складе засыпался по хозяйственной линии. Вы мне зря не пришивайте.

– Врешь, не уйти тебе от меня! Теперь по другой статье проходить будешь...

Что-то тяжелое, на мир слепящими искрами пронизав сумрак вечера, ударило меж бровей Богдана Анисимовича.

Мгновенно залившись кровью, он упал.

– По-видимому, удар кастетом! – сказал доктор Арзумян, которого срочно вызвали в больницу, куда минут через десять доставили Богдана Анисимовича Тулубея.

## **Глава IX**

### **В ту ненастную ночь**

На другой день во время большой перемены Пьер увидел из окна класса, что неподалеку от дамбы курсирует на лодке Махан. Он несколько раз оплывал остров, гребя осторожно, как бы макая весла в воду без единого всплеска, с той умильной деликатностью, с какой Милица Геннадиевна обычно мешала ложечкой чай. Завидя в окне



Пьера, он подплыл поближе, привстал в лодке, перебравшись к носу, и негромко окликнул:

– Эй, бонжур, дорогой, позови-ка сюда дружка твоего... Ну этого, Штыба, я говорю. Дело есть. Вскоре на дамбе появился Штыб.

– Пока вы тут рыбачите, я тоже не ишачу, – сказал Махан. – А ну ходи сюда поближе. Только без шухера, без лишнего шума. Песня без слов, музыка моя, исполнение твое. Тихо...

После конца уроков Ремка Штыб и Пьер сошлись в одном из уголков школьного коридора неподалеку от библиотеки.

– Может быть, он все врет? – спросил Пьер.

– Навряд ли, – сказал Штыб. – Что ему за выгода? Во всяком разе, попробуем. И так повезло.

– Лучше надо сказать, по-моему, – заикнулся Пьер. – Сказать кому-нибудь, чтобы вместе потом...

– Вместе? Хо! Тогда все придется вместе. И делиться вместе. Ну, беги говори, если хочешь. А я считаю, что сегодня мы с тобой на пару, вдвоем, без посторонних спустимся в подвал... Вот тут все начерчено, куда и как. Это очень верный человек Махану сказал. Понятно? А когда уже все добудем, тогда и явимся, доложимся кому надо. Дурак ты! Тут можно кое-что и для себя прихоронить на черный день, да еще в газете портрет напечатают. Помнишь, как в журнале было написано про Толину пушку? Как мальчишка тот клад нашел в Одессе, который фашисты припрятали, и отдал его в исполком. Все про него узнали... А то нас с тобой тюкают, тюкают. А тут сразу известными людьми станем. Только погоди, кто сегодня дежурный?

– Грачик Сеня.

– Вот это не очень подходяще... Ну, ты с ним сейчас вроде как дружок-корешок стал. В случае чего, если услышит ночью, так ты выйдешь один, заговоришь его, а я тем временем все сработаю...

К вечеру внезапно похолодало. И степь, теперь как бы отодвинутая просторами водохранилища, снова решила напомнить о себе. Песчаный ураган перемахнул через водное пространство и обрушился на Сухоярку. У людей снова заскрипело на зубах, как когда-то в сухие и знойные дни степного лета. У пазов в окнах намело угольной пыли и песку; запорошило скатерти в домах.

Потом потемневшее небо передернуло словно гневной гримасой, и вскоре дочерна сгустившаяся тьма загремела и засверкала. В

коротких промежутках между слепящими зелеными полыханиями все проваливалось куда-то с грохотом в черные тартарары. Первая летняя гроза с таким ливнем, будто все водохранилище хлынуло на берег, разыгралась над Сухояркой. И первая буря пришла на водохранилище, до сих пор такое спокойное, и разгулялась до того, что волны стали перехлестывать уже через школьную дамбу, осевшую теперь глубоко в воде.

Ветер сотрясал стекла в окнах школы, топтал по железной крыше. Все тонуло в грохотаний и темени бури. Казалось, что содрогается почва островка. И страшен был наседавший на окна, то разрываемый в клочья, то кувалдой бивший в кровлю зловещий простор. Он отпрядывал до самого горизонта и вновь всей своей непроглядной и гулкой тьмой припадал к окнам.

Упал подмытый волнами и опрокинутый бурей столб на дамбе. Оборвались провода. В школе погас электрический свет. Онемел телефон. Как ни крутил его ручку дежурный Сеня Грачик – «большая земля» не отзывалась. И без того поздно легшие в этот день ребята так и не могли заснуть. Да и страшновато было, что говорить, в ту ночь на островке. Все казалось зыбким, ненадежным. Никто раньше и не думал, что вода, окружающая школу, может проявить неожиданно свой столь крутой и строптивый нрав. Директор Глеб Силыч не вернулся с учительской конференции в районе. Елизавету Порфирьевну начавшаяся гроза застала на берегу. Она была по делам в исполкоме. Хотя дождь уже шумел на улицах Сухоярки и тяжело погромыхивал горизонт за водохранилищем, учительница заставила старого лодочника немедленно перевезти ее на островок. Она промокла до нитки, но явилась, опираясь на свою клюку, припадая на большую ногу в огромном ортопедическом ботинке. Она появилась на школьной лестнице, как капитан появляется на трапе в самый решающий для корабля момент. И все сразу повеселели, когда увидели Елизавету Порфирьевну, хотя выглядела она совсем не по-капитански.

Седые мокрые волосы прилипли к вискам и щекам. Вымокшее платье обжимало колени. Но с мокрого лица, по которому стекали с головы ручьи, смотрели на всех веселые, взбадривающие глаза старой учительницы, повидавшей виды.

Она прошла в учительскую, оставляя в коридоре мокрые следы. Вожатая Ирина Николаевна промчалась туда через минуту с горячим

чайником.

Когда все наконец улеглись, дежурный Сеня Грачик обошел дортуары мальчиков. Как будто бы все спали. Ему показалось только, что, когда он вошел, Пьер юркнул под одеяло, а лежавший на соседней койке Ремка Штыб быстро повернулся к стене. – Чего шебуршитесь? – шепотом, на всякий случай, спросил Сеня. – Спать надо. Давно пора. Не добудишься вас утром. Сегодня и так не были на зарядке.

Оба приятеля даже не ворохнулись.

Сеня бродил по тихим коридорам. Дождь еще бил в стекла, гремела железная крыша под напором ветра. Гроза уже уходила, но молнии еще перемигивались и гром ворочался где-то в отдалении, как бы задремывая. Только стекла легонько и зудяще отзывались на почтя уже неслышное его рокотание. Сене послышалось, что хлопнула выходная дверь. Он сбегал вниз по лестнице, освещая ступени фонариком. Отдаленный рокот грозы, громыхание оторванного листа кровли, шум дождя заглушали его быстрые шаги. Он мигом скатился вниз, выплянул на улицу. Никого не было. Быстро вернулся, схватил старую газету, валявшуюся под лестницей, накрылся ею и снова выскочил наружу. Дождь четко забарабанил по газете. Фонарик тускло высветил маленькую остроголовую фигурку, полускрытую косо сверкавшими в его луче тяжелыми струями ливня. Кто-то, перегнувшись через край дамбы, куда выходило одно из школьных окон, водил руками по воде. Сеня подошел поближе, нажал снова на кнопку фонаря и сквозь мелькание крупных капель разглядел тоненькую фигуру. Капюшон плаща, нахлобученный на голову, мешал разглядеть лицо. Сеня тихонько окликнул и направил на фигуру в упор свой фонарь... Он тотчас выключил свет, так поразило его то, что он увидел. Перед ним была Ксана. В руке она сжимала длинную кочергу, которой зимой ворочали уголь в школьных печах.

– Ксана! Это ты что?.. Ты чего делаешь?

Она выронила вдруг кочергу, которая скатилась вниз по откосу дамбы, и обеими руками закрыла лицо. Сеня посветил еще раз на нее и не понял, что это струи дождя или слезы так безудержно бегут между прижатыми к лицу пальцами Ксаны.

– Да потуши ты! – прошептала она, отворачиваясь. – Ну что ты высветился? Оставь меня...

Сеня послушно выключил фонарик. Они стояли в полной темноте. Дождь лил на них. Изредка отблески уходящей грозы освещали худенькую фигурку в Капюшоне. Газета размокла и расплзлась на голове у Сени.

– Что ты тут делаешь? – спросил он еще раз шепотом.

– Я сегодня дежурная у девочек.

– А чего ты там искала?

– Сеня! – Она прижала обе руки к своей груди. – Ты можешь дать слово? Дай самое честное ленинское, пионерское.

– Честное ленинское, пионерское, – быстро и послушно проговорил Сеня. Нет, ты пойми меня, Сеня. Только ты не сердись. Я знаю... это очень плохо.

– Да про что ты?

– Я знаю... Это просто ужасно. Я ведь не думала... Я ведь только хотела пока спрятать.

Сеня никак не мог сообразить, о чем шла речь. Темнота делала намеки Ксаны еще более загадочными.

– Сеня, ты только пойми... Я просто не могла... Ведь это же было бы не по справедливости. А вы меня тогда не хотели слушать... Я думала отдать потом Артему Ивановичу и чтобы снова назначили соревнования. Только я тогда торопилась очень, пока темно было... когда свет потух... Вот и уронила через окно, за дамбу. Там было совсем неглубоко. А за день вода прибавилась, и я никак не могла после достать. А она все прибывает и прибывает. Я просто не знаю, что делать. Я уже вчера ночью пробовала, так и не достала... Ты, наверное, меня очень презираешь? Да, Сеня?

Только сейчас Сеня понял, что речь шла о пропавшем кубке. Пораженный, он не сразу сумел спросить:

– Как же ты это могла, Ксана? А?.. Зачем же ты это сделала? Ведь ты же...

Она, полуотвернувшись, плакала. Дождь колотил по капюшону, и слезы на ее лице мешались с дождем. Она вся содрогалась от плача.

– Я сама не знаю. Я же не хотела... Я только не могла, чтобы в первый же раз... и папин кубок им... А ты же меня сам обманул. И этот ваш противный Пьерка. Я его с той минуты просто ненавижу...

И тогда он почувствовал себя очень сильным, очень взрослым, способным на любой подвиг. И он сказал нарочно с некоторой

грубостью:

– Ладно тебе реветь! Покажи лучше, где ты его упустила. Тут? Да, тут глубина порядочная. – Сеня вспомнил, как в этом же месте его вытаскивал из воды Пьер. – Тут вполне даже с головкой будет. Держи меня за гимнастерку. Только крепко держи.

– Что ты?! – испугалась Ксана.

– Держи, говорю. Можешь держать, если просят? Где тут твоя кочережка?

Сеня нагнулся, разыскал среди камней кочергу, стал осторожно спускаться к воде. – Держи как следует. Удержишь?

– Удержу, удержу... – прошептала Ксана.

Сеня, погрузив руку с кочергой в воду, стал водить по дну. Сначала ничего не попадалось. Кочерга сразу сделалась очень холодной. От нее озноб пошел по всему телу. Потом что-то слабо звякнуло. Сеня ощутил неподатливую тяжесть на конце кочерги, корябавшей дно. Он стал осторожно вести кочергой то, что зацепил, по откосу дамбы, наполовину скрытому водой... И вот при первом же отблеске молнии, от которого опять нехотя, с промедлением дрогнуло небо над водохранилищем, он увидел выползающую из воды чашу. Блеснула под ней серебряная фигурка гладиатора.

Через несколько минут Сеня уже держал в руках драгоценный приз. Осторожно водя пальцем, он счищал с него тину.

– Ничего, Ксана, – успокаивал он девочку. – Он только в песке да в дряни какой-то со дна. А так ему ведь ничего не сделается. Он же не ржавеет.

– Мы его сейчас перепрячем, – прошептала Ксана, когда они оба, укрываясь от дождя, вбежали в подъезд.

– Ксана, может, не надо прятать больше? Она молчала.

– Ксана, – сказал он, – надо вернуть. Ну хочешь: засунем его сейчас в подвал, а утром я его, как дежурный, будто бы найду и никому не скажу, что это ты?

– Сеня, это опять врать, значит... Не хочу я больше так! А так сразу тоже не могу...

– Ну, хочешь... – предложил он, уже окончательно обуреваемый восторгом, который породили эта необыкновенная ночь с громом, молнией, бурей, ливнем, удивительной находкой, и то, что они были сейчас вдвоем, только вдвоем и снова говорили, как когда-то.

Ведь после того как обнаружилось надувательство с письменными, Ксана его за эти дни и взглядом даже не удостоила. Как ни мучился Сеня, но не мог же он заговорить с ней сам первый.

– Хочешь, я скажу, – продолжал Сеня, – хочешь, скажу, что это все я?..

– Нет, Сеня, нет, хватит уже обманывать... Я ведь все равно хотела его достать и сама отдать. Ведь мы последние дни тут. А потом все будут сносить. Я хотела, чтобы Артем Иванович приехал. Думала, ему. А он все не едет... Ты мне так помог, Сеня, спасибо тебе! Я ведь знаю, это тогда ты с письменными тоже из-за меня... Сеня молчал. Необыкновенное, никогда еще не испытанное волнение словно схватило его за горло и не отпускало. Он стоял, прижимая к себе мокрый, заляпанный илом, опутанный какими-то осклизлыми травами кубок. С кубка капало. Капало с самого Сени. Он молчал, опустив голову.

– Теперь, я знаю, – прошептала Ксана, – ты теперь ко мне будешь плохо относиться.

Какая-то заблудшая молния, догоняя уже миновавшую грозу, метнулась в вышине, и небо ласково проворковало. И Сеня успел заметить, с какой неистойвой тревогой смотрят на него глаза Ксаны. Но и сейчас, когда стало опять совсем темно, он знал, что она смотрит на него. У других людей все было внутри – и радость, и боль, и печаль. А у Ксаны все было открыто. Она сама была вся и печалью, и радостью, и лаской – это всегда ужасало Сеню своей открытой незащищенностью. Ему казалось, что всякая пустяковая обида бьет Ксану по самому больному, по самому живому.

– Зачем ты так говоришь? – тихо сказал Сеня. – г Я же к тебе всегда знаешь как относился!

– И я к тебе...

– Нет, ты теперь не так относишься, как относилась. А вот к Пьерке ты...

– Да ну его, я к нему только раньше так относилась. Теперь уже я вовсе не так отношусь.

– А теперь ты как будешь ко мне относиться?..

И долго еще под старой школьной лестницей слышалось в темноте сквозь шум ветра и ливня: «Отношусь... Относилась... Буду

относиться... Он относится... Мы будем относиться...» Словно кто-то спрягал на уроке грамматики глагол.

Потом они оба задумались, где же все-таки до утра спрятать кубок. Нельзя же было его бросить здесь, под лестницей. И не тащить же его в спальню, чтобы перебулгачить всю школу. Они решили спуститься в подвал, заброшенный, полузакрытый, куда уже давно никто не ходил, и пока оставить там до утра кубок. Было очень темно, а фонарик у Сени совсем уже иссякал. И в темноте сам он ушибся, нарядно стукнувшись лбом о кирпичный косяк. А Ксана где-то расцарапала руку. Но она даже не вскрикнула, а он только вытер тихонько в темноте кровь со лба и слизал потом ее с руки. Кто это выдумал, что так уж больно, если тыпнешься лбом о кирпич? Кто сказал, что в темноте страшно? И кто это вообще считает, будто ночью надо всем обязательно спать? Все это выдумали те, кто никогда не слышал, как им говорят: «Мы будем теперь всегда дружить с тобой. Ты мне плавнее всего на свете. Я к тебе знаешь как отношусь»...

Они задвинули кубок в самый дальний угол подвала, в небольшую кирпичную нишу, которую нащупал слабеющий луч фонарика. Потом Сеня помог Ксане подняться по трухлявым скользким ступеням лесенки, проводил ее в коридор второго этажа, куда выходил дортуар девочек. Ох, в каком он дивном настроении был сейчас! Только теперь он почувствовал, что надо все-таки пойти переодеться. Он весь вымок на дожде. Рубашка под гимнастеркой прилипла к телу, и за шиворот с мокрой головы стекали ледяные струйки. Но когда Сеня, простившись с Ксаной, спустился вниз и оказался уже в своем коридоре, он услышал, как остороженько, еле различимо скрипнула дверь их дортуара.

Потом донесся шепот в коридоре. Сеня хотел зажечь фонарик, но что-то остановило его. Он замер, прислушиваясь.

– Лопату взял? – спросил кто-то в темноте. – А спички прихватил? Не забыл?

Сеня разом узнал приглушенный голос Ремки Штыба.

– Слушай, Ргемка, – донеслось еще тише из темноты, – а может быть, лучше оставить это дело?

– Я тебе дам «оставить»!

– А если все-таки лучше сказать завтрага Иргине Николаевне? И уж как она ргешит...

– Не хочешь, не надо. Иди ложись в свою кроватку, мокрица заграничная. Перепугался! Тебе такой случаи выходит. В газете напечатают, дурак. Ты скажи лучше – спички есть? Давай сюда фонарь. Видишь, у меня все припасено. Сеня напряженно вслушивался. Он никак не мог понять, о чем ведут разговор приятели. Потом, неслышно ступая, не зажигая фонарика, он пошел за Пьером и Ремкой, осторожно шагавшими к лестнице.

## **Глава X**

### **Человек с кубком**

Часа за два до этого Незабудный навестил Богдана Анисимовича. Тот лежал уже дома с забинтованным лбом. Ранение оказалось неопасным, только удар оглушил. Больше поразило Незабудного лицо Галины Петровны, сразу постаревшей на много лет, с резко проступившими морщинами, с беспокойными желвачками у как бы затвердевшего подбородка.

«Крепко она его любит», – не без зависти подумал Незабудный. Он чувствовал, что Тулубеям сейчас не до него. Пожелал Богдану Анисимовичу скорее поправиться, узнал, что в районе напали на след человека, нанесшего удар Тулубею, попрощался с Галиной Петровной и пошел к себе.

Было уже очень поздно, да и погода стояла не для гостей. Поэтому Артем Иванович удивился, когда дежурный по общежитию, отдавая ему ключ от комнаты, сказал, что кто-то его дожидается. И действительно, в коридоре со стула под фикусом у окна встал навстречу Артему Ивановичу какой-то незнакомый человек со шляпой и небольшим чемоданом в руках.

– Товарищ Незабудный? – спросил пришелец и тут же сам себе ответил: Впрочем, сомневаться не приходится и без паспорта. Добрый вечер. Разрешите? Я к вам. Извините за позднее время... Если интересуетесь документами, пожалуйста. – Он полез рукой за отворот пиджака – вынул красную книжечку. – Я из Советского Комитета ветеранов войны.

Это был очень худой, смуглый, гладко выбритый, уже немолодой человек со сдержанным и внимательным взглядом из-под толстых



очков. Артем Иванович пригласил его пройти в свою комнату, указав на кресло у стола. Сердце у него тревожно заныло.

– Разрешите поблагодарить вас за доверие, Артем Иванович, – сказал незнакомец. – Спасибо, что вовремя поделились с кем надо.

Незабудный настороженно смотрел на него, ничего не понимая.

– Хорошо, говорю, что тогда адресок органам сообщили. Пригодился. Словом... что тут долго тянуть. – Гость поправил очки и взглянул в упор на Артема. – Привет вам от господина... уж не знаю, как его называть, – пан, или месье, или герр... Ну, словом, от известного вам Зубяго-Зубецкого. Хотя лучше бы сказать про него: подлюги-подлецкого. Вот эта посудинка вам знакома? вдруг весело спросил он, нагнулся, ловким движением раскрыл свой чемоданчик и обеими руками поставил на стол перед замершим Артемом Ивановичем кубок с гладиатором и оливиновой чашей.

– Нашли? – спросил обрадованно Незабудный, решив было, что незнакомец разыскал пропавший из школы кубок.

Но тут же увидел, что и меч, и плита со щитом над углублением, изображавшим могилу, и рука, вздымающая чашу, – все на этом кубке повернуто не так, как на кубке, подаренном школе, а в обратную сторону. И Незабудный с ужасом понял: перед ним та самая ваза, с которой ему пришлось когда-то столь постыдно, хотя и невольно, расстаться. Его охватило душное смятение. Становилось трудно дышать. Колющая боль скользнула из левой стороны груди через плечо в руку. Рука как бы онемела, а потом заныла противно. Он смотрел на пришельца. Откуда у него этот кубок, который пришлось отдать в ненавистные руки чуть ли не двенадцать лет назад? Чаша его срама. Сейчас придется испить ее до дна...

– Ну, принимайте напарницу, – продолжал гость, показывая на принесенный им кубок. – У вас, я слышал, один пропал в школе при таинственных обстоятельствах? Отыщется, будьте покойны. Это все, надо полагать, ребячьи номера. Ну, а пока найдется, может быть, вот это подойдет. А? Как по-вашему? Незабудный молчал, с трудом и шумно переводя дыхание, слепо шаря рукой по левой стороне груди.

– Да вы напрасно волнуетесь, Артем Иванович. Совершенно зря тревожитесь, успокоил гость. – Чего вы себя терзаете? Абсолютно ни к чему. Мы же ни в чем дурном вас никогда и не подозревали. Жизнь

ваша нам хорошо, доподлинно и во всех подробностях известна. Человек вы знаменитый, писано о вас и переписано.

– Врали много, – выдохнул Незабудный.

– Да, верно, кое-что и прифантазировали. Это мы тоже знаем. Тем более, что я сам большой любитель, можно сказать – ваш болельщик. Я еще и Поддубного на ковре застал, правда уже видел глубоким стариком... И захват ваш с суплеса когда-то отработывал. Так ведь и называется: захват Незабудного... Ну, сейчас не о том речь. Извините, что в такой поздний час побеспокоил, но дело совершенно неотложное. И так мы уже с этим вопросом несколько задержались.

– Товарищ, – хрипло сказал Артем Иванович, – верьте слову, чести моей верьте!.. Ведь это же тогда как вы-шло!.. Вы, конечно, не поверите, но ведь это как получилось...

– Артем Иванович, я же сказал, что нам все известно. Мы давно все детали установили. Хотите, я вам сам вкратце изложу. Только давайте поспешим, а то время не ждет. Ну, если я в чем-нибудь ошибусь, вы меня уж извините и поправьте.

И гость рассказал, иногда с немного вопрошающей хитровой усмешкой взглядываясь в лицо смущенного Артема, как все это произошло двенадцать лет назад с памятным кубком «Могила гладиатора».

В те дни Артем Незабудный оказался застигнутым военными событиями в одном из районов Северной Италии, маленьком городке виноградарей и рабочих газовой промышленности – Альфонсинэ, в нескольких десятках километров от Болоньи.

Гитлеровцы, оккупировавшие район, который был одним из самых неукротимых очагов итальянского Сопротивления, устроили в болонском цирке чемпионат французской борьбы. Спортивным страстям надлежало несколько приглушить иные, более грозные чувства, бушевавшие в округе. Так искусственными взрывами сбивают и гасят пламя газового пожара...

На арене цирка подвизался один из германских борцов, Зеп Гегенхаммер. Переезжая из города в город, он бросал одного за другим своих противников на обе лопатки. Но о нем ходила не только спортивная, а кое-какая и другая недобрая слава. Передавали, что он связан с гестапо, с отрядами карателей и сам в часы досуга ведет с

пристрастием допросы арестованных, не стесняясь пускать в ход свою чудовищную силу.

Каждый раз перед его выходом на манеж арбитр говорил, что Зеп Гегенхаммер – непобедимый чемпион, положивший на обе лопатки всех знаменитых борцов мира, в том числе и русского колосса, Человека-Гору, Артема Незабудного. В один из последних дней чемпионата хвастливый фашист вызвал любого желающего из публики побороться с ним на крупный денежный приз. Незабудный, давно уже к тому времени оставивший манеж и прозябавший в неизвестности, кое-как перебиваясь уроками гимнастики и борьбы в одном из пригородов Альфонсинэ, услышал, что наглый гитлеровский чемпион хвастается, будто бы он в свое время уложил на обе лопатки Артема Незабудного. Не за себя, за славу русских борцов обиделся Артем. Не смел фашист облыжно унижать русскую силу. Он решил теперь отправиться в Болонью и проучить фашиста.

– Зря вы это напридумали себе, синьор Незабудный, – говорил тогда ему Пеппино Рутти, старый массажист. – Чего вы не видели в Болонье?

– Тебя забыл спросить.

– Нет, правда, зря вы это делаете, не советовал бы.

– Тебе за советы не платят. Ты знай свое дело. Мни крепче. Понимая бы ты по-нашему, по-русски, я бы тебе так сказал: мни, да о себе не мни. Да не поймешь ты.

– Нет, я просто говорю свое мнение, синьор Артем.

– А к чертям со своим мнением ты не хочешь пойти?

– Чертям на мнение честного человека наплевать. На то уж они и черти, синьор. Но, прошу прощения, я бы на вашем месте...

– На моем месте ты бы уже выгнал того, кто пристаёт со своими советами.

– Нет, я просто не хочу, чтобы вас схватили.. – Вот что они схватят! – И Незабудный сложил из своих толстых пальцев и сунул под нос старому массажисту фигу, по форме и объёму смахивавшую на большую носатую карнавальную маску. Конечно, силы прежней у Артема Ивановича уже тогда не было. Дело выглядело рискованным. Да и сердце пошаливало, чего доброго, могло и сдать. Но былая богатырская удаль и прежнее неукротимое озорство, с которыми и сам он не мог часто справиться, вдруг пробудились снова в Незабудном и

взяли свое. Он уже накануне побывал в Болонье, сходил в цирк, чтобы присмотреться к немецкому борцу, определить примерно на свой опытный глаз возможности противника, оценить его силы, подметить слабости.

И в воскресенье, когда Зеп Гегенхаммер назначил вечер «открытого ковра», то есть предложил бороться с ним любому желающему из публики, он неожиданно встал на галерке, где сидел в уголке, подняв воротник пальто, встал во весь свой гигантский рост, уперся затылком в потолочину купола. Снял шляпу, размотал шарф и опустил воротник пальто. И все увидели черную маску, закрывавшую его лицо и голову от шеи до макушки.

Цирк загудел, все стали подниматься, оборачиваясь, поглядывая наверх.

Но, когда он спустился по проходу амфитеатра и вышел на манеж, исполин в черной маске, зрители решили, что это очередной трюк, столь обычный для профессиональных чемпионатов. Видно, содержателю турнира надо было еще продлить чемпионат и чем-то привлечь публику.

Ну что же, спектакль так спектакль!.. Все лукаво перемигивались. Арбитр-австриец вышел на середину манежа навстречу Незабудному и предложил назвать себя, сообщить свое имя хотя бы жюри, гарантируя ему тайну, если только инкогнито маски не будет раскрыто Гегенхаммером, когда он положит неизвестного борца на обе лопатки и побежденный по правилам должен будет назвать себя публике.

– Смотрите, смотрите, как он здорово играет свою роль, ловкач! – говорили в публике.

– Оба они ловкачи, знаем мы эти номера.

Незабудный категорически отказался сообщить свою фамилию членам жюри и арбитру. В противном случае он не желал бороться. И, хорошо зная цирковую публику, он, решительно повернувшись, зашагал с манежа.

Но тут уж зрители, чувствуя, что дело идет всерьез, закричали, затопали, поддерживая его и требуя, чтобы жюри разрешило неизвестному борцу в маске бороться инкогнито.

Гегенхаммер, с независимым видом прогуливавшийся до этого по кругу манежа, небрежно поигрывавший мускулами, глянул на

гигантскую фигуру таинственного соперника и несколько струхнул. Но делать было нечего. Надо было принимать вызов. Незабудный зашел за занавеску, отделявшую манеж от прохода к конюшням, разделся и вышел обратно на арену. И весь цирк – от стола жюри до последних верхних рядов галереи – ахнул от восторга, увидев еще сохранившиеся атлетические пропорции и грандиозные стати тела подлинного Геркулеса. Все было соразмерно в нем, все исполнено повелительной мощи и классической мужественной красоты. Все говорило о силе необыкновенной. Конечно, время прошло по фигуре атлета, немножко размыло линии, но еще внушителен был рельеф мышц. Когда Незабудный повел плечами, легонько разминаясь, слегка потряхнул кистями рук, проступили под кожей могучие связки, напряглись, покатались, вздуваясь и опадая, бугры невообразимо громадных мускулов. Сила светилась, гасла и вспыхивала снова, перебирая сухожилия, играя в мышцах, как играет и переливается изнутри скрытым огнем хорошо отграненный камень.

Еще накануне Артем Иванович, съездив в Болонью и присмотревшись с галереи цирка к будущему своему противнику, определил кое-какие слабые стороны его. Заметил, например, не совсем разумную и неточную позицию в стойке, зато оценил большую силу грифа и короткой шеи Гегенхаммера. С «моста» его было не сломить. В партер лучше не переводить. Вернее было брать его в стойке на прием.

И теперь, сделав свой знаменитый захват, из которого никто пока еще не вырывался у Незабудного, он на двенадцатой минуте приемом через бедро бросил немецкого чемпиона на ковер и с рывка прижал его вплотную обеими лопатками к коврику, продержав в этом положении лишнюю минуту для верности, так как видел, что арбитр бегают вокруг, присаживается на корточки, ложится ничком, но не спешит дать решающий свисток. Но в конце концов арбитру пришлось свистнуть. И можно себе представить, как были довольны зрители и смущены устроители чемпионата.

– Да, представить себе даже нелегко, что это было, – рассказывал ночной гость. – Известно нам, Артем Иванович, что когда попробовал арбитр заставить вас назваться, так вы крикнули что-то вроде: «Пиши, троюродный батя Артема Незабудного, того самого, которого этот бурдюк с пивом тоже сроду не клал».

– Было дело!

Да, так и было. Отказавшись от приза, пренебрежительно швырнув деньги на стол жюри, Артем покинул тогда манеж. У выхода его пытались схватить эсэсовцы. Но публика, уже хлынувшая из всех галерей, не дала. Она уже окружила великана-атлета в черной маске. Люди подняли себе на плечи его колоссальную фигуру, оттеснили гитлеровцев, и Артем скрылся в темноте. Публика долго шумела возле цирка, довольная, что неизвестный борец так проучил развязного фашиста. А один из любителей тем временем отвез на своей машине Незабудного в Альфонсинэ.

– Тут вы затем допустили, конечно, одну ошибку, – продолжал свой рассказ гость. – Вам бы надо было немедленно покинуть свой город. А вы, видно, решили, что можете остаться неузнанным.

– Да нет, занемог я тогда после схватки, – сказал Артем. – Силы-то уже прежней не было, а все-таки, поймите, это напряжение! Он же меня лет на двадцать моложе был, этот колбасник.

Да, Артем совершил тогда оплошность. И уже на следующее утро к нему в Альфонсинэ явился один из болонских эсэсовских начальников, которого сопровождал плюгавенький менеджер. Он когда-то возил Артема по Европе с другими борцами и вчера, сидя в публике, разом узнал и хватку чемпиона чемпионов, и неповторимый прием, который назывался «захватом Незабудного» или «русскими клещами». Он и навел эсэсовцев на Артема. Чтобы замять скандал, происшедший накануне в цирке, скандал, о котором шумела вся Болонья, оккупационные власти теперь ставили перед Незабудным следующий ультиматум: русский атлет снова выходит под маской на матч-реванш со вчерашним противником и ложится под него на двадцатой минуте. Причем поражение должно быть полным не по очкам. Чистое одновременное туше обеими лопатками. Никаких там разноименных перекатов. В противном случае господин Незабудный будет отправлен в лагерь смерти. Оказавшись побежденным на двадцатой минуте, Незабудный должен по обычным правилам чемпионатов снять с себя маску и назваться полностью. Бежать бессмысленно, он взят под наблюдение. Дом оцеплен. Если завтра на манеже бывший русский чемпион изменит продиктованным ему условиям – штрафной лагерь Сент-Арнаджелло... А что это такое, господин Незабудный знает, надо полагать.

– Вот тут, по-видимому, – продолжал свой рассказ тяжело дышавшему Артему Ивановичу незнакомец, – тут он, верно, и увидел у вас на столе одну из ваших знаменитых призовых чаш «Могила гладиатора». И, должно быть, прихватил одну в качестве кубка завтрашнему победителю. И сказал при этом, что, во избежание каких-либо дальнейших недоразумений, вам придется подписать после поражения протокол и дарственную, передав кубок Гегенхаммеру... И тут вторая ошибка с вашей стороны! Не надо было ни в коем случае соглашаться. Силком больного они бы вас на манеж не притащили. Надо было врачей потребовать...

– Да ведь я бы его с любого приема мог бросить! – заволновался Артем, прервав рассказчика. – Неужели не верите?

– Да нет, конечно, верю! – успокоил его гость. – Если бы не верил, так не стал бы разговаривать с вами, сами посудите. Только вы немного мне должны помочь, если я не так что-нибудь себе представляю. Давайте по порядку, по порядку. По порядку... Хорошо сказать – по порядку! Речь шла сейчас о самой темной и мучительной тайне, подбиралась к самому больному.

– Так вот, – продолжал товарищ из Комитета ветеранов, – вы согласились тогда на условие.

– Да нет же! Ведь я и мысли не имел!.. – Артем Иванович стал приподниматься, опираясь на стул.

– Да вы сидите, не тревожьтесь, Артем Иванович. Нам же в основном все известно. Пришлось вам тогда подписать и выдать прохвосту справочку заранее примерно эдакую: «Подтверждаю, мол, настоящим, что вторичная встреча моя на ковре с господином Гегенхаммером была тогда-то и там-то проведена по моему вызову и на условиях, выработанных мною лично совместно с дирекцией цирка и представителями германского командования, в соответствии с чем я теперь и передаю победителю господину Гегенхаммеру, победившему меня в честной спортивной борьбе, как подарок и в знак своего поражения личный мой памятный кубок, известный под названием „Могила гладиатора“, в чем и расписываюсь». Верно?

– Верно! – почти шепотом признал Незабудный.

## **Глава XI**

### **Решительная бессрочная до результата**

Так все и было. Незабудный пообещал гитлеровцам, что ляжет на двадцатой минуте под Зепа Гегенхаммера. А на самом деле он твердо решил на двадцать первой минуте припечатать фашиста к ковру, уложив его на обе лопатки, в момент, когда противник, согласившись на подлый сговор, будет озадачен неожиданно продолжающимся сопротивлением Незабудного.

После вчерашней схватки, несмотря на болезненную усталость и недоброе томление в сердце, он, уже испытавший возможности противника и почувствовавший предел его сил, не сомневался в своей победе.

Ну что же, пусть потом расправляются с ним. Но он при всей публике еще раз проучит наглеца. А после сам снимет маску с себя. И все люди пускай знают, что русский чемпион чемпионов мира, Человек-Гора, Артем Незабудный не продается и никогда не идет на сговор, если даже речь идет о самой жизни. Попробуй тогда, когда он снова победит и назовет себя, схватить его. Он обратится к публике, прося принять его под свою великодушную защиту.

В закрытой машине его доставили из Альфонсинэ в Болонью.

Цирк был переполнен в тот вечер, как никогда. Приз «Могила гладиатора» поставили на столик жюри, где скрестились трехцветные итальянские флаги и нацистские флажки со свастикой. Уже перед выходом на манеж Артем Иванович стал с тоской прислушиваться к тому, как странно ведет себя в этот вечер его сердце. Оно будто разбухло и толкалось уже не только в груди, но и в темени и словно рвалось в окончания пальцев и вообще куда-то вдруг проваливалось к чертям. И пол, когда он шел к выходу на манеж, становился как будто мягким, словно мат. Ноги не ощущали его твердости, и от этого приторная слабость как бы размягчала колени.

Надо было решать схватку быстро. Незабудный чувствовал, что надолго его сегодня не хватит. Продуманный накануне план уже не годился... Следовало сразу взять фашиста на прием, тем более что противник не ждал настоящего сопротивления. Да, взять на добрый прием, скажем «на мельницу», перекрутить Гегенхаммера в воздухе и припечатать к ковру. Но, видно, фашист был не из простачков. Сговор сговором, а он знал, с кем имеет дело. С таким грозным противником, какой скрывался под черной маской, надо было держать ухо востро. Он, верно, наслушался о разных чудачествах и многих странностях



Незабудного, ставивших не раз в тупик самых опытных спортивных воротил. Вряд ли, конечно, пойдет человек на верную смерть, но все же неизвестно, что может прийти в упрямую голову этого сумасбродного русского медведя.

На третьей минуте, после того как борцы, нагнувшись, перехватывая друг друга за руки, хлопая ладонями по шеям, походили немного по центру ковра, Незабудный попытался захватить противника и, вскинув его, бросить с приема наземь.

Однако Гегенхаммер сумел ускользнуть, вывернулся и, растопырив руки и ноги, всей своей огромной тушей, как черепаха, плюхнулся на ковер животом вниз. Незабудный пытался «ключом» повернуть его, но понял, что сегодня, когда он борется второй вечер подряд, ему уже не под силу заставить молодого тяжеловеса перевернуться на спину.

Он дал возможность Гегенхаммеру вскочить, и снова они некоторое время боролись в стойке, и опять пытался Незабудный подловить на прием противника. Но тот уже почувял, что русский колосс борется всерьез, ведет дело начистоту. Верткий и, как это хорошо почувствовал Незабудный, до отказа налитый молодой силой, Гегенхаммер каждый раз уходил из захвата. Цирк то ревел, то затихал. И Незабудному начало казаться, что сердце у него то стучит оглушительно, то замирает, делается почти неслышным. Какая-то странная рыхлость ощущалась в коленях, он уже перестал доверять своим ногам и уже дважды давал перевести себя в партер, чтобы немного отдышаться. А Гегенхаммер применил самые жестокие приемы, чтобы заставить Незабудного перевернуться на спину. Он с размаху притирал свои толстые локти к напряженной шее, выпиравшей из-под краев черной маски. Этот прием, называемый «макаронами», заставляет находящегося внизу борца опустить шею и облегчает захват «ключом». Гегенхаммеру удалось протиснуть свои руки под мышки Незабудного и сплести пальцы у него на затылке, проводя так называемый двойной нельсон. И обычно неуязвимый, специально подставлявший свою неохватную шею под все эти приемы, Незабудный на этот раз почувствовал, как от каждой «макаронны» и от страшного жима у него что-то вколачивается в темя и в виски. Воздух вокруг плотнел, становился как вата, лез кляпом в рот. Подкатывала густая тошнотная муть. Голову словно обматывало

мягким коконом. И сердце все проваливалось и проваливалось куда-то, потом неуверенно возвращалось на место, заявляя о себе пронзительной болью в груди.

Он уже почти машинально сопротивлялся фашисту. Гегенхаммер мог в любую минуту положить его. Но немец хвастался по радио во всеуслышание и сообщил в вечерние газеты, что уложит человека в маске ровно на двадцатой минуте – не раньше, не позже. И теперь он нарочно тянул время, ведя уже игру с полуобессилевшим Незабудным. А тот с каждой минутой чувствовал, как все глуше и вкрадчивее облекает его всего в какую-то душную мякоть.

Потом все кануло в темноту.

Когда Незабудный пришел в себя после полуминутного обморока, все оставалось по-прежнему ватным и глухим.

Все, кроме одного, никогда еще не испытанного ощущения – ощущения неуступчивой, уже вконец безнадежной твердости под лопатками. Еще не совсем понимая, что произошло с ним, Незабудный почувствовал то, чего никогда не ощущал на арене, – жесткое касание ковра к обеим своим лопаткам. И он понял, что впервые в жизни побежден.

Он стал подниматься, опираясь на руку и колено. Икота сотрясала его грудь, билась в подвздошной впадине. Странная душевымаывающая икота. И он вдруг понял, что это подступают рыдания. Словно в тумане, он встал, думая о том, как хорошо еще, что маска скрывает слезы, которые текли под ней по щекам. Он поспешил вытереть их, сдирая с себя душившую черную ткань маски, обнажая лицо, подставляя его позору уже в открытую. И сквозь низвергавшийся на него со всех кругов циркового амфитеатра рев смутно услышал, как арбитр-австриец объявил:

– Под черной маской боролся бывший пятикратный чемпион мира, непобедимый чемпион чемпионов, кампиониссимо, известный русский борец Артем Незабудный. Это – первое его поражение в жизни. По условиям сегодняшнего поединка он отдает господину Зепу Гегенхаммеру свой памятный уникальный приз «Могила гладиатора», в чем сейчас на ваших глазах и распишется в дарственном акте, скрепив своей подписью этот исторический момент.

Неистово колотили в мясистые ладони эсэсовцы, заполнившие добрую половину цирка, орали что-то, раззявив под маленькими усиками свои хайла. Но сверху, с галерки, из проходов амфитеатра, где сгрудились зрители, прорывавшиеся к арене, ринулся оглушительный свист, обрушились крики:

– Блеф! Лавочка! Сговор! Подкладка! На конюшню его!..

– Это все шутики!.. Сколько тебе заплатили, ты, непобедимый? Под кого лег? Подстилка!..

– Продажная шкура, почему тебя купили? За сколько теперь с требухой пойдешь, кампиониссимо?..

С трудом удалось полиции унять возмущенную публику. Незабудного на этот раз вывели через служебный ход. Теперь его надо было спасать от тех, кто вчера стеной вставал на его защиту. Нельзя было оставлять его с толпой возмущенных людей, которые считали, что русский борец лег под фашистского чемпиона по условиям определенного сговора. Публика была уверена, что и вчерашнее все было просто-напросто трюком.

– А может быть, не так что? – Гость исподлобья, поверх очков, глянул на Незабудного.

– Да вот в том-то и дело, что все так! – поспешил заверить его Артем Иванович. – Вы это понять должны...

– А мы и поняли, как надо, – отвечал гость.

– Ведь я и по сей день не знаю, как обратно добрался, просто не помню. Очнулся утром, а пляжу – уже вокруг меня больничные стены. Как меня туда отправили, до сих пор не ведаю. Нашлись-таки добрые люди. И ведь понимал я уже тогда, что все думают, будто это я нарочно лег, подкладку сделал под фашиста. А у меня, верьте слову, и правда не хватило сил. Сердце меня подкузьмило. Он меня чисто тушировал, чистый был «бур». Молодой, двадцать лет разницы. Да разве бы я испугался? Да я бы его, будь я в форме, с первого приема бросил!

Он опять разволновался и хотел встать, но сел тяжело на стул.

– Да сейчас-то уж к чему волноваться? – успокоил его гость. – Об этом мало кто, собственно, и знает. Вы же к тому времени, извините, с манежа уже ушли. Ну кое-что, правда, было в газетах, особенно в гитлеровских. Пытались они раздуть шум. Так ведь не тем люди тогда жили, Артем Иванович. Не на ковре шла борьба, а на доброй половине

всего земного шара. Смертная борьба. До того ли было большинству людей, что в каком-то итальянском городишке прижали лопатками к ковру бывшего чемпиона мира. Да и кто читал, не все верили, что это был доподлинно сам знаменитый Незабудный. Ведь о вас столько всегда слухов ходило, столько врак всяких! И хоронили вас, и воскрешали, и снова обратно в землю зарывали. И под вашей маркой другие борцы работали. Такое тоже бывало. Верно? А вы придумали себе сами такую муку, навалили еще лишнего груза на свою жизнь и не решались вызволить себя из-под нее. Не очень-то умно! Так ведь, Артем Иванович? Конечно, все так и было, как говорил гость. Именно так. Но тогда, в те горькие, темные годы, простодушный Артем – человек чести и рыцарского отношения к спорту – принял происшествие с ним как страшную, непоправимую катастрофу, безнадежно опозорившую его под старость. Он, конечно, не помянул о ней в своих мемуарах, которые, правда, за него целиком написал один ловкий французский журналист, хорошо на этом заработавший и купивший права на переиздание у очень нуждавшегося в то время Незабудного. И не раз убеждался Артем Иванович, что подробности того происшествия в Болонье мало кому стали известны. Откуда же так детально все вызнал человек, бывший сейчас его неожиданным гостем? Как он узнал все? И как он поверил?

– Дорогой вы мой человек! И как же вы все это раскопали, вы знали до точности? – спросил Незабудный и, помаргивая от охватившего его чувства благодарной преданности, впервые взглянул прямо в глаза собеседнику. – И можно мне, коли уж так у нас с вами разговор пошел, еще один вопросик вам задать?

– Хоть десять.

– Скажите по совести, уважаемый... Это вы, что же, просто так сразу поверили, что я тогда не по сговору, не по принуждению?..

Гость с немножко виноватым видом улыбнулся, почесал мизинцем висок, поправил очки, постучал ногтем по их дужке.

– Да откровенно говоря, Артем Иванович, дело наше такое, что верить мы должны, а проверять обязаны. – Он развел руками и с лукавинкой, вполглаза подмигнул хозяину. – Дело это было, честно вам сказать, не совсем нам понятное. Хотя, конечно, никто не сомневался, что на сговор с фашистами вы не пойдете. Мы же вашу биографию, я уже вам говорил, давно изучили. Биография сложная.

Но грязи на ней нет. Однако, что таить, были вот в этой истории с Гегенхаммером кое-какие неясности. И, конечно, сами вы знаете, писали потом в газетах союзников, будто победа немца не внушает доверия. Дескать, русского великана принудили лечь под угрозой смерти. Пришлось-де пойти в этот раз Незабудному на сговор.

– Да ведь чистое же было туше!

– Да вот смотрите, бывает, оказывается, что настоящему честному спортсмену надо добиваться, чтобы все поверили в его истинное поражение.

– Ну, а вы-то как сами поверили? Гость достал из своего чемоданчика пачку каких-то бумаг. Перебрав несколько, вынул конверт, вытащил из него листок. Он был очень серьезен. Чувствовалось, что он сам сейчас взволнован чем-то.

– У вас, Артем Иванович, – проговорил он медленно, – свидетель нашелся один. Чрезвычайного авторитета свидетель. Такой человек вам справку выдал, что сомневаться уже никто никогда не посмеет.

– То кто ж будет?

– Тулубей Григорий Богданович, Герой Советского Союза. Вот кто.

– Это как же так?! – Незабудный совсем растерялся. Голос у него стал сиплым.

– А вот как... Когда вы вернулись и сведения драгоценнейшие дали о Григории Тулубее, это все, разумеется, сразу попало в итальянские газеты. Наши товарищи из Комитета ветеранов войны списались с друзьями из АНПИ Национальной ассоциации партизан Италии. Много интересного и нового узнали о том, какие подвиги совершал ваш Богритули, то есть Григорий Тулубей. Необыкновенной он отваги человек был!.. Установили, что в отряде у него в последнее время находился один врач, итальянский патриот. Этого врача будто бы вы приводили к раненому Тулубею перевязывать... Когда вы на себе из-под носа патрулей Тулубея унесли.

– Джузеппе Саббатини?! – радостно изумился Артем.

– Совершенно точно.

– Вот он куда подевался тогда, старый!.. Теперь понятно. В партизаны пошел...

– Да, – продолжал гость. – Доктор Саббатини был в отряде Богритули. А он человеком оказался весьма дальновидным и

предусмотрительным. Он понимал, как вы должны были себя чувствовать после вашего поражения... ну, после той, словом, истории в цирке. Понимал, что может это происшествие замарать ваше славное имя. Тут поверить было недостаточно. Надо было доказать полную вашу чистоту. Имя ваше принадлежит истории мирового спорта, Артем Иванович, что тут говорить! И вот тот доктор, когда вам было плохо после второй встречи с Гегенхаммером, не только помог вам оправиться, но у себя в больнице сделал вам рентгеновский снимок и электрокардиограмму. Все понимал человек. И по рентгену, и по кардиограмме видно ясно, что в тот вечер куда уж вам было на ковре выступать! Гиблое дело! Как это еще вы там, на манеже, совсем лежать не остались... Это просто чудо! У вас состояние же было предынфарктное.

Артем Иванович слушал его, распираемый благодарностью и в то же время чувствуя, как сваливается с него чудовищная тяжесть, которая давила его долгие годы.

– А все-таки как же все это вскрылось-то? Это как нашли? – Он махнул головой в сторону кубка, стоявшего на столе.

– Все он, Григорий Тулубей. Славный Богритули. Видите ли, этот ваш Зеп, как его?.. Пешком через фамилию не пройдешь!.. Зеп Гегенхаммер ведь с гестапо путался. С карателями. И везде с собой возил этот кубок. Он даже и на Украине с ним показывался. Все хотел авторитет себе перед нашими поднять. Вот тогда, по-видимому, Тулубей и видел где-то на допросе, когда он к гитлеровцам в лапы раненым попался, этот кубок. А затем, как теперь стало известно, партизаны изловили господина Гегенхаммера и тихо покончили с его громкой карьерой. Ныне известно стало, что отряд итальянских партизан, разбивший вдребезги группу карателей, которой командовал Гегенхаммер, был именно отрядом Богритули. Вот у Тулубея на руках и оказался ваш кубок и вся документация по части вашего состояния в тот несчастный вечер, когда вы боролись в Болонье. Доктор, уходя в партизаны, все с собой прихватил. Умница!..

– Так ведь я слышал, погиб Саббатини! – остановил его Незабудный.

– Да, доктор Джузеппе Саббатини был убит. Перевязывал раненых партизан, а его фашисты-снайперы подстрелили. Ну, как Тулубей погиб, вы уже знаете. Вся Италия знает. Звание

национального героя ему присвоено. Так вот, прежде чем уходить в тот последний бой, из которого уже, как понимал Тулубей, мало было шансов вернуться, он передал одному из крестьян деревни, где стояли тогда партизаны, этот кубок, все справки из больницы Саббатини и вот эту записку... Крестьянин тот все спрятал и бережно хранил у себя. Записка была лишь с намеками. Понять что-нибудь из нее трудно, если не знать обстоятельств дела. И вот тогда, когда после вашего сообщения стало известно, кто такой был Богритули, крестьянин этот отдал все, что у него хранилось, в АНПИ. А они сообщили в наш Комитет ветеранов войны. Ну и так далее. А мне, собственно, остается теперь! только вручить непосредственно это письмо адресату, Вот, прошу принять.

И гость протянул Незабудному мятый, рваный по одному краю листок бумаги. Артем Иванович с осторожностью принял его, руки у него тряслись. Пальцы одеревенели. Едва глянув, он сразу узнал этот характерный; почерк, буквы, выведенные узкими петельками вверх.

«Земляк, друг! Простите меня. Не мог я тогда поступить иначе. Теперь все знаю. Я и так вам верил, но медицина мне все подтвердила окончательно и поставила в этом вопросе точку.

Спасибо вам, что отбили мне жизнь. Если надо, снова отдам ее за наше дело. А если суждено мне будет сохранить ее до победы, то, надеюсь, встретимся, и я вас поблагодарю русским спасибо на русской земле. В случае чего непременно сообщите все, что знаете про меня, матери. Могу открыться, сколько позволяют условия: но только земляк ваш, но и сын той, которую вы хорошо знали. Мы с ней о вас никогда не говорили, но за ее горе вы приняли своего стыда предостаточно. Не мне вас попрекать.

Что касается „Могилы гладиатора“, то господин Г. получил от нас по заслугам и занял прочно место там, откуда опять восстал гладиатор. Чужая, ворованная слава никому еще долго не светила. Возвращаю ее вам по принадлежности.

*Богритули.*

*Эмилия, 1944».*

Артем Иванович поспешно отвел руку, державшую этот листок, в сторону, чтобы не залить его неудержимо хлынувшими из глаз

слезами.

Вот как отплатил с лихвой Незабудному тот, кого он в крови и лохмотьях принес когда-то к себе на чердак. Вот о чем думал этот удивительный и бесстрашный человек, когда уходил в последний бой, из которого ему уже не суждено было вернуться. Он из могилы свидетельствовал теперь о чистоте славы старого чемпиона. Оба молчали. И Артем Иванович, и его гость. И никак не мог справиться Незабудный с тем, что билось у него в горле, зажало его – ни туда ни сюда.

Когда наконец Артем Иванович смог говорить, он сказал:

– Матери надо показать... Матери. Галине Петровне.

– Непременно! – согласился гость. Он озабоченно посмотрел на свои ручные часы. И Незабудный поспешил спросить:

– Товарищ, это вы что же специально для этого приехали?

– Да, в основном так, – сказал гость и вдруг нетерпеливо нахмурился. – Есть, правда, одно дело, менее приятное. Видите ли... Вы, когда сообщили нам тот адрес, что вашему приемному сынку дали, сделали большое дело. Мы смогли быстро установить одну из ниточек. Потянули, дошли постепенно до узелка. Он теперь уже не в Париже... Ну уж тут подробности позвольте не сообщать. Только установили мы, что там Сухояркой весьма интересуются. И кое-какие связи дальние пытаются установить... Ваш приемный внучек, кстати, вам ничего дополнительно не говорил?

Артем потряс головой, но встревожился. Гость жестом успокоил его:

– Я так и полагал. Но ведь он в курсе дела был?

– Да, кое-что слышал, – объяснил Артем. – Вот тогда, когда эти два субчика ко мне перед отъездом из Парижа заходили. Я-то их выставил, а они где-то Пьерку моего подловили и, видно, его немножко зацепили этим...

– Понятно, – сказал гость. – Так и я думал. Эх, Артем Иванович, мы-то вам вот давно верили, а вы нам, видно, не доверяете. С этим делом давно бы надо было уже покончить.

– Так ведь тут так... – забормотал Артем. – А может, правда, плюнем мы на эти драгоценности? На черта они нужны? Чего тут с ними возиться?



Гость долго внимательно и испытующе смотрел на Артема. Потом встал, прошелся по комнате, снова сел.

– Эх, Артем Иванович, Артем Иванович! Вы думаете, нас беспокоят какие-то там золотые побрякушки, которыми вам и вашему внуку глаза отвели? Знали бы вы, что в том «кладе» часа своего ждет...

Артем смотрел на него, ничего не понимая.

– Не следовало бы мне вам, возможно, говорить это... – Гость забарабанил пальцами по дужке очков. Хотели мы это проверить без шума, да сейчас уже темнеть времени нет... там мощного заряда мины со вставленными взрывателями натяжного действия... Огромный запас взрывчатки. Тонны! Да от этих «сокровищ», только пальцем их коснись, вся ваша Сухоярка к богу в рай отправится. Они же и хотели, чтобы парнишка ваш, связанный вашей тайной, никому не говоря, сам туда полез. 1 Наврали ему про этот кубок, чтобы он от всех это дело таил... Он бы и сунулся. И поминай только как звали! Это у них и называлось «операция „Могила гладиатора“». Вот что гады выдумали! Мы уже не первый случай такой имеем. Обезвреживать приходится. В ряде мест уже извлекли. Что делать, Артем Иванович! Прошлого и из-под земли порой грозит новому...

Он бережно провел ладонью по фигуре гладиатора, державшего чашу, легонько похлопал по серебряной спине атлета.

– Тоже, так сказать, что-то вроде могилы, только не гладиатора, а пострашнее... Фокус собираются проделать. Из могилы чтобы воспрянуло и удар нанесло живым. Вот вы много по Европе ездили. Знаю, видели могилы наших людей. Тулубея, Героя, след разыскали. Легли наши люди в землю, но подвиг их помогает новой жизни расти. А эти подлецы у нас на земле мины зарыли, взрывчатку посеяли, заготовили смерть тысячам людей, только выпусти ее на свет. Лежит, закопанная, таится где-то, под нами тут. Таится и ждет. Но не дожидаться ей своего часа. Не дадим!

Артем стоял ни жив ни мертв.

Так вот как страшно повернулась вся эта история с мнимым кладом!.. А он-то, как мальчишка, поверил. Поверил и своей самолюбивой тайной укрывал от всех лютую опасность, грозившую людям, так его радушно принявшим обратно в свою семью.

– Вы, Артем Иванович, кстати, не знаете, – прервал его раздумья гость, – у внука вашего тут дружков каких-нибудь близких нет сейчас на берегу? Есть у нас кое-какие подозрения... Те, что ему еще в Париже эту басню в голову вбили, сами бы писать не стали. Зачем им след свой оставлять, разоблачать себя?! А вот поторопить кого-то через третье лицо они могли. И, возможно, через кого-то и местонахождение тайника сообщили. Понятно вам? У нас имеются данные, что через одного вышедшего из лагерей была у них попытка связь установить... Так вот я спрашиваю: вам не приходит в голову кто-нибудь, кто бы мог эти сведения принять или передать? Может быть, и сам этот человек не очень устойчивый или, возможно, подослали кого-нибудь. Вы меня понимаете? Вот тут один тип, который товарища Тулубея ударил... Все это очень подозрительно. И надо бы скорее ясность внести.

– Да тут слоняется по берегу один, – сказал Артем. – Он там с лодками возится. С ним одно время мой Пьерка таскался.

– Не Махонин Вячеслав? – вдруг быстро спросил гость.

– Он.

– Так. Ясно. – Гость быстро глянул на часы. – Вы пока напрасно не тревожьтесь и ничего не предпринимайте. Тут сейчас наши люди кругом местность прощупывают. Мы саперов специально вызвали. Они в данное время уже приступили. Так что обнаружат, не беспокойтесь. А может быть, мы и другой щуп используем. Извините, вынужден поспешить...

Гость заторопился и, сказав, что утром они чуть свет непременно отправятся в школу, простился.

Оставшись один, Артем никак не мог успокоиться. Самые несовместимые ощущения раздирали его сердце. Позорная тайна, которая томила его все эти годы, на поверку оказалась не столь страшной. Наваждение кончилось. Но как страшно повернулось дело с тайником! И, может быть, все-таки Пьерка разузнал что-то? Или этот гнус Махан, вызвав у кого-то место тайника, уже копает там? И каждую секунду гибельный взрыв может смести все вокруг...

Нет, надо сейчас же повидаться с Пьером. Нельзя ждать до утра.

Артем надел шляпу, дождевик, застегнул наглухо, взял свою дубинку и спустился вниз, где был телефон. Несколько раз просил он станцию соединить его со школой. Ничего не получалось. А потом с

центральной сказали, что произошел обрыв связи. Артем Иванович спешил. Тревога, наполовину безотчетная, гнала и гнала его. И он только что не бежал, ускоряя метровые шаги свои и далеко вокруг расплескивая! воду, стоявшую на тротуарах. Выйдя на Советскую, он завернул было на Красношахтерскую, потом подумал, что и сказать ему там сейчас уже нечего, пересек скверик, чтобы выйти к дому, где жили Тулубеи. Но тут же решил опять, что нечего без толку в такую поздноту тревожить людей. Он резко повернул обратно, чтобы пройти боковой I улицей к водохранилищу, заметался в скверике, ища между деревцами самый короткий путь к пристани. Дождь, было затихший, припустился снова. Ветер бросил под поля; шляпы горсть холодных капель с дерева. Незабудный поглядел вверх, и его поразило, что и тучи над ним так же носило и крутило, как его самого, то заводило за деревья и крыши, то волокно совсем в другую сторону. Артем Иванович остановился. И тотчас же застыли на месте тучи и небо перестало вертеться. Тут только понял Незабудный, что то не тучи, а сам он мечется в растерянности из стороны в сторону.

Магниевый сполох от далекой молнии на миг смахнул черноту ночи со всего, что окружало старика. Прямо перед ним глухо блеснули мокрые выпуклые глади металла. И Григорий Тулубей плянул на Незабудного в упор. Старик сперва остолбенел. Он и запомнил совсем, что бьет Тулубея еще в начале работ на школьной дамбе временно перенесли сюда, на место будущего памятника Герою.

По бронзовым скулам текли дождевые струи. Так обливались они, эти твердые скулы, тогда, в Альфонсинэ, смертным потом... Еще раз полыхнула зарница уползавшей грозы. Проронил что-то веско и торжественно гром вдали. И показалось Незабудному, что вспыхнул живой свет со дна бронзовых глазниц.

Одобрительно сверкнул ему очами, не принимающими ни малейшей утайки, Герой. И отлитые из металла губы, которые запомнились Артему в сводившей их судороге боли, сейчас будто струнулись в прощающей улыбке. А может быть, то сбегали дождевые капли, скопившиеся в уголках рта, навсегда отвердевшего в бронзе...

Дождь не унимался. Гроза ушла, но сильные порывы ветра накатывали крупную волну, когда Артем Иванович вышел на берег

водохранилища. Следовало бы, верно, дожидаться утра, но Артем Иванович уже не в силах был одолеть тревогу, которая, как набат, дубасила его по сердцу. Он отправился на лодочную станцию. Сторож окликнул его.

– Махонин тут? – прокричал Артем сквозь ветер.

Из темноты сразу показалась фигура сторожа. Старик подошел к Незабудному. Далекая молния осветила его. Сна у старика не было ни в одном глазу.

– Это вы, Артем Иванович? – сказал сторож и доверительно сообщил: – А Вячеслава-то забрали. Вот уже с полчаса как забрали. Приехали на машине, и будь здоров. Какая такая причина следствия – непонятно.

– Слушай, дед, дай лодку!

– Это зачем же такое? Что вы, Артем Иваныч! Куда это вы собрались?

– Потом объясню, дед. Мне в школу тут нужно. Срочно. Связи нет, а ждать не приходится.

– Да как же вы в такую волну?

– Не твоя забота.

– Как – не моя забота? – возмутился сторож. – А чья же тогда? Кто тут смотреть приставлен? Такой разговор у нас не пойдет. Уж коли так срочно понадобилось, давай, Артем Иваныч, я сам переправлю. Сидайте в лодку. Громадить можете? Садитесь на первую банку.

Артем Иванович взгромоздился на первую скамью тяжелой рыбацкой лодки, валко качнувшейся под грузом его тела, поплевал на свои широкие ладони, взялся за весла. Лодочник сел на вторую скамью. Старики дружно навалились. Лодка круто взмыла на встречную волну.

Впереди смутно виднелись контуры школьного здания на острове. Огней в окнах не было.

## **Глава XII**

### **Разговор, происходивший неизвестно где**

– Ну что же, полагаю, что расписки в получении информации ждать долго не придется. Мы о ней услышим весьма скоро.

– Но вы уверены, что это... э-м... сработает? – Информация? Уверен.

– Да нет, я имею в виду... м-м... операцию «Могила! гладиатора», как таковую.

– О, можете не сомневаться. Натяжное действие. Общая детонация. А там все на живую нитку. Немедленный; эффект. Полная гарантия.

– А время? М-м... ведь столько лет.

– Да, около двенадцати. Но изоляция надежная и как удачно, что именно в районе дамбы.

– Да. На редкость счастливое совпадение, что именно там... э-э... сосредоточено. Итак, будем ждать...

– Недолго, смею вас заверить.

– М-м...

## **Глава XIII**

### **Разговор на Красношахтерской**

– Так. Значит, в угадайку будем играть, дурака валять? Или по-хорошему? Махан молчал.

– Значит, не желаешь, чтобы с тобой по-хорошему?

– А как это – по-хорошему? – уныло поинтересовался Махан.

– Вот ты всю жизнь норовишь не по-хорошему, сколько мне известно про тебя. Попробуй разок по-хорошему. Авось и понравится.

– Все одно, до конца хорошим не будешь.

– А ты хоть наполовину попробуй. Лиха беда начало.

– А с чего попробовать?

– Вот, скажем, с того начни, что попробуй и расскажи, о чем тебе Вертоухий рассказывал.

– Ничего он мне не рассказывал. Я его и в глаза не видел, Вертоухого вашего.

– Нет, вижу, не хочешь ты и попробовать по-хорошему. А вот нам известно, что вчера виделся ты с Вертоухим.

– А что же, если и виделся? Он амнистированный. Что же, я права не имею?

– Да нет, сделай одолжение. Только вот интересно, что он тебе насчет золота сообщал?

– Ничего он не сообщал.

– Вот странно. Что ж, он врет все, значит, Вертоухий? А он, понимаешь, показал, что с тобой виделся, обо всем договорился. Видно, он если не наполовину, то хоть на осьмушку хорошим становится. А ты все на своем держишься – на старом, на плохом.

– Ничего я не знаю, – упорствовал Махан. – У Вертоухого и спрашивайте, если он для вас такой хороший да умный.

– Да вот мы думали, умный и ты, а на поверку-то ты дурень, оказывается.

– Ну и пускай! – буркнул Махан.

– Да это верно. Мало ли дурней на свете! Ну одним меньше станет, от того урону мало.

– Это почему же так – одним меньше? – насторожился Махан.

– Ну как же! Коли все это случится, как рванет взрывчатка, так тебя уж, милый, если и уцелеешь, не помилуют. Раз ты все знал да таился.

– Какая такая еще взрывчатка?!

– Слушай, брось-ка ты прикидываться! Сообщил тебе Вертоухий, в каком месте взрывчатка заложена?

– Да какая взрывчатка? – Потное лицо Махана стало серым. – Никакой там взрывчатки! Золотишко там, цацки всякие, ценности...

– Ага! Значит, про цацки это ты слышал. Ну вот, теперь уже начинаешь, я вижу, за ум браться. Да только все-таки еще дурень. Поверил, как пижон, что золото. А там мины заложены. Понял? Фашисты, когда уходили, там взрывчатку зарыли, мины, бомбы, гранаты.

Махан с ужасом уставился на говорившего.

– Ты отвечай, не тяни. Время дорого. Знает еще кто-нибудь про то дело? Ты ведь сам тут мальчишкой околачивался при оккупации. Слышал ведь, чай, что гитлеровцы те мины зарыли, а потом всех тех расстреляли, кто зарывал, чтобы не выдали место. Вот мы тут сидим, а если ты кому-нибудь еще сообщил... Вертоухий-то тебя за подставку взял. Сам смылся. Его, правда, взяли уже, да он темнит. Ему что! Он далеко отсюда. А тебя вот он тут на погибель оставил. Мы с тобой каждую минуту на воздух взлететь можем к черту на рога. И полгорода не будет. Это твоя дурная голова соображает?

И вдруг Махан завыл противно, бабьим голосом, кинулся к дверям, но ударился головой о косяк, сполз на пол.

– Ой, скорей, скорей! Начальник, они сегодня... в школе!.. Я им сказал... Ой, скорей!..

## Глава XIV

### Могила гладиатора

Это было очень беспокойное дежурство для Сени Грачика.

Услышав, что Пьер и Ремка спускаются в подвал, он осторожно проследовал за ними. Несколько раз ему хотелось окликнуть ребят, но что-то его останавливало. Скорее всего любопытство, которое с каждым мигом становилось все более неистовым. Ему чертовски хотелось узнать, что это затеяли в неурочное ночное время, да еще в такое ненастье, два приятеля. От них жди всякого! Шум уходящей бури, ветер, топтавшийся по железу кровли, заглушали его шаги.

«Странно, – думал Сеня, – неужели они услышали нас и пошли искать кубок?»

Между тем Ремка и Пьер спустились в подвал. Чиркнула спичка. Загорелся керосиновый фонарь.

Сеня услышал:

– Ну, давай сюда чертежик... Вот видишь? Тут стенка должна быть заделана. Так. А здесь должна быть ниша... Стой! Пьерка, гляди, это здесь! Вот номер!.. Ваза-то здесь снаружи стоит. Интересно, почему же она не зарытая?.. Или кто-то уже тут копался?

Ждать дальше было уже нельзя.

Сеня прыгнул в подвал:

– Вы чего тут делаете, ребята?

– А ты чего?

Ремка пытался загородить собой нишу, в которой тускло поблескивали серебро и оливин чаши.

– Я дежурный, – сказал Сеня. – Вижу, куда-то вы пошли. В чем дело?

– А это тебя не касается.

– То есть как это не касается, раз я дежурный? Пьер подошел и втиснулся между Сеней и наступавшим на него Ремкой:

– Бргось, Ргема. Надо ему сказать все. Ну что на самом деле?..

– Я тебе скажу! – пригрозил Ремка. Но тут же переменял тон: – Слушай, Пьерка, ты выйди, объясни ему там все как можешь. Что кубок ищем... Понятно? Он поднял фонарь, отгородился им от Сени и осторожно, многозначительно подмигнул Пьеру:

– А я тут пока...

– Не уйду я. Вы что это тут делаете?

– А ну иди отсюда, говорю!

– Идем, пргавда... Я все скажу, Сеня. – Пьерка тянул Сеню к выходу.

Но Сеня подвигался медленно и неуступчиво, все время оглядываясь. Он видел, как Ремка тем временем жадными руками торопливо шарил по стене, освещенной снизу фонарем, стоявшим на земле. Ремка что-то отколупывал, корябая стену. И вдруг из-под отлетевшей пластины глиняной замазки показалось кольцо, вделанное в камень.

– Я сейчас... сейчас. Вы идите! Я сейчас! – бормотал Ремка, потея от нетерпения.

Он уже чуть было не схватился за кольцо, скребя ногтем, чтобы зацепить его. С размаху притиснулся он плечом к стене – ему казалось, что так сподручнее. И камень подался...

Все вдруг увидели, словно в дурном сне, безвольном и страшном, что стена посередине вяло раздается. Кирпичи сошли с места, осаживаясь вбок. Земля у основания стены стала обваливаться во внезапно образовавшуюся ямину. Прямо над головами у мальчиков повисли вышедшие с ворчливым треском из своих гнезд потолочные балки. А стена медленно расседалась над ширившимся провалом. В щербатой расщелине ее с выпадавшими по краям кирпичами мальчики увидели в отблесках фонаря что-то гладкое, уложенное рядами между гнилыми, расплзавшимися досками. Странные продолговатые предметы затаенно посверкивали сквозь коросту ржавчины и неумолимо вываливались через пролом. И замеревшим мальчикам показалось, что эти матово отливающие металлические гадины, внезапно пробудившись от тяжелой дремы, выползают из своего растревоженного логова и еще миг – обрушатся на ребят, которые словно оцепенели на месте.

Но в эту секунду какая-то прынувшая сверху властная сила сграбастала их всех троих сразу и одним швырком, нещадно



проволочив коленками и локтями по ступеням, выкинула наверх по лесенке. исполинская человеческая фигура метнулась к оседавшей стене. Сеня свесился обратно вниз, в подвал. В желтоватом свете, которым исходил оставленный внизу фонарь, он увидел Незабудного. Тот своим могучим плечом поддерживал валившуюся кладку стены. А из раззявившейся за ним пещеры наседали ящики с сигарообразными металлическими предметами.

Отталкивая Сеню, через лестничный люк свесился Пьер:

– Дедушка...

– Пьерка! – хрипло крикнул Незабудный. – Убью, гэть отсюда! Гэть, говорю! Полундра! Аларм!.. – Он надсадно хрипел под тяжестью давившей на него стены и в смятении сыпал то украинскими, то французскими, то русскими словами. – Чтоб духу не было вашего! Убью! Слышишь? Пришибу, как... – Он подхватил кирпич, вывалившийся из стены, и замахнулся. – Давай, хлопцы, говорю!.. Сеня, пошел сию минуту! Буди ребят. Учителям скажите, на берег всех живо... Там лодки. Вызовите еще с берега... Мины тут.

Пьер, уже знавший характер деда, понял, что тот недаром замахнулся кирпичиной. Он бросился к лестнице, ведущей на первый этаж из подвала. А Сеня, оставаясь на месте, попробовал было сказать:

– Дядя Артем, а вы...

Но Незабудный ответил таким страшным и неожиданным, все на свете, от бога до души и нутра человеческого, попирающим ругательством, что ошарашенный Сеня невольно так и отпрянул от люка. Он слышал, как бежит вверх по лестнице Пьер. А Ремки давно уже не было. Его уже и след простыл.



Через минуту вся школа ожила. Шум поднялся в дортуарах. Все проснулись, быстро натягивали на себя одежду, еще ничего толком не понимая. Спросенок все были бледные. Ребят трясло. Но Сеня и Пьер стояли в коридоре и требовали, чтобы все шли осторожно, чтобы ступали. Незабудный стоял полусогнувшись, прочно и широко расставив ноги... при этом на цыпочках. Прошла минута, другая. Незабудный стоял полусогнувшись, прочно и широко расставив ноги, почти до щиколоток уже ушедшие в мягкую, сыроватую землю подвала. Все оощутимее становилась непомерная тяжесть, оседавшая ему на плечи.

Он услышал над собой торопливые маленькие шаги. В свете фонаря, забытого Ремкой, наверху в люке показалось лицо вожатой Ирины Николаевны... Она прикрыла на груди ночной халатик.

– Что случилось? Что такое? Объясните. – Она сначала постояла на коленях, потом совсем легла на край подвального люка, чтобы заглянуть поглубже, но ничего не могла рассмотреть.

Из темноты раздалось:

– Ирина Николаевна, богом прошу... ы-ы!.. Скорее, быстро на лодки всех. Там лодочник внизу... Пускай берет первую партию, людей на берегу будит. Народ надо звать. Тут обнаружилось... Мины от фашистов остались. Я пока подержу, а то тут с места сошло. Рвануть может. Костей не соберем. На Красношахтерскую скорей звоните... Ы-ы!.. Только быстрее, прошу.

– А вы, как же тут вы? Это невозможно! – попробовала возразить вожатая.

Но услышала только какое-то рычание в ответ.

– Да идите вы!.. Что вы время тянете? Думаете, легко мне держать!.. Гэть отсюда, сказано! Гэть на берег скорее! И подальше!.. Лодки берите... не ровен час, не удержу...

Он не говорил, он выстанывал каждое слово, отделяя одно от другого тяжелым, кричающим выдохом.

Наспех одевшись, ребята собрались на дамбе у лодок. Места в них даже и с большой лодкой, на которой прибыл Незабудный, могло не хватить, чтобы сразу перевезти всех. Старый лодочник рассаживал притихших, еще не совсем все до конца понимающих школьников. В темноте раздался, как всегда, ровный, будто дело шло о посадке на автобус для экскурсии, голос Елизаветы Порфирьевны. Далекое всполохи миновавшей грозы отражались в волнах водохранилища и освещали стоявшую на самом краю дамбы Елизавету Порфирьевну, ее белые, вскинутые ветром волосы, клюку, которой учительница знакомо и строго постукивала в борт лодки.

– Спокойно, спокойно. Не спешите. Все успеем. Колоброды Мила! В чем дело? В чем дело? Садись вот сюда... Вот так, хорошо. Еще одно местечко есть. Спокойно. Тут два шага до берега. Ведь это только так, на всякий случай. Ничего страшного.

– Сначала девчонок давай!.. – Сеня тащил к лодке за руку Ксану. Она смотрела на него глазами, полными испуга и растерянности. – Ты

уж в случае чего там присмотри... Помоги ей, – обращаясь к Сурену, тихо попросил Сеня.

– А ты сам что?

Внезапно Ремка, которого уже отогнали от двух лодок, оттолкнул Ксану в сторону и сам попытался кинуться в подготовленную лодку. И тут – откуда только сила взялась – Сеня размахнулся и вlepил Ремке такую затрещину, что тот сел на землю, держась за скулу. И вдруг тихонько и жалко заныл, всхлипывая.

Пьер поднял его рывком за шиворот, потряс за плечо, стараясь как-нибудь привести приятеля в порядок.

Но тот продолжал нюнить:

– Ой, пустите! У меня мама нервами больная... Она на психическом учете. Она волноваться будет. Ей вредно.

Сеня, сам еще не веря, что он ударил при всех первого силача класса и даже сдачи не получил, стоял с полуоткрытым ртом, тихонько тер о бок занывший кулак. Противен ему был сейчас до тошноты Ремка, оказавшийся всего-навсего лишь плаксивым трусом, с которым можно было справиться даже без всякого особого секретного приема.

Ирина Николаевна, Сурен, Юра Брылев, Витя Халилеев, взявшись за руки, стояли на дамбе, у наружного откоса ее, образовав живое заграждение, чтобы ребята при посадке на лодки не попадали нечаянно в воду.

От берега уже тарахтели, приближаясь, моторы. Вспыхивали, прорезая ветреный сумрак занимавшегося утра, электрические фары. Визжали уключины на лодках, и чувствовалось, как торопятся там гребцы. Внезапно завыли тревожно гудки на шахтах. И в разных домах на берегу стали зажигаться огни. Загорелись фары автомашин, подъехавших к самому краю водохранилища и освещавших водную волнистую дорожку, по которой катера и лодки мчались к школьному островку. И на старой Сергиевской церкви заколотил набат.

...Поврежденная стена норвила подмять под себя Незабудного. С каждой минутой все неодолимее делалась тупая тяжесть ее. Старик стоял, подставив ей спину, уже упираясь ладонями в полусогнутые, широко расставленные колени. Многопудовый смертный груз, медленно наваливавшийся на стену изнутри, неотвратимо клонил Незабудного к мокрому полу.

Рассевшаяся каменная переборка каким-то чудом еще держалась. Ящики со снарядами и минами наклонно уперлись в край разлома, зацепившись расщелинами в подгнивших досках за углы выступавших кирпичей. Пожалуй, еще четверть часа назад можно было бы и выбраться отсюда. Тогда, как показалось Артему, оседание стены приостановилось более или менее надежно. Да, четверть часа назад еще можно было бы и бежать из этого гиблого места. Но теперь вода, должно быть подмывавшая фундамент школы, уже начала просачиваться в подвал. Незабудный слышал, как с легким плюханьем обваливались куда-то вниз комья земли. Сейчас уже нельзя было отпустить стену – обвалится и рванет. До прибытия людей с берега надо было выстоять, не прогнуться.

Фонарь, оставленный Ремкой, догорал. Пламя в нем начинало легонько попрыгивать. Некоторое время сверху доносились голоса ребят, поспешно садившихся в лодку. Незабудному хотелось поторопить их. Чего они мешкают! Чего дожидаются? Его угнетало, что дети еще на островке. Скорее бы отплывали, скорее бы подальше они были! А там их, как только весть до берега дойдет, уж увезут, укроют от опасности. Он держал мышцы своего необъятного тела в пределе неистового напряжения. Но насколько могло его хватить? Рано или поздно силы оставят его... Успеют ли только ребята выбраться на берег? Он услышал легкое ехидное журчание в провале, куда норвила осесть стена подвала. Как бы не пошел и сам фундамент. Вода, должно быть проникая теперь откуда-то, размывала ложе, на котором столько лет под зданием школы покоились смертоносные снаряды.

Что-то скользнуло по его ноге, юркнуло в сторону, вернулось и снова царапко заелозило над щиколоткой. Он глянул вниз и увидел с омерзением, что это большая всполошившаяся крыса мечется, кружится по подвалу, шмыгает через его ногу, попискивая. А он не то чтобы пришибить – шевельнуться даже не мог.

Артем Иванович старался не глядеть на суматошно юлившую у его ног гадину. А она все тыкалась, пробовала вскарабкаться по штанине – и, когда он осторожно подергивал мышцами ноги, шлепалась обратно наземь.

Вот с кем ему пришлось делить свой смертный час – с крысой, с гнусной крысой!

Наверху стало стихать. И вот все сковала уже полная тишина. А он был замураван здесь, в толще этого безмолвия. Ощущение полного безнадежного одиночества показалось ему еще более тяжким, чем смертоносный груз, под которым он был уже почти погребен. «Мерзавцы, каты! – думал он. – Вот что они тут припасли!» Смерть, прихоронившаяся на десять – двенадцать лет, была спрятана в этой тяжести, навалившейся сейчас на него. Смерть, так долго и терпеливо ждавшая своего часа, теперь готова была при малейшем движении его прыгнуть и мгновенно совершить страшное дело уничтожения.

«Беда! Погано дело! – думал Артем. – Меня уже не хватит. Лет десять назад, может быть, еще хватило бы, а сейчас уж нет. Амба...»

Ему давно уже хотелось поглядеть, что это поблескивает, отражая свет фонаря, в нише стены – там, где кирпич держался еще крепко. Уголком глаза видел этот блеск, но не мог рассмотреть, что там сверкает. Тяжесть давила ему и на натруженную шею, подминала затылок. Все же он осторожно повернул голову влево и увидел в нише стены у самого пола кубок, его кубок. Тот, который пропал тогда на школьном вечере. Маленький серебряный атлет, стоя одной ногой в могиле, опираясь другой на край ее, напрягая выпуклые мышцы руки, поддерживал над головой тяжелую чашу. И даже поразило Артема Ивановича, как странно в этот смертный его час повторяет маленький гладиатор то, что делает сейчас сам хозяин кубка. Как удивительно совпадает поза атлета на кубке с той, в которой придерживал грозившую каждое мгновение рухнуть стену Артем.

Плохо. Сердце опять проваливается куда-то, и что-то мягкое, путающее мысли заваливает голову... Нет, пусть скорее откапывают! Скорее! Я уже не могу больше работать «Могилу гладиатора». Воздух кончается. Его уже нет в легких. Меня зарыли не так. Надо было оставить просвет под брезентом, как это всегда делали. Теперь уже поздно. Скорее откапывайте! Все кончено. И воздух, и все. Сейчас, может быть, его еще отроют и все будут свистеть, что он не выдержал срока и провалил номер...

Потом ему показалось, что это Зеп Гегенхаммер навалился на него и надает ему по шее своими тяжелыми «макаронами». Нет, господин Зеп, нет, Гегенхаммер, на этот раз вам не пройдет. Жми, жми – не согнешь. Врешь, толсторожая жаба, врешь! Да, это ты! Я узнал тебя. Это твоих рук дело. Но сейчас у тебя ничего не выйдет. Ни

черта у тебя не выйдет! Я выстою. Я тогда был один, совсем один. Никого со мной. А сейчас я тоже один, но со мной все. И я тут за них. Сеня, хлопчик, я за тебя, я за всех вас! Гребите дальше. Я выстою.

Все уже путалось у него в голове и мутнело в глазах. Фонарь сдыхал, исходя копотью. И копоть эта как будто постепенно сгущалась вокруг, и именно от нее все темнее делалось в подвале.

Вдруг Незабудный услышал сверху:

– Дядя Артем, а дядя Артем?.. Вы живой? – Это был голос Сени Грачика. Он перевесился головой вниз через край люка. Он говорил почему-то полусшепотом.

– Ты зачем?.. Куда еще? – яростно прохрипел Незабудный.

– Дядя Артем, вы чуточку продержитесь, совсем чуточку... Уже видно – с берега плывут. А я в темноте с лодки смылся к вам... Я не хочу, чтобы вы тут один. Мне можно вам подсобить, дядя Артем?

– Не гоношись лучше. Уйди, прошу.

Но Сеня уже спустил ноги в люк, нащупывая ступени лесенки. На секунду повис, держась за край руками, и как можно легче спрыгнул вниз.

– Тихо! Смерти захотел? – выдохнул прерывисто Незабудный.

Сеня с ужасом осмотрелся. Страшная картина открылась перед ним. Артем Иванович продолжал, плотно опираясь затылком, локтями и плечами, вцепившись пальцами в полусогнутые колени, поддерживать насевшую на него стену. На краю расщелины, неведомо как, еще удерживались остроконечные, чуть посверкивающие в копотном свете фонаря снаряды, тяжелые тупоносые бомбы, полузащитые в треснувшие доски. Пламя в фонаре попыхивало, тени перемещались, соскальзывали, и казалось, бомбы колеблются на весу. А может быть, они и вправду покачивались в случайно возникшем и неверном равновесии, которое могло быть нарушено самым незаметным движением.

– Не подходи! – сипел Артем. – Ну кто тебя звал, гаденок? Гэть отсюда!..

Но Сеня не уходил. Нет. Он не мог оставить тут одного в этом черном, гибельном одиночестве деда Артема. Он видел, как ломит силу великана ужасающая тяжесть.

– Сенечка, хлопчик! – натужно выговорил Артем. – Одно прошу... Только ты тихонько. Тварь тут валандается у меня по ногам.

Отгони ты ее, пакостную... Я этих голохвостых хуже смерти боюсь.

Сеня на цыпочках приблизился к показавшейся под стеной крысе. Та шарахнулась и с писком свалилась в провал. Слышно было, как всплеснулась внизу вода.

– Спасибо тебе. Измучился я с ней, – сказал Артем. – А теперь погляди, прошу... который у меня час.

Сеня сел на корточки, вывернул голову и заглянул на ручные часы Артема Ивановича.

– Два без четверти. Сейчас приедут, вот увидите! Еще чуток продержитесь, дядя Артем.

– Шел бы ты отсюда. Христа ради. Богом тебя молю! Уйди Христа ради!

– Дядя Артем, не надо так! – осторожно, но настойчиво попросил Сеня. – Ну что вы меня «христареди» просите, как тот нищий Забуга? Не надо так... Незабудный замолчал.

Вот гордый мальчонка, не желает надеяться на бога. Людей ждет. А ведь самому поди куда как страшно...

– Дайте я вам подсоблю! – еле слышно шепнул Сеня. Ему казалось, что каждый громкий звук может вызвать взрыв, гибель всего вокруг. – Дядя Артем, помочь вам? Я вон ту кадку подтащу, а вы в нее упретесь. – Он понимал, что ничем не может помочь, такой слабенький и ничтожный, этому великану, державшему на себе уже верный час десятки пудов.

– Только тихонько, сыночек, – сипло попросил Артем. – Осторожненький будь... Если только сможешь, пододвинь. Верно, мне поспособнее будет... Сеня стал с величайшей осторожностью подкатывать толстобокую тяжелую кадку, стоявшую у другой стенки подвала. Откуда только сила у него взялась?

Незабудный исподлобья следил за ним:

– Легче... легче двигай. Ровней. Не тряхай... Вот так Гляди, сильный какой! А говорили: слабенький. Молодец!

Он уперся коленями в бок подставленной Сеней кадки. Положил сверху на край ее ладони рук, напряженно! переставляя их. Слегка расправил плечи. Стоять стало немного удобнее.

– Дедушка... уже едут... Пусти меня к тебе... Можно? – раздалось вдруг сверху. И в черном квадрате люка; показалось слабо освещенное снизу догоравшим фонарем лицо Пьера.



– И ты?.. Таки явился?.. – Артему Ивановичу не удалось изобразить, что он очень возмущен появлением Пьерки.

Ему давно уже хотелось спросить у Сени насчет Пьера: отплыл ли он со всеми? Что там ни толкуй, было бы все же обидно, если б чужой парнишка, пренебрегая опасностью и нарушив запрет, пролез сюда, а свой, усыновленный, так легко бы послушался и сбежал... Нет, ничего еще парень Пьерка. Не бросил. Человеком будет.

– Цыма ты там! – Незабудный, избычившись, двинул вверх косматыми бровями, поднял глаза к люку. – Влазь. Подсобишь.

Пьер сполз вниз. В молчании и смятении глядел он сквозь вздрагивавший полумрак то на деда, то на Сеню Грачика, которого уже никак не рассчитывал застать тут. Незабудный велел обоим мальчикам держаться поодаль от него, поближе к лестнице. Сам он уже весь намок от невероятного усилия и ни на минуту не облегчавшейся натуги мышц. Но то, что он сильно вспотел, несколько освежило тело, дав спасительное второе дыхание, которое приходит на помощь в минуту высшей усталости тренированным спортсменам. Насупившись, так как нельзя было разогнуть шею, но уже чуть повеселее смотрел он в полутьме из-под сдвинутых клокастых бровей на перепуганных мальчишек.

– Ну... что?.. Шли бы вы, хлопчики... У-ох... Лучше бы подале вам. Что? Перелякались? То не беды. Сдюжу. С такими хлопцами да не сдюжить... Ох и жмет! Ну, чего журитесь? Ему уже хотелось как-нибудь успокоить и утешить ребят, которые вопреки наказу не бросили его в эту страшную минуту. Внезапно усы его вздернуло задорной усмешкой. И он одним глазом, к удивлению ребят, подморгнул им, двинув бровью, вставшей от этого торчком.

– Смеха!.. Ну-ка, Пьерка, ты бы рассказал Сене... Ух, жмет, сила окаянная!.. Расскажи, говорю, про того американца, что за стенку держался... О-ох... Запомятовал, что ли? В журнале сам ты мне показывал. Ну?

– Не могу я сейчас, дедушка!.. Ну что ты! – взмолился Пьер.

– Что значит – не могу? Мне, что ли, прикажешь? И без того... ы-ы, тяжело...

– Говори! – шепнул Пьерке Сеня, кольнув его локтем в бок.

Но тут за стеклом фонаря в последний раз торкнулось уже давно мигавшее пламя, пыхнуло дымком и погасло. Черная, словно вязкая

тьма утопила в себе все, отделив мальчиков от Незабудного, возможно, уже навсегда. Но из непроглядного и беззвучного мрака снова послышалось натужное кряхтенье и тихий, сдавленный бас:

– Вот. Ох!.. Посумерничаем... Не скучай, хлопчики. Ну, давай, Пьерка. Сказывай.

– Ну... Это, когда еще война была, произошло, – запинаясь, еле слышно, закартавил Пьер.

– Ты пошибче... А то мне не слышать...

– Это было еще во время войны, – громко повторил бедняга Пьер.

И Сене, которому после памятной вечеринки у Милы Колоброта уже не приходилось слышать, чтобы парижанчик рассказывал кому-нибудь вычитанные им анекдоты, довелось теперь в кромешной тьме, в двух шагах от готовых каждое мгновение взорваться мин, узнать новую историю... Если бы рассказать ее на поверхности земли при ясном солнышке и подходящем случае, она и правда могла бы показаться занятной... А сейчас Пьер путано и нескладно, сопя затаенно носом и едва не всхлипывая, рассказывал о том, как в полуразрушенном городе, только что отбитом у неприятеля, офицер увидел пьяного сержанта. Тот упирался обеими руками в уцелевшую стену разбомбленного дома. «Что вы тут держитесь за стенку, сержант?» – «Никак нет, сэр, напротив: это я ее держу». – «Болван! Вы пьяны. Марш в свою часть!» – приказал офицер. «Есть в свою часть, сэр», отвечал сержант и, от козыряв, шагнул в сторону. Стена упала и прихлопнула офицера. – Вот то-то и оно! – Слышно было сквозь кряхтенье в темноте, что Незабудный осторожно похохатывал. – Бац – и пришибло. Что, хлопцы? Ай да сержант!..

Тут как раз наверху послышались наконец голосу На лестнице уже шуршали торопливые, осторожны! шаги.

Мальчики сорвались с места, стучаясь в темноте плечами, вскарабкались по лесенке, просовываясь в люк крича изо всех сил:

– Скорее!.. Идите! Сюда идите... Скорее, только тихо совсем... А то тут...

Чьи-то руки расшвыряли их в темноте. Сильные лучи карманных фонарей одного, потом второго – ударили через люк в подвал. Скрестились, заскользили вместе. Два пересекающихся светлых круга двигались по стене, похожие на светящуюся карту земных полушарий.

Потом лучи разомкнулись. Кто-то скомандовал коротко в темноте. Слов Незабудный не расслышал, но узнал голос своего давешнего ночного гостя.

– Чей мальчик? Почему здесь?.. А этот? В чем дело? Почему не на берегу?..быстро и отрывисто спрашивал тот.

Подвал заполнялся людьми. Они бесшумно двигались, ловко минуя друг друга в полумраке. Не было ни суеты, ни толкотни. Вмиг, но осторожно приблизились саперы к полуразрушенной стене, по которой бегали лучи фонарей. Тотчас же подтащили неизвестно откуда взявшиеся балки, подперли оседавшие камни. Кто-то бережно, но уверенно и сильно взял под мышки Артема Ивановича. И он почувствовал, как ненавистная тяжесть, столько времени наседавшая на него, вдруг отпустила. Он стал медленно разгибать сведенное до окостенения тело.

– Попить бы... – прохрипел он, шатаясь.

Человек, который недавно был ночным гостем его, поддерживая за локоть Незабудного, подал ему фляжку. Артем Иванович жадно плотал прохладную воду, чувствуя, как сладостно остужаются его словно перекипевшие внутренности. Человек, бережно державший возле его рта фляжку, только приговаривал:

– Ну и ну, Артем Иванович! Выручили, дорогой... Ну и ну!..

А саперы тем временем уже действовали. Тонкие, проворные пальцы их, блевшие в лучах электрических фонарей, ощупывали через пролом снаряд за снарядом, мину за миной. Эти умные, настороженные и бесстрашные пальцы проникали через щели в трухлявых ящиках, еле заметными движениями отгребали землю, легонько соскребывали окалину, вьвшуюся в проржавленный металл. Саперы подкладывали бережно ладони под железное брюхо бомб, под готовые от малейшей оплошности подломиться кожуха мин, осторожно разводили провода. Они нашаривали взрыватели, извлекая их с той строгой и сосредоточенной снисходительностью, с какой опытный укротитель змей вырывает ядовитые зубы из пасти кобры.

– Да-а... Щепетильная ваша работа, – промолвил, несколько поеживаясь, Незабудный.

Саперы, негромко переговариваясь, продолжали свою кропотливую и опасную работу, настойчиво и безбоязненно

прикасаясь к снарядам, каждый из которых грозил мгновенной смертью при малейшей ошибке.

Один из них вынимал из расщелины стены рубчатые, как кукурузные початки, гранаты «ПОМЗ»; сосед извлекал полусгнивший деревянный корпус «ПМДБ».

Третий осторожно складывал на пол плоские, круглые металлические коробки, смахивающие на те, в каких обычно возят киноленты.

Минеры работали спокойно, лишь изредка обмениваясь краткими замечаниями:

– Вазелинки!

– Эски!

– От скрипуна – к шестиствольному миномету.

– Принимай! – со сдержанной торопливостью приказал вдруг один из минеров.

Из провала стены заскользила, все убыстряя свое злое злое наползание, огромная, похожая на акулу, бомба. У нее было длинное, тупоголовое, узкое к хвосту, оперенному стабилизаторами, тулово. И снова выпрямился Артем Незабудный, не чуя страшной слабости, только что подступавшей к сердцу, отжал в сторону минеров, принял свои объятия многопудовое чудовище, словно окольцованное у хвоста стальной манжетой.

– Полегче! – предупредили его сзади.

Какой-то неуловимый, юркий звук, словно кто-осторожно выклевался из бомбы, егозил под обшивкой ее. Подбежали трое молодых саперов, хотели принять из рук Незабудного тяжеловесную бомбу. Но он снова отвел их плечом и, тяжело ступая, поддерживаемый под локти шаг за шагом подвигался к лестнице под люком.

Он помог поднять бомбу наверх. И вместе с саперами вынес страшный снаряд на насыпь, где бомбу осторожно погрузили в лодку, которая тотчас же отплыла с несколькими саперами.

От чудовищного перенапряжения Незабудный вконец обессилел. Ноги уже не держали его. Он сел на дамбу отвалился, прислонясь спиной к откосу. Отлежавшись немного, он снова поднялся и хотел опять сойти в подвал, где, может быть, нужна была его сила, чтобы

помочь саперам. Но его недавний гость крепко взял за локоть Артема Ивановича и, встав перед ним, загородил собой дорогу.

– Не пущу, Артем Иванович. Как хотите, не пущу. Требую, чтобы вы немедленно на берег. Поглядели бы вы на себя. Как это вы еще только на ногах стоите? А тот не чувствовал уже ни усталости, ни боли. Никогда еще он так не гордился своей силой. Вот теперь наконец она по-настоящему пригодилась. Ни разу в жизни, кажется, еще не был так счастлив Артем Незабудный.

Рассветало. Бледная полоса неба в разрыве уходивших туч на востоке отражалась в глади успокоившегося водохранилища. Играли петушиную свою зорю кочеты во дворах Сухоярки. Сейчас запоют и гудки на шахтах, зовя к утренней, смене. Но все еще полнилось предрассветным покоем. И сладостно было Незабудному вслушиваться в тишину, властвовавшую над этим с детских лет ему родным и сейчас им убереженным от погибельной беды краем.

Взрыв!!! Всеоглушающий грохнул взрыв... Его чудовищный звук вломился в уши, жгутом полоснул по глазам и ударил нестерпимой болью в сердце. Незабудный повалился на дамбу.

Но он еще нашел в себе силы приоткрыть глаза. Он увидел, что все, обступая и склоняясь над ним, всматриваются со страхом... Ему показалось, что все вокруг слышали тот сокрушительный удар и, должно быть, испугались. Он прежде всего хотел успокоить людей.

– Тю! – Он повел коснеющим от боли ртом. – То не беды... То у меня вот... ось тут только...

В Сухоярке живой души уже не было. На мертвенно-пустых улицах горели все электрические фонари, ставшие теперь желтоватыми при свете начинающегося утра. Их, видно, забыли погасить. Дождь совсем уже кончился. Только ручейки, виляя и перепиликиваясь в тишине, как утята, сбегались со всех сторон к водохранилищу. Поднятые по тревоге из-под земли шахтеры и комсомольские патрули увели людей за холм, на безопасное место, в песчаные карьеры. Саперам еще предстояло работать в подвале на островке несколько часов. Необходимо было соблюдать осторожность. Командир саперов разрешил вернуть жителей на место лишь после того, как все будет проверено и станет ясно, что не осталось больше ни одной мины.

Артема Ивановича нельзя было везти далеко. Доктор Левон Ованесович, прибывший в машине «скорой помощи» на лодочную пристань, куда доставили расprostертым на дне дощаника Незабудного, заявил:

– В данную минуту больной нетранспортабелен.

Кто-то на берегу напомнил было, что район объявлен небезопасным, и надо бы и самому доктору... Но Левон Ованесович так плюнул поверх очков на говорившего, что тот мигом смолк. Доктор между тем уже расстегнул рубашку на широкой выпуклой груди Незабудного. Пальцы у доктора были быстрые, настойчиво пытливые, бережные, как у тех саперов, что сейчас разминировали подвал на островке.

Потом Незабудного осторожно, с великим трудом – так он был огромен и тяжел! – перенесли впятером в домик лодочника. Доктор Арзумян сделал укол и попросил всех выйти, чтобы оставить больного в полном покое. Доктор выглядел очень озабоченным.

Машина с красным крестом умчалась куда-то, но вскоре же вернулась. Из нее выпрыгнула девушка в белом халате, прижимая к груди что-то похожее на большого гусака с очень тонкой шеей. Это была кислородная подушка. Девушка взбежала на крылечко домика и, открыв локтем дверь, скрылась за нею. Сеня и Пьер терпеливо и безмолвно сидели на крыльце домика, смотрели на дверь и ждали, что будет. Их переправили сюда на том же дощанике, на котором вили Незабудного. Сейчас все о них забыли.

Подошла лодка с островка. С нее шагнули на берег Никифор Колоброта и Богдан Анисимович Тулубей с перевязанной головой. Богдан Анисимович, бесшумно ступая, не скрипнув дверью, вошел в домик. А Никифор Колоброт приблизился к ребятам. В руках у него посверкивал кубок, оставленный впопыхах там, на островке.

– Этот, что ли? – спросил Колоброта. – Там оставался. Вот, значит, нашелся.

Мальчики молчали. Они только голову повернули на миг и снова впились в дверь. Она тихо открылась. Показался Богдан Анисимович.

– Ну как? – осведомился Никифор Колоброта.

Богдан Анисимович только головой покачал.

– Тромб! – произнес он короткое, плотное слово, будто налитое тяжким свинцовым значением. – Закупорка сосуда, доктор говорит. От

перенапряжения.

Послышался поблизости шум автомобильного мотора с характерным погромыживанием металлического кузова. Из-за угла выкатил порожний самосвал. Сеня сразу узнал машину отца. На большой скорости самосвал подлетел к лодочной пристани. Обе дверцы кабины распахнулись. На землю легко соскочила Галина Петровна Тулубей. С другой подножки прыгнул Тарас Андреевич Грачик.

– Что с Артемом? – беспокойно спросила Галина Петровна. – И кто это разрешил тут ребятам оставаться? Всех вывезли, а эти что за особенные?.. Можно к Артему?

Богдан Анисимович остановил ее и незаметно показал себе за спину, на мальчиков.

– Не велел доктор никого пускать... Худо. Вот как в жизни чудно складывается, Галя!.. Гора-Человек, на три жизни хватило бы в нем. А тут вот эдакая, – он отмерил ногтем на пальце, – и проточила мышь гору.

– Может быть, все-таки зайти мне, Богдан? – неуверенно сказала Галина Петровна, которую муж незаметно отводил в сторону от ребят.

– Лучше не надо, Галя. Разбередишь человека. Нельзя ему. Меня и то Левон Ованесович за дверь выставил. Говорит Артему: «Может быть, довольно разговоров на сегодняшний день?» А тот, понимаешь, еле языком ворочает, но боль чуток у него полегчала, как ему укол сделали, так он сразу за свое: «У меня, говорит, может быть, завтрашнего дня и не будет, доктор». Доктор ему: «Хватит разговоров». А Артем на это: «У меня, говорит, доктор, разговоры только-только и начались. Все у меня, говорит, в жизни не о том речь шла, о чем бы надо». Ну, доктор и велел всем выйти. С ним и так уже намучились. Артем все, понимаешь, как у него чуточку отпустит, так ничком лечь норовит: «Не хочу, говорит, понимаешь, чтобы смерть меня тушировала на обе лопатки». Еле-еле его доктор с сестрицей уложили как надо.

Пьер сидел на ступеньках крыльца, упершись локтями в колени и ладонями зажав голову. Ему казалось, что он смотрит на все уже из какой-то дали, куда его насильно уволакивает непоправимое несчастье. Оно тащило его прочь от этих уже ставших ему дорогими людей. Отчаяние, какого он никогда еще не испытывал, било его всего.

Опять рушилось все в жизни, все, что с таким трудом было обретено, все, что складывалось во что-то наконец ясное и много впереди обещающее.

Дед Артем... Если не будет его, ставшего теперь самым родным и необходимым, страшно подумать, какая черная пустота зазияет опять в жизни. Ведь за его широкой спиной входил Пьер в новую, сначала казавшуюся такой непривычной жизнь.

Так когда-то, припав к крыше трамвайного вагона, въезжал Пьер под кров депо, где можно было отогреться и соснуть хоть немного в сухом месте, чтобы утром снова оказаться вышвырнутым на холод, в бездомный долгий день, под слепое, безучастное небо. Неужели же опять гнало его в пустоту, чужую, неприкаянную, где и раньше не найти было мальчишке места, а теперь уже и не хотелось искать...

Он стучал зубами, не справляясь с ознобом. Отчаяние било его всего.

– Ну что ты, Пьерка... Не надо, – пробовал уговаривать его Сеня. Но того продолжало трясти.

Галина Петровна подошла к нему, села рядом на крыльцо:

– Петя... Ты не надо так... Погоди худое думать. Давай лучше надеяться будем, что справится дед Артем. знаешь какой?.. А случись что, о чем и думать не хочется, так ведь не в лесу останешься. Мы разве не с тобой все? Ты уж теперь наш. Что ж, ты по сию пору не разглядеть. Все озираешься волчонком, я смотрю... Ну, вставай, Петруша, поехали. Тут тебе сидеть никакого толку. Да: к ребятам тебя отвезу. Ну, вставай...

И он с порывистой готовностью схватился за протянутую ему небольшую, но так твердо обнадежившую руку я послушно пошел за Галиной Петровной к грузовику.

Сеня, боясь, как бы и его, чего доброго, не прихватили спрятался за углом домика и вышел оттуда только тогда когда машина с взывающим урчанием брала уже подъем от берега.

Он вернулся на крыльцо, потоптался тихонько возле двери, не решаясь приоткрыть ее, вздохнул и сел на ступеньку пригорюнившись. Потом он поднял голову, посмотрел на островок вдаль, где была школа. Перед его глазами ясно встала заново вся страшная картина, когда в слабеньком свете фонаря Артем Иванович держал на себе валившуюся стену. Он взглянул на кубок, который



Никифор Колоброда поставил на доски крыльца, оглядел стоявших чуть поодаль высокого, плечистого Богдана Тулубея и коренастого, приземистого и крепкого Колоброду. На всех как-то по-новому посмотрел Сеня. И так ему стало страшно, что среди этих дорогих, сильных и надежных людей, возможно, уже никогда больше не будет Человека Горы, деда Артема.

Он, должно быть, сам не заметил, что нечаянно всхлипнул. Но Богдан Анисимович вдруг обернулся.

– Ты что? – Богдан Анисимович подошел поближе и увидел мокрую дорожку, которую проторила по щеке мальчика украдкой смахнутая слеза.

– Такой он всегда был... всех в мире сильнее... и вдруг сразу...

Богдан Анисимович опустился на крыльцо рядом с Сеней, обхватив его плечи.

– Глупый ты парень! Думаешь, зачем же человеку сила, если все равно придет смерть и разом повалит... Нет, глупый ты еще, я вижу. Человек своей силой, может быть, не с одной, а с десятью тысячами смертей сегодня совладал. Ведь не останься он там да не удержи вовремя ту стенку, так что бы тут было?! Вот на что его сила великая сгодилась. Не хватает у тебя, вижу, понятия, чудачок, чтобы сообразить это...

Он помолчал немного, потом тяжелым, задумчивым взглядом обвел далекие берега водохранилища, над которыми уже всходило солнце, и добавил медленно, с силой:

– Гремело по всему свету и долго еще люди повторять будут это имя: Незабудный!

«Б-буд-дний!.. – подобно необъятному эху отдалось вдруг по всему горизонту вдали. – Б-буд-дний... Б-буд-дний!» – еще и еще раз сдвоенно подтвердила даль. Сеня ясно слышал, как вся округа далеко-далеко подхватила и благодарно повторяет это огромное имя.

То саперы подрывали далеко за водохранилищем переправленные туда, в степь, мины и снаряды, которые были извлечены из подвала на острове.

Слышали эти взрывы за десятки километров окрест. Услыхали этот избавительный гром и в районном центре, куда уже ночью донеслась весть о страшном кладе, открытом под школой в Сухоярке.

Затихнув, прислушивались сухоярские ребята, которых увезли на автобусах и грузовиках вместе с другими жителями километра за четыре от поселка – в песчаные карьеры.

Милиционеры и бойцы, стоявшие в оцеплении вокруг опустевшего поселка, поворачивали головы и посматривали в ту сторону, откуда докатывались валы гудящего грома.

И во всей обширной округе, уже встретившей солнце и радовавшейся, что жизнь продолжается, только один человек, вытянувшийся на тесном топчане лодочника, ничего не слышал. Старый доктор, склонившийся над ним опять, чтобы сделать еще один укол, отвел свою руку и, не глядя, отдал уже бесполезный шприц сестре. Потом он медленно повернулся сгорбившейся спиной к ней. И она, неслышно взплатывая, стала осторожно развязывать тесемки белого халата и помогла его стащить с бессильно опущенных плеч.

Доктор, устало переставляя натруженные ноги, вышел на крыльцо. И Сеня, вскочивший было навстречу, плюнул в лицо ему и сразу понял, что надеяться больше уже не на что.

## Эпилог

Год прошел с той страшной ночи. Целый год.

Давно уже переиграли эстафету. И кубок с серебряным гладиатором и оливиновой чашей стоял теперь на почетном месте в стеклянном шкафу зала новой школы-десятилетки, куда перебрались еще с начала учебного года бывшие островитяне. И, когда кончились занятия последнего весеннего школьного дня, Сеня Грачик и Ксана Тулубей вышли из дверей красивого, нового здания, где им предстояло учиться еще три года, и спустились на берег водохранилища. В некотором отдалении за ними следовали Мила Колоброта, Сурик Арзумян, Катя Ступина, Юра Брылев, Витя Халилеев. Все верные друзья-товарищи.

Сеня подошел к самой кромке воды – там, где маленькие волночки набегали на камни, которыми был уложен откос берега. Ксана присела чуть поодаль на один из камней.

День был ясный, хрустально-прозрачный. Водохранилище поигрывало едва заметной рябью. Легкий ветерок, охлажденный большим водным пространством, над которым он пролетел теперь по пути в Сухоярку, доносил запахи далекой, уже зацветшей степи. И прямо перед ребятами на островке, где когда-то была их школа, высился монумент – памятник Григорию Тулубею.

Ребята стояли на берегу и молча смотрели вдаль. Они часто приходили сюда. Это было их любимое место для прогулок. Тихо плюхалась вода у берега, зализывая камешки. С водохранилища донесся протяжный гудок. Это шел к районному центру теплоход «Григорий Тулубей», и на нем плыл Петр Кондратов, воспитанник Ленинградского нахимовского училища. Он сегодня должен был прибыть на летние каникулы к Тулубеям по приглашению бабушки Галины Петровны. Пароходы не заплывали в Сухоярку: не на главной магистрали была она, хотя и превратилась уже официально из поселка в город. Но большая вода омывала теперь город Сухоярку, гудела в трубах водохранилища и била в фонтанах на площади Ленина. Она ревела под землей в водометах-гидромониторах, о которых давно уже

мечтал Богдан Анисимович, теперь наконец добравшийся до любимого, давно загаданного им дела – гидродобыча угля, при которой исчезает губительная для дыхания шахтера угольная пыль, вызывающая болезнь силикоз – окаменение легких.

Большая надежная вода была во всем.

– Как тут хорошо! – сказала Ксана. – Правда, Сеня? – Она прикрыла плотно глаза, откинулась, сплетя пальцы на шее, и, запрокинув голову, плотнула сладкого весеннего ветерка...

Сеня, стоя у самой воды, оглянулся, посмотрел на нее. Его еще по-прежнему худые плечи за год заметно раздались. Он повел ими. Эх, и каким же сильным он еще будет! Сильным и добрым. Добрым и бесстрашным. И во всем справедливым. Никто пока еще даже не знает, каким он решил стать. Мускулы можно потрогать, но сердце – кто может знать, сколько в нем всего! Он нагнулся, отыскал в траве, росшей на откосе, камешек поплотнее, вправил его плотно меж согнутым указательным и большим пальцами, завел руку, оттягивая локоть назад, иг разворачивая плечо, присел, изловчился и метнул...

Камешек летел по-над водой, чиркая плашмя по глади, рикошета, оставляя разбегающиеся круги, словно нанизывая одно за другим на невидимую нить медленно расползавшиеся кольца.

– ...Пять! Шесть! Семь! – считали мальчишки за его спиной. Это было еще сравнительно новое для Сухоярки искусство. И никто не умел метать так, как Сеня.

Кольца разбегались, таяли.

– ...Восемь... Девять...

Пусть пока бесследно пропадают эти круги на поверхности. Но он будет и будет кидать раз за разом, день за днем. И рука у него отвердеет. И он найдет себе такое дело в жизни, от которого след не сойдет сразу и хоть не надолго, но останется. Ведь вокруг живут самые могущественные, самые стойкие и справедливые люди. И метать его учил самый сильный человек на свете.

*1956–1960, 1962*



# По морям, по волнам\*





В деревне Лаванка, что по-испански значит «Дикая утка», на воскресенье ждали моряков с советского теплохода «Кимовец».

Одиннадцать городов и девятнадцать деревень пригласили к себе кимовцев на воскресенье к обеду. В одиннадцати городах и девятнадцати деревнях чистили, вытряхивали праздничные ковры, готовясь подстелить их под ноги отважных гостей. Скребли большие противни, выкатывали бочки с вином, вывешивали на улице портреты Ленина.

Слава «Кимовца» далеко опередила гостей. В Лаванке все знали, что это за корабль.

Он прошел через семь морей, чтобы привезти посылки рабочих Одессы и Ленинграда, подарки ткачей московской «Трехгорки» ребятам Испании и их матерям. Сушеную рыбу, консервы, масло, мешки с зерном и теплые детские пальто привезли кимовцы республике.

Итальянские эсминцы сновали вокруг корабля, стараясь сбить с пути, когда он пробивался сквозь штормы к берегам Испании. Шпионы вертелись около судна в гавани, и неожиданно загорались вдруг ящики груза...

Самолеты Франко бомбили теплоход в порту, но сосредоточенно и невозмутимо, как у себя дома, работали кимовцы. Ночью они гасили огни, ставили заслонки в иллюминаторах и уходили в море –

скрывались в его просторах и влажной солоноватой тьме, чтобы не быть застигнутыми врасплох. А утром снова входил в гавань строгий и спокойный корабль, пришвартовывался к испанской земле, открывал люки, и – «Вира!.. Майна!» – летели по воздуху мешки, тюки и бочки. А на молу и вдали на бульварах набережной с утра до вечера толпился народ, и каждый ящик, каждый тюк, взлетающий на стрелах «Кимовца», вызывал аплодисменты и крики «Вива Россия!..» (Да живет СССР!)

В одиннадцати городах и девятнадцати деревнях ждали кимовцев. Но жители Лаванки перехитрили всех. Недаром они славились первыми ловчилами во всей округе. Хитрые лаванкийцы послали на корабль своего Антонио Чико, по прозвищу «Шоколад». А Антонио Шоколад был такой человек, что ему ничего не стоило захватить не только команду одного корабля, но и привезти с собой экипажи целого флота.

Антонио Шоколад был моряк, шофер, коммунист. Огромный и тучный, с темно-коричневым одутловатым лицом, толстогубый, с одной бесконечной бровью, сросшейся на переносице и перечеркнувшей лицо от уха до уха, он смахивал на араба. Антонио Шоколад надел свой новый монокомбинезон, вроде тех, что у нас носят летчики. Он подвязал под коленями два красных банта, чтобы подтянуть повыше штаны, сдвинул на затылок фуражку «тельмановку» – синюю с красным шнуром, укрепил на поясе парабеллум в деревянной лакированной кобуре и чуть свет отправился в гараж. Там он выбрал машину побольше, поярче, поголосистей. И ранним воскресным утром к «Кимовцу», на котором, кроме охраны, еще все спали, подлетел веселый яично-желтый автомобиль. На радиаторе его было укреплено чучело дикой утки с распластанными крыльями. Сзади, на багажнике, развевалось наподобие кормового флага красное знамя.

Тонио Шоколад нажал на кнопку сигнала. Он был неутомимым, и сирена его не замолчала до тех пор, пока все на «Кимовце» не проснулись. Тогда Тонио поднялся по трапу на палубу корабля, отрекомендовался, опять сбежал вниз, на мол, вытащил из машины ящички с апельсинами и заявил, что вся Лаванка ждет.

Одиннадцати городам и восемнадцати другим деревням пришлось уступить Тонио Шоколаду.



Через час Тонио уже мчал своих гостей в Лаванку. Шоколад был в прекрасном настроении. Он распевал за рулевой баранкой, раскачиваясь в такт песне. Он спел «Бандера Роха» и «Кукарачу», потом кудахтал курицей, подмигивал оглядываясь. Он был горд. С ним ехали моряки советского корабля: худой светлоглазый балтиец – помполит, боцман – пожилой украинец, два молодых моториста, механик, палубный матрос – председатель судового комитета – и корабельная уборщица Таня.

В Лаванке с утра готовились к приему. Распоряжался всем Лопес Сальваро – небольшой, худенький, седоватый крестьянин в вязаной жилетке и берете, сдвинутом на лоб наподобие кепки. Его считали чем-то вроде председателя крестьянской общины, после того как земли соседнего монастыря отошли к деревне.

«Меня интересует земля, а до неба и политики мне дела нет», – любил говорить Лопес Сальваро, подчеркивая, что он в бога уже не верит, но стоит вне всяких партий, хотя и болеет душой за дело Народного фронта.

«Эти русские моряки – молодцы! Это я как испанец могу им сказать прямо в лицо: молодцы! Они делают свое дело, а кто они, меня не интересует: анархисты, коммунисты, социалисты, – это не мое дело».

В деревне его называли шутя «Катаплазмой», что значит «припарка».

Лопес Сальваро был придирчивый человек, взыскательный и остроглазый. Замечая какой-нибудь недостаток в работе, в доме или на улице, он останавливал виновника, брал его за пояс и, слегка покачиваясь, как бы прикладываясь то одной, то другой щекой к груди собеседника, втолковывал ему различные простые правила о том, как подобает вести себя истинному испанцу, как следует работать на общей земле и как каждый должен теперь заботиться обо всех – иначе что же это будет, вообразите себе сами! Он оставлял затем совершенно изнеможенного этими поучениями собеседника, и тот хлопал себя по ляжкам, цедил вдогонку сквозь зубы: «О, Катаплазма! Пристал, как настоящая припарка».

Но сегодня все было готово без «припарки». И когда на шоссе раздался торжествующий рев сирены, а смуглоногая детвора деревни махнула через заборы и сады напрямик к мосту, Лопес Сальваро

осмотрел скамьи в саду, накрытые одеялами, большой стол, круглые противни, ряды кувшинов с вином, большую миску с огнедышащей водкой из маслин – и остался доволен.

Трубя и гроыхая, Тонио Шоколад ворвался со своей желтобрюхой машиной на главную площадь Лаванки. Дверцы лимузина мигом раскрылись, и растерянных, моргающих моряков приняли на руки. Уже знакомый морякам возглас «Вива Россия!» раскатился по окрестностям и отдался в ближайшем ущелье. А потом и помполит, и старый боцман с мотористами, и председатель судкома сразу увидели за крышами окрестности Лаванки: речку вдальеке, и белые развалины – следы недавнего налета, и далекие розовеющие апельсиновые плантации, откуда ветер доносил аромат зрелых фруктов, и горы за ними, – все это сразу стало видно им, так высоко качали советских моряков. Им не дали ступить и затем на землю! Их брали под руки, а под ноги подстилали половички, дорожки, ковры и так провели их к дому Лопеса Сальваро.

Старик приветствовал их поднятым кулаком, сжатым по обычаю Народного фронта.

– Маринос! – сказал он. – Маринос дель барко русса!.. Моряки советского корабля! Мы никогда не забудем чести, которая оказана нам. Весь мир знает, что вы храбрые люди, смелые люди. Вы друзья нашего народа, и – карафита! (черт возьми!) – меня остальное не касается. От меня до политики так же далеко, как отсюда до неба, а отсюда до неба так же далеко, как от меня до политики.

– О Катаплазма, – сказал Тонио Шоколад, хлопая его по плечу своей бурой ручищей, – до неба далеко только тогда, когда по небу не летят бомбовозы, а иначе кажется, что оно совсем рядышком.

Все расхохотались, и шутка Тонио пошла гулять по деревне, передаваемая из ряда в ряд через толпу и дальше – от дома к дому. «О, Шоколад! Это такой комик!..»

Но тут, расталкивая толпу, к морякам подбежали две пожилые простоволосые рыдающие женщины.

– Дети!.. – закричали они, перебивая друг друга. – Дети! А где наши, где наши сыновья?!

– Мой убит под Мадридом...

– Мой не дошел до Мадрида, он был убит здесь, вон на той улице. Прилетел аппарата, и все рухнуло. Мы лежали все, но мой Пабло уже

не встал.

Они обнимали моряков, припадали растрепанными головами к их плечам, и, как боцман ни прятал за спину свои руки, одна из женщин все-таки поцеловала жесткую, шершавую, как канат, ладонь боцмана.

– Ваши матери далеко, – громко кричала одна из женщин. – Сто приветов и тысячи благословений вашим матерям! А сейчас вы – наши сыновья, так войдите же в наш дом, посидите у нас за нашим столом. Пусто и скучно в нашем доме. Пусть его стены услышат голоса сыновей наших русских подруг. Ваши матери удачливее в жизни, чем мы. Войдите к нам в дом: мы будем помнить потом всю жизнь, что у нас был гостем человек из страны Россия.

Молодая женщина проталкивалась сквозь толпу, высоко подняв над головой годовалую девочку, сучившую полными ножками.

– Маринос, камарадос! Моряки, товарищи! Хотя бы минуточку, минуточку только! Уна момента! Подержите мою дочурку, пусть она наберется от вас силы... Пусть растет такой же сильной и доброй к людям, как люди вашей страны!

И Антонио Шоколад, растроганно крякая и сопя от волнения, неуклюже переводил эти возгласы, крики и жаркую скороговорку на тот понятный всем морякам международный портовый диалект, на котором изъясняются во всех гаванях мира. И гостей хватали за руки, и вводили в дома, и сажали на почетные кресла, и обнимали, и угощали. Советские моряки, смущенно покашливая, стараясь не глядеть друг на друга, чтобы не выдать слез, стоявших в глазах, проходили в дом. А потом в саду у дома Лопеса Сальваро на разведенные костры поставили огромные круглые противни, размером с большое тяжелое колесо. На них шипело сало, и Антонио Шоколад, оказавшийся, кроме всего, поваром, засучив рукава моно, припев на корточки около костров, поочередно что-то мешал то на одном, то на другом противне, мурлыча себе под нос в поддразнивая озабоченного Лопеса.

Вскоре на стол подали эти гигантские противни. На них оказался крупный полупрозрачный валенсийский рис. В нем были запечены мелко нарезанные куски курицы и множество ракушек с зажаренными в них моллюсками. Вокруг противней, на край их, было положено наподобие лучей множество ложек и вилок.

Лопес Сальваро и Антонио Шоколад выдавили по несколько лимонов на каждый противень, налили в стаканы вино из высоких кувшинов и пригласили всех к трапезе. Моряков посадили на почетные места, но они потеснились и уступили главное место Лопесу Сальваро. Моряки невольно чувствовали уважение к этому неторопливому седому человеку с упрямыми и въедливыми глазами.

Все разобрали ложки, вилки и ножи. Вытащив из горячей ракушки испекшегося моллюска, захватив кусок куриного мяса, зачерпнув кислотоватого, пахнувшего лимоном риса, каждый нес ложку через весь стол прямо в рот. Все это запивалось добрым кислотоватым и терпким вином, сперва из стаканов, а потом прямо из кувшина, запрокинутого над головой высоко, на вытянутой вверх руке.

При этом надо было так подставить рот, чтобы струя сверху угодила прямо в горло...

Весело и шумно стало в садике, и Антонио уже показывал приемы тореадоров, а потом сам стал на четвереньки, изображая быка, а Лопес Сальваро, взяв большой кухонный нож, прыгал вокруг него, и Тонио бодал Лопеса, и все умирали со смеху, а ребятишки на изгороди прыгали и визжали от восторга.

Потом Тонио Шоколад изображал однорукого скрипача. Это была шутка не совсем приличная, но очень смешная. Вдруг он исчез.

– Сейчас что-нибудь выкинет, – говорили испанцы. – Этот Шоколад, этот Тонио – кому уна кастаньета (веселый, как кастаньета) ... От него жди...

И действительно, через минуту на улице раздался топот, и в сад галопом влетел на крупной тяжелой лошади неутомимый Тонио Шоколад, с головой, обвязанной полотенцем, в простыне, переброшенной через плечо, с охотничьим ружьем в руках. Он вертелся на лошади, пугал девушек, грозясь наехать на них, и кричал, стреляя в воздух:

– Моро, мавр! Марокканец!

Он вопил и вертелся среди визга, хохота и шутливых, но увесистых тумачков, сыпавшихся на него. Кто-то сдернул его за ногу с лошади.

Когда все немного утихомирились и расселись снова, кто на землю, кто на траву, старый Лопес и Антонио Шоколад вынесли из

дома старомодный патефон, целый музыкальный комод с огромной ручкой, и Тонио, поплевав на ладони, принялся заводить его.

Ящик заводился с таким треском и Тонио так пыхтел, что казалось – он заводит трактор, а не патефон.

И вот наступило время выложить перед гостями сюрприз, который давно уже задумали Тонио и Лопес.

– Диско, диско... – заговорили все, подталкивая друг друга в бок локтем и подмигивая морякам.

Из недр музыкальной тумбы была извлечена старая, исцарапанная пластинка с глубоко выщербленным краем.

– Диско русо... Русская пластинка, – сказал Лопес Сальваро, поднося пластинку морякам.

Боцман нагнулся над пластинкой, повертел ее в руках и прочел на круглой наклейке: «Монолог царя Федора Иоанновича из пьесы А. Толстого „Царь Федор Иоаннович“. Исполняет артист Московского Художественного театра В. И. Качалов». Все потрогали пластинку: каждый хотел сам прочесть надпись на ней. Моряки заулыбались, словно получили весточку из дому.

– Откуда она у вас? – спросил помполит.

Лопес объяснил, что пластинка эта досталась ему от одного астурийского горняка, который после событий в Астурии жил некоторое время в Советской России. Потом в июльские дни 1936 года, когда он вернулся на родину, его убили жандармы, а пластинка осталась.

– Очень смешная пластинка, – говорил Лопес, – комическая. Мы часто ставим ее, когда гости бывают, когда свадьба. Нам приятно, что русское... Мы любим русское... Только непонятно... Очень смешно. Говорит, говорит так! Верно, приятный человек: очень весело говорит!

И вот Лопес положил пластинку на круг патефона, вставил иголку, запустил круг. Так как край пластинки был выщерблен уголком, пришлось ставить иглу не с самого начала, а с середины диска. Стало тихо, и сквозь шорох, скрип и пощелкивание вдруг пробился слегка картавый и теплый голос.

«Ненадолго и редко удается им обмануть крестьян, – слышали изумленные моряки. – Крестьяне знают, что только в союзе с рабочими сделают они...»

– Стойте! – закричал вдруг помполит вскакивая.

И все разом перестали улыбаться, даже детвора стихла на изгороди, ибо люди увидели, что моряк чем-то очень взволнован.

– Товарищи, это же Ленин!

– Ленин?!

И тогда все привстали. Как – Ленин?!

Лопес остановил патефон, помполит снял пластинку. Он вертел ее в руках разглядывая. И на лоснящемся диске сходились и расходились ножницы скользких бликов. Испанцы недоуменно переглядывались.

– Очень просто, – сказал помполит, – это пластинка раннего выпуска. Записана с голоса Ленина, известная пластинка, обращение к Красной Армии. А этот ваш астуриец, верно, нарочно наклейку переменял, чтобы можно было провезти пластинку с Лениным, а то бы, понятно, у него отобрали бы ее жандармы.

– Очень просто?! Ленин?! – повторил Лопес Сальваро, ударив себя ладонью в лоб.

Он растерянно оглядывал то своих, то гостей.

– Ленин!.. О, я пустая, выеденная раковина! О, я дурак, о, я старая каракатица!.. А мы ее пускали на свадьбе.

Он схватился руками за голову и сел на скамью, совершенно подавленный.

– Ничего, ничего, товарищи! – сказал помполит, кладя пластинку на круг патефона и запуская его. – Дело вполне простительное. Откуда же вам было знать? А вот теперь давайте послушаем по-настоящему. Ну-ка, товарищ Тонио, как можешь, переводи.

И в саду Лопеса Сальваро в деревне Лаванка, что по-испански значит «Дикая утка», над остывшими противнями и опустевшими стаканами раздался негромкий голос Ленина:

«Иногда называют себя коммунистами в деревнях худшие враги рабочего народа, насильники, прилипшие к власти ради корыстных целей и действующие обманом, позволяющие себе несправедливости и обиды против среднего крестьянина...»

– Одну минуточку, давайте разберемся, – говорил помполит, словно вёл занятия у себя на корабле. – Одну минуточку, – говорил он и останавливал патефон. – О чем здесь говорит Ленин? Он говорит о том...

И помполит разъяснил Тонио Шоколаду, мешая английские, французские, испанские и голландские слова, о чем говорил Ленин.

– Уже, уже понял, – торопился Тонио и переводил слушателям. – Ленин здесь говорит, что есть много всякого жулья и мошенников. Вот нацепят на себя всякие значки и изображают из себя прямо самых лучших приятелей Народного фронта, а на самом деле только пакостят... Вот вроде твоих друзей анархистов, – вдруг обратился он к молодому волосатому парню в черно-красном анархистском галстуке.

– Это неправда! Ленин не говорил об анархистах! – запротестовал тот.

– Не говорил, но имел в виду именно вашего брата.

Все рассмеялись, и кто-то, хлопнув парня по затылку, сдвинул ему на нос его двурогую шапочку.

Потом помполит разъяснил всем, что говорил Ленин о среднем крестьянине.

– Правильно, вот это правильно! – поддакивал Лопес Сальваро. – Ленин это действительно – вот! – И, встав на цыпочки, он высоко поднял руку, чтобы показать, как велик был Ленин.

– Но это же политика, Лопес, – поддразнил его Тонио.

– Для вас это политика, а для меня здравый смысл, – упрямо отвечал старик.

– О Катаплазма, скучный человек! – сказал Тонио. Помполит тем временем уже пустил иглу на последний круг диска.

«Стойте крепко, стойко, дружно! – говорил Ленин. – Смело вперед против врага! За нами будет победа. Власть помещиков и капиталистов, сломленная в России, будет побеждена во всем мире!»

– Это он нам говорит! – закричал Тонио Шоколад. – Даю честное слово, это он нам говорит: «Стойте крепко»! Понимаешь ты, Лопес, слышишь ты это, вытяжной ты пластырь? Или ты тоже будешь спорить?

Лопес молчал. Но еще и еще раз запускали пластинку, и снова переводил слова Ленина уже охрипший Тонио.

К вечеру гости уехали, увозя вороха крупных испанских роз с лепестками, плотными, словно из лайки. Ящики, корзины с апельсинами были привязаны на крышу кузова и подножку автомобиля. Когда гости уехали, Лопес Сальваро, закрыв двери и окна, вынул опять пластинку, засунул подушку в тумбочку патефона,

чтобы он говорил потише, и еще раз прослушал «диско». Потом он аккуратно снял пластинку, завернул в мягкую бумагу и осторожно упрятал в футляр.

\* \* \*

Весть о том, что у старого Лопеса Сальваро есть «диско» Ленина, облетела всю округу. Крестьяне из дальних деревень приезжали, чтобы послушать голос Ленина и толкования Лопеса. Если в деревне собирался митинг, то непременно теперь посылали Лопеса за заветным «диско», и на площади звучал голос Ленина, пущенный через усилитель.

– Слышишь, Лопес, отдай нам диско! – приставал к нему Тонио Шоколад. – Зачем тебе? Ты же далек от политики, как от неба.

– Тонио, – говорил Лопес, ласково беря за пояс своего друга, – ты говорил, что небо становится близким, когда на нем бомбовозы. Так вот, политика может стать тоже довольно близкой, когда о ней говорит Ленин, а не мальчишка с кастаньетами вместо языка.

Но все ниже и ниже спускалось на Лаванку дымное небо войны, все ближе и ближе становилось громыхание канонады, все плотнее подступала к Лопесу Сальваро политика, которой он так страшился.

Франкисты подвигались к Лаванке. Ушел на фронт Тонио Шоколад, склотивший из своих деревенских друзей летучий отряд. Их провожала вся деревня. Лопес крепко расцеловался с Тонио, и, уходя, отряд слышал несущийся из громкоговорителя голос Ленина с «диско» Лопеса Сальваро:

«Стойте крепко, стойко, дружно! Смело вперед против врага! За нами будет победа...»

Однажды зловеще и низко зарычало небо над Лаванкой, и три самолета с черными крестами на крыльях прошли совсем низко над деревней. Самолеты развернулись, набрали высоту. И быстро, все ближе и громче затопали разрывы. А потом часть улицы, вместе с домами, деревьями и землей превратившись в дым, прах и обломки, высоко взлетела в воздух.

Франкисты бомбили Лаванку. Но тут откуда-то сверху, из-за облака, с мотором, воющим от ярости, ринулся маленький пунцовый



истребитель. И сейчас же около одного из крыльев с крестом выросло желтое облако с багровыми прожилками огня, выросло, набухло, налилось, как киста. Через три секунды на земле услышали удар взрыва. Черный бомбовоз, вдруг весь обросший красными перьями огня и космами дыма, кувырком свалился с неба.

Маленький истребитель погнался за двумя другими машинами. Бомбовозы уходили в разные стороны, а «ястребок» носился от одного к другому...

\* \* \*



Войска республики оставляли Лаванку, проходя по мосту, через который в памятный воскресный день Тонио Шоколад примчал на своей машине советских моряков. Линия фронта, выгнувшись двумя кривыми рогами, охватывала деревню, и, чтобы не попасть в ловушку, республиканцы отступали. Последним прошел по мосту отряд Тонио Шоколада. Мало кто уцелел за эти дни в отряде, да и сам Тонио шел прихрамывая, на голове его резко выделялась белая повязка с проступающей на ней кровью.

– Идем, Лопес, идем, старина! – крикнул Тонио, кивнув своему приятелю. – Или ты в самом деле думаешь остаться, скучный ты человек?

– Я останусь на своей земле, – сказал Лопес, не глядя на Тонио.

– Бобо! – крикнул тогда не оборачиваясь Тонио. – Бобо! – крикнул он, а это по-испански значит «дуралей».

Через день с другого конца улицы вошли в деревню франкисты. Сперва по деревне прошли восемь запыленных, озирающихся по сторонам солдат в грязных моно.

Они шли с винтовками наперевес, заглядывая в окна и двери, и, прежде чем завернуть в переулок, осторожно высовывали голову за угол, всматриваясь.

Безмолвна была деревня, безмолвно шагали пришельцы. Через полчаса по улице, где уже часовыми стояли на перекрестках первые солдаты, проплыл большой отряд франкистов. Впереди шли люди, одетые в пеструю рвань. Стоптаные ботинки подхлестывали их, оторвавшиеся подошвы били по пяткам.

Они шли вразброд, спотыкаясь, вобрав грязные шеи в воротники комбинезонов, словно каждую минуту ожидая удара сзади.

За ними более уверенно, печатая шаг, шли небритые солдаты в новых куртках и хороших ботинках. Они шли с ружьями наперевес, не глядя по сторонам, держа равнение на жирного, обвисшего человека с крестиком на груди, с седыми усами и старомодной бородой, какие бывают у генералов на старых портретах. И видно было, что офицер очень уважает свою бороду, аккуратно расчесанную надвое – волосок к волоску. А кроме нее, все на офицере выглядело запущенным, неопрятным, заношенным, одетым кое-как. То и дело прикасаясь рукой к бороде, забирая нежно в ладонь то левый, то правый отрог, офицер неохотно выпускал ее из пальцев. И тогда

казалось, что человек идет, держась за собственную бороду, хватаясь за нее, как за последнюю свою опору. Идя несколько в стороне, бородач командовал хриплым и каким-то чужим для всех голосом, выговаривая испанские слова не чисто, хотя слишком старательно. «Итальянец, макаронник», – сразу решил Лопес Сальваро, поглядев на него через изгородь своего двора.

Франкисты расставили сторожевые посты вокруг деревни и на мосту. Солдат разместили в уцелевших крестьянских домиках. В доме Лопеса, который жил одиноко, поставили двоих. Бласко и Алонсо – так звали этих двоих.

Это были застенчивые крестьянские парни с длинными руками, торчавшими из казенных курток.

Лопес посмотрел на их руки, и ему не нужно было уже спрашивать, откуда эти двое. Он сразу увидел, что эти четыре узловатые широкопалые руки привыкли держать не винтовку, а мирный инвентарь крестьянского хозяйства, тяжелые вещи деревенского труда, обточенные прикосновениями целых крестьянских поколений.

– Мы вам не мешаем, отец? – сказал один из них, сутулый и горбоносый (его звали Алонсо), расстилая на полу у стены жиденькое клетчатое одеяло. – Очень хочется спать... Мы ведь тоже люди, – добавил он, виновато взглянув на Лопеса, который строго и неодобрительно глядел на него.

– Командир сказал: передохнуть, но не ложиться, – заметил второй.

– Я подохну, если не лягу, – проворчал Алонсо, с наслаждением потягиваясь на одеяле. – Бласко, будь другом, посторожи. Если я только прислонюсь к чему-нибудь, – крышка. Ты меня не добудишься до самой победы нашего генералиссимуса.

Оба зло засмеялись, но внезапно осеклись, бросив испуганный взгляд на Лопеса Сальваро.

– Ха, малыши, – сердито сказал Лопес, – ложитесь спать! Что вы клюете носами воздух, как слепые петухи? В моем доме вы можете спать спокойно. Там, за стеной, может идти война. Меня это не касается. Мой дом – это мой дом. Правда, я не звал вас в гости.

– Но-но, – сказал Алонсо, – ты шути, шути, да не забывайся!

Оба солдата растянулись на одеялах, и через минуту комната наполнилась храпом двух тяжело уставших, давно не спавших людей.

Лопес сел на пороге, чтобы выкурить свою вечернюю трубочку. Небо с крупными звездами высоко выгибалось над ним и снова казалось далеким и мирным. На улице было темно, только в нескольких домах, занятых солдатами, окна неуверенно светились. На мосту раздавались окрики патрульных, глухие удары оружейных залпов доносились из-за горной гряды. Потом где-то совсем близко раскатилось несколько выстрелов. В комнате зашевелились. Верно, незванные постояльцы проснулись. Лопес прислушался.

– Ха, Алонсо, слышал? Это щелкают где-то рядом.

– Лежи, лежи, пока это нас не касается.

– В сущности говоря, нас вообще все это не касается... Попали мы с тобой...

– Ты всегда, когда выспишься, начинаешь умничать.

– Разве не правда?

– Правда-то правда, да что ты так поздно проспался?

– А кто знает, если бы тогда мне дали хорошо выспаться, может, я бы наутро не сделал такой глупости. Мы бы с тобой были давно на той стороне.

– Что значит «на той стороне»?

– Это значит: по ту сторону фронта. Или на том свете... одно из двух.

– Я не понимаю, что ты крутишь со мной!

– На кой черт нам сдались эти черные бандиты! Ты же сам так думаешь.

– Я так думаю, но я так не говорю. Рекомендую и тебе болтать поменьше...

Оба помолчали. Лопес, привстав, напряженно прислушался. Вдруг тяжелые шаги затопали у самого крыльца, и Лопес рассмотрел в темноте громоздкую фигуру бородатого офицера. Лопес успел вбежать и предупредить солдат. Они разом вскочили, отряхиваясь, застегиваясь, оправляясь. В дверь уже шагнул офицер.

– Какого дьявола здесь такая темь?! Закройте окна и зажгите свет. Где ваши винтовки, дурачье? Вы хотите, чтобы вас перерезали в темноте? Или вы вздумали тут спать? Вы у меня живо прочухаетесь...

Лопес зажег лампу, поставил ее на стол. Лампа осветила снизу расселину бороды, рыхлое лицо офицера, дряблые ноздри его широкого носа, набрякшие веки.

– Как тебя звать? – спросил офицер, обращаясь к Лопесу.

– Лопес Сальваро.

– Ага! – сказал офицер. – Ты, кажется, один из местных заправил? Что же ты не удрал с красными? Шпионить остался? Агитировать?

– Это мой дом... – начал было Лопес. Но офицер грубо прервал его:

– Мы дадим тебе другую квартиру, более подходящую. А ну, давайте-ка поглядим, почему этот домосед так дорожит своей лачугой...

Вынув тесак из ножен, сапогом разворошив постели, офицер принялся за осмотр комнаты. Солдаты, неуклюже топчась, бросая виноватые взгляды на Лопеса, двигали скамьи, выворачивали содержимое комода.

Лопес безучастно следил за этим разгромом, стоя в стороне, сложив руки на животе, вяло перебирая пальцами. Вдруг пальцы его судорожно сжались. Офицер подошел к музыкальной тумбе, открыл дверцу.

– А ну-ка, – сказал он.

Один из солдат стал вынимать пластинки. Лопес молчал. Офицер бегло проглядывал названия пластинок. Черные, лоснящиеся шеллачные диски, слегка повизгивая, соскальзывали друг с друга на стол. Это были валенсийские песенки, куплеты Аргентиниты, марши на выход тореадоров. Ничего предосудительного...

– Вот тут еще одна, – сказал вдруг неуклюжий Алонсо, нагибаясь к патефону и вытаскивая из нижнего отделения тумбы пластинку, завернутую в шелковый шарф.

– Давай сюда, – сказал офицер. – Эге! Да ведь это вовсе русская. Стоп! Хо! «Царь Федор Иоаннович...» Странно! Откуда у тебя русская пластинка?

У офицера вдруг стали очень веселые и снисходительные глаза. Он расправил бороду.

– Это мне случайно досталась в наследство... – забормотал Лопес.

– А ну, крутани-ка мне эту вертушку! – сказал офицер.

Онемевшими, как на морозе, руками Лопес вложил пластинку в патефон и завел его. Он долго не мог поставить иглу на диск, но наконец наладил его. Раздался шорох, щелчки и сипенье, и в комнате зазвучал знакомый картавый голос.

«...Их ничтожное меньшинство, – произносил этот голос. – Ненадолго и редко удается им обмануть крестьян...»

– Хе-хе! – старался выдать из себя смех Лопес Сальваро. – Это очень смешная пластинка, сеньор офицер. Мне говорил мой покойный приятель, это очень комично.

– Врешь, старая гадина! – вдруг заревел офицер, прислушавшись. – Втирай очки кому-нибудь другому, а не мне! Я слышу, о чем идет тут речь. Я сам бывший офицер русской армии. Это красная пластинка. Я в последний раз слышал такие словечки в двадцатом году, когда мы расстреляли за них одного говоруна.

Он ударил кулаком по мембране. Взвизгнув, игла пролетела по спирали диска. Схватив обеими руками пластинку, офицер занес ее над выдвинутым вперед коленом, что-бы переломить с размаху... Но в ту же секунду Лопес сорвался с места и неожиданно для самого себя ударил офицера сзади по голове тяжелым кувшином, схваченным со стола. Офицер молча и тяжело сел на пол, и Лопес успел выхватить у него из рук драгоценную пластинку.

– Вот! – промолвил Лопес, не зная, что сказать, и растерянно вертя диск в руках.

Двое солдат смотрели на него с ужасом. Младший пятился к дверям, выронив винтовку, которая с тяжелым дребезгом упала на пол. Высокий дрожал как в лихорадке.

– Это белый бродяга, – заговорил Лопес, с трудом переводя дыхание, – это наемный убийца. Они продавали свою родину, а теперь хотят продать Испанию. Его хозяев выгнали из России, а он бросил свою землю и теперь воюет для чужих хозяев. Видели, как он испугался пластинки? Это Ленин говорит в пластинке... это моя пластинка... хотя сам я не политик. Но политика здесь ни при чем. Надо понимать, что к чему. Ну, что вы молчите? Ну расстреляйте меня! Ведите к вашему...

– Беги! – сказал вдруг еле слышно Алонсо. И он отошел от дверей, давая проход Лопесу.

– Беги, мы тебя не тронем, это не наше дело...

– Нет, это ваше дело! – закричал вдруг Лопес – Вас за это дело расстреляют. Я без вас не уйду. Или вы меня ведите сейчас же к вашему коменданту, или идемте вместе. Я знаю тут все дороги. Я слышал, о чем вы тут шептались. Мы через полчаса будем у своих.

– Кто они, эти свои? – спросил второй солдат.

– Свои – это наши, – сказал Лопес.

– А наши кто?

– О бог мой, вот катаплазма! – рассердился Лопес. – Берите винтовки, – сказал он, когда увидел, что солдаты ставят в угол свои ружья, – берите с собой. Нечего идти с пустыми руками! Это пригодится в хозяйстве, – добавил он усмехнувшись.

Он оглядел комнату, печально покачал головой, потом взял со стола пластинку, засунул ее под фуфайку на груди, замотал шею шарфом.

– В случае чего, скажите, что вы ведете меня в командансию...

И они вышли на темную улицу. Лопес горбился и держал руки за спиной, словно они были у него связаны.

А справа и слева, чуть позади, шагали с ружьями наперевес два солдата франкистской армии, два солдата генералиссимуса Франко – Бласко и Алонсо. Их окликнули часовые у реки.

– Оле! Стой! Это Алонсо?

– Да. Ведем тут одного молодчика.

– Далекко?

– На тот свет...

– Ну, это близко. Вон в том овраге. Там уже лежит немало.

Когда редкие огни деревни скрылись позади, за горой, Алонсо проговорил:

– Слушай, отец, ты нас не подведешь? Понимаешь, мы, собственно, сами случайно... Мы служили у сеньора Кроче, и он нас сам записал в фалангу, а потом было уже поздно думать.

– Ты скажи за нас словечко, – перебил его второй, – а то как бы нас...

– Нам все равно, – сказал первый, – нам дела нет до политики, но мы знаем одно: с Франко нам не по пути. Ну его к дьяволу!

– Мне тоже нет дела до политики, – сказал Лопес, – но политика – это такая штука, что она вдруг сама приходит в твой дом, берет тебя

за горло, и ты должен сказать «вива» или «абахо» – «да здоровствует» или «долой».

– Мы один раз уже напутали с этим делом, – сказал Алонсо.

– Ну ничего, теперь мы крикнули «абахо» навсегда! – возразил Бласко.

– Теперь вопрос – скажут ли нам «вива» красные? Два оглушительных выстрела раздалась у них словно над самым ухом. Вспышки их озарили, казалось, целиком всю ночь. Лопес тотчас оказался на земле, к которой его прижимали два более опытных и бывалых в таких делах спутника. Он закрыл глаза, потом услышал вокруг себя топот множества ног, крики: «Контролядо! Документо!»

Чьи-то жесткие руки взяли его под мышки и поставили на ноги. Кто-то махал на него кулаками перед самым носом, кто-то толкнул в спину.

Он шел в темноту, спотыкаясь в толпе людей, один из которых крепко держал его за локоть и временами, когда Лопес запинаясь, легонько толкал его другой рукой в спину. Потом его ввели в какую-то палатку, полную бегающих угловатых теней на стенах и холщовом потолке. Качались фонари в руках людей, одетых в моно.

Лопес слушал. Бласко и Алонсо заученными солдатскими голосами называли себя и свою часть. Потом фонарь, поднесенный к самому лицу, ослепил Лопеса.

– Ну, а ты откуда? Что ты за птица?

– Лаванка... – начал было Лопес. И тотчас раздался густой хохот.

– Ага, он дикая утка! – закричал человек с фонарем. – А я-то думал: что это за гусь? Ну, есть у тебя хоть какие-нибудь документы?

Но у Лопеса не было никаких документов. Он неловко озирался. Спутников его куда-то увели. Фонари прыгали вокруг него.

– Меня знает Тонио Шоколад, – сказал Лопес.

– А Тонио Горчица тебя не знает? Или, может быть, тебя нам рекомендует Тонио Касторка?

Все смеялись вокруг.

– Так-таки ничего? – спросил шутник с фонарем. – А что у тебя там, за пазухой?

И, прежде чем Лопес успел опомниться, человек вытащил у него из-за пазухи пластинку и поднес к огню.



– Это и есть мой документ, – решился вдруг Лопес. – Это диско Ленина. Осторожнее, вы!.. Она и так треснула.

– Ленин?

И человек так удивился, что едва не выронил фонарь.

Все сгрудились вокруг них. Кто-то уже тащил маленький походный патефончик. Его поставили на складной табурет, и через минуту голос Ленина зазвучал в палатке.

– Ну и что? – закричал вдруг человек с фонарем, размахивая им. – Что это доказывает? Я не разберу ни слова. С таким же успехом можно сказать, что это сам Карл Маркс.

Все захохотали. Кто-то увесисто хлопнул Лопеса по спине.

– Я немного знаю русские буквы. Там написано «Царь Федор»! – закричал кто-то.

– Не найдется ли у тебя за пазухой чего-нибудь повернее? – закричали Лопесу.

– Нехорошо, когда люди грегочут как ослы, – сказал вконец обиженный старик.

Но вдруг все замолчали и вытянулись. Быстрыми шагами в палатку вошел худой человек в круглых очках, за толстыми стеклами которых смотрели не то прищуренные, не то запухшие от утомления глаза.

– Оле! У вас тут, я вижу, веселая вечеринка с патефоном, – как будто удивился человек, беря фонарь и разглядывая Лопеса.

– Камарадо комиссар... Товарищ комиссар! Эту перелетную дичь захватили вблизи от аванпостов. С ним были два перебежчика – они будто бы убили офицера. А этот принес за пазухой пластинку и уверяет, что это Ленин... Ну, мы ему и говорим...

– Уна моменто, минуточку, я уже потолковал с теми двумя, – сказал комиссар. – Где пластинка? Ну-ка, старина, разреши нам покрутить твою заветную юлу! Может быть, тебе выпадет счастливое очко.

И снова запустили пластинку, и снова мягкий картавый голос заговорил в палатке, пробиваясь сквозь шорохи, хрипы и треск.

– Смирно, встать! – закричал вдруг комиссар и сам выпрямился. – Это Ленин. Я слышал его на конгрессе Коминтерна в тысяча девятьсот двадцать первом году. Такие голоса не забываются. Это говорит

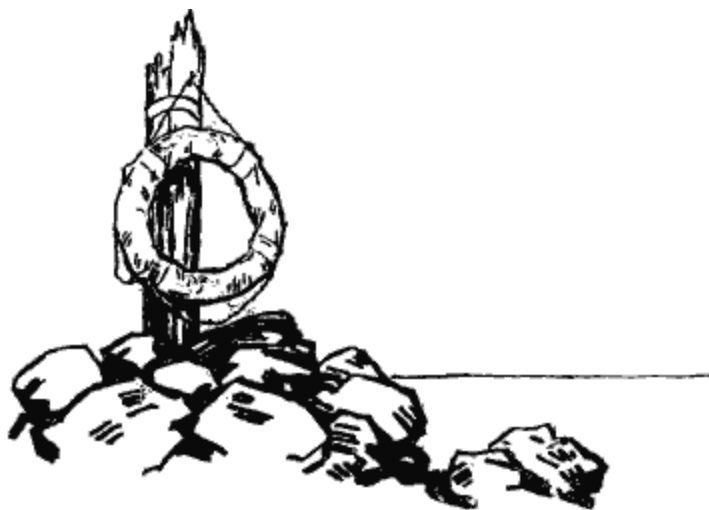
Ленин, камарадос! Ленин с нами, товарищи... Он говорит, что рано или поздно мы победим. Смирно! Мы еще будем наступать!

И люди стояли вытянувшись, застыв, сурово сжав кулаки, вскинув их вверх.

Фонари освещали плотно сомкнутые губы, ресницы широко раскрытых глаз... И давешний шутник, прикрывая фонарь рукой, чтобы свет не бросался в лицо, пробормотал Лопесу:

– Тысяча извинений, компанеро... Вы правы: я форменный осел! Присядьте. Вы устали, а надо набираться сил...

## Вдова корабля\*



Шаль эту мы выбирали вместе: боцман и я. Накануне Трофим Егорович Штыренко пришел в мою каюту, помялся немного, спросил, чтобы соблюсти приличия, не засоряется ли у меня умывальник, отвернул кран, пустил воду, убедился, что все исправно, а потом, как бы собираясь уходить, смущенно обминая на себе робу, проговорил:

– Вы не будете такие добрые, что завтра сходите со мной до города? Хочу посмотреть гостинец для жинки. Шаль там какую иль, мабуть, одеяло и прочее. В целом сказать, чтобы была память за Испанию.

Я согласился.

– Ну и спасибо, – обрадовался он. – А то я сам никогда ихнего, бабьего вкуса не понимаю, что им такое требуется. А вы, как помоложе, то, конечно, в этом деле еще разбираетесь. Так вот, будьте добрые, найдите времечко.

Наш теплоход «Менделеев» стоял под выгрузкой близ Валенсии. В Испании шла война, и далеко, за семью морями отсюда, дома, тревожились за нас жены. Рейс был опасный.

Из Батуми мы ушли ночью, нас никто не провожал. Со всеми простились еще с вечера. Я слышал, как в конторе порта наш старый боцман гудел в телефон, прикрыв рожок трубки своими сивыми обвисшими усами:

– Ну, счастливо, Феня, бывай здоровенька. Не сумлевайся, все в порядке будет... Феня... Фе-э-эня!.. Ты слухай!..

Он вздохнул, покосился на меня, совсем зарылся усами в трубку:

– Главное, зря не сумлевайся. Вполне обыкновенный рейс. К сроку будем... Здоровье береги, Феничка. Деньги в конторе двенадцатого получишь. Ну, счастливо, Феничка!

Он медленно, как допитый стакан, отнял трубку ото рта, бережно повесил ее на рычажок аппарата и клетчатым платком, купленным в Стамбуле, отер усы.

Я никогда не видел его жены, но по той нежности, с какой он говорил о своей Фене, и по осторожным шуткам, которыми команда намекала на запоздалую любовь нашего боцмана, составил себе довольно ясный портрет супруги Трофима Егоровича: маленькая тихая женщина, привыкшая терпеливо сносить долгую разлуку и благодарно радоваться недолгим дням свиданий, которые не так-то часты в семейной жизни моряка дальнего плавания. Я охотно согласился помочь боцману и пойти с ним выбирать гостинец, чтобы угодить его Фене.

Ночью нас бомбили. Пароход, стоявший под мексиканским флагом у стенки недалеко от нас, загорелся. У нас, на «Менделееве», все обошлось без происшествий...

Утром, пока мы шли от порта до города, Штыренко рассказывал мне о том, как хорошо у него дома, и до чего славно живут они с женой, и как она обрадуется гостинцу.

В лучшем магазине Валенсии – «Ольтра» – мы добрый час выбирали подарок для Фени. Увидев на моей фуражке золотого краба с красной звездой – герб Совторгфлота, и узнав, что мы «маринос дель барко руссо» – моряки советского корабля, – продавцы радушно выложили перед нами самые лучшие товары. Для нас расстлали на прилавках знаменитые валенсийские одеяла. Розы, тореадоры и пляшущие девушки были изображены на них. Они были так легки, эти одеяла, так пушисты, что края, казалось, тают в воздухе. Но выяснилось, что у жены боцмана уже есть дома хорошее одеяло. И кроме того, Трофим Егорович хотел привезти своей Фене такой гостинец, чтобы она могла в нем покрасоваться перед людьми.

– Только что-нибудь такое, поглаже. Да чтобы в глаза очень не шибало, – объяснил мне Штыренко. – А то не наденет: она у меня

тихая, в целом сказать. Да и годы ее уж под смиренный цвет подходят. Вот что-нибудь такое...

И после долгих взыскательных поисков мы наконец выбрали шаль. Как вам описать эту шаль?... Вот если бы снег был черным и из черных микроскопических звездочек-снежинок, одна к другой, было бы сплетено кружево, вот тогда, может быть, получилась бы шаль, которую мы выбрали с Трофимом Егоровичем в магазине «Ольтра». Она казалась сыпучей, готовой развеяться от дуновения ветра и осесть черными снежинками на прилавке. Продавец расправил шаль, взмахнул ею, как матадор плащом, и над нами пронеслась легкая тень, вся в блестках, вся прихваченная насквозь мерцающим светом... Потом скомкал ее, взял боцмана за руку, снял с его твердого пальца обручальное кольцо и пропустил через него всю шаль. Пышное кружево прошло сквозь узкий ободок, как черный песок через воронку песочных часов.

Эту шаль мы и выбрали для жены Трофима Егоровича.

На «Менделееве» шаль тоже одобрили. Вся команда перебивалась в каюте Трофима Егоровича. Боцман для каждого с великой охотой распаковывал сверток, и перед глазами матросов, механиков, мотористов, электриков взлетала сыпучая чернотазвездная тень кружевной испанской шали. А вечером сменившийся с вахты моторист Валахов, настроив гитару, пел нам, вздыхая и подмигивая боцману:

Смотрю, как безумный, на черную шаль,  
И хладную душу терзает печаль...

Трофим Егорович, довольный и сконфуженный, топорщил свои усы.

Что было с нами на обратном пути, вы, вероятно, помните, если читали газеты.

Мы возвращались домой и уже прошли мыс Матапан. Справа оставался греческий остров Кифера. По голым, каменистым склонам берега бродили скучные овцы. Как всегда, когда корабль проходил это место, Штыренко, убежденно гудя в усы, рассказывал, что греческие

пастухи тут своим овцам зеленые очки нацепляют, чтобы они лишай и всякую там дрянь за траву считали. До того это бедная местность...

Так разговаривали мы, сидя на палубе за камбузом. Валахов лениво нащупывал какую-то мелодию на гитаре. Солнце уже садилось за Матапан. И в это время вахтенный затопал над нами, скатился вниз с мостика и спросил нас, где капитан. Вид у него был такой, что мы сразу все вскочили и кинулись к борту. Пока я старался рассмотреть, что происходит на море, глазастый Штыренко, уже все поняв с одного взгляда, негромко и озабоченно пробасил:

– Подводная лодка на нас идет... Как в газетах пишут – «неизвестной национальности», но, по всей ясной видимости, сволочь... А ну, хлопцы, в целом сказать, давай по местам! Живенько, моментом!

Навстречу нам от архипелага, буравя волны, оставляя пенный след, несло узкое, злое и горбатое тело подводной лодки. Она мчалась прямехонько на нас. Нас уже предупреждали по радио о том, что в этих водах шныряют таинственные подлодки, топя мирные суда, идущие в Испанию или возвращающиеся оттуда. И мы поняли, что нам предстоит...

Сигналами нам приказали остановиться и дали десять минут на то, чтобы спустить шлюпки и оставить судно. Для большей убедительности, чтобы поторопить нас, с лодки выстрелили из орудия, и снаряд проверещал над нашими мачтами.

– Паразиты, чтоб им якорем печенки повыскребло! – пробормотал Штыренко.

По приказанию капитана он распорядился посадкой на шлюпки. Все уже спустились, матросы, стоя на взлетающих шлюпках, отталкивались веслами от борта корабля. На палубе оставался лишь боцман. Он хозяйственно связывал мешки с провизией, принес хлеб, опять побежал куда-то. В эту минуту без предупреждения лодка пустила торпеду. На шлюпках заметили ее и стали быстро отгребать в сторону.

– Штыренко, прыгайте! – приказал капитан, и боцман понял, в чем дело.

Он вскочил на планшир и бросился в воду. Но вместо обычного всплеска косматый столб воды, пронзенный огнем, ревя, встал там под самым бортом «Менделеева». Корабль стал оседать на корму. Мы

увидели среди обломков на воде, по которой расплывались бронзовые круги нефти, голову Штыренко. Обе шлюпки разом повернули к нему до того, как прозвучала команда. Люди не думали о гибельном водовороте, в который неминуемо втянет шлюпки, если они окажутся близко от опрокидывающегося судна. Штыренко вытащили на шлюпку, где сидел капитан. Боцман был тяжело ранен. Когда стали стаскивать с него робу, чтобы сделать перевязку, он застонал, прикусив обвисший седой ус, и тихо предупредил:

– Полегче, хлопцы, кровью не замажьте, – и стал тащить из просторного кармана робы мокрую черную шаль.

Часа через три мы добрались до острова Кифера. И там, на берегу, мы похоронили нашего боцмана. Перед самой смертью он взял меня за рукав, тихонько притянул к себе, чтобы я нагнулся, и жесткие усы его укололи мне ухо:

– Шаль ту... Фене передашь... Ребята адрес скажут... Передашь? Вместе выбирали. Цвет правильный... пришелся по форме... к случаю... Нехай носит по мне...

На могиле боцмана мы сложили памятник из камня, укрепили обломок мачты «Менделеева» и привязали к ней спасательный круг с нашего корабля.

Мне не удалось самому вручить шаль вдове Штыренко. Моторист Валахов отвез вдове нашего боцмана шаль вместе с моим письмом.

Года через три я попал в Новороссийск. Дела привели меня в порт. И там, на берегу, когда я уже собирался уезжать, до моего слуха долетели слова, заставившие меня вернуться.

– «Штыренко» еще не приходил? – спросил кто-то у человека в морской форменке, стоявшего у ворот порта.

– «Штыренко» с утра должен был прийти, – отвечал тот равнодушно. – Только это вам не железная дорога, гражданин. На море всяко бывает. Через час, полагаю, будет.

«Штыренко» пришел через три часа. Это было маленькое парусно-моторное судно, двухмачтовое, не очень опрятное, видимо запущенное. Но я увидел на спасательных кругах надпись «Штыренко», и, когда загудел на кораблике тифон, мне показалось, что это наш боцман своим знакомым гудящим баском стал звать жену: «Фе-э-э-эня!»

– Прибыл-таки наконец, – услышал я позади себя женский голос, грудной и сердитый.

Я обернулся. За мной стояла высокая, дородная женщина. Упершись в бока крепкими, узловатыми руками, она смотрела на подходящий кораблик строгим, неодобряющим взглядом. На могучие плечи ее была накинута черная кружевная шаль, которую я узнал с первого взгляда. Я хотел заговорить с женщиной, но она промчалась мимо меня в развевающейся шали. И едва с причалившей к стенке шхуны опустили сходни, на них появилась рослая фигура в черной шали.

– Эй, на «Штыренко»! – зычным, раскатистым голосом позвала женщина. – Ты что ясны очи выставил? – прикрикнула она на молодого матроса, вышедшего на ее зов. – Я тебе такое скажу – сразу заморгаешь. Давай сюда капитана вашего, я ему, водошлепу, выскажу, что причитается.





Она стала грозно подниматься по сходням. Доски гнулись под ней. Матрос пытался преградить ей путь, но она пренебрежительно отвела его рукой в сторону.

– Матушки родимые, чистый трактир развели, засвинячили корабель! Это разве судно? Тараканья лоханка это! Ах вы, курослепы, демоны, барбосы! Эх, Трофима Егорыча на вас нет!.. Знал бы он, на каком страме его фамилию держат, так раскидал бы всю могилку свою, бедняжка, да изобразил бы вам всем своими словами, чтобы вы могли понимать, какие вы есть. Чтобы вам всем кишки высмолило, бичкомеры!

Это было уж слишком. «Бичи», или «бичкомеры», – старая презрительная кличка моряков, которые не дорожат своим судном,

готовы идти на любой корабль. Всякий уважающий себя советский моряк презирает «бичей» и считает эту кличку оскорбительной.

– А ты кто такая? – спросил матрос, воспользовавшись тем, что женщина наконец перевела дух.

– Я вашему судну вдовой прихожусь, вот кто я! Скажи капитану: Аграфена Васильевна Штыренко пришла и хочет с ним иметь разговор.

– Касюк! – закричал матрос. – Скажи капитану, что Штыркина Солоха явилась.

Через минуту вся немногочисленная команда «Штыренко» вылезла на палубу. Капитан – маленький, живой абхазец Джахаев – почтительно пожал руку вдове и представил ей других членов команды: своего помощника Топусова, моториста Семенова, рулевого Касюка и кока Галюшкина.

– Галюшкин, – застенчиво поправил молоденький кок, сделав ударение на первом слоге.

Тут же капитан стал объяснять вдове, что судно только что возило марганцевую руду из Чиатуры, а известно, что после нее сразу корабль не отскребешь. А что касается опоздания, то на это были также свои веские причины.

Но вдова была неумолима.

– Никогда вы эдак не отмоете, – наступала она на капитана. – Вы только поглядите, разве так приборку делают? Морду себе небось перед свиданкой не так скоблите. А сейчас только грязь по палубе развозите. Что вы, ребята, на самом деле!.. Нет, морячки, у нас с вами большой разговор будет. Уж если такое название дали себе – вот у вас всюду написано: «Штыренко», «Штыренко», – то уж надо все соблюдать, как полагается. Что, я сама не служила, что ли? Двадцать три года ходила, все моря облазила, все ветры нюхала, из-за ревматизма только и ушла. Сироккой мне ревматизм надуло. А такого безобразия сроду не видела. Трофим Егорыч моряк был во всем справный. Мы и уголь возили, когда приходилось, а ни шута подобного безобразия у нас не было. Товарищ капитан, я этого дела так не оставлю. Или чтобы все было как следует, или я в управлении кому надо слово скажу, чтобы у вас имя сняли. Я своего Трофима Егорыча пакостить не дам. Вот весь мой сказ.

Через год я был в управлении Черноморского торгового флота. Мне захотелось узнать, как идут дела на «Штыренко».

– Ну что же, – сказали мне, – судно, конечно, не очень видное, план у него не ахти какой большой, но справляется молодцом. У них там история была забавная. Этого самого Штыренко вдова прямо истерзала их. А ребята там хорошие. Молодежь все. Только сперва обижались, что их на такую маленькую посудинку определили. А эта вдова не давала им прямо ни сна, ни отдыха. Ну и добилась своего. Теперь у них там и портрет Штыренко в кубрике висит: вдова подарила. Вообще все честь честью.

Может быть, вам попадалась на глаза маленькая заметка в «Правде», она называлась «Последний рейс „Штыренко“». Если вам интересно, я расскажу, как было дело, так как участвовал в этом рейсе.

Весной этого года я снова попал на «Штыренко». Я встретил его у стенки мола. На нем только что кончилась приборка. Все сверкало на кораблике. И отмытый до блеска, оттертый скребками, окаченный из брандспойтов, словно помолодевший, он предстал передо мной, мигом подобрав паруса, как человек, с которого парикмахер только что сдернул простыню.

Дородная женщина тряпочкой очень по-домашнему обтирала на корме ствол зенитного пулемета.

– Знакомьтесь, – сказал мне капитан Джахаев, – Аграфена Васильевна Штыренко, тетя Феня, так сказать, вдова нашего корабля.

– Мы как будто знакомы, – сказал я.

– С первых дней войны у нас работает, – продолжал капитан. – Явилась прямо с вещами и говорит: «Теперь не время мне на берегу отсиживаться. Вот вам моя мореходка, документы все при мне. Давайте, какая есть у вас работа. Пригожусь еще».

– А что, не правда, скажешь? – откликнулась вдова. Аграфена Васильевна, тетя Феня, была у нас чем-то вроде уборщицы, помогала она также и коку. Судно было небольшое – двести тонн, – экипаж маленький, но дела находилось много. И хотя характер у тети Аграфены Васильевны не исправился, к ней все очень привязались.

Недавно мы получили задание – отвезти боеприпасы на одну батарею. Берег там был занят немцами. Но как раз против берега расположился искусственный островок. На нем имеются казематы,

электростанция, пекарня – все это скрыто под землей. А сверху посажены маслины, акации, устроен палисадник, и в зелени незаметно укрылась батарея. Остров этот лежит дугой, словно подкова прибита на счастье. Только эта подкова была тут немцам на горе.

Батарея наша была с островка, беспокоила немцев. Но там как раз подошли к концу снаряды. Все запасы были израсходованы. Командование вызвало капитана Джахаева и дало ему задание доставить на остров снаряды.

Вечером Джахаев собрал наш маленький экипаж и передал приказ.

– Дело трудное, но почетное, – сказал капитан, – доверие, одним словом, оказано. Вопрос ясен.

Мы решили в этот рейс вдову нашу не брать. Дело опасное, крайне рискованное. Капитан нарочно отпустил Аграфену Васильевну до утра в город. А ночью мы тихонько снялись, подошли к известному месту, приняли груз и взяли курс на остров. Шли мы в полной тьме, не зажигая огней. Вдруг у входа в каюту я наткнулся на кого-то. Черная фигура показалась мне незнакомой.

– Это кто тут? – спросил я.

– Кто? – услышал я в ответ. – Уж и признавать не хотите! Это вы что же, барбосы, бегать от меня вздумали? И есть у вас после этого совесть или вы ее на берегу оставили?

Передо мной стояла тетя Феня. На шум спустился капитан.

– Ну что, понимаете, за баба такая! – пробормотал он.

Стали выяснять, каким образом тетя Феня проникла на судно. Оказывается, часовой просто пропустил тетю Феню, так как документы были при ней. А ребята, видно, в темноте проморгали. Она укуталась в свою черную шаль и прошла незаметно в каюту. Капитан даже рассердился, плюнул и накричал на Аграфену Васильевну. Но тетя Феня была не из таких, чтобы разрешить кричать на себя.

– Ты на меня не гавкай, капитан, – промолвила она и перекинула конец шали через плечо. – Я и в мирное время никому не позволяла, чтобы на меня голосом закидывались, а в военное время совсем не допущу.

Мы пробовали объяснить ей, что рейс у нас особенный и мы не хотели подвергать ее опасности.

– Значит, соленые огурцы возить – тетя Феня, пожалуйста, а как настоящее дело, так тетю Феню за борт. Очень премного вам благодарна. – Неожиданно она всхлипнула. – А что у тети Фени покойный муж от чертовой фашистской торпеды погиб, это забыли? Забыли про моего Трофима Егорыча?... Вы еще по берегу на карачках ползали, а я уже все моря обошла. У меня свой счет для фашистов припасен. У меня с ними война с Того дня идет, как Трофима Егорыча они убили... Говорите лучше, чего мне делать сейчас, за что приниматься.

Капитан только рукой махнул.

Нам нужно было проскочить мимо берега ночью. Днем бы нас немцы разделали из своих орудий. Известно было, что фарватер там между островом и берегом весь минирован и есть мели. Мы пробирались тихонько, идя самым малым ходом. Потом капитан велел совсем выключить дизель. Судно у нас было моторно-парусным. Подул подходящий ветерок, мы подняли гафель и осторожно двигались по фарватеру. В три часа ночи стали около островка. Немец начал пускать ракеты. Нас как будто сперва не заметили. Мы нагрузили первую шлюпку порохом, и вот тут началось... Большая ракета осветила нас, и мы почувствовали себя голенькими, будто вместе с тьмой содрали с нас одежду. Немцы стали бить залпами. Они стреляли и по крепости и по «Штыренко». Командир крепости приказал нам укрыться на островке. Но наша вдова опять заупрямилась:

– Не хочу своим весом порох вытеснять.

Сперва мы не поняли даже, о чем идет речь. Тогда она очень деловито объяснила, что весит, мол, больше восьмидесяти кило и лучше вместо нее на шлюпку еще несколько банок пороху забрать.

Снарядом у нас срубило кормовую мачту. Через минуту продырявило верхнюю палубу, разбило каюту. Тетя Феня бегала с огнетушителем, затаптывала огонь, покрикивала на нас:

– Давайте, паренечки, орудуйте! Шуруйте, хлопцы. Не дадим Трофима Егорыча фашисюкам в обиду. Чтоб им кишки на брашпиль навернуло, курослепам! Давайте, моряки, лучше, веселей!

Завыл воздух, и снарядом пробил насквозь машинное отделение. Внутрь хлынула вода.

– Болт! – сказал капитан. – Подзаныр пойдем.

Наша корма стала уходить в воду. Уже заливало палубу. Но, на наше счастье, место там неглубокое. Мы врезались кормой в грунт. Трюм у нас был под водой, но дальше мы не погружались. Немцы прекратили огонь: решили, видимо, что потопили нас. Мы стояли по грудь в воде, держась за поручни на затопленной палубе, и решали, что делать дальше. Как бы нам достать снаряды из трюма? Комендант крепости, когда мы прибыли, сказал: «Нам лучше хлеба не давайте, а снаряды спасите...» Кораблик наш и так валился набок; если еще из трюма снаряды вытащить, совсем на перекувырк пойдет. И тут золотая наша вдовушка присоветовала нам:

– Вы, хлопцы, привяжите судно концами за деревья, что на острове, оно и не перевернется: ветер-то навальный...

Это был превосходный совет, но берег отстоял от нас метров на пятьдесят. Моторист Семенов и рулевой Касюк поплыли в темноту, подтянули концы, обмотали ими деревья, закрепили кораблик за переднюю мачту и за корму. Подул небольшой ветерок. Пошла зыбь. Нас покачивало, и, скрипя во тьме, покачивались с нами в лад деревья на островке. Семенов и Касюк вернулись на судно, отдышались и стали по очереди нырять в трюм. Но снаряды мы привезли тяжелые – каждый пудов на восемь. Мы тогда что сделали? Взяли пеньковые концы, приделали к ним крючки, Касюк и Семенов ныряли в трюм, нащупывали снаряд, охватывали его петлей, а мы на палубе вытаскивали наверх, потом тащили снаряды на шлюпки и отправляли на берег. Так мы работали всю ночь.

Уже начало светать, когда мы грузили последнюю шлюпку. Капитан опять стал уговаривать Аграфену Васильевну немедленно сойти с судна. Тетя Феня закоченела в воде. Она уже еле губами шевелила, но мы расслышали:

– Бросьте вы, ребята, этот разговор. Не о том забота... И так шлюпка с перегрузом идет, а я свои телеса прибавлю – куда же тут?

Когда последняя шлюпка была разгружена, капитан сам отправился на ней за вдовушкой и коком, которые оставались на «Штыренко». Но было уже так светло, что немцы заметили шлюпку и открыли по ней огонь из миномета. Осколком мины капитана ударило в руку. Еще одна мина взорвалась у самой шлюпки, разнесла ее, и когда опала вскинутая вверх вода, Джахаев и Галюшкин увидели на поверхности черную шаль, медленно уходившую в воду. Загребая

одной рукой, кинулся туда капитан. Галюшкин нырнул и не дал Аграфене Васильевне уйти на дно. Кое-как они добрались до островка, с двух сторон придерживая тетю Феню. Она была ранена осколками мины в грудь и в голову.

В каземате ей сделали перевязку. Она открыла глаза:

– Всё взяли?

– Всё.

– Ничего не осталось?

– Ничего, тетя Феня.

– И я все свое взяла, – проговорила она. – Сходила-таки в последний рейс с Трофимом Егорычем. – Она помолчала немножко и, обведя нас медленным взором, словно стараясь запомнить каждого, тихо сказала: – Отбываю, паренечки... счастливо вам... штыренковцы...

Первый раз она назвала нас так. Потом попросила поднять ее к амбразуре, чтобы проститься с морем.

Рассвело. Начался прилив. Все выше и выше поднималась вода. Вот уже на нашем кораблике залило крышу каюты, потом только мачта осталась над поверхностью.

И сказала нам тетя Феня:

– Вот как она в воду уйдет, так и я с ней...

И стала собирать на себя мокрую черную шаль, из рук не выпускала ее. Натянула шаль по грудь, по плечи, потом, словно хотела покрыться ею, подняла руку к голове. И упала рука...

Невольно мы все обернулись к морю. Только прибой там шумел, волны катились по проливчику, и ничего не осталось от нашего «Штыренко».

Мы похоронили тетю Феню тут же на островке, в крепости, между камнями, в углу палисадничка под акациями. Проволокой укрепили круг с нашего корабля и на круге приписали: «Аграфена Васильевна». Получилось: «Аграфена Васильевна Штыренко», – и повили круг сбоку черной шалью.

Молча стоял наш экипаж у могилы. Ребята даже переодеться не успели. Утренний холодный ветер пробирал нас, но мы стояли не шевелясь. Рядом с нами комендант выстроил весь свой маленький гарнизон. Капитан Джахаев сказал короткую речь:

– Прощай, хороший человек, Аграфена Васильевна, подруга моряка, хозяйка корабля нашего! Спасибо тебе. Матерью ты нам была, тетя Феня.

Уже совсем рассвело. Немцы на берегу зашевелились. И комендант надел фуражку:

– Товарищи моряки, попрошу уйти в казематы. Мы почтим вдову вашего корабля таким артиллерийским залпом, какого ни одному адмиралу не давали.

И задрожал, заходил ходуном остров над могилой тети Фени, заревели доставленные нами снаряды. Дымом и едучей пылью закрылся весь тот берег, запылали немецкие казармы. Немцы начали отвечать нам, но скоро их батареи умолкли, подавленные мстительным огнем с островка. А батарея наша все била и била. Яростный, гремучий воздух, казалось, пригибал акации в палисадничке. И при каждом залпе слегка вздымалась шаль на белом пробковом круге.



## Губернаторский пассажир\*



### Глава 1

«Дед» наш, Гриша Афанасьев, часто любил рассказывать эту историю. Мы слышали ее каждый раз после какого-нибудь тяжелого дня в море или на стоянке.

Первый раз я слышал этот рассказ под утро, после страшной штормовой ночи, когда трепало нас одиннадцатибалльным норд-остом на косе у мыса Мидия, растреклятого и трижды гибельного.

Слышал я этот рассказ в Атлантическом, когда шли мы из Америки.

Восемь дней бил нас тогда штормяга, нагнало зыби – сила страшная!

И утром, на девятые сутки, «дед», побрившись, уже рассказывал нам ту историю – про пассажира.

И когда бомбили нас испанские фашисты у Аликанте и шестнадцать тридцатипятикилограммовых бомб лопнули за левым и правым бортами, с кормы и с носа, и сквозь дымогарную трубу нашу засветили звезды, как в телескопе, – столько дыр понаделали в ней осколки, – тогда слышал я опять от «деда» его историю.

Потом, когда еще трепал нас тайфун в сутках хода от Формозы, «дед», как обычно в таких случаях, пришел в кают-компанию, чистенький такой, словно в кино собрался, утер пот со лба и, как всегда, проговорил:

– Тайфун, кажется? Поздравляю! Ну и шут с ним! Это можно вполне свободно вытерпеть. А вот как тогда с пассажиром этим, не к ветру будь помянут, такую вот мороку пережить еще раз – пронеси нелегкая!..

Мы-то уже все знали, что за история с пассажиром была у нашего «деда», но всегда были готовы послушать ее еще раз. А вам тоже будет небезынтересно узнать, каков же это он был, тот роковой пассажир, что показался нашему «деду» страшнее, чем шторм в Атлантическом, бомбежка в Аликанте и тайфун под Формозой.

Только вот что, товарищи: история эта, так сказать, международная и глубоко дипломатического характера, так что – молчок! И, кроме того, предупреждаю: местонахождения вам точного давать не намерен, а то кто-то из вас разболтает, а кто-то там за границей обидится, примет на свой счет, да пойдут тут ноты и всякие там меморандумы и референдумы, а отвечай я, грузовой помощник! Нет уж, спасибо...

## *Глава 2*

Так было это, значит, в порту... ну, допустим, в порту С. И сказал бы, да не могу, честное слово! Не просите.

«Дед» наш тогда только что получил свою первую большую посуду: теплоход «Кимовец», пять тысяч шестьсот тонн, ход тринадцать узлов, ленинградской постройки.

До этого «дед» ходил старпомом на «Советской республике» и порядочно-таки полазил по морям. Но тут он впервые пошел в заграничное плавание настоящим и полным «капитаном».

А это, товарищи, не шутка – капитан дальнего плавания: четыре золотые нашивки на рукаве, хозяин большой посуды и команда в тридцать пять человек.

Я не помню, говорил ли я вам, что «деду» нашему и сейчас-то будет годочка этак тридцать два. А тогда он совсем был мальчонка,

хотя ребята на берегу называли его уже «старый комсомолец», а на судне сразу определили «дедом». Так уж величают у нас каждого уважаемого капитана в каждой уважающей себя судовой команде.

А нашего молодого «деда» быстро оценили. Сразу всем понравился он – веселый, всегда нарядный, всегда свежий, словно сейчас из ванны, чистенький до блеску, шутит серьезно, а кругом все за животы хватаются. Зато в тяжелую минуту, когда у всех носы в люк смотрят, сам смеется как ни в чем не бывало.

Посуду ему дали, признаться, запущенную. На палубе ржавчина, план по грузу в загоне. А он в один месяц так все отскоблил и надраил, что не узнать стало теплохода – как новенький! И по выполнению плана на Черном море «Кимовец» стал вылезать на первые места. И уже поговаривали, что быть переходящему знамени у «Кимовца».

Но тут «дед» пошел на своем «Кимовце» со срочным грузом в дальнее плавание. Везли тогда они клепку, линтер, желуди, соленую рыбу.

День в день, час в час пришли под С. А место это, доложу я вам, чудесное. Хоть и жарковато. Волна мягкая, такая голубая, как будто сюда само небо натекло. Но небо от этого не вылиняло, а еще синее сделалось, словно сполоснутое. По берегу, у самого края, – дворцы, словно сахарные; легкий прибой лижет и посасывает их, и они вот-вот подтают в теплой водице. Бульвар – сплошные пальмы, такие тенистые, что под каждой собственные сумерки в самый полдень.

Я там не раз бывал. И хоть «дед» это место вспоминать не любит, все же, уверяю вас, есть там что вспомнить.

Ну-с, как полагается, подняли лоцманский флаг, приняли лоцмана, вошли за волнорез, стали на внутреннем рейде.

Подошел катер. Начали оформляться.

Пока чиновник в тропическом белом шлеме возился с документами в кают-компании, а на парадном трапе сновали вверх и вниз голые туземные полисмены с кобурой на трусиках, к борту подошел еще один катер: белый весь, узкий, медяшка надраена, как солнце, на корме полотняный тент с фестончиками.

Высокий, очень прямой человек, с лиловыми мешочками под глазами, с выгоревшими бровями и подкрашенными черными усиками, легко соскочил с палубы катера на нижнюю ступеньку трапа

и взбежал наверх. Полисмены отдавали ему честь, приветливо улыбаясь, как давнишнему знакомому:

– О, Грэмкавэй... синьоре Грэмкавэй!

Высокий, небрежно отмахиваясь, прошел по палубе и поднялся на мостик. Был он в движениях легок, жесты у него были короткие, как бы отрывистые, и казалось, что заговори он – фразы у него будут жесткие, краткие.

– С прибытием, господин капитан! – сказал он неожиданно по-русски. – Если не ошибаюсь, я имею честь говорить с капитаном Григорием Васильевичем Афанасьевым? Очень рад. Имею честь представиться: Сергей Николаевич Громковой. Поручик в прошлом. Уполномоченный фирмы. Вам, вероятно, говорили – груз принимаю я. Как погода в пути?

«Дед» наш знал, что в порту С. уполномоченным фирмы, которой предназначается груз, служит белогвардеец, русский, бывший врангелевец, бежавший за море вместе с остатками генеральских полчищ. Долго он таскался из порта в порт, вертелся на бирже, обделывал какие-то делишки на набережных. Теперь он работал в порту С., грузовые документы – коносаменты – были выписаны на его имя, и волей-неволей приходилось иметь с ним дело. «Деда» нашего предупреждали еще в Одессе, что без Громкового в порту С. не обойтись, но человек это прожженный, готов продать кого угодно и самого себя; ухо с ним надо держать остро.

– Я всегда сердечно рад встрече с земляком, – продолжал Громковой, бесцеремонно разглядывая капитана. – Однако как вы молоды, капитан! Это удивительно! Неужели сейчас в советском флоте так легко выдвинуться на командные посты? Скажите, вам уже минуло двадцать?

– Мне двадцать пять лет, – сказал «дед». – А вам, верно, за пятьдесят?

– Мне сорок четыре года, – сухо отчеканил Громковой. – Разве на вид больше? – И он озабоченно тронул усики.

Капитан ничего не ответил. Его раздражал этот самоуверенный и неискренне словоохотливый человек. Однако делать было нечего. Следовало немедленно приступить к выгрузке, и каждый час был дорог. А чиновники что-то очень долго возились с документами. Вмешательство Громкового мигом и чудодейственно положило конец

всем процедурам, и портовые власти перешли от одного стола к другому, томно поглядывая на расставленные там бутылки с русской водкой и жестянки с икрой.

– О, кавиар! – сразу разомлели власти.

– О, русская икра! – говорил Сергей Николаевич Громковой, потирая руки. – Сколько лет, сколько зим! Настоящая икра. Кавиар.

Капитан, по совету опытного в таких делах Громкового, приготовил для портовых властей угощение. Вид свежей икры покориł чиновников. Жестянки быстро пустели.

– Попробую и я родной икрицы, – сказал Громковой.

– Икорки, – хмуро поправил капитан. – Забыли уже.

– Да, да, верно, именно икорки... Знаете, сколько лет... А время выветривает даже песок из скал, не только слова из памяти.

Позавтракав, договаривались о начале работ. Громковой обещал в четыре дня произвести всю выгрузку.

– Ин куаль луого? – осведомился капитан. – На каком месте мы будем разгружаться? Мы будем пришвартовываться к стенке?

– Но-о, – протянул Громковой, – мы должны еще кой о чем договориться с вами. И вообще, прошу по-русски. Так нам с вами будет удобнее, капитан. Видите ли, дорогой мой юный друг, – продолжал Громковой. – Вы разрешите вас называть просто Григорий Васильевич?... Так вот, Григорий Васильевич, мне поручено властями города договориться с вами об одном весьма существенном для нас и пустяковом для вас одолжении. Дирекция моя также будет вам весьма обязана... Мы попросим вас взять на борт одного пассажира. Он едет в Советскую Россию. Желательно, чтоб он миновал... э-эм... промежуточные страны. Для него и для нас было бы очень удобно, если бы вы согласились доставить его на своем корабле. Разумеется, все расходы мы берем на себя.

– Это можно, – сказал капитан. – Советская виза у него уже есть?

– Разрешите, я налью себе еще... Прекрасная водка! Это что, особого заказа? Превосходная! Полное отсутствие сивушных примесей и хороший градус... Так, значит, Григорий Васильевич, мы договорились?

Капитан посмотрел на Громкового и покраснел.

– Я спрашиваю вас, как насчет визы пассажира.

– Ах да, визы, простите, бога ради!.. Вы знаете, эта ваша советская водка...

– Виза, а не водка, – сказал капитан.

– Одну минуточку, – заторопился Громковой, перестав разглядывать бутылку. – Визы пока у него нет. Но что стоит вам оформить ее в Одессе? Это же пустая формальность! Неужели мы будем с вами спорить по этому поводу? Мы готовы уплатить вперед за хлопоты...

– Без визы я пассажира не возьму, – сказал капитан. – Итак, синьоре Громковой, когда я стану под выгрузку?

Громковой поднялся, вытер рот салфеткой, смял ее и бросил на стол. Он был теперь снова сух и подтянут. Губы под черными усиками были плотно сжаты. Он пристально разглядывал капитана.

– М-да... Дело осложняется, – заметил он вполголоса. – Мне очень неприятно, Григорий Васильевич... Советский торговый флот хорошо знает меня, я всегда шел навстречу, но в данном случае я боюсь, что отказ ваш приведет к весьма неприятным последствиям.

– Финита! – сказал капитан и положил ладони на край стола. – Кончено об этом! Давайте говорить о выгрузке. Начнем с генерального груза.

«Дед» наш, несмотря на то, что для капитана он, может быть, годами и не вышел, когда надо, умеет держаться так, что ему позавидует любой капитан. И солидность в фигуре, и сигара в зубах, и шутка вполголоса по-английски или по-итальянски из «Спутника торгового моряка в иностранных портах», – есть такая книжка. Вот эдаким стал наш «дед» в ту минуту.

– Так когда приступаете к выгрузке? – спросил он у Громкового.

– Немедленно после того, как вы дадите согласие принять на борт пассажира.

– Этот разговор бесполезен.

– Жаль! – сказал Громковой. – Вы еще так молоды, а уже капитан: стоит ли из-за пустяков портить свою карьеру? Ведь в простое будете виноваты вы.

– Пусть вас не волнует моя карьера, синьоре Громковой, – сказал капитан и пошел к дверям. – Мне нужно сойти на берег.

– Довето эссере мунито д'ен пермесо, – громко на этот раз, чтобы слышали полисмены у трапа, сказал Громковой, – вы должны иметь

разрешение, капитан, а его у вас пока еще нет.

Громковой прошел к трапу, спустился на свой катер. За покатой кормой катера забурлила вода, и он словно прынул вперед. Красно-бело-зеленый флаг забился над разбегающимся пенным следом. Громковой высунулся из-под тента и помахал рукой.

– Алло, капитан! Подумайте. Вы же капитан торгового флота. Не ерепеньтесь. Коммерция есть коммерция, молодой человек! Вечером я приеду с пассажиром.

За катером Громкового ушел и полицейский катер. Двое молчаливых часовых-полисменов остались на палубе. Команда встревоженно поглядывала на «деда». Все понимали, что заваривается какая-то темная история.

В каюте капитана состоялось совещание. Пришел второй механик, коммунист Петров, усатый, сутулый, самый старший член экипажа. На пороге, обитом медью, уселся на корточки помощник шеф-повара комсомолец Еремчук. Положив большие руки на колени, сидели на диване коммунисты корабля и члены судового комитета.

Капитан изложил, что произошло.

– Сколько бы это нам ни стоило, – говорил капитан, – не можем мы взять на борт какую-то подозрительную личность без нашей визы. Раз навсегда пусть они у себя на носу зарубят, что палуба советского корабля – это кусок нашей территории...

– Это они просто нас изучают, – сказал Петров.

С ним согласились, решили ждать. В судовом журнале записали: «Выгрузка не производится вследствие отказа выполнить незаконные требования представителя фирмы и препятствий, чинимых портовыми властями, выразившихся в предложении взять на борт теплохода пассажира, не имеющего визы советского полпредства». Капитан всегда старался уложить все в одну фразу, но о красоте слога заботился мало.

Хорошо было бы запросить по радио Одессу или Москву. Но, как полагается при стоянках в иностранном порту, радиорубка была опечатана.

Десятки законов, сотни параграфов, тысячи пунктов и правил вступили в силу с момента, когда якорь «Кимовца», грохнув цепью, вошел в прозрачную воду и лег на песчаное дно у порта С.

Капитан хорошо изучил все порядки, когда плавал еще помощником, и всегда посмеивался над этими придиристыми условностями. Но сейчас он сам, и полностью, отвечал за соблюдение всех международных требований и приличий.

Это было потруднее, чем выбрать нужную вилку для рыбы на первом торжественном обеде в Интернациональном клубе моряков.

Капитан вспомнил этот случай и покраснел. Хорошо, что тогда старый «дед» Валентин Георгиевич незаметно пододвинул ему полагающийся тут трезубец, а то полез бы третий помощник в рыбу десертной вилочкой.

Вот был бы сейчас тут Валентин Георгиевич, сразу нашел бы выход. Да и не посмел бы этот белогвардеец так разговаривать со старым капитаном. Валентин Георгиевич показал бы ему эти разговоры! А тут, конечно, видит – мальчишка, вот и обнаглел.

«Ладно, я тебе покажу мальчишку! – совсем рассердился капитан. – У, „икрица“! – вспомнил он. – На борт бы к себе не пустил!»

За иллюминаторами слабо колыхалась пологая зеленоватая волна, такая же, как у Батуми или у ялтинского мола, может быть, чуть зеленее, и птица качалась на волне знакомая, что-то вроде чирка. Но и птица и вода здесь были чужие. За бортом ходил полицейский катер. Сойти на берег пока что было нельзя. А по эту сторону фальшборта все было своим, родным, знакомым до последней заклепки, вот до этой царапины на перилах. И за все, что жило и действовало здесь, отвечал он, капитан.

Солнце жгло палубу, в каютах было душно и жарко. Капитан открыл все иллюминаторы, прилег на диван.

«Вот не повезло! – думал он. – В первом же дальнем рейсе и такое осложнение! Вот тебе и переходящее знамя, вот тебе и портрет в газете... Может, действительно плюнуть на визу и взять пассажира? В Одессе сдать куда надо, пусть разбираются... Нет, нельзя. Не имеют они права всучивать мне насильно кого бы то ни было. Капитан я, в конце концов, или не капитан?!»

Но тут ему стали мерещиться огромные цифры убытков от простоя в чужом порту. Он ворочался с боку на бок, вставал, закуривал, подходил к шкафу, вынимал книги по лоции и навигации, рылся в справочниках. Но в книгах не было ответа. И даже верный



«Спутник торгового моряка в иностранных портах» ничего не мог толком посоветовать.

«Бу репондре си ле навир рест о де ля тютерн... – читал он в „Спутнике“. – Зи верден фюр ди вартецейт дес шифес ферантвортен... Вы будете отвечать за простой парохода...» – читал капитан по-французски, по-немецки, по-английски, по-итальянски и знал, что отвечать за простой парохода будет он, капитан «Кимовца», комсомолец Григорий Васильевич Афанасьев, и никто иной больше.

У открытых дверей покашлял кто-то.

– Ну, влезай, влезай! – закричал капитан.

– Это я, Григорь Василич, – заговорил вошедший Еремчук и, вытерев руки о фартук, снял белый колпак с головы. – Неприятность, Григорь Василич.

– Ну что такое? Пригорел кухен<sup>[9]</sup>, что ли?

– Да нет, Григорь Василич, у нас что ж, у нас не горит, а вот, чую, у вас паленым потянуло. Что ж, Григорь Василич, так и будем стоять веки вечные?

– Там видно будет.

– Я вот к чему, Григорь Василич... Вот наблюдаю я тебя и прямо-таки поражаюсь... Ведь вместе в Севастополе за гривенниками ныряли. Я даже лучше ловил, честное слово! В одну ячейку записывались. И вдруг пожалте – капитан дальнего плавания. Смотри только, Григорь Василич, сейчас себя не подведи. Момент международный в остром смысле. Тут главное – выдержка.

– Ладно, ладно тебе, – сказал капитан. – Хочешь, давай со мной в домино?

– Ну, в домино ты со мной не равняйся, Григорь Василич, – говорил Еремчук, раскладывая кости. – Лучше против меня в домино и не начинать. Тут тоже, брат, весь секрет в выдержке. Ставлю! Шесть и шесть! Туды-сюды. На кон!

Они с размаху и с треском ставили на стол костяшки. Капитан играл молча. Еремчук приговаривал: «Хожу – пошел. Ставлю накрест. Вира... Стоп, игра!»

Проиграл капитан.

– Тут все в выдержке, – сказал довольный Еремчук. Вошел вахтенный и сообщил, что к борту подходит давешний катер. Капитан застегнул белый китель и быстро вышел на палубу. Он увидел, что

Громковой помогал ступить на трап какому-то человеку в белом полотняном костюме, который болтался вокруг хлипкого тела незнакомца так, что казалось, ничего не было в этих рукавах, брюках, пиджаке. Неизвестный выглядел совсем бесплотным, и ветер легко трепал белую ткань вокруг этих суетливо двигающихся пустот на том месте, где полагалось быть рукам, ногам и туловищу человека.

– Григорий Васильевич, – закричал снизу Громковой, – пожалуйста, принимайте пассажира!

– Живо поднять трап! – скомандовал капитан. Трое молодых матросов кинулись исполнять команду.

Трап стал быстро подниматься вверх, но болтавшийся, трепыхавшийся на ветру человек, цепко ухватившись за поручни и ступеньки, оказался поднятым вместе с лестницей.

– Вы видите, – закричал опять Громковой, на этот раз по-итальянски, – капитан так любезен, что поднимает вас на лифте!

– Отставить! – сказал капитан.

– Есть отставить! Трап пошел книзу.

– Капитан!.. Синьоре капитано!.. Падроне<sup>[10]</sup>!.. – залепетал человек по-итальянски. – Что вы имеете против того, чтобы я плыл вместе с вами? Прошу вас, не откажите... Меня здесь преследуют: я коммунист, – почти зашептал он, взбираясь тем временем кверху. – Ради бога, капитан, вы спасете меня!

Он был уже на самом верху трапа, но двое матросов, став на пути, не давали ему ступить на палубу.

– Получите визу, – сказал капитан, – и тогда я вас беспрекословно возьму с собой. А сейчас, пока нет визы, прошу немедленно оставить судно.

Громковой в несколько прыжков взбежал по трапу, толкнул с раздражением человека и что-то шепнул ему на ухо. Тот поплелся вниз.

– Добрый вечер, – вежливо откозырял Громковой. – Я хотел бы поговорить с вами с глазу на глаз, капитан.

Они прошли в каюту Григория Васильевича.

– Послушайте, капитан, – опять принялся за свое Громковой, – я просто как земляк и старший друг обязан уговорить вас. Ведь вы потерпите чудовищные убытки. Губернатор категорически запретил приступать к выгрузке, пока вы не дадите согласия.

– Ну, по пункту восемнадцатому чартер-договора за задержку судна властями не отвечаю ни я, ни вы.

– Нет, позвольте, капитан, там сказано: по причинам, не зависящим ни от той, ни от другой стороны. А здесь все зависит от вас...

– Что это за таинственный пассажир, чтоб ему пусто было, шут его возьми! – рассердился капитан. – Почему губернатор так заинтересован в том, чтобы я его взял?

– Дорогой капитан, я, к сожалению, не вправе разглашать... это личная семейная тайна. Губернатор просил передать вам, что здесь кругом его власть и он...

– Кругом, – отвечал капитан, обводя рукой над головой, – кругом и около, но не тут, в этих стенах, на этой палубе. Тут командир я. Это советское судно, и я здесь советский капитан, охраняющий законы нашей страны. Хватит про это, поговорим лучше о выгрузке.

– Нет, вы чудак, извините меня! – не унимался Громковой. – Ну поймите, что вам стоит взять его, а там, пожалуйста, можете сдать своим властям, меня это не касается. Нет, я вижу, вы не делец.

Капитан встал и пошел к двери.

– Ну погодите, – сказал Громковой, – хорошо, вы вынуждаете меня раскрыть секреты, которые я обязан был бы хранить... Этот пассажир – сын весьма состоятельных родителей и даже, между нами говоря, дальний родственник губернатора. Он, понимаете ли, не совсем оказался благонадежным. Он это... что-то там вроде коммуниста. Он мечтает о Советской России. Другого на его месте просто бы арестовали и засудили. Ну, а здесь родители упростили губернатора отправить юношу в Советскую Россию, куда он так стремится. Уверяю вас, он совершенный коммунист в душе. Мне кажется, что ваш долг спасти его... Ну вот, я раскрыл все свои карты; будьте благородны, капитан.

– Нет, – сказал капитан.

– Я уже не говорю об убытках... но подумайте, как отнесутся местные рабочие к тому, что вы отказали в убежище революционеру.

– Местные рабочие знают, о каких коммунистах может так заботиться губернатор.

– Григорий Васильевич, – сказал тогда Громковой, – я вас просто предупреждаю дружески. Вы слишком молоды, чтобы брать на себя

решение такого сложного вопроса.

– А вы слишком стары, – сказал капитан, – чтобы понять все это... И если вы находите, что я слишком молод, то дайте мне возможность снестись по радио или телеграфу с более старшими товарищами.

– До свиданья, – сказал Громковой. – Я уверен, вы еще одумаетесь. А нет, я ставлю крест на вашей карьере. Такие вещи у вас там не прощают. Где же ваше это самое выполнение плана?...

Команда у «деда» была под стать ему, все комсомольцы, молодежь, если не считать молчаливого Петрова.

– А вдруг действительно парень – коммунист, и ему грозят, а мы отворачиваемся? – начали сомневаться некоторые.

– Чепуха! – медленно, с расстановкой говорил Петров. – Пора, ребята, немножко разбираться в обстановке. Комсомольцы ведь! Станут вам губернатор и белогвардеец так нянчиться с коммунистом. Держи карман шире! Нет уж, извините, тут, товарищи, какой-то фокус-покус.

– Что за смысл для них навязать нам этого пассажира, я тоже еще сам не понимаю, – думал вслух капитан, – а чувствую: что-то тут неладно, нечисто за кормой у этого дяди.

– А может, Григорь Василич, возьмем мы этого типа, а там сдадим у нас кому следует, и чисто будет? – заикнулся Еремчук.

– Оставь! Не можем мы идти здесь на такие сделки-и кончено. Наш комсомольский грузовичок «Кимовец» – это сейчас отдаленный район СССР. И каждый из нас, товарищи, в данный момент – пограничник. Надеюсь, это все понимают? Если кто не сообразил еще, могу объяснить.

– И так ясно, Григорий Васильевич! Тут и понимать нечего. Так чувствуем.

Прошел еще один день, жаркий, пустой день, словно на мертвом приколе. По-прежнему стояли у трапа шоколадные полисмены, безучастные ко всему, молчаливые и лишь иногда скалившие зубы, когда помощник кока Еремчук украдкой совал им по пончику и подмигивал.

На второй день стоянки капитану доложили, что произошла какая-то подозрительная штука в цистернах для питьевой воды. В них по непонятным причинам возникла течь, и теперь на корабле

кончалась пресная вода. Перегонные аппараты-опреснители, имевшиеся на корабле, не могли напоить всех вдосталь. Пришлось сесть на голодный водный паек. Дважды приезжавший Громковой заявил, что порт не даст теплоходу ни капли воды до тех пор, пока пассажир не будет взят на борт.

К ночи капитан решил уходить из порта, не выгрузив ни одного килограмма срочного груза.

– Я ухожу, – заявил капитан Громковому. – Мы готовы понести убытки, но престиж нашего флага и честь своего корабля не продадим. Понятно вам это, господин бывший поручик русской армии? Оформляйте уход. Мы уходим в порт А. Надеюсь, тамошний губернатор сговорчивей. А фирма-грузополучатель имеет склады и там. И она оплатит нам этот перегон.

И ночью «Кимовец» ушел в порт А. Капитан нарочно вывел пароход из береговой воды, чтобы иметь возможность радировать. Ночью они снеслись по радио с Одессой и сообщили о своих мытарствах, но слышимость была плохая; пришлось вызвать Новороссийск, и там толком ни о чем капитан не договорился.

### *Глава 3*

Утром «Кимовец», приняв лоцмана, входил в широкую гавань порта А.

Здесь надо было подойти к швартовой стенке.

Уже рассвело, и можно было разглядеть виллы, торговые здания и редкие пальмы на берегу. Здания здесь были приземистые. Преобладал серый камень и кирпич. Постройки порта выглядели сурово, негостеприимно. Оголенная песчаная коса, ограждавшая гавань с запада, подчеркивала безжалостную близость пустыни. Несмотря на ранний утренний час, день был уже накален докрасна. Багровая мгла висела над городом как зарево.

Капитан стоял на мостике и оглядывал набережную. Вдруг он взял бинокль у старшего помощника. Капитан глядел на берег минуты три не отрываясь, потом передал бинокль старшему и впервые в жизни сплюнул прямо на чистый настил мостика.

Старший помощник, приняв бинокль, стал шарить по берегу, стараясь рассмотреть, что увидел там капитан. И как вы думаете, что он там разглядел?! Губернаторский пассажир, бесплотный, как дух, и, как дух, вездесущий и неотступный, стоял на самом краю набережной; ветер трепал тонкую ткань его костюма, и весь он словно вихлялся на ветру, и с каждой минутой его было видно все лучше и лучше с «Кимовца», который подходил к берегу. А через полчаса все началось снова: с новыми чиновниками прибыл все тот же Громковой.

– Мы приехали ночью на автомобиле вместе с вашим пассажиром, – объяснил он слегка уже обалдевшему «деду». – С благополучным прибытием вас, капитан! Как была погода? Я вижу, отличная. Должен вам сказать, что здешний губернатор – человек значительно более энергичный, чем губернатор порта С, и мне поручено уведомить вас, что на теплоход ваш налагается арест до того момента, пока вы не согласитесь принять на борт известного вам пассажира. Относительно питьевой воды все наши условия также остаются в силе.

День стоял «Кимовец» в порту А. с опечатанным радио, запломбированными трюмами, с часовыми на трапе и на мостике. Ночь стоял он и еще день. Кончилась питьевая вода. Нестерпимый жар шел от раскаленных палуб и переборок. Казалось, плюнь на горячие доски – зашипит!..

Как из печки, дул суховея пустыни. Дымные столбы горячего воздуха шли оттуда и валились на город, на море. Красноватый песок неведомо как проникал во все щели, скрипел на зубах, собирался в складках постели. Люди на корабле хрипли от жажды и колючей сухости в горле.

Капитану ночью кошмар подкатывал ноль за нулем в длинных цифрах, обозначающих размеры убытков. «Дед» осунулся и постарел лет на пять. Казалось даже, что капитан поседел, но это осел налет соли от морской воды, которой теперь приходилось смачивать волосы, приглаживая их. Но так же безукоризненно был выглажен его белый китель с золотыми капитанскими нашивками, так же гладко он был выбрит, хотя в морской воде мыло плохо мылилось.

И по-прежнему сверкало и блестело все на судне, и как ни в чем не бывало терли, скоблили скребками и скатывали утром на приборке палубу забортной водой. 52 градуса в тени под спардеком показывал

Цельсий, но еще день и ночь простоял упрямый «Кимовец» на рейде в порту А., окруженный снующими полицейскими катерами.

На внешнем рейде стоял неподвижно, как бы придавив волны, тяжелый корабль с башнями, похожими на чехлы огромных пишущих машинок; рядом покачивались два эсминца. Это эскадра одной из европейских держав возвращалась после визита в Индию.

По вечерам на флагманском корабле играла музыка, нарядные катера подходили один за другим к трапу, как подходят к подъезду театра автомобиля. Под прохладными тентами, которые беспрерывно окатывали водой из брандспойтов, кружились, толклись белоснежные танцоры. Вечером там зажигались разноцветные китайские фонарики и на воду сыпались алмазные брызги фейерверка.

А кимовцы с пересохшими, потрескавшимися губами и воспаленными глазами бесцельно бродили по горячей палубе, с тоской поглядывали на берег, где зажигались огни города, проносились фары автомобилей, где была вкусная, без ржавчины вода, мороженое и спасительная прохлада террас.

К вечеру третьего дня часовой-туземец, стоявший на мостике, воровато оглядевшись, протянул капитану фляжку.

– Попей, падроне, – сказал он шепотом, поворачивая к капитану плутоватое широкое лицо, но оставаясь неподвижным.

Капитан поблагодарил и отказался.

– Два слова, синьоре капитано, – зашептал часовой, беспокойно ворочая белками выпуклых глаз. – Рабочий комитет просил сказать: не надо брать пассажира. Если будете брать, в море встретит катер, будет обыск. Скажут: зачем взял коммуниста, тихо взял, без визы, хотел помочь бежать... Понятно, капитано? Этот пассажир – не коммунист. Этот пассажир был будто комитетчик. Оказалось – немножко шпик. Его вон! Теперь губернатор и хочет сделать так, чтобы сказали: советский торговый корабль хотел прятать коммуниста, помогал бежать арестанту. Понятно, падроне? У фирмы дела – крах. Товару много, денег мало... Этот пассажир не коммунист, этот пассажир – тьфу!..

На четвертый день к «Кимовцу» подлетел длинный и быстроходный катер. Десятка два вооруженных полицейских стояли по бортам, держась за леера. А на корме, под тентом, сидели развалившись Громковой и пассажир.

– Эй, на «Кимовце»! – закричал Громковой, вставая на корме. – Позовите сюда капитана, вы, комсомольцы, морсофлоты!

Он был навеселе. Большой револьвер в деревянной кобуре висел у него на поясе.

– Добрый день, капитан! – закричал Громковой, увидев Григория Васильевича. – Ого! Теперь у вас по виду возраст вполне капитанский. Надеюсь, и рассудок ваш стал более зрелым. Ну, я приехал в последний раз спросить вас: берете вы пассажира или нет? Если вы его сейчас не посадите к себе, то мы его посадим вам сами. Я уполномочен сделать это господином губернатором. Упрямство молодых капитанов следует искоренять. Эй, наверху там! Пронта! Спустите трап.

Никто из кимовцев и с места не сдвинулся. Но капитан видел: ребята украдкой заворачивали рукава, кое-кто уже снимал форменку, кто-то совал в карман тяжелую медную пепельницу. И потом молча, не стовариваясь, но все разом, сомкнулись в плотный ряд у фальшборта.

– Григорий Васильевич, – чуть не плача, шептал Еремчук и проталкивался к капитану. – Григорий Васильевич... Что ж мы им, неужели позволим?! Гриша... я серьезно прошу... Да уж лучше погибнуть всем до одного! Ведь советское же судно... Как хотите, только у первого же, кто ступит, пришью на месте.

– Еремчук, отставить! – сказал капитан.

– Ой, я им вмажу сейчас, честное слово, вмажу!.. – бормотал Еремчук.

– Стоп, Еремчук! – сквозь зубы не сказал – простонал капитан, больно стискивая ему руку. – Стоять спокойно! Спишу в два счета. Ну!

Громковой стоял, покачиваясь на катере, задрал голову вверх.

– Трап спустить – сказано было! Оглохли? Пронта ля скала! – крикнул он по-итальянски.

Два огромных темнокожих часовых стали спускать трап. Первым вскочил на него Громковой, за ним два офицера. Они помогли влезть на трап пассажиру. Они подталкивали, его. Он неуверенно ступал, поглядывая вверх. За ними стали подниматься вооруженные полицейские. Когда эта зловещая процессия была на верху висячей лестницы, кимовцы, сгрудившись, преградили им дорогу.



– Очистить трап, живо! – молодежато гаркнул Громковой.

«М-м!.. Дал бы я сейчас этому бывшему благородию!» – едва не промычал вслух капитан и почувствовал, как отяжелели и хрустнули пальцы, сами сжавшиеся в кулак.

Он заставил себя разогнуть сведенные от ярости, слипшиеся пальцы и положил руку на поручень. Кимовцы стояли на краю палубы стеной. Они шумно дышали, кулаки их были сжаты, пожелтевшие, угрюмые лица еще более побледнели.

– Ну? – крикнул Громковой и локтем ткнул Еремчука под вздох.

– Иззвиняюс-с-сь... – только выдохнул тот багровея, и капитан отвернулся, чтобы не видеть в эту минуту лицо Еремчука...

Кимовцы молчали, но не шевелились.

Капитан понимал, что через секунду неизбежно начнется свалка. И ее не предотвратить. Он уже представлял себе заголовки в вечерних газетах порта А.: «Драка на советском корабле», «Красные моряки большевистского теплохода пытались избить полицейских...»

– Спокойно, спокойно, ребята! – продолжал тихо говорить капитан, а сам уже с отчаянием сознавал полную свою беспомощность. «Что же делать, что же делать, как выйти из положения?... Ведь посадят, факт, насильно посадят. Не выбросить же его потом за борт!»

И вдруг он случайно взглянул на внешний рейд. Из труб эсминцев и линкора валил густой жирный дым. Эскадра, видимо, снималась с якоря, иностранная эскадра. Вероятно, там сам адмирал на флагмане.

– Еремчук, – шепнул капитан, – быстро! Стань на фалы, подымай «ОВ»... Живо, давай! Петров, к тифону, открой сигнал! Ходи веселей – моментом!

Полицейские напирали. Медленно, молча, вершок за вершком сдавались кимовцы. Пассажир был уже почти на самой палубе. И вдруг засипел, заревел и завыл могучий тифон «Кимовца». Он ревел не умолкая целую минуту, на мгновение как бы передохнул и снова взвыл. Это был сигнал о бедствии. И в ту же минуту на мачте взвились два цветных флага – «О» и «В»: «Терплю бедствие».

– Вы что, с ума сошли? – закричал Громковой, бросаясь на мостик. – Прекратить сигналы! Опустить флаги! Ле бандиере!.. Де сигнале!..

Но заставить замолчать тифон было нелегко. Петров крепко-накрепко прикрутил проволокой рычаг гудка к трубе, и тот теперь ревел неумолчно. Полицейские пытались снять флаги бедствия, но ловкий, как белка, Еремчук, забрался с ворохом сигналов на верхушку мачты и перевесил флаги повыше. Полицейские топали вниз, по палубе, размахивая револьверами, но стрелять не решались...

Горластый гудок «Кимовца» заливал тревогой тихую лагуну порта. И переполох оглушил мирный тропический день.

Капитан видел: на всех пароходах, стоявших в порту, грузчики прекратили работу. Они подбегали к борту и, прикрыв ладонью, как козырьком, глаза, старались разглядеть, что происходит на рейде. Да и было на что посмотреть! Огромный корабль с красным флагом за кормой здесь, в порту, среди бела дня подымал один сигнал бедствия за другим. Полицейские суетились на его палубе, не зная, как видно, что делать. На берегу собиралась обеспокоенная толпа. Кто посмелее, те уже прыгали в лодки. К «Кимовцу» со всех сторон мчались легкие белые суденышки. Татакали полицейские мото, визжали уключины. Полуголые туземцы лихорадочно гребли к советскому теплоходу, вскидываясь при каждом взмахе красных весел.

На кораблях эскадры заметили тревожные сигналы.

На ближайшем миноносце взлетели вверх флажки международного свода «О» и «Д». По своду это обозначало вопрос адмиралу: «Полагаете ли вы, что нам следует пройти без внимания мимо судна, которое находится в столь бедственном положении?»

Но Громковой уже понял, что дело скандально проваливается. Широкая огласка была тут недопустима.

– Ферма!.. Отставить! – завопил он полицейским. – Вы убирайтесь вниз, о, диаволо!.. – накинулся он на пассажира. – Капитан... Григорий Васильевич... бог мой, к чему такой тарарам?... Зачем сор из избы?... Дорогой мой... давайте ладком, мирком...

– Так когда начнем выгрузку? – не спеша осведомился капитан.

– Ах ты боже мой! За нами дело не станет... Сколько шуму из-за пустяков! – Громковой метался, стараясь перекрычать гудок. – Только прикажите замолчать... Я совсем оплох от этого воя. И, умоляю, снимите флаги, скорее!

– Сейчас, – сказал капитан, как бы прислушиваясь, – одну минуту. Действительно звучно. А вот еще послушали бы вы, как у

наших сверхскоростных ястребков-самолетов моторы ревут... Куда там нашему тифону! М-да... Ну, а как насчет вынужденного простоя и удлинения рейса досюда? Придется вам уж на себя записать.

Громковой оторопел.

– Позвольте, капитан! В нашем чартере, в нашем договоре, значится... в случае задержки судна властями...

– Не согласны, значит?... Петров, открой воздух на второй тифон.

– Хорошо, хорошо! Только прекратите это кукареку! – взмолился Громковой. – Вы же весь город переполошите... Вы меня буквально режете. Ну ладно, согласен! Слышите, согласен!.. Русским языком я вам говорю или нет?!

– Язык-то у вас русский, да выговор не наш. Ну да ладно! Петров, стоп сигнал! Еремчук, кончай! Воздух и флаги держать в готовности. А вы, – продолжал капитан, обращаясь к Громковому, – пожалуйста ко мне, подпишите что требуется. Прошу.

Он пропустил вперед белогвардейца и сам прошел за ним к себе в каюту.

Еремчук подмигнул вслед, не слезая со своей реи.

– Насчет водички там не забудьте, господин синьор. А то жажда слишком громадная... Вот и на нашем базаре ярмарка. Ну, что, Петров, скажешь? А и голова наш «дед»!.. Главное – выдержка. Вот мне не хватает чего.

И Еремчук вздохнул так, что флажок «О», белый, в синюю шашку, только что снятый с фал, заполоскал у него в руках...

Миноносец продолжал запрашивать адмирала, следует ли ему пройти мимо корабля, поднимающего сигналы бедствия. На мачте флагмана резко взлетел сигнал: «Немедленно следуйте своим курсом».

– Вот то-то и оно-то, – сказал Петров. – Международный свод знать, конечно, необходимо, что и говорить... Да очень-то надеяться на него не следует. Главное, сам не плошай.

## Матч в Валенсии\*



Наш теплоход «Комсомол» стоял у стенки в испанской гавани Вильянуэва дель Грао, близ Валенсии.

Война была в разгаре; в гавани и в городе все двигалось, жило, шумело тревожно и возбужденно.

Ждали очередного воздушного налета. Зеркальные окна магазинов были зарешечены наклеенными на стекло бумажными лентами. По вечерам город гасил огни и горели только синевато-фиолетовые фонарики у домов да летели во тьме приглашенные вполсвета фары машин, надевших темные очки. Ночью вдруг начинали по-волчьи выть сирены, взывали до истошного визга, и город замирал в полной тьме и тревоге. А утром люди собирались у больших ярких плакатов, которые взывали к сознательности населения, просили не устраивать больших скоплений на улицах, ибо «враг ищет случая для массовых убийств».

И вот однажды утром рядом именно с таким плакатом мы увидели огромную афишу. «Футбол», – прочли мы на ней и забыли о соседнем плакате.

«Футбол! Валенсия – Барселона! Все на стадион!» Матч был назначен на воскресенье, а в пятницу к нам на корабль явился сам Мануэль Руфо, фаворит валенсийских болельщиков, лучший игрок валенсийской команды, обожаемый Маноло Руфо.

– Оле, Манолито, Маноло! – кричали ему грузчики, работавшие на нашем теплоходе.

И чемпион приветствовал их с трапа, весело помахивая рукой. Он был очень высок и крепок. На выпуклой груди его поблескивал значок Социалистического объединения молодежи. Держался Маноло с достоинством и просто, как человек, привыкший к славе, но не придающий ей слишком большого значения.

Мануэль пришел к нам, чтобы пригласить советских моряков на воскресный матч. Он принес кипу билетов.

– Это наш последний матч, – сказал он вздохнув.

– Последний в сезоне? – спросил его кто-то из наших.

– Может быть, и в жизни, – усмехнулся он, пожав широкими плечами, – кто знает... Но именно потому, камарадос, игра будет очень серьезной. Мы уже не первый год встречаемся с Барселоной. Каталонцы – наши старые противники на поле. Мы должны им напоследок всыпать за прошлогоднее поражение. Это была чистая случайность, клянусь вам, карафита, черт побери этого Санчо! Вы слышали о Санчо? Как, вы не знаете Санчо?! Что же на свете тогда вам известно, если даже о Санчо Григейросе вы ничего не слышали?! Григейрос – лучший игрок Барселоны, правый хав, будь он проклят, каналья! И таких хавов, поверьте мне, нет больше ни в одной команде на свете... От него не уйти, через него не пробиться, он мешает вам дышать, понимаете вы или нет? От него становится душно на краю поля. Кому, как не мне, знать это? Он правый полузащитник, а я – заметьте себе, ибо вы, вероятно, не слыхали и обо мне, – я, Мануэль Руфо, играю на левом краю. И даже мне не пробиться, не продохнуть от этого дьявола. Что за молодец! Но в воскресенье я ему докажу, что может сделать Маноло Руфо, когда он решил взяться за дело. Вы увидите. Приходите непременно. Скучать не придется. Это наша последняя встреча с ними на поле... Мы вместе уходим на фронт. Поезд отправляется через час после матча.

Он собрался уже уходить, но вдруг, вспомнив что-то, хлопнул себя по лбу:

– О, карафита! Чуть не забыл... У нас есть такой обычай. Самый почетный наш гость сам открывает матч. Советские моряки – лучшие гости Валенсии. Мы просим капитана русского корабля сделать первый удар по мячу.

Большой валенсийский стадион был полон в это воскресенье. Все билеты были проданы еще накануне, хотя у касс стадиона спорили друг с другом два плаката. Плакат муниципалитета просил не скопляться. Афиша союза молодежи призывала всех валенсийцев прийти на стадион, ибо сбор от матча шел целиком на нужды республиканской армии. Второй плакат переспорил.

В этот день Валенсия справляла свой традиционный городской праздник и на всех вышках стадиона трепетали легкие и нарядные флаги с гербом Валенсийской провинции: три серебряные звезды на голубом поле и оранжевые полосы вперемежку с желтыми. По случаю городского праздника многие пришли на стадион в национальных костюмах. На мужчинах были желтые и красные колпачки со свешивающимися кистями и свободные короткие белые штаны, белые чулки, легкие фигаро и широкие шелковые кушаки, плотно намотанные на талии. Девушки были в очень ярких и пестрых платьях с белыми кружевными передниками, с большими гребнями в волосах, с распустившимися валенсийскими розами на груди.

Стадион, залитый солнцем, цветистый и шумный, ждал начала игры. На трибунах ловким винтообразным движением ножа мгновенно очищали апельсины, ели каштаны, пили ледяную «оранхаду». Изредка кто-нибудь из-под ладони оглядывал небо, озабоченно, но без особой тревоги, как обычно смотрят болельщики: не испортит ли погода игры? Но сейчас в небе искали не тучу.

Команды вышли на поле со своими городскими знаменами. Каталонцы были в сине-красных майках, валенсийцы – в оранжево-желтых. Оркестр сыграл медленный, громыхающий гимн Каталонии, потом грациозную песенку Валенсии «Розы душистые в нашей доброй Валенсии...» Стадион подхватил ее. Потом все встали: оркестр играл гимн республики, «Гимно де Риего», величественный и бодрый.

Команды выстроились в центре лицом друг к другу.

Каталонцы выглядели более коренастыми, чем валенсийцы. Нам сразу показали знаменитого Григейроса. Маленький, курчавый, полногубый, с круглыми насмешливыми глазами, он стоял на левом конце строя. Он хитро поглядывал то на противников, то на небо, то на публику. На трибунах с почтительным недружелюбием толковали о

достоинствах этого опасного противника. Мануэля Руфо приветствовали любовно и с гордостью: «О, Маноло!.. Держись, Манолито! Покажи этому коротышке! Хо-ле!»

Вдруг все вскочили. На поле вышел наш капитан Георгий Афанасьевич. Его сопровождали два командира республиканской армии. Стадион аплодировал. Оркестр заиграл «Интернационал». Девушки бросали розы нашему капитану. «Вива Россия!» – кричали игроки. «Да здравствует СССР!» – провозглашал переполненный стадион. Когда все стихло, судья матча соединил руки предводителей обеих команд.

– Камарадос, – сказал судья, – вы стоите друг против друга последний раз. Завтра вам придется драться плечом к плечу и рядом. Но сейчас будет игра. Помните же, что это только игра. Будьте бережны, камарадос. Ваши руки и ноги нужны республике. Они принадлежат уже не только вам. Будьте бережны, прошу вас. И пусть победителем выйдет сильнейший.

Команды разбежались по местам. Капитан наш неловко подошел к мячу. Рефери приложил сирену к губам. Георгий Афанасьевич, смущенно поглядев в сторону нашей ложи, ткнул ногой мяч и тотчас отскочил в сторону. Он еле выбрался из завязавшейся вокруг него схватки...

На поле все мчалось, сшибалось и стремительно перемещалось из конца в конец. Поминутно создавались драматические положения то у ворот Барселоны, то у ворот Валенсии, и публика бесновалась, вздымаясь, опадая на скамьи, подпрыгивая, вопя, рукоплеща и проклиная...

Нигде еще не приходилось нам видеть такого азарта на трибунах, такого темпа на поле.

Маноло понукали, подбадривали, умоляли. И он оправдал надежды сограждан. Как ни держал его верткий и неотступный Санчо Григейрос, Мануэль прорвался и вместе с мячом упал в сетку барселонских ворот. В наборных кассах не найдется столько восклицательных знаков, сколько потребовалось бы здесь для передачи восторгов стадиона. Мануэля осыпали цветами, девушки посылали ему воздушные поцелуи. Оркестр играл песню Валенсии.

– Что, коротышка?! – кричали Григейросу. – Что скажешь, малыш?! Тебя, кажется, еще укоротили...

Григейрос не обращал внимания на эти крики. Он только оттянулся от середины поближе к краю и словно присосался к Мануэлю. Он неотступно следовал за ним, перехватывая подачи, мешая бежать, оттирая в сторону. Руфо пытался обходить его, делая фальшивые броски, но отделаться от Санчо не мог. Карапуз преследовал его по пятам и путал все планы. Нетерпеливый Мануэль стал горячиться, удары его теряли точность, он спотыкался. Григейрос с неподражаемой учтивостью помогал ему подняться и, как заботливая нянька, сопровождал его, вертась, как овчарка около взъярившегося быка, не давал Маноло доступа к воротам. Публика стала посмеиваться над беспомощностью Мануэля, тем более что победа города была обеспечена еще двумя мячами. Но вбил их не Маноло. Все его усилия были ни к чему. Григейрос начисто «закрыл» его, и команда, видя, что левый край поля непроходим, стала все реже пасовать Мануэлю.

Внезапно у ворот Барселоны снова заварилась каша... Публика привстала на трибунах. На этот раз Мануэлю удалось пробиться, к самому голу. Но тут подоспевший Григейрос сильно ударил по мячу. Удар был не из удачных. Мяч свечой пошел в небо над самыми воротами. Мануэль напрягся в ожидании, когда мяч вернется на землю. Он отжимал плечом Санчо, пытавшегося оттиснуть нападающего от ворот. Мяч высоко над головами медленно переходил в падение. Но вдруг Санчо, замерший как и все, с задранной кверху головой, закричал:

– Аппарато!

И все увидели: медленно плыл над городом, над стадионом, большой самолет. В тишине все услышали зловещий рокот. Мяч между тем беспрепятственно упал перед воротами, и Санчо Григейрос отбил его в поле. И тут раздался его насмешливый и резкий голос:

– Эх, валенсийцы, каракатицы вы полосатые!.. Это же пассажирский летит. Простофили! Смотреть надо.

И стадион грохнул таким хохотом, что одураченному Мануэлю показалось, будто слава его рухнула в тартарары... Он рассердился. Что такое, карафита! Он сейчас покажет всем, что может сделать Мануэль Руфо, когда он берется за дело всерьез. Мяч через минуту оказался на его краю. Он бросился на мяч. Санчо забежал немного вперед и хотел задержать Маноло. И тут Руфо что есть силы ударил



его по ступне. Санчо упал и стал кататься от боли по траве. Судья свистнул, стадион завопил. Все видели, что Мануэль ударил умышленно. Но Руфо надеялся, что ему, как любимцу всей Валенсии, зрители простят грубость. Этот Санчо вывел его из себя.

Григейроса унесли на руках. А оторопевшему Мануэлю судья предложил покинуть поле. Стадион бушевал.

– Пуф! Бахо! – кричали с трибун. – Уходи вон, Руфо!.. Долой его!.. Мало фашисты калечат наших! Руфо решил помочь им! Бахо!

Ленты апельсиновых очисток, жеваная бумага летели в Маноло, когда он, выгнанный и несчастный, шел с поля.

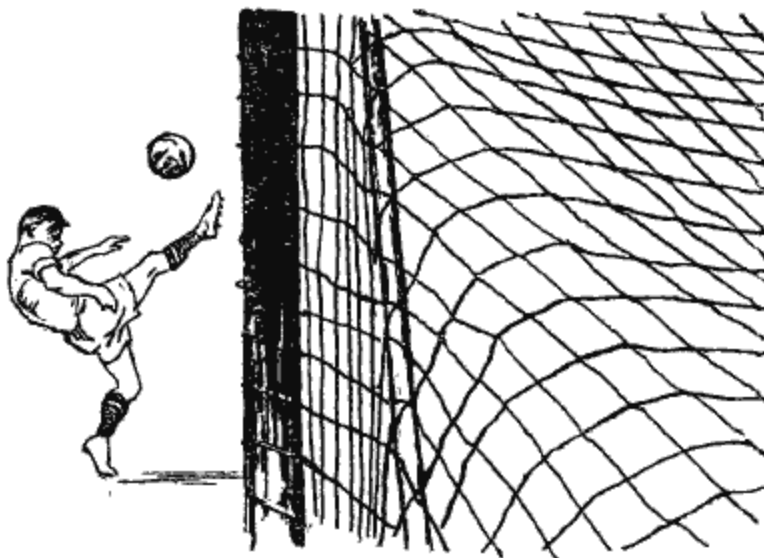
Когда матч кончился, команды ненадолго покинули поле, и вскоре игроки вернулись уже солдатами, уже в одной форме республиканцев, уже одетые в походные моно, с винтовками на наплечных ремнях. Только у Мануэля Руфо не было оружия. На рукаве у него была белая повязка с красным крестом, и он поддерживал под руку маленького Санчо Григейроса, одна нога которого была не обута и забинтована.

– Камарадос! – сказал Мануэль, опустив голову, и все стихли. – Камарадос! – повторил он громко. – Прости меня. Валенсия, ты знаешь меня. Прости, что я позволил себе наглубить гостю и товарищу. Но я уже наказан. Товарищи поручили мне вылечить Санчо, и я буду носить повязку санитаря, и я не возьму своей винтовки до тех пор, пока мой Санчо не оправится, честное слово, карафита, он славный малый! Мне очень жаль, что я его немножко повредил.

– Ничего, ничего, Маноло, – сказал Григейрос, – это все пустяки. Уверяю тебя, я скоро сниму это с ноги, а ты сбросишь повязку с рукава. С таким лекарем я живо поправлюсь.

Им аплодировали обоим. И они стояли рядышком: огромный Мануэль с повязкой красного креста и маленький Санчо, поджавший больную ногу...

## Пекины бутсы\*



Пека Дементьев был очень знаменит. Его и сейчас узнают на улице. Он долгое время слыл одним из самых ловких, самых смелых и искусных футболистов Советского Союза. Где бы ни играли – в Москве, в Ленинграде, в Киеве или в Турции, – как только, бывало, выходит на зеленое поле сборная команда СССР, все сейчас же кричат:

– Вон он!.. Вон Дементьев!.. Курносый такой, с чубчиком на лбу... Вон, самый маленький! Ах, молодец Пека!

Узнать его было очень легко: самый маленький игрок сборной СССР. До плеча всем. Его и в команде никто не звал по фамилии – Дементьев или по имени – Петр. Пека – и все. А в Турции его прозвали «товарищ Тонтон». Тонтон – это значит по-турецки «маленький». И вот помню, как только выкатится с мячом на поле Пека, сейчас же зрители начинают кричать:

– А, товарищ Тонтон! Bravo, товарищ Тонтон! Чок гюзель – очень хорошо, товарищ Тонтон!

Так о Пеке и в турецких газетах писали: «Товарищ Тонтон забил отличный гол».

А если бы поставить товарища Тонтона рядом с турецким великаном Неждетом, которому он вбил в ворота мяч, Пека ему бы до пояса только достал...

На поле во время игры Пека был самым резвым и быстрым. Бегаёт, бывало, прыгает, обводит, удирает, догоняет – живчик! Мяч вертится в его ногах, бежит за ним как собачка, юлит, кружится. Никак не отнимешь мяча у Пеки. Никому не угнаться за Пекой. Недаром он слыл любимцем команды и зрителей.

– Давай, давай, Пока! Рви, Пека!

– Браво, товарищ Тонтон!

А дома, в вагоне, на корабле, в гостинице Пека казался самым тихоньким. Сидит молчит. Или спит. Мог двенадцать часов проспаться, а потом двенадцать часов промолчать. Даже снов своих никому не рассказывал, как мы ни просили. Очень серьезным человеком считался наш Пека.

С бутсами ему только раз не повезло. Бутсы – это особые ботинки для футбола. Они сшиты из толстой кожи. Подошва у них крепкая, вся в пенечках – шипах, с подковкой. Это чтобы не скользить по траве, чтобы крепче на ногах держаться. Без бутс и играть нельзя.

Когда Пека поехал с нами в Турцию, в его чемодане аккуратно было сложено все футбольное хозяйство: белые трусики, толстые полосатые чулки, щитки для ног (чтобы не так больно было, если стукнут), потом красная почетная майка сборной команды СССР с золотым нашитым гербом Советского Союза и, наконец, хорошие бутсы, сделанные по особому заказу специально для Пеки. Бутсы были боевые, испытанные. Ими Пека забил уже пятьдесят два мяча – гола. Они были ни велики, ни малы – в самый раз. Нога в них была и за границей как у себя дома.

Но футбольные поля Турции оказались жесткими, как камень, без травы. Пеке прежде всего пришлось срезать шипы на подошвах. Здесь с шипами играть было невозможно. А потом на первой же игре Пека истоптал, разбил, размочалил свои бутсы на каменистой почве. Да тут еще один турецкий футболист так ударил Пеку по ноге, что бутса чуть не разлетелась пополам. Пека привязал подошву веревочкой и кое-как доиграл матч. Он даже ухитрился все-таки вбить туркам один гол. Турецкий вратарь кинулся, прыгнул, но поймал только оторвавшуюся Пекину подошву. А мяч был уже в сетке.

После матча Пека пошел хромя покупать новые бутсы. Мы хотели проводить его, но он строго сказал, что обойдется без нас и сам купит.

Он ходил по магазинам очень долго, но нигде не мог найти бутс по своей маленькой ноге. Все были ему велики.

Через два часа он наконец вернулся в нашу гостиницу. Он был очень серьезный, наш маленький Пека. В руках у него была большая коробка. Футболисты обступили его.

– Ну-ка, Пека, покажи обновку!

Пека с важным видом распаковал коробку, и все так и присели... В коробке лежали невиданные бутсы, красные с желтым, но такие, что в каждой из них уместились бы сразу обе ноги Пеки, и левая и правая.

– Ты что это, на рост купил, что ли? – спросили мы у Пеки.

– Они в магазине меньше были, – заявил нам серьезный Пека. – Правда... и смеяться тут не с чего. Что я, не вырасту, что ли? А зато бутсы заграничные.

– Ну, будь здоров, расти большой в заграничных бутсах! – сказали футболисты и так захохотали, что у дверей отеля стал собираться народ. Скоро хохотали все: смеялся мальчик в лифте, хихикала коридорная горничная, улыбались официанты в ресторане, кричал толстый повар отеля, визжали поварята, хмыкал швейцар, заливались бои-рассыльные, усмеялся сам хозяин отеля. Только один человек не смеялся. Это был сам Пека. Он аккуратно завернул новые бутсы в бумагу и лег спать, хотя на дворе был еще день.

Наутро Пека явился в ресторан завтракать в новых цветистых бутсах. «Разносить хочу, – спокойно заявил нам Пека, – а то левый жмет маленько».

– Ого, растешь ты у нас, Пека, не по дням, а по часам! – сказали ему. – Смотри-ка, за одну ночь ботинки малы стали. Ай да Пека! Этак, пожалуй, когда из Турции уезжать будем, так бутсы совсем тесны станут...

Пека, не обращая внимания на шутки, уплетал молча вторую порцию завтрака.

Как мы ни смеялись над Пекиными бутсами, он украдкой напихивал в них бумагу, чтобы нога не болталась, и выходил на футбольное поле. Он даже гол в них забил.

Бутсы здорово натерли ему ногу, но Пека из гордости не хромал и очень хвалил свою покупку. На насмешки он не обращал никакого внимания.

Когда наша команда сыграла последнюю игру в турецком городе Измире, мы стали укладываться в дорогу. Вечером мы уезжали обратно в Стамбул, а оттуда – на корабле домой.

И тут оказалось, что бутсы не лезут в чемодан. Чемодан был набит изюмом, рахат-лукумом и другими турецкими подарками. И Пеке пришлось бы нести при всех знаменитые бутсы отдельно в руках, но они ему самому так надоели, что Пека решил отделаться от них. Он незаметно засунул их за шкаф в своей комнате, сдал в багаж чемодан с изюмом и поехал на вокзал.



На вокзале мы сели в вагоны. Вот пробил звонок, паровоз загудел и шаркнул паром. Поезд тронулся. Как вдруг на перрон выбежал запыхавшийся мальчик из нашего отеля.

– Мосье Дементьев, господин Дементьев!.. Товарищ Тонтон! – кричал он, размахивая чем-то пестрым. – Вы забыли в номере свои ботинки... Пожалуйста.

И знаменитые Пекины бутсы влетели в окно вагона, где молча и сердито их взял серьезный наш Пека.

Когда ночью в поезде все заснуло, Пека тихонько встал и выбросил бутсы за окно. Поезд шел полным ходом, за окном неслась турецкая ночь. Теперь уже Пека твердо знал, что он отделался от своих бутс. Но едва мы приехали в город Анкару, как на вокзале нас спросили:

– Скажите, ни у кого из вас не выпадали из окна вагона футбольные ботинки? Мы получили телеграмму, что из скорого поезда на сорок третьем перегоне вылетели бутсы. Вы не беспокойтесь. Их завтра доставят сюда поездом.

Так бутсы второй раз догнали Пеку. Больше он уже не пытался отделаться от них.

В Стамбуле мы сели на пароход «Чичерин». Пека спрятал свои злополучные бутсы под корабельную койку, и все о них забыли.

К ночи в Черном море начался шторм. Корабль стало качать. Сперва качало с носа на корму, с кормы на нос, с носа на корму. Потом стало шатать с боку на бок, с боку на бок, с боку на бок. В столовой суп выливался из тарелок, из буфета выпрыгивали стаканы. Занавеска на дверях каюты поднималась к потолку, как будто ее сквозняком притянуло. Все качалось, все шаталось, всех тошнило.

Пека заболел морской болезнью. Ему было очень плохо. Он лежал и молчал. Только иногда вставал и спокойно говорил:

– Минуты через две меня опять стошнит.

Он выходил на прыгающую палубу, держался за перила и снова возвращался, снова ложился на койку. Все его очень жалели. Но всех тоже тошнило.

Три дня ревел и трепал нас шторм. Страшные валы величиной с трехэтажный дом швыряли наш пароход, били его, вскидывали, шлепали. Чемоданы с изюмом кувыркались, как клоуны, двери

хлопали; все съехало со своего места, все скрипело и гремело. Четыре года не было такого шторма на Черном море.

Маленький Пека ездил на своей койке взад и вперед. Он не доставал ногами до прутьев койки, и его то стучало об одну стену головой, закинув вверх ногами, то, наклонив обратно, било пятками в другую. Пека терпеливо сносил все. Над ним никто уже не смеялся.

Но вдруг все мы увидели замечательную картину: из дверей Пекиной каюты важно вышли большие футбольные бутсы. Ботинки шествовали самостоятельно. Сначала вышел правый, потом левый. Левый споткнулся о порог, но легко перескочил и толкнул правый. По коридору парохода «Чичерин», покинув хозяина, шагали Пекины ботинки.

Тут из каюты выскочил сам Пека. Теперь уж не бутсы догоняли Пеку, а Пека пустился за удиравшими ботинками. От сильной качки бутсы выкатились из-под койки. Сперва их швыряло по каюте, а потом выбросило в коридор.

– Караул, у Пеки бутсы сбежали! – закричали футболисты и повалились на пол – не то от хохота, не то от качки.

Пека мрачно догнал свои бутсы и водворил их в каюте на место.

Скоро на пароходе все спали.

В двенадцать часов двадцать минут ночи раздался страшный удар. Весь корабль задрожал. Все разом вскочили. Всех перестало тошнить.

– Погибаем! – закричал кто-то. – На мель сели... Разобьет теперь нас...

– Одеться всем теплее, всем наверх! – скомандовал капитан. – Может быть, на шлюпках придется, – добавил он тихо.

В полминуты одевшись, подняв воротники пальто, выбежали мы наверх. Ночь и море бушевали вокруг. Вода, вздуваясь черной горой, мчалась на нас. Севший на мель корабль дрожал от тяжелых ударов. Нас било о дно. Нас могло разбить, опрокинуть. Куда тут на шлюпках!.. Сейчас же захлестнет. Молча смотрели мы на черную эту погибель. И вдруг все заулыбались, все повеселели. На палубу вышел Пека. Он второпях надел вместо ботинок свои большущие бутсы.

– О, – засмеялись спортсмены, – в таких вездеступах и по морю пешком пройти можно! Смотри только не зачерпни.

– Пека, одолжи левый, тебе и правого хватит, уместисься.

Пека серьезно и деловито спросил:

– Ну как, скоро тонуть?

– Куда ты торопишься? Рыбы подождут.

– Нет, я переобуться хотел, – сказал Пека.

Пеку обступили. Над Пекой шутили. А он сопел как ни в чем не бывало. Это всех смешило и успокаивало. Не хотелось думать об опасности. Команда держалась молодцом.

– Ну, Пека, в твоих водолазных бутсах в самый раз матч играть со сборной дельфиньей командой. Вместо мяча кита надует. Тебе, Пека, орден морской звезды дадут.

– Здесь киты и не водятся, – ответил Пека.

Через два часа капитан закончил осмотр судна. Мы сидели на песке. Подводных камней не было. До утра мы могли продержаться, а утром из Одессы должен был прийти вызванный по радио спасательный пароход «Торос».

– Ну, я пойду переобуюсь, – сказал Пека, ушел в каюту, снял бутсы, разделся, подумал, лег и через минуту заснул.

Мы прожили три дня на наклонившемся, застрявшем в море пароходе. Иностранцы предлагали помощь, но они требовали очень дорогой уплаты за спасение, а мы хотели сберечь народные деньги и решили отказаться от чужой помощи.

Последнее топливо кончалось на пароходе. Подходили к концу запасы еды. Невесело было сидеть впроголодь на остывшем корабле среди неприветливого моря. Но и тут Пекины злосчастные бутсы помогли. Шутки на этот счет не прекращались.

– Ничего, – смеялись спортсмены, – как запасы все съедим, за бутсы примемся! Одних Пекиных на два месяца хватит.

Когда кто-нибудь, не выдержав ожидания, начинал ныть, что мы зря отказались от иностранной помощи, ему тотчас кричали:

– Брось ты, сядь в галошу и бутсой Пекиной прикройся, чтоб нам тебя не видно было...

Кто-то даже песенку сочинил, не очень складную, но привязчивую. Пели ее на два голоса. Первый запевал:

Вам не жмут ли, Пека, бутсы?

Не пора ль переобуться?



А второй отвечал за Пеку:

До Одессы доплыву,  
Не такие оторву...

– И как у вас у самих мозолей на языке нет? – ворчал Пека.

Через три дня нас на шлюпках перевезли на прибывший советский спасательный корабль «Торос».

Тут Пека снова попытался забыть свои ботсы на «Чичерине», но матросы привезли их на последней шлюпке вместе с багажом.

– Это чьи такие будут? – спросил веселый матрос, стоя на взлетающей шлюпке и размахивая ботсами.

Пека делал вид, что не замечает.

– Это Пекины, Пекины! – закричала вся команда. – Не отрекайся, Пека!

И Пеке торжественно вручили в собственные руки его ботсы...

Ночью Пека пробрался в багаж, схватил ненавистные ботсы и, оглядываясь, вылез на палубу.

– Ну, – сказал Пека, – посмотрим, как вы теперь вернетесь, дряни полосатые!

И Пека выбросил ботсы в море. Волны слабо плеснули. Море съело ботсы, даже не разжевав.

Утром, когда мы подъезжали к Одессе, в багажном отделении начался скандал. Наш самый высокий футболист, по прозвищу Михей, никак не мог найти своих ботс.

– Они вот тут вечером лежали! – кричал он. – Я их сам вот сюда переложил. Куда же они подевались?

Все стояли вокруг. Все молчали. Пека продрался вперед и ахнул: его знаменитые ботсы, красные с желтым, как ни в чем не бывало стояли на чемодане. Пека сообразил.

– Слушай, Михей, – сказал он. – На, бери мои. Носи их! Как раз по твоей ноге. И заграничные все-таки.

– А сам ты что же? – спросил Михей.

– Малы стали, вырос, – солидно ответил Пека.

## Ученик чародея\*

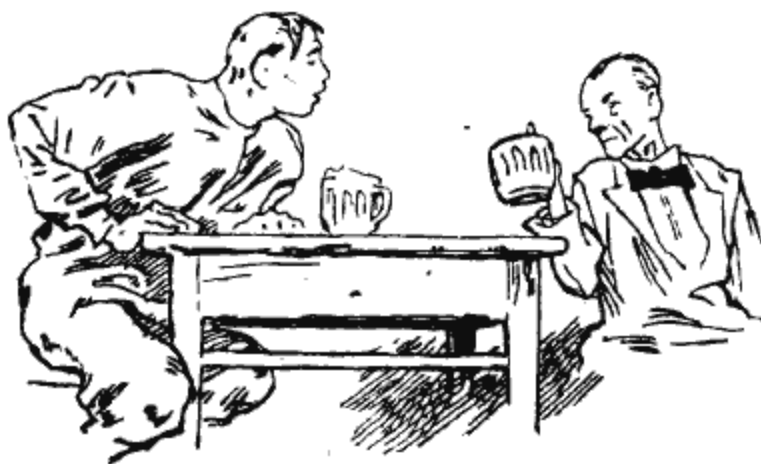
– Зачем мы с вами будем тратить время на такие пустые проделки, достойные какого-нибудь заезжего фокусника?

*Перейдем лучше, дорогая фея, к более сложным вещам.*

– Я ухожу! – воскликнула гостья, поднимаясь со стула.

– Едва ли вам это удастся сделать без моего согласия, – сказал волшебник Проспер Альпанус. – Должен вам сказать, сударыня, что сейчас вы всецело находитесь в моей власти.

Э. Т. А. Гофман



У меня записано много занятных истории о моем друге Тошке Кандидове.

Вот одна из них.

Кандидов долгое время был грузчиком. Он работал в порту, на речных пристанях, при железнодорожных пакгаузах, на складах таможни и в тому подобных местах.

До вечера он ворочал, носил, складывал, перетаскивал.

А вечером, умывшись и наярив штиблеты, шел в цирк. Он приходил к третьему отделению программы. В третьем отделении выступал знаменитый «иллюзионист, фантасмагорист, вентролог и престиджитатор» Альпано, фокусник. Шталмейстер провозглашал выход великого мага.

Шершавые ладони Кандидова первыми сшибались в оглушительном хлопке. От Кандидова кругами расходилась по цирку овация. И на нем же она замирала, возвращаясь. Ему принадлежал первый и последний аплодисмент.

Он хлопал до тех пор, пока возникшая где-то внизу, на арене, тишина так же, кругами, не доходила до него. Она, как удав, охватывала его шипящим кольцом: тс-с-с... Кандидов выбивал, словно пробку, последний хлопок и, удовлетворенно оглянувшись, садился.

Оркестр доигрывал фокс на выход. Гас свет. Там, где был выход из-за кулис, оживал, лихорадочно дрожа, экран. На нем появлялась мультиплицированная фигура Альпано. Он был в цилиндре, маске и плаще. Он ехал в люкс-экспрессе, на верблюде, на океанском пакетботе, на автомобиле, на жирафе. Он скакал, плыл, летел. Он проезжал через Вальпараисо, Нью-Йорк, Лондон, Париж.

Он прибывал на московский вокзал.

Здесь Альпано из судорожно двигающейся карикатурки вырастал в почти объемное существо. Он шел по вокзалу с чемоданами.

И Тошке Кандидову каждый раз хотелось подсобить ему и принять тяжелый багаж. Но Альпано ехал уже по улице, входил в цирк. Прямо с экрана шагал на арену – и зажигался свет.

На месте исчезнувшего экрана, у входа на арену, стоял человек в цилиндре, маске и плаще. Человек сошел с экрана.

Он раскланивался, приподняв цилиндр. Потом сбрасывал плащ, медленно снимал маску, и одуроченный цирк узнавал коврового клоуна «Чарли Чаплина».

– Нет, я не Альпано! – кричал рыжий. – Я только Чарли! Го-гю-гу! Альпано чичас! Он затерял в трамвае своя голова.

И тут появлялась тучная и обезглавленная фигура в балахоне.

Цирк с замиранием вглядывался. Сомнения не было: у человека отсутствовала голова. Но человек нес в руке чемоданчик.

Крышка чемодана резко открывалась. Все в ужасе аплодировали.

Альпано принес свою собственную голову в чемодане! Голова улыбалась, подмигивала и говорила: «Добрый вечер». Голова просила пить. Альпано брал свободной рукой стакан и подносил к губам в чемодане.

Голова морщилась, фыркала, говорила «мьерси» и просила еще – и покрепче. Таким же образом голова закуривала. Тогда Альпано сердито захлопывал чемодан и ставил его на стол.

Но едва он пытался отойти от стола, как крышка чемодана приоткрывалась.

Из чемодана шел дым колесом, и голова кричала оттуда, что Альпано без нее не проживет, что в СССР-де голова нужна. Тут, разумеется, опять появлялся «Чарли Чаплин» и спрашивал:

– А есть ли голова у заведующего кооперативом номер двести сорок семь, который сгноил две тысячи огурцов?

Голова в чемодане продолжала шуметь, свистеть и бесчинствовать.

Наконец Альпано хватал свою голову. Он вытаскивал ее, курящую и ругающуюся, из чемодана и ставил себе на плечи под приподнятый капюшон. Голова прирастала и легким движением откидывала клобук. Голова улыбалась, выпускала клуб табачного дыма и произносила:

– Голова на плечах – все в порядке.

И Альпано, обретя голову, сбрасывал балахон.

Так появлялся Альпано.

Начинались чудеса.

Альпано был фокусником самой последней американской формации, представителем новейшей школы иллюзионизма. Стиль его работы был чист, легок, четок и прост. Он не делал магнетических пассов, не вперял сверкающих взоров. Он двигался свободно и весело, он не обставлял своих номеров с помпезной пышностью индусских факиров. Его антураж был буднично скуп. Никакой мишуры! Это были всё предметы житейского обихода: стулья, шляпы, зонты, книги, простая посуда, часы.

И тем острее и удивительнее разили зрителя чудеса, заключавшиеся в этих обычных, знакомых и таких прозаических вещах. Альпано работал шутя, походя, как бы небрежничая. В его отношении к вещам сквозила ирония. Магически владея скрытыми в

вещах тайнами, он, посмеиваясь, распоряжался своим волшебным хозяйством.

Альпано бросал в цилиндр перчатки, и оттуда вырывался огненный столб.

Альпано поспешно опрокидывал цилиндр доньшком вверх. Но цилиндр начинал расти, расти и дорастал до потолка. Затем он выбрасывал ветви, зеленел и превращался в дерево. Альпано стучал тросточкой о пол, и тотчас здесь начинал бить фонтан. Альпано касался фонтана тростью, и фонтан переселялся на кончик трости. Альпано нес фонтан и пересаживал его на сиденье стула. Фонтан бил. Чтобы остановить его, Альпано садился прямо на струю. Через секунду из его ушей и носа начинали бить фонтанчики. Он сморкался, и из левой ноздри выдувался синий пузырь, а из правой – красный, и оба улетали к куполу цирка.

Потом он внезапно начинал хромать и снимал ботинки. Из левого он вытаскивал утку, из правого – петуха. Он задумчиво отрывал и пересаживал им головы. И вот по арене, уже крикая, ступал петух с утиной головой и переваливалась кукарекающая утка.

Кандидов ждал своего часа. Тошка был одним из тех непременных добровольцев, «желающих осмотреть», которые конфузливо вылезали на арену, когда шталмейстер приглашал убедиться «граждан из публики».

Обычно бывают два смешливых зрителя-красноармейца, строгий учитель физики второй ступени и продавец из кооператива со склонностями к астрономии, велосипеду и рыболовству. Они держатся тесной стайкой, прячась за спины друг друга. Их подбадривают друзья с мест. Они, понимающе хмыкая и ни шута не понимая, осматривают, щупают и простукивают аппараты. Они свидетельствуют перед залом о крепости узлов, о цельности веревок и замков.

Убедившись, что все равно ничего тут не разгадаешь, они бредут на свои места. Лишь учитель физики остается и продолжает, ища подвоха, испытующе и придиричиво ковырять ногтем лак какого-то ящика, но магия карает его.

– Позвольте! – говорит фокусник. – Но зачем вы забрали мой портсигар?

– К-какой портсигар? – ужасается несчастный «гражданин из публики».

– А вот какой! – И фокусник вынимает из кармана оторопевшего педагога свой портсигар. Заодно из носа извлекается серебряный полтинник, а из рукава – ложечка и куриное яйцо.

Посрамленный гражданин не чаёт уж добраться до своего кресла.

Там он ворчливо убеждает соседей, что налицо явное мошенничество. Как будто без него все и так не знали, что чудес на свете не бывает.

Словом, Кандидов был постоянным «гражданином из публики». Не смущаемый хохотом зала, он охотно и невозмутимо подставлял себя для ловких проделок Альпано. Он приглядывался к каждому мановению его руки. Но тщетно пытался Кандидов проникнуть в секреты фокусов. Тайны оставались неразгаданными. Приятели Кандидова потешались над ним.

Тут время сказать, что грузчика Кандидова, прекрасного общественника-активиста и вообще чудесного парня, издавна влекла... магия. Его манила таинственная природа многих вещей. В то же время он не терпел сказочной фантастики, не понимал Гофмана, не любил Ната Пинкертона. Его необычайно интересовало именно разоблачение всяческих волшебств. Он прочел массу книг по этому вопросу и был даже неплохим содокладчиком в кружке безбожников. Он мог, не моргнув, перечислить все виды древнего колдовства, он готов был часами объяснять различия между вавилонской магией, средневековой теургией и практической кабалой. Он мог назвать по имени чуть ли не всех знаменитых волхвов, халдеев, астрологов, корибантов, куритов, орфеотелестов, магов, тауматургов и прочих шарлатанов. Никогда не путал он менагиртов с метрагиртами.

– Каким боком к тебе это пристало? Черт тебя знает! – поражались товарищи. – Мужик ты более-менее активный, развитой довольно, что тебе фокусы дались?

Нескладно, но внушительно Тошка втолковывал приятелям, что если прежняя магия была сплошное жульничество, то сейчас это изобретательство, конструктивность, овладение предметным миром: это распознавание всех возможностей, заключенных в вещи, умение найти вторую функцию ее; это путь к созданию предельно компактных, портативных и все вмещающих предметов обихода.

– Понимаешь, какая петрушка намечается! – говорил Кандидов. – Надо извлечь из вещи все, что в ней, понимаешь, заложено. В каждой чертовщинке-вещичке припасен свой сюрприз. Вот найти только его.

И Кандидов шел в цирк. Кандидов шел в тридцатый раз посмотреть игру вещей Альпано. Альпано давно уже запомнил в лицо Кандидова. Сначала он приветливо улыбался ему, потом фокусника стали беспокоить эти назойливые посещения «гражданина из публики». Он не знал, как отделаться от Тошки. Он осмеивал его перед всем цирком. Он ставил Кандидова в самые глупые и смешные положения. Он напускал под ноги Кандидову двусмысленную лужу. Он вытаскивал у него из-за шиворота жабу. Он незаметно отстегивал помочи, и Кандидов начинал терять штаны на глазах у публики. Ничего не действовало.

Альпано упал духом.

С некоторых пор Альпано опасался «граждан из публики». Альпано боялся, как бы не повторилась нехорошая история, стрясающая с ним в Германии.

Он тогда впервые показывал замечательные номера, изобретенные им самим. Все они основывались на ловкости и простой с виду, но очень хитроумной аппаратуре. Это было последнее слово иллюзионистской техники. Секрет аппаратов мог понять только очень сведущий человек. Профан, хотя бы часами держащий вещь в руках, ничего бы не заметил.

Выступления Альпано встречались повсеместно шумным успехом.

В Кенигсберге ему пришлось конкурировать с известным фокусником старой, «факирской» школы – Розабельдусом. Запахнувшись в цветастый халат, весь в экзотических регалиях, с пышным тюрбаном на голове, сверкающий, фальшивый и надменный Розабельдус с нескрываемым превосходством взирал на штатского Альпано. Но публике начинало уже надоедать бутафорское громохание Розабельдуса. Ей наскучила эта напыщенная пестрядь и утомительные таинства. Публика с восторгом приняла мягкую и веселую манеру Альпано и загадочные шутки его простых вещей – от зонтика до ночного горшка.

Но однажды, когда Альпано возвращался в свою уборную, ему показалось, что из дверей уборной поспешно выбежал Розабельдус.

Дверь была заперта. Но один из своих лучших аппаратов Альпано нашел разобранным на все составные части. Было ясно: конкурент завладел секретом. Но Альпано ждало худшее.

В тот же вечер в мюзик-холле, когда он пригласил «господ из публики убедиться», на сцену поднялся представительный господин (Альпано вспомнил после, что видел его где-то с Розабельдусом).

Господин изъявил желание осмотреть аппаратуру. Он взял знаменитый чемодан Альпано. Он усмехнулся и ловко разнял его особые потайные и выдвижные части. Зал захохотал. Один за другим все лучшие номера Альпано были всенародно разоблачены. Разоблачены и посрамлены. Зал веселился. Зал аплодировал. Господин, раскланиваясь, крикнул:

– Так, господа, факиры школы великого Розабельдуса раскрывают тайны ночных горшков!

Это была выходка, неслыханная в мировой практике фокусника. (Международные секреты современной «магии» ревниво оберегаются корпорацией.) Это была гнусность, нарушающая все цирковые, товарищеские, все человеческие законы.

Альпано вклепился в горло наплевца. Но зал зарычал, заорал. Альпано оттащили. Альпано освистали. Ангажемент был порван в тот же вечер со ссылкой на «нечистую работу и буйство».

Эту печальную историю Кандидов узнал позже от самого Альпано.

– Я, посматривая на вас, то, се, пятое, десятое, и не стал никогда понимать, что хотеть от меня вам?

О, Кандидов сумел объяснить, что он хочет! Он залпом изложил все свои соображения. Он восхищался, философствовал, доказывал. Он откатал все, что знал о скрытой магии материи, о секрете власти над вещами. Альпано, успокоившись, заулыбался. Он похлопал Тошку по здоровенному его плечу.

– Нет! – сказал он потом, горько скривившись. – Совсем не магический кунст<sup>[11]</sup>, а натуральная теория, молекулярная физика будет делать открытия, так сказать, на серединке материи. Иллюзионизм – это немножко техники и множко смешно. Это шпиль... игровое... Но это чересчур удивительно, и мне очень хорошо, что молодые русские люди понимают мое искусство, тоже



полезное! Не совсем только забава! Я уверяю себя вам! То есть верю, так надо сказать?

С этого дня Альпано и Кандидов стали друзьями. Уже была поведена не раз и не за одной кружкой пива история Розабельдуса.

И Кандидов ежеразно скорбел, что этот негодяй не попадает к нему в руки. Уже стал Тошка своим человеком в цирке. И партерные гладиаторы, братья Микулинс, как барышники, шлепая Кандидова по тугим плечам и крутому загривку, предлагали ему тренироваться и работать у них за «низа».

Постепенно Кандидов превратился в добровольного помощника Альпано. Это у него находилось исчезнувшее со сцены кольцо. Это его перевернутую карту на расстоянии угадывал фокусник. Это в его кепке спрятал неудачный омлет «Чарли Чаплин», пародирующий Альпано. И весь цирк гоготал над сконфуженным «гражданином из публики», владельцем загубленной кепки, роль которого отлично исполнял Кандидов.

Фокусник очень привязался к этому рослому и ловкому парню. Циркачу нравилось, что и его веселое, хитрое ремесло как-то выросло и серьезнело в этой стране, полной беспокойной, сосредоточенной и удивительной жизни. Альпано с удовольствием посвящал Кандидова в секреты своих чар. Тошка оказался способным учеником. Он быстро перенимал все приемы. Это забавляло Альпано. Как-то он даже поехал вместе с Тошкой в подшефный колхоз и потряс всю окрестность своим волшебством.

Потом Альпано уехал на гастроли в Японию, подарив Тошке свой портрет.

Кандидов продолжал работать грузчиком. Он ворочал, носил, складывал, перетаскивал. Однажды бригаде пришлось переносить с поезда на таможеню огромный багаж какого-то богатого иностранца. Багаж приезжего составлял более ста сорока мест. Вещи были очень велики, но странно легки и тщательно упакованы. Иностранца встречали представители дирекции цирка, артисты и переводчики. Кандидов узнал, что приехал новый фокусник, знаменитый факир Курамарго.

Чудовищный и хрупкий скарб Курамарго перенесли в досмотровый зал таможни. Вежливые таможенники приступили к осмотру. Они делали это больше для проформы. Вскрыв наугад два-

три места, они бегло осмотрели их. Кандидов увидел расписанные лазурью амфоры, балдахины, ларцы, диадемы, пагоды и паланкины.

Курамарго сам любезно открывал двойные днища, пустоты в стенках и прочие тайные хранилища чудес. Тут Кандидов рассмотрел, что многие из этих пышных аппаратов внутри были сконструированы явно по системе, составляющей секрет Альпано. Тошка заметил, что эти секретные приспособления Курамарго не показывает осмотрщикам. Внезапная догадка кольнула его.

– Товарищ, – обратился Кандидов к переводчику, – спросите его: он, случайно, не ученик Розабельдуса?

– О да, я ученик великого Розабельдуса! – ответил польщенный Курамарго на вопрос переводчика.

Тем временем таможенники заявили, что осмотр кончен, все оказалось в законном порядке.

– Позвольте, – раздался голос Кандидова, – гражданину из публики убедиться.

– Слушай, оставь! Тут дело, а не цирк, – резко оборвал его военный в зеленой фуражке пограничника.

– Ты погоди! – не унимался Тошка. – Тут такая, понимаешь, петрушка получается. А ну, переведите этому ученику Розабельдуса, что его аппараты желает поглядеть ученик Альпано.

Но Курамарго не ждал перевода. Услышав имя Альпано, он разом потускнел и сгас. Он засуетился, он кинулся запаковывать приборы. Он заявил, что не может позволить сообщить посторонним профессиональные тайны. Но тут уж заинтересовались таможенники.

– Вваливай, Кандидов! – сказал ему начальник. – Ну-ка, чему тебя в цирке обучили?

Кандидов нагнулся над грудой тиар и ларчиков. Все затихли.

– Внимание! – крикнул Тошка и, засучив рукава, пошевелил в воздухе пятернями. – Р-раз!

И он вытащил из тиары десять длинных нитей поддельного жемчуга.

– Два! – И Кандидов стал выволакивать из стенок амфоры метр за метром лондонский коверкот.

– Три! – И из волшебной трости Курамарго посыпались вечные ручки «паркеры».

Затем появились шелковые парижские чулки, флаконы духов, банки «Кэпотена», дамские сумочки, галстуки, джемпера, и опять – нити, нити контрабандного жемчуга.

Кандидов работал изящно и четко. «Гоп!»-говорил он и извлекал из тюрбана три пары лакированных туфель и шелковую пижаму. «О-ля-ля!» – восклицал он и вытягивал из пожелтевшего черепа связку часов-браслетов.

Целый беспопытный универмаг обнаружил Кандидов в тайниках факирской мишуры. Вещи являлись как бы из потустороннего мира, внезапно материализуясь у всех на глазах. Физиономия Курамарго менялась в цвете как светофор. Курамарго зеленел, желтел, краснел. Вдруг он кинулся к Кандидову. Начальник пытался удержать его.

– Пусть не крадет! – кричал по-немецки факир. – Общайте его.

– Чего он разоряется? – спросил Кандидов, легонько отстраняя Курамарго.

Но факир полез Тошке в карман и вынул нить жемчуга и галстук. Окружающие смутились.

– Фокусы! – заорал Кандидов. – А спросите его самого: зачем он спер у товарища начальника именные золотые часы ЦИКа СССР? Вот, пожалуйста!

И Кандидов вытащил из кармана Курамарго жалованные ЦИКом часы и отдал начальнику.

– Тьфу! Черт вас обоих дерит, фокусники! Действительно мои! – озабоченно ругнулся, осматривая часы, начальник. – Пожалуйста, гражданин, за мной! – строго обратился он к обмякшему факиру.

– Из вас может выйти прекрасный иллюзионист, – сказал Кандидову представитель цирковой дирекции.

– Ну, иллюзионист или еще кто, это я не знаю, – крикнул издали начальник, – а вот купор из него уже классный вышел!

Купорами называют на таможне сотрудников, вскрывающих контрабанду.

*Мне некогда писать вступления: ветер дует, море волнуется в гавани, – нам надо совершать кругосветное путешествие. Поедем же!..Вообразите себе старых моряков, с жесткой кожей, с руками твердыми, как железо, с жидкими волосами, впалыми глазами, с таким же животом, перегоревшим желудком, но с честной душой и добрым сердцем.*

*Жюль Жанен*



Мозоли окончательно поссорили капитана Галанина с действительностью. В самом деле, что может быть для отставного морехода горше и несноснее, чем мозоль на ноге – сословное отличие пешеходов? Проклятая суша! Она мозолила глаза и ноги капитану Галанину. Он уже не мог, как прежде, картинно попирать презренную землю. Он начинал прихрамывать.

А ведь было...

Подбиралась моряна под белый китель. Гавань медленно отворачивалась. Горы забегали сбоку, но вскоре отставали. Жарко сияли поручни мостика. И рупор, вобрав в себя слова Галанина, слал

его голос окрест над морями. В проходных конторах фрахтователей подписывал он коносаменты, именуясь «капитаном хорошего парохода», и взвешенный в воздухе дым добротных сигар, сплетаясь, качался над ним, как гамак. И стояло его имя в «Дженконах», «Балтаймах» и в «Аксумо» – в «Чартерпартии Бристольского канала», третий параграф которого гласил: «Стихийная сила, морские опасности, пожар, наводнение, льды, заговоры, злая воля капитана и команды, враги, пираты, воры, аресты и притеснения принцев, правителей и народа, столкновения, посадки и другие несчастные случаи плавания взаимно исключаются».

К сожалению, кое-что в этом благородном и романтическом параграфе нельзя было исключить из судьбы капитана Галанина. Длинная история, монотонная и заученная наизусть, как алфавит морзянки: «Або, Бессарабка, Вавилон, Голова, Догадка...»

Поторопившаяся старость. Вдовство. Потом вторая жена, молодая, ушедшая вскоре к молодому. Запоздалое, неуклюжее отцовство: осталась маленькая дочка. Запой – беспробудно. Пьяная вахта, удар, треск и... параграф третий «Чартерпартии Бристольского канала», по которому ответственность за происшествие исключалась для фрахтователя, но целиком лежала на капитане...

На суде Галанина выгородили его послужной список и мужественное прошлое. Вспомнили, как увел он близ Керчи пароход у белых, заглянули в безукоризненные судовые журналы кораблей, которые он водил. Но ощутимый спиртной душок вился над материалами дела. За благо рассудили, что пора старику на покой. И его мирно списали на берег. Ему назначили даже небольшую пенсию. От сухопутной службы он отказался наотрез и перебрался на родину, в Киструс. Там у него был домик, принадлежавший покойной жене. Кухонную половину он сдал жильцам, в чистой поселился сам с дочуркой.

Дочку звали Елочкой. Настоящее ее имя было Елена.

Улица наградила ее кличкой – «капитанская дочка». И она с гордостью носила это прозвище. Ей шел девятый год, Елочке Галаниной. Она росла тоненькой, раздумчивой девочкой. У нее была привычка вытягивать шейку и высоко задирает острый подбородок. И ее чахлая фигурка всегда казалась приподнятой на цыпочки, словно Елочка тянулась заглянуть по ту сторону обычного.

– Нет, не жилища она, – сокрушались сердобольные соседки, – по ей уже тень пошла.

– Не говорите! Были бы кости, а мясо нарастет, – утешали другие. – Конечно, без матери какое воспитание! Тем более морской человек. Грубость...

Но Елочка была ласкова, привязана к отцу, а капитан научил ее любить море. Елочке было четыре года, когда Галанин рассадил о волнорез моря свой пароход. Она почти не помнила моря, разве только вот поскрипывание каюты, струны лучей, натянутые между жалюзи и зайчиком на полу, потом – отвинченный иллюминатор, как объектив, вбирающий свет, ветер и брызги, наконец, бегущий мрамор отблесков на корме. Вот и все, что осталось от моря.

Но Елочка любила вспоминать о нем, как вспоминают о забытой бабушке, хорошо знакомой по чужим рассказам. Она рано и легко научилась читать, причем одновременно с букварем нетерпеливый капитан показал ей международный свод сигналов флагами и азбуку Морзе. Вскоре она могла подписывать свое имя с одинаковым успехом буквами, флажками и тире-точками.

Последнюю премудрость она постигла с особенным удовольствием. Ей очень нравилось, что для каждой буквы, чтобы легче запомнить, было выдуманное свое слово: А – Або, Б – Бессарабка. Слова делились на слоги: если в слоге было «а», то ставилась точка, если нет, то тире. Поэтому легко было запомнить: А – А/бо, это точка и тире. Б – Бе/сса/раб/ка – тире и три точки. «Або, Бессарабка, Вавилон, Голова, Догадка» – это стало любимой считалкой Елочки.

Потом Елочка взялась за книги капитана Галанина. Здесь были лощия и навигация, уставы кораблевождения, словари, учебники, космографии, сборники торговых договоров, тексты коносаментов и т. д.

Она мало что поняла в этих книгах, но ей понравились красивые, звучные слова, и она упросила отца объяснить их значение.

Растроганный мореход не только пространно растолковал все, что можно было растолковать, но не пошел даже в тот вечер в пивную. Просидев всю ночь с карандашом над тетрадкой, он, тужась и потея, кропал стишки для Елочки. Стихи не получались. На следующий день он сходил пораньше в пивную. Вернулся домой в меру нагруженный и сел у Елочкиной кровати.

– Елочка, ты моя палочка, худышечка ты моя зеленая!

– Я никак не могу уснуть, – сказала Елочка. – Засни меня, пожалуйста. А, папа? Расскажи про чего-нибудь.

– Мы с тобою поболтаем, расскажу я про «Балтайм», – запел вдруг капитан. – Надо действовать с умом, чтобы узнать про «Аксумо». Хорошо получается, дочка? Это я сам стишки придумал. И еще есть. Погоди. Как это? Ах, черт, вылетело, запомятовал! У меня так ловко про «Дженкон» было.

– Папа, – спросила вдруг Елочка, – а какой наш самый, самый большой, прегромадный пароход?

– «Трансбалт», – отрывисто пробормотал Галанин, вспоминая, как мечтал он стать капитаном «Трансбалта» и – кто знает! – стал бы, может быть.

– А ты его был капитан?

– Нет.

– Почему не был? А, пап?

– Спи, дочка. Будя болтать. Ну, тихенько.

– Я сиюточку-минуточку. Ты только скажи стишок про «Трансбалт».

– Я не знаю стишков про «Трансбалт».

– Ну, какой папа! А ты придумай сам!

Созвучие старой песенки пришло на помощь капитану.

– «„Трансбалт“, „Трансбалт“, мечта моя, ты вся горишь во мне» – шепотом продекламировал капитан и уронил голову на руки. – М-да! Эх, дьявольщина! Гм! Ничего, ничего, дочка, ты спи! Знай спи. Вот так! Майна, Елочка. Майна.

И Елочка чувствовала, как она плавно спускается в бездонный и мерцающий полумрак трюма. «Майна помалу, майна»... Она заснула.

Сухопутье ожесточило капитана не одними мозолями. Галанина не любили в Киструсе. Ему досаждали всячески, над ним подсмеивались. Ему не верили. Его поддразнивали. Он был гордец и оригинал, а это не прощалось человеку в провинции. «Капитан разбитого корабля!» – кричали ему вслед мальчишки. «Моряк-то наш опять на мели сидит», – хихикали туземные остряки, проходя мимо домика Галанина, где на скворечнике развевались два пестрых флага международного свода – два флага бедствия.

У Галанина каким-то образом сохранился полный набор флажков свода. Он приладил к шесту скворечни рейку. Он натянул сигнальные фалы. И над крышей домика утром взвивались, виляя и треплясь, флаги «О» и «М»: «нахожусь на мелководье». Вечером капитан поднимал на скворечнике сигнал «О», «Е» – «умирающие от жажды» – и брал курс на пивную. Возвращаясь, он вздергивал «О», «Р», что означало: «не могу управиться» – и ложился спать.

Елочке капитан старался привить такую же непримиримость. «Ты у меня морской волчонок, а они – овцы сухопутные», – говаривал он. Но Елочка росла. Закон всеобуча привел ее в школу. Она поступила сразу во вторую группу. Учительница, объяснив дроби, рассказала, что происходит в одной шестой части суши. И открылось, что на суше происходят вещи, не менее значительные, чем на море. В неделю Елочка повзрослела, как за год. Ровесницы Елочки оказались куда более осведомленными.

Они уже все, все знали, решительно все. Правда, они в первый раз слышали о «Чартерпартии Бристольского канала», но зато они знали, кто такой Гитлер и какая добыча угля в Донбассе, а Елочка не знала. Она многого не знала.

– Ты как с необитаемого острова все равно! – удивлялись подруги. – Мы тебя знаешь как звать будем? Елена Робинзон. Это такая книжка была. В золотом переплете, – подчеркивали они добротность прозвища.

Через неделю Елочка, придя из школы, заявила отцу, что ей нужен красный галстук.

Капитан молча полез в сигнальный ящик. Он перевероршил весь свод и вытащил красный двурогий флаг «Б». Из него выкроили отличный галстук.

А еще через неделю Елочка вернулась домой очень грустная.

– Ну, ты чего это? – спросил ее Галанин.

– Папа! – сказала, серьезно глядя на него, Елочка. – Папа, а почему ты сейчас не капитан?

Галанин растерялся. Его испугал не самый вопрос, а тон, каким он был задан.

– Так ведь я, понимаешь, старый уж, Елочка.

– Ну, ты почти совсем не очень старый. Вон у Соньки отец вовсе старичок, а и то как работает! Ударник даже, Сонька говорит. Папа, а



пап? Сделайся опять капитаном. А? Пап! Или ходи куда-нибудь каждый день на службу. Ну, а что так? Все в пивной да в пивной. Мальчишки дразнятся даже. И теперь все против пьяницев. А ты... – И Елочка заплакала впервые за два года.

Капитан молчал. Когда-то у него отняли море. Теперь земля сама уходила из-под ног. Он кинулся писать письма и прошения в Москву: в Наркомвод, в Совторгфлот. Он требовал и просил назначения. Он готов бы согласиться в крайнем случае и на береговую службу.



В тот день Киструс был поражен неурочным и новым сочетанием флагов на галанинском скворечнике. Сначала это был четырехугольный белый, в синюю шашку, и красный, с желтым крестом, – «О», «Т» – «Пожалуйста, останьтесь около меня»; потом флаг «Т» сменился синим с белым просветом – «О», «К» – «Я атакован, нуждаюсь в помощи».

К ночи над домиком Галанина около флага «О» повис белый треугольник с красным кругом – «В»: «Терплю бедствие, нужна немедленная помощь».

«О», «В» осталось висеть надолго. Галанин уже не гаерничал. Он не дразнил соседей. Он действительно ждал помощи. Кто знает, может, проедет через Киструс какой-нибудь моряк, увидит поднятый сигнал бедствия, свернет на помощь. Но моряки не заезжали, а в Киструсе никто не понимал значения сигналов.

Москва не отвечала. Прождав две недели, капитан решил дать телеграмму старому приятелю из Совторгфлота. Он не хотел открывать любопытным телеграфистам свое бедственное положение. Московский приятель хорошо понимал скороговорку Морзе и сигналы свода. Он хорошо знал, что такое «О», «В». Галанин протелеграфировал ему: «Олово Вавилон Галанин». Вечером в Киструсе толковали, что капитан малость того...

Через несколько дней соседи увидели, что по веревкам скворечни ползет целая гирлянда флагов. Весь пестрый тряпичный алфавит свода мотался над крышей. Не хватало только «Б», из которого сшили красный галстук Елочке. И проходившие мимо окон домика слышали, как капитан с дочкой веселыми, воинственными голосами пели: «„Трансбалт“, „Трансбалт“, мечта моя, ты вся горишь во мне!» Жильцы Галанина сообщили соседям, что капитан получил из Москвы от самого главного флотского комиссара телеграмму. Капитану предлагали немедленно выехать и принять назначение.

В день отъезда заболела Елочка. Поднялась температура. Покраснели, оплыли глаза. Доктор сказал, что пока картина неясна, лучше бы не ездить. Но Елочке так не терпелось увидеть отца снова капитаном.

В дороге ей сделалось совсем худо. Она не в силах была раскрыть слипшиеся веки и стала бредить.

– «Трансбалт», «Трансбалт», – жарко выдыхала она. – «Або, Бессарабка, Вавилон, Голова». Папа, ты подпишешь «Чартерпартию Бристольского канала»? Подпишешь? «„Балтайм“, „Балтайм“, мечта моя... ты вся горишь...»

Елочка очнулась нескоро. Сначала где-то внутри стало очень хорошо и беспричинно радостно. Потом захотелось открыть глаза. И Елочка увидела, что она лежит в просторной, чистенькой каюте. Висела карта, качалась подвесная лампа над столом. Что-то скрипело в стене. Вентилятор пел как большой волчок. Слегка и неровно покачивало. Пароход, видимо, разворачивался, так как солнечный зайц скользнул по стене и исчез. Елочка попыталась приподняться, но сил у нее для этого не нашлось. С палубы доносился топот многих ног. Слышались глухие разговоры, Елочка узнала голос отца. Но это не был его прежний голос. Исчезли хрипотца и дрожкость. Голос звучал густо, твердо и строго.

Каюта дрогнула, и качка прекратилась.

– Готово! Есть! На месте! – донесся до Елочки голос отца.

Дверь каюты осторожно открылась. Вошел капитан. Он был трезв и брит.

– Лежать! Лежать! Смирно! – крикнул он наигранным снова морским басом. – Ложись в дрейф, и никаких! Однако и спала же, Елка ты моя зеленая!

– Пап, а ты опять настоящий капитан?

– Более-менее настоящий, – ответил Галанин и смущенно улыбнулся.

– Ой, как хорошо! И опять у тебя будет «Чартерпартия Бристольского канала»? Папа, как пароход называется?

Капитан выскочил из каюты. Он тотчас же вернулся, неся большой красно-белый спасательный круг. «Трансбалт» – было написано на круге.

– «Трансбалт», – прочла Елочка.

– «Трансбалт»! – сказал капитан и надел круг на Елочку.

– А куда мы едем? – поинтересовалась Елочка.

– В Индию и Японию. Сейчас мы стоим у Порт-Саида. Хочешь посмотреть?

Он бережно поднял Елочку. Он поднес ее к иллюминатору. Чудесный вид! Синее, как нарисованное, небо. Щедроты солнца

сыпались на сказочный берег. В зеркальной воде отражались дворцы и пальмы. Стояли на рейде корабли. И Елочке казалось, что ей снится все это. Тем более, что с глазами у нее было не все еще ладно.

Но пришел судовой врач и велел немедленно уложить Елочку и соблюдать покой и запретил выносить ее на палубу, на свет, чтобы поберечь воспаленные глаза.

Тем не менее это было чудесное плавание. Флаг удачи вился над ним. Погода стояла благоприятная. Совершенно не качало. Виды, один прекраснее другого, сменялись в иллюминаторе.

На «Трансбалте» стояли новые, совершенно бесшумные машины. Пароход был рекордно быстроходен. Плавание совершалось в непостижимо быстрые сроки. Меридианы мелькали, как проселки.

В одном порту пароход посетили трое важных англичан. Они заглянули в каюту. Капитан что-то объяснил по-английски. Англичане все трое обернулись и кивнули. Не улыбаясь, посмотрели они на Елочку. Но их больше интересовала каюта. Они внимательно оглядывали каждую мелочь и трогали лак двери. Вероятно, они собирались подписать «Чартерпартию Бристольского канала».

Потом корабль попал вдруг в полосу удивительных приключений. На четырнадцатый день плавания, когда пробили третью склянку утренней вахты, Елочка услышала классический возглас: «Человек за бортом!» Протопала по палубе спасательная суматоха, и вскоре к Елочке привели обсохшего мальчика в одеянии с чужого плеча. Оказалось, что он ехал из Одессы зайцем в трюме, был открыт, полез со страху на ванты и сорвался в море. Так Елочка приобрела товарища. Его звали Тимка. Он жулил в карты, привирал на каждом слове и ковырял в носу.

Второе приключение было загадочным и жутким. Оно тяжело потрясло Елочку. Однажды капитан уступил ее капризам. Он обещал, если совсем стихнет ветер, вынести Елочку на мостик. «Трансбалт» стоял на рейде Сингапура. Ветер упал лишь к ночи, но капитан сдержал обещание. Фрося укутала Елочку, и капитан вынес ее на руках. На мостике стоял вахтенный. Горели фонари и отличительные огни: красный, зеленый. Беззвездная ночь обступила корабль и море, было тихо и душно, как в комнате. Только в порту еле слышно жужжали краны, горели огни на судах и легкий гомон доносился оттуда. И вдруг черное небо со страшным скрипом рассеклось надвое

до самого горизонта. Сразу стало светло. Мгновенно из тьмы выступили горы, порт и пароходы. А в чудовищной и ослепительной расщелине появилась исполинская фигура человека. Великан стоял над морем. Он шагнул из-за горизонта. Горы не доходили ему до пояса. Елочка пронзительно закричала, закрыв лицо руками. На мостике заметались. Елочку спешно снесли вниз.

Скоро появился доктор. Он накричал на капитана. Елочке разъяснили, что это было атмосферное явление, ничего страшного. Но девочка видела, что все чем-то смущены, и упрямо не верила.

На семнадцатый день плавания Тимка играл с Елочкой в «свои козыри». Он бессовестно сжулил и был изобличен. Елочка возмутилась.

– Уходи, уходи! Не хочу с тобой! – закричала она.

– А чего ты из себя воображаешь? – обиделся Тимка. – Какая нашлась! Не твоя каюта.

– Не моя, так папина. Уходи! Жила. Фу!

– Ну и уйду, пожалуйста! Мне только смешно на тебя. Все тебе врут как попало, а ты уж и веришь. Ты вот скажи, где мы сейчас?

– Ну, около Формозы, – сказала Елочка, указывая на карту.

– Формозы? Как раз! Эх ты, веришь! Сказать, где? Мы вовсе в Москве, у Виндавского вокзала. А отец твой, думаешь, капитан? Как раз. Держи шире! Он вовсе заведующий. А это, думаешь, пароход? Это совсем музей, а не пароход. А я тут живу во дворе. Это что, думаешь, берег виден? Да, как раз, смотри!

Тимка протянул руку через иллюминатор и ткнул пальцем в панораму. Рука его достала до берегов. Скалы слегка прогнулись.

Елочка заморгала беспомощными глазами. Она не в силах была поверить.

Но Тимка не врал. Не было на самом деле парохода, и капитан Галанин командовал лишь фикцией. Он был капитаном наглядного пособия. Галанина вызвали из Киструса с тем, чтобы предложить ему заведование новым морским музеем в Москве. Здесь вполне подходил человек некогда дальних плаваний, а теперь выброшенный морем на берег. Знания и опыт Галанина были известны. Опасаться аварий в музее не приходилось.

Приятель Галанина, тот, что дал телеграмму, встретил его на вокзале. Капитан, с больной Елочкой на руках, выслушал

предложение и вздохнул: «В музей, значит, сдают. Почетно! Все-таки лучше, чем на свалку».

Рассуждать не было времени. Девочка гибельно пылала в забытьи. Капитан согласился.

Но тут выяснилось, что музей еще дооборудывается и квартира для заведующего не совсем готова. В общежитие с больной девочкой нельзя было ехать. О больнице упрямый капитан и слышать не хотел. Тогда изобретательный его приятель предложил следующую комбинацию. В помещении музея сооружали деталь корабля. Воздвигались в натуральную величину спардек, мостик и настоящая двухместная матросская каюта нового, советского образца. Каюта была уже полностью оснащена и обставлена с тем строгим комфортом и уютom, который так отличает каюты команды на кораблях советской постройки от кубриков самых прославленных судов старого Ллойда. В этой каюте и поселился временно капитан с дочкой.

Елочка долго не приходила в себя. Она бредила «Трансбалтом» и флагами свода. Доктор высказал опасение о возможности менингита. Доктор пришел в ужас, узнав, что девочку везли с такой температурой. Он потребовал полнейшего покоя и устранения всяких волнений. Елочка в бреду видела себя на корабле, и доктор распорядился ни в коем случае не разубеждать ее до выздоровления.

Так началось это необычайное плавание. В вынужденной игре участвовали все работники музея. И доктор, входя в каюту, тоже на всякий случай надевал форменку. Елочка промаялась дней пять в бреду, потом она крепко заснула и проспала около полутора суток. Ее разбудила качка, когда рабочие передвигали каюту под законченный уже мостик.

Многочисленные заботы и дела музея загрузили доверху жизнь капитана, и она снова приобрела устойчивость. Музей был учебный. Сюда приходили ученики водного техникума. И вещи не были ограждены стеклами от своего предназначения. Вещи несли еще службу. Их трогали, развинчивали. На них учились. Капитан постепенно входил во вкус нового дела.

– Нет, это не бутафория. В чем дело? – говорил капитан. – Это я вроде «Авроры». Тоже корабль был! Зимний брал. А теперь учебное судно. Черт, удивительно все-таки умеют у нас людей делом за живое взять!

Кроме обязанностей завмузеем, Галанин с увлечением изображал капитана дальнего, Елочкиного плавания. Он вел судовой журнал, он чертил маршрут по карте. Через день менял он перед иллюминатором раскрашенные панорамы портов из папье-маше, в обилии имевшиеся в музее. Он вовлек в плавание Тимку, человека за бортом, сына музейного сторожа. Что же касается англичан, то это были вполне настоящие англичане, интуристы. Они захотели осмотреть музей. Очень просто объяснилось также появление великана на сингапурском горизонте. Это открылась дверь за панорамой, и вошел сторож. Вот и все!

Так объяснились многие тайны этого сказочного рейса.

Елочка, бледная, вскочила с койки («Вот как! Обманывать меня!»). Накинув одеяльце, она выбежала из каюты. Она пробежала спардек и хотела взобраться на капитанский мостик, но остановилась как вкопанная. Замечательные вещи окружали ее. Она находилась в огромном светлом зале. Изящные модели кораблей стояли на медных и стеклянных подставках. У стен раскинулись макеты и панорамы портов, пристаней, маяков. И большой, настоящий город смотрел в широкие окна.

Елочка заглянула на мостик. Там было много народу. Экскурсанты – рабочие и школьники – почтительно слушали капитана Галанина. Он демонстрировал управление кораблем. Галанин был облачен в полную капитанскую форму. Елочка прямо залюбовалась им. Дурак Тимка. Ну что же, что музей? А все-таки настоящий капитан, и все его слушают!

– Эй, на берегу! – крикнул морским басом капитан.

– Есть на берегу! – важно ответила из дальнего угла уборщица Фрося.

– Флаги в порядке? Приготовиться!

– Нечего и готовиться: все и так готово! – уже не по уставу заворчала Фрося.

И вдруг, взбегая на высокие ноты, завывла электрическая сирена. Всползли по фалам яркие сигнальные флаги. И капитан, дважды повернув по всему диску ручку машинного телеграфа, поставил ее на «полный ход».

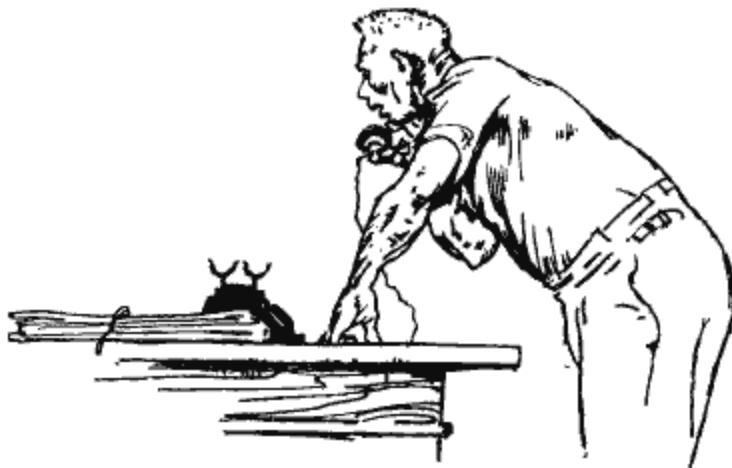
**Будьте готовы, Ваше высочество!\***





## Глава I

### Принц из Джунгахоры



– Так. Принца вот только мне и не хватало, – сказал начальник лагеря в телефонную трубку.

Все поглядели на начальника. Кое-кто не совсем расслышал его слова. Другие подумали, что он шутит, – начальник слыл по всему побережью человеком веселым. Впрочем, сейчас ему, видно, было не до смеха. Должно быть, из Москвы, откуда срочный телефонный вызов неожиданно прервал заседание в кабинете начальника пионерского лагеря «Спартак», сообщили действительно что-то важное. И, верно, там, в Москве, тоже не совсем хорошо разобрали, что ответил начальник, потому что он повторил громко, с хмурой усмешкой поглядев на сидевших в кабинете:

– Я говорю, вот принца только как раз в нашем хозяйстве недоставало.

Но в Москве, должно быть, не были расположены к шуткам. «Кхя-кых-кагых-кыкыр», – строго и отрывисто прокаркала трубка, и директор четко проговорил в телефон:

– Ясно. Я вас понял.

Потом он сделал знак сидевшему рядом с ним бухгалтеру, чтобы тот прикрыл окно. Прибой в этот день был шумный. Бухгалтер товарищ Макарычев плотно закрыл окно, выходящее прямо на море.

В комнате сразу стало тихо и душно, но волны, подбегая под самый домик начальника, словно из любопытства вскидывались на цыпочки, стараясь заглянуть в окно.

Начальник Михаил Борисович Кравчуков отнял телефонную трубку от уха. Некоторое время смотрел он в ее чашечку, словно ждал, не выскочит ли еще что-нибудь из нес, а потом с размаху бросил трубку на рога старомодного, похожего на маленького оленя аппарата. Бросил и повернулся к сидевшим в комнате.

Вид у начальника был неважный, но он бодрился, надул щеки, покачал головой, подмигнул сам себе...

– Ну, поздравляю, – сказал он. – Как это там у Гоголя в «Ревизоре»?.. Должен сообщить пренеприятное известие... К нам едет принц.

– То есть в каком это смысле? – спросил товарищ Макарычев.

– В самом обыкновенном. Точнее сказать – в самом необыкновенном. Принц. Нормальное его королевское высочество, будь он неладен! Младший брат джунгахорского короля, ныне здравствующего, царствующего и прочая и прочая, и так далее и тому подобное, и так его и эдак! Наследный принц престола. А?.. В «Артек», что ли, позвонить? Пусть поделятся опытом. У них уже там жили какие-то принцы и принцессы из Лаоса или из Камбоджи, кажется. Сообщали об этом. М-да, всю жизнь мечтал воспитывать у себя в пионерлагере августейших особ...

– А почему августейших? – встрепенулся бухгалтер. – Сейчас же еще июль. Это что же, в счет августовского плана заезда?

– Ох, товарищ Макарычев, – вздохнул начальник с усмешкой, – ты что, только календари и инструкции в жизни читал?

– Зачем же, – обиделся тот. – Неверно заявляете, Михаил Борисович, я и в газету пляжу, что ни день – прорабатываю...

Начальник только рукой махнул.

## Глава II

### Совершенно секретная <sup>[12]</sup>

Теперь стоп! Минутку! Знаю, знаю я отлично, дорогие вы мои мальчишки и девчонки, что предисловий к книгам вы вообще никогда не читаете. Но на этот раз я вас очень прошу: обязательно прочтите его. Для того я и всунул это вступление в серединку. Кроме того, я не хотел, чтобы его читали взрослые. А то взрослые обязательно станут скучно и назойливо спорить с вами, уверяя, что все в этой книжке только сказка и ничего подобного на свете не происходило в самом деле. И даже страны такой, Джунгахоры, тоже будто бы нет. Они станут тыкать вас в карту носом и твердить при этом, что все это выдумка, ничего больше...

Прошу вас, не спорьте! Делайте вид, что вы соглашаетесь. Ладно, пусть себе считают все это сказкой. Нам с вами так будет даже лучше и спокойнее. А то пойдут еще всякие разговоры, начнутся уточнения: где, да что, да кто и откуда. И, возможно, возникнут еще какие-нибудь дипломатические осложнения и пойдут международные, так сказать, неприятности. Нет уж, пусть лучше взрослые думают, что все это только сказка. А вам, одним лишь вам, я скажу по секрету, что все это совсем не выдумка, никакая это не сказка, так все и было, как я написал в этой книге. Только мне пришлось пока что изменить название страны, которую я имею в виду, чуточку переместить ее на географической карте и дать некоторым героям моей правдивой повести другие имена.

Но все остальное – правда истинная, правда суцая и ничего, кроме правды. Скажу вам больше того, друзья! Я обещаю, как только можно будет, открыть подлинное название страны Джунгахоры, показать вам ее на карте. И, знаете, я твердо верю, что смогу это все сделать, до того как вы сами станете взрослыми и, чего доброго, начнете еще утверждать, будто все удивительное и неизвестное вам на свете – это сказки. Обещаю вам!

А пока – стоп! Тихо! Пусть себе взрослые думают, что вы читаете сказку.

## Глава III

### Передается важное сообщение

Итак, в пионерском лагере «Спартак», расположенном на побережье Черного моря, стало известно, что вместе с нашими ребятами будет отдыхать настоящий принц из Джунгахоры.

Вообще-то начальник Михаил Борисович не хотел придавать этому особое значение и заранее оповещать ребят о приезде не совсем обычного гостя. Но во время разговора по телефону с Москвой он, попросив закрыть окно в кабинете, не заметил, что сквозняком приоткрыло дверь, а в дверях стоял некто, по имени Тараска и по фамилии Бобунов. Этого маленького и круглощекого пионера знал весь «Спартак», и он знал решительно всех, потому что более пронырливого и разговорчивого мальчишки не было в лагере, а может быть, и на всем побережье Черного моря. Недаром его звали и Тарасконом из Тартарена, и Трензелем-бубном, и Транзистором, и Тарантеллой, и Тарантасом. Заметив его наконец в дверях своего кабинета, начальник горестно махнул головой:

– Так. Ты уже, конечно, тут как тут. Слушай, Тарас, ты можешь не болтать о том, что слышал, до поры до времени? Пока, понимаешь, то да се...

– До поры-времени могу, – сказал Тараска твердо.



Но пора да время наступили для Тараски тотчас же, как только он оказался за дверью кабинета. Правда, сперва он решил быть верен обещанию, которое дал начальнику. Ему было даже лестно, что вот, скажем, идет он, пионер Тарас Бобунов, совершенно обыкновенный с виду и не всеми даже в достаточной мере уважаемый, идет – и никто не знает, какой важной, может быть, даже государственной тайной он облечен. Прошли навстречу двое ребят из верхнего лагеря. Прошли, бедняги, даже не подозревая о том, что знает он, Тарас. А принц тем временем едет!

Но вскоре тайна эта стала прямо-таки лезть из него. Тайна стала чесаться в ухе, корябаться в горле, как ни откашливался Тараска. Она сушила губы, которые приходилось то и дело облизывать языком. А языку было уже совсем скверно. Он так и елозил во рту, каждую минуту грозя сболтнуть что-нибудь такое, что даст вырваться на волю подслушанному секрету.

В конце концов Тараска сдался и, влекомый тайной, направился в свою палатку номер четыре. Здесь жили самые закаленные, самые дружные пионеры, заслужившие право обитать в палатках на берегу, а не в парковых дачах.

Волна на море была в этот день большая, и ребята не купались. Мальчишки занимались своими делами. Одни что-то мастерили,

другие решали у входа в палатку кроссворды, третьи играли в шахматы на скамье возле палаток.

– Ну, ребята, – начал Тараска (голос его таил что-то совершенно необыкновенное), – если обещаете без шума, грома, тарарама и вытерпите помолчать до поры до времени, я вам такое сейчас скажу, что закачаетесь. Только это секрет, предупреждаю.

Никто даже не посмотрел на Тараску. Все продолжали заниматься своими делами. Только кто-то, находившийся в палатке номер четыре, буркнул оттуда:

– Хо! Можно себе представить!

– Пожалуйста, считайте меня трепачом. – Тараска повернулся к палатке.

– Мерси вам за разрешение, мы и без того считаем, – послышалось из-за брезентовой стенки.

– Да пожалуйста. И звонарем.

– Тоже учтем, – донеслось из палатки.

– И Тарасконом, Тарантасом, как хотите.

– И это нам известно, – неумолимо ответствовала палатка.

– А теперь вот вы все убедитесь раз навсегда, что я говорю только правду.

Тараска твердил все это в стенку палатки, но сам косил глаза назад, туда, где сидели ребята.

– Может, хватит тарактеть? – Ярослав Несметнов, самый солидный из пионеров четвертой палатки, поднял голову от шахматной доски, на которой он только что дал мат своему партнеру.

– Вы же сами не даете сказать, – взмолился Тараска. – Так вот имейте в виду: у нас будет жить принц. Из Джунгахоры.

Тут и те, кто только что лениво посматривал на Тараску, отвернулись.

– Силен! А короля не ожидают?

– Нет, батька его, король, уже давно помер. Я у Юры-вожатого спросил. А королем у них царствует брат старший. А он сам еще принц пока наследный.

– Ишь ты, наследный... Где же это он наследил? Слава Несметнов тем временем снова расставлял шахматные фигуры на доске, готовясь к следующей партии. Мальчишка, читавший на пороге соседней палатки, оторвавшись от книги, с насмешливым недоумением

поглядел на Тараску. Вообще особенного шума, грома, тарарама не получилось. Если бы Тараска сообщил, что приехал младший брат знаменитого вратаря Льва Яшина, ожидаемый в лагере уже не первый год, хотя кое-кто из маловеров уверял, будто у Яшина вообще нет брата, – вот тогда бы шума было куда больше.

– Ну и что с того, что принц? – охладил Тараску Слава Несметнов. – Ну и пусть поживет себе на здоровье. Жалко, что ли? У них там небось насчет пионерлагерей не очень-то.

– Цаца какая – принц, что с того? – поддержал его партнер.

– А он, что ли, виноват, если принцем родился? – упрямылся Тараска.

– Мог бы отречься, в конце концов, если он сам против монархизма.

Тут уж Тараска, который почему-то решил заранее взять принца под свою защиту, возмутился:

– Откуда ты знаешь?! Дай срок, может быть, он отречется, когда ему заступать надо будет на этот... как его... трон, что ли. Ну, в общем, на престол.

Мальчик, читавший на пороге палатки книжку, поглядел на всех внимательно:

– Ребята, а где эта самая Джунгахора, между прочим, – в Африке или в Австралии?

– Заехал, ау! – осадил его Несметнов. – На обратном пути не заблудись.

Но тот встал, потянулся:

– Я все-таки в библиотеку сгоняю – там справочник есть по всем странам, с фестиваля еще остался. Так и называется: «Коротко о странах».

– Правильно, – сказал Ярослав Несметнов, не отрываясь от доски. – Коротко и ясно. Между прочим, – проговорил он, обращаясь уже к своему партнеру, – не знаю, как принц, а королеву твою я ем.

– Из-за тебя зевнул, Транзистор! – Проигравший сердито обернулся к Тараске. – Кажется, ясно видишь, трудная позиция на доске, а балабонишь тут! – И он обеими ладонями сгреб в кучу шахматы. Ярослав поднялся. – Значит, принц, говоришь. Так. А разговаривать с ним как будем?

– Можешь не беспокоиться, – заторопился Тараска. – Порядок будет. Договоримся.

– Это ты договоришься?

– А что? Могу! Мир и дружба! Фройндшафт! Или это... Хинди руси, бхай-бхай!..

– Он тебе покажет бай-бай!..

– А я, в случае чего, знаю по-английски, – заверил неудачливый шахматист, снова расставлявший фигуры на доске. – Гуд мнинг – доброе утро! Потом гуд дей – добрый день. Гуд ивнинг – добрый вечер.

– А потом – покойной ночи? Гуд найт? Глядишь, и день прошел, вот и поговорили. – Ярослав сел и сделал ход пешкой.

– Слава, – осторожно начал Тараска, – на крайний случай я еще по-французски могу: месье и адье.

– Я тебе дам: «адье»! – пригрозил Слава. – Тут встречать надо, а он адье.

– Я все-таки для порядка спрошу: «Парле ву франсе?»

– А если он – парле? Что ты дальше делать будешь?

– Я тогда ему вмажу по-кубински: «Патриа о муэрте!». Отечество или смерть! Пусть видит, что мы не какие-нибудь отсталые, темные. Могу, если надо, и по-итальянски: «Бона сера!»

– Уйди ты отсюда, бона-балабона!

Не слишком восторженно отнеслись к сообщению Тараски и девочки.

Они сидели на крылечке большой белой дачи. Кто вязал, кто читал, кто раскладывал на ступеньках коллекцию камешков, собранных на пляже.

– Девочки, – сказал Тараска вкрадчиво и многозначительно, – должен вас проинформировать. Только тихо, без визга, пожалуйста. – Он заранее зажал уши ладонями и только потом сообщил новость о предстоящем приезде принца.

Но никакого визга не последовало. Тарарама не получилось и тут.

Тараска даже отнял ладони от ушей и с удивлением поглядел на девочек.

– Ври! – сказала самая рослая из них. Все звали ее Тонидой, хотя на самом деле имя ее было Антонида.





Тоня Пашухина приехала из детского дома, расположенного неподалеку от волжского города Горького. Ее премировали поездкой в «Спартак» за очень хорошую общественную работу. Она придумала в детдоме и школе «пункт неотложной товарищеской помощи». Туда поступали немедленные сообщения о всяческих обидах, неприятностях и разных трудных делах, без которых, как известно, не обходится жизнь ребят. И комитет скорой помощи сейчас же брался за работу, чтобы не дать человека в обиду, чтобы поправить поскорей его дела. Стройняшка, точная и ловкая в каждом движении, строгобровая, с несколько медлительным взглядом из-под длинных ресниц, говорившая негромко и веско, с упором по-волжски на «о», Тонида сразу же завоевала авторитет среди лагерных девчонок. Они считали ее самой справедливой, но чуточку побаивались, так как она не любила девчачьих нежностей, и если кто из подружек с визгом бросался к ней на шею, после того как она показывала какой-нибудь физкультурный фокус в море, сразу слышалось: «Отлипни. Не мусолься...» И Тонида сурово высвобождалась из объятий подруг.

Мальчишки предпочитали уважать Тониду издали, так как после первой же попытки подразнить ее почувствовали на себе крепость ее характера и кулаков. А она, на зависть всем, плавала, как дельфин, лучше всех умела «печь блины» брошенным вскользь по поверхности моря камешком. А однажды на спор с мальчишками прыгнула в

Лягушачьей бухте с высокой скалы прямо в воду под визг подруг и восхищенный свист палаточников. После этого у нее был, правда, не очень приятный разговор с начальником.

– Так у нас, дева прекрасная, не пойдет, – сказал ей тогда Михаил Борисович. – Если тебе своей жизни не жалко, то моей посочувствуй. Я за тебя в ответе. И у меня тут не альпинистский лагерь, и эти самые скалозубы да скалолазы тут мне ни к чему. Свернешь шею, разобьешься, что тогда?

– Ну и что с того? – отвечала ему на это Тонида. Она говорила низким грудным голосом, упрямо окая. – Ну и что с того, – сказала начальнику Тонида, – кого это больно-то касается? Кому я уж очень надобна?

И тогда начальник вышел из-за своего стола, посадил Тониду, взяв ее за плечи, в большое кресло, сам сел перед ней, принял осторожно ее руки в свои сильные, большие ладони, сложенные вместе.

– Нехорошо... Нехорошо говоришь. Не то. И рассуждаешь неумно. Знаю я твою историю, знаю, что выросла ты без родительской ласки. Не одной тебе досталось это. Через трудное время народ у нас прошел. Много отцов, матерей война отняла...

– У меня не война, – сказала Тонида.

– Знаю. Знаю, дорогая ты моя, что у тебя отца с матерью отняло. Но разыскали их след, и фамилию разузнали. Имя доброе их восстановили законно. Их фамилию ты носишь, и с честью носишь, сколько мне известно. И разве нет у тебя подруг, товарищей? Что это за разговор такой, Пашухина: «Не очень надобна»? Как тебе не совестно! От тебя это все зависит – будешь ты нужна людям или только так, для себя жить станешь. А я ведь про все хорошие затеи у вас там под Горьким слышал и в «Пионерке» про тебя читал и запомнил. Фамилию твою в списке смены прочел, когда ты приехала, обрадовался. Вот, думаю, сама Антонида Пашухина к нам пожаловала. А ты дуришь... Что же ты сама себя так мало уважаешь, лезешь куда не надо, на глупый риск? Честное слово, не дело это, Тоня. Не надо так...

Ее звали еще в лагере Тонидой Торпедой или Боеголовкой, потому что девчонки послушно следовали за ней, ощущая в своей атаманше какую-то справедливую, хотя иной раз грубоватую властность. Сейчас

она глядела на Тараску из-под своих густых, почти сросшихся на переносице бровей, всегда придававших ей непреклонный вид.

– Подумаешь, принц! – проговорила она и, сняв с макушки полукруглую гребенку, провела ею по волосам со лба назад, словно забрало шлема откинула. Большие серые глаза с вызовом и неудовольствием оглядели Тараску, который даже поежился от этого взгляда и пожалел, что явился к девочкам. – Мне-то что до того? – продолжала Тонида. – Можешь передать твоему принцу, когда он приедет, что мы к нему в подданные покуда записываться не собираемся.

– Докатились, в общем, – сказала одна из самых ехидных девчонок лагеря, Зюзя Махлакова, – скоро уже царей в пионерлагеря принимать начнут.

– А я думала, – сказала другая девочка, – что вообще уже принцев нигде нет. Ну, короли еще кое-где остались, доживают свое. Но уж принцы на что надеются? Смешно прямо.

– Да, нашел чем порадовать, действительно... – хихикнула Зюзя Махлакова. – Вот если бы Баталов приехал! – Она мечтательно зажмурилась. – Я бы с ним снялась и подписать его попросила автограф. У меня уже три Баталова есть, но все без подписи, и Стриженовых четыре. А Рыбникова только половинка, мы с Сонькой Пушкаревой пополам поделили.

– Но вообще-то, девочки, все-таки интересно, что принц, – робко подала голос маленькая пионерка, разбиравшая камешки у себя на коленях.

– Подумаешь, не видали мы!

– А между прочим, где это ты принцев навидалась?

– О, сколько раз... Например, в «Золушке», как он с модельной туфелькой носился. Хорошенькая такая, лодочкой, без задника, на золотой шпилечке, ну не больше чем тридцать первый номер! Всем примерял на ногу.

– Дурында ты! Это же не в театре будет, а на самом деле!

– Ну и что ж такого?

Тонида грозно оглядела своих подружек.

– Я лично считаю, девочки, – сказала она, – что мы должны ему сразу показать, словом, дать почувствовать, что мы не какие-нибудь, как он привык у себя там, подобострастные, раболепные. Он,

наверное, приучен к тому, что все перед ним кланяются и пресмыкаются, а я лично, например, не собираюсь всякие эти: «Извольте-позвольте, ах-ох, мерси, не могу...» – Вон у Машки Серебровской отец – главный маршал самых важных войск, и то она не важничает, – сказала Зюзя. Тараска не выдержал:

– Знаю я вашего брата девчонок. Это вы сейчас так на идейность жмете, а как увидите, так сразу: «Ах, какая душечка!.. Ах, какой симпатичненький!.. Распишитесь на память... Разрешите сняться с вами вместе...» Тонида неспешно поднялась со ступеньки крыльца, на которой она сидела.

– А ну-кась, – медленно проговорила она, – окоротись, пока не поздно. Послушали тебя, и спасибо скажи. Стартуй отсюда живо, а то получишь еще для придания дополнительной скорости. Слышишь, мотай отсюда полным ходом!

Но, вернувшись к себе в палатку, Тараска застал там ребят, сгрудившихся над фестивальным справочником «Коротко о странах». Слава Несметнов читал вслух:

– «Джунгахора... Площадь 194 тысячи квадратных километров. Население свыше 5 миллионов. Столица – город Хайраджамба, славящийся знаменитым королевским дворцом Джайгаданг, построенным еще в древности руками народных зодчих. Джунгахора расположена в обширной плодородной долине, примыкающей к океанскому побережью и окаймленной с северо-запада высокими горами, ограждающими страну от северных ветров. Склоны гор покрыты дремучими лесами с ценными породами деревьев (тиковые, лаковые). В долине огромные заросли кокосовых пальм. Основа экономики страны – сельское хозяйство. Производится много риса, а также каучука... Джунгахора – конституционная монархия, глава государства – король. Для решения наиболее важных вопросов король созывает кроме парламента, совещание представителей племен и других знатных лиц страны – великий Джургай. Партии, профсоюзы и другие общественные организации отсутствуют». Ничего себе распорядились, – сказал Несметнов и продолжал: – «В стране развита широкая добыча жемчуга, являющегося одной из основных статей экспорта. Значительные позиции в экономике страны принадлежат иностранному капиталу...» Потом раскрыли принесенный из библиотеки атлас мира и, стучаясь лбами, отжимая плечами друг

друга, долго вглядывались в карту далекой и жаркой страны Джунгахоры, откуда ехал в пионерлагерь «Спартак» наследный принц.

## Глава IV

### Два бывших пионера и один будущий король

– Нет, надо же! – Михаил Борисович размашисто крутит головой и весело смотрит на собеседника.

– Да, дела, не говори... Лучше не придумаешь.

Все это произносится уже десятый раз.

Дело в том, что принца доставил в лагерь специальный сопровождающий, а первым встретил гостя в лагере «Спартак» Павел Андреевич Щедринцев – посол СССР в Джунгахоре, старый школьный, а потом фронтовой товарищ начальника лагеря. Он отдыхал неподалеку, в одном из прибрежных санаториев. И вот пока принц принимает под наблюдением вожатого Георгия Николаевича или, как его все зовут, Юры, душ с дороги, старые друзья сидят в креслах, не сводя друг с друга глаз, и нет-нет да и, оглядевшись, проверив, что никто не суется в дверь, привставая, бьют с размаху один другого кулаками то в грудь, то в плечо. Оба они коренастые, осанистые здоровяки. Посол, видно, начал уже немного расплываться, тучнеть, а начальник «Спартака» еще и вовсе стройный, смуглый от загара. Снова и снова разглядывают они друг друга с одобрением, радуясь встрече.

– Нет, ты еще, куда ни шло, королем смотришь! – говорит посол.

– Ну, тебе насчет королей виднее...

– Нет, правда, ты хоть куда! Только вот белобрысым становишься, а был как смоль.

– Ну, тебе седина не грозит, ты ее плешью опережаешь заблаговременно.

И оба хохочут. Посол подмигивает:

– А Марфушу помнишь? Мы все вдвоем с ней пели: «Позарастили стежки-дорожки».

Начальник смотрит укоризненно на него, потом смущенно на дверь: хорошо ли прикрыта.

– Еще бы не помнить! Только я-то свое отпел, а она вот, брат, заслуженная, в Академическом поет. Слышал?

– Не забыл, значит... Следишь...

– Погоди... – перебивает его Михаил Борисович. – Хотел бы я на тебя, господин посол чрезвычайный, хоть разок во фраке посмотреть, интересно...

– Ничего интересного, фрак как фрак, прозодежда наша дипломатическая. Мне вот любопытнее было бы поглядеть, как ты тут в няньках ходишь, дядя начальник, товарищ главновоспитывающий. Как это ты на педагогическую стезю ступил?

– Да ты знаешь, Павел Андреевич, ребят я всегда любил. Помнишь, еще в партизанском отряде на Брянщине они за мной так и ходили следом. Своих... ты знаешь... под Смоленском потерял. Так и сгнули... Новых уже не заводил. Вот и двинул по этой линии. Я как понимаю дело? Вопрос воспитания – это что такое? Это значит помочь человеку, чтобы он вырос по-хорошему счастливым. Им, ребятам, на нас, взрослых, чихать, когда мы с ними постоянно рядом. Вот когда нас нет, тогда они тосковать начинают знаешь как!.. Очень им, понимаешь, нужно взрослое участие, эдакое постоянное внимание старших. Вот тут девчонка сейчас у меня одна из детдома. Отца с матерью даже в глаза никогда не видела, а интерес к ним острый, повышенный. Я с ней несколько раз беседовал. Угловатая, трудная девчонка. Я всю историю ее узнал, с детдомом списался, горьковским. Подкидышем считалась, пока люди добрые не уточнили все и вернули девочке фамилию родительскую и гордость за отца о матерью, безвинно погибших. И как ей, чувствую, важно, чтобы с ней толком взрослые говорили. Ну ладно, это я отвлекся... Ты давай познакомь меня подробнее с этим самым твоим престолонаследником. Как с ним сопровождающий-то в пути управлялся? Ничего?

– Нормально. Сперва, говорит, принц требовал, чтобы ему штаны утром подавали. Потом сам стал брать. Свыкся. Вообще-то он мальчонка хороший. Я его по Джунгахоре знаю. Конечно, калечили его с пеленок, но материал в нем добротный.

– Погоди! Ты мне, будь друг, расскажи все подробно. За стеной слышался плеск в ванне, голос вожатого Юры и веселые вскрики купавшегося принца.

– Так вот, – сказал посол, – я тебе сейчас небольшую популярную лекцию прочту. Джунгахора – это, как ты, вероятно, слышал...

– Грамотный, газеты читаю, между прочим.

– В газетах не все пишут. Там, понимаешь, обстановка весьма сложная. Король у них славный малый – Джутанг Сурамбияр, но мягковат. Как говорится, не властелин, а пластилин. Кто ко двору ближе пробьется, тот и лепит из него что хочет. Так сказать, царь Федор в постановке МХАТа. В правительственных кругах там разнорядной. Понимаешь, у них американский капитал и бельгийский хозяйничают. Народ их всех – я имею в виду империалистов-колонизаторов – называет мерихьянго. И с ними заодно был прежний король Шардайх Сурамбон. Ну, это был совершенно бессердечный, свирепый тиран, страхолудина. Он и жену свою заморил, сослал... Так что принц этот – его, между прочим, запомни, зовут Дэлихьяр Сурамбук – рос без матери. Бабушка его воспитывала – учти – русская. Когда-то наследный принц Джунгахоры учился у нас в Петербурге в царском лицее, влюбился там в одну гимназисточку, и стала она невестой джунгахорского короля, а потом и законной королевой. Замечательная была, как передают, женщина. Тосковала очень всю жизнь по России и внука научила говорить немного порусски. Так что этот Дэлихьяр вполне прилично болтает по-нашему и даже русскую песню мне пел, которой бабушка его научила: «Гайда тройка, снег пушистый...» Представляешь? А снега-то он, конечно, и в глаза не видел. Собственно, его и вырастила-то бабушка. Бабашура, как ее принц величал, – Александрой покойницу звали... Сперва-то ведь он наследным принцем не считался. Престол уготован был старшему брату, Джутангу, нынешнему королю. Ну, а на младшенького, на Дэлихьяра, особого внимания при дворе не обращали. А после смерти бабушки оказался мальчишка фактически предоставленным сам себе. Брату-королю заниматься воспитанием его некогда. Однако и колонизаторам, мерихьянгам, поручить дело это, как они того ни домогаются, король не желает: опасается, что восстановят они принца против него. И заговорил он как-то со мной на эту тему. Я тогда и предложил: «Ваше величество, говорю, а что, говорю, если Его высочеству погостить у нас среди пионеров, в самом обыкновенном пионерском лагере? У нас, говорю, опыт по этой части уже есть. Жили у нас в „Артеке“, в международном нашем пионерлагере, принцы и принцессы из дружественных нам стран и были как будто довольны. Но для Его высочества я рекомендовал бы



самый обыкновенный лагерь. Есть у меня на примете такой, говорю...»

– Да, – пробормотал начальник, – удружил ты мне по старому знакомству. Спасибо тебе.

– Чудак человек, я же недаром именно твой лагерь порекомендовал, знал, с кем дело принц иметь будет. Так что уж не подведи.

– Что я с твоим принцем делать буду, скажи ты мне! – взмолился начальник.

– Не больше, чем с другими твоими питомцами. Ну конечно, кое-где учесть придется, посчитаться с чем надо, проследить, чтобы обстановка была вокруг соответствующая. Но никаких особых условий прошу не создавать. Я так и с королем договорился. Пусть, дескать, малый среди нормальных мальчишек потолкается. Король-то к нам относится вполне заинтересованно: мы ведь там, как ты знаешь, строим гидростанцию, каскад Шардабай. Это первая ГЭС будет в Джунгахоре. Ну, эти самые мерихьянго, разумеется, точат зубы на наши связи, то и дело всякие подлые заговоры раскрываются. Вообще в стране не очень спокойно. Я ведь у них там первый советский посол, до меня не было. Ты не можешь себе представить, что там делалось, когда я прибыл. Народу собралось на аэродроме видимо-невидимо. И на улицы, где я проезжал, все высыпали. Пальмовые ветви в руках, цветы. И знаешь, что пели в мою честь? «Катюшу»!.. «Выходила на берег Катюша». А еще – не догадаешься! «Очи черные». Всю ночь напролет молодежь у меня под окном собиралась, приветствовала, в какие-то рожки дудела, плясала и «Катюшу» распевала.

Посол замолк и прислушался к звукам, доносившимся из ванны.

– Что-то долго они там возятся... Ну, я пока доскажу. Так вот, в стране вообще-то неспокойно. Король, человек болезненный, считает себя недолговечным. Он холост, так что единственный наследник престола этот вот самый принц, который сейчас там плещется в ванной у тебя. Между прочим, король мечтает, что осенью определит его в одно из наших суворовских училищ. На этот счет уже переговоры ведутся.

В дверь кабинета постучали, и старший вожатый Юра ввел к начальнику лагеря принца. Михаил Борисович еще раз оглядел приезжего. Принц был глазастенький, смуглый. Ноздри маленького,

чуть распыленного носа, казалось, туго растянута в разные стороны выпуклыми скулами. На подбородке была продолговатая ложбинка посередине, как у абрикоса. От широкой переносицы чуть наискось к вискам поднялись очень подвижные брови, которыми принц старался придать своему лицу выражение высокомерное и безразличное.

– Ну, королевич, отмылся с дороги? – спросил начальник.

– Умылся, у-это, хорошо, – отвечал чуточку в нос принц, застегивая пуговичку и поправляя видневшийся на груди под расстегнутым воротом медальон с перламутровым слонем, державшим в хоботе огромную жемчужину.

Принц смотрел на начальника лагеря без любопытства, хотя брови его подрагивали концами у аккуратно подстриженных висков. Он поправил волосы, топорщившиеся на макушке и свисавшие челкой на лоб.

Начальник привычным глазом осмотрел царственного новичка и подумал, что мальчишка-то, в общем, хоть и пыжится, но ничего, лучше, чем можно было предполагать.

– Долго, однако, тебя кипятили, – пошутил Михаил Борисович. – Я уж думал, из тебя суп сварят.

– У-это, ничего, – милостиво сказал принц. – Потом я пойду, у-это, скорее в море.

– Пока поместим на первую дачу, возле дежурки старшего вожатого. Я думаю, так, Юра, лучше будет, поближе к тебе. Поживет, осмотрится, пообвыкнет, тогда и решим, куда и как. Ясно?

– Только вы ему, Михаил Борисович, скажите, что обмахивать я его не обязан.

– Как это – обмахивать?

– А он, как ему жарко стало, так велел опахалом на него махать... Ну, вентилятор я ему еще включу, а этим самым опахалоносцем быть при нем не собираюсь. Я все-таки, извините, пионервожатый, а не придворный махальщик.

Посол сказал что-то принцу по-джунгахорски, и тот – это было видно даже под смуглой кожей – покраснел, но ничего не ответил, только брови на миг потеснили просторную и выпуклую переносицу.

– Ну походи представь его, познакомь с ребятами.

– Пускай, у-это, сами будут представляться. – Принц вдруг выпятил маленькую пухлую губу и откинул голову назад. – И почему

флага, у-это, нет?

– Потому что визит ваш не официальный, – объяснил посол. – Я же излагал вам, и вы, Ваше величество, должны это понять, запомнить.

– Да, это ты, друг, брось, оставь, – сказал начальник. – Давай условимся. Тут все ровня, все сами хозяева. Каждый тоже наследник не хуже тебя. Это все их отцы наработали, вот все это. – Он обвел рукой парк, дачи на берегу за окном. – А ты пока что у нас гость. Покажешь себя как надо, сам будешь тоже свой среди своих. Порядок? Вот посол обязан тебя называть Ваше высочество, а для остальных ты просто друг наш Дэлихьяр, сосед и товарищ по лагерю пионерскому. И нос не задирай, предупреждаю. Дружи, живи, радуйся. Так-то вот. – И начальник энергично и добродушно пожал своей большой рукой маленькую гибкую руку принца.

Когда вожатый вывел принца из кабинета, посол поднялся.

– Ну, надеюсь, все будет как надо. А мне собираться пора.

Начальник вздохнул:

– Так ни о чем толком и не поговорили...

– Да... Дела все...

## Глава V

### Флаги, гербы, слоны

– Ну, – сказал вожатый Юра, представив гостя ребятам возле палатки номер четыре, – вот вам новенький. Кто он такой, вы все уже знаете. Надеюсь, сдружитесь. Я пошел пока, а вы тут покажите гостю наш лагерь.

Хитер был вожатый! Объявил и ушел. Дотолкуйтесь, мол, сами!

Минуты три верных длилось молчание. Девочки украдкой поглядывали на принца. Мальчишки в упор рассматривали его. А тот стоял, высокомерно задрал голову, но часто помаргивая приспущенными веками.

Наконец Тараска решился.

– Бхай-бхай! – произнес он неуверенно. От принца ответа не последовало. Но тумака от Ярослава Тараска получил.

– Гуд дей, май френд! Ду ю спик инглиш? – старательно выговорил пионер, хваставший, что он говорит по-английски.

– Йес, ай ду, – равнодушно и вяло ответил принц.

– Слышишь, спик! Давай, давай дальше, – зашептали ребята, – спроси чего-нибудь.

– Обожди, не гони, дай сообразить. Тараска решил, что он должен помочь:

– Парле ву франсе?

– Же парль, ме тре маль. – Принц глянул из-под полуопущенных век на Тараску и отвернулся.

– Чего, чего он сказал? – зашептали пионеры.

– Говорит, что говорит, только, говорит, плохо, – пояснила Юзя, которая учила в школе французский язык.

– Ничего себе плохо, с ходу режет, – заметил с уважением Тараска.

Принц вдруг вскинул глаза и просительно обвел ими ребят.

– А, у-это, по-русску нельзя? – с надеждой спросил он. – Я понимаю все говорить по-русску!

Сперва все обомлели, а потом такой разом галдеж пошел, что хоть и по-русски говорили, но понять, кто про что толкует, было

невозможно. В конце концов Слава Несметнов прикрикнул на ребят, а когда стало тихо, сам заговорил с гостем, предложив ему пройтись по лагерю.



И ребята повели принца по тенистым аллеям лагерного парка. Показали приезжему большую Площадку Костра над морем. И лагерную мачту с развевавшимся флагом. Внизу возле нее под легким навесом несли караул часовые-пионеры. И отвели гостя на площадку, где играют в волейбол, и к большим террасам столовой. И сообщили, сколько раз в неделю бывает кино в лагере, и объяснили, когда и какие сигналы играют. Принц слушал очень внимательно и, видно, все хорошо понимал, лишь изредка переспрашивая: «У-это, как?» И тогда все наперебой старались разъяснить ему.

Потом с интересом разглядывали амулет на груди у принца – перламутровый слоник на золотом солнечном диске с жемчужиной-луной в поднятом хоботе...

Спустились к парадной балюстраде над морем. Волны внизу мерно накатывались на пляж, осаживались, уходили, сипя, в песок, шуршали галькой, отползали в море и снова брались за свое.

Горизонт был чистым, тонко очерченным в безоблачном небе, и где-то по самой кромке его шел и дымил корабль.

Потом он пропал.

Принц долго смотрел в ту точку горизонта, пока не скрылся и дым. И ребята молчали, понимая, что гость думает о своей далекой, ужасно далекой стране, расположенной где-то на другом конце света.

Молчание нарушил маленький Ростик Макарычев, сын бухгалтера. Он все время следовал за ребятами в некотором отдалении. Ему уже давно не терпелось заговорить с принцем, но он не решался. И вот сейчас, воспользовавшись молчанием, он наконец подобрался к Дэлихьяру.

– Правда, что ты принц?

Тот кивнул головой утвердительно.

– Ловко! – восхитился Ростик.

– А ну, кувыркайся отсюда! – зашипел Тараска. Он считал, что неудобно так сразу и в лоб задавать высокому гостю эдакие прямолинейные вопросы.

Но Ростик не унимался:

– А принцем быть интересно?

Принц только плечами пожал и неловко улыбнулся.

– А как, по-твоему, – сказал Ростик Ярославу Несметнов, – ты бы сам захотел?

– Ы-м! – отрицательно промычал Ростик. – Дразнятся все, наверное, на улице.

После этого Несметнов взял Ростика решительно за руку, отвел его за куст, наподдал ему легонько куда надо коленкой и потурил, пригрозив на прощание кулаком.

Забегая вперед, скажу, что с этой минуты Ростик по крайней мере один раз на день где-нибудь уж подкарауливал Дэлихьяра, чтобы задать ему очередной вопрос. То он встречал его у столовой и тихонько хихикал:

– А я знаю, ты принц, гы!..

В другой раз поджидал его у входа на пляж, некоторое время шел рядом молча, а потом тихо спрашивал:

– Ты когда будешь большим, кем станешь? Королем? Да? Ты в короне будешь ходить?

Или:

– А короли все против нас и за войну? Или есть за мир?

И еще через день:

– А муравьеды у вас есть?

Но сейчас на балюстраде шел общий хороший разговор. Тут обеим сторонам важно было не спасовать друг перед другом. Никому не хотелось ударить лицом в грязь. Сначала, надо сказать, перевес был

на стороне принца. Он извлек из маленького кожаного футляра крохотный транзистор, и разноязычная болтовня международного эфира полилась из аппарата размером не больше, чем фотоаппарат. Зазвучала музыка, и донеслась далекая песня. Правда, на Джунгахору настроиться не удалось. Видно, уж больно далеко была страна принца.

Но этого было мало. Принц размотал тоненький белый провод и подключил его к приемнику. На концах провода были маленькие капсулы – наушники. С одним из них, натягивая провод, принц ушел за кусты густо росшего здесь лавра, а Тараске велел вставить в ухо капсулу на другом проводе, включенном в приемник. И Тараска услышал тихий голос Дэлихьяра, который прятался за кустами. Так что этот транзистор мог, оказывается, работать и как телефон. Это было здорово! Такого аппарата ребята еще никогда не видели. Тогда, чтобы принц не очень уж заносился, бледноватый и вялый Гелик Пафнулин, снискавший уже у старших ребят кличку «Графа Нулина», никак не загоравший сынок директора комбината бытового обслуживания, считавшегося, по словам Гелика, крупным начальником, вдруг сказал:

– Ну и что же! А у моего папы есть персональная и даже личная собственная машина «Волга», спецборки, с хромировкой вокруг. Вся облицовка такая. Автомашина, понял?

На принца это, конечно, не произвело никакого впечатления. Он снисходительно посмотрел на Гелика, двинул бровями и сказал:

– А у меня есть свой слон.

Все только и успели закрыть рты, чтобы не ахнуть.

– Собственный, индивидуальный? – спросил Тараска, оправившись от изумления.

– Как это? – не понял принц. – Мне, у-это, брат подарил, король.

– И большой мощности слон? – поинтересовался Несметнов.

– Большой. Белый. Зовут Бунджи. Я ему говорю, у-это:

«Бунджи, Бунджи». И он, у-это, сразу идет ко мне и делает так хобот. И я к нему, у-это, сажаюсь, и он, у-это, меня – хоп! И я на нем еду. Высоко там. Там кабина, где, у-это, спина.

Все долго молчали, совершенно сокрушенные сообщением принца. Свой слон – это, конечно, кое-что. Необходимо было как-то выравнять положение.

– А у вас, значит, все еще царизм? – спросил Тараска.

– У-это, как – царизм? – не совсем понял принц.

– Ну, значит, король там правит, капиталисты. А у нас вот, между прочим, скоро уже коммунизм станет.

– У-это, как – станет?

– Ну, значит, каждый будет работать, сколько он может, в силах, а получать сколько надо. Принц радостно закивал головой:

– У-это, у меня уже есть, у-это, коммунизм. Чего умей – делай, чего не умей – не делай. Сколько, у-это, хочу – давай-давай.

Ярослав Несметнов посмотрел на него со снисходительной насмешкой:

– Умный ты, а еще принц. Чудило ты заморское, сообразил... Коммунизм для всех, а не для одного.

– А если для одного, это и есть типичный царизм, – дополнил Тараска.

Тут из-за куста опять вылез никем не замеченный Ростик. И как он тут оказался, никто не понял. Но Ростик успел просунуться к принцу, и было уже поздно удерживать его.

– А кто главнее – король или царь? – сказал Ростик. Он, собственно, собирался спросить, кто хуже, но у него хватило деликатности смягчить вопрос.

Ответа он не успел дожидаться, так как ему пришлось срочно удирать за кусты.

Вид у Ярослава Несметнова был достаточно многообещающий.

Решили потолковать о делах, которые, вероятно, допекают всех ребят на свете, будь они даже принцы.

– Учишься ты где? – спросил Несметнов. – Школа есть при дворце или в общую ходишь?

Принц вздохнул и сказал, что заниматься ему приходится дома, во дворце, уроков задают много, и готовить их приходится тоже со специальными учителями – придворными наставниками.

Ребята даже посочувствовали. Нелегкое это дело – заниматься с глазу на глаз с учителем одному, а вокруг даже и подсказать некому.

– Да, ребятам еще везде живется не ах, – согласился Тараска.

Гелька Пафнулин незаметно толкнул его локтем в бок и показал глазами на принца.

– У нас-то, положим, – сказал он, – давно уже счастливое детство.



– «Счастливого»!.. – Тараска усмехнулся. – Больше получаса купаться не дают. Иди ты знаешь куда!..

Гелик обиженно отошел, показывая всем глазами, что Тараска ведет себя нетактично при принце. А тот заинтересовался:

– Куда ты, у-это, его погонял?

– Пусть к лешему свинячему идет, – охотно отозвался Тараска.

– У-это, хорошо. А у нас, когда хотят погонять, скажут:

«У-это, уходи в дыру желтых муравьев».

– Тоже неплохо, – одобрил Тараска.

Потом принц показал марки, на которых был его брат, король Джутанг. И когда ему дали справочник «Коротко о странах» и он увидел там флаг и герб Джунгахоры, то принялся пояснять ребятам, что там изображено. У джунгахорцев, оказывается, есть поверье, что лунные ночи, отраженные в море, рождают жемчуг, поэтому-то на двухцветном флаге Джунгахоры солнце красовалось посередине алой полосы, луна же была на верхнем синем поле. А на нижней синей полосе белела большая раковина с жемчужиной. И принц привел джунгахорскую пословицу: «Солнце светит с высоты всем, луна сопутствует бодрствующим, а жемчуг доступен лишь тем, кто не страшится глубин».

– Крепко завинчено, ловко сказано. Только кто его займеть-то может, этот жемчуг? Небось тот, кто и не нырял сроду с головкой, – сурово заметил Несметнов.

Принц тут же объяснил значение герба Джунгахоры, который был вышит и у него на рубашке. В большом круге, увенчанном короной, на которой сияло солнце, изображался слон, топтавший ногами и душивший задранным вверх хоботом змей. Принц пояснил, что этот герб выражает девиз: «Один могучий слон добра растопчет сотни ядовитых змей зла». Все с интересом слушали принца, и он, видно, почувствовал, что завладел общим вниманием. Чтобы окончательно укрепить свой авторитет, он вдруг, хитровато оглядевшись, доверительно сообщил:

– А я еще, у-это, могу качать брови. Эта – так, эта – так!

И на смуглом круглом личике его брови заходили быстро: одна вверх, другая вниз. Вверх – вниз, поочередно, как чашки весов. Ребята попробовали сделать так, но никто не мог столь ловко управляться со своими бровями. Долго все гримасничали, морщились, щурились. А

принц охотно показывал свое искусство, за которое ему дома при дворе не раз крепко влетало.

Словом, ребята уже тихонько говорили друг другу: «Нет, видно, ничего парень этот принц. Молоток! Определенно свой».

Но принцу и этого показалось мало. Вдруг он вынул из красивого, расшитого золотом и украшенного узорами жемчужин карманного блокнота фотографию. На ней был снят сам принц Джунгахоры Дэлихьяр Сурамбук, а рядом с ним – кто бы вы думали? – Юрий Гагарин, вот кто! Они были сняты вдвоем на фоне дворца Джайгаданга под сенью кокосовых пальм. Первый космонавт мира обнимал принца за плечи, а на фотографии стояла личная подпись: «На память от Юрия Гагарина».

Тут уж все обомлели вконец. Шутка ли, личный автограф самого Гагарина! А принц пояснил:

– Он у нас был, у-это, гость в Джайгаданг. Мы с ним, у-это, ходили гулять на море.

Как тут было не зауважать принца! У кого еще была фотография Гагарина с личной подписью космонавта?

Положение спас Тараска. Он сумел поддержать репутацию лагеря в глазах принца.

– У меня, между прочим, – неожиданно изрек он, – двоюродный дядька – главный конструктор этих самых космических ракет, если хочешь знать.

Принц не пытался скрыть, что ему очень хочется знать.

– Ой, у-это, очень здорово! Ты меня с ним води! У, у-это, буду тоже, у-это, комсомолец.

– Космонавт, – поправил его Несметнов. – Много захотел, это не всякий может.

– Я буду его приказать, когда стану король.

– По королевскому указу пока что-то не больно в космос летают.

Принц продолжал с явным восхищением смотреть на Тараску, а тот, и без того пухлый, совсем раздулся от гордости. Но когда все двинулись на обед, из-за большого олеандра показалась осанистая, подобранная, как всегда, фигурка Тонида. Строгим пальцем она поманила к себе Тараску.

– Ты чего же раньше не говорил, кто у тебя дядя? – с нескрываемым уважением спросила Тонида. – Я сейчас слышала. Чего

молчал?

– Ну, во-первых, ведь троюродный только даже, а не двоюродный, – забормотал Тараска, озираясь по сторонам, – а во-вторых, это же государственная тайна.

– А с чего же ты сейчас всем раззвонил, если тайна?

– Слушай, Тонида, – совсем тихо сказал Тараска, – ну чего ты прицепляешься? Я же это нарочно сказал, чтобы этот принц не очень зазнавался. Я свободно, может быть, даже ему и не наврал нисколько. У моего отца троюродный брат – он мне дядька, значит, – так он правда какой-то секретный профессор, изобретатель. Почтовый ящик вместо адреса. Кто знает, может быть, он как раз и есть главный конструктор. Он же мне не скажет. Могу я, в конце концов, так считать про себя?

– Про себя можешь, а других не путай. Транзистор!.. – проговорила Тонида и не очень больно щелкнула Тараску в выпуклый лоб.

Тараска для вида потер место, куда его щелкнула Тонида, ухмыльнулся про себя и побежал догонять ребят.

## Глава VI

### Тень, на которую наступили

Произошло это на физкультурной площадке лагеря. Сначала там играли в волейбол. Судила физкультурница Катя – Екатерина Васильевна. Принц свистел и хлопал, болея за мальчиков, – они, как ни старались, проигрывали девочкам. Очень уж трудно было принимать мячи, которые как снаряды неслись от сильных ладоней Тониды и прямо-таки вонзались в площадку. В общем, мальчики проиграли и с трудом нашли в себе мужество прокричать «физкультпривет» победительницам.

Потом Екатерина Васильевна ушла, и ребята стали показывать свою ловкость и силу кто во что горазд. Дэлихьяр понял, что и тут можно отличиться.

У себя во дворце среди тех немногих детей придворных, которые допускались в Джайгаданг, Дэлихьяр слыл за отличного спортсмена. Он мог прыгнуть дальше всех, он отлично боролся на поясах и опрокидывал самых сильных противников на землю.

Но вот стали сейчас прыгать в длину с разбегу. И не только Тоня Пашухина, лучшая прыгунья лагеря, но и Ярослав Несметнов, и Тараска Бобунов, и другие ребята – все врезались пятками во взрыхленный песок далеко за той отметкой, до которой был в силах допрыгнуть Дэлихьяр. Когда же принц предложил помериться с Несметновым силами на поясах, буквально через мгновение он оказался прижатым Ярославом к траве.

Страшное подозрение торкнулось в душу бедного принца. Не хотелось верить ему. Но странно: почему он всех побеждал во дворце, а тут оказался вдруг среди слабейших? Правда, никто над ним не смеялся. Все сочли дело вполне естественным. В лагере многие ребята были хорошими спортсменами – что же тут мудреного, если принцу пришлось спасовать перед ними.

Летнее солнце уже садилось за море. Медленно набегавшие на берег волны были оторочены резко прочерченными синими тенями. По песку и газону физкультурной площадки за фигурами носившихся ребят металась длинные и тонкие, как росчерки, вечерние тени.

Песчаную полосу, где только что соревновались в прыжках, перерезала узкая длинная тень, тянувшаяся из-под ног принца. В это время уже собравшаяся уходить Тонида, шагнув через площадку, наступила на тень принца.

Дэлихьяр мгновенно выпрямился. Тень его на песке стала еще длиннее. Неожиданно повелительным жестом он направил вытянутую руку с торчащим вперед пальцем на Тониду.

– Ты не смей так становиться, где даже солнца нет от меня, – сказал он. – У-это, моя тень. Ты не смей стоять, где моя тень.

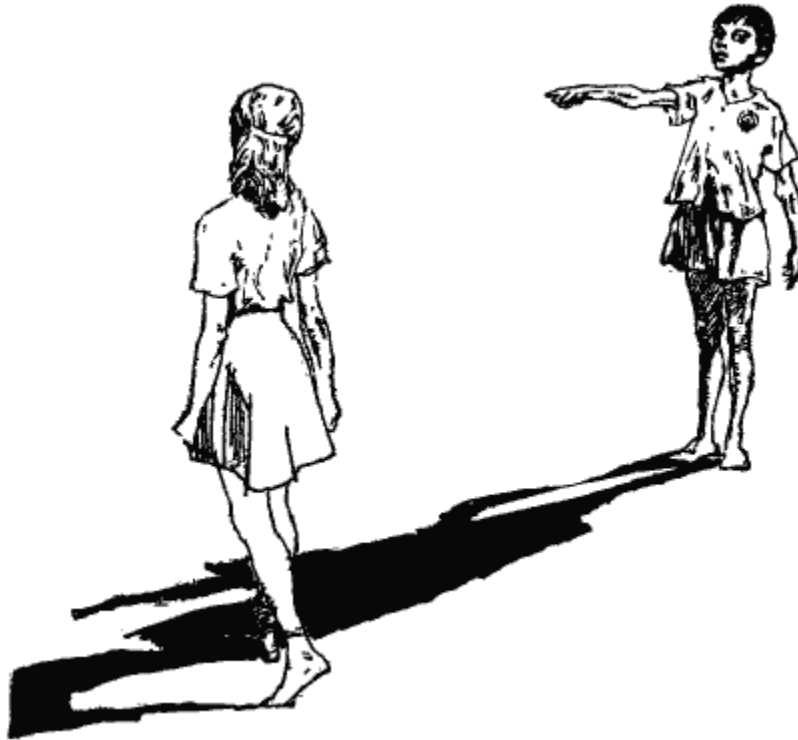
Все замолчали в изумлении, ничего сперва не понимая. Тонида, пожав своими прямыми плечами, отошла немного в сторону.

– Такой есть, у-это, закон – не стоять, где тень короля и, у-это, принца, – продолжал Дэлихьяр.

И тогда Тараска, ради озорства, нарочно прыгнул на длинную тень принца, да еще стал пританцовывать на ней, выворачивая пятками песок. Принц ринулся напрямик по своей собственной тени. Мгновенно он оказался вплотную возле Тараски и залепил ему пощечину.

На секунду все застыли в возмущении. Но тут уже Тонида обернулась, шагнула обратно на площадку. Молча схватила она принца за шиворот и, прежде чем тот опомнился, вlepила три крепких шлепка по тому месту, которое у наследников престола предназначается для трона.

Дэлихьяр вырвался из цепких рук ее. Лицо его, всегда смуглое, свежее, стало дымно-серым. Брови судорожно прыгали, слезы наполнили глаза.



– Шарахунга! – закричал он, потрясая над головой стиснутыми кулаками. Это было, очевидно, какое-то страшное джунгахорское проклятье. – Дочь змеи! Твоя душа – жаба! Я, у-это, буду уговорить брата, у-это, короля... Он вам будет объявлять война, убивать, стрелять. – В ярости он сорвался с места и исчез в аллее.

Все были смущены. Как-никак дело было неприятное. Все-таки гость из страны, борющейся против империалистов, к тому же принц. И вот на тебе, в первые же дни... Тараска опустил руку, которую держал у щеки.

– Зря ты его, Антонида. – Слава Несметнов хмуро всматривался в аллею, куда убежал принц. – Это уж ты набезобразничала.

– А он не безобразничал? Дает волю рукам, – не унималась Антонида.

– И ты тоже... Чего ты на его тень вскочил, раз у них там не полагается, – укорял Тараску Ярослав.

– Им там хорошо, на экваторе, – оправдывался Тараска, – солнце прямо над макушкой, тени у них короткие. Вот никто и не наступает...

Пришлось доложить о происшедшем вожатому Юре. Тот очень огорчился и не на шутку встревожился. Сейчас же бросился искать

принца. Уже начинало заметно темнеть, когда Юра нашел Дэлихьяра. Тот сидел в одной из плетеных кабинок для переодевания на пляже. И пришлось долго уговаривать его, чтобы он покинул это свое укрытие. На общий ужин принц не пришел. Вожатый Юра принес ему еду в комнату на дачу. Мальчики и Тонида чувствовали себя тоже не в своей тарелке. Все понимали, что дело получилось не очень красивое. Не так надо перевоспитывать принцев.

Дэлихьяр после ужина повалился на кровать, но Юра заставил его встать.

– Сначала разбери, раскрой постель, как я тебя учил, – сказал Юра. – Ты вот, говорят, в суворовское готовишься, а военных порядков знать не хочешь. Офицер должен сам себе приготовить ночлег, как в походе. Куда же ты годишься, если постелить себе не умеешь, а утром койку не заправишь. Ушел сегодня, не прибрал за собой. Это все не дело. Ну, давай я тебя научу.

– А, у-это, бороть всех ты меня будешь учить?

– Всему свой черед. И бороться научу. Такие приемы я знаю – никто не устоит против тебя.

Они стелили постель, а принц, еще всхлипывая, спрашивал:

– А почему все меня, у-это, сбороли? Я раньше всех борол, а теперь меня... Может быть, у-это, у вас не так, как у нас, земля притягивает?

– Да не в тяготении, друг, дело. Ты не огорчайся, я тебе правду скажу. Просто они все там, во дворце у вас, поддавались тебе. Ты же принц – их и заставляли прыгать покороче тебя, и как борьба – так ложиться сразу. Вот ты их и борол. Вот тебе и все притяжение, соображаешь?

Принц всхлипнул и кивнул головой. Некоторое время он молча расстилал простыни, подбивал подушки. Потом сказал тихо:

– Бабашура... Я, у-это, бабушку свою так называл. Бабашура меня учила, у-это, играть русские шашки... Там тоже так бывает. Играют, у-это, так поддамки.

– Только не поддамки, а поддавки, – сказал Юра. – А так правильно говоришь. Они и с тобой в поддавки все играли. А у нас ты тут окрепнешь, натренируешься, совсем другой разговор будет, по чести и совести.

Уже сыграли давно отбой в лагере и улеглись по-вечернему волны на море. Лишь легкий шорох гальки доносился с пляжа. Но напрасно физкультурница Екатерина Васильевна ждала у ворот служебного корпуса вожатого Юру, который обещал прокатиться с ней вдоль моря на велосипедах по шоссе. Не мог Юра оставить в этот трудный час принца. Дэлихьяр уже лежал и вот-вот готов был заснуть, но все открывал в темноте глаза, находил руку Юры, стискивал ее крепко и спрашивал:

– А как я, у-это, теперь дальше тут буду?

– И очень просто, – успокаивал его в десятый раз Юра. – Подумаешь, большое дело – тень! Вот на горло когда наступают – это паршиво... А завтра соберу я вас всех троих: и Бобунова, и Пашухину вместе с тобой. Друг перед другом извинитесь, и конец всему. Все трое виноваты – значит, и упрямитесь тут нечего. Но это, конечно, если ты сам утром койку заправишь.

– Заправлю, – сказал принц. – Я подушку буду бить вот так. – Он сел на кровати, кулаками поколотил с боков подушку, повернул ее уголком к себе.

– Ладно тебе, – сказал вожатый. – Заправлять утром будешь, а сейчас, раз постель раскрыта, что полагается?

– У-это, спать.

– Значит, спи.

Физкультурница Екатерина Васильевна дождалась все-таки Юру в этот вечер... Луна еще не зашла и, когда они катили вдвоем, рядом на велосипедах, светила им сперва в лицо, а потом сзади, когда пришло время возвращаться домой.

И они ехали – тесно, педаль к педали – прямо по своим теням, которые егозили, то сливаясь, то раздваиваясь перед ними, на облуненном асфальте шоссе.



## Глава VII

### «Дикарь» и «ничья»

Утром принц заправил свою койку уже сам. И она теперь выглядела образцово – так аккуратно было выстлано легкое одеяло, так крепко взбиты подушки и все прибрано вокруг и на ночном столике. И полотенце висело там, где полагается. Тут и явились по вызову вожатого Тараска с Тонидой. Но Тонька и на этот раз показала свой скверный характер.

– С чего это я буду виниться? – пробормотала она. – Ему можно драться, раз он принц, а ты уж и сдачи не ответь.

– При чем тут принц? – рассердился вожатый Юра. – Кто бы ни был на его месте, а порку устраивать ты не имеешь права.

– Я его не порола, – проокала Тонида, – поддала разок.

– Три раза, – уточнил принц.

– А я не подсчитывала, – не сдавалась Тонида.

– Стыдно, – сказал вожатый. – Приехал человек из колониальной страны, борющейся против угнетателей, слышал там, что у нас самые справедливые порядки, что никогда никого пальцем не трогают в смысле физических наказаний, а ты – бац-бац... Что человек подумает?

– А ему можно Тараску бац-бац?

– Так он же раскаивается, – сказал Юра. – Ты ведь, Дэлихьяр, раскаиваешься?

– А как, у-это, раскай-вай-ваешься?

– Ну, ты жалеешь, что так получилось нехорошо?

– У-это, нехорошо. – Принц отвернулся. – Только пускай и они тоже раскай-вай-ваются!

– Ну вот, – сказал вожатый. – Дэлихьяр считает сам, что поступил нехорошо. Значит, он раскаивается. Тарас тоже зря дразнился. Правда, зря?

– Правда, – выдавил из себя Тараска. – Только я пошутил, а не дразнился. Я же ему не на ногу наступил, а на тень только.

– Ну ладно, ладно, – поспешил вожатый Юра. – Словом, все ясно. А уж рукоприкладство Пашухиной было совершенным безобразием.

Короче говоря, протяните друг другу руки, вот давайте их сюда... – Вожатый взял сперва за руку Тараску, потом Тониду, свел их руки вместе, а сверху положил руку принца и накрыл своей ладонью. – Вот так. Раз, два, три! Все повинились, все поняли. А теперь гоните на пляж.



Все трое, не глядя друг на друга, побрели к дверям и, выйдя из них, быстро пошли в три разные стороны, ни разу не обернувшись, На одной из аллей, которая вела к морю, принца нагнал Гелька Пафнулин.

– Плюнь ты на нее, – сказал он, имея в виду, должно быть, Тониду, – на нее вообще у нас никто не обращает внимания. Она грубая, невоспитанная, хуже всякого хулигана, из детдома потому что. Ну, это как у вас приют, понимаешь? Ни роду, ни племени – подкидыш.

Принц хмуро слушал его и продолжал шагать к берегу.

Пафнулин семенил чуточку позади.

– Слушай, давай поддерживать друг дружку, если хочешь, – приставал Гелька. – Знаешь, чего я тебе скажу? Подари мне твой транзистор, и я тебе все обеспечу. У меня тут везде свои ходы, со мной беды знать не будешь. А?

Принц решительно замотал головой.

– Что, жалко стало? Тебе же еще из дворца новый пришлют. Эх ты, жадина...

– Я не джадина, – рассердился принц, – ты сам джадина. У-это, так не говори...

– Ну ладно, – примирительно сказал Гелька, – там видно будет. Ты от меня, в общем, не отдаляйся, не советую. Тут, знаешь, компания не очень подобралась, я тебе честно скажу. Я бы мог, понимаешь, отдыхать индивидуально, но маме порекомендовали, чтобы я в коллективе лето провел. Сказали, что коллектив способен воздействовать. Ну и пусть себе воздействует. Тебя ведь, наверное, тоже прислали, чтобы коллектив воздействовал. А ты им не поддавайся, ты плюнь. А хочешь, так сделаем, ты меня при всех сборешь на обе лопатки? И сразу покажешь себя. Только тогда уж определенно гони мне твой транзистор. Тебе же все равно новый подарят. А ты меня можешь сбороть при всех, пожалуйста...

– А я тебя, у-это, и так сборю, – сказал с ненавистью принц и вдруг яростно кинулся на Пафнулина.

Ему был уже отвратителен этот хлипкий, гнусавый мальчишка с заискивающими глазами. Принц кинулся тем приемом, который ему показал вчера вожатый Юра, неожиданно для самого себя опрокинул Гельку на песок аллеи.

Пафнулин поднялся, отряхиваясь.

– Ну и что? – загундосил он. – Все равно тебе никто не поверит, что ты меня взаправду сборол. Скажут, что я нарочно поддался. А мне

плевать до лампочки! Они меня тут все равно подлизой дразнят. Я им скажу, что поддался тебе.

И верно, никто не поверил. Ребята, которые шли к морю и все видели издали, остановились теперь на аллее, крича:

– Что, уже прилип? Подполз, стелешься, поползень...

Но уже вконец разъяренный Пафнулин заорал:

– Стану я к нему прилипать, очень мне нужно, подумаешь! К кому прилипать-то? Кокос-абрикос, желторылый туземец, дикарь!..

Принц было рванулся к нему, но, что-то, видно, вспомнив, сдержался.

Он только тихо сказал:

– Не смей, у-это, так говорить. Так только мерихьянго говорят. Плохой человек... И ты тоже плохой.

– А ты дикарь, дикарь, дикарь! – не унимался Пафнулин. – Вождишка из дикого племени!..

Ребята сгрудились вокруг них. И уже решительно проталкивался вперед Ярослав Несметнов, приговаривая на ходу:

– А ну, Гелька, кончай, кончай живо! Вдруг откуда-то появилась Тонида:

– Эй ты, Граф Нулин, не больно-то дразнись! Там твои родители приехали на собственной персональной. Так и сказали вахтеру дяде Косте у ворот: «Позовите нашего сыночка, скажите ему, что мы приехали вольным порядком и обосновались тут на денек дикарями». Так что ты-то и есть самый настоящий этот дикарь, природный дикарь.

– А ты, подумаешь, хи!.. Принцесса, – не сдавался Пафнулин.

Тонида двинулась угрожающе на него:

– Уж не знаю, кто я, только вот не виновата, что твои папочка с мамочкой сами себя дикарями объявляют. Гелька решил бить по самому больному:

– Вот именно, что ты – не знаю кто. Слышали? Ловко! Сама сказала. За мной дикарями не дикарями, а приехали, а за тобой никто не пригонит. Потому что ты безродная, – подкидыш!.. Именно – «не знаю кто». Ты же ничья...

И вдруг Тонида, всегда готовая отбрызнуть любого обидчика, вспыхнула вся, беспомощно посмотрела на ребят... Одной рукой она

схватила за плечо, словно ее больно ушибли и зажала в сгибе локтя закусенные губы.

Тараска посмотрел сперва на нее, потом на Гельку. – Ты чего говоришь?! Это ты всегда сам ничей – ни вашим ни нашим... поддавашка!

– Не хочу я с тобой связываться, рахитик, – надменно изрек Гелька, с опаской поглядывая на окружавших их ребят и побежал к воротам парка, за которыми его ждали приехавшие родители.

Ребята, потоптавшись возле Тонида, которая продолжала стоять, уткнув лицо в сгиб руки, медленно побрели к морю. И только принц Дэлихьяр остался. Он тихонько подошел к Тониде, покашлял. Снова отошел. И опять приблизился.

– У-это, – почти шепотом начал он, – ты не надо... У-это, я тоже, как ты, тоже нет папа-мама. Также ничей, как он сказал. Маму, у-это, плохие убили. Она была против очень мерихьянго, они ей давали пить, у-это, яд... отравляли. Я слышал потом, люди тихо сказали, у-это... тихо сказали, а я все слышал...

Тоня медленно отняла от лица словно затекшую руку, подняла голову. Она стояла, отвернувшись от Дэлихьяра, чуть скосив назад через плечо взгляд.

– А я его правда положил, сборол, – опять заговорил принц. – Честная правда, клянусь солнцем и луной! Я его сильно так – и поклат. Мне Юра покажет еще прием, я буду сильный самый... Хочешь, я его бац-бац, если он тебе плохо скажет?

Тонида медленно обернулась и долго смотрела на принца. Длинные брови ее перестали тесниться. И лицо как будто стало доверчиво приоткрываться. Она все смотрела на принца.

Вот он как родился, так уже был тем и знаменит. А она долго даже не знала, где родилась, у кого. А в общем-то, они оба оказались чем-то схожими. Как ни странно, а этот смуглый, грустноглазый мальчишка из далекой заморской страны, родившийся во дворце, но тоже почти не знавший, что такое слово и ласка матери, был сейчас чем-то близок и странно родствен ей.

– Ты на меня не серчай, что я тебя вчера так, – сказала она глуховато. – Хочешь, можешь ударить меня. – Она подняла голову и подставила щеку. – Только, уж конечно, не потому, что ты принц... –

Длинные ее брови, и без того сходящиеся на переносице, теперь сомкнулись совсем над плотно закрытыми глазами.

– Нет, нет, я, у-это, так не хочу! – пробормотал принц, трясая головой. – Так у нас слуга говорит, когда его по щеке... Я так не хоту.

– Ну и ладно. – Она вдруг глянула на него весело и по-свойски. – Пойдем тогда камешки собирать, может, сердолик найдем или Куриного бога. Пошли, а?

И они побежали к морю.

А между тем мамаша Гелика уже бушевала в кабинете начальника лагеря, нервно открывая и захлопывая пасть своей огромной цветастой сумки.

– Вы не находите, что это выглядит по меньшей мере странно? Мой мальчик, сын советского работника, занимающего видное место, живет в матерчатой палатке, где все продувается сквозняком и куда может заползти любая сороконожка вплоть до скорпиона, а какой-то принц, иностранец, разумеется капиталистического происхождения, размещен на даче со всеми удобствами! Действительно, как говорится, в царских условиях.

Начальник пытался урезонить ее:

– Должен вам сказать... Простите, не знаю вашего имени-отчества... Ольга Федоровна? Так вот, Ольга Федоровна, мы стараемся для всех ребят создать, как вы выражаетесь, царские условия. Но здоровые мальчишки предпочитают жить по-лагерному, по-походному, у моря, чтобы оно у них под самой подушкой шумело, чтобы волны в полог стучали. Ну, а в дачах мы размещаем менее закаленных, более слабых. Впрочем, как желаете... Можно и вашего сынка устроить. Вы не обижайтесь, но должен вам сказать, что сынок ваш в тысячу раз больше принц, чем этот самый Дэлихьяр из Джунгахоры.

– Да, – невозмутимо отвечала мамаша Гелика, угрожающе щелкая сумкой, – мы не скрываем, что стремимся дать нашему сыну воспитание на высшем уровне...

Гелика Пафнулина, хотя он уже был и сам этому не рад, перевели из береговой палатки, в которой обитали Слава Несметнов, Тараска Бобунов и другие ребята, на дачу, предназначенную, как выразались мальчишки, для «слабачков».

Узнав об этом, принц на другой же день стал требовать от Юры, а потом и от директора, чтобы его непременно перевели на освободившееся место, в палатку номер четыре, к Тараске и Несметнову.

Посоветовавшись с вожатым, начальник в конце концов согласился.

– Ладно, пусть живет с товарищами. Он парень, видно, подходящий. Они его там закалят как надо. Только ты, Юра, все-таки предварительно потолкуй с ними. И, конечно, с врачом вопрос согласуй.

Получив согласие врача, вожатый Юра явился в палатку номер четыре, перед тем как туда перевели принца:

– Вы все-таки с ним потактичней. Он приучен к определенным манерам. Придворные церемонии соблюдать, конечно, никто вас не заставляет, ну, а, так сказать, считаться кое с чем все-таки не мешает. Понятно?

– Все понятно! – хором отвечали ребята.

Никакой церемонии перехода в палатку не проводили. Только Тараска, посоветовавшись с Юрой-вожатым, попросил девочек вышить флаг Джунгахоры. Долго упрашивать не пришлось. Тоня охотно вышила флаг и герб страны Джунгахоры. И у входа в палатку номер четыре повесили пионерский вымпел, а рядом с ним джунгахорский флаг.

Так принц Дэлихьяр стал жить на берегу в палатке номер четыре. Не буду скрывать, что флаг-то флагом, а в первую же ночь принцу все-таки была устроена некоторая проверка. Ему подложили в постельдохлую лягушку. И когда принц стал разбирать кровать на ночь, все в палатке замерли, ожидая, что сейчас произойдет, как будет себя вести принц в этих каверзных условиях и что полагается сделать в таком случае по дворцовому этикету.



Дэлихьяр, напевая свою любимую песенку, которую он запомнил со слов бабушки, «Гайда тройка, снег пуджистый», сноровисто, желая показать ребятам свое умение, готовил себе койку. И вдруг замолк.

Все остановилось в палатке номер четыре.

– О! – воскликнул Дэлихьяр. – Бедный, у-это, уже не живой... У нас в Джунгахоре мы их кушать, соус банан. Нет, у-это, не такой породы. – Он взял двумя пальцами за лапку лягушку, внимательно осмотрел ее, покачал головой, подошел к выходу из палатки, откинул полог и выбросил лягушку вон.

Едва не опрокинув Дэлихьяра, из палатки пулей вылетел Славка Несметнов. Его тошнило...

Через два-три дня вожатый Юра спросил Тараску:

– Как у вас там принц, освоился? Не очень вы его?

– О, полный порядок, – затараторил Тараска, – в обстановке полного взаимопонимания, мир и дружба, фройндшафт, бхай-бхай!

Не прошло еще и пяти дней, как принц стал одним из самых заядлых охотников за морскими камешками. С пренебрежением откидывая зеленые полосатые камешки-лягушки, он отбирал сердолики и халцедончики. Он научился великолепно ноздрить камешки, натирая их до нужного блеска о крылья собственного носа.

И на груди у принца рядом с королевским амулетом с золотым изображением солнца, перламутровым слоном и жемчужной луной болтался вскоре на ниточке так называемый «Куриный бог», то есть камешек с дыркой, которую выточило в нем море.



Найденного им второго Куриного бога он преподнес Тониде, и она великодушно приняла подарок.

А потом все словно и забыли, что он принц и наследник королевского престола.

Только и слышалось:

– Дэлька, наноздри мне вот этот сердолик. У меня нос обсох, лупится.

– Дэлька, пошли на отмель крабов ловить, а? Сходили?

– Дэлька, ты когда брови упражнял, сперва пальцем их поддерживал?

И голос принца, высокий, мелодичный, какого-то особого оттенка, хорошо выделялся вечером, когда он вместе с приятелями по палатке номер четыре пел под балконом дачи «слабачков»!

У Пафнулина у папы,  
У Пафнулиной у мамы  
Жил сынок чин чинарем.  
Он любимчик был мамулин,  
Он любимчик был папулин,  
Ну, а вырос дикарем.

## Глава VIII

### С черного хода

Ребята вообще умеют быстро сближаться. А в пионерском лагере дружба схватывается мигом, как гипс. Смотришь, вчера еще не знали, как зовут друг друга, а сегодня уже старые товарищи. Может быть, конечно, лагерная дружба не так прочна, как школьная, та, что крепнет год от года, класс от класса. Как известно, гипс на то и гипс – быстро схватывается и легко раскалывается. Но, во всяком случае, медлить с летней дружбой не приходится. Сроки лагерных путевок короткие. Глядишь – пора уже и расставаться. И Тонида сама на себя дивилась. Как это она, всегда такая трудная и колючая, тяжелая и неходкая в знакомстве с людьми, так быстро и запросто подружилась с принцем. Конечно, это была дружба, самая настоящая дружба, ничего больше, как бы девчонки ни подкашливали хитро и ни строили гримаски за ее спиной, когда у девчачьей дачи появлялся Дэлихьяр.

– Иди, принцесса, твой пришел, – хихикали девчонки и едва успевали увернуться от крепких тумачков Тониды.

– Подите-ка вы подале... Городите опять не знай чего.

Впрочем, она стала уже не такой размашистой, какой была вначале. И вообще как-то изменилась Тонида-Торпеда. Один раз она даже попросила подружек причесать ее по-модному, с начесом.

– Ну наконец-то, очухалась, – говорила Зюзя Махлакова, искусно взбивая расческой что-то вроде кокона на Тонидиной макушке, где до сих пор властвовала лишь суровая круглая гребенка.

А когда причесали девочки Тониду и надела она к вечеру Зюзину нейлоновую кофточку, приколов к ней Куриного бога, подаренного принцем, просто не узнать ее было.

– Ой, Тонька, – восхищалась Зюзя, – до чего же ты сегодня интересная, спасу нет! Девочки, вы только поглядите!.. Честное слово, как бы в Джунгахоре землетрясения не было.

– Подите-ка вы от меня подале, – гудела польщенная Тонида и рдела, и правда хорошела, поглядывая в зеркало, которое держала перед ней Зюзя, и пригашая длинными ресницами застенчивую лукавинку в просторных глазах своих.



И они вместе с принцем, которого все в лагере звали теперь уже просто Дэликом или Дэлькой, собирали на берегу камешки и тщательно ноздрили их, натирая для блеска о собственные носы. Принц, у которого на перстне горел большой бриллиант, а дома были золотые пояса и пряжки, усыпанные драгоценными камнями, восторженно кидался в набегающую прозрачную, с прозеленью волну, завидев в ней маленький сердолик, не больше ноготка...

Медленно брели они вдвоем у самой воды, отпрыгивая со смехом в сторону, когда ветер сдирал с гряды прибоя клочья пены, развеивая их в брызги, и волна плюхалась под самые ноги. И чем шумнее разгуливалось море, тем откровеннее говорили они друг с другом,

потому что море заглушало слова и можно было лишь догадаться о сказанном.

– Угадай, про что я тебе сказала? – кричала Тонида сквозь грохот прибоя.

– У-это, повтори еще...

– Хорошо! – лукаво обещала она, но, нарочно выждав, когда новая волна, вильнув пенным хребтом, с грохотом бухала о берег, повторяла что-то неслышное Дэлихьяру, издали глядя на него.

А он тряс головой и опять просил:

– Повтори, у-это, ты что говорила?

– Не буду я сто раз повторять, – доносилось до него сквозь грохотание прибоя.

Тонида научила принца чудесной песне, сложенной кем-то в дальних походах. И, стараясь перекрыть море, они во все горло пели вдвоем на берегу:

Я не знаю, где встретиться  
Нам придется с тобой...  
Глобус крутится, вертится,  
Словно шар голубой...  
И мелькают города и страны,  
Параллели и меридианы.  
Только той еще дороги нету,  
По которой нам бродить по свету

– Тебя когда-нибудь дразнили? – спросила как-то Тонида.

– А, у-это, как? – насторожился принц.

– Ну, как-нибудь прозывали?... Вот меня Торпедой дразнят...

– О-о! У-это, сколько много раз, – обрадовался Дэлихьяр. – Вот так... Сын солнца и луны. Жемчужина короны. Еще, у-это, юный слон мудрости.

– Ох, чудик ты, Дэлька, – засмеялась ласково Тоня. – Так это же разве дразнят? Это величают.

– А я, у-это, не люблю, когда увеличают.

Все давно уже привыкли к нему. Он научился нырять и даже получил разрешение от Юры-вожатого плавать по несколько минут с

ластами и аквалангом. Вместе со всеми мальчишками упрямо отшагивал в строю дальние дороги на экскурсиях, участвовал в Дне космоса и в Дне моря. Старательно салютовал на лагерной линейке. Пионеры придумали в его честь специальное приветствие и при встрече с принцем, салютуя ему, кричали:

– Луна и солнце!

На что он, растопырив пятерню, поднятую над головой, отвечал, сияя:

– Серп и молот!

И все были очень довольны собой и друг другом.

По вечерам, когда оставались считанные минуты до сна, а, признаться, иногда и после положенного срока шли в палатке номер четыре интереснейшие разговоры. Тараска и Ярослав наперебой рассказывали Дэлику о Буденном, о полярниках и об атомоходе «Ленин», о Павлике Морозове, Володе Дубинине, молодогвардейцах и космонавтах. А принц говорил им о бойскаутах из организации «Королевские тигры», почетным шефом которой он считался, и о Тарзане, про которого он читал в книжках больше, чем было в кино. И уже не просил он в полночь, как прежде, будя всех, закрывать полог палатки, чтобы не влетели шарахунги – злые полночные духи. «Я, у-это, теперь знаю. Коммунисты у вас убили всех духов. Я больше не стал бояться».

Ну и путаница же была в голове у этого славного принца! Дэлихьяр, например, верил, что если длинную лиану перетащить через три реки, то она превращается в змею. Он верил также, что во вредных людях зреет змеиный яд, и подозревал, что к таким надо отнести и Гелика Пафнулина, который теперь старался обходить палатку номер четыре подальше. А однажды, когда возвращались из похода в горы и уже спускались к шоссе, которое проходило мимо лагеря, вдали слышались громкие сигналы. Из-за поворота вылетели три мотоциклиста в белых и гладких, как облупленное крутое яйцо, шлемах. Они мчались, оглушительно сигналив, отмахивая белыми перчатками влево и вправо. И все машины, и встречные и попутные, сразу же послушно отворачивали к обочинам, очищая путь посередине шоссе. А за мотоциклами неслась маленькая открытая машина, над которой билось во встречном ветре пурпурное знамя с

развевающимися золотыми кистями. И чуть позади следовали один за другим голубые и алые автобусы с флагами на кузовах.

– Стоп! Пропустим, – скомандовал Юра.

Принц настороженно всматривался в торжественный кортеж, приближавшийся в окружении почетного эскорта мотоциклистов.

– У-это, кто едет? – ревниво поинтересовался он. – Откуда король тоже приехал, да?

– Король не король, а принцы и принцессы наши едут, – начали было потешаться ребята, но вожатый Юра остановил их.

– Кончай придуриваться, ребята, хватит. Это, Дэлик, – сказал он принцу, – новая смена к нашим соседям, в лагерь «Чайка», едет. У них заезд получился позднее. Лагерь новый, недавно сдали.

– А нас еще и не так везли, – похвастался Тараска. – Нас с духовой музыкой. Впереди на отдельном грузовике наяривали марш всю дорогу. Все движение встало на шоссе. Пионерам у нас всегда «зеленую улицу» дают. Дуй, гони!..

И проносились мимо пионеров, мимо оторопевшего принца нарядные автобусы. Из окон высовывались ребята, махали руками, что-то кричали, пели. Каждый автобус словно обдавал стоявших своей песней.

Фр-р-р-р-р!!! – проносились с облачком жаркого воздуха машины.

Фр-р-р-р-ррр!.. «Здравствуй, милая картошка, тошка, тошка... Низко бьем тебе челом...» Фр-рр-рррр!.. «Давай, космонавт, потихонечку трогай и песню в пути не забудь...» Фр-р-р-р!.. «Взвейтесь кострами, синие ночи! Мы пионеры – дети рабочих...» Фр-р-р-ррр!.. «Ай-яй-яй, тебя люблю я!.. Ай-яй-яй, ты все молчишь...» Фр-р-р-р!.. «С якоря сниматься, по местам стоять! Эй, на румбе, румбе, румбе, так держать!..» А оглушенный принц только головой вертел, встречая и провожая накатывавшие и проносившиеся мимо песни.

Долго еще потом ходили по лагерю рассказы о том, как принц принял проезжавших пионеров за королей... Но особую славу в лагере «Спартак» принц Дэлихьяр Сурамбук приобрел после двух встреч.

Гуляли раз пионеры по одной из дальних аллей лагерного парка. Шли и пели все хором песню про зеленого кузнечика о «коленками назад», а сами откальвали на ходу замысловатые коленца какой-то ими придуманной смешной пляски. И там, где кипарисовую аллею пересекает тропа, ведущая к розарию, повстречался им незнакомый человек. Он был в вышитой украинской сорочке и соломенной шляпе. Широкие, как чехлы на креслах, холщовые штаны почти закрывали сандалии.



– Добрый день! – обратился он к ребятам, старательно улыбаясь. – Что это вы исполняете? Западные танцы?

– Что вы, – сказал Тараска, – это не западные, это восточные. Пляска тигров.

– Ишь ты! – сказал человек в широких штанах. – Ну, как живем, пионеры? Гуляем, загораем? Питание как? Всем довольны?

Ребята загудели в ответ дружно, но неразборчиво, что всем довольны, все хорошо.

– Так... Будем знакомы. Я от комиссии из областного центра. Интересуется руководство вашей жизнью. Давайте присядем вот тут на скамеечку, потолкуем. Ну, вот ты, например. – Он ткнул пальцем по направлению к Тониде, которая тотчас же мрачно скрылась за спиной Несметнова. – Что прятаться? Не тушуйся, нам интересно именно ваше личное впечатление. Как говорится, устами малолетних... – Он вынул толстую тетрадку из портфеля, который

зажимал так высоко под мышкой, что даже скосбочился несколько. – Ну, не хоронись там, девочка, давай начнем с тебя. Родители чем занимаются?

Тонида молчала.

– Какая-то ты, я вижу, необщительная, в себя замкнулась, нехорошо так в коллективе. Ну, а ты? – Он ткнул пальцем в принца, и ребята затихли, предвкушая удовольствие. – Ну, присаживайся здесь, так вот, рядышком. Дыши себе свободно, а я кое-что запишу. Стало быть, приступим. Давай с тобой заполним вопросы по порядку. Первый вопросик – имя, фамилия и всякое такое.

– Дэлихьяр Сурамбук.

– Нерусский будешь, значит? Это не суть. Повтори только для ясности...

Принц повторил, а ребята так и дулись от разбивавшего их смеха.

– Дэлихьяр... Интересно! Родители-то кто? Ребята, разом посерьезнев, наперебой принялись подсказывать шепотом:

– У него отец с матерью умерли.

– Ясно, – сказал ревизор. – Сирота, следовательно. Сочувствую. Прискорбно. Значит, этот пунктик заполнили. А на чем иждивении?.. Ну, у кого живешь, кто содержит?

– Он у брата старшего живет, – объяснил за принца, лукаво озирая всех, Тараска.

– А вы не подсказывайте. Ты сам отвечай, по-русски ведь разбираешься? Вот. Он сам и без вас ответит. Кем, я говорю, брат-то работает? Где?

– У-это... Он работает во дворце, – отвечал Дэлик.

– Во Дворце культуры?

– Нет, у-это, в нашем. В Джайгаданг.

– Не совсем себе уясняю. – Ревизор почесал переносицу карандашом. – Это что, местности название такое? Сперва давай уточним, кем брат работает.

– Он король.

– В каком, так сказать, отношении? И вообще давай серьезно отнесемся.

Ребята уже чуть не помирали со смеху.

А Тараска вдруг подскочил к принцу, поднял с земли большой лист вроде лопуха:



– Ваше высочество, разрешите обмахнуть?

Ревизор поглядел на всех поверх очков, потом совсем снял их, снова надел на нос, приподнял соломенную шляпу над макушкой, помахал на себя, как веером:

– Да, действительно жарковато сегодня. Парит что-то. Так, я извиняюсь... Может быть, все-таки уточним?

Тут уже, не выдержав, ребята расхохотались и наперебой стали объяснять ревизору, что перед ним настоящий наследный принц, брат короля Джунгахоры и обитатель палатки номер четыре.

У ревизора съехал с толстых колен портфель, он поднял его, запихал туда тетрадь и, смущенно хлопая глазами, обратился к принцу:

– Слушай, извиняюсь, твое высочество... Ты меня, в общем, если что я нарушил... Не был поставлен в известность. Тараска что-то все время показывал под ноги ревизору.

– На чем стоите?! – прошипел он наконец, показывая глазами на принца. – Сойдите скорей!..

Ревизор испуганно поглядел себе под ноги и даже приподнял одну сандалию.

– Нельзя на его тени стоять, – заверещал Тараска, – у них закон не позволяет. – И Тараска сделал страшные глаза.

Ревизор, поспешно пятясь, отшагнул в сторону и наткнулся на подошедшего начальника лагеря.

– Что же вы меня, товарищ Кравчуков, не проинформировали, что у вас в контингенте, так сказать, представитель зарубежной державы?

– Вы же меня не информировали о своем предстоящем прибытии, – отрезал Михаил Борисович, – с черного хода решили, с задней калитки. Ну, а я, признаться, полагал, что если придете, так с парадного крыльца. Извините.

– Да вот, товарищ Кравчуков, хотелось подемократичнее, так-сказать, с низов, тем более сигнальчик был о неблагополучии. Заезжали тут родители, сигнализировали в область...

– Ладно, потом разберемся, когда пройдем ко мне, – оборвал его начальник.

В лагере запел голосисто и раскатисто горн, зовя на обед.

«Бери ложку, бери хлеб...» – подхватили привычно ребята.

– Вы бы вот больше эти сигналы слушали, – сказал Михаил Борисович и повернулся к притихшим ребятам: – Ну что же, вы тут уже побеседовали, успели?

– Бодяга это, лабуда, – сказал вдруг принц. Бедный начальник даже приостановился, хотя совсем уже было собрался уходить вместе с ревизором.

– Это ты по-каковски? – спросил он.

– По-русски, как, у-это, все.

– Хороши! – Начальник оглядел потупившихся ребят, укоризненно покачал головой. – Вы что же это русский язык позорите? Этому надо гостя учить? Да еще короля, возможно, в будущем. Доверяй вам, а вы...

## Глава IX

### Сердце пятого

Вторая встреча была совсем иной, и запомнилась она спартаковцам надолго.

Дело шло к вечеру. Огромный огненно-оранжевый, чуть-чуть сплюснутый шар солнца вот-вот должен был кануть за горизонт. Пионеры поднялись, чтобы проводить солнце на высокую прибрежную скалу, где стоял позеленевший от времени и щербатый бюст доктора Павла Зиновьевича Савельева. Это он, старый большевик, один из героев гражданской войны, когда-то основал здесь, на Черноморском берегу, лагерь «Спартак». Тяжело больной, доживал он в лагере свои последние дни. Его приводили к вечеру на эту скалу, он сидел тут, смотрел на море и на закат и слушал песни, которые пели для него пионеры. На скале его и похоронили. И стоял здесь старый памятник доктору. Ребята часто поднимались сюда, чтобы полюбоваться красой морского заката, долго потом стоявшей в глазах. А закат и правда выдался очень хорош в тот день. Небо и море были сине-фиолетовыми, а над самой кромкой, отделяющей морскую даль от распахнувшихся во все стороны небесных просторов, накалялась широкая алая полоса, и в центре ее плавилось тяжелое багрово-золотое солнце. – Ребят-ты, смотри! – зашептал, придыхая, принц.

– У-это, совсем как у нас Джунгахоры флаг.

Услышав это, высокий и очень худой человек в темных очках, седой, смуглый, весь в белом, быстро обернулся. Он стоял поодаль с небольшой группой пожилых курортников, поднявшихся сюда, должно быть, из санатория, что находился неподалеку от «Спартака». Это, верно, их автобус дожидался внизу, у подножия скалы.

Высокий человек снял темные очки, худой красивой рукой плавно отвел их от смуглого лица, и Тониде показалось, что движением этим он разом впустил в глаза свои и всю широту далекого неба, и синь моря, и пламя горевшего заката – так много синевы и огня ринулось в упор на пионеров, когда незнакомец глянул на них.

– Джунгахори?.. Фари йо джор? – быстро спросил он у принца.

Тот, неожиданно услышав родную речь, доверчиво заулыбался сперва, но тут же сдержал себя и коротко с важностью назвал.

Высокий незнакомец медленно подошел вплотную к Дэлихьяру, чуть склонившись, поглядел ему прямо в глаза, – Принц Дэлихьяр? – Он коротко кивнул головой и добавил: – Ну, давай познакомимся. Я – Тонгаор. Тонгаор Байранг.

Принц попятился, насупившись. Во дворце Джайгаданге не полагалось даже произносить это имя... А пионеры сразу стихли и обступили говоривших. Ну конечно, ребятам, как и всем у нас, давно уже было известно имя неустрашимого джунгахорского поэта-революционера коммуниста Тонгаора. Тараска так и вперился в него, стараясь бесшумно пробраться поближе. Вот он какой, Тонгаор Байранг! Без малого десять лет просидел поэт в одиночке в темени страшной гибельной ямы, куда его бросил тиран Шардайях, прежний король Джунгахоры. Всю жизнь свою боролся Тонгаор против захватчиков – мерихьянго. Стихи и песни Тонгаора, заживо погребенные в смрадной яме, где должен был погибнуть поэт, пробивались сквозь толщу тюремной охраны, гремели по всему свету. «Слышите?! Мой тайный код!.. Я перестукиваюсь со всем миром, со всеми, кому дороги свобода и правда, стуком наших разгневанных сердец!» – говорилось в одной из песен Тонгаора. И отзывной стук сердец миллионов людей стал в конце концов слышным по всей планете грозным грохотом и заставил правительство Шардайяха извлечь отважного поэта-революционера из тюремной ямы и выслать его за пределы страны. Но годы, проведенные в подземелье, отнимавшие у поэта свет и свободу, отняли у него и здоровье. Теперь он лечился в одном из черноморских санаториев близ лагеря «Спартак».

– Мне, наверное, говорить с тобой не полагается, – сказал Тонгаор принцу. – Вернее, тебе, думаю, со мной говорить не велено. А? Я ведь коммунист. Всегда был и буду против вас, королей, скрывать не стану. Но тебе, мальчик, вернее, твоему имени я кое-чем обязан.

Тонгаор пригнулся, чтобы заглянуть принцу в лицо. Но тот отшатнулся и прошипел еле слышно:

– Шарахунга ро табанг!..

– Ух ты!.. Как проклинать меня ты выучился. – Тонгаор вдруг с ласковой хитринкой поглядел на принца и по-озорному закрутил

седой головой. – А вот то, что все ребята у нас в Джунгахоре знают, тебе, должно быть, неизвестно. А, принц? Ну-ка! – И неожиданно звучным, легким голосом он пропел: – «Банго, банго, бангандай!..» Как дальше?

Принц встрепенулся было, но, спохватившись, хмуро глянул на Тонгаора снизу и нехотя, вполголоса пробурчал:

– Ну, у-это... «Бунджи, рунджи, джай-ярдай!» Тонгаор одобрительно кивнул.

– Молодец! У тебя и слон ведь по этой песенке назван – Бунджи. А вот скажи, кто песенку эту придумал? Не знаешь?.. Эх ты, моя эта песенка, мальчик. Я ее для всех джунгахорских ребят сочинил. Вот видишь, она и к тебе во дворец пробралась безымянной, песенка моя. Песню, мальчик, в тюрьму не спрячешь, на замок не запрешь. Ну-ка, еще раз давай споем вместе ребятам. «Банго, банго, бангандай!» И принц, хотя и отвернувшись, послушно подхватил:

– «Бунджи, рунджи, джай-ярдай!» – Видишь, как у нас складно получается. Я же вижу, ты вовсе не плохой малый. И смотри, у каких хороших ребят мы с тобой встретились. Ну, давай свою августейшую десницу. Проще говоря, давай лапу. Не на дружбу, так на песню. Я хочу поблагодарить тебя, мальчик. Я уж сказал, твое имя мне однажды на помощь пришло...

Говорил он негромко, но голос звучал так глубоко и веско, что хотелось не только его слушать, но и слушаться. Выговор у него был чистый, только чем-то напоминавший уже знакомую ребятам, певучую, с легким придыханием в нос, манеру речи принца. Ведь недаром еще мальчишкой шестнадцати лет Тонгаор приезжал к нам в первые годы революции и слушал Ленина на съезде комсомола, а потом долго учился в Коммунистическом университете трудящихся Востока в Москве.

И вот рассказал теперь пионерам Тонгаор, что, когда король Шардайях вынужден был освободить и выслать его, все было сделано так, чтобы мятежный поэт, вытасченный со дна тюремной ямы, погиб бы на дне моря. С борта корабля его высадили в открытое море на маленькую утлую шлюпку. И корабль ушел, А погода была свежая, и волны все росли и росли, перебрасываясь друг с другом одинокой шлюпкой, как скорлупой пустого кокоса. И заглох бы Тонгаора океан, если бы не заметили его с борта проходившего танкера «Принц

Дэлихьяр». Танкер шел в Советский Союз за нефтью. Моряки увидели человека на полузатопленной шлюпке и подобрали его.

Боясьдохнуть, слушали Тонгаора пионеры. Тоня Пашухина глаз с него не спускала. И только свирепо косилась, если кто невзначай шевелился.

– Капитан стал мне за время пути верным другом, – продолжал Тонгаор. – Танкер приписан к порту Рамбай. А ты, мальчик, должно быть, слышал, каковы моряки из Рамбая... Там много моих друзей. И капитан «Принца Дэлихьяра», когда приходит к этим берегам за нефтью, всегда привозит мне письма. Очень много писем. На «Принце Дэлихьяре» плавают хорошие, смелые люди. Имя твое, мальчик, в верных руках. Думаю, что и ты не обманешь... Погоди! – воскликнул вдруг Тонгаор. – Ровно через неделю твой корабль будет в порту. Капитан навестит меня. Хочешь встретиться? Нет, лучше я его привезу к вам в лагерь!..

А солнце уже входило в море, все небо торжественно пылало. И на фоне этого величавого, широко разлившегося пламени очень красив был высокий, такой худой и смуглокожий, словно его насквозь просвечивало огнем заката, но удивительно прямой, негнувшийся белоголовый человек. Он стоял над обрывом и вместе с затихшими пионерами глядел в море. А солнце погружалось в гладь моря и вот уже совсем скрылось... Небосклон слегка повело проступившими по нему вразлет прощальными лучами. Еще несколько минут калилась одна точка на горизонте – там, где воронкой сходились блекнувшие лучи. И казалось, туда, в остывшую пучину, медленно втягивается уходящий свет дня. А потом и эта точка погасла.



Наступила минута вечернего молчания. Тонгаор бережно, но прочно удержав за плечо Дэлихьяра, отвел его чуточку в сторону. И они там некоторое время говорили о чем-то друг с другом на родном языке – наследный принц страны Джунгахоры и гордый поэт-коммунист, молодость которого сплела тюремная яма Шардайяха. О чем они говорили, никто, конечно, не понял, но принц уже не отводил своего плеча из-под руки Тонгаора. Минуту назад еще чужой и непримиримо враждебный человек стал теперь непонятно притягательным. Дэлихьяр, казалось, чувствовал, что с ним говорит не то волшебник, не то мудрец. Но как не походил он на тех мудрецов, напыщенно-бородатых, исполненных медлительной важности, которые во дворце Джайгаданге долгими и нудными часами толковали наследнику престола о шести сутях мира и четырех опорах бытия. Нет, ни на придворных мудрецов, ни на жрецов из Храма Луны и

Солнца не похож был человек, имя которого было запретным в Джунгахоре! А в то же время каждое слово его, произносимое на родном принцу языке, упруго, как парус ветром, наливалось какой-то гордой и властной правдой: хотелось довериться ей.

Потом оба вернулись к стоявшим в отдалении и все еще тихим пионерам.

– А мы тоже за вас все протестовали, когда я учился во втором классе, – сказал Тараска, восторженно глядя на Тонгаора.

– Спасибо тебе и твоим товарищам, – отвечал Тонгаор. И он очень уважительно и серьезно пожал руку Тараске. Поэт был высок, ему приходилось смотреть на маленького Тараску сверху. Но он не гнулся, а только уважительно наклонял голову, сам оставаясь пронзительно прямым.

– А вы прочитайте, пожалуйста, нам какие-нибудь свои стихи, – вдруг осмелела Тонида. – Я слышала, как вы по радио читали... о космонавтах.

– Прочитайте, правда, просим, прочитайте! – Пионеры сгрудились еще теснее, нетерпеливо зааплодировали.

– О космонавтах? – переспросил Тонгаор. – Ну, это вы, должно быть, и так все слышали... Разбираетесь лучше меня в этих делах.

– А вы бы хотели сами быть космонавтом? – спросил Тараска, обмирая от уважения.

– Мне уже поздно мечтать об этом, да и здоровье я оставил под землей, и так высоко над ней мне уже не вознестись. – Тонгаор поднял голову и, как показалось ребятам, с завистью поглядел в небо. Но потом вдруг тряхнул упрямо белыми волосами и, чуть прищурившись, хитро оглядел ребят. – У каждого, пионеры, свой путь к звездам... Я вот хотел бы помочь всем людям проложить путь к звезде, которая зовется – Правда.

– А все-таки, – спросил, как всегда, несколько сумрачно настойчивый Слава Несметнов, – как вот, по-вашему... кем интереснее быть – писателем или космонавтом?

Тонгаор усмехнулся:

– Не знаю... Не знаю, пионеры. Летать в космос пока не приходилось. А вот поэтом... Стойте-ка! Я лучше вам расскажу одну свою притчу, если хотите... Да? Ну, тогда рассаживайтесь вокруг.



Ребята мгновенно разместились: кто на уступе скалы, кто на нагроможденных камнях и обломках. Тихонько подошли курортники из санатория. И Тонгаор, медленно оглядев всех, стал читать им свою «Притчу о пятерых».

– «Сошлись раз пятеро, – начал Тонгаор. – Один знал, откуда произошла всякая вещь, и постиг состав ее, и строение, и тайну недр ее, и крошечное вращение мельчайших частиц, все образующих. Он был Великий Физик.

Другой смотрел на него и видел ток крови в жилах, и узлы нервов, и всего насквозь, и по дыханию слышал, что у того в легких, как бьется у него сердце, и распознавал срок жизни его.

То был Знаменитый Врач.

Третий взирал на этих двух и думал, как бренны и бесконечно малы они в сравнении с мирами, которые он разглядел в свои трубы и расчислил. Он был Прославленный Звездочет.

Еще один, бывший тут, размышлял о том, как короток шаг этих людей в сравнении с ходом истории и как ничтожен возраст их по сравнению с веками. Это был Мудрый Летописец.

А пятый думал: „Да, я, должно быть, изучил все меньше, чем они... Но я постигаю сердцем, как просторен мир, как велик ум человека, как всеобъемлюща душа его. Я не знаю точно ее срока и состава, но могу поведать о ней так, что в нее войдут счастье и гармония, и я подвигну ее на новые дерзания, и в слове моем она обретет бессмертие“.

То был Поэт».

...Так хорош был этот вечер, такая, не знающая конца и края, тишина простиралась над морем и плыла куда-то, безмолвная, за остывающий горизонт, чтобы объять покоем весь вечерний мир, что даже а захлопать никто не решился. Пожилые курортники, сопровождавшие Тонгаора, только головы склонили, понимающе покачав ими. Ребята хотя и не все до конца поняли, но почувствовали, что им позволили коснуться чего-то очень большого и бесконечно дорогого для этого высокого, худого, белоголового человека. А тот вдруг закашлялся, приложил к красивому и тонко вырезанному рту белый платок. Отвернувшись, он долго содрогался в кашле. А когда отнял платок, то не успел сразу скомкать его. И ребята заметили на

платке красные пятна. Он виновато сунул платок в карман и долго смотрел на принца.

– Смешно и странно сходится порой многое на свете, мальчик, – проговорил Тонгаор. С какой-то горькой нежностью вглядывался он в лицо Дэлихьяра. – Но если бы ты только знал, как ты, мальчик, похож на моего сына! Он остался там у нас... в Джунгахоре. С матерью. Не выпускают... Нет, поразительно похож! Только мой сын чуть постарше... А ты скучаешь по дому... – он замялся, – ну, по своему дворцу, что ли?

Перед глазами принца длинной и медлительной, как караван, чередой прошли бесконечные залы Джайгаданга. Они были затенены тяжелыми занавесами, пустынно и гулки, как пещеры. Толстые ковры, застилавшие их, делали вязкими шаги одиноко слонявшегося по безлюдному дворцу Дэлихьяра. А окна были оплетены вьющимися растениями. Они начинали медленно колыхаться, если подойти к ним. И Дэлихьяр, чтобы посмотреть на то, что происходит вокруг дворца, должен был разводить руками эти тяжко колеблющиеся зеленые плети и тукаться в стекло окна, как рыба в аквариуме.

Принц сумрачно затряс головой. Тонгаор вздохнул:

– А я скучаю. Очень скучаю... Ведь родина, дорогой мой принц, это не только твой дворец и моя тюремная яма. Это все самое дорогое. Это любишь всю жизнь. А раз любишь – значит, скучаешь. – Он помолчал, насунул вдруг на глаза черные очки, а потом резко сдернул их и еще раз заглянул в лицо Делихьяра. – Хочешь, я пришлю тебе книжку свою?.. Только она вышла по-русски, но ведь ты хорошо понимаешь? Недаром бабка-королева у тебя русская была... Бабашура? Правда?..

Принц радостно закивал.

– Я эту книгу сыну своему посвятил. Так и называется: «Запомни, сын!» Хочешь?

Принц опять закивал поспешно и согласно.

– А скажите... – Тараска, прищурившись, поглядел на принца. – Скажите, товарищ Тонгаор, а вы тоже учите своего сына, чтобы на его тень никто становиться не смел?..

Принца разом бросило в краску. Он метнул яростный взор на болтуна. Тоня тоже нахмурилась. Но поэт, должно быть, сразу понял, в чем дело.

– А что такое тень? Твоя тень!.. Это просто то место, которое ты собой заслонил от солнца... По-моему, надо гордиться не тогда, когда ты что-то загородил от света, а тогда, когда ты пустил свет туда, где было темно. Надо так в жизни держаться, чтобы никому солнца не заслонять. Чтобы след твой к солнцу людей вел. Понял? Вот это топтать никому не давай, мальчик.

Тараска хотел еще что-то спросить у Тонгаора и опять протолкнулся к нему, но поэт вдруг замахал на него обеими руками и поспешно отступил.

– Убери, убери эту гадость! – Он указал на дохлого полуиссохшего краба, которого держал за одну клешню Тараска. – Не терплю дохлятины... Я и живых-то их боюсь. Убери, прошу.

Тараска оторопело посмотрел на него, подивился про себя, что такой бесстрашный человек трусит, боится какого-то дохлого краба, и с сожалением отбросил свою пляжную находку в сторону.

Но тут к Тонгаору подошел один из пожилых санаторников, постучал сердито пальцем по часам на своей загорелой руке, потом молча взял Тонгаора за руку и, отвернувшись, постоял некоторое время, как бы прислушиваясь к чему-то. Покачал головой и отпустил руку поэта. Снизу, от подножия скалы, донесся тройной, нетерпеливый сигнал автобуса. И Тонгаор, по обычаю народа Джунгахоры, строго поклонился маленькому принцу, сперва скрестив ладони своих рук перед собой и приложив их к сердцу. Принц собрался проделать в ответ то же, но Тонгаор весело схватил Дэлихьяра за плечи, потряс его по-дружески и легонько-легонько ткнул ладонью в лоб.

А потом выпрямился и отсалютовал по-пионерски всем ребятам, которые радостно вскинули вверх руки ответным салютом.

– Домой, домой! – сердито приказал пожилой курортник и опять потянул за руку Тонгаора.

– Видали, как меня тут строго держат! – пожаловался тот пионерам. – Ничего не поделаешь, юные пионеры... Проклятая тахикардия!

– Дэлька, – спросил Тараска у принца, когда спускались в лагерь, – это что, у вас ругаются так по-вашему, что ли?.. Та-хи-кар-дия!

Но принц не знал этого слова. Решили, что так называлась тюрьма, в которой провел долгие годы поэт, Искали это слово даже на географической карте – может быть, страна такая есть вражеская. И только лагерный доктор Семен Исаевич открыл смысл этого слова. Оказалось, что тахикардия – болезнь. Тюремная яма напоминала Тонгаору о себе. Она не только источила его легкие, она зловеще колотилась в его большом сердце, которое долгие годы перестукивалось сквозь камни со всем миром!

## Глава X

### «Запомни, сын!»<sup>[13]</sup>

Через день в палатку номер четыре принесли обещанную книжку Тонгаора.

На титуле было написано рукой Тонгаора по-русски и по-джунгахорски:

Его высочеству принцу Дэлихьяру от верноподданного  
Ее Величества Правды.

А сбоку было приписано:

*Принц-дурень дурнем остается,  
Пока его не вразумят  
Иль сам за ум он не возьметя.*

Не сердись, это не я, а Франсуа Вийон, французский поэт, написал еще в XV веке. И знаешь, с тех пор кое-кого успели вразумить. Будь и ты умником, мой мальчик!..

В этот вечер принц был очень задумчив и даже не захотел слушать рассказ Тараски о новогодней елке в Кремле, хотя черед рассказывать был Тараса, так как накануне о слонах и тиграх рассказывал принц. А в палатке номер четыре соблюдалась на этот счет строгая очередность: один вечер – о слонах и Тарзане, другой – о космосе и футболе.

Но тут никто уже не настаивал на порядке. Всем хотелось скорее узнать, про что говорится в книжке Тонгаора.

Если говорить честно, не все до конца было интересно или совсем уж понятно в этой книге. Но, казалось, она говорила о том, про что и сами ребята если не думали, то смутно догадывались. Будто поэт заранее знал, что им хочется вот так думать, именно так понимать и чувствовать все это. И вот теперь помог своей книжкой расслышать всю где-то таившуюся правду.

В книге были и маленькие притчи, вроде уже знакомой пионерам «Притчи о пятерых», и стихи, и примечания поэта к разным поверьям джунгахорцев. Вот как, например, совсем по-новому сказал Тонгаор о легенде про жемчуг и луну, которую уже слышали ребята от принца:

«Солнце светит днем, и жаркое сияние его отражается в цветах, и расправляют цветы навстречу ему лучи-лепестки и наливаются сладостью, чтобы стать плодами.

Луна выходит ночью, отражается в море, и молочный, прохладный цвет ее ловят створки раковин, и зарождается в них жемчуг.

А правда не заходит ни днем ни ночью, как ни тщатся спрятать ее тучи лжи. И лучи истины проникают в ум человека, и в нем, как в створках жемчужин, зреют сияющие зерна знания. И правда отражается, как в цветах, в сердце человека. И расправляет сердце излучение любви своей к жизни и наливается отвагой для борьбы с неправдой и тьмой».

Но особенно забрало ребят все, что было написано в разделе книги, который так и назывался: «Запомни, сын!» Тут вот что особенно запомнилось обитателям палатки номер четыре...

«Где бы ни родился человек – в лачуге или во дворце, он родится законным наследником всех благ, накопленных человечеством».

Тонгаор в своей книге подчеркнул это место красным карандашом: должно быть, хотел, чтобы принц обратил внимание на эти строки.

«Правда родится в хижинах, но сотрясает дворцы».

«Помни, что власть народа – закон и справедливость. Власть над народом – беззаконие и злодейство».

«За все, что происходит в мире людей, отвечаешь и ты! Не отказывайся от ответственности, это и есть – совесть.

И знай: рык совести не заглушить ни райским пением льстецов, ни шумными здравицами в твою честь, ни убаюкивающим шепотком самоутешения, ни пушечными салютами твоим победам.

Мелкими подачками от совести не откупишься. Она требует, чтобы с ней расплачивались сполна, вчистую. И всю жизнь ты должник ее».

«Не позволяй себе брать от жизни больше того, что ты даешь ей сам. Когда чашу весов, на которую положено то, что ты дал, перетянет

чаша получаемых тобой благ, пойдешь книзу и ты...»

«Жить надо во весь рост, головой в предел, не оставляя зазора между собой и потолком возможного, не расслабляясь в прогибе».

«Береги себя!.. Нет, не в работе, не в борьбе, не в любви. Там будь безгранично щедр. А вот если требуют, чтобы ты покривил душой, ужасся сердцем, притоптал, заглушил, ущемил что-то главное в себе, – тут будь бережен, не уступай себя!» «Плыть надо и против ветра! Но следует знать, откуда он дует, чтобы сообразно этому ставить паруса».

«Будь подобен самолету, а не воздушному змею, который запускают на высоту, а там уж он парит, влекомый течениями воздуха. Взлетай сам, за счет собственных сил, обретаемых в разбеге, и держись своего курса!»

«Живи не как живется, а как ты считаешь нужным жить. Не отбивай жизнь, не влачься у нее на поводу, а сам веди ее. Ведь недаром спрашивают про человека: „А какую жизнь он ведет?“»

«Будь добрым, то есть умей прощать маленькое зло, задевшее тебя, и не мирись с тем большим, что гнетет всех».

«Тот, кто упивается своим счастьем среди несчастных, подобен сластене, который, накрывшись с головой одеялом, поедает лакомства, припрятанные от голодных. Когда ты счастлив вместе с другими, у радости твоей открытое лицо».

«Говорят: „Чужая душа – потемки“. Но ты сумей прежде всего разглядеть в ней отсветы добра».

«И помни: плевок в чужую душу непременно вернется и в твою собственную».

«Что бы ты ни делал, не красуйся этим, а думай о красоте цели».

«Не льсти себе, когда пришлось тебе тяжело, что другим легче. Всем еще на свете трудно. Вот если ты хоть малость облегчил жизнь кому-то, пусть полегчает на душе и у тебя».

«Чем меньше места занимает человек в жизни, тем больше внимания удели ему. Тянуться перед генералом не хитрое дело, сумей уважить рядового».

«Во всем, что обращено тобою к людям, добивайся взаимности.

Безответная любовь – это небо без земли, космический полет без стремления вернуться домой...»

«Верить в бога – бессилие. Ни во что не верить – безнравственность».

Несколько раз перечитали пионеры строки, в которых поэт говорил об искусстве:

«Истинный художник – это божественная страсть созидания, ангельское терпение в труде, дьявольское упорство в борьбе за правду и великая человеческая любовь к жизни».

«Талант – это дар удивлять правдой».

Книга шла по кругу. Каждый читал вслух то, что ему выпадало по очереди. То, что было не совсем понятно, заставляли читавшего повторить. И торжественно звучал в палатке номер четыре голос Ярослава Несметнова, когда он уже в третий раз читал:

– «И помни, сын: за бессмертие обычно платят жизнью!»

А Тараске особенно понравилось одно изречение:

«Если бы взрослые реже забывали, какие они были маленькими, а дети чаще бы задумывались, какие они будут большими, старость не торопилась бы к людям, а мудрость не опаздывала бы».

– Да, Тонгаор твой – это человек в полном смысле! – восхитился, прослушав заповеди поэта, Тараска. – Недаром я за него протестовал. Ты бы хоть вот у него ума набрался. А то так и останешься принц принцем.

И после книжки Тонгаора уже не хотелось ребятам слушать на следующий день очередные рассказы принца о «Книге шести сутей мира», по которой молились в Джунгахоре, где верили, что все на свете состоит из Огня, Воды, Неба, Земли, Жизни и Смерти. Что касается «Четырех опор бытия» – Веры, Силы, Дела и Дружбы, о которых напоминали четыре звезды на флаге Джунгахоры, то тут пионеры дали свои толкования.

– Ну, Вера, я считаю, – пояснял Несметнов, – это значит понятие человека... Ну, чему он научился, узнал, в общем. У нас это – наука. Сила – это, выходит, здоровье. Это, между прочим, вполне и по-нашему так. Правда, ребята? Теперь – Дело. Дело – это я так понимаю; труд человека. А Дружба – она везде дружба. Так что это у вас, Дэлька, не так уж глупо сказано.

И Тараска тоже соглашался:

– Да, ваши там мудрецы тоже с головой. Кое-что соображают.

Тонида попросила у принца книгу Тонгаора на денек и что-то переписала из нее в свою тетрабочку.



– Тут написано: «Запомни, сын!» – сказала она, возвращая книгу принцу и доверчиво заглядывая ему в лицо, – а я думаю, и дочкам сгодится. Правда, Дэлик?

## Глава XI

### Трудодень его высочества

По радио сообщили, что надвигаются штормы и ливни. А в колхозе «Черноморская звезда», неподалеку от лагеря «Спартак», только что начали собирать помидоры. В этом году лето было жаркое, и помидоры созрели очень рано. Надо было срочно вывезти уже снятые в порт. Ливни грозили им гибелью. И тогда школьники из соседнего портового города и расположенных вблизи поселков и ребята из пионерских лагерей решили помочь колхозникам.

Предложили отправиться в колхоз «Черноморская звезда» и желающим из пионерского лагеря «Спартак».

У Гельки Пафнулина, конечно, сразу же, еще накануне того дня, заболел живот. Он стал ныть, корчиться и получил-таки от доктора порцию очистительного. Зато порцию мороженого, причитавшуюся ему за обедом, чтобы оно не повредило больному, с удовольствием съел Тараска за его здоровье. Ну, разумеется, Тонида, Тараска, Несметнов и все мальчики из палатки номер четыре, как и многие другие ребята, кто был покрепче и постарше, собрались идти на субботник в колхоз. Принца решили, конечно, не брать с собой. Но, услышав об этом, Дэлихьяр кинулся к начальнику:

– Михаил Борисович, почему, у-это, меня совсем не берут?

– Милый ты мой, дружочек дорогой! – Начальник старался говорить как можно убедительнее. – Ну королевское ли это дело – помидоры собирать?

– А почему, у-это, Ленин?.. Когда на субботник работать, он тоже вместе таскал... Ребята мне рассказали... И я хочу вместе.

– Да не равняй ты себя с ребятами.

– А я хочу, у-это, равняй!

– Ты пойми: наши ребята народ привычный. Поработают, сколько успеют, и делу польза, и им интересно, и руки у них не отвалятся.

– И у меня нет, у-это... не отвалятся! – Дэлихьяр протянул свои маленькие руки, пошевелил необыкновенно гибкими, способными выгибаться во все стороны пальцами.

– Не знаю, как у тебя там руки, – начальник потер себе кулаком темя, – а голова у меня определенно от вас всех отвалится. Ну, не было, не было еще в истории такого, чтобы наследник престола в колхозе работал. Не было, пойми!



– А Слава Несметнов говорил, так было, – вдруг возразил принц, успевший наслушаться в палатке номер четыре всякого и по русской истории. – Он говорил, у вас был такой царь, у-это, Петр, очень великий. Вот такой!.. Он сам ездил, у-это, за границу, далеко, работать.

– Послушай, ты, королевич! – уже окончательно рассердился начальник. – Ты меня, пожалуйста, истории не учи. Я и без тебя ее знаю, тем более нашу отечественную. И времена были тогда другие, и царь иной... Здоровнейший мужчина был, во – ростом! А куда же ты?

– Я все равно, у-это, пойду с ними, – упрямо твердил принц.

В конце концов начальник сдался и позвал вожатого.

– Ну, забирай эту августейшую особу, чтобы я его больше тут не видел! – скомандовал начальник Юре. – Забирай, раз уж ему так приспичило, но чтобы там у меня – смотри! Ответишь перед всей международной общественностью.

Когда принц с вожатым уже выходили, начальник сделал знак Юре, чтобы тот вернулся в кабинет.

– Ты там правда, прошу тебя, погляди все-таки. А то эта палатка номер четыре, я вижу, так его разагитировала, что он кишки надорвет. А кто за последствия будет отвечать?

И наутро по дороге, которая вела в горы от лагеря, зашагали отряды спартаковцев.

Вышли рано. Небо было ясное. День, казалось, предвещал добрую погоду. Но иногда в теплом воздухе сквозили вдруг какие-то холодные токи и налетал изредка порывами шумевший в деревьях и нагонявший волны на море ветер. Надо было спешить. Ребята шли с небольшими рюкзаками за спиной. У них были кое-какие припасы на день. Спартаковцы из палатки номер четыре приговаривали на ходу в такт шагу; «Мерихьянго, джунго ронго табатанг!.. Табатанг! Джунго ронго табатанг!» Что по-джунгахорски означало: «Империалисты, народ Джунгахоры требует, чтобы вы убирались. Убирайтесь, народ Джунгахоры требует».

Этому научил пионеров принц, и очень здорово у них получалось: «Мерихьянго, джунго ронго табатанг!» Дорога круто вела в гору. Море то исчезало за поворотом ущелья, то потом снова появлялось. И каждый раз его было все больше и больше. Оно становилось неопядно огромным и занимало теперь уже, казалось, половину всего обозреваемого пространства. И горизонт поднимался как будто вместе с ребятами, шедшими в гору.

Это в ущельях гудело: «Табатанг... Джунго ронго табатанг...» А потом был очень трудный день. Надо было носить огромные зелено-красные, тугие и лоснящиеся, как боксерская перчатка, помидоры в корзинах, складывать в ящики, сбитые из занозистых досок с широкими просветами между ними, и тащить эти тяжелые ящики на весы. А потом нести к то и дело подъезжавшим грузовикам. Ветер с моря дул все сильнее, и даже разгоряченные ребята чувствовали, что каждый порыв его словно холодней, чем предшествовавший. Небо начинало заволакиваться тучами. Бюро прогнозов не ошиблось, где-то уже глухо погромыхивало за горизонтом.

Сперва Дэлихьяру было страшно, когда он увидел огромную груду помидоров и поволок с Тараской первую корзину. Ему подумалось, что он не справится. Дело казалось непосильным. Если бы не было стыдно перед ребятами, он бы отказался. Но потом вдруг все пошло легче. Он приспособился, приноровился. Да и ребята

вокруг него шутили, подбадривали, осторожно один за другим ступая по склону горы, неся полные помидоров корзины к весам близ шоссе. Все тотчас же возвращались бегом, уже размахивая порожними корзинами, а Тараска надевал корзину себе на голову и хлопал по ней, как по барабану.

Некоторое время все шло очень хорошо и складно. А потом опять вдруг стало очень трудно, и каждый раз было все труднее и труднее. Принц с Тараской стали отставать. Другие ребята в одиночку успевали сдать на весы больше помидоров, чем они вдвоем. Подошла Тонида, хотела помочь.

– Давай, Дэлик, подсоблю, – предложила она, – а то не выполнишь задание.

Но принц очень рассердился:

– У-это, уйди... У-это, не Джунгахора, не поддамки. То есть, у-это, не поддавки.

– Как хочешь, – сказала Тонида и отошла, ничуть не обидевшись и даже как будто довольная.

Вот и последняя корзина с крупными, тяжелыми, давно поспелыми помидорами была отнесена на весы, а потом осталась лежать возле них вверх дном, порожняя и уже ненужная.

Запыленные, сами красные, как помидоры, побежали ребята к колодцу помыться. Но Тонида повела принца к рукомойнику, который был возле сторожки. С ними увязался, конечно, и Тараска. И пока принц плескался под рукомойником, который очень его забавлял – поддашь снизу, а сверху льется, – Тараска, видно, наболтал что-то старухе сторожихе, потому что она побежала за чистым рушником – полотенцем и, пока принц утирал лицо и руки, все приговаривала:

– В нынешний период прынцам уж какой ход! Тем более без отца, без матери... Тут уж и в хоробах не жизнь, будь ты хоть прынец, хоть кто...

А на прощание она отозвала Тониду и, отсыпав ей слив в пакет, тихонько стала поучать:

– Вы его уж там не очень шпыняйте, а то озлобится и после – народ тиранить. Мальчонка он, видно, душевный, совесть имеет.

Затем спартаковцы и ребята из соседних прибрежных поселков и из портового города сложили вместе все припасы, вытряхнутые из рюкзаков, и поделили все по-братски. И на костре в большом котле-

кагане варили похлебку. Тонида, размахивая огромной ложкой – половником, – проворными руками разливала кому в котелок, кому в чашку, покрикивая:

– А ну давай, кому добавки? А ну подставляй, подзаряжайся!

На обратном пути прихватил ребят начавшийся дождь. Хорошо, что успели отгрузить все помидоры, теперь им было уже не страшно, они следовали куда полагается – в порт для отправки на пароход. Дождь был еще теплый, и ребята с удовольствием подставляли под его веселые струи свои разгоряченные лица. Только принц все прятал что-то очень бережно под куртку во внутренний карман. То была справка, выданная в правлении колхоза «Черноморская звезда». В ней, в этой бумажке, говорилось, что принц Дэлихьяр Сурамбук заработал половину трудового дня в колхозе «Черноморская звезда» и имеет право на соответствующее начисление.

Как уже заранее было договорено, все заработанное ребятами должно было пойти на укрепление памятника доктору Павлу Зиновьевичу Савельеву – основателю «Спартака».

Принц шагал очень гордый, то и дело поглядывая на свои ладони, иногда трогая их языком. Ладони были солоноватые, и там, где начинались пальцы, вздулись и слегка саднили бледноватые, странные, немножко похожие на маленькие сердолики полупрозрачные пузырьки. Один из них был содран и кровоточил.

– Тарасика, у-это, что у меня такое? – спросил наконец, не выдержав, принц.

– Самые нормальные мозоли, – сказал Тараска. – Ты что, никогда не видел?

– Нет, у-это, в первый раз вижу, – признался принц. С уважением всматривался он в собственные ладони.

## Глава XII

### Волны далекого шторма

Уже заметно укоротился день, и надо теперь было торопиться, чтобы вовремя, до ужина и линейки, поспеть на скалу доктора Савельева и полюбоваться оттуда заходящим солнцем. И все ближе подступали сроки расставания. Об этом не хотелось думать, но думать приходилось. Принц очень жалел, что с ладоней его уже почти сошли трудовые мозоли. Он даже пошел к лагерному врачу Семену Исаевичу, чтобы попросить как-нибудь закрепить эти почетные знаки, но доктор сказал, что ничего искусственно сделать тут нельзя. Мозоли зарабатываются трудом.

Все чаще вспоминался ребятам дом, и нет-нет да и начинали заговаривать пионеры о том, что происходит у них сейчас в родных местах, и показывали или даже читали друг другу вслух письма. А письма были полны всяких хороших новостей. Тараске писали, что его ждут уже на новой квартире и отложили до приезда из лагеря праздник новоселья. И даже на конверте был уже совсем другой адрес, не тот, по которому прежде писал домой Тараска.

Ярославу Несметнову отец-шахтер сообщал, что он вернулся из санатория, что ломота в ногах совсем после ванн прошла и что по приезде сына отец с ним готов помериться в беге на стометровку и еще поглядим, мол, кто кого...

Сообщали о том, какой урожай яблок ожидается, сообщали об открытии новых улиц и переименовании старых, о приезде родственников, о новых интересных картинах в кино. О разных плохих новостях старались, должно быть, не писать, чтобы не огорчать ребят на отдыхе, да и, кроме того, правда, хорошего в жизни становилось все больше и больше.

Немало писем получила и Тоня Пашухина. Писали подруги из детдома, жившие лето на приволжской даче. Просили привезти обязательно морских камешков для коллекции. И учительница Клавдия Васильевна сделала в одном письме приписку о том, что соскучилась по Тоне Пашухиной и ждет не дождется, когда снова начнутся занятия в школе и все опять будут вместе.

Ну, насчет того, чтобы ждать не дожидаться занятий, так об этом ребята не так уж часто говорили, но все же каждый что ни день больше думал о той главной жизни, которая ждала его дома после солнечных, веселых, но чуточку уже начавших приедаться лагерных дней. Только принцу некуда было спешить. Да и писем он ни от кого не получал. Звонили несколько раз из Москвы из посольства, справлялись у начальника, все ли у принца в надлежащем порядке. Пришло еще письмо от министра двора из Хайраджамбы. Министр двора Его величества короля Джунгахоры Джутанга Сурамбияра сообщал Его высочеству принцу Дэлихьяру Сурамбуку, что Его величество здравствует, благоденствует, чего и Его высочеству желает. Но даже о слоне Бунджи, единственном живом существе, по которому скучал принц, никто ни слова не написал Дэлихьяру. «Остаюсь Вашего королевского высочества верноподданным и преданнейшим слугой», – писал в конце своего послания министр.

«Ну и оставайся», – мрачно думал принц. После уютной палатки номер четыре, прохватываемой соленым, так хорошо пахнувшим ветерком, не хотелось возвращаться в колодезный сумрак Джайгаданга. А о поступлении в суворовское училище что-то ничего пока слышно не было. Министр двора об этом не писал, а директор сказал, что и ему на этот счет пока еще ничего определенного не сообщили.

В последнее воскресенье решено было вручить принцу пионерский галстук. Он, собственно, давно уже заговаривал об этом, но ребята считали, что надо сперва проверить человека достоин ли он, будучи королевского звания, носить алый знак пионерской доблести. Теперь всем было ясно – достоин.

Весь лагерь собрался на большой Площадке Костра, там, где была лагерная мачта с алым флагом.

Начальник Михаил Борисович пришел на сбор очень торжественный, в белом пиджаке, на котором в такт его шагам побрякивали ордена и медали. И сколько у него их было! Ребята даже глаза вылупили. Они и не ожидали, что у начальника «Спартака» так много боевых и всяких прочих наград.

Все ждали Тонгаора. Он обещал приехать в этот торжественный день.



Но перед самым сбором позвонили из санатория «Стрела» и сообщили, что Тонгаор заболел: у него опять пошла кровь горлом. Отбитые в застенках Шардайяха легкие напомнили о пережитом. Надо было начинать сбор без него.

Пробили дробь барабаны, сыграли сигнал «Слушайте все!» лагерные горнисты. Михаил Борисович поднялся на маленькую трибуну возле мачты.

– Дорогие ребята, уважаемые друзья, юные пионеры! – сказал начальник. – Мы сегодня вручаем алый пионерский галстук гостю из далекой страны Джунгахоры. Он показал себя хорошим товарищем, верным человеком. Не правда ли?

– Правда, верно! – загудели ряды спартаковцев, прямоугольным строем охвативших мачту.

– Я тоже так думаю, – продолжал Михаил Борисович. – Конечно, мы его по нашим пионерским законам не имеем права полностью принять в организацию, но есть предложение считать его другом нашего лагеря «Спартак» навечно и заочным, так сказать, пионером. Неизвестно еще сейчас, как у него сложится жизнь, но верю я, все мы с вами верим, что будет он жить по чести, по совести, уважая тех, кто трудится, и стараясь, чтобы народ в Джунгахоре имел справедливую и хорошую жизнь. Вот тут я и скажу ему: «Будь готов!» И принц, выпрямившись, вскинув руку, закричал что есть силы:

– Взигада хатоу!..

Наконец-то он имел законное право закричать так. Ему давно уже хотелось самому, от себя лично, произнести эти заветные слова, которыми на линейке откликался весь лагерь. Он и прежде под шумок произносил вместе с товарищами, выговаривая по-своему – «Путти хатоу! – Взигада хатоу!» – слова этой таинственной и прекрасной, зовущей в какое-то необыкновенное будущее присяги, где слышались боевой приказ и ответная клятва. Но сегодня Дэлихьяр произнес это уже с полным на то правом. По знаку Юры он вышел из строя и замер перед трибуной. Вожатый медленно и важно повязал на его шею красную косынку и стянул ее узлом спереди на груди. И все пионеры в строю вскинули руки вверх салютом, а над трибуной на второй небольшой мачте медленно всплыл раздуваемый ветром флаг Джунгахоры.

А потом был концерт. Пел пионерский хор. И две девочки исполнили джунгахорскую пляску в честь принца-пионера. Но это еще было не все. Загремели барабаны, запели трубы, хохот, визг прокатились по рядам спартаковцев, и на площадку вышел слон. Да, друзья мои, слон! Размахивая матерчатым хоботом, он ногами, похожими на балахоны, шатаясь из стороны в сторону, топтал площадку. То перегибаясь пополам, то сам себе наступая на ноги, слон приблизился к принцу, поклонился ему, подогнул передние ноги. И Юра помог принцу вскарабкаться на спину слона. Но тут слон не выдержал, расфыркался, захохотал на два голоса и провалился посередке. Туловище его перекрутилось жгутом. Из-под смятой материи вылезли Слава Несметнов и Тараска, и оба они вместе с принцем барахтались, путаясь в балахонах и катаясь по земле со смеху.

\* \* \*

На другой день погода совсем испортилась. То и дело накрапывал дождь. Ветер словно затаился. Но где-то, должно быть, в море был шторм, потому что огромные взбаламученные волны мертвой зыби накатывались на пляж, волоча песок и водоросли. И море стало полосатым и рыжим, как тигр. Яростное и ревучее, вгрызалось оно в прибрежную гальку.

Шторм проходил стороной, издалека гоня к лагерному берегу тяжелые валы. Где-то, видно, разыгрался нешуточный ураган. В горах, через которые шла электропередача, повалились опоры, и в лагере потух свет. Ужинали при свечах и фонарях. Пламя их оставалось неподвижным, в душном воздухе не чувствовалось ни дуновения. Все глуше ревели и успокаивающееся море. Прибой стих. Снизу от моря доносилось лишь легкое, бархатистое, умиротворенное рокотание ворошимой волнами прибрежной гальки. Море мурлыкало, как кошка, устраивавшаяся на ночь.

Непривычно темно было в лагере. И принц еще перед ужином сговорился с Тонидой, что они под покровом спустившейся ночи встретятся на берегу у самого моря. Им давно хотелось поговорить о чем-то важном. И, пользуясь темнотой, так как в лагере, если не

считать маленького электрического фонарика Славы Несметнова, были лишь свечки, Дэлихьяр спустился к морю. Здесь было свежее, чем наверху, но все-таки чувствовалось, что вечер душный, и затишье как бы предвещало что-то тревожное.

Они встретились в условленном месте – Дэлихьяр и Тонида, – у высоких плетеных кабинок для переодевания. У них давно уже было задумано забраться как-нибудь в эти кабинки, соединиться проводами через маленький транзистор принца и попробовать вести разговор так, словно они в космосе, как разговаривали там, под звездами, «Ястреб» и «Чайка». Ведь похожи же были эти маленькие, вертикально торчавшие конусообразные кабинки на космические ракеты. Во всяком случае, и Дэлихьяру и Тониде казалось, что очень похожи.

Тьма густела, только слева на горизонте образовался просвет, заполнившийся розоватым сиянием. Там должна была вскоре взойти луна. Принц влез в свою кабинку, а Тонида, взяв подключенный к его транзистору провод, вошла в соседнюю. Оба занавесились в своих кабинках. Принц стал налаживать аппарат. В нем что-то тихонько попискивало. Потом Дэлихьяр переключил транзистор на телефонную связь и сказал тихо в капсулу наушника:

– Ту-ось-я, ты слышишь меня?... Прием, прием...

В тишине мурлыкало море. А там, на горизонте, вдруг проступили огнисто-сверкающие плесы. Накалилось докрасна море и словно вздулось, огнеполосое. Вспучиваясь, прорвалось наконец, и огромная, полная, багрово-рыжая луна вылупилась из моря, гладкая, как скафандр космонавта. И пошла забирать вверх. Видно было почти на глаз, как она быстро поднимается все выше над морем.

– Прием, прием... – повторил в наушник принц.

– Слышу тебя, Дэлик, слышу, – раздалось в маленьком транзисторе, – а ты меня? Прием, прием...

– Я тебя слышу, давай разговаривать... У-это, никого нет, да? Мы только... А все далеко-далеко. Спроси меня что-нибудь, Ту-ось-я. Прием, прием...

– Скажи еще раз так, как это чудно ты говоришь «Тося». Меня никогда так никто не звал. Ну, скажи. Прием, прием...

– Ту-ось-я, – произнес он как можно нежнее в капсулу наушника. – Ту-ось-я. Я плохо говорю?

– Нет, нет, ты очень хорошо говоришь. Так никто не говорил. Теперь ты спроси. Прием, прием...

Им и правда казалось, что они ужасно далеко-далеко от всех. А луна как будто летела к ним навстречу, и где-то в просветах между тучами уже виднелись звезды, словно тучи расступились, освобождая дорогу им двум, летящим рядом в мировом пространстве и тихо переговаривающимся между собой.

– Ты что больше всего на свете, у-это, любишь? – спросил принц. – Прием, прием...

– Я – Волгу нашу. Когда солнце садится у нас в Горьком, с откоса такой вид далеко... Прямо будто всю жизнь вперед видишь до самого края света. А ты? Прием, прием...

– А я – утро, у-это, когда все еще спят, а я уже нет. И я все вижу, а никто еще не видит. Я уже днем, а все еще ночью. Я понятно сказал?.. Прием, прием...

– Конечно, понятно. Ты очень хорошо сказал. Я тебя слышу очень ясно, и я так представила себе, как ты сказал... Можно тебя еще спросить? Прием, прием...

– Можно, у-это, сколько хочешь. Прием, прием...

– А ты когда был самый, самый счастливый? Прием, прием...

Тоне пришлось долго ждать ответа, она даже несколько раз дунула в наушник и повторила: «Прием, прием...» Наконец она услышала:

– Никогда не был, у-это, скучно было. А сегодня я самый, самый счастливый.

– Почему?.. Прием, прием...

– Потому, что, у-это, ты так говоришь со мной...

– Скажи еще раз, как говорил: Тося.

– Ту-ось-я...

Что-то не совсем ладно было в аппаратуре, потому что в разговор прорвались какие-то посторонние голоса. Мир толкался к ним в уши, пел, подвывал и бормотал что-то. Принц довернул пальцем маленький винтик на транзисторе и совсем перестал слышать Тоню. Путано загомонило, оборвалось, снова, уже тоненько, затукало в самое ухо.

И вдруг он ясно услышал, как кто-то позвал его очень издалека. Да, он ясно слышал, как чей-то низкий голос произнес: «Дэлихьяр Сурамбук...» Кто-то звал его из неведомой и загадочной дали. Он

услышал английскую речь. Он неплохо понимал по-английски. Какая-то далекая станция сообщала: «..Результате чего король Джутанг Сурамбияр отрекся от престола в пользу своего младшего брата, наследного принца Дэлихьяра Сурамбука. В настоящее время принц находится за пределами Джунгахоры. В самые ближайшие дни, как нам сообщили из Хайраджамбы, принц вернется в столицу и займет престол Джунгахоры как король Дэлихьяр Пятый».

Голос в транзисторе ушел куда-то, сместился, кто-то запел в самое ухо, потом послышались свист и завывание. Тщетно в своей кабинке Тоня повторяла: «Прием, прием...» Дэлихьяр не откликнулся. В смятении крутил он винтики и рукоятки транзистора. Несколько раз он слышал свое имя со словами на разных языках: «Клейне фюрст Дэлихьяр...», «Пти прэнс Дэлихьяр...», «Принц Дэлихьяр...» – звали его на всех языках. Мир словно взывал к нему, мир звал его к власти. Он сперва растерялся, не зная, что должен сейчас делать. Он выскочил из кабинки, подбежал к соседней, схватил за руку Тоню, потянул за собой.

– Туонья!.. Туосья! – бормотал он, задыхаясь от тревоги и нежности. – Ты слушай, – он прижимал к уху ничего не понимавшей Тони транзистор, – слышишь? Я – король! Понимаешь? У-это, брат больше не король, сейчас сказали. Король – я. Теперь я буду делать, у-это, так, как хорошо.

Тоня молчала. Она отняла от уха наушник, в котором что-то попискивало, курлыкало и булькало, отдала аппарат Дэлихьяру.

– Значит, уже не поступишь в наше суворовское? – спросила она.

Принц растерялся. Он думал сейчас не об этом, он думал, что надо ехать домой, в Джунгахору, и что-то делать там, чтобы было людям лучше, чтобы было не так, как раньше. Чтобы никого не бросали в ямы. Чтобы Тонгаор мог вернуться к сыну, и, возможно, он, Дэлихьяр, подружится тоже с этим мальчиком, сыном поэта. И чтобы на слонах катались теперь те худенькие голые ребятишки, которых полицейские отгоняли бамбуковыми палками от дворца Джайгаданга. И чтобы мерихьянго не очень-то распорядились в Джунгахоре. И, может быть, Тоня тоже теперь поедет в Джунгахору?

– Ты тоже поедешь, у-это, к нам, – просительно заговорил он. – И мы с тобой будем, как брат, у-это, и сестра. Я скажу, чтобы ты жила у нас в Джайгаданг.

Луна опять зашла за тучи, и сквозь сгустившийся сумрак не видно было глаз Тони, но Дэлихьяр знал, что она смотрит на него.

– Поедешь, у-это, к нам? – спросил Дэлихьяр.

Она молчала. До этого вечера никто и никогда не называл ее Тосей. Звали Пашухиной, Тонидой, Торпедой, Тонькой-Боеголовкой, иногда – Тоней. Но вот Тосей назвали в первый раз.

Нет! Она вспоминала сейчас не дразнилки, которыми ее изводили в детдоме мальчишки, и не старые обиды, а их было немало, и не те трудные дни, когда они переезжали в новое помещение детдома и два дня было холодно в сырых стенах, да и с едой тоже было плохо: так как кухня еще не работала, приходилось есть все холодное, и был скандал в роно. И не то вспоминала она, что ей выдали однажды платье, которое было мало с самого начала, и все смеялись, дразня ее гуской. Раньше она все это помнила, а сейчас думала совсем не про то. Волга текла большая, спокойная. Звезды и бакены отражались в ее глади. И где-то далеко за песками, почти ушедшими в воду, гудел и гудел пароход, зовя ее: «То-то-то-то-ня!..» Или еще вот как шла она с ребятами под музыку. Им махали с трибун, и знамя трепало шелком по щеке и щелкало, заигрывая, по носу. И то вдруг вскидывалось парусом и несло вперед. И как писали письмо космонавтке Вале, а она ответила, что они будут, может быть, такими же... И вспомнилось, как она ездила с экскурсией на автозавод и старая работница в синем комбинезоне сказала:

«Вот становись, учись. Мне уже время вроде на покой, а ты заступай. Не с ходу, конечно, а помалу, полегоньку. Ты, видать, сноровистая и главное ухватываешь, доверить можно».

И учительница и воспитательница Лидочка, Лидия Владимировна, тоже любила говорить, когда казалось, что трудно:

«Молодец ты, Антонида, уважаю я тебя. Верю. Понимаешь, верю. Справишься».

Ей верили. Могла ли она поступить так, чтобы о ней подумали, будто обманулись в ней? Все это и было и оставалось самым дорогим на свете. Нигде и никогда не могло бы стать что-нибудь важнее и дороже. Разве можно было отрешиться от этого, не доказать, что верили не зря? Она почувствовала себя большой, уже совсем взрослой, куда более старшей, чем маленький Дэлихьяр, хотя тот и стал теперь королем.

– Эх, Дэлик ты, Дэлик, – очень тихо проговорила она, – додумался... Хоть и король ты, а еще вовсе дурная твоя головушка. Ну куда ты меня зовешь?

Он встрепенулся:

– Хочешь, тогда я сам буду не ехать? Хочешь, я, у-это, отречусь?

– Что ты, Дэлька... – Голос у нее был словно усталый. – Ты же должен, это ведь нельзя. Тебе вышло заступать. Он подошел к ней совсем близко, виновато заглядывая в глаза. Луна снова выбралась из-за туч. Строго и печально смотрели на маленького короля из-под сросшихся бровей немигающие глаза Тони.

– Положи мне руку сюда, у-это, где сердце... как у нас в Джунгахоре, если дорогой друг, надо делать, – сказал Дэлихьяр и, осторожно взяв руку ее, подставил под нее свой левый бок. – А другую, у-это, ты себе сама... тоже так... Вот. А я себе на лоб и тебе. – Он осторожно коснулся своей ладонью ее прохладного лба. – Вот так. Мы теперь, у-это, все знаем друга друга. Да?

– Ага, – не то согласилась, не то просто выдохнула Тоня. – Что на уме, что на сердце.

– Ты – Туонья, – сказал король, – и еще ты – Туосья. Я хорошо так говорю?..

## Глава XIII

### Ночь большого совета

Обеими руками прижимая к неистово колотившемуся сердцу приемник-транзистор, он с разбегу просунулся в палатку номер четыре.

И замер. В палатке было уже темно и тихо. Бушевавший днем шторм повредил электросеть на берегу возле гор, и в лагере «Спартак» из-за темноты все сегодня легли пораньше.

– Ребят-ты, – осторожно, с придыханием позвал принц, стараясь хоть что-нибудь разглядеть во мраке. Голос у него был виноватый. – Вы уже, у-это, укладались спать?

– Это кто? – послышалось из темноты. – Дэлька, это ты, что ли? Чего не спишь? Где гоняешь?

– Ну... у-это... Я могу сказать, когда утро... Только я, у-это...

– Да ну тебя! «У-это, у-о»!.. Говори толком, раз уж разбудил. Чего натворил?

И все в палатке услышали сквозь темноту робкий голос чем-то, видно, очень смущенного Дэлихьяра.

– Ребят-ты, у-это... Я не натворил сам. Хотите – верь, не хотите – не верь. Только, у-это, я сделался король.

– Это что, точно? – проговорил кто-то спросонок из дальнего угла.

– Честная правда! Клянусь солнцем и луной, пусть мне не светит! Сейчас, у-это, по радио...

– Слушай, ты брось, в самом деле... Какое радио? Тока же в лагере нет. – Слышно было, как Слава Несметнов резко поднялся на своей койке.

– Так у меня, у-это, транзистор, честное пионерское!.. Ну, если хотите, у-это, честное королевское!

Такой клятвы в палатке номер четыре еще никогда не слышали, и теперь все приобретало уже какую-то убедительность.

– Вот это будь здоров, ваше величество! Вот так номер! – завопил из темноты Тараска. – Славка, да посвети ты ему своим батарейным!..



Там, где слышался голос Славки, чикнуло. И разом перед ребятами высветились чуточку распяленные ноздри, пухлые губы и края век с дрожащими ресницами. Несметнов направил вспыхнувший луч прямо в лицо Дэлихьяру, потом деликатно отвел фонарик. Нет, должно быть, Дэлихьяр не врал. Но кто со сна, а кто из нежелания нарваться на розыгрыш еще не верил. Тут вспомнили, что как раз в этот час должны передавать из Москвы «Последние известия». Дэлихьяр мигом настроил свой приемник. И верно, Москва уже передавала ночной выпуск, А после сообщения по стране, только лишь пошли зарубежные новости, все услышали:

«В результате военного переворота в Джунгахоре король Джутанг Сурамбияр отрекся от престола в пользу своего малолетнего брата принца Дэлихьяра Сурамбука, который в ближайшее время взойдет на престол под именем Дэлихьяра Пятого...» – Делишки... – произнес Тараска. – Как решать будем? Все были несколько подавлены сообщением. К тому, что в палатке живет принц, уже давно привыкли. Но сейчас тут был король. Что ни говори, властелин целой страны. Как теперь надо было с ним поступать? Ни в одной «Книге вожатого» слова не было об этом.

– Да, тут думать и думать, – изрек Тараска.

– Ребят-ты, – тихо начал Дэлихьяр, – вы, у-это, только скажите... Может быть, я, у-это, еще не очень совсем доразвитый... Вы мне помогите, раз, у-это, пионеры.

...И собрал король той ночью Большой совет. И был этот совет в палатке номер четыре пионерского лагеря «Спартак» на берегу Черного моря. Надо же было помочь человеку, если его поставили королем.

– А что, если ему отречься? А народ пусть сам правит, – предложил многомудрый Тараска.

– Погоди ты, – рассудительный Ярослав ткнул ему в лицо лучом фонарика, – тут надо с умом. Пока он король, так может командовать. А если сам себя отменит, так неизвестно еще, что там наворочают.

Решили, что прежде всего новый король должен обратиться к населению Джунгахоры с манифестом в центральных газетах. Так всегда в подобных случаях поступают цари и короли. На листке, вырванном из тетради, служившей недавно бортжурналом в День космонавта, стали при свете электрофонарика составлять манифест.

– «Здравствуйте, граждане Джунгахоры! Уважаемый народ! Это пишет вам бывший принц Дэлихьяр Сурамбук, а теперь я буду у вас король Дэлихьяр Пятый. Я всегда был за народ и против мерихьянго и таких, которые за них и за войну. Я всегда буду за мир. Я вам обещаю, у-это, справить праведливо... ой, у-это, править справедливо».

– И не очень уж командовать, – подсказал Тарасик.

– «И не очень уж командовать», – послушно записал король.

– Ты знаешь что? – прервал вдруг ход совещания Несметнов. – Ты вот что!.. Обещания-то некоторые давали, а как начинали править, то все забывали. Ты вот надень галстук и дай нам тут клятву, что будешь править по такому закону, как нам обещал: «Слоны – всем! В ямы – никого! Мерихьянго – вон!»



Все пионеры дружно поддержали Несметнова и потребовали, чтобы в королевском манифесте было записано, что слоны, которые прежде могли принадлежать только богатой верхушке «хиара», теперь должны стать достоянием народа. В тюремные ямы с желтыми кусачими муравьями новый король поклялся никого не бросать. А иностранных захватчиков, империалистов мерихьянго, пообещал гнать в три шеи.

Король надел пионерский галстук. Слава Несметнов посветил ему фонарем, чтобы правильно был завязан узелок на груди короля.

Дэлихьяр по-пионерски отсалютовал всем и произнес присягу, которую от него потребовали. И все ребята свели с королем руки вместе и негромко, но торжественно повторили:

«Слоны – всем! В ямы – никого! Мерихьянго – вон!» Вообще жизнь в Джунгахоре при короле Дэлихьяре Пятом обещала быть хоть куда!

Долго шел государственный совет в палатке номер четыре. Несколько раз, когда слышались шаги дежурного по лагерю близ палатки, все члены совета кидались на койки, покрывались одеялами и принимались в темноте усердно сопеть. Потом осторожно высвобождали головы, прислушивались, спускали ноги на пол – и заседание Большого совета продолжалось. В ту ночь было подвергнуто обсуждению немало реформ, которые король собирался провести в Джунгахоре. Решено было, например, создать при дворе короля Постоянный главный детский совет. После некоторых словопрений решили допустить в него и представителя от родителей.

Разногласия возникли вокруг вопроса о школьном обучении. Сперва тут все было ясно. Все дети Джунгахоры должны были учиться. Ничего не поделаешь... Но вот Тараска выступил против совместного обучения с девочками.

– Ну их, в самом деле, – отмахивался он. – Я тебе, Дэлька, не советую. У нас вот уж социализм давно, а и то житья от них нет.

Но король надолго задумался и, должно быть вспомнив про кого-то из третьей дачи, где жили, как известно, пионерки, решительно заявил, что девочки будут учиться в Джунгахоре непременно вместе с мальчиками.

– Ребят-ты, – вдруг осторожно и заискивающе осведомился он, – а можно мне, у-это, один слон, чтобы мой оставить?

– Ага! – злорадно накинулся на него Тараска. – Как до слона, так уж слабо стало.

Слава Несметнов заткнул ему рот лучом своего фонарика. Тот чуть не подавился. Остальные ребята тоже не согласились с Тараской. Одного персонального слона решили пока оставить королю Джунгахоры.

– Ура-а-а! – воскликнул король и от радости встал на голову, как его обучил еще недели две назад Тараска.

Его величество тут же заработал хорошего шлепка по затылку, чтобы не шумел, так как дело было ночное и давным-давно уже всем в лагере полагалось, по правилам, видеть если не седьмой, то по крайней мере третий сон.

Долго еще продолжался совет. Утвердили закон, по которому в космос разрешалось теперь летать всем, не глядя на происхождение. Прежде-то по закону Джунгахоры даже в обычную авиацию, не говоря уж о космосе, допускались только представители знатных родов. Тут посыпались еще всякие предложения и законопроекты, но солидный Слава Несметнов шикнул на разошедшихся пионеров:

– Полегче вы, поаккуратней, ребята, давай без вмешательства! Как бы нам тут дров не наломать. Пойдет еще мировая заварушка, втяпаем всех. Верно я говорю, Тараска? А?

Он направил луч фонаря в угол на Тараску, но увидел, что тот уже спит, приткнувшись к плечу короля. А Дэлихьяр Пятый тоже мирно посапывает вместе со своим советником. Оба еще не привыкли решать государственные вопросы по ночам. Пришлось отложить дело до утра. Как известно, оно вечера мудренее, а без мудрости попробуй-ка править государством.

## Глава XIV

### Первое утро короля

Шли слоны. Мягко ступая тумбами ног, шагали слоны. И на первом под балдахином сидели король и Тоня. Потому что, как сказал Тонгаор, где бы ни родился человек – в лачуге или в палатках, он родится законным наследником всех благ, которые накопило человечество.

И играла музыка. Что-то замирало от ее звуков в груди, и сердце мерно колыhalось, как волна в море, как широкая, округлая спина большого слона.

Я не знаю, где встретиться  
Нам придется с тобой..  
Глобус крутится, вертится,  
Словно шар голубой...

Это была любимая песня молодого короля. И народ кричал: «Да здравствует король Дэлихьяр Пятый!.. Слоны – всем! В ямы – никого! Мерихьянго – вон!» «Мерихьянго, джунго ронго табатанг! Табатанг, джунго ронго табатанг».

Били пушки, и в горах эхо раскатывало: «Табатанг!.. Табатанг!..» Кто-то громко в самое ухо короля назвал его, и Дэлихьяр открыл глаза.

«Табатанг!» – гулко и внятно произнесла совсем рядом волна, бухнула в берег под самой палаткой и, уползая, шурша, зарокотала: «Мерихьянго...» Слоны исчезли. В лагере играл горн.

– Заспался, – сказал вожатый Юра, дергая за плечо Дэлихьяра. Он хотел сказать: «Заспался, Дэлик», но, видимо, запнулся, не зная, как теперь надо обращаться к питомцу своему, ставшему королем. – Вставай живенько, начальник тебя просил зайти.

Ночью электролинию починили, и, должно быть, все уже узнали по радио новость из Джунгахоры. Со всех дач ребята вылезли на крыльцо, изо всех палаток выглядывали любопытные, смотря вслед

Дэлихьяру, шедшему рядом с вожатым. Юра молчал. Он решительно не знал, что нужно сказать сейчас маленькому королю.

Но возле дома начальника их уже поджидал Ростик... Он чуточку сошел с дорожки, пропуская идущих, а потом потопал за ними, нагнал короля и снизу из-под его локтя сказал ему загадочно:

– А когда Ленин был маленький, он тоже еще не мог посаживать царев в милицию.

После чего Ростик вприпрыжку убежал.

Начальник Михаил Борисович был взволнован. Он быстрыми шагами ходил по своему кабинету из угла в угол и с размаху ладонями обжимал, скрестив руки, широкие свои плечи. На столе у него лежало несколько телеграмм. На некоторых было сверху крупно обозначено: «Молния», «Правительственная», на других – «Международная».

Увидев короля и вожатого, Михаил Борисович круто обогнул стол, взял Дэлихьяра за плечи и усадил перед собой на кресло, сев в другое, напротив.

– Ну... Ты, говорят, уже все знаешь. Собирайся на престол, королек ты мой дорогой. Что же, мне тебя теперь твоим величеством называть полагается, что ли? Я уж не знаю. – Он встал, сокрушенно посмотрел на вожатого. Тот промолчал. – Ну, скажи, дорогой ты, родной мой, пригодится тебе хоть немножко, что прожил ты с нами, что подышал нашим воздухом, что ребята тебе наши нарасказали? Научился ли ты чему-нибудь хорошему?

– О! У-это, много научался, – затараторил король. – Мир и дружба научался. И, у-это, вечером – утром кровать сам все делаю научался. И еще все вместе быть научался. Один человек, другой человек, у-это, всем люди надо, чтобы хорошо... И еще научался, какой хороший человек, друга-друга товарищ, и какой плохой. Ему давай-давай, а сам он ничего не давай, не работай, тьфу, нехорошо! Я буду у нас Джунгахора все делать, как мы сегодня решили, все ребята у нас в палатке решили.

– Ох, боюсь, дружок, – вздохнул начальник, – что не очень у тебя это получится сейчас. Не даст тебе волю дядюшка твой.

Маленький король насторожился, с тревогой глядя на директора.

– Ты не обижайся, – сказал Михаил Борисович, – уже газета пришла. Я тебе прочту, что здесь написано.



Принц заглянул в газету и увидел на последней странице большой заголовок: «Государственный переворот в Джунгахоре». И Михаил Борисович, не спеша, отдельно выговаривая каждое слово, прочел Дэлихьяру о том, что правые круги, близкие к империалистам и захватчикам, совершили переворот в стране. Король Джутанг Сурамбияр должен был отречься от престола в пользу принца Дэлихьяра Сурамбука. Но ввиду несовершеннолетия нового короля, принцем-регентом и фактическим правителем Джунгахоры провозглашен генерал Дамбиал Сурахонг, брат покойного тирана Шардайяха и ставленник колониалистов.

У маленького короля задержалась пухлая губка, он вскочил с кресла и сжал кулаки:

– Я не хочу так!.. Я не хочу, у-это, чтобы дядька командовал... Он очень совсем нехороший, он за мерихьянго, он всех против нас. Я его буду скидать вон! – В смятении он схватил за рукав начальника. – А можно мне, у-это, не вставать, не заходить... у-это, как сказать, не всходить на престол? Я лучше буду тут с ребятами, потом учиться, у-это, суворовское училище. Не надо! Не давать меня ему...

Начальник вздохнул огорченно, покачал головой, потом встал, подошел к столу, показал одну из телеграмм. В ней сообщалось, что сегодня днем в лагерь «Спартак» прибудет уже вылетевший ночью новый чрезвычайный полномочный посол Джунгахоры, только что назначенный по повелению регента Сурахонга.

– Я не хочу, если дядя! Я буду у вас. Вы меня прятайте.

– Нельзя, дружок ты мой дорогой, это такой скандал международный будет, что и представить себе трудно. Ты ведь парень неглупый, сам все понимаешь.

– Что же мне, у-это, делать?.. Научайте!..

– Ну, уж это я тебе советовать не возьмусь, да и права не имею. Ты пойми. Почему тебе не всходить на престол? Взойди, царствуй, как срок придет, на здоровье, но только правь по справедливости, по чести. О людях думай. И действуй с умом. Сейчас-то тебе вольничать не дадут, а вырастешь – поступишь, как народ тебе скажет. Народ кое-чему за это время научится, да и тебе еще учиться и учиться.



А за домом уже послышалось хрумтение шин по песку, звук подъехавших и тормозящих машин. С первой в сопровождении товарища из областного центра сошел чрезвычайный и полномочный посол Джунгахоры. Начальник вывел короля на крыльцо и сам стал поодаль.

Посол приближался, низко кланяясь. Утренние тени были еще длинные. Тень короля пересекла дорожку, и посол старательно обходил эту тень, чтобы зайти к королю сбоку. У посла дергалось маленькое, бурое, сморщенное личико, похожее на сушеную дулю-грушу, и выражение лица было такое сладко-кислое, словно он сам себя раскусил и почувствовал, что трухляв. Глазки-щелочки терялись среди множества морщин. Лицо посла угодливо и суетливо



корежилось, морщилось вдоль и поперек, сжималось, перекашивалось. Он умильно жмурился, и казалось, что глаза у посла открываются после этого каждый раз уже не в том месте, где он их сощурил, а совсем между другими морщинами. Он шел бочком, скрючившись пополам, прижимая скрещенные ладони к груди.

О чем говорил посол Джунгахоры с королем, никто не понял. Они говорили на своем языке. Потом оба скрылись в кабинете начальника. И вскоре в лагере стало известно, что королю Дэлихьяру предстоит сегодня же возвращаться на родину, где будет скоро его коронация.

Мрачный Юра-вожатый пришел за вещами короля в палатку номер четыре, когда обитатели ее были на пляже.

Самого Дэлихьяра уже не выпускали с дачи, куда его увел посол. В полдень все собрались послушать радио из Москвы. Теперь уже всем стало известно, что власть в Джунгахоре захватили снова сторонники мерихьянго, самые злостные вымогатели-захватчики, а королю, видно, придется быть лишь куклой на престоле.

Очень обидно было это слышать ребятам, которые прошлой ночью так хорошо обсудили государственные дела Джунгахоры и дали такие важные указы королю. Вот тебе и реформы!

Из аэропорта сообщили, что в Москве нелетная погода и придется задержать отлет короля до завтра. Но на дачу, где расположился посол и куда перевели короля, никого уже не пускали.

На рассвете король вместе с послом должен был вылететь в Москву, а потом в Хайраджамбу.

Дело принимало все более скверный оборот.

По радио в вечерних известиях сообщили, что в Джунгахоре проводятся аресты коммунистов и всех, кто выступал раньше против мерихьянго. Вездесущий Тараска вызнал, в какой комнате сидит под присмотром посла король, и нашел удобный момент, чтобы бросить ему в открытое окошко камешек с запиской. Пусть знает, что творится у него в стране.

## Глава XV

### Луна отвратила лик свой

Пришел к концу этот невеселый для маленького короля и его друзей-пионеров день. Все затихло в лагере «Спартак», но никто в тот вечер не мог сразу заснуть в палатке номер четыре.

Было уже очень поздно, когда снаружи у самой палатки послышались шаги по прибрежному песку и кто-то просунулся головой в палатку.

– Кто это? Кто там? – зашумели мальчики. Вот уж удивились они, когда услышали голос Гелика Пафнулина.

– Это я, ребята, только тихо. Я по первой даче дежурный.

– Гелька, ты? – изумился Несметнов.

– Поздравляю, – сказал Тараска, – в лагере «Спартак» завелись лунатики.

– Может быть, будем посерьезнее? – прошипел Гелик. – Я к вам не балаганить пришел. Имею серьезный разговор. Условия такие: если примете меня обратно на свободную койку – я с вожатым завтра договорюсь, – могу сообщить кое-что важное. Касается Дэльки вашего.

– Он тебе не Дэлька, а король. Это раз! – остановил его Славка Несметнов. – А во-вторых, если ты сюда торговаться пришел и условия ставить, поворачивай на сто восемьдесят градусов и можешь раствориться, как привидение, во мраке ночном. Не больно нужен. Воспринял?

Гелик молчал. Он, видно, раздумывал.

– Ну ладно, – наконец решился он. – Хоть вы от меня и отреклись, вместо того чтобы оказать воздействие, помочь коллективно человеку перевоспитаться... Ладно, можете меня считать кем хотите, а я не такой. Сейчас сами убедитесь. Только тихо. Можно, я войду?

Его впустили, и он сообщил шепотом, что король решил бежать от посла. Он просил Гелика подтащить к окну комнаты на втором этаже, где его запер посол, лестницу, которую оставили монтеры, чинившие электросеть после шторма. Гелик один не в силах подтащить к окну тяжелую лестницу. Надо помочь.

Все вскочили в палатке.

– Стоп! – скомандовал Несметнов. – Я с тобой пойду. Но только смотри у меня, если подведешь. – Он посветил фонариком на Гельку, прошелся по нему лучиком с ног до головы и убедился, что на рукаве Пафнулина краснеет повязка дежурного. – Пойдешь вперед. В случае чего, сообразишь что-нибудь, да? Если кто встретится, понял? А я сзади буду следовать.

– А в палатку вы меня обратно примете?

– И не стыдно тебе в такую минуту выторговывать условия! Привык всегда ловчить, как тебе не совестно!

– Я же не виноват, что меня так воспитали, – залопотал Гелик.

– Ты, пожалуйста, брось ссылаться на это. Дэльку вон тоже воспитывали во дворце, а он настоящий парень, А ты... От самого тоже кое-что зависит, не финти!

– Торгуется еще, нашел время.

– Ребята, я же не торгуюсь, я просто прошу... Я обещаю. Я и так пойду, все сделаю, но только вы меня примите обратно.

– Мы-то тебя примем, – смилостивился Несметнов. – Только ты сам помни: будешь такой, никогда тебя в жизни люди в хорошее дело не примут. Пошли! Остальным всем сидеть на месте.

Прошло, должно быть, не больше пятнадцати минут, хотя ребятам казалось, будто уже целый час не было Славы Несметнова. Но вот послышались торопливые шаги у берега, и скоро в палатке появились Несметнов, король и Гелик.

– Я не хочу ехать, – шептал Дэлихьяр ребятам. – Я из окна, у-это, выскочнул, они лестницу поставили. Я не хочу ехать, я к вам опять хочу.

Все молчали. Никто не знал, как надо поступать. Все слышали страшное сообщение радио об арестах и казнях в Джунгахоре. Сотни людей были брошены там в зловонные ямы, огороженные колючим частоколом и кишевшие желтыми муравьями. Все сочувствовали королю.

– А может быть, ребята, – сказал Тараска, – пусть он телеграмму даст в Москву, попросит этого, как его, бомбоубежища...

– Чего? – переспросил Несметнов.

– Ну вот я читал, что так просят... Про кого-то было сказано, что искал пристанища... нет!.. просил убежища... Вот! Убежища

просил! – радостно заключил Тараска.

– Да нет, это дело не выйдет. Это если взрослый, – охладил его Ярослав.

И тут в голову мудрого Ярослава Несметнова пришла мысль: надо прежде всего посоветоваться обо всем с Тонгаором. Уж он-то в данном случае знает, как быть. А до санатория, где он лечится, не так уж далеко, к утру можно пешком добраться. Но кто поведет туда короля? Выбраться из лагеря можно было незаметно. Ребята знали одну тайную лазейку в отдаленном уголке лагерного парка, да и Гелик с повязкой дежурного мог тут пригодиться. Но разве можно было отпустить короля одного?

– Пускай Туосья скажет, как надо, – потребовал вдруг король. – Я хочу, у-это, говорить все Туосье...

Сначала все удивились. Но долго думать было некогда. Да и голос у короля стал вдруг очень уж твердым. Решили выполнить просьбу короля.

Вместе с дежурным Геликом отправили к даче, где жили девочки, пронырливого Тараску – он все знал и всюду мог пролезть. И действительно, не прошло и четверти часа, как у палатки появилась Тоня, которую привели Тараска и Пафнулин. Она уже по пути от дачи до палатки все вызнала от мальчиков. Едва в палатке послышался ее тихий окающий голос, ребята почувствовали, что Тоня уже все решила для себя. Недаром, видно, девчонки считали ее атаманшей и Боеголовкой. Спорить было не время. И все беспрекословно подчинились ей, когда она сказала:

– Послушайте, мальчишки, совершенно ясно: одному Дэлику идти нельзя. Дорогу не знает, выговор не как у нас... Его мигом словят. Значит, вопрос ясен – пойду с ним я. Да. Тихо! Кажется, ясно сказано. Я пойду. Тем более, что из детдома меня за это никуда не выгонят. Волноваться тоже особенно не станут спервоначала. А вам может попасть от своих, как телеграмму домой дадут, перебулгачат... Давайте уж я.

Так и решили: пусть Тоня доведет короля до санатория, где живет Тонгаор, а там мудрый поэт-коммунист рассудит, как быть королю.

Но король был бос. Посол на всякий случай оставил его сандалиии у себя в кабинете. Мальчишки стали предлагать ему один за другим свою обувь, однако у короля была слишком маленькая нога, все

сандалии оказались ему велики. Тогда Тоня сняла свои босоножки. И все с удивлением заметили впервые, что хоть и казалась Тонида рослой, нога-то у нее была совсем маленькая, тонкая и легкая в ступне. И вот Золушка отдала свои туфельки принцу, то бишь королю, а сама взяла сандалетки Тараски. Даже и они ей были немножко велики, но туда, в носок, заложили мятую газету.

Тихо простились мальчики с королем и Тоней, пожелали им счастливого пути. Ночь была теплая, но всех пробирал озноб. Дело ведь задумано было рискованное, поступали не по закону, против всех лагерных правил. Однако лучше была в такие дела взрослых не путать. Тонгаор тут был не в счет, к нему-то ведь и отправлялся король. На прощание Тоня остановилась перед Тараской:

– Слушай, Тарантас... Ну, на этот раз ты можешь не тарыхтеть?

– Лучше бы взяли меня с собой... – взмолился Тараска. – Ну, будьте людьми! И мне было бы покойнее. А то начнут завтра все приставать с утра, что да куда.

– Один раз в жизни не можешь? – напустились на него ребята.

– Нет, на этот раз уж смогу, – твердо обещал Тараска, – уж в этот раз стерплю. А в самом крайнем случае, если станут допытываться, натру градусник, пойду к врачу, скажу – голова болит, и пусть меня в изолятор кладут. Туда никого не пускают. А доктору разве я стану говорить!

– Хочешь, и я в изолятор попрошусь? – свеликодушничал Гелик, теперь уже на все готовый. – И тебе не так скучно будет, да и доктор больше поверит: он знает, что у меня слабое здоровье.

\* \* \*

Дэлихьяр и Тоня выбрались через известную мальчишкам лазейку за ограду лагеря и поставили штакетину в заборе на место. Ночь была светлая. Луна стояла высоко в небе, огромная, перламутровая. И король счел это за доброе предзнаменование – так утверждало джунгахорское поверье.

Было очень тихо, даже море молчало.

Вдруг на шоссе, куда вышли король и Тоня, что-то переливчато блеснуло вдали, послышались негромкие переговаривающиеся голоса.

Оба шарахнулись в заросли. Голоса стремительно приближались и вот уже оказались совсем рядом, их как бы наносило прямо на беглецов. Замерцали на мгновение совсем рядом спицы, промчалась бесшумно мимо парочка на двух велосипедах, и уже в другой стороне замолк, истаял в ночи летучий говорок. Но ребята узнали эти голоса. То был вожатый Юра и физкультурница Катя. Они, должно быть, возвращались из кино в соседнем доме отдыха. Пронеслись, как призраки, и король с Тоней почему-то позавидовали им. Что-то у них, промчавшихся вместе, подумалось ребятам, было важное, крепкое – оно давало им возможность мчаться рядом друг с другом, как под одним крылом, по лунному шоссе.

Беглецы вышли к морю. Спать уже не хотелось. Внезапно король остановился и схватил Тоню за руку.

– Смотри, у-это! – прошептал он, показывая в небо. – Смотри!.. Почему она так?

Тоня вскинула вверх голову, сперва ничего не понимая. Но король начинал дрожать, в широко раскрытых глазах его заметался страх. Теперь уже и Тоня заметила, что недавно еще бывшая такой круглой и налитой луна вдруг стала ущербной, как бы срезанной с одной стороны.

До них донесся говор людей. Вдали они разглядели небольшую группу, по-видимому курортников. Некоторые были даже в казенных пижамах. Люди стояли на высоком морском берегу вокруг какого-то сверкавшего предмета, похожего, как сперва показалось ребятам, на маленькую пушку-зенитку. Когда они подошли поближе, стало понятно, что это небольшой переносный телескоп. Им распоряжался пожилой курортник. Полотняный пиджак его как бы светился в свете луны, становившейся между тем все более узкой.

– Ты помолчи, – предупредила Тоня, – а я сейчас все выпрошу.

Она незаметно втиснулась в кружок людей, обступивших телескоп. Все по очереди подходили к трубе и заглядывали в нее снизу. Пожилой курортник что-то негромко пояснял.

Через минуту Тоня вернулась к стоявшему в сторонке королю.

– Ну, с чего ты всполошился? Глупый ты все-таки, Дэлька, хотя и королем стал. Обыкновенное лунное затмение. Запомню я, во всех календарях обозначено. Пойдем заглянем в телескоп.

Король замотал было головой, заупрямился, но решительная Тоня схватила его за руку и потащила к телескопу.

– Пожалуйста, можно нам поглядеть? – со старательной вежливостью попросила Тоня у пожилого курортника.

Тот, конечно, сейчас же согласился, показал, как надо смотреть через телескоп, помог ребятам наладить его по глазам.

После Тони заглянул в маленькое стеклышко и король. Луна, огромная, бугристая, шершавая, вся словно обгрызенная с одного боку, почти заполнила черную пустоту, в которую был нацелен телескоп. Это было дурное предзнаменование. Страх охватил короля. Видно, не в добрый час покинул он лагерь, не в добрый час начинает он срок своего правления...

Между тем пожилой курортник давал пояснения окружающим:

– Сейчас уже, как вы видите, почти половина лунного диска закрыта тенью Земли. Это явление не частое – полное затмение, какое мы сегодня можем с вами наблюдать... Не сомневаюсь, что наши ученые используют это чрезвычайно выгодное для всевозможных космических исследований положение.

– А говорят, американцы миллионы иголок стальных выпустили со своего спутника, – произнес кто-то в сгущавшейся темноте, – и они теперь окружают нашу Землю. Это не отражается?

Король с ужасом отпрянул от окуляра телескопа. Тьма вокруг заметно сгущалась. Тень жадно надвигалась на лунный диск. Огромная чернота выгрызала светлое тело луны все глубже.

Ночь вокруг становилась зловещей.

– Да, – сказал пожилой курортник, – конечно, отражается, если вы имеете в виду возможности исследования. Особенно это вредит прохождению радиоволн. Вот недавно известный английский астроном Лоуэлл прямо писал с возмущением, что этот пояс игл чрезвычайно затрудняет радиоисследования Луны.

Король украдкой заглянул одним глазком еще раз в телескоп, надеясь увидеть эти злые иглы, окружающие теперь землю по недоброй воле мерихьянго. Но игл он не увидел. Лишь утесненный диск луны, теперь уже похожий на осколок блюда, светился в черном круге телескопа...

Услышанное потрясло короля. Вот куда, даже в небо, к луне пробрались мерихьянго. Куда же от них деться?! Надо было как

можно скорее посоветоваться с Тонгаором.



## Глава XVI

### Лекция о международном положении

И шли по шоссе наши беглецы, и уже заметно притомились они. А затмение все еще продолжалось. Но скоро должно было выйти из-за гор солнце и покончить с ночными страхами.

Рано утром, усталые, осунувшиеся от бессонницы, они постучались у входной будки в ограде санатория «Стрела». Но тут их ждало тяжелое разочарование.

– Кого это вам в такую рань? Товарища Тонгаора? – спросил их дежурный. – Так ведь выбыл он. Вот уже третий день, как выбыл. Получил, говорят, телеграмму какую-то с родины, собрался в один момент – и будь здоров. Радио разве не слышали? У них ведь там дела теперь какие! Вот он и решил подоспеть. Книжку мне на добрую память оставил, на прощание... Сам роспись сделал, что с уважением, и за заботу спасибо мне выразил... А вы что, небось куда-нибудь в лагерь выступать его хотели потащить? Тут много вашего брата пионера ходит... И с ихнего парохода из порта наведывались... Нет, юные пионеры, опоздали вы с этим.

Долго стояли на шоссе у санатория «Стрела» король и Тоня. Что же было делать дальше? Как быть? С кем посоветоваться? Тоня предложила вернуться в лагерь.

Они оба очень устали, да и есть хотелось уже мучительно, даже больше, чем спать.

Внезапно король радостно подпрыгнул на месте и захлопал в ладоши:

– Туосья, у-это, стой! Мы же тут не так совсем далеко, где порт. Да? Помнишь, Тонгаор сказал, скоро тут будет мой корабль «Принц Дэлихьяр», и старик этот сказал, что, у-это, с парохода были... Там капитан друг Тонгаора. Он тоже против мерихьянго. Пойдем туда. Тонгаор сказал – как раз сегодня. Помнишь, он говорил?

– Ну и что? – задумалась Тоня. – Что с того, что ты на корабль явишься? Одно и то же, что самолетом лететь, только подольше.

– Нет! – закричал король. – Ты, у-это, не понимаешь! Мне Тонгаор тогда говорил: «Придет корабль, помни, там хорошие люди...

Они из Рамбая. Они против мерихьянго». Я к ним приду и скажу: «Я тоже против мерихьянго»... Помнишь, как «Санта-Мария» не хотела быть за войну... Она подняла флаг, свой флаг, и пошла в Бразилию. Помнишь, вы мне рассказывали? Я слышал, у-это, тоже, как радио рассказывало. Мы будем как «Санта-Мария», мы не будем за мерихьянго, мы уйдем в море... Я, у-это, дам радио дядьке... И пусть он сделает как надо, а то, я скажу, корабль не пойдет в Хайраджамбу. Он в Рамбай пойдет... Это мой корабль...

Но до большого порта надо было ехать полдня автобусом, это было далеко. Решили сперва подкрепиться. Хорошо, что расчетливый и дальновидный Ярослав Несметнов тихонько от короля уговорил Тониду взять от ребят деньги на дорогу. Вот они теперь и пригодились. Ребята дошли до автобусной станции, которая располагалась неподалеку от парка в одном из прибрежных курортных поселков. Тоня отсчитала и отложила в сторону деньги на автобусные билеты, посмотрев сперва у кассы, сколько они стоят. А потом пошли в буфет, съели по плюшке, выпили по стакану какао. На душе стало веселее.

А день был воскресный, и в парке собралось много народу. На открытой эстраде приезжий лектор читал доклад о международном положении. Об этом гласила большая афиша у входа в парк.

– Пойдем послушаем, – предложила Тоня. – Может быть, сгодится. Тем более, до автобуса еще часа четыре битых...

Ребята сели на одну из крайних скамеек, полукольцом окружавших эстраду. День был жаркий, и лектор, шагая по скрипевшей под его ногами эстраде, над которой выгнулся легкий свод раковины, все время обмахивался бумажкой, куда он то и дело заглядывал. Лектор обрисовал международное положение. Он со своих подмостков словно бы обозревал весь мир, он все знал, где и что...

А потом попросил задавать вопросы.

– Ох, я что надумала, Дэлька! – сказала Тоня. – Давай пошлем записку ему, пусть прояснит насчет твоей Джунгахоры.

Тоня попросила у кого-то из соседей бумажку. Сидевший рядом пожилой гражданин вырвал листок из своего блокнота, даже не глядя на Тоню. Карандаш у нее нашелся свой. Она глубокомысленно обсосала его, что-то нацарапала на бумажке, легонько постучала по

плечу одного из сидевших впереди слушателей, протянув записку. И пошла по рядам, как щепочка по волнам, записка, пока не доплыла до эстрады.

– Меня вот тут просят рассказать подробнее о положении в Джунгахоре, – сказал лектор, прочтя Тонину записку. – Что можно сказать? Положение там сложилось крайне напряженное. Из различных международных источников сообщают о жесточайших репрессиях. Как вам известно из газет, власть в Джунгахоре захватили снова сторонники империалистов, ставленники международного капитала, которые решили восстановить в стране ненавистный народу грабительский режим, бывший при недоброй памяти тиране Шардайяхе. Правда, народ оказывает сопротивление, особая активность наблюдается в южном городе Рамбай. – Король толкнул локтем Тоню. – Порт Рамбай, – продолжал лектор, – в руках повстанцев, партизан. Для отвода глаз и обмана населения королем провозглашен малолетний несмышлениш, принц Дэлихьяр, естественно, совершенно беспомощный и, надо полагать, идущий на поводу у генерала Дамбиала Сурахонга, каковой назначен регентом, то есть фактическим правителем страны. Прежний король Джутанг, симпатизировавший прогрессивным силам, не способен был удержать власть и вот теперь вынужден был уступить ее реакции. Ну, а малолетний король – это, разумеется, марионетка, не способная что-либо изменить, Дэлихьяр так и взвился, когда его назвали марионеткой да еще несмышленишем, действующим к тому же на руку мерихьянго.

– Это он меня как, у-это, прозвал? – допытывался он у Тонн.

Та еле удерживала его на месте.

– Ну зачем он так? – кипятился Дэлихьяр. – Не смей так, у-это, сам дурак! Шарахунга!

На них уже оборачивались и шикали, а шум поднимать было, конечно, нельзя. Ведь несомненно в лагере «Спартак» с утра началась тревога по поводу исчезновения короля. И можно было себе представить, в какую ярость пришел посол, из-под носа которого король дал лататы! Вероятно, по всему берегу шли поиски.

Однако, чтобы хоть как-нибудь успокоить Дэлихьяра, Тоня послала лектору новую записку, прежде чем уйти из парка. Король упрямо настоял на этом.

«Вы так не можете говорить, раз не в курсе, – написала на этот раз Тоня. – Король Джунгахоры Дэлихьяр за мир и дружбу. Он против империалистов. Он за нас».

Ребята были уже за воротами парка, когда до них донесся усиленный через микрофон голос лектора, который, прочтя записку, иронически говорил:

– Уж я не знаю, почему данный товарищ, автор записки, полагает, что теперешний малолетний король Джунгахоры настроен столь прогрессивно... Видимо, автор записки полагает...

Тоня с гордостью услышала, как ее назвали автором – так ее еще никто никогда не называл, – но решила не задерживаться у парка, а возвращаться на автобусную станцию.

Между тем возле эстрады, где стоял лектор по международным вопросам, раздался звонкий шлепок, будто кто-то прихлопнул у себя на лбу комара. Это вдруг хлопнул себя по темени сидевший близ эстрады с края, у прохода, человек, который незадолго до того пристально вглядывался в ребят. То был ревизор, который когда-то анкетировал и расспрашивал Дэлихьяра в лагере «Спартак».

– Граждане! – запричитал он, приподнимаясь на месте. – Внимания прошу... Как я понимаю, ту записку прислал сам бывший принц, в прошлом принц, то есть король в настоящее время. Он вот тут сидел, честное даю вам слово, граждане! Где же он?..

Он вертелся, озираясь во все стороны, всматриваясь в ряды сидевших. И тут стали тихонечко украдкой постукивать себя по лбу уже кое-кто из сидевших неподалеку, показывая при этом осторожно глазами на обескураженного и смешно суетившегося человека. Дескать, не в себе товарищ...

А короля и Тони уже и след простыл.

## Глава XVII

### Флаг на горизонте

Ехали что-то очень долго – так, по крайней мере, казалось ребятам. Подолгу стояли в каких-то курортных поселках. Автобус заправлялся бензином. Водитель куда-то отлучался. А Тоня и король бродили вокруг опустевшего автобуса, мучаясь ожиданием. Король шептал:

– Я им, у-это, знаешь как буду говорить?! Вы, я это им так говорю, вы моряки Рамбая. Тонгаор говорит, в Рамбай хороший моряк, храбрый очень и «мерихьянго табатанг!». Я тоже так! Тонгаор мне друг-друг. Я вам король – тоже друг-друг. Мы будем идти в Рамбай. Мы будем делать все совсем хорошо. Мерихьянго – вон!

Потом снова садились в автобус, заполняемый пассажирами. И ехали, ехали, ехали, а король уже молчал.

Когда прибыли в большой портовый город, слегка смеркалось. От автобусной станции до самого порта было довольно далеко. Но денег у Тони не осталось, пришлось шагать пешком. А король чувствовал себя уже совсем плохо. Он устал с непривычки. На каждый шаг что-то отзывалось в голове и больно било в темя, да и ноги стали ныть. Тоня, как могла, подбадривала его.

– Ну потерпи еще чуток, – ласково окала она. – Осталось-то всего ничего – раз, два, и готово. Уж сколько с тобой помыкались. Подбодрись. Сейчас на место прибудем, я тебя на пароход посажу, а уж там прощай и действуй по-умному.

– Туосья... А ты, у-это, так и не хочешь со мной?.. – начал было король.

Но она строго оборвала его:

– Я свое слово сказала, и точка. Ты не обижайся, Дэлик, ты пойми. Никак это невозможно. После поглядим, а пока и разговора быть не может.

– Мне одному страшно... Мне, у-это, одному совсем трудно.

– А мне, ты думаешь, легко? – И Тоня быстро отвернулась от короля.

Солнце уже село, когда они вышли к берегу. В стороне, чуть поодаль, виднелись мачты, трубы, портовые краны. Накатывал железный грохот. Перекликались пискливо паровозы. До порта было уже рукой подать. А синева над морем сгущалась. Послушно темнело и спокойное море. У конца волнореза, ограждавшего порт со стороны моря, зажегся красный огонь на маяке. И оттуда вдруг донесся до беглецов густой, протяжный звук корабельного тифона. Большой корабль выходил из гавани, огибая маяк.

Король и Тоня застыли неподвижно.

Над кормой парохода развевался трехпольный флаг. Корабль разворачивался, у носа его в свете маячка блеснули золотые буквы, но надпись с берега было не прочесть. И все же это был несомненно тот самый корабль, «Принц Дэлихьяр», о котором рассказывал Тонгаор. И флаг над кормой – в этом нельзя уже было ошибиться – был несомненно джунгахорский: большой, с алой полосой, посредине которой сияла лучистая зубчатка солнца, и с синими полями сверху и снизу... И он уходил, этот корабль, уходил в Джунгахору. Он дымил, гудел, давая прощальные сигналы. До него было не больше пятисот метров.

Но вот эти полкилометра и легли неодолимой пропастью между маленьким королем и его отчаянной мечтой.

Обогнув волнорез с маячком, корабль повернул к выходу из бухты. Это было видно по изогнувшейся полосе дыма над ним. Берег и эта дымная кривая показывали направление на мысок, где оканчивалась излучина бухты. Как раз возле этого мыска и вышли на берег наши беглецы. Теперь стало ясно, что пароход с флагом Джунгахоры держит курс к этому мыску, за которым уже начиналось открытое море. Вот если бы...

– Лодка! – прокричала Тоня. – Лодка! Давай скорей! – донесся ее голос уже снизу, от самой кромки воды, куда она соскочила с небольшого берегового обрыва.

Да, там у самой полосы прибоя, вытащенная на берег, обсыхала небольшая шлюпка. Весла у нее оставались в уключинах. Видно, приплывший на лодке отлучился куда-то лишь на минуту.

Еще плохо соображая, что решила делать Тоня, король тоже спрыгнул на прибрежную гальку.

– Подсобляй, подсобляй! – кричала Тоня, упираясь плечом, боком, руками в борт лодки и подталкивая ее к волнам.

И король послушно пихал лодку, как ему приказывала Тоня. А девочка бесстрашно ступила в воду по колено, толкала лодку и тащила ее в море.

– Залазь! – приказала Тоня.

Король, перегнувшись через борт, свалился на дно лодки.

А Тоня уже сидела на передней банке и круто, двумя движениями весел в противоположные стороны, табаня одним и громадя другим, развернув лодку носом в море, упруго привстала и, откидываясь, гребла. Крылатый взмах, еще раз, еще! – и лодка пружинисто, в такт движению тяжелых весел, прыдала, легонько подаваясь вперед.

Пространство между бортом ее и берегом росло легкими рывками, как бы вздуваясь, отодвигая берег и словно выпрямляя его постепенно. Казалось, что каждый гребок накачивал тугу и постепенно распирал пространство между лодкой и берегом. А если оглянуться назад, то там, за носом, горизонт оставался таким же недосыгаемым и бесконечным.

Тогда тщетными выпядели в сравнении с этой неодолимой далью копошения весел. И туда, к горизонту, уходил корабль.

– Садись рядом, подсобляй, громадь! – скомандовала Тоня, слегка отодвигаясь в сторону. – Громадь! Вот так, подавайся назад больше... Ох ты, горе мое... Что же ты весло-то выворачиваешь? Ну громадь, громадь, прошу тебя...

Но куда было ему угнаться за широким и стремительным махом волжанки, легко отводившей назад весло и сноровисто, полуопрокидываясь, посылавшей длинный гребок...

А волна колыхалась, медленная и серая, как спина огромного слона. И лодку мерно покачивало. Вот и сбился сон. Только не играла музыка, не слышно было праздничных кликов народа. И нестерпимо ломило все тело, зудели руки, вспухли, налились снова болезненные мозоли на нежных ладонях короля.

Однако корабль, державший курс на мысок, как будто бы шел теперь на сближение. Он был уже хорошо виден, хотя сумерки все плотнее ложились на морскую гладь. Еще, еще немного, и лодка должна была встретиться с кораблем, оказаться на его пути.

Тоня гребла что есть сил. Она уже задыхалась от усилий, гоня тяжелую лодку.

– Помаши им... покричи, – сказала она.

– Фари йор!.. – Король вскочил и, сложив ладони рупором, стал кричать что-то по-джунгахорски.



Лодку качало, и он еле держался на ногах, махал и кричал.

И там, на корабле, наконец, должно быть, заметили их.

У трубы корабля забилося белое облачко пара, а потом донесся короткий приветливый гудок.

В ту же минуту корабль, круто повернув, взял курс прямо к горизонту, в открытое море. Верно, там решили, что просто кто-то на лодке вышел проводить джунгахорцев, отплывающих на свою родину.



И Тоня бросила грести.

Оба долго и безнадежно смотрели на уходящий в море корабль. Ветер уже развеял дым, крутой дугой плывший в небе, а может быть, тьма, напиравшая на море с гор, стерла эти дымные следы.

Все дальше и дальше уходили огни корабля.

И скоро уже только мерцало и чуть-чуть искрилось там, на горизонте, а потом и вовсе стало темно и пусто.

## Глава XVIII

### В зоне игл

Только тут заметили ребята, что они отплыли очень далеко от берега. Жуть безбрежного одиночества прокралась к ним в души. Огни порта и города были, казалось, уже не многим ближе, чем горизонт, за которым скрылся корабль. Громады гор вставали там, на оставленном берегу, да и они выглядели теперь уже далекими и не столь огромными, как прежде. И оттуда, с гор, вдруг порывами задуло, понесло сыростью, мраком и холодом. Ветер был резкий и сильный, и с каждым мгновением все чернее становилось небо, все выше, тяжелее гряды зыби.

Когда Тоня разворачивала лодку носом к берегу, их чуть не положило совсем на борт. Волна захлестнула шлюпку, и ребята разом промокли. На дне шлюпки заплескало.

– Вот попали мы с тобой, Дэлька, – сказала Тоня. – Давай обратно, громадь, подсобляй. Ох, втянула я тебя в дело гиблое... Нет, брось громадить, лучше я одна. Давай руками, ладонями черпай воду, а то затопит нас.

И король обеими руками принялся выплескивать, загребая ладонями со дна лодки, воду. Но ее набиралось все больше и больше. И волны теперь уже не колыхались по-слоновьи, а, как огромные злые псы, мурзились, рычали, выгибали хребет, припадали на передние лапы, отползая немного, чтобы снова кинуться, захлебываясь в ярости и пене, клыкастые, лютые в своем зияющем оскале. Волны катили навстречу от берега и отгоняли маленькую шлюпку с ребятами все дальше и дальше в море. Неслись над головой сползшие с гор стремительные тучи и наваливались всей своей тяжестью на луну, которая пыталась подняться над горизонтом и выбраться из всей этой страшной катавасии. Ветер ломил черной стеной, слепил, законопачивал тьмой все окрест, всвистываясь в ноздри и уши, туго забиваясь в рот... Приходилось каждый раз отворачиваться, чтобы хоть немножко перевести дыхание.

Потом от берега, заслонив его собой, понеслась стена ливня. Молниеподобные колючки струй, засверкавшие в отблесках

выпянувшей луны, прорезали темень.

– У-это, иголки!.. Иголки мерихьянго! – закричал в ужасе король.

Ему показалось, что это те самые иголки, которые запущены в космос и хищно опоясали землю, теперь низвергаются прямо на их лодку. От их укулов все тело начинало жгуче зудеть.

– А солнца уже не будет никогда! – проговорил он тоскливо.

– Чего?! – прокричала сквозь ветер и темноту Тоня.

– Я говорю, – что есть силы крикнул король, – солнца, у-это, не будет! Утро не будет. Темно всегда будет.

– Помолчи ты, Дэлька... В самом деле, городишь... Перестань. Черпай, черпай воду лучше.

Но у короля уже не было сил выплескивать коченевшими руками воду. Еще когда-то на побережье Джунгахоры он схватил желтую тропическую малярию, она чуть не убила его в раннем детстве и нет-нет да и напоминала о себе. И вот сейчас, видно, у него начинался приступ. Ему казалось, что тысячи иголок впиваются в его тело. Это кололи его иглы мерихьянго, злые иглы, опоясавшие мир и отгородившие от него луну, солнце, людей...

А Тоня, выбиваясь уже из сил, кашляя, сдувая залеплявшую лицо воду, продолжала грести, изредка поглядывая через плечо, не стал ли хоть немножко ближе берег. Но он оставался таким же далеким.

И когда казалось, что уже нет больше сил двинуть веслом, оттуда, со стороны берега, вдруг ударил в морскую мутную темень длинный и упругий луч. Он качнулся в одну сторону, махнул в другую, пошарил вдали между гребнями высвеченных им волн, метнулся рывком в полнеба обратно, пал на море совсем рядом с лодкой. Еще мгновение – все на шлюпке вспыхнуло нестерпимым голубым, льдистым сиянием. Засверкавшие иглы ливня стали, казалось, хрустальными и, раскаляясь, посыпались в разные стороны, словно отгоняемые потоками тугого света. А вскоре затарахтел все ближе и ближе мотор. И катер моряков-пограничников, подлетев к лодке, круто обогнув ее и как бы отрезав разом от всех бед, которыми кишело черное пространство до самого горизонта, резко застопорил. Крючья багров вцепились в борт шлюпки. Лодка и катер поочередно взлетали и опускались резко вниз, как взлетали, качались брови у Дэлихьяра,

когда он показывал ребятам свой фокус... Но сейчас он сам уже и бровью двинуть не мог.

Какие-то фигуры соскочили с борта катера на лодку, крепкие руки подхватили ребят и вознесли их куда-то вверх, снова качнули вниз, подбросили мягко опять в вышину, где было много огней, где раздавались желанные человеческие голоса и двигались сильные люди. Из темноты донеслась команда:

– Смирно! Ваше королевское величество, катер «М-18», высланный за вами, прибыл по назначению. Командир катера капитан-лейтенант Моргунов.

Но король уже не мог ни принять рапорта, ни сам устоять на взлетевшем борту катера.

В маленькой каютке командира человек в белом халате склонился над королем, уложенным на койку. И король, приоткрыв глаза, увидел близко, прямо над собой, сверкнувшую иглу.

– Иголки!.. Не хочу!.. Не дам иголки!.. – Он забился, отодвигаясь к стене, отталкивая ладонями руку человека в белом халате.

Но тот плотно прижал руки короля к койке.

Это была совсем не злая игла. Она уколола лишь на какой-то миг. А потом стало очень хорошо. Это была последняя игла, которую видел бедный король, впадая в забытье.

## Глава XIX

### В этом король не властен

Утром в отдельной палате берегового госпиталя, где теперь лежал король, появились приехавшие ночью начальник лагеря «Спартак» Михаил Борисович Кравчуков и чрезвычайный посол Джунгахоры.

Пыталась пробраться в палату к королю и Тоня, которую приютила у себя на время Майя Лазаревна Белецкая – главный врач госпиталя, румяная, полнощечая и очень подвижная толстуха. Но Тоню попросили обождать в коридоре. А ей надо было тотчас же непременно свидеться с королем и сообщить ему все, что она узнала ночью в кубрике пограничного катера, спасшего вчера их обоих. А Тоня слышала, засыпая на рундуке, как моряки говорили друг другу о том, что новые власти Джунгахоры схватили вернувшегося в трудный для народа час на родину Тонгаора и он приговорен к смерти.

Казнь могла состояться каждый час, надо было спешить.

Увидев входившего в палату посла, на котором болтался чересчур большой для него белый халат, король рывком повернулся к стене и натянул одеяло на голову. Всем видом своим он показывал, что не желает иметь дело с послом Дамбиала, этого противного родственника, который вечно допекал его еще дома в Джунгахоре всякими замечаниями насчет хороших манер и ни за что не хотел, чтобы Дэлихьяр поехал в советский пионерский лагерь.

– Ваше королевское величество... – начал было посол, но король задергал лопатками, задрыгал ногами, взбивая ими одеяло, и вжался еще глубже лбом в подушку, не желая ничего слушать.

– Позвольте, господин посол, мне... – вмешался тут Михаил Борисович Кравчуков.

Услышав голос начальника «Спартака», король приподнял голову над подушкой и недоверчиво поглядел себе за спину.

У начальника невольно сжалось сердце, когда он увидел эти запухшие, нареванные глаза под гибкими, сейчас как бы жалко обвисшими бровями.

– Не хочу, у-это, к нему! Я хочу к вам! – Король заплакал и, не оборачиваясь, пряча лицо в подушку, стал вслепую хватать рукой за полу халата, который был наброшен на плечи Кравчукова.

– Михаил Борисович! Вы ему скажите про Тонгаора, – раздался громкий шепот от дверей палаты.

– Цыц! – прикрикнул Кравчуков. – Марш отсюда вон! С тобой, дева прекрасная, еще разговор у нас будет.

Майя Лазаревна кинулась к дверям, молча выталкивая просунувшуюся в них Тоню.

Но та успела крикнуть:

– Дэлик! Они Тонгаора приговорили... Они его схватили... Казнить хотят!..

Король вскочил на постели. Напрасно Майя Лазаревна и Кравчуков пытались удержать его. Он спустил босые ноги на пол, затопал ими, залился громким плачем, стал раздирать на себе больничную пижаму. Он сбросил все лекарства с тумбочки, крича поджунгахорски послу, что требует освобождения Тонгаора и ни за что не поедет домой, если того казнят.

Он бушевал, плакал, требовал, просил, кидался головой в подушку, кричал, что не будет принимать лекарства. Тоня, пользуясь общей сумятицей, проникла в палату и стала поодаль от кровати, кусая губы, сердито и сочувственно сдвинув и без того тесно сросшиеся брови.

Чем бы все это кончилось, неизвестно, но в госпиталь прибыл Павел Андреевич Щедринцев, тот самый советский посол в Джунгахоре, который месяц назад встретил принца в лагере «Спартак».

Мягкий, спокойный голос негромко, но чрезвычайно внятно говорившего Щедринцева заставил всех притихнуть.

– Простите меня, господин посол, и не считите это за вмешательство в ваши дела, но если вы хотите внять доброму, дружескому совету, то я позволил бы себе рекомендовать вам передать пожелания Его величества немедленно Его высочеству принцу-регенту Дамбиалу Сурахонгу... Все газеты мира полны сообщений из Джунгахоры, которые подтверждают, что народ глубоко возмущен репрессиями и, в частности, арестом Тонгаора. Я не берусь подсказывать, но мне казалось бы, что лучший способ уладить дело –

это сослаться на требования нового короля, который, как я понимаю, предложил амнистировать подвергшихся репрессиям.

Джунгахорский посол попробовал было что-то возразить сперва по-джунгахорски, а потом по-русски, но король, колотя кулаками по подушке и с размаху бодая ее головой, закричал:

– Не надо совсем слушать его!.. Я его уже отменил... Я его, у-это, отозвал... Он уже, у-это, не посол совсем, а просто тьфу! – И король плюнул на пол перед койкой.

– Прошу меня извинить, – вкрадчиво обратился тогда наш посол к джунгахорскому. – Но я не думаю, господин посол, что следует обострять этот конфликт... Тем более, что Его величество отказывается уже признавать вас в данной ситуации персоной грата.

– Не признаю, – запротестовал тот. – Он еще не вступил на престол. Это незаконно.

– Да-а, вы правы, возражения ваши совершенно законны. Но ведь приходится считаться и с общественным мнением. Не так ли, господин посол? Вы, разумеется, вольны поступать по своему усмотрению, однако...

Тут улегшийся было король приподнял одеяло, отгородился им сбоку от нашего посла и из-под прикрытия показал снятому с высокого поста послу Джунгахоры язык, а потом и нос. Но это ему показалось недостаточно. Он приставил ладонь ребром к уху и потом, сгибая и разгибая пальцы, несколько раз помахал ими разжалованному послу.

– Лопух, – сказал король, – качай отсюда.

– Я вижу, что пребывание Его величества в Советском Союзе не прошло для него бесследно, – ядовито заметил бывший посол. – Хорошеньким манерам вы его тут обучили.

– И совсем не они! – закричал король, сбрасывая одеяло. – И совсем не они! Это я раньше совсем научился. Это меня мисс Лора Харт, у-это, которая из Голливуда... люкс-бомба. Она танцевала в Джайгаданг, когда брат мой, у-это, король был. Она хотела жениться на него. А потом, когда ее пошли вон, она у дверей обратно смотрела и вот так язык, а потом так нос сделала и вот так вот рукой с ухом. Честное пионерское!.. У-это, честное королевское.

У дверей берегового госпиталя уже толпились тем временем журналисты, проведавшие о местонахождении короля Джунгахоры и

прилетевшие из нескольких западноевропейских редакций. Но главный врач запретил тревожить короля.

К подъезду больницы вышел посол Джунгахоры и с кислым видом показал текст телеграммы, которую он, по повелению короля, посылает в Джунгахору. Король требует немедленного освобождения Тонгаора.

Зато Тоню пришлось допустить к королю, иначе он отказывался прекратить голодовку и принимать прописанные ему лекарства.



Тоня была тоже в белом халате, в белой косынке, которая ей очень шла. Король после бурной вспышки ослабел. Он лежал навзничь, ему было очень жалко себя. Он смотрел на Тоню ужасно печальными глазами, так что у нее все переворачивалось внутри. И даже выдавшая виды няня-сиделка, принеся завтрак королю, уходя, обернулась в дверях и тяжело вздохнула:

– И что только капитализм с детьми творит! Неужто уж наши заступаться не будут?..

Тоня стала кормить короля с ложки. Конечно, он бы и сам мог держать ложку, но ему было так жалко себя, так приятно, что Тоня бережно подносит к его рту ложку с бульоном... Он не мог себе отказать в этом удовольствии. Уж на такое-то имел право король, тем более больной! Тут даже бы строгий Славка Несметнов не заругался.



– Ты, у-это, очень красивая, совсем очень красивая сегодня, – тихо говорил король, протягивая губы к ложке, не сводя с Тони глаз, – тебе так очень хорошо. Ты совсем как Бабашура была. Ты будешь доктор, когда вырастешь? Тебе хорошо идет. Когда будешь доктор, тогда приедешь, у-это, в Джунгахора, да? Будешь всех лечить. Мы будем там устроить красивые больницы.

– Ладно, там поглядим, – строго отвечала Тоня, суя ему ложку в рот. – Ты помалкивай, не болтай много, опять температуру нагонишь.

А вечером пришел по телеграфу ответ от регента Сурахонга, который сообщал, что неблагодарный Тонгаор дерзко отклонил помилование.

«Ваше королевское величество, – ответил Тонгаор, прося передать его слова новому королю и всему миру, – я не могу принимать жизнь по милости королей. Жизнь мне может вернуть лишь закон, и единственный, кто имеет право творить этот закон, – народ. Я ни в чем не виновен и отказываюсь сам просить у кого бы то ни было милости, даже если она дарует мне жизнь. Пусть решает народ. Признаю только власть самого народа и до последней минуты буду бороться с властью над народом...» Видно, регент тут что-то схитрил и, скрыв от Тонгаора истинное положение, изобразил дело так, будто юный король готов даровать жизнь поэту, если тот сам попросит у него помилования.

И опять плакал маленький король, представляя себе, как томится непреклонный Тонгаор в королевской тюрьме, в глубокой смрадной яме, огражденной высокой стеной с гребнем, утыканным стальными иглами, которыми хотят окружить весь земной шар мерихьянго.

Посол Щедринцев объяснил, как мог, королю, который не очень понимал ответ Тонгаора и был даже обижен на него, что гордый поэт-коммунист не хочет просить милости, в то время как тысячи людей томятся в ямах. Поэтому он отказался, как предложил ему регент Сурахонг, подписать прошение о помиловании. Тонгаор требовал суда открытого и народного. Его и надо добиваться, пока не поздно. Король так устал и наплакался, что совсем обессилел и вскоре заснул.

А к вечеру к нему, несмотря на то что ее пыталась удержать дежурная сестра, ворвалась пробившаяся сквозь все заграждения, преследуемая главным врачом Тоня. Она рассказала о том, что только сейчас слышала по радио. Передавали, что весь народ Джунгахоры

встал на защиту Тонгаора. Десятки тысяч людей двинулись стеной на стены королевской тюрьмы. И регент Сурахонг, чтобы как-нибудь утишить гнев и возмущение народа, вынужден был отменить казнь Тонгаора и объявить королевскую амнистию. Сотни людей уже выпущены из ямы на волю, а храбрый поэт-революционер выдворен из страны, и с ним выслана его семья, которую до этого не выпускали из Джунгахоры.

– Ой, Дэлька, Дэлька! – кричала Тоня и кружилась по палате.

И король, сбросивший с себя одеяло, катался и прыгал по койке. И оба они вопили: «Слоны – всем! В ямы – никого! Мерихьянго – вон!», пока не пришла Майя Лазаревна, не затопала на них, крича:

– Это еще что за цирк? Вы что, с ума сошли?! Будьте добры, Ваше величество, не безобразничать. Занимайтесь этим у себя во дворце в Джунгахоре, если вам угодно. Скачите там у себя на троне сколько желаете, а сейчас вы на моей территории и режим у вас, простите, постельный, а не королевский. Тихо сейчас же! Извольте подчиняться моим законам, уж будьте добры!

– И совсем, у-это, не так говорить! Надо не «будьте добры», а «путти хатоу!» – не унимался король, хохоча. – А я вам тогда скажу, у-это: «Взигада хатоу!» Пришлось все-таки королю послушно улечься снова в постель.

\* \* \*

На другой день в кабинете главного врача госпиталя и в присутствии посла Щедринцева, начальника лагеря «Спартак» и доктора Майи Лазаревны король дал небольшую пресс-конференцию приехавшим журналистам.

Но пусть об этом лучше расскажет один из присутствовавших на беседе с королем западных журналистов. Вот как он сам написал об этом у себя в газете:

«Король Дэлихьяр имел несколько болезненный вид после перенесенных им злоключений на море, но оказался вполне приветливым и хорошо воспитанным носителем верховной власти. Юный король заявил, что предпочитает вести пресс-конференцию по-

русски, так как почти забыл английский язык, а кроме того, ему хотелось бы, чтобы все слова его были понятны тем, кто проявил столько забот о нем. На груди короля, рядом с фамильным королевским амулетом с изображением солнца, луны и слона, мы заметили неправильной формы камешек со сквозным отверстием посередине, подвешенный на грубом шнурке. На вопрос, что обозначает этот медальон, король ответил, что это Куриный бог, который, по давнему преданию жителей Черноморского побережья, приносит счастье. Из этого можно сделать вывод, что во время своего пребывания в Советском Союзе будущий король подвергался воздействию различных влияний – не только коммунистического характера, но и, по-видимому, таких, которые связаны с существованием некоторых религиозных сект, в частности, бытующего в Крыму культа обожествленной курицы.

По нашей просьбе король изложил основы, на которых он собирается строить свое правление, если ему это удастся. «Если дядька позволит», – сказал король, имея в виду, должно быть, принца-регента Дамбиала Сурахонга, облеченного, как известно, всей полнотой власти до совершеннолетия юного короля.

– Какие у вас отношения с принцем-регентом? – задан был вопрос королю. Король в своем ответе был предельно лаконичен:

– Он мне дядька.

**Вопрос.** Были ли у вас какие-либо расхождения с ним, конфликты?

**Король.** Я ему облил в день Луны новый мундир краской, когда клеил ракету... нечаянно. А он думал, у-это, я так хотел.

От каких-либо комментариев король при этом воздержался.

– А еще другое я скажу потом, когда дядьке и всем его мерихьянго дадут по шапке, – добавил он после некоторого промедления.

(«Дать по шапке» – непереводаемое выражение. По-русски это значит: выдать всем шапки. Очевидно, намек на уход в будущем регента на пенсию коронного масштаба.) – Какими принципами вы будете руководствоваться, будучи королем Джунгахоры? – попросили ответить короля.

– Слоны – всем! В ямы – никого! Мерихьянго – вон! – последовал ответ.

При этом юный король выжидательно посмотрел на присутствовавшего на нашей беседе советского посла в Джунгахоре господина Щедринцева.

На вопрос, собирается ли он и каким образом мыслит в дальнейшем пополнить образование, король ответил:

– Учиться и королям пригодится! Так Юра-вожатый говорил. («Вожатый» – то же, что вождь. Кого имел в виду король, осталось неясным.)

– Какое вообще ваше любимое занятие? – спросил короля наш корреспондент.

– Ноздрить камешки, – отвечал король.

(Ноздрить камешки – известный лишь жителям Черноморского побережья способ наведения магического блеска на драгоценные камни.) На вопрос о том, как провел время король в советском лагере юных пионеров «Спартак», король сказал, что ему было очень хорошо, так как со всех сторон ему оказывали исключительное радушие.

– Велась ли какая-нибудь пропаганда? – спросили мы у короля. – Делались ли попытки разагитировать вас?

– Да! – воскликнул при этом юный король, оживившись. – Они научали меня управлять постель и собирать камни. Я много собирал камни. (По-видимому, речь идет об известной агитационной формуле коммунистов начала века: «Камень – оружие пролетариата»).

– Значит, вас все-таки агитировали, Ваше величество?

– Нет, – отвечал король, – я их сам аги-ти-ти-ровал (так произносит это слово юный король), за слонов аги-ти-ти-ровал. Я их все время, у-это, аги-ти-ти-ровал.

Король заметил, что, вернувшись к себе в Джунгахору, он представит к ордену Луны и Солнца директора лагеря «Спартак» и старшего Вождя. А пионерку Туосью (Антониду) наградит орденом «Сердца Льва» за спасение жизни короля на водах Черного моря.

Королю был задан вопрос, собирается ли он согласовать эти свои решения с мнением принца-регента. После этого король заявил, что ему, как он выразился, кое-куда надо, и в сопровождении врача покинул присутствующих в направлении туалетной комнаты. Врач госпиталя, выйдя к нам, сообщил, что пресс-конференция окончена».

Ах, друзья мои, если бы все это была только сказка... Уж я бы сумел придумать для нее веселый конец с медом-пивом, которое бы и по усам, и по строкам моим текло, да и в рот бы попадало. Но что делать, в жизни не у всех историй пока еще веселые концы...

И стоит ли вам рассказывать о том, как на другое утро пришла за королем машина и посол Щедринцев вместе с бывшим послом Джунгахоры увезли Дэлихьяра на аэродром?..

Не хочу я подробно описывать, как расставались король и Тоня, не хочу печалить вас, да и сам, признаться, не желаю расстраиваться, а то совсем не мед и не пиво просочатся в строки моей повести. Расскажу только, что, когда собрались в тот день «спартаковцы» уже к отъезду своей смены, так как кончился ее срок, тяжело заныло, басовито зарокотало небо, и пионеры все выбежали из дач и палаток. И увидели они, как большой самолет, сделав круг над лагерем, покачал крыльями. Это был прощальный привет маленького короля своим летним друзьям.

А внизу, в углу одной из опустевших комнат большой дачи, уткнувшись в уже увязанный рюкзак, плакала большая девочка, которую никто прежде, до короля Джунгахоры, не называл Тосей.

## Глава XX

### Будьте готовы, Ваше величество!

Вот пока и все, что я имел право рассказать о принце Сурамбуке, ныне вошедшем на престол Джунгахоры под именем короля Дэлихьяра Пятого. Вот пока и все.

Пусть думают взрослые, что все это сказка. Пусть не верят, что Тоня Пашухина получила недавно письмо от короля с маркой, на которой было уже его изображение. И в письме этом король сообщал, что он не позволяет никому раскрывать на ночь, убирать и заправлять на день свою постель в спальне Джайгаданга и что он ввел у себя во дворце ежедневную утреннюю линейку для всех министров и придворных. Причем король приветствует свиту восклицанием: «Путти хатоу!» – на что все присутствующие придворные должны отвечать: «Взигада хатоу!» Король писал, что Тосе должны быть понятны эти слова, смысл которых остается таинственным для придворных.

Король писал, что рядом с амулетом Солнца, Луны и Слона он по-прежнему носит Куриного бога, а в праздники надевает красный галстук, право носить который на груди отстоял, хотя дядька-регент очень ругался.

Еще писал бедняга король, что ему очень-очень скучно в большом королевском дворце Джайгаданге, где триста сорок комнат и ни одного друга. Сообщал он также, что достиг еще большего совершенства в качании бровями, научил министра двора играть в «подстеночку» и украсил свои личные апартаменты полной коллекцией фотокарточек советских космонавтов.

Видно, никакие другие реформы королю Дэлихьяру провести не удалось. И я вам ничего больше сообщить до поры до времени не могу. Потерпите немного. Ждать осталось, я уверен, не так уж долго. Ведь в мире что ни час, то люди умнеют, и все больше тайн раскрывает человек в природе. Что ни день, то все меньше секретов будет таить человек от человека, народ от народа, и границы государств перестанут отсекают сердце от сердца.

Придет день, когда я вам раскрою тайну, как на самом деле называется страна Солнца и Луны – жаркая Джунгахора.

Я укажу вам точно ее место на карте, открою настоящее имя короля, и вы, возможно, получите за все это лишнюю пятерку по географии, а может быть, и по истории.

Все еще будет хорошо! И утвердятся законы, которые пионеры вместе с королем записали на страницах школьной тетрадки в памятную лагерную ночь на берегу нашего Черного моря. Ведь наберется ума-разума не только Дэлихьяр, но – это самое главное – обретет силу народ Джунгахоры и возьмется делать свою жизнь на такой образец, какой ему покажется желанным.

И тогда уж будьте готовы, Ваше величество!

*Ноябрь 1962 – июнь 1964*



## Комментарии

### Ход Белой Королевы\*

Много лет, пожалуй, всю жизнь Лев Кассиль связан со спортом.

После романа «Вратарь республики» (он был написан в 11)38 году и вошел в первый том этого собрания сочинений) Лев Кассиль не раз думал снова приняться за книгу о спортсменах.

Незадолго до начала Великой Отечественной войны писатель уже начал работать над такой книгой. Предполагал назвать ее «Хрустальный кубок». Одновременно он задумал по этому же сюжету создать музыкальную комедию. Музыку собирался написать известный композитор Тихон Хренников, а народный артист СССР Вл. И. Немирович-Данченко хотел поставить спектакль у себя в театре. Разразившаяся война прервала эту работу. Музыкальная комедия так и не была создана. Но Лев Кассиль не оставлял своего замысла.

В 1955 году, сообщая о своих ближайших планах, Лев Кассиль рассказывал: «Хочется мне сейчас дописать давно уже задуманную книжку, откровенно веселую, смешную, полную занятных, комических неожиданностей. Это будет спортивная приключенческая повесть о наших молодых лыжниках, о снежном вихре, гуляющем на просторе, о дружбе, которая крепче мороза, о забавных происшествиях, которые, быть может, позволят рассказать смешно, весело, почти в шутку о делах довольно серьезных...»

В 1956 году книга эта была закончена. Писатель назвал ее «Ход белой королевы», а первоначальное название «Хрустальный кубок» сохранилось внутри книги как заголовок повести Евгения Карычева.

Журналист Евгений Карычев подписывался «Евгений Кар», и точно так же подписывался один из героев книги «Вратарь республики» – Евгений Карасик. Очевидно, это не случайно. И, вероятно, неспроста и в биографиях этих двух журналистов немало общего, чем-то близкого и дорогого самому автору.

Лев Кассиль сам побывал на международных зимних Олимпийских играх в Кортина д'Ампеццо. Но, как и «Вратарь республики», и эта книга не об одном только спорте.



«Ход белой королевы» был напечатан в журнале «Юность» за 1956 год и в конце того же года вышел в Детгизе. Книга издана также в ГДР, Японии и Венгрии.

*Эпиграф к книге* взят из рассказа американского писателя Ф. Брет-Гарта «Компаньон Теннесси».

*Старик Эммерсон* – Ральф Эммерсон – известный американский писатель XIX века, считающийся певцом умеренной мещанской добродетели.

*Апокалипсические василиски-зверюшки.* – Василисками в старину называли сказочных животных в виде страшного змея. Апокалипсис – мрачное предсказание о конце света в библейских преданиях.

*Эпиграф к II главе и текст песенки лыжников* взяты из стихотворения известного советского поэта Николая Асеева «А потом зима...».

*Перун* – по древнеславянской мифологии бог грома и молнии.

*«Хозяйка снежной горы»* – намек на персонаж уральских сказов П. П. Бажова – Хозяйку медной горы.

*Кукрыниксы* – коллективный псевдоним, под которым выступают три известных советских художника, составивших его из начальных слогов своих фамилий: КУприянов, КРЬлов и НИК Соколов.

*Эпиграф к VI главе* взят из поэмы А. Блока «Двенадцать».

*Эпиграф к IX главе* взят из «Баллады о неизвестном герое» С. Маршака.

*«Помните? Про Белоснежку и гномиков?»* – Здесь речь идет о сказке братьев Гримм «Белоснежка и семь гномов».

*Сирано де Бержерак* – гасконский поэт XVIII века, герой известной одноименной пьесы французского поэта-драматурга Эдмонда Ростана, в которой воспеты блестящий ум, храбрость и рыцарское благородство, скрывавшееся под уродливой внешностью Сирано. Умный, талантливый Сирано пишет письма от имени красивого, но бесталанного юноши его возлюбленной Роксане, в которую сам Сирано тоже страстно влюблен.

*«Дверь ни одна не скрипит...»* – слова из колыбельной песни знаменитого немецкого композитора Моцарта.

*«И возвращается ветер на круги своя»* – слова из Библии, произнесенные царем Соломоном, прозванным Экклезиастом, то есть

Проповедником.

*Боржоми и Бакуриани* – излюбленные места горнолыжников на Кавказе.

*Уктусские горы* на Урале – район, где обычно проводятся состязания лыжников.

*Кукисвумчорр* – гора близ Хибин.

*Эпиграфом к главе XVIII* взяты строки из поэмы М. Ю. Лермонтова «Мцыри».

*Спурт* – рывок, резкое кратковременное увеличение скорости движения в спортивных состязаниях.

### **Чаша гладиатора\***

Судьба Артема Незабудного – героя этого романа – во многом напоминает жизнь знаменитого русского борца Ивана Заикина, который в годы революции остался за границей. Многие в характере Незабудного напоминает другого знаменитого русского борца – Ивана Поддубного.

Из настоящей жизни взята история советского воина, погибшего в годы второй мировой войны в Италии, где он боролся с фашистами. Лев Кассиль, будучи в Италии, побывал на Генуэзском кладбище и видел могилу русского героя, похороненного там под именем «Поэтано». Только некоторое время спустя стало известно, что так итальянские партизаны называли русского воина Федора Полетаева, которому посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

Еще в 1955 году писатель, рассказывая о работе над этой книгой, сообщал читателям: «Должно быть, назову ее „Краса и слава“, а вернее всего – „Честь и слава“. А эпиграфом для своей новой повести я взял слова девиза, который нашел на одном старинном русском гербе: „Не слыть, а быть“».

Закончил Лев Кассиль эту новую книгу только в 1960 году. Отрывки из нее печатались в разных журналах, а целиком она вышла в 1961 году в Детгизе. Назвал эту книгу писатель «Чаша гладиатора», а «Честь и слава» стало названием одной главы.

Роман переведен на ряд языков народов СССР, а также издан в Румынии, Чехословакии, Болгарии.

*Кампиониссимо* – по-итальянски «славнейший победитель».

*Левиафан* – в древних библейских преданиях так называли огромное сказочное морское чудовище; это слово употребляют для обозначения чего-либо неправдоподобно громадного.

*Импрессарио* – этим итальянским словом в капиталистических странах называют агентов, организующих концерты и всевозможные зрелища.

*Котовский Григорий Иванович* – герой гражданской войны, боевой командир красной конницы.

*Каменная сухарница Колизея*. – В Риме находятся развалины Колизея – величайшего в мире цирка, построенного около двух тысяч лет назад, в котором происходили состязания гладиаторов – рабов или военнопленных, специально обученных для сражений с другими борцами или дикими зверями.

*Эйфелева башня* – металлическая башня, построенная в Париже в 1889 году инженером Александром Эйфелем; стала символом города Парижа.

*Башни над Темзой*. – По берегам реки Темзы в Лондоне сохранились старинные замки.

*Эвкалипты Мельбурна*. – Столица Австралии Мельбурн славится гигантскими деревьями – эвкалиптами, растущими вдоль его улиц.

*Раскаленные террасы Кейптауна*. – Большой портовый город Кейптаун находится в Южно-Африканской Республике.

*Задача квадратуры круга* состоит в том, чтобы при помощи циркуля и линейки построить по данному кругу равновеликий ему квадрат; эту задачу решить невозможно, и в житейский обиход это выражение вошло как обозначение безусловно безнадежного предприятия.

*Писатель Александр Иванович Куприн* покинул Россию вскоре после Великой Октябрьской революции, жил во Франции, в 1937 году вернулся на родину.

*Знаменитый певец Ф. И. Шаляпин*, получивший после Великой Октябрьской революции звание народного артиста республики, не понял Советской власти, не принял ее и уехал за границу. Эту же трагедию пережил известный русский композитор *Рахманинов*. Выдающийся советский композитор *С. С. Прокофьев* некоторое время жил и работал за границей. Лев Кассиль был хорошо знаком с Сергеем

Прокофьевым, и композитор однажды поделился с ним своими впечатлениями от встречи в доме Чаплина.

*Чарли Чаплин* – выдающийся актер и режиссер кино, по происхождению англичанин, большую часть своей жизни прожил в США, откуда уехал в 1952 году, протестуя против американского образа жизни, с которым он не мог примириться.

*Голливуд* – один из пригородов Лос-Анжелоса, расположенного на юго-западе США, неподалеку от берега Тихого океана; центр американской кинопромышленности.

*Манхеттен* – центральная часть города Нью-Йорка, расположенная на острове Манхеттен.

Великий поэт *Владимир Маяковский* побывал в Мексике в 1925 году.

Знаменитый летчик *Валерий Чкалов* побывал в Северной Америке в 1937 году.

Известный певец *Поль Робсон*, выдающийся борец за мир, друг советского народа, неоднократно бывал в СССР.

*Суд Линча* – кровавая расправа в США без суда и следствия над неграми и прогрессивными белыми. Название возникло, вероятно, по имени Чарльза Линча, известного своей жестокостью плантатора штата Виргиния, жившего в XVIII веке.

«*Гамбургский счет*». – Рассказывают, что издавна в город Гамбург ежегодно съезжались борцы всего мира, для того чтобы установить, кто является сильнейшим.

*Тоскана и Эмилия* – области в центральной и северной Италии.

«*Перемещенными лицами*» называют тех, кто во время второй мировой войны по каким-либо причинам оказался на чужбине и вынужден был там остаться после окончания войны.

Знаменитый русский певец начала XX века *Леонид Витальевич Собинов* пользовался необыкновенной популярностью.

*Софья Васильевна Ковалевская* – выдающийся ученый XIX века, первая русская женщина – профессор математики.

*Песня о «Варяге»*. – В 1904 году во время русско-японской войны русский крейсер «Варяг» оказался окруженным вражескими судами. Команда крейсера приняла неравный бой и нанесла врагу серьезные поражения. Разбитый крейсер, чтобы он не достался врагу, был

затоплен командой. О подвиге команды «Варяга» тогда же была сложена знаменитая песня, которую поют и в наши дни.

*Калики перехожие.* – В старину так называли странников, паломников.

*Бретань* – область на северо-западе Франции на берегу Атлантического океана.

*НАТО, СЕАТО* – так называются (по начальным буквам английского наименования) Северо-Атлантический оборонительный пакт и Оборонительный пакт стран юго-восточной Азии, являющиеся на самом деле агрессивными организациями.

*Книга про старика рыбака.* – Незабудный вспоминает повесть знаменитого американского писателя XX века Эрнеста Хемингуэя «Старик и море».

*Буффало* – город в Соединенных Штатах Америки.

*Аденауэр.* – Конрад Аденауэр в то время был федеральным канцлером Федеративной Республики Германии, вел агрессивную политику.

*Вермахтом* назывались вооруженные силы фашистской Германии, разгромленные Советской Армией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.; армия, созданная в послевоенное время в Федеративной Республике Германии, называется «бундесвер».

*Царица Савская и Соломон мудрый* – олицетворяющие мудрость персонажи древних легенд еврейского народа, собранных в Библии.

*Семь пятниц Робинзона.* – В названии главы мы снова встречаемся с игрой слов. Писатель соединил поговорку «Семь пятниц на одной неделе» с именами персонажей знаменитого произведения английского писателя Даниэля Дефо «Приключения Робинзона Крузо» – Робинзона и его слуги, прозванного им Пятницей.

### **По морям, по волнам\***

Лев Кассиль много путешествовал по разным странам. Кое-что из увиденного и услышанного во время различных путешествий писатель положил в основу своих рассказов.

В 1936 году Лев Кассиль на теплоходе «Комсомол» плывал в Испанию. Тогда в Испании шла гражданская война: республиканцы сражались с фашистами. Теплоход «Комсомол» доставил в Испанию подарки из СССР. В рассказах «Диско», «Вдова корабля», «Матч в

Валенсии» читатель найдет несколько эпизодов, связанных с этой поездкой.

В конце 1936 года теплоход «Комсомол» был потоплен фашистским крейсером «Канарис». Дружба Льва Кассиля с капитаном теплохода «Комсомол» Г. А. Мезенцевым, завязавшаяся в 1936 году, продолжается до сих пор. Ряд эпизодов в рассказах этого цикла соответствует подлинным событиям, участником которых был капитан дальнего плавания Г. А. Мезенцев.

### «Диско»\*

Под названием теплохода «Кимовец» описан в рассказе теплоход «Комсомол». Ким – сокращенное название Коммунистического интернационала мол одеяй.

Рассказ написан в 1938 году. Впервые опубликован в журнале «Пионер» за 1939 год, № 1. В 1939 году вышел отдельной книжкой в Детиздате.

*Эсминцы* – эскадренные миноносцы.

*Франсиско Франко* – фашистский генерал, возглавивший в 1936 году поход против народной власти республики Испании и ставший диктатором Испании.

*«Тельмановка»* – фасон фуражки, названной в честь вождя немецкой компартии Эрнста Тельмана.

*Парабеллум* – автоматический пистолет.

*«Бандера Роха»* – революционная песня «Красное знамя».

*«Кукарача»* – народная мексиканская песенка «Таракан».

*Тореадор* – участник любимого в Испании зрелища боя с быками, наносящий последний, решающий удар.

*Кастаньета* – испанский народный музыкальный инструмент – две деревянные пластинки, скрепленные в одном конце, которые надеваются на пальцы; ими прищелкивают во время танца.

*Астурия* – провинция на севере Испании. В октябре 1934 года рабочие-шахтеры и крестьяне, героически борясь за свободу, захватили там власть в свои руки и 15 дней мужественно отбивали атаки правительственных войск.

*Итальянец, макаронник* – презрительная кличка итальянцев-фашистов, помогавших генералу Франко отнять свободу у народа Испании.

*Аргентинита* – известная в те годы исполнительница испанских народных песен.

*Фаланга* – так назывались организации испанских фашистов.

### **Вдова корабля\***

Рассказ впервые напечатан в журнале «Знамя» за 1942 год, № 12, а затем вошел в сборник рассказов Льва Кассиля «Линия связи», М. библиотека «Огонька», 1942 г.

«*Черная шаль*» – известная народная песня на слова А. С. Пушкина.

*Сирокко* – знойный ветер, дующий в средиземноморских странах; губительно действует на здоровье людей.

*Фарватер* – путь для безопасного прохода судов.

### **Губернаторский пассажир\***

О происшествии, описанном в рассказе, писателю сообщил его друг, бывший капитан теплохода «Комсомол», Г. А. Мезенцев.

Впервые напечатан в журнале «Пионер» за 1938 год, № 10, а в 1939 году вышел отдельным изданием в Детиздате.

*Мыс Мидий* – находится в Румынии на Черном море.

*Аликанте* – город в Испании.

*Формоза* – прежнее название острова Тайвань.

*Меморандум* – дипломатический документ, детально излагающий суть вопросов, являющихся предметом обсуждения.

*Референдум* – всенародный опрос по особо важным моментам государственной жизни.

*Ход тринадцать узлов* – это значит, что скорость корабля равна 13 морским милям в час. Морская миля – 1,85 километра.

*Старпом* – старший помощник капитана.

*Линтер* – волокно семян хлопка. Идет па Изготовление ваты и искусственного шелка; легко воспламеняется.

*Волнорез.* – Обычно гавань ограждается со стороны моря каменной стеной – волноломом. Конец этой стены у того места, где оставлен проход для кораблей, называется волнорезом.

*Виза* – разрешение па въезд в страну; документ или специальная пометка на паспорте.

*Фальшборт* – часть борта, возвышающаяся над палубой и ограждающая ее.

*Спардек* – палуба средней надстройки, над которой обычно помещается капитанский мостик.

*Леера* – легкие перила, поручни.

*Морсофлот* – моряк советского флота.

*Тифон* – аппарат, производящий звуковые сигналы. На теплоходах гудок тифона дается сжатым воздухом.

### **Матч в Валенсии\***

Впервые рассказ напечатан в журнале «Смена» за 1939 год, № 6, а затем входил в разные сборники рассказов Льва Кассиля.

*Каталонцы* – жители Каталонии, провинции Испании, с главным городом Барселоной.

*Правый хав* – по устаревшей терминологии правый полузащитник на футбольном поле.

*Гимн де Риего* – гимн республиканской Испании; назван так в честь испанского национального героя, революционера Риего, возглавившего в 1820 году восстание против короля Испании Фердинанда VII и казненного в 1823 году.

*Рефери* – судья в спортивных состязаниях.

### **Пекины бутсы\***

В 1935 году Лев Кассиль ездил вместе со сборной командой СССР в Турцию и давал в газете «Известия» корреспонденции о состязаниях советских футболистов с турецкими. В составе сборной СССР был Петр Дементьев, ныне заслуженный мастер спорта. Об этой поездке и написан рассказ «Пекины бутсы», в основе которого лежит истинное происшествие. Подробнее об этом смотри очерк Льва Кассиля «Правда о Пекиных бутсах» в сборнике «Смелый к победе стремится», вышедшем в 1965 году в издательстве «Детская литература».

Впервые рассказ, под названием «Турецкие бутсы», напечатан в газете «Ленинградская правда» в январе 1936 года. В том же году вышел отдельной книжкой в Детиздате.

### **Ученик чародея\***



В этом рассказе мы встречаемся с героем, который нам хорошо знаком по роману «Вратарь республики», – Антоном Кандидовым. По первоначальному замыслу писателя этот эпизод из жизни Антона должен был войти в роман, но потом писатель передумал, и «Ученик чародея» так и остался отдельным рассказом.

Впервые этот рассказ был опубликован в журнале «30 дней», № 6, за 1933 год. А в 1934 году вошел в сборник рассказов Льва Кассиля, изданный Детиздатом под названием «Ученик чародея».

Эпиграф к рассказу взят из повести немецкого писателя XIX века Э. Т. А. Гофмана «Крошка Цахес по прозвию Циннобер».

*Шталмейстер* – один из участников цирковой программы, обычно объявляющий номера.

*Школой второй ступени* раньше называли полную среднюю школу.

*Нат Пинкертон* – американский сыщик, персонаж многочисленных приключенческих книжек.

*Теургия* – вид магии, посредством которой считалось возможным изменить ход событий, воздействуя на волю богов и духов.

*Кабала* – мистическое учение, основанное на толковании слов и чисел в библии.

*Волхвы, халдеи, астрологи, корибанты, куриты* и т. д. – названия, которые присваивали себе люди, якобы наделенные колдовской властью.

*Ангажемент* – договор, заключенный с артистом на известный срок.

### «Трансбалт»<sup>\*</sup>

Рассказ впервые был напечатан в журнале «30 дней», 1933 г., № 8, а в 1934 году вошел в сборник «Ученик чародея».

*Коносамент* – расписка, удостоверяющая принятие груза к перевозке, выдаваемая капитаном судна.

*«Дженкон», «Балтайм», «Аксумо»* и т. д. – названия фрахтовых коммерческих договоров.

*Лоция* – книги, содержащие подробное описание водных бассейнов, характеристику рельефа дна, опасностей и системы их ограждения и т. п.

*Навигация* – раздел науки кораблевождения, изучающий методы вождения судов.

«„Трансбалт“, „Трансбалт“, мечта моя, ты вся горишь во мне». – Капитан Галанин перефразирует начало известной песни «Трансвааль, Трансвааль, страна моя, ты вся горишь в огне». Эта песня была очень популярна в начале XX века, во время англо-бурской войны; Трансвааль – республика буров на юге Африки.

*Закон всеобуча* – обязательное всеобщее обучение, введенное Советской властью.

*Вторая группа.* – Первые годы в советской школе были не классы, а группы.

*Виндавский вокзал.* – Так раньше назывался Рижский вокзал в Москве.

*Ллойд* – общество морского страхования, а также судоходства в разных странах Европы и Америки.

### **Будьте готовы, Ваше высочество!\***

Как вы уже знаете, Лев Кассиль открыл для своих читателей две страны, которых нет на географической карте, – Швамбранию и Синегорию. Обе эти страны были выдуманы героями его книг – Лелей и Осей из повести «Кондуит и Швамбрания» – и Арсением Гаем из повести «Дорогие мои мальчишки».

В этой повести мы встречаемся еще с одной страной, которой нет на географической карте, – Джунгахорой. Может быть, такая страна и существует на самом деле, но писатель пока рассказывает о ней под вымышленным названием.

Писатель встречал в пионерских лагерях принцев и принцесс из южных стран, которые гостили у наших ребят.

История бабушки принца Дэлихьяра, Бабашуры, тоже основана на исторических фактах: и в царской России воспитывались иногда чужестранные принцы, и один из них увез с собой русскую девушку, взяв ее в жены...

Поэт-коммунист Тонгаор, конечно, фигура вымышленная, но многое в его облике напоминает известного турецкого поэта Назыма Хикмета, после долгого заточения покинувшего свою страну и нашедшего новую родину в Советском Союзе. Лев Кассиль хорошо знал Назыма Хикмета. В книгу «Запомни, сын», написанную от лица

Тонгаора, Лев Кассиль вложил свои заветные мысли, которыми давно хотел поделиться с читателями.

Ну, а в образе доктора Павла Зиновьевича Савельева мы легко узнаем доктора Зиновия Петровича Соловьева, основавшего «Артек».

Повесть «Будьте готовы, Ваше высочество!» была закончена летом 1964 года, осенью того же года была напечатана в журнале «Костер», а в 1965 году вышла в издательстве «Детская литература». В конце того же года напечатана в журнале «Советская литература», выходящем на английском, немецком, испанском и польском языках. По повести написана пьеса для Московского театра юного зрителя.

Главы из книги были напечатаны в журнале югославских пионеров.

*Как это там у Гоголя в «Ревизоре»?* – Комедия Н. В. Гоголя «Ревизор» начинается словами городничего: «Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие: к нам едет ревизор».

*Августейший* – по-латыни значит «священный»; этот эпитет давался римским императорам.

*Его звали и Тарасконом из Тартарена...* – Героя известного романа французского писателя XIX века Альфонса Доде звали Тартарен из Тараскона. Он изображен как хвостун, говорун и выдумщик.

*Тарантелла* – итальянский народный танец, исполняемый в быстром темпе.

*Баталов, Стриженов, Рыбников* – фамилии популярных советских киноартистов.

*Царь Федор в постановке МХАТа.* – Пьеса писателя А. К. Толстого «Царь Федор Иоаннович» была поставлена в Московском Художественном театре еще в 1898 году. По пьесе царь Федор слабый и безвольный человек.

*«Граф Нулин»* – поэма А. С. Пушкина.

Тонгаор приводит строки из стихотворения французского поэта Франсуа Вийона «Баллада пословиц».

*Е. Таратута*

---

**notes**

## **Примечания**

# 1

Такая же странная «ошибка» была допущена информаторами на Олимпийских играх 1956 года по отношению к известной советской лыжнице – чемпионке мира Любове Козыревой.

Старик Шубин – подземный хозяин; зловещая фигура старых шахтерских сказаний, появление которой в шахтах предрекало якобы несчастье под землей.

**3**

очень хорошо (фр.)



4

один из приемов так называемой французской борьбы (фр.)

**5**

напиток (фр.)

**6**

могила (фр.)

7

слава, известность (фр.)

8

слово чести (фр.)

9

пирог (нем.)

**10**

начальник, командир, капитан (итал.)

**11**

искусство (нем.)



Только для детей до 16 лет. (Примеч. автора.)

Вот эту главу я бы дал прочесть взрослым. Она как раз для них. Но я верю, что и вам, дружочки мои, тут кое-что пригодится. (Примеч. автора.)